



В каждой новой вещи я стремился к постоянному восхождению по ступеням мастерства. То есть очень серьезно работал над формой. Я всегда помнил, что фраза должна становиться все более напевной и простой, несмотря на то, что одновременно должна постоянно удлиняться. Вообще, в стиле писателя есть оптический обман для читателя. Простота достигается через сложность.

Юрий КУВАЛДИН

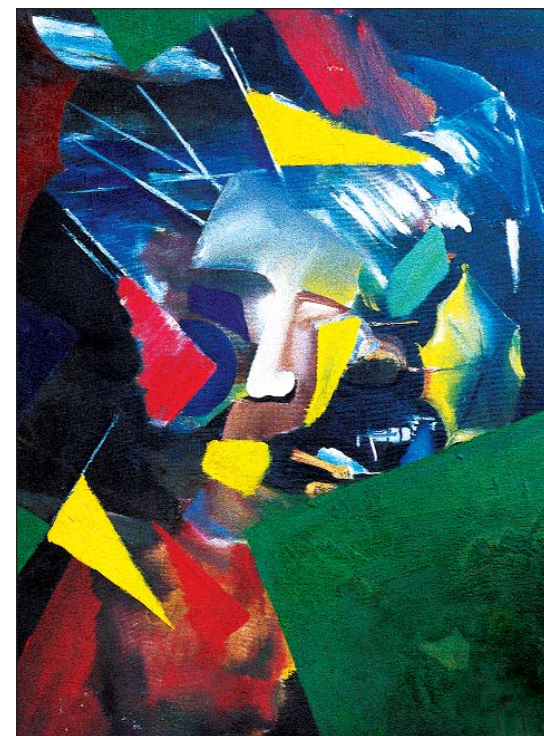
Издательство
"Книжный Сад"
Москва 2006

Юрий Кувалдин

2

Собрание сочинений в десяти томах

Юрий Кувалдин



Том 2

АКАДЕМИЯ РЕЦЕПТУАЛИЗМА

ЮРИЙ
КУВАЛДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ
2

Издательство
Книжный сад
Москва
2006

ББК 84 Р7

К 88

Издание осуществляется
под наблюдением Президента Академии Рецептуализма
академика Юрия Кувалдина

Общая редакция и составление Юрия Кувалдина

Редакционная коллегия:

Ю. А. Кувалдин (главный редактор, академик),
Н. П. Краснова (академик), Слава Лён (академик),
Э. А. Сокольский (академик),
А. Ю. Трифонов (заместитель главного редактора, академик)

Оформление художника
Александра Трифонова

*На обложке воспроизводится картина художника Александра Трифонова
“Портрет писателя Юрия Кувалдина”, х. м. 74 х 61, 1996 г.*

ISBN 5-85676-112-X (Т. 2)

ISBN 5-85676-111-1

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2006

ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

повесть

На площади Пушкина Шпагин вышел из троллейбуса и заглянул в “Елисейский”, где купил кило рису. Затем прошелся по Тверскому. У памятника Тимирязеву посидел на скамейке, настроение было плохое и домой идти не хотелось. Вчера пришел поздно под сильной мухой, жена кричала и грозила разводом. Однако делать далеко идущие выводы из этого Шпагин не соби-рался. Вообще у него с годами выработалась привычка к сдержанности, в особенности в отношениях с женой. С нею он был довольно-таки скуп на слова, но, что удивительно, она понимала его без лишних слов и, кажется, догадывалась, что он думал гораздо больше, чем говорил. От стола, разумеется, жена отказала, поэтому со вздохом взглянув на пакет с рисом, Шпагин настроил себя на более чем аскетический ужин.

Не то было вчера. Вчера Шпагин обедал по большому счету у Пашки-художника, а вечером ужинал у Маринки. Она, правда, в коммуналке комнату снимает, и праздник испортился, когда к соседям ввалились гости и стали плясать под пластинку Ольги Воронец.

Посидев у тихого памятника, Шпагин пошел по улице Воровского, заглядывал в окна бывших особняков. Жили в них когда-то состоятельные люди... Все они лежат на кладбищах, в их домах живут совсем иные люди или помещаются какие-то конторы. Многие могли бы расказать стены, но они немые. Шпагин подумал, что проходит все, и все суета сует. По аналогии ему теперь было понятно, как в бездну небытия проваливаются целые эпохи.

Жена стояла на кухне у плиты и жарила магазинные котлеты. Мельком взглянув на Шпагина, увидев в его руках рис, она улыбнулась. Значит, отошла, подумал Шпагин и несколько суховато сказал:

- Привет!

- Есть будешь? - с насмешкой спросила жена.

Шпагин молча обнял ее и стал целовать ее волосы, виски, шею...

- Хватит, хватит, - продолжая улыбаться, сказала жена и отстранилась.

На кухню вошла старшая дочь, за нею младшая.

- Ну, куда вы все лезете! - воскликнула жена. - По очереди!

Шпагин попал во вторую очередь. Когда он ел, жена все время смотрела на него, и Шпагину это было почему-то в тягость.

- Что ты все смотришь?! - вспыхнул он.

- Хоть бы побрился... Я уж не говорю о зубах!

- Я бороду отпускаю, - отмахнулся он.

- Хватит с тебя усов!

На тощем лице Шпагина поблескивала седоватая щетина и торчали рыжие усы. Они не седели. Беззубый рот Шпагина делал его стариком, хотя Шпагину было всего лишь сорок два.

- И вообще, ты старый козел! - сказала жена и засмеялась, словно изрекла что-то в высшей степени остроумное, и на миг прикоснулась к руке Шпагина, заглядывая ему в глаза с таким видом, словно у нее никогда не было более сильного желания, чем его увидеть.

- Что это у тебя за настроение сегодня? - спросил он.

- Ленку удалось втиснуть в очередь на однокомнатную квартиру! - выпалила жена. - Так что жду твоих денег!

- Будут, будут тебе деньги, - как-то лениво сказал Шпагин. - Дай раскрутиться.

После ужина он прилег в маленькой комнате на диван, пробежал книжку "Психология великих людей" профессора Жоли. Шпагина заинтересовало изречение Ларошфуко:

"Великие души отличаются от обыкновенных не тем, что у них меньше страстей и больше добродетелей, а только тем, что они носят в себе великие замыслы".

И у него, Шпагина, великие замыслы, великие идеи: найти хороших спонсоров, внедрить отработанную им схему - и тогда...

Малышка-Наташка отворила дверь и сказала:

- Папа, тебя к телефону!

- Ох уж этот зверь телефон, - пробурчал Шпагин, вставая, и добавил: - Не даст костям отдохнуть...

Он не спеша, позевывая, подошел к телефону, взял трубку и услышал давно забытый, но тут же воскресший в памяти голос:

- Привет, старик! Рейнгольд!

Шпагин подавил удивление.

- Ты откуда? - спросил он, испытывая пристальный, личный интерес, который в каждом из живущих время от времени проявляется в той или иной степени.

- Надо встретиться! - сказал Рейнгольд весело.

- Откуда ты? Куда ты пропал? Сто лет тебя... - сделал паузу Шпагин и вставил давно выброшенное им из собственного лексикона слово: - Старик!

- Из Нью-Йорка, - с достаточной долей равнодушия сказал Рейнгольд. - Вчера вечером прилетел и сразу звоню тебе, старичок!

Звучание голоса Рейнгольда напомнило шум дождя. Шпагин сначала вбирал слухом только это звучание, потом уже до него дошли слова.

- Я так и предполагал, - сказал Шпагин взволнованно. - Исчез с горизонта... Жена моя сразу сказала, мол, Рейнгольд уехал. Ну, ты молодец! Из Штатов, стало быть? - последние слова Шпагина прозвучали торжественно-скорбно.

В это время появилась в дверях жена и горячо зашептала:

- Рейнгольд? Я же говорила! Зови его к нам!

- Из самого Нью-Йорка? - переспросил Шпагин, косясь на жену.

- Что ты, старик, ей богу! - воскликнул Рейнгольд. - Говорю, давай встретимся!

- Приезжай к нам! - предложил Шпагин.

- Старик, у меня каждый час по минутам расписан! Давай в центре пересечемся, хочу тебя видеть.

Шпагин от нетерпения сунул руку в карман.

- Завтра? - спросил он.

- Нет, - ответил Рейнгольд. - Завтра у меня все забито. Давай звони мне завтра поздно вечером.

- Куда?

- Я у родителей, - сказал Рейнгольд. - А ты что, не мог им за эти годы позвонить?

- Я не знаю, где они живут, - сказал Шпагин. - И телефона не знаю. Как ты исчез, так наша связь оборвалась!

- Ладно, не трепись, - возразил довольно сдержанно Рейнгольд. - И телефон я тебе давал... Впрочем... Короче, звони, старик, завтра и договоримся о встрече.

- О'кей! - непроизвольно вырвалось у Шпагина.
- Привет Верочке и дочке! - сказал Рейнгольд.
- У меня еще одна появилась за время твоего отсутствия! - радостно сообщил Шпагин.

- И ей привет! - сказал Рейнгольд и продиктовал телефон родителей.

Этой ночью Шпагину снился Нью-Йорк: Шпагин едет по Бродвею (а где же еще?!) на дорогой черной машине, а впереди машины, как на экране, с микрофоном в руках корреспондент советского телевидения Владимир Дунаев говорит:

- Осень в Нью-Йорке идет под аккомпанемент забастовок, листовок, демонстраций, провокаций, инсинуаций...

Затем Шпагин видит себя на тридцать девятом этаже небоскреба на Третьей авеню. Этот этаж отвел ему Рейнгольд под нью-йоркскую квартиру совместного предприятия. Здесь же размещаются квартиры сотрудников. На светлой кухне стоит жена и жарит нью-йоркские магазинные котлеты. Шпагин снимает трубку телефона и слышит грохот завода, работающего в рамках совместного предприятия "Шпагин-Рейнгольд и К°".

- Куда ты провалился? - слышит Шпагин собственный голос.

- Это ты провалился! - возражает ему Рейнгольд. - Я тебе давал телефон родителей, а ты им ни разу не позвонил! Скотина ты хорошая, старичок, хоть ты мне и друг!

А что для него Рейнгольд, думает Шпагин, теперь он сам в Нью-Йорке и если ему хорошенько захочется, Шпагину захочется, то он продлит себе командировку по СП хоть на полгода, хоть на год. Нью-Йорк есть Нью-Йорк, город контрастов! И т. д.

- Старичок, тебе пять тысяч долларов в неделю на первый случай хватит зарплаты? - спрашивает Рейнгольд. Это произносится самым небрежным тоном.

- Разумеется, старик, - соглашается Шпагин и, подумав, добавляет: - Как-нибудь первое время перебьюсь.

Ведь он, Шпагин, один, как глава московского филиала, ни на кого не опираясь, с завидным мужеством поведет наступление на всю экономику США с ее огромными ресурсами и сильным лобби в Вашингтоне.

Кстати, вспоминает Шпагин, нужно и в Вашингтоне филиал СП открыть и посадить там... Пашку-художника, да и Маринку пристроить...

А интересно, растут ли березы в Нью-Йорке? Сейчас конец октября, в Москве с берез сыплются желтые листья на асфальт, в лужи, и в Нью-Йорке, по-видимому, с таких же берез слетают желтые листья... Правда, говорят, у них там теплее. Нью-Йорк расположен, кажется, на полосе Кавказа-Крыма. Нужно посмотреть по карте.

Так или иначе, думает во сне Шпагин, в Нью-Йорке устроить контору - не слабо! Похоже, что с приездом Рейнгольда этот вопрос можно провентилировать.

А неплохо бы с Маринкой махнуть в Нью-Йорк. Пристроить ее журналисткой в какой-нибудь "Ньюсуик", ведь, мечтает девчонка попасть на журфак.

Проснувшись ранним утром, Шпагин вспомнил, что вчера говорил не просто с Рейнгольдом, а с умным и интересным американцем, и решил как можно оригинальнее устроить встречу с ним.

Еще до всяких дел он позвонил Пашке-художнику и сказал, чтобы тот как следует подготовился к встрече с американцем.

Пашка спросонья никак не мог врубиться в тему, хрипел в трубку что-то несвязное и жаловался на больную после вчерашнего бодуна голову.

И прежде чем пояснить что-либо Пашке-художнику, Шпагин внезапно увидел себя идущим по ущельям деловой части Нью-Йорка. И тут же, параллельно, в его голове мелькнула идея, которую он и высказал Пашке:

- Толкнем американцу твои работы!

По всей видимости, это предложение сильно подействовало на Пашку, потому что Пашка схватился за эту энергичную идею с ходу:

- Я ему пару холстов отдам!

- Ну, а ты что-то мычал! Конечно, отдашь! - сказал Шпагин и подумал, что лучшего места для встречи с Рейнгольдом, чем в мастерской Пашки-художника, не найти.

- Когда он будет? - спросил Пашка.

- Сегодня вечером с ним созвонюсь, - сказал Шпагин. - Договорюсь на завтра. У него дел - невпроворот!

- В Америке все такие, - подтвердил Пашка, как будто только вчера был на Мэдисон-авеню вместе с молодыми клерками и агентами по продаже ценных бумаг.

Вскоре Шпагин был на работе в своем НИИ по материально-техническому снабжению. Шпагин был кандидатом экономичес-

ких наук и заведовал сектором, которому принадлежало две узкие и длинные комнаты, заставленные столами, за которыми сидели исключительно женщины - единственным мужчиной был сам Шпагин.

Экономист Евгения Павловна тут же сунула Шпагину записку замдиректора, в которой излагалась просьба подготовить к пятнице отчет по основным видам деятельности сектора.

- Где там у нас прошлогодний отчет? - спросил Шпагин, подмигивая Соне, которая подошла к его столу.

Евгения Павловна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Шпагин стал замечать, что у нее от болезни (какой - Шпагин не знал, но Евгения Павловна постоянно бюллетенила) минутами как будто ослабевал рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины, при этом смешно сводя глаза к переносице.

- Евгения Павловна, - сказал Шпагин, - вы возглавите работу по отчету. Ну, там цифирь в старом поменяете... Сонечка тоже пусть подключится. И Митрофанову возьмите. Сайкина и Болдырева считают? - спросил он у Сони.

- Считают! - бодро ответила Соня.

- Хорошо, - сказал Шпагин. - Значит, все при деле?

- При деле! - воскликнула радостно Евгения Павловна и добавила просительным тоном: - Я сегодня пораньше хочу уйти... в поликлинику...

- Ради бога! - благодушно согласился Шпагин.

- А этот замдиректора, прямо, сам как будто позвонить или зайти в сектор не может! - возмутилась Соня. - Все пишет записки, как бюрократ!

- Это его прерогатива, - сказал Шпагин торопливо, потому что зазвонил телефон и Шпагин сорвал трубку.

Звонил Ефимов, который занимался разработкой устава задуманного Шпагиным кооператива. Ефимов восторженно рассказывал, что устав почти готов, что его регистрация в исполкоме будет стоить всего пару сотен и т. д. Ефимов с того конца трубки обращался к Шпагину, как школьный товарищ, на "ты", а Шпагин хладнокровно отвечал тому на "вы", дабы женщины сектора не обращали внимания на суть разговора, хотя ее нельзя было уловить по нейтральным вопросам и ответам Шпагина.

Только закончился разговор с Ефимовым, как позвонил Тапеха и заорал в трубку, что нашел пару компьютеров ИБМ европейской сборки по девяносто тысяч каждый.

- Вы этот вопрос держите в поле вашего внимания, - сказал Шпагин. - Пока я точного ответа дать не могу. Отчет будет готов к пятнице, - пояснил Шпагин и взглянул с улыбкой на Евгению Павловну, которая сидела за первым столом у окна перед столом Шпагина. В свое время первый стол предлагали Шпагину, как заведующему, но он отказался, и сел за второй в ряду, подчеркивая свой полный демократизм.

А с того конца провода Тапеха кричал:

- Ты что, Митюха, уведут машины! Когда регистрируешься?

- Я вас не совсем понимаю? Что значит завтра? Я же вам сказал... Или не вам? Отчет будет готов к пятнице.

- Ты что там, говорить не можешь, Мить?

- Я вас понимаю, что вам некогда. Будьте любезны, позвоните мне сегодня после пяти часов, - голосом равнодушным сказал Шпагин, одновременно перелистывая рабочие бумаги сектора, которыми был завален его стол.

- Черт с тобой! - орал Тапеха. - Компьютеры нужно брать! Ладно, жди звонка в пять! Привет! - и положил трубку.

Тут же телефон опять зазвонил.

- Здорово! - услышал Шпагин голос Пиотровского. - Лично для тебя, Дмитрий Всеволодыч, пробил кредит на двести тысяч в семь процентов!

- Вы сегодня подъехать ко мне сможете? - спросил Шпагин.

- Чего, говорить при бабье не можешь?

- Вы знаете, - сказал Шпагин, - тут мы кое-какие цифры вывелим и подготовим отчет...

- Я тебя понял, - сказал Пиотровский. - В пять пятнадцать я - у тебя!

Следом позвонила Светка, которую Шпагин собирался брать бухгалтером в кооператив.

- Дмитрий Всеволодыч, как там мои дела?

- Я думаю, что на следующей неделе решу ваш вопрос, - сказал Шпагин, продолжая как ни в чем не бывало листать бумаги.

- Я устала ждать. Я месяц как уволилась. А вы все меня завтраками кормите! - вспыхнула Светка. - Тогда бы уж не сбивали меня с курса!

- Ваш вопрос я держу в поле зрения. Он у меня в числе первоочередных. В понедельник я вас извещу. Или в среду.

- Опять... Ладно. Буду звонить сама в понедельник, а то вы не звоните никогда сами! - и повесила трубку.

Светка называла Шпагина - "Дмитрием Всеволодовичем" и общалась на "вы", как и положено.

Следом позвонил Гиви из Госплана Грузии и спрашивал насчет компьютеров - не поступили ли. Потом звонил Смирнов, который вел переговоры с Агропромом по поводу изготовления для них будущим кооперативом каких-то косилок или сеялок. Три звонка касались финансовых операций. Звонков десять было от других кооператоров, которые предлагали дать кредит Шпагину под пятнадцать-тридцать процентов. Шпагин им не отказал, он просил подождать. Предложение Пиотровского о семи процентах было самое выгодное.

Сотрудницы Шпагина лениво потягивались за столами, затем потянулись гуськом на обед, затем бегали за заказами: давали китайскую ветчину и сухую колбасу. Предлагали взять Шпагину, но у него после вчерашней покупки риса осталось тридцать копеек и проездной билет на все виды транспорта. Оклад у Шпагина был триста рублей без вычетов, жена получала сто двадцать, и деньги таяли, как снег весной, уходили, как вода в песок. Все деньги Шпагин отдавал жене, и все надежды его теперь возлагались на кооператив.

Между телефонными звонками, которые абсолютно не раздражали Шпагина, а, напротив, радовали, потому что пружина предпринимательства, закрученная им, двинула механизм самоорганизованных и самособравшихся "винтиков и шпунтиков", то есть тех людей, которые умели и хотели работать за настоящую цену без сна и отдыха; так вот, между телефонными звонками Шпагин время от времени вновь представлял себя в осеннем Нью-Йорке. Вот он сворачивает на Тридцать третью улицу, выходит к Пенсильванскому вокзалу, а к вечеру оказывается в узких проездах Сороковых улиц, в районе театров...

В окно Шпагин видел желтый тополь с опадающей листвой, и подле него березу с такой же желтой листвой. Погода стояла хорошая, солнечная и сухая. Шпагин думал, что такой же тополь и такая же береза могут расти в Нью-Йорке...

А между тем, к пяти часам Шпагину очень сильно захотелось есть. Когда пришел Пиотровский, Шпагин сразу же стрельнул у

него рубль, попросил Пиотровского подождать, а сам сбегал в соседнюю с НИИ булочную, купил кулебяку и при Пиотровском же жадно съел ее, запивая чаем, который постоянно готовили себе сотрудницы. Хотя рабочий день длился до шести, Шпагин приучил своих женщин в последнее время уходить в пять, чтобы оставшееся время отдавать созданию кооператива.

- На следующей неделе зарегистрируемся! - воскликнул Шпагин.

Пиотровский, полноватый и низенький, сидел перед столом Шпагина на стуле Евгении Павловны и гнул толстыми пальцами скрепку.

- Семь процентов - это гениально! Там у меня друг. Они уже полгода крутятся, прибыль - миллион!

- Надо бы название нашей фирме придумать, - сказал Шпагин.
- Есть предложение назвать так: "Китеж"!

Пиотровский минуту был в задумчивости и продолжал гнуть пальцами скрепку, затем улыбнулся и сказал:

- Прекрасно! "Китеж", который ушел на дно!

- Остальные тоже одобрили, - сказал Шпагин, хотя название только что придумал сам.

- Ты Лобова знаешь? - спросил после паузы Пиотровский.

- Да я к нему дверь ногой открываю! - воскликнул Шпагин, дожевывая кулебяку.

Пиотровский просиял.

- Тогда мы на его имя письмишко загоним, - сказал он.

- Загоняй, а я ему позвоню.

- Что ты все эту звездочку на груди носишь?! - бросил Пиотровский, кивая на лацкан потертого пиджака Шпагина.

- Дочка прицепила, - сказал Шпагин и скосил глаза к значку, который выглядел, особенно издали, как лауреатская медаль.

- Ты Леху будешь брать? - спросил Пиотровский.

- А что делать? - сказал Шпагин, пожав плечами. - На этот вопрос нельзя ответить сразу. Но без него, наверно, не обойтись. Оборотистый мужик, но просит сверху по пятьсот за тонну.

- Губа не дура! - вздохнул Пиотровский.

Только к девяти часам вечера Шпагин попал домой. После Пиотровского прибежал Тапеха, затем были двое из Армении, а остальное время ушло на несмолкающий телефон.

- Не мог пораньше прийти?! - крикнула с кухни жена.

Шпагин прошел на кухню и с порога сказал:

- Почему ты мне рубль на обед не оставила?

- Потому что ты у Пашки пропил три! А я тебе их давала на мяско! Чтобы тогда пообедал на рубль, а на два купил мяса!

За ужином жена спросила как ни в чем не бывало:

- Как твой кооператив?

Шпагин ответил пословицей:

- Что будет, то и будет. А еще то будет, что и нас не будет!

Старшей дочери дома не было, младшая сидела на диване перед телевизором. Показывали какое-то награждение кого-то.

- Я тебя уже наградила, - сказала дочка. - Ты не снимай медаль!

Присматриваясь к людям, Шпагин замечал у них сильную тягу к отличиям. По-видимому, им хочется придать себе вес каким-нибудь орденом. Первые дни на орденосца еще смотрят, а затем - орден даже не надевается. Зато, если у вас деньги, вы без всяких орденов - король, которому все нипочем, которому доступно главное: хорошая пища, хорошие костюмы, хорошая квартира, автомобиль, приятное времяпрепровождение. Без денег и с орденами жизнь ужасна. Сильно опьяняет еще власть, поэтому лезут в начальники. Так называемое подхалимство в сильном ходу. Почти невозможно увидеть самостоятельного, с достоинством человека. Но его удел - прозябать без копейки.

Рейнгольду было звонить еще рано, и Шпагин посмотрел по телевизору окончание старого мхатовского спектакля "Три сестры". Играли главные силы. Но, странно, Шпагин не верил ни одному слову. Актеры играли каких-то бывших людей, которых уже нет и они невозможны. Но тогда зачем копаться на кладбище прошлого? Зритель идет в театр, чтобы укрепиться в настоящем, в своем понимании сущности жизни, а жизнь всегда была и есть одна и та же. Значит, пьеса хороша только тогда, когда автор в потоке изменчивости усматривает что-то вечное, ухватывается за него и как бы говорит: "Стойте на этом". Есть это вечное, думал Шпагин, и у Чехова. Примерно его можно выразить так: в жизни есть нечто серьезное, благородное, красивое - держитесь за него, делайте свое дело, не поддавайтесь среде. Примерно об этом он сказал жене.

- Ну и что? - спросила она.

- Надо помнить о вечности! - с некоторой долей раздражения сказал Шпагин.

- Мир вечности! - проговорила жена и отбросила носок, который штопала, в сторону, и лицо ее приняло негодующее, брезгливое выражение. - Все эти твои идеи о вечности сводятся к одному: сидеть на мизерной зарплате и чтобы я каждый день таскала полные сумки!

- Ты раздражена, - сказал Шпагин.

- Нет, я откровенна! - крикнула она, тяжело дыша. - Я откровенна!

Шпагин пожал плечами. Шел одиннадцатый час. В одиннадцать можно будет позвонить Рейнгольду.

Жена продолжала по инерции что-то бубнить себе под нос. Шпагин подумал, что нигде не найти человеку убежища более спокойного - как во всякий час удаляться в собственную душу.

Он зашел в маленькую комнату, где горел ночник. Наташка выснулась из-под одеяла и прошептала:

- А я не сплю!

Выражение у нее было живое и резвое, как у мальчишек, которые играют в футбол.

Послышалось мяуканье и из кровати дочери выпрыгнула кошка.

- Зачем ты ее взяла? - спросил Шпагин.

- Чтобы не спать!

Дверь открылась, на пороге стояла жена.

- А ну спать! - крикнула она.

Наташка мигом шлепнулась щекою на подушку.

Когда вышли в большую комнату, жена спросила:

- Что же ты Рейнгольду не звонишь?

- Сейчас позвоню, - сказал Шпагин и набрал номер телефона родителей Рейнгольда.

Откликнулся женский голос, должно быть, матери Рейнгольда, но имени ее Шпагин не помнил, поэтому просто поздоровался и попросил Аркадия.

- Его пока нет дома, - сказала мать.

- Когда он будет? - спросил Шпагин.

- А кто это говорит?

- Это Шпагин говорит.

- Митя? - неуверенно спросила мать Рейнгольда.

- Да.

- Давно я вас, Митя, не слышала, - сказала мать Рейнгольда.

Ему было неудобно вообще обращаться к ней, но спросить ее имя он почему-то стеснялся.

- Позвоните Аркаше утром, он спит до десяти.

- Хорошо, я позвоню, - сказал Шпагин.

И опять подумал о Нью-Йорке. И ему странно было видеть в Нью-Йорке Рейнгольда, идущего, например, по Пятой авеню, живущего где-то там... Где? Что он там делает? Как живет?

Нетерпение охватило Шпагина. Он долго не мог заснуть, выходил на кухню, курил, думал о Рейнгольде, о Нью-Йорке, о своем нарождающемся кооперативе "Китеже", о прекрасной девушке Марине, потом - о своей основной работе в НИИ, где оттрубил пятнадцать лет попусту, где никто ни фи́га не делал и не делает... Потом Шпагин вспомнил свою маму, которая умерла в семьдесят втором году и похоронена на Востряковском кладбище. Шпагин стал ругать себя за то, что давно не был на ее могиле, и ему стало тяжело от сознания, что благодаря хроническому безденежью он не может привести могилу в надлежащий вид.

Зайдя в уборную, Шпагин обнаружил, что не спускается вода. Унитаз засорился. Шпагин взял резиновую прокачку и принялся быстро работать ею. Вода не уходила. Тогда Шпагин набрал в ведро в ванной горячей воды и вылил в унитаз, одновременно работая прокачкой. Вода в унитазе резко чавкнула и всосалась в черное отверстие.

Глядя на обшарпанную уборную, Шпагин подумал о том, что необходимо сделать ремонт. И не только в сортире, но и в ванной, и в коридоре, и в комнатах, и в кухне. Везде. Сменить бы еще паркет. А где взять денег? На зарплату существовать невозможно. Нужен приработок не менее тысячи рублей в месяц. Чтобы заработать эти деньги, нужен кооператив. И он на следующей неделе у Шпагина будет. Но чтобы работать и на НИИ, и на кооператив - надо высунуть язык, то есть попросту заболеть. Возникает вопрос: что же делать? Ответа пока нет. Но ответ будет. Шпагин зашел в ванную и посмотрел на себя в зеркало: сильно постаревший субъект, лицо худое, малосимпатичное. Здоровье - неважное. Несомненно, он должен сидеть на диете, так как под ложечкой частенько возникает боль. Шпагин несколько раз принимал соляную кислоту. Вроде бы, она помогает, так как стул у него стал лучше. Но в весе Шпагин не увеличивается, и худоба делается стойкой. А между тем он иногда ест прилично. Во время отпуска на момент чуть-

чуть поправился, но потом как рукой сняло. За последнее время питание ухудшилось, и Шпагину все время хочется есть. Когда в тарелке супа или щей попадается черный перец, Шпагин его ест - и ему нравится, как перец дерет язык. Будь деньги, можно было бы питаться хорошо.

Шпагин еще раз взглянул на себя в зеркало, раскрыл беззубый рот. Надо бы серьезно заняться зубами - вытащить корни и сделать протезы, ведь нет ничего хуже, когда человек без зубов. Шпагин со дня на день откладывал это мероприятие. Когда он с кем-нибудь разговаривает, то ему кажется, что все смотрят ему в рот, а там нет зубов. Надо бы заняться ртом, а денег нет.

- Что это ты тут делаешь? - спросила сонным голосом жена.

- Бессонница, - сказал он, обернувшись.

- Пошли спать! - сказала она.

Ее лицо было сердито, но в глазах ее было много самой нежной любви к Шпагину. Жена стояла в прозрачной ночной сорочке, и сквозь нее были видны небольшие груди. Шпагин как бы впервые в жизни смотрел на эту женщину, как на свою собственность, и тут он заметил, что у нее прелестные золотистые брови. Мысль, что он сейчас может привлечь к себе эту женщину, обрадовала его.

Когда они легли, жена говорила, что очень любит его и желает, чтобы и он так же крепко любил ее.

И опять снился Шпагину Нью-Йорк. Он сидит в своей конторе, звонит телефон, Шпагин снимает трубку.

- Вас вызывает Филадельфия, сэр, - говорит секретарша голосом Маринки.

- Хорошо, - говорит Шпагин. - А кто говорит?

- Рейнгольд. Он предлагает открыть в Филадельфии филиал СП.

- Я не возражаю, - сказал Шпагин. - Зарегистрируйте в Филадельфии филиал под названием "Китеж"...

Утром жена, спеша на работу, бросила:

- Рейнгольд тебя не очень-то ценит!

- Ну, мы старые знакомые, - пролепетал Шпагин.

После этих слов он глянул на жену и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла. Шпагин мучительно старался придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Хотя в первый момент он хотел сказать ей какую-нибудь грубость, но

сдержался. И, сдерживая себя, он почувствовал неоспоримое преимущество перед женой, которая постоянно, по каждой мелочи срывалась на спор и на крик.

Что за женщина?! Или все они такие, рефлекторные, без какой-то высшей мудрости? Например, пошлет его в магазин за мясом, он, не торгуясь, потому что противно торговаться с мясником после того, как с ним в истошном крике торговались хозяйки, купит первый попавшийся кусок, принесет домой, а жена, уставив руки в боки, заорет: “Что ты принес?! Ты посмотри, что ты принес!”, - и будет тыкать этим куском в лицо Шпагину, а потом швырнет этот кусок мяса в раковину и будет безостановочно бубнить себе под нос всякие проклятия в адрес мужа. Он сядет в кресло перед телевизором, сдерживая в себе негодование, она войдет в комнату и закричит, как на вокзале: “Ну что ты сидишь, как пень?!”. Он встанет, пройдет по комнате, затем зайдет на кухню, где уже закипает принесенное им мясо, а жена скажет: “Что ты все ходишь тут?!”. Он пойдет в маленькую комнату, ляжет на диван с книгой, а жена ворвется через минуту и бросит: “Что ты разлегся, как барин?!”...

А он не противоречит, он сглаживает конфликты, он хочет добра. И на все это Шпагин находил утешение в мысли: все, что происходит в его жизни, не случайно, а обусловлено тысячью причин, и он свободен лишь отчасти. Люди с характером, волевые не раз говорили ему: “Займись собой и пошли всех к черту. Случится с тобой беда - очутишься в дураках и погибнешь”. Действительно, думал Шпагин, своим чувством добра он принес вред себе и людям. Альтруизм должен иметь границы. Громадное большинство людей в жизни руководствуется главным образом эгоизмом, и очень часто добрый человек приносит больше зла, чем добра. Влекомый потребностью к альтруизму, человек необдуманно рассыпает свои щедроты, и это приводит только к злу как для ближних, так и для него самого. Это полностью относится к Шпагину.

С одной стороны, жена во всем надеется на него, а с другой - нещадно эксплуатировать. Не нужно ее было причащать к деньгам, пусть небольшим, но все же. Зачем Шпагин со дня свадьбы стал ей отдавать всю зарплату! Давал бы сотню - и пусть бы крутилась! А теперь - не остановишь! Каждый месяц покупает себе и девочкам тряпье, а оно все дорожает и дорожает. В результате аппетиты у них растут: давай еще, еще, еще, давай французские сапоги, давай “варёнки”, давай то, давай се! А Шпагину - фигу! В итоге он

сидит без денег и без приличного костюма и утешает себя мыслью, что во всем виновата эпоха.

Итак, думал Шпагин, нельзя быть добрым без конца. Значит, надо резко изменить свою жизнь, даже с риском выйти в тираж, чем жить изо дня в день озабоченным, худеть и слушать крики жены. Когда-то триста рублей казались Шпагину огромными деньгами. А что теперь? Какие-то капли, брызги!

Шпагин подошел к телефону и стал звонить Рейнгольду, но там было занято. Шпагин прикрыл глаза и увидел себя в светлом кабинете на верхнем этаже здания, где расположился филиал его совместного предприятия. Он сидел за массивным столом и смотрел в окно поверх зданий Манхэттена вдаль на пролив Лонг-Айленд. Шпагин открыл глаза и еще раз набрал номер Рейнгольда. На сей раз послышались долгие гудки и трубку сняли. Подошла мать Рейнгольда. Она сказала, что Аркадий только что встал и умывается, и сейчас она его подзовет.

- Привет, старик! - через минуту услышал он голос Рейнгольда.
- Совсем закрутился. Вчера пришел домой в четыре утра!

Шпагин подавил первоначальное волнение и холодным тоном сказал, как говорил по телефону на работе:

- Ваш вопрос мне понятен. Но нужно встретиться тем не менее.

- Черт, мне сейчас нужно гнать на таможню в Шереметьево. Такая там волынка.

- И все же нужно встретиться сегодня.

- Вряд ли, старичок! - голос Рейнгольда оставался веселым, и вообще он всегда говорил как-то весело. - Дел по горло! А вечером еще в театр.

- Театр придется отложить, - сказал твердо Шпагин. - Я тебе устрою вечер поинтереснее. Кстати, ты же по Ленинградке будешь гнать из Шереметьева. Вот и давай встретимся у "Динамо" в три.

- В три? Почему так рано?

- Надо, Федя! - усмехнулся Шпагин. - Ты что думаешь, мы тут прозябаем! Я тебя в интересное местечко поведу.

Наступила пауза, после которой Рейнгольд с прежней веселостью крикнул в трубку:

- О'кей, старик! Рад тебя слышать, но еще больше буду рад тебя увидеть!

- Взаимно! - сказал Шпагин.

- Записываю. У "Динамо", стало быть?

- Да. У метро “Динамо”, выход к восточной трибуне. Я буду стоять у выхода из метро на улице ровно в три.

- Все. Буду. Гудбай! - крикнул Рейнгольд.

- Бай-бай! - крикнул Шпагин и с чувством удовлетворенности положил трубку. Тут же раздался звонок.

- Ты еще дома? - услышал он голос жены.

- Как видишь! - с некоторой долей раздражения сказал Шпагин.

- Тогда, я забыла, разогрей щи для Наташки!

- А где она? - спросил Шпагин.

- У бабы Зины. Ты что, не знаешь, что мы второй день в сад не ходим. Там карантин, ветрянка. Баба Зина ее приведет скоро, они гуляют... Рейнгольду дозвонился? - без перехода спросила она.

- Дозвонился.

- Ну и что?

- Ничего. Пересечемся в три.

- Где?

- У “Динамо”, - нехотя ответил Шпагин.

- Ага! - воскликнула жена. - К Пашке его потащить хочешь?

- Хочу!

- Пьяным не возвращайся!

“О, Господи! - так и хотелось воскликнуть Шпагину. - Перестань ты читать мне мораль!” Но у него хватило ума не высказывать этого вслух.

- Я вас понял и ваш вопрос держу в поле зрения, - деловым тоном сказал он. - Следовательно, я сегодня вряд ли попаду домой, потому что встретиться с Рейнгольдом и не выпить - не получится.

Жена бросила трубку и запищали короткие гудки.

Шпагин, взволнованный, чувствуя себя несчастным, начал ходить по комнате. Он спрашивал себя с упреком: почему он устроил себе семью с этой женщиной, почему вовремя не развелся, ведь характер жена показала уже через месяц после свадьбы, когда при всех в компании, когда он без ее согласия выпил лишнюю рюмку, когда все были веселы, когда всем хотелось смеяться и танцевать, - она ударила его по лицу...

Вновь зазвонил телефон, и Шпагин знал, что это опять звонит жена, чтобы сказать ему какую-нибудь гадость. Шпагин пересилил себя и снял трубку.

- Ты сволочь, последняя сволочь, которой нет дела до родной дочери! - кричала в истерике жена. - Подлец, негодяй, урод, выродок! Я таких сволочей...

Шпагин положил трубку и тут же набрал номер на свою работу. К телефону подошла Соня. Шпагин сказал:

- Я в Госснабе, потом еду в Госплан... Может быть, к концу дня подъеду, но, судя по загруженности, вряд ли.

- Что вы, что вы, Дмитрий Всеволодович, не волнуйтесь! - сказала Соня радостно, и Шпагин понял, что они все к обеду разбегутся.

Затем он позвонил Тапехе и Пиотровскому. Ефимову не дозволился. Наверно, заканчивает с юристом работу над уставом.

Последний звонок Шпагин сделал Пашке-художнику. Тот сразу подошел к телефону и с обычной хрипотой в голосе спросил:

- Ну, как там американец?!

- Так. Слушай, - сказал Шпагин. - Сейчас я выезжаю к тебе, мы должны что-нибудь взять. Вся надежда на тебя, у меня рубль. В три часа я встречаю американца у метро "Динамо".

- Понял, - несколько мрачновато сказал Пашка-художник. - Но у меня же не бездонная бочка. Ладно, что-нибудь придумаем, подъезжай!

В бывшей коммунальной квартире Пашка-художник жил теперь один со своей семьей: двадцатипятилетней новой женой и двумя детьми. Со старой женой Пашка развелся, оставил ей тоже двоих детей, разменял квартиру и получил комнату в этой коммуналке. Прошло семь лет, старухи-соседки поумирали, а дворничиха, которая тоже жила в этой квартире, получила квартиру на Юго-Западе. Пашка сразу же женился и начал плодиться, чтобы занять всю квартиру. Это ему удалось.

По длинному и мрачному коридору (Пашка собирался все сделать ремонт после выезда последней жилички) катался на трехколесном велосипеде сын Пашки, трехлетний Сережа. Полуторогодовалая Настя с пустышкой во рту ползала на огромной кухне в загоне. На кухне на веревках сохло белье. У плиты стояла растрепанная жена Пашки и что-то бурчала себе под нос.

Сам Пашка, худой и длинный, с козлиной бородкой, в майке и рейтузах, дымыл "Беломором" и гневно стрелял красными глазами в сторону жены, время от времени надрывно восклицая:

- Я тебе побубню щас! Я по жопе как врежу щас! Выдра деревенская!

Шпагин, чтобы не слушать дальнейших высказываний, пошел по коридору следом за велосипедистом Сережкой в комнату Пашки.

Одна стена была увешана старыми иконами в серебряных окладах и без таковых. Сбоку при входе висели на стене кресты, древние замки, скобы, подковы и амбарные ключи, почерневшие от времени. На противоположной стене красовались работы самого Пашки: яркие цветочные линии, ромбики, треугольники, лучи и вспышки.

Глядя на один из холстов, на котором изображались то ли рыбы, то ли птицы, Шпагин подумал о том, что перемена в эмоциях, происходящая в течение жизни, составляет один из великих законов жизни. А для того, чтобы понять смысл жизни, надо долго прожить.

В комнату ворвался Пашка и, размахивая длинными руками, пламенно заговорил:

- Ты представляешь, Митюха, взял из грязи, а она носом тут крутит! Вот я дурак-то был, позарился на молодость ее. Сучка, закрутила мне мозги! Семнадцать лет... семнадцать лет! А в тыковке - две извилины. Ладно, понимаю, ухаживала бы за мной! Нет. Черт с ней, ухаживала бы за детьми, шура, а то...

- Ты тут не очень-то себе много позволяй! - крикнула с порога жена, грозя Пашке половником.

Пашка схватил со стола банку гуаши и запустил в дверь, которая моментально закрылась.

- Видал?! Еще не то увидишь! Бляха-муха, прописал в Москве, а она уже барыней тут себя почувствовала. Рэкетом занимается. Вчера в брюках, помню, две полсотни оставалось, сегодня полез - нету! Выгребла, паразитка! Я ей покажу, как по чужим карманам шарить! Я ей, лахудре, zenки-то повышибаю!

- Послушай, Паш, оставь эмоции, надо о деле подумать, - мягко сказал Шпагин, но Пашка не обратил на это внимания.

- Дети сраные ползают, а она в парикмахерскую бегаёт, кудри завивает. Пашу-пашу, как лось, а ей все мало! - Пашка перевел дух, сел на стул и почесал пальцами, под ногтями которых засохла краска, узкую грудь, и продолжил: - Нет, ты пойми меня, Мить, обидно делается! Пашу-пашу, на прошлой неделе ей штуку дал, а она, шура, что бы ты думал? - пальто себе и сапоги себе! И опять по карманам полезла!

Дверь с шумом распахнулась и в комнату полетел комок из двух пятидесятирублевых бумажек.

- Подавись, алкоголик! - крикнула жена. - Я о детях болею, а не о тебе! Все, с меня хватит. Я сию же минуту уезжаю к маме.

- Ну и катись! Скатертью дорожка! - крикнул Пашка и несколько приуныл оттого, что жена так быстро сдалась и вернула деньги. А он-то рассчитывал на многочасовую осаду.

- Зря ты так, Паш, - миротворно произнес Шпагин.

- А с ней иначе нельзя, - уже спокойно сказал Пашка. - На шею сядет и повезешь! Да, повезешь! А куда денешься. Мне уже полета лет. Не разводиться же во второй раз.

Он встал и прошелся по комнате, жестикулируя длинными руками и как бы не желая верить, что жена так быстро сдалась. Тут произошло, думал он, какое-то странное, глупое недоразумение. Красные пятна выступили у него на лице. И когда, наконец, Шпагин сказал, что нужно ехать в мастерскую и покупать спиртное, он легко вздохнул и первый вышел из комнаты.

- Попьем кофейку, - сказал он.

Прошли на кухню. Жена, как ни в чем не бывало, делала бутерброды с ветчиной и помидорами.

- Чего там, - сказал Пашка негромко, - осталось у нас?

Жена достала из холодильника полбутылки коньяка. Перед тем, как приняться за бутерброды и кофе, который уже смолота жена и поставила на огонь вариться, Пашка со Шпагиным выпили по рюмке с таким видом, как будто это они выпили нечаянно, первый раз в жизни, и оба смутились и захохотали.

Закусывая, Пашка сказал жене:

- Вот всегда бы так - тихо, мирно. Я же для дела беру деньги. Не на безделье же! Американец сегодня придет!

- Какой американец? - спросила жена.

- Из Нью-Йорка, - небрежно сказал Шпагин. - Мой приятель.

- Ага, понятно, - сказала жена. - А он у тебя что-нибудь купит?

Пашка даже хмыкнул.

- Еще бы, куриная твоя голова! Мы сейчас сотню на стол положим, а за нее возьмем десять! Понимать же надо, правда?!

- Я понимаю, Пашенька, - сказала жена и поднесла к губам чашку кофе, отпопив при этом беленький мизинчик.

- Такие-то дела, дорогой мой, - сказал Пашка, обращаясь к Шпагину, - работать некогда!

- Ну, это тоже работа! - с чувством сказал Шпагин.

- Согласен! - сказал Пашка, отпивая мелкими глотками горячий кофе.

- А в Нью-Йорке сейчас тоже осень, - сказал Шпагин мечтательно. - Да, это самое своеобразное местечко в Северной Америке, у залива Лонг-Айленд, самого обжитого пространства во всем западном полушарии... Одним словом, Паша, встретим гостя из Нью-Йорка!

- Встретим! - воскликнул Пашка и поднялся из-за стола.

На Кольце, с угла Чехова, попытались поймать такси, но бесполезно потеряли двадцать минут, махнули рукой и пошли на метро. В метро было душно. Пашка потел и молчаливо смотрел по сторонам.

Вышли на "Динамо" и через Петровский парк, пешком, направились к гастроному, в просторечии именуемому "морским", потому что размещался в массивном здании "сталинского барокко", где проживали высшие чины морского флота. Было без пятнадцати два, а очередь в винный отдел уже вытянулась метров на двадцать. Сначала встали в хвост, но затем Пашка приметил какую-то знакомую женщину со спортивной сумкой, отошел с ней в сторону и поманил Шпагина.

- Конечно, нужно бы было коньяку взять, - сказал Пашка, - но не стоять же здесь до второго пришествия! А у тети Даши, - прошептал он, - водочка есть. Как? Берем? Думаю, американца стыдно встречать коньяком. Это не наш напиток. Наш напиток - водка! Давай, тетя Даш, пару бутылок!

- По тринадцать рублей, - сказала тетя Даша.

- По тринадцать - так по тринадцать! - сказал Пашка. - Значит, двадцать шесть! Держи пятьдесят и рубль, - Пашка протянул руку к Шпагину, тот мигом сообразил и достал свой обеденный рубль, испытав при этом чувство униженности и стыда.

- За угол отойдем, - сказала тетя Даша, оглядываясь по сторонам.

В грязном дворе у пустых ящиков тетя Даша положила в кейс Шпагина пару бутылок водки и отдала Пашке двадцатипятирублевую сдачу. Тут же у ящиков какие-то два мужика в желтых бушлатах пили четвертинку из горла.

В гастрономе Пашке приглянулась огромная индейка, и он купил ее, сказав при этом:

- Слышал, что американцы очень любят индеек!

Между тем время близилось к трем часам, и Шпагин не пошел с Пашкой в мастерскую, а не спеша направился через парк к метро.

Светило солнце, нагревая хвою елей, на зеленом газоне играли дети, на скамейках сидели люди с газетами. Дорожка, усыпанная кирпичной крошкой, вывела Шпагина к клумбе, а за нею показалась ограда стадиона. Погода для октября была на редкость великолепна. Желтые листья в солнечном свете напоминали кусочки сусального золота, особенно тогда, когда трепетали от легкого ветерка. На стадионе звучала музыка. В воздухе витал пряный, дразнящий привкус праздника.

Шпагин волновался.

К метро он подошел без пяти минут и обнаружил, что здесь нет выхода к восточной трибуне, а только к северной и западной. Стало быть, Рейнгольд может оказаться у другого выхода: к южной трибуне. Было уже десять минут четвертого, когда Шпагин решил сбежать к другому выходу, и он уже пошел к другому выходу, но издали заметил Рейнгольда, идущего от того выхода к этому.

- Аркашка! - радостно воскликнул Шпагин.

Рейнгольд вскинул руку вверх. Одет он был в грубую брезентовую куртку с многочисленными "молниями" и кожаными наплечниками, в джинсы, белые ботинки с высокой шнуровкой, на голове красовалась жокейская кепочка темно-синего цвета с золотым орлом над длинным козырьком. Через плечо была перекинута голубая пузатая сумка на "молнии", с золотистой надписью: "Самбука".

Лицо Рейнгольда сияло в улыбке. Они обнялись и расцеловались. И Шпагин почувствовал, что и пахнет Рейнгольд по-американски.

- Я так и понял, что ты у того входа стоял! - воскликнул Шпагин. - Смотрю-смотрю, а тебя все нет!

- А я там, как дурак, торчу! - ухмыльнулся Рейнгольд. - Я на машине приехал из Шереметьева. Ну, куда ты меня поведешь?

Шпагин жадным взором оглядывал Рейнгольда.

- К художнику в мастерскую! - сказал Шпагин.

Они уже шли вдоль забора стадиона по сухому тротуару на Масловку.

- Надо бы взять что-нибудь, - сказал Рейнгольд.

- Уже взяли!

- Ну мне же неудобно с пустыми руками, - сказал Рейнгольд.

- Удобно! Мы принимаем... Лучше расскажи, как ты туда попал и как там живешь?

Рейнгольд взглянул на Шпагина с ироничной улыбкой и, блеснув голубыми глазами, сказал:

- Все расскажу, погоди... Ты о себе расскажи!
- Ты когда уехал?
- В семьдесят девятом, - сказал Рейнгольд.
- Ну, значит, в восьмидесятом я защитился...
- Ты гений, Митька! - еще веселее воскликнул Рейнгольд. Он шел, раскачиваясь из стороны в сторону, как матрос. - Работаешь там же?

- Там. Как защитился - дали сектор, - хладнокровно сообщил Шпагин, ускоряя шаг.

- Молоток! - сказал Рейнгольд. - А все же, к кому мы идем?
- К Пашке Натапову, не слыхал?!
- Пока нет.
- Хороший художник, - сказал Шпагин. - Тут я ему помог выставку одну устроить, через ребят из Совмина!

- У тебя там связи? - с недоверчивой веселостью спросил Рейнгольд, и Шпагин впервые обратил внимание на его белые крепкие зубы.

- У тебя, Аркаш, смотрю, зубы превосходные. Вставил?
- Да ты что?! Спятил. Это ж мои, родненькие зубки!
- А у меня, черт, все повывлетали, - огорченно сказал Шпагин. - От печени, говорят, зависит. Печень у меня ни к черту.

- Ну, это оттого, что ты пил по-черному! - вдруг сказал Рейнгольд. Шпагин смутился, он не помнил, чтобы когда-то сильно выпивал с Рейнгольдом.

- Что, забыл, как ты мне звонил однажды ночью? Говоришь, Аркашка, приезжай, а то я тут погибну! Я, как последний идиот, на такси к тебе помчался, а ты только после сотого звонка в дверь открыл и вытарачил на меня глаза: откуда, мол, я взялся?! Кричишь, Аркашка, откуда, как я рад тебя видеть!

- Это не было системой, это ты попал неудачно, - чуть порозовев, сказал Шпагин. - А вообще, скурвиться тут можно было. Кругом - стены.

- Это да, - весело вздохнул Рейнгольд. - Страна Лимония!
- Ты лучше скажи, как там Нью-Йорк?
- Да расскажу, успею, - усмехнулся Рейнгольд. - Устал сегодня, как собака. На таможене долбоносы собрались... У меня груз еще не весь пришел...

Через узкий проход они вышли к трамвайной линии и, свернув направо, пошли по Масловке к дому Пашки-художника. Шпагин широко распахнул стеклянную дверь с бронзовой ручкой и нажал на кнопку кодированного устройства, сказав при этом Рейнгольду:

- Запомни код: ноль - семьдесят восемь, как бутылка портвейна.

- Понял.

- Возле сетчатой шахты лифта в будке сидела вахтерша. Как только они вошли, вахтерша спросила:

- Вы к кому?

- К Натапову! - сказал Шпагин.

- Шестой этаж, - сказала вахтерша. - Он там.

Темная полировка лифта была исцарапана иксами и игреками.

Лифт, поднимая пассажиров, сильно гудел.

- Ну, как тут у вас? В штатах только о России и говорят, бум какой-то. Перестройка! А на самом деле?

- Вот если я свою фирму открою, - сказал Шпагин, - то она есть, а если мне не дадут ее открыть - то, стало быть, ее нет.

Рейнгольд с удивлением воззрился на Шпагина.

- Какую фирму? - спросил он.

- Потом расскажу. Ты не спешишь с рассказом о Нью-Йорке, ну и я не буду торопиться. Присмотримся друг к другу, - сказал Шпагин и подмигнул Рейнгольду.

- Что это ты значок на груди носишь? - спросил Рейнгольд.

- Дочка наградила. У нас в застое был сухостой рук с орденами!

Лифт остановился на последнем, шестом этаже. В углу широкой площадки под окном на цементном полу застыла лужа коричневой краски, валялось битое стекло, лежала лестница-стремянка и возле нее - сломанный табурет. Справа от лифта располагалось три серые двери, в одну из них - двустворчатую, - где на гвозде висела записка: "Художник работает! Просьба - не мешать!", Шпагин уверенно постучал кулаком три раза, а затем мелкой дробью еще пять.

За дверью послышались шаги, загремела цепочка, дверь открылась, и на пороге предстал Пашка, в белом фартуке, заляпанном красками, надетом на голое тело. Пашка был в длинных полосатых трусах. Сухие жилистые ноги тоже были заляпаны в некоторых местах краской. В правой руке Пашка держал палитру - фанерку от посылочного ящика, на которой пестрыми островками

поблескивали масляные краски, как крем на торте, а в левой, между пальцами, торчало несколько кистей.

- Не обращайтесь на меня вниманья, - сказал Пашка, пятясь от двери в глубь мастерской. - У меня тут жарница! - и он кивнул под потолок, где проходила толстая труба парового отопления.

Затем Пашка бросил палитру на стул, кисти сунул в банку, вытер руки тряпкой, смоченной в бензине, и, протянув руку Рейнгольду, представился:

- Великий художник земли русской Павел Натапов!

- Аркадий, - сказал Рейнгольд и бросил сумку возле мольберта, на котором стояла начатая недавно картина.

Окинув взором мастерскую, где на стенах висели Пашкины картины сплошняком, штук пятьдесят, так что на стене живого места не было, Рейнгольд воскликнул:

- Потрясающе!

Яркий, бьющий по глазам цвет Пашкиных картин действительно произвел сильное впечатление на Рейнгольда: он, вскинув голову и заложив руки за спину, ходил вдоль стен и восхищенно вздыхал.

- Очень на Зверева похоже, - наконец сказал он. - Но ярче, экспрессивнее!

- Хм, на Зверева! - сказал Натапов, извлекая из старенького холодильника, который стоял за занавеской у двери, огромную индейку. - Да Зверев тут дневал и ночевал... оригинальный был человек! Чистюля! На одном ботинке белые шнурки, на другом черные... Помню, зашел, ботинки эти надеты на босу ногу, принес бутылку минеральной воды, сел к столу, открыл пробку, а горлышко стал протирать мятым сопливым носовым платком, достал этот носовой комок, сидит и трет горлышко! - Пашка захохотал, отчего затряслась его козлиная борода. - Да я его тут учил рисовать, а он взял да помер и стал знаменитым... Во дела-то! Что и мне подыхать что ли, чтобы на весь мир прославиться? Нет, ребята, я жить хочу! - и он принялся сдирать с индейки целлофан.

Рейнгольд, сглотив слюну, глядя на индейку, сказал:

- Ну, вы гуляете, ребята!

- А чего ж не погулять? - сказал Пашка. - У вас в Нью-Йорке, наверно, тоже так гуляют?!

- Нет. Я ни разу целую не покупал, - сказал Рейнгольд. - Очень дорого.

Шпагин с некоторым удивлением посмотрел на американского друга.

Пашка положил розоватую индейку на стол, упер руки в боки и уставился, не отводя глаз, на нее. Так он стоял минуту или две.

А Рейнгольд положил руку на плечо Шпагина и вполголоса говорил:

- Ну, старик, я благодарен тебе. Великолепный художник. - Глаза его горели. Он прошептал: - Продаст он мне что-нибудь?

Шпагин усмехнулся и шепнул:

- Не спеши, еще не вечер!

Тем временем Пашка достал откуда-то ручную пилу и крикнул Шпагину:

- Держи птицу, чтобы не улетела!

Шпагин ухватился за ноги индейки. Рейнгольд только теперь снял свою нью-йоркскую куртку на "молниях", повесил на крючок у двери и снял кепочку. Шпагин, взглянув на его лысую голову, даже воскликнул:

- Где же волосы твои, Аркашка?!

Рейнгольд скорчил жалостливую физиономию и провел с сожалением ладонью по полированной поверхности черепа. Затем, увидев в руках Пашки ножовку и то, что он ею принялся пилить индейку, Рейнгольд расхохотался и плюхнулся на диван, который стоял сбоку от окна.

Распилив индейку на небольшие куски, Пашка понес их в большой эмалированной кастрюле варить на кухню, которая помещалась на пятом этаже. Этот дом построили в тридцатых годах специально для художников, чтобы они здесь писали картины и жили. Ванные комнаты, кухни и уборные были на всех этажах, кроме шестого, так что Пашка пользовался кухней пятого этажа, за что платил ответственной за этаж, старушке-художнице, которая уже не рисовала лет двадцать, трешник. Таких не рисующих стариков и старух в доме было полным полно, и Пашка часто в разговоре со Шпагиным возмущался, что эти "старые перечницы", занимают огромные площади, а молодежи работать негде, тьются по чердакам и подвалам...

Вернувшись с кухни, Пашка скинул фартук, оделся и аккуратно причесал свою козлиную бородку перед зеркалом. Потом он накрыл журнальный столик широкой салфеткой и принялся сервировать его. В холодильнике у него оказалась баночка черной ик-

ры, вяленое армянское мясо в оболочке специй, хорошая колбаса и банка рыночной квашеной капусты.

Когда сели к столу, Пашка в довершение всего задвинул холщовые шторы на широком окне и зажег штук пятнадцать свечей, расставленных в майонезных банках по всей мастерской на полочках, шкафчиках, на большом столе, на мольберте.

- Ну вот вам и нью-йоркский ресторан! - сказал удовлетворенно Пашка, и все сразу же жадно выпили холодной водки за встречу.

Когда прилично выпили и подзакусили, Пашка начал было говорить речь, но слишком примитивную, и выражения его были не точны. Он не кончил, так как Рейнгольд заговорил о чем-то со Шпагиным, закурил папиросу и сел. Он сказал, что жить в Москве - это счастье, потому что одно дело - столица, другое - провинция. Москва - центр культуры. Мы можем слушать чудесные концерты, из Ленинской библиотеки выписать любую книгу. В Москве - галереи, академии, институты, музеи и прочее. Поэтому в культурном отношении нам все дано. На этом и пришлось оборвать Пашке свое словоизлияние. Он сидел теперь, курил и думал, что получилось впечатление, что только в Москве и можно жить, а Нью-Йорк - это провинция и там захиреешь. Поглядывая на Рейнгольда, Пашка решил: больше не выступать экспромтом, а то можно так "навалить", что и не расхлебашь.

Пашка взглянул на пустые бутылки и что-то промычал неопределенное. Затем встал, протянул руку к Рейнгольду и прохрипел:

- Покажь паспорт!

- Ты чего, Паш? - удивился Шпагин.

- А ничего! - крикнул Пашка. - Никакой он не мириканец, по-русски шарашит, как нечего делать!

Рейнгольд расхохотался, встал, пошел к своей брезентовой куртке и принес Пашке свой паспорт. То была синяя книжечка с золотым тиснением формата советского паспорта. Пашка шмыгнул носом, почесал бородку и открыл паспорт. На него глянул с цветной фотографии такой же лысый и веселый Рейнгольд - гражданин Соединенных Штатов Америки.

- Екалэмэнэ! - воскликнул Пашка. - Гадом буду, настоящий мириканец! - Он начал читать фамилию владельца паспорта, но язык у Пашки заплетался, и он прочитал по слогам: - Рей-ган...

Переварив в голове эту фамилию, Пашка вдруг заорал так, что Шпагин даже втянул голову в плечи.

Пашка крикнул:

- Во дает! Сын Рейгана! Чего же молчал-то, а?! - и полез целоваться к Рейнгольду.

А тот давился слезами от хохота и только кивал в знак согласия, что он сын Рейгана.

В Москве стояла золотая осень, и Шпагину казалось, что он теперь сидит в Нью-Йорке, в осеннем Нью-Йорке, стоит лишь выйти на улицу, как увидишь залив, статую Свободы и небоскребы. Он даже пропел куплет из известной песни Вилли Токарева, где были такие слова:

Небоскребы, небоскребы,
А я маленький такой...

- А помнишь, старик, капитана Кофмана? - вдруг спросил Рейнгольд, закуривая "Мальборо".

В памяти Шпагина возникла сутулая, совершенно не военная фигура капитана Кофмана, который был "покупателем", то есть приезжал в Москву за новобранцами, в числе которых были и Рейнгольд со Шпагиным, только что познакомившиеся в фойе клуба на Профсоюзной, куда призывников свезли со всей Москвы от своих военкоматов.

- Какой еще такой капитан? - спросил Пашка.

- Мы в армии вместе служили, - сказал Шпагин, намазывая на хлеб с маслом черную икру.

- Екалэмэне! - воскликнул Пашка и обратился к Рейнгольду, который положил ногу на ногу и развалился на диване: - Ты что, советским был?

Рейнгольд опять расхохотался, он хохотал и никак не мог понять: Пашка на самом деле такой тупой или прикидывается.

- Был! - сказал Рейнгольд. - И сплыл!

Пашка промолчал, засопел носом и полез руками в кастрюлю за индейкой. Вытащив приличный кусок, он сунул его Рейнгольду.

- Жуй! Поправляйся! - сказал Пашка. - Это тебе не Нью-Йорк, едрена вошь! Это тебе - Москва-матушка!

Рейнгольд нехотя принял кусок белого мяса и положил его на тарелку. Облизав пальцы, сказал:

- Эх, Пашка, тут у тебя лучше, чем в Нью-Йорке... Да что там говорить, - Рейнгольд взмахнул рукой, - тут у тебя самый настоящий Нью-Йорк!

Пашка просиял от такого неслыханного комплимента и опять полез обниматься к Рейнгольду, который стучал по его спине рукой и молчаливо, с совершенно серьезным лицом вопрошал Шпагина, мол, что дальше с этим художником делать?

Наобнимавшись, Пашка уныло обвел взглядом стол и грустно проговорил:

- Эх, Нью-Йорк, Нью-Йорк, а выпить-то нечего, - затем, после небольшой паузы, добавил: - Неужели в Нью-Йорке выпить нечего, а?! Не может такого быть!

- Я же говорил, нужно было взять еще, - сказал Рейнгольд Шпагину и взглянул на часы. - У вас в Москве до каких торгуют?

- До семи, - сказал Шпагин.

- Уже опоздали, - вставил Пашка, вглядываясь в свете свечей в циферблат своих часов.

Рейнгольд резко встал, прошел к двери, надел куртку и кепочку и сказал Шпагину:

- Пошли!

Пашка в предвкушении новой порции выпивки просиял.

После выпитого и Рейнгольд, и Шпагин были возбуждены. Рейнгольд в лифте сказал:

- У тебя девиц знакомых нет, выписал бы!

Шпагин моментально сообразил и нажал на клавишу "стоп", лифт остановился как раз на пятом этаже. Там на стене висел коммунальный телефон. Шпагин позвонил Маринке, она была дома и сразу же согласилась подъехать.

- С подругой! - крикнул Шпагин.

- Зачем? - спросила Маринка.

- Для американца! - крикнул Шпагин.

У подъезда поймали черную "Волгу". Сели на заднее сиденье.

- И все же, - сказал Шпагин, - чем ты занимаешься?

Рейнгольд улыбнулся.

- Делом, - сказал он.

Шпагин понял, что Рейнгольду не очень-то хочется рассказывать о своем житье-бытье в Нью-Йорке.

В машине наступило молчание. Шофер выскочил на Ленинский проспект и по команде "Стоп!" остановился у дома, в котором жили родители Рейнгольда. Машину не отпустили. Когда поднимались в лифте, Рейнгольд сказал, что маму зовут Валентина Ивановна, а отца Семен Исаакович. Имя матери Шпагин забыл напрочь, а вот отче-

ство отца - Исаакович - помнил. Однажды отец Рейнгольда приезжал в Остров, в часть, где они служили, на своей "Волге", с оленем на капоте, друзей по этому случаю отпустили в увольнение, и он катал их до Новгорода и обратно.

Дверь открыла Валентина Ивановна и, увидев Шпагина, всплеснула руками.

- Как вы, Митя, постарели! И эти усы... У вас, по-моему, раньше не было усов?

Шпагин смущенно пожал плечами и сказал:

- Не было,

Он не помнил, сколько раз бывал в гостях у Рейнгольда после армии, не помнил лица матери, не помнил этой квартиры. А вот мать Рейнгольда его хорошо запомнила.

Прихожая была завалена дорогами кожаными чемоданами. В комнате, что располагалась напротив кухни, штабелями стояли магнитофоны "Сони", ну, штук двадцать магнитофонов. На кровати лежал раскрытый чемодан, доверху заваленный женской косметикой и бижутерией. Возле чемодана высилась стопка голубых джинсов в полиэтиленовых фирменных пакетах.

Рейнгольд вытащил из-под кровати огромную сумку с надписью: "Бойз" и протянул ее Шпагину со словами:

- Держи!

- Да брось ты, Аркашк! - выдавил тот.

А Рейнгольд тем временем стал бросать в сумку косметику, бижутерию, пару пакетов с джинсами, пачку женских колготок, несколько маек с броскими надписями по-английски на них, а сверху поставил два магнитофона "Сони".

- Это вам все с Пашкой, по одному комплекту.

Шпагин даже вспотел от таких подарков. В комнату заглянул Семен Исаакович, высокий, бодрый, подтянутый старик с орлиным носом и седым ободком волос вокруг лысины.

- Прошу за стол! - с чувством сказал он.

- Папа, да нам некогда, спешим, как лешие! - бросил Рейнгольд.

Семен Исаакович расставил руки в стороны и воскликнул:

- Не принимаю никаких оправданий! За стол - и никаких гвоздей!

Переглянувшись, друзья пошли в большую комнату. Справа стоял белый рояль, слева - стена книжных полок.

Стулья были в белых чехлах, на овальном большом столе - белоснежная, отливающая синевой крахмальная скатерть. На письменном столе у окна стояла целая радиосистема "Сони".

Появилась Валентина Ивановна с подносом в руках. На стол встала бутылка в виде глыбы льда - с водкой "Смирнофф" и хрустальные рюмочки. Затем Валентина Ивановна принесла балык, зеленые огурцы, горячую отварную картошку, посыпанную укропом, и шипящие котлеты "по-киевски".

Выпили, закусили.

Семен Исаакович нажал клавишу системы, женский, несколько вульгарный голос запел: "На Брайтоне мы встретимся с тобою..."

- Летом мы были в гостях у Аркадия, - сказал Семен Исаакович и налил еще по рюмке.

- Вот фотографии, - сказала Валентина Ивановна, протягивая Шпагину коробку.

На цветных снимках Шпагин увидел настоящий Нью-Йорк, улыбающиеся физиономии Аркадия, Семена Исааковича и Валентины Ивановны.

- А это на Аркашкином дне рождения у него дома, - указал Семен Исаакович пальцем на фотографию, на которой изображалась огромная зала, дорого обставленная, и сидели за длиннющим столом гости, а во главе стола, вдали от фотографа, сидел сам Аркадий с какой-то женщиной, должно быть, женой. На всякий случай Шпагин спросил:

- Это жена?

- Да, - сказал Рейнгольд. - Она сейчас в театре. Кроет, наверно, меня на чем свет стоит!

- Надо было тебе позвонить нам, - сказала Валентина Ивановна. - Вика несколько раз звонила, волновалась...

Рейнгольд махнул на это рукой.

- Мы у такого художника сидим!

Шпагин водил глазами по книгам: сплошные собрания сочинений, нет того разнообразия, какой существует у самого Шпагина. Семен Исаакович перехватил взгляд Шпагина и сказал:

- Сейчас я вам такую книжечку покажу! - и полез на стул.

- Упадешь же, Сема! - воскликнула Валентина Ивановна, но Семен Исаакович уже протягивал Шпагину толстую книгу в добротном переплете.

На титульном листе стоял автограф: "Дорогому Семену, знаточку всех наук и искусств. - Н. Бухарин. 1926 г. Москва".

- Потрясающе! - сказал Шпагин, пролистывая книгу.

Рейнгольд вскочил и крикнул:

- Митька, нас же машина ждет!

Наскоро попрощавшись, прихватив пару бутылок "Смирнофа", ринулись на улицу. Шофер ждал, но когда садились, что-то пробурчал, как старая бабка.

У метро "Динамо" тормознули, подхватили Маринку с подружкой, светленькой, сильно покрашенной Линой. Маринка была в черном длиннополом плаще с погончиками, а Лина - в плечистом серебристом.

Рейнгольд засиял. А затем всех, даже шофера, рассмешил словами:

- Все блондинки очаровательны (Маринка была черненькая и поэтому при этом насупилась, а Рейнгольд выкрутился), зато брюнетки таинственны!

По машине разлился аромат духов.

Долго колотили в дверь Мастерской. Наконец появился заspanный Пашка.

- Ух ты! - воскликнул он, когда Рейнгольд поставил на стол американскую водку. - Заснул в Москве, проснулся в Нью-Йорке.

У ошеломленных семнадцатилетних девиц глаза поблескивали от живописной роскоши мастерской, от свечей, от живого американца и оттого, что они впервые сюда попали. Маринка вела себя более надменно, потому что считала, что именно она привела сюда Лину. Между тем Лина, сидевшая уже на диване рядом с Рейнгольдом, забросила ногу на ногу и одернула юбку, обнажившую значительную часть красивых ног выше колена. И все мужчины машинально опустили глаза к краю ее юбки.

Маринка это быстро уловила, встала, подошла к какой-то картине, затем вернулась и поставила одну ногу на невысокий табурет, на котором до этого сидел Пашка, отошедший к шкафчику за тарелками. Шпагин украдкой взглянул на нее: юбка, как и у Лины, задралась, а стройные ноги в прозрачных черных чулках выглядят еще привлекательнее, чем у Лины.

Молодец, Маринка, подумал Шпагин и от удовольствия погладил усы. Шпагин почувствовал, как в нем пробуждается желание, но заставил мысли следовать другим курсом.

Пашка поставил тарелки для девушек, посопел и обидчиво сказал:

- А мне подружку?

Маринка засмеялась, а Лина предложила позвонить какой-то Эрне. Шагин проводил подруг к телефону, и пока Лина говорила с Эрной, показал Маринке, где находится ванная и туалет. Показывая ванную, он привлек Маринку к себе и жадно поцеловал, и Маринка ему отвечала полной покорностью и страстью.

Тем временем Лина объясняла Эрне, как найти Дом художников.

- А помнишь, как я провожал тебя в первый вечер? - сказал Шагин Маринке. - Тогда шел дождь, было темно...

Огонек желания все разгорался в его душе. Лина, стройная, светленькая, красивая, и Маринка, с огромными карими глазами, длинноногая, казались ему ненастоящими. И когда они поднимались наверх, Шагин шел с таким чувством, как будто видит хороший сон или действительно перенесся над океаном в Нью-Йорк.

Когда вошли в мастерскую, Лина остановилась перед одной из картин и воскликнула:

- Как здорово нарисована эта вспышка!

Пашка подошел к ней и глубокомысленно сказал:

- В рамках вечности мы тоже мимолетная вспышка.

Из-за стены послышался какой-то стук, должно быть, стучали молотком. Пашка приставил палец к губам и сказал:

- Сосед пришел. Тут перегородка тонкая, все слышно. Раньше была огромная мастерская, метров в сто, потом перегородили. Дралась за мастерские, - он помолчал, а потом тихо продолжил: - Такой на букву "м" там обитает, - Пашка кивнул на стенку, - сталинист. Тут столкнулся с ним в лифте. Везет грязный серый холст. Еле разглядел, а там - Крупская с Горьким. Крупская сидит за столом, а Горький стоит и речь толкает. Жуть! Как будто ему красок не дают, такая серость, такая грязь!

Сказав это, Пашка пошел к двери, открыл ее, прислушался, затем вышел из мастерской, прикрыв за собой дверь.

- Ты любишь меня? - спросила Маринка у Шагина шепотом.

- Разумеется, - шепнул он ей на ухо.

Вернулся Пашка и сказал, что сосед заскочил на минутку за почтовым ящиком. Действительно, через несколько минут его дверь хлопнула, а затем и дверь лифта на площадке.

- Наливай! - крикнул Пашка и топнул радостно ногой.

Маринка сказала:

- Мне у вас здесь очень нравится!

Она говорила весело. И Шпагин тоже улыбнулся; ему было приятно, что у него Маринка такая веселая и словоохотливая. Потом он отвел в сторону Пашку и, кивая на сумку, сказал:

- Тут тебе презент от американца...

- Какой?

- Солидный!

Пашка в нетерпении сказал:

- Пойдем в коридор, посмотрим! - И, схватив сумку, потащился на площадку к лифту.

Шпагин обернулся и увидел, что Рейнгольд в дали мастерской занимает каким-то разговором Маринку и Лину.

- Ух ты! - воскликнул Пашка, обнаружив "Сони", джинсы и майки. - Джинсы я своему старшему сыну отдам. Вот будет доволен-то! - Он стал хватать свою долю презента и, крадучись, таскать в мастерскую и складывать в шкаф, который стоял у двери за занавеской.

Все это Пашка проделывал необычайно расторопно и с завидной жадностью, несмотря на то, что был пьян. Глядя на него, Шпагин подумал о том, что если человек живет вещами, то он должен испытать разочарование, ибо все суета. Подлинная жизнь - в себе, но и она оборвется. Что же происходит с человеком? В чем смысл и разгадка? В предположении, что есть Высшая сила, ей-то и надо послужить. Все прочее - химера. Так как это предположение - наивысшее, что может дать нам разум, то предположение переходит в уверенность, что жизнь не шутка и мы не напрасно живем. Как только мы встанем на эту точку зрения и утвердимся на ней, прогресс жизни обеспечен по формуле: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный". Итак, совершенство во всем - вот задача жизни. Отсюда труд - не ремесло, а творчество во славу Божию. Известно, что взявшийся за это не посрамится. Мысли мыслями, однако сам Шпагин в жизни достаточно часто поступал иначе, как бы деля при этом свою жизнь на две части: идеальную и практическую.

Дома у него хранился документ, которому 107 лет: это запись о браке его деда. В нем говорится, что его дед - "бывший ученик Владимирского духовного училища", а бабка - дочь "бывшего дворового человека"... От деда сохранилась Библия в кожаном переплете и с медными застежками. Изредка на ночь он перелистывал ее...

- Кто он вообще такой? - спросил Пашка о Рейнгольде. - Ты знаешь?

- Занимается делом, вот и все, - сказал Шпагин.

- Но где он живет? Чем занимается?

- Ну вот, теперь и ты туда же, - протянул Шпагин с ленивой усмешкой. - Могу сказать одно: он мне как-то говорил, что занимается делом... А что это значит, я и сам пока не знаю. Но можно предположить, что дело у него солидное. Аркашка кончил университет, филологический факультет. А я на экономическом учился. Мы сразу же после армии поступили. Потом наши пути несколько разошлись: я устроился в НИИ, а он стал работать в какой-то библиотеке. Да, между прочим, он был свидетелем на моей свадьбе. Помню, примчался с огромным букетом бордовых пионов. К концу семидесятых мы виделись все реже и реже. Как-то он мне позвонил и сказал, что женится. Но у меня уже был другой круг знакомых и я почему-то не попал к нему на свадьбу, хотя моя жена настаивала, чтобы мы поехали. А потом и вовсе след его простыл. Пару раз жена вспоминала о нем и высказывала предположение, что он уехал. И вот приехал и сразу же позвонил мне. Значит, у него сохранилась определенная тяга ко мне.

- Армия сблизает, - с уверенностью протянул Пашка, хотя сам в армии не служил.

Они вернулись к столу.

- Митюха, а помнишь, как мы с тобой выписали журнал "Театр"? - воскликнул Рейнгольд, наливая девицам водки "Смирнофф".

- Было дело! - откликнулся Шпагин.

- Капитан Кофман обалдел, - продолжил Рейнгольд. - В казарме двухъярусные койки, двести пятьдесят рыл, а тут какие-то вшивые москвичи журнал "Театр" выписали!

- Это почему же "вшивые"?! - с напускной грозностью спросил Пашка и залпом выпил.

Маринка улыбнулась Шпагину. Такую улыбку, полную неиссякаемой ободрающей силы, встретить удастся нечасто. Казалась эта улыбка обращенной ко всему миру, но так как мир - слишком абстрактная категория, то эта улыбка всецело выпала на долю Шпагина.

Лина встала с дивана и сказала Маринке, что пора встречать Эрну. Они поспешили вниз.

Только они вышли, как Рейнгольд попросил включить верхний свет. После полумрака яркое электрическое освещение больно ударило по глазам.

- Это продается? - ткнул пальцем в одну картину Рейнгольд.

Пашка, подумав, сказал:

- Нет.

- Хорошо. А это?!

- Нет.

- Ну, а вторая от угла продается?!

- Сверху или снизу? - поинтересовался Пашка, нехотя водя мутноватым взором по картинам.

Рейнгольд раздраженно бросил:

- Сверху!

- Не продает-си, - с некоторой издевкой в голосе сказал Пашка, приставив это идиотское окончание "си".

- А эта? - указал на первую попавшуюся картину Рейнгольд.

- И эта не продает-си!

Рейнгольд с еще большим раздражением сказал:

- Так что же у тебя продается-то?! - и с пародией на Пашкину издевку добавил: - Что продает-си! - он сделал очень сильное ударение на "си".

В свою очередь и Пашка приударил:

- А ничего не продает-си! Не продает-си, и все!

Рейнгольд с хмурой физиономией обернулся на Шпагина. Шпагин беззвучно хохотал. А Пашка лениво прохаживался по мастерской, чесал бородку и что-то бормотал себе под нос.

- Гони назад тогда "Сонку" и шмотье! - крикнул Рейнгольд.

Пашка моментально бросился к шкафу и принялся выставлять прямо на пол подарки, приговаривая:

- Да бери все к едреной матери! Ничего мне не нужно! Он, понимаешь, картины покупать пришел! Да у меня тут через день капиталисты бывают, выпрашивают, а я им - во! - Пашка сложил из пальцев знаменитую фигуру под названием - "фига". - Понял? Из Нью-Йорка он приехал! Да хоть с Марса! Ты возьми кисточку и покалякай, а я на тебя посмотрю! Много вас таких! Ага, знаем. Ты заберешь картину, а я без всего останусь...

- Я же заплачу! - крикнул Рейнгольд.

- Заплатишь... А я без картины и без денег останусь!

- Но деньги-то ты получишь! - кричал Рейнгольд, размахивая руками и входя в нешуточный раж.

- Получу. И завтра их не будет. Денег не будет и картины не будет! - орал Пашка и тоже размахивал руками.

- Маразм какой-то! - в отчаянии опустил руки Рейнгольд, побежал к столу, налил рюмку и поспешно опрокинул ее в рот.

- Мне налей! - крикнул Пашка.

- Сам наливай! - обидчиво буркнул Рейнгольд и подошел к Шпагину. - Он что, вообще что ли? - спросил он. - Недоделанный, что ли?

Пока Пашка наливал себе, стоя спиной, Шпагин прошептал:

- Это он так своеобразно торгуется. Ты деньги выкладывай, и он отдаст, что тебе нужно.

- У меня денег с собой нет, - прошептал Рейнгольд.

- Ну, тогда дело плохо, - сказал Шпагин. - Тогда он - непоколебим. Ему нужно только купюры показать...

- Я тогда слетаю на такси за деньгами...

- А у тебя с собой ничего нет?

- Есть пару тысяч, - вздохнул Рейнгольд, - долларов... Но это же для него будет мало, - неуверенно закончил он.

- Показывай ему! - приказным тоном сказал Шпагин.

Пашка в это время не спеша вытягивал свою рюмку. Рейнгольд вытащил из тугого бумажника пачку долларов и, как старый картежник, бросил их на стол перед Пашкой.

- Что это? - спросил Пашка, пальцем пошевелил стопку.

- Деньги! - крикнул Рейнгольд. - Давай картины! - Он бросил взгляд на стену и указал: - Вон ту и вот эту!

- Какие деньги? - не обращая на жесты Рейнгольда внимания, проговорил Пашка задумчиво.

- Американские! - с отчаянием буквально простонал Рейнгольд.

Пашка почесал бородку.

- Не-э, - протянул он. - Мне мириканские не нужны. Мне в тюрьму садиться не хочется...

Рейнгольд заметался по мастерской. Шпагин тихо хохотал.

- Не-э, мне мириканские не нужны, - с открытым издевательством в голосе говорил Пашка, коверкая слово "американские" так, то сяк.

- А какие же тебе подавать? Японские? - вопил Рейнгольд. По его лысине текли струйки пота.

- Не-э, мне мириканские не нужны, - долдонил свое Пашка.

Вернулись Маринка с Линой, но без Эрны. Торговля мигом прекратилась, и Рейнгольд мгновенно спрятал доллары. Маринка сказала, что Эрна не приехала, ждали-ждали, а она не приехала. Звонили ей, она сказала, что родители не отпустили.

- И мне нужно домой, - сказала Лина.

- Ну началось! - вздохнул Шпагин. - Детский сад.

- Посидите немного, - сказал Рейнгольд.

- Я не могу, - сказала Лина, - скандал будет дома!

Все уговоры были бесполезны. В конце этих уговоров Шпагин даже облегченно вздохнул, потому что ему вдруг очень захотелось домой. Рейнгольд пошел провожать Лину, а Маринка чуть-чуть задержалась. Она сказала Шпагину доверительно:

- Линке нужны деньги.

- У меня сейчас нет, - огорчил ее Шпагин. - А сколько?

- Сто рублей, - сказала Маринка. - На аборт. Гуляла-гуляла с одним, а он ее бросил. А она боится родителям сказать. Только школу кончила, а уже на втором месяце.

Шпагин погрустнел, затем достал из сумки, подаренной Рейнгольдом пару колготок и пластмассовую коробочку с набором косметики, гонконгского производства, и протянул Маринке.

- Это тебе, - сказал он.

Маринка, как совершенный ребенок, вцепилась в подарки. Да и была она ребенком: в сентябре ей исполнилось семнадцать.

Вернулся Рейнгольд в расстроенных чувствах, сел к столу, налил рюмку. Тут же к нему подсел Пашка и налил себе. Они чокнулись и выпили. Шпагин пошел провожать до метро Маринку. Когда он пришел обратно, Рейнгольд и Пашка мирно беседовали о городе Нью-Йорке. Рейнгольд говорил, что он живет на окраине...

- Я поселился с женой и ребенком в Вуд-Хавене. Мой дом, - а я снимаю за пятьсот долларов в месяц первый этаж двухэтажного дома, - стоит у самой оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега. Тихий райончик, зеленые газоны, виллы... Прелесть!

- А от Бродвея далеко? - спросил Пашка.

- Прилично, - сказал Рейнгольд. - Несколько длинных мостов нужно проехать...

- А машина есть у тебя? - поинтересовался Пашка.

- Три.

- Ого!

Вмешался Шпагин:

- Аркаш, давай я сразу твой адрес запишу...

Рейнгольд взял клочок бумаги и ручку, и сам написал по-английски.

- Телефон на конверте писать не надо! - с улыбкой сказал он.

- Этот телефон через Лондон.

- Понятно, - сказал Шпагин, глядя на адрес. - А что такое "88"?

- Улица, - сказал Рейнгольд.

- Ну что? по домам? - спросил Шпагин.

- Это к лучшему! - воскликнул Пашка. - Баба орать не будет. Вы идите, а я тут еще приберусь.

- Так как же насчет картин? - спросил Рейнгольд.

Пашка, как бы не слыша вопроса, вытащил из шкафа свою хозяйственную сумку и стал укладывать в нее "Сони", джинсы и прочее. Затем неопределенно сказал:

- Созвонимся утром. Созвонимся... Да. Утро вечера мудренее!

Было начало первого ночи. Шпагин с подарками ехал к себе домой с Рейнгольдом. Шпагин уговорил Рейнгольда заскочить к нему на минутку, чтобы жена не ругалась.

- У тебя мелких денег нет? - спросил Рейнгольд, когда подъезжали к дому Шпагину. - Пятерок, десяток?

- Рубль был, - вздохнул Шпагин. - И тот - потратил...

Хорошо, что у шофера такси нашлась сдача с пятидесятирублевой бумажки.

Жена не спала, и когда Шпагин стал выкладывать подарки, она обняла в каком-то экстазе веселья (не забыли ее! не забыли! - так и читалось по ее глазам) Рейнгольда, и затараторила что-то о его щедрости.

- Еще увидимся, - сказал Рейнгольд, уходя. - Закрутился, столько дел, столько дел!

- Обязательно увидимся! - воскликнула жена, закрывая за ним дверь.

Утром, не обращая внимания на побаливавшую голову, Шпагин помчался на работу. Как только он сел за свой стол, раздался телефонный звонок. Звонил Пиотровский. Затем позвонил Ефимов и сообщил, что устав готов... Досидев до обеда, Шпагин сказал своим женщинам, что его вызывают опять в Госснаб, помчался к Пашке, куда должен был уже подъехать Рейнгольд. И действительно, Аркадий находился в мастерской, а на столе стояла новая бутылка.

- Ждем, ждем! - потирая руки, сказал Пашка. - Давайте скорее, а то голова трещит. Наливай!

Когда выпили, то лицо Пашки засияло радостью. Чтобы не упустить момента, Рейнгольд бросил на стол двадцать сотенных купюр.

- Во! Эти деньги я уважаю, - сказал Пашка и дрогнувшей рукой придвинул их к себе. - Забирай! - кивнул он головой в сторону стены, с которой Рейнгольд хотел забрать пару работ.

- Высоко, я не достану, - сказал Рейнгольд.

Пашка сунул деньги в карман, притащил стремянку и полез снимать приглянувшиеся Рейнгольду холсты. В это время Шпагин шепнул Рейнгольду:

- Сразу нужно сматываться, а то передумает!

- Понял! - шепнул Рейнгольд.

Через десять минут бутылка опустела, и Пашка начал подозрительно вздыхать и коситься на стоящие у шкафа картины, уже принадлежащие Рейнгольду.

- Мы сейчас еще прекрасной выпивки достанем, - сказал Рейнгольд, прихватил холсты и пошел к лифту.

Шпагин последовал за ним, а Пашка стоял в дверях и с грустью почесывал свою козлиную бородку.

Когда подошел лифт, Пашка крикнул:

- Эх! Задарма отдал!

Вновь наняли такси и полетели к Рейнгольду домой. Семен Исаакович, увидев картины, сказал:

- А я такую живопись не люблю.

- Что ты понимаешь, пап! - сказал Рейнгольд и добавил: - Наливай!

Валентина Ивановна, прижав ладони к щекам, вымолвила:

- Что это значит, Аркадий? Что это еще за "наливай"?

Рейнгольд подмигнул Шпагину и расхохотался.

- Это пароль у нас теперь такой, - сказал он.

Прошли в большую комнату и сели за белоснежный стол.

Семен Исаакович глубоко вздохнул и проговорил тихо, глядя мимо сидящих в окно:

- Быстро проскочила жизнь, черт возьми... Мне девяносто два года, а кажется, что только вчера родился... В моей судьбе, однако, много интересного. Например, так случилось, что в начале тридцатых я заведовал автохозяйством в Магадане, при местном управлении лагерей. Ходил в кожаном пальто и курил трубку...

Рейнгольд не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал.

- Как вы туда попали? - спросил Шпагин, подцепляя ножом кусочек селедочного масла.

Семен Исаакович ничего не ответил. Он помял руками лицо, налил в маленькие рюмки водки, крикнул и улыбнулся. Его бледное лицо с орлиным носом от этой улыбки еще более похорошело.

- Итак! - произнес он с чувством и поднял рюмку.

Потом Рейнгольд пошел переодеваться, а мать в соседней комнате принялась гладить ему рубашку.

Оставшись наедине со Шпагиным, Семен Исаакович с грустью в голосе сказал:

- Обидно!

Шпагин настороженно взглянул на него и увидел в его глазах слезы. Шпагин перестал жевать и, глубоко вздохнув, притих.

- Кому все это достанется? - сказал Семен Исаакович и обвел рукой комнату. - Я же всю жизнь работал, кое-что скопил... Возвращаться нужно Аркадию! Ну, что он там нашел хорошего...

Шпагин вздрогнул и потупил взор, как будто это говорилось не о Рейнгольде, а о нем и как будто это он только что приехал из Нью-Йорка. Между тем Семен Исаакович продолжал:

- Не знаю, как он будет там жить дальше... Работает простым шофером такси, с утра до ночи...

Шпагин был убит окончательно. Он-то рассчитывал на Рейнгольда и связывал с ним большие надежды по открытию филиала совместного предприятия в Нью-Йорке. Шпагину было неловко и грустно, и казалось ему, что его обманули. Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и против воли сказал:

- Разве важно, где и кем работать? Важно, чтобы эта работа нравилась и приносила доход...

Семен Исаакович вскинул на него седые брови.

- Это после университета! Вот вы... Мне Аркадий говорил... Вы - кандидат наук! А он? Кто он?! Таксист! Стоило ли ехать на край света, чтобы крутить баранку! - Семен Исаакович помолчал и, что-то вспомнив, улыбнулся и продолжил: - Правда, Аркадий великолепно водит машину. Ну, конечно, там дороги! Ни одного светофора, летишь, как птица! Аркадий возил нас в Вашингтон! Да, машину он водит великолепно... Я, было, хотел купить там себе машину, стоит-то она там гроши, но перевозка - ого-го! Шест-

надцать тысяч долларов за тонну! - Семен Исаакович повеселел. - У Аркадия три машины! Но права на извоз он еще не имеет. Работает у владельца.

- Что за владелец? - спросил Шпагин.

- Ну есть там человек, который имеет лицензию на право извоза. Стоит лицензия сто тысяч долларов. С уплатой этой суммы выдается такая тяжелая, чуть ли не платиновая болвашка, на которой выписано твое право на извоз и которая крепится на борт машины. Так вот, Аркадий берет это такси у владельца на шесть дней в неделю и за каждый день отдает, помимо налогов, сто долларов этому владельцу, у самого же Аркадия остается каждый день от двухсот до пятисот долларов. Обедает все время в ресторане. Когда мы у него гостили, он нас тоже все время кормил в ресторане. Говорит, что есть дома дороже. Я не знаю, но думаю, что Аркадию не повезло с женой. Он и здесь с Викой ходит врозь. Она сейчас где-то с подругами, а он вот с вами. Плохо они живут, - вздохнул и вновь погрузился Семен Исаакович. - Аркадий взял ее с ребенком. Ну, уехали они отсюда. И видно, в семейной жизни Аркадий несчастлив. Она не может родить ему ребенка, что-то у нее по женской части ненормально, а он - бесится, но виду не подает, и развестись не может... Совесть не позволяет. Все-таки отсюда вместе уехали, - Семен Исаакович склонился к самому уху Шпагина и прошептал: - По правде сказать, она и готовить-то не умеет. Когда мы были там, я видел, что она чайник ставит на плиту носиком к себе. Ну, что это за хозяйка, которая чайник ставит носиком к себе! Паром же обожжет! Даже яичницы сделать не может. Вот и приходится Аркадию по ресторанам есть. Эх-эх! Поговорили бы вы с ним, Дмитрий! - вдруг воскликнул Семен Исаакович. - Пусть он возвращается... Он же великолепный филолог, знает три языка, когда работал в библиотеке, выпустил какой-то словарь, и все псу под хвост! Деньги он там зарабатывает. Да у меня здесь накоплено столько, что ему по гроб жизни хватит!

В этот момент в комнату вошел Рейнгольд, и Семен Исаакович сразу же замолчал. Шпагин был бледен и смотрел в пол.

- Наливай! - воскликнул Рейнгольд.

- Обязательно! - насильно улыбаясь, сказал Семен Исаакович.

Рейнгольд сел к столу. Лицо его сияло белозубой улыбкой, и казалось, что этот человек живет счастливой жизнью, всем доволен и всему рад.

- А ты знаешь, Митюха, - воскликнул Рейнгольд, - что у меня в Нью-Йорке живет настоящий русский кот Васька. Такой мордорот, лупит всех американских котов! Лобяра у него с кулак, - для пущей убедительности Рейнгольд поднял руку и сжал ее в кулак. - Шерсть грязная - мой не мой, белая с черными пятнами. Порода - московский помоечный! Специально дал заказ, чтобы мне его изловили в Москве и доставили в Нью-Йорк! Бандит. Бьется не на жизнь, а насмерть! Один раз приполз весь в крови и без зуба. Я чуть не заплакал, схватил его на руки, как ребенка, в машину и к лучшему ветеринару. Сделали укол, затем прооперировали и поставили искусственный клык за двести долларов! И Васька мой вновь ожил, через неделю уже бил всю американскую шуштуру...

Шпагин сидел теперь как в тумане, точно это не он был, а его двойник. Он не мог понять, почему Рейнгольд работает в такси, почему он не добивается работы по профессии. Деньги? Непонятно. И Шпагин стал вспоминать армию. Вспомнилась огромная, как конюшня, столовая с новыми скоблеными столами и лавками, с алюминиевыми мисками и ложками, с котлами-кастрюлями, которые разводящие ставили на стол и из которых половником разливали баланду. Однажды Шпагин первым выхватил половник из котла, но Рейнгольд вырвал его из рук Шпагина и ударил - то ли в шутку, то ли серьезно - Шпагина в лоб... В казарме стояли двухэтажные койки. И Шпагин, и Рейнгольд спали на нижнем ярусе, их кровати стояли рядом, и им казалось, что они спят в шалаше. На их общей тумбочке лежали журналы "Театр"... Тогда они все свободное время проводили в библиотеке: Шпагин читал Драйзера, а Рейнгольд - Голсуорси. Рейнгольд неплохо играл в ручной мяч, а Шпагин - в футбол. Они ездили на соревнования округа.

Все это удалилось в памяти и казалось нереальным. Вспоминалась из красного кирпича двухэтажная казарма. Вспоминались отдельные лица. Сержант Бодунов, с водянистыми глазами, плохо владевший родным русским языком. Подполковник Нестеренко, в огромной спецаказовской фуражке, отправивший однажды полвзвода на "губу" за распитие тройного одеколлона. Вспомнился капитан Кофман, эта белая ворона армии, рафинированный интеллигент, читавший Шеллинга и Фихте, отпускаявший и Шпагина, и Рейнгольда по первому требованию в увольнение. Однажды Шпагин с Рейнгольдом попали в караул, охраняли склады, была осень и было холодно, грелись в стогу сена у склада, потом нашли

дырку в заборе и зашли в ближайшую избу за самогоном... Потом повесился в сортире ни с того ни с сего солдатик из Липецка, спавший на втором ярусе над Шпагиным. Потом ночью убежал с автоматом и с боекомплектом дневальный из Риги Сучков, - его ловили несколько месяцев, но так и не поймали. Потом Рахматуллаев застрелил из карабина разводящего лейтенанта Жабко; Рахматуллаев нес службу, охранял мехбазу, а пьяный Жабко шел за спиртом; Рахматуллаеву ничего не было, его перевели в другую часть... А Рейнгольд и Шпагин читали журнал "Театр", классиков мировой литературы, вели философские беседы, и все их считали "интеллигентиками"...

Захмелевший Семен Исаакович вновь принялся показывать Шпагину фотографии. Он словно забыл об упреках в адрес сына, и, показывая очередную фотографию: дом в котором жил Рейнгольд, дом по понятиям Шпагина больше смахивающий на виллу, - он все больше гордился сыновним богатством.

- Вот посмотрите, Дмитрий!

Старик возбужденно тыкал в нее пальцем, указывая то на одну, то на другую подробность. "Вот, посмотрите!" И каждый раз оглядывался на Шпагина, ожидая восхищения.

Среди невеселых мыслей о судьбе своего друга Рейнгольда Шпагин подумал о том, что он все-таки совершил смелый поступок, проверив на практике, что земля не плоская и ограниченная забором с колючей проволокой, а круглая, и Шпагин различил дом Рейнгольда среди зеленых газонов, увидел сразу все три великолепных автомобиля Рейнгольда, увидел его за рулем такси, увидел голосующего богатого негра на Бродвее, останавливающего машину Рейнгольда, и Шпагин понял, что Америка - рядом, что она живет, существует в эту минуту, стоит лишь протянуть руку - и он дотронется до нее.

Уже смеркалось, когда они вышли на улицу и поймали машину, чтобы ехать к Пашке. По пути заскочили в "Украину". Швейцар, старый пузан с оплывшим красным лицом, преградил им дорогу с возгласом:

- Нельзя!

Рейнгольд небрежно извлек из кармана паспорт гражданина США, и швейцар мигом переменялся: побледнел, вытянулся по струнке, приложил руку к фуражке и проговорил:

- Прошу вас!

- Так-то! - бросил Рейнгольд и быстрым шагом устремился к лестнице.

Шпагин не отставал. Они прошли в валютный магазин. Полки ломились от товаров. На стеллаже выстроились, как на параде, бутылки с винами, коньяками, водкой множества сортов.

- Возьмем утюг! - сказал Рейнгольд, указывая на литровую оригинальную бутылку с ручкой. - Очень хорошая водка!

К водке взяли хорошей закуски и огромную упаковку датского баночного пива. Рейнгольд стоял перед кассиршей и с довольным видом отсчитывал доллары, а та смотрела на него с таким видом, как будто перед нею был властелин вселенной. С бодренькой улыбкой кассирша упаковала покупки в огромные полиэтиленовые пакеты "Интуриста" и поблагодарила за визит.

Когда спускались по лестнице, Шпагин спросил:

- Может быть, пригласим твою жену?

Рейнгольд хмыкнул как-то неопределенно и махнул рукой.

Прежде чем садиться в машину, немного постояли у гостиницы, покурили. Над высотным зданием в синем осеннем небе горели яркие звезды. Шпагин грустно вздохнул, затем вдруг улыбнулся, положил руку на плечо Рейнгольду и пропел:

Небоскребы, небоскребы,
А я маленький такой...

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

СВОИ

повесть

Сон был главной радостью Федора Павловича Фомичева, радостью, не сравнимой ни с чем, просто-таки земным раем. Ах, этот сон - не пробуждался бы вовсе, лишь бы спать, спать, спать и смотреть сны, а они - эти сны - так и шли один за другим. Но вот беда: приходилось открывать глаза и вставать, против воли открывать глаза, против всего своего существа, потому что это существо вдруг очень настойчиво давало о себе знать каким-то чудовищным бурлением в животе, какой-то даже противоестественной жадностью - мол, вставай и точка, далее спать не могу. Причина? Ну, каждому понятна эта причина: голод проснулся, не совсем, конечно, настоящий голод, а такой нормальный, присущий каждому голод, голодок, голодушечка, когда на завтрак-то поел, а обед часа на три-четыре проспал, вот он голодок и поднимает с постели, из-под ватного одеяла, с пуховых огромных подушек, на которых так любил отдыхать Федор Павлович и которые ему каждый год, летом, перетряхивала жена Нюра, перетряхивала, не выходя из квартиры, потому что сама последние три года не выходила даже на лавочку перед подъездом, ибо так располнела от своего сахарного диабета, что даже на кухню шла, придерживаясь за стены и со многими передышками.

Итак, Федор Павлович разлепил веки и как-то нервно сбросил с себя тяжелое ватное одеяло. Хотя на улице была середина мая, солнце припекало, а Федор Павлович все равно укрывался этим ватным одеялом и окна держал в своей каморке плотно закрытыми, даже заклеенными, поэтому в каморке (комнатой этот закуток из пяти квадратных метров назвать было трудно) обильно пахло потом, какой-то затхлостью, скорее всего от нательного белья (кальсон и рубашки), которое Федор Павлович не менял месяца-

ми, а может быть, от портянок, которые Федор Павлович не желал менять ни на какие носки: как привык с детства к портянкам, так всю жизнь и прошел с ними: и в армии, и на войне, и после войны... Да и работать ему было сподручнее в сапогах, потому что всю жизнь Федор Павлович малярничал на стройке, а там, известное дело, сквозняки, а зимой батареи еще не включают, а ты кистью машешь в пустой квартире, вот в сапогах оно и лучше, ноги в тепле, а уж когда совсем похолодает, то Федор Павлович с удовольствием перелезает в валенки с галошами.

Сбросив с себя одеяло, Федор Павлович почувствовал какое-то трусливое и болезненное ощущение, которого стыдился вот уже вторую неделю, как съездил в Рязань и побывал там у сорокалетней сестры жены, Дуся. Еще не вставая с кровати, огромной и высокой никелированной кровати с блестящими шарами на стойках, Федор Павлович услышал из большой комнаты (относительно большой, потому что там было четырнадцать метров) стон Нюры. Плачущим голосом она извещала, что ей опять плохо. Федор Павлович матерно выругался про себя и с ненавистью подумал о жене как о пудовой гире, которая тянет его на дно. Подумал и тут же трусливо вздрогнул, поскольку шевельнулась в голове мыслишка, которая, как червячок в орех, залезла к нему в эту голову и сверлила ее все последние дни. Чтобы отогнать эту привязавшуюся мыслишку, Федор Павлович спросил, что там Нюре еще потребовалось, но в ответ через дверь услышал все тот же стон, такой противный, осточертевший Федору Павловичу стон. Он опять выругался про себя и сунул ноги в стоптанные тапочки; и, пока вставал, мыслишка так и полоснула по сердцу: а не придушить ли Нюрку прямо сейчас, сию же минуту? Но тут же эта мыслишка схлынула, и Федор Павлович задрожал, на какую-то минуту задрожал, а потом успокоился, взял себя в руки и посмотрел на широкий подоконник, на котором стояли коробки из-под молока, куда Федор Павлович насыпал земли и посадил помидоры, зернышки помидорные сунул в землю эту. Коробок было штук пятьдесят, и каждую осень Федор Павлович снимал прямо в своей каморке неплохой урожай помидоров.

В замызганных кальсонах и нательной рубашке Федор Павлович вышел в большую комнату, где стояли сервант с позвякивавшими стеклами, когда мимо него проходили, кровать, на которой в позе умирающей лежала двухсоткилограммовая Нюра, диван, куплен-

ный в 1952 году, круглый стол образца 1956 года, а на стене над диваном висел коврик самодельной работы с вышитыми крестиками лебедями. На столе лежала газета "Труд", сложенная так, чтобы была видна телевизионная программа. Эта газета "Труд" была единственной в доме принадлежностью для чтения: ни книг, ни журналов отродясь у Федора Павловича не бывало, ибо читал он плохо, по слогам, окончив когда-то в деревне два класса, а Нюра вообще ни читать, ни писать не умела и всегда, к месту и не к месту, говорила, что она неграмотная. Сам же Федор Павлович, по сравнению с ней, считал себя грамотным и письма в Рязань писал с большим подъемом аршинными буквами с множеством орфографических ошибок, которые, разумеется, сам не замечал, и без знаков препинания. В газете же "Труд" он читал лишь столбец на последней странице, который был составлен из коротеньких заметок о разных небывалых случаях, например о рыбах под десять кило, которых ловили на крючок для плотвы, или о долгожителях, которые проживали по сто лет... Читал он этот столбец долго, вдумчиво, самое интересное зачитывал вслух Нюре, но та ничего не понимала, а потом пересказывал прочитанное мужикам во дворе... Еще он в этой газете любил читать про всякие льготы участникам войны, что напрямую касалось его, и про пенсионные дела, что также его касалось.

Выйдя в большую комнату, Федор Павлович с отвращением посмотрел на Нюру и опять про себя выругался: она лежала с открытым ртом и закрытыми глазами, толстое лицо ее было красно и в поту. Нюра стонала. Федор Павлович, матерясь, сходил на кухню, принес чашку холодного чая и таблетки. Молча и нервно сунул несколько таблеток в открытый рот Нюры и поднес к ее губам чашку. Нюра шумно отхлебнула чаю и, проглотив таблетки, облегченно, не открывая глаз, вздохнула. Федор Павлович почесал под рубахой живот, зевнул и побрел на кухню. Он прокипятил кастрюлю щей, налил себе полную эмалированную миску, отрезал три огромных ломтя черного хлеба, взял большую деревянную ложку, сел на самодельный табурет к столу и принялся хлебать, чавкать и втягивать в себя сопли. Да, именно так ел Федор Павлович, и вместе с ним вряд ли кто мог выдержать этот обед. Съев миску и тщательно облистав ложку, Федор Павлович рыгнул, посмотрел в окно на линию железной дороги, подумал и налил еще целую миску, но не доел ее, вылил остаток в кастрюлю, вновь прокипятил щи, а за-

тем уж, потягиваясь, пошел в свой закуток одеваться на вечернюю прогулку. Он натянул на себя армейские брюки-галифе, намотал на ноги портянки и сунул ноги в хромовые сапоги. Потоптался перед зеркалом у шкафа, надел байковую рубашку, полосатый пиджак с загнутыми трубочкой большими лацканами, на одном из которых был привинчен орден Красной Звезды. На лысую голову надел армейскую фуражку без кокарды, прихватил дерматиновую сумку и пошел на улицу.

Вечерний обход магазинов начался с булочной, где он купил буханку черного и два батона. Потом шел вдоль линии железной дороги к гастроному, а мыслишка эта, как червячок в орешке, так и прыгала в голове его, так и выскакивала. Федор Павлович вздрагивал, оглядывался, уж не слышит ли кто этих его мыслишек, и почему-то в это время видел Дусю, ее моложавое тело, ее огромные груди, которые так понравилось целовать Федору Павловичу. Увидев в воображении Дусю, он весь напрягся, даже остановился, и сладкая слюна наполнила рот. Федор Павлович улыбнулся, сдвинул фуражку на затылок и как-то осторожно сплюнул на обочину, не на асфальт, а на землю, как культурный гражданин. С Дусей все сладилось как-то само собой: ну, приехал в Рязань, ну, пришел к ней, выпили бутылку, он ей руку на ляжку положил, а потом уж и в постель легли. Утром как ни в чем не бывало поехал в деревню к другой сестре Нюры, к Марусе, за салом, за которым, собственно, Нюра и посылала Федора Павловича. Федор Павлович шел вдоль линии железной дороги и сам дивился себе: это в семьдесят лет он такой молодец, такой способный на любовь! Дуська, вспомнил с усмешкой Федор Павлович, так и визжала, стерва! А хороша баба, хороша, подумал Федор Павлович перед самым гастрономом, возле которого стояла длинная очередь в винный отдел. Увидев эту очередь, Федор Павлович поколебался и уже решил пройти мимо, как его из первых рядов этой очереди окликнул Митька, работавший когда-то вместе с Федором Павловичем на стройке, окликнул и предложил выпить на двоих. Федор Павлович снял фуражку, смахнул пот с лысины и подумал, что выпить-то оно даже лучше будет, не так страшно будет, и с этой мыслью Федор Павлович достал мятую пятерку из "пистона".

Взяв бутылку белой, с Митькой, беззубым и небритым, зашли в гастроном, где Федор Павлович купил колбасы, сыру и сливочного масла. Пока шли к кустам у линии железной дороги, Федор Пав-

лович все бубнил наставительно Митьке о том, что уж очень хорошо жить в Москве - тут тебе и колбаса, и масло, и молоко "каждый божий день", не то, что в проклятой деревне, где ничего нет и где нужно задарма "ишачить" с утра до ночи. Митька соглашался и тут же начинал что-то плести про свою деревню, в которой-то всего два дома осталось, а остальные "сбегли, кто куды". Митька, заметил Федор Павлович, был уже под мухой. Они спустились к линии, сели на молоденькую травку под кустик. Митька достал из своей сумки стакан, а Федор Павлович разложил на обрывке бумаги довески колбасы и сыра. Налили, выпили. Прошел, содрогая землю и подвывая гудком, скорый из Ленинграда. Провожая его взглядом, Федор Павлович опять стал развивать мысли о преимуществах жизни в Москве. Митька медленно жевал "закус" и согласно кивал. Вдруг Федор Павлович переменял тему и спросил, а что, ежели жена, Нюрка, помрет, сможет ли он прописать к себе иногороднюю бабу. Митька спросил о жене, плоха ли очень? Федор Павлович посопел носом и ответил, что, мол, на ладан дышит. Митька сказал, что должны прописать бабу, коли Федор Павлович с ней по всем правилам распишется. Это-то дело сам Федор Павлович знал, и спросил он не в том смысле, а в том, что у него на площади прописаны оба сына, а не выписывались они потому, что, когда жили в бараке, сам Федор Павлович им не велел выписываться, потому как не дали бы ему отдельную квартиру эту. Митька задумался.

Визгливо проскочила электричка, и под ее визг Федор Павлович налил по второй. Выпили. Настроение у Федора Павловича заметно улучшилось, и он сказал, что у него отличные сыновья, во всем его слушаются, а дочь, Зинка, еще лучше, но она уж лет двадцать назад выписалась, уж у нее у самой отдельная квартира, только вот два сына ее не хотят никак жениться. А что им жениться, если у них в старом доме теперь отдельная квартира, муж Зинки выхлопотал от завода, они там сначала комнату имели, рассказывал Федор Павлович Митьке, потом, когда первый внучок появился, им вторую комнату отдали за выездом жилички, и вот недавно там у них последняя соседка, старуха, померла, ну, муж Зинки, молодец, проворный такой, выхлопотал, бумаг разных от завода насобирав, что он и член профсоюза, что там эти, как их уж, "зобритения" имеет. Митька, захмелевший совсем, поддержал, что у него тоже свояк "зобритает" по разным металлам и что тоже,

мол, квартиру “за это дело дали”. После некоторого молчания Митька вдруг сказал, что нехорошо при живой жене “об этом деле” говорить. Федор Павлович улыбнулся, да и отшутился, мол, он об этом “пластинку завел” просто-таки на всякий случай и сослался на то, что жизнь длинная и что наперед надо кое-что предугадывать, а то, случись что, так в дураках и останешься. На это Митька согласился. Затем, по последней, выпил Митька, а после него Федор Павлович “поправил усы”.

Попрощавшись с приятелем, Федор Павлович, не ощущая уже ни волнения, ни страха, обогнул огромный красный дом и вышел на шоссе. На противоположной стороне находился универмаг, и Федор Павлович решил заглянуть в него, просто так. Пока спускался в подземный переход, вспомнил о своей стальной коробочке. Лет эдак десять назад он попросил сварщика сварить ему из листовой стали эту коробочку со щелочкой, то есть просто-напросто копилку. Федор Павлович до самого последнего времени продолжал халтурить, иначе говоря, красить кому что требуется. В районе его знали как старательного маляра и приглашали делать ремонт. Но теперь малярных работ не так много требовалось: окна побелить, двери покрасить, кухню, батареи и трубы; а так все больше обои клеить. В этой клейке обоев Федор Павлович уж очень был ловок - за день тридцатиметровую комнату мог один без подручных оклеить. Тут вся хитрость в подготовительной работе: кромку с одного боку обоев срезать, в размер подогнать, да чтоб цветочки рисунка совпадали. Потом клею наварить как следует и по стопе обоев длинной кистью мазать, чтобы не нагибаться, а то поясницу ломить начнет. Так вот, пока спускался в подземный переход, стал Федор Павлович прикидывать: сколько же денег у него в копилке накопилось? Десять лет она у него? Десять. “Кажный” месяц червонцев по пять, а то и больше в нее засовывал? Засовывал. Стало быть, нужно, по меньшей мере, прикидывал Федор Павлович, пятьдесят помножить на десять лет. Сколько же это будет? Пятьсот рублей, быстро сосчитал Федор Павлович, выходя из подземного перехода к универмагу. И тут же остановился: что-то уж очень мало денег получалось. Как же так? И тут Федор Павлович ударил себя по затылку: деньги-то он на месяца не перемножил! Итак, сначала: пятьдесят рублей нужно помножить на двенадцать месяцев. Получится шестьсот рубчиков! И эти шестьсот на десять годков? Шесть тысяч! Федор Павлович бла-

женно улыбнулся и проговорил про себя, что это минимум. Ведь совал-то он не только десятки, в иной раз и четвертные опускал, а однажды, вспомнил Федор Павлович, сотню сунул! Стало быть, “тыщенок” десять должно быть. Но тут же Федор Павлович как-то внутренне себя одернул: лучше по меньшему считать, а то губы раскатаешь, а там, глядишь, и шести не будет.

Удовлетворенно вздохнув, Федор Павлович зашел в универмаг и, не собираясь ничего покупать, начал осмотр товаров с отдела тканей. Прощупав все висевшие на стендах материалы, Федор Павлович, так и эдак перекатывая в мозгу знакомую мыслишку, перешел в отдел посуды. Ему бросилась в глаза большая, с золотым узором, фарфоровая кружка за восемнадцать рублей. А что, если купить ее для Нюрки, зловеще подумал Федор Павлович и тут же осуществил эту идею: взял да и купил, достал четвертную бумажку из паспорта, который носил всегда при себе, подошел к кассе и так это небрежно сказал: “Мине осьнадцать рублей за бокал”. Получил в отделе эту кружку, завернутую молоденькой продавщицей в фирменную бумагу, да и пошел себе, крутя мыслишку в голове, перекручивая ее на все лады. По этой стороне дошел до перекрестка, выпил в квасной палатке, постояв в очереди минут пять, кружку кваса, утер рукой губы и на зеленый сигнал светофора перешел на свою сторону.

Поднявшись к своей отдельной малогабаритной квартире и отперев дверь, Федор Павлович увидел Нюру, сидящую на сундуке в тесной прихожей. Когда Нюре становилось легче, она всегда выползала на этот сундук, а уж с него до уборной - два шага. Федор Павлович зло взглянул на нее и спросил, была ли она там - он кивнул на дверь уборной - или не была? Нюра простонала, мол, еще не добралась. Федор Павлович повесил фуражку на крюк, поставил сумку у стены, подхватил жену и помог ей втиснуться в узкую уборную, при этом Федор Павлович матерился про себя что есть мочи. Тут бы все сразу сделать, думал попутно он, а она взяла да встала. Вода прошумела в уборной, и следом донесся стонущий голос Нюры: “Федька, вынь мне отсель”. Скрипя последними зубами, Федор Павлович выволок жену из туалета и усадил на сундук. Мутные глаза Нюры смотрели, казалось, на Федора Павловича, но как-то будто мимо него, так что даже Федор Павлович оглянулся: нет ли кого сзади, вздрогнул, прежде чем оглянуться, но, оглянувшись, разумеется, никого не обнаружил. Нюра простона-

ла, чтобы он отвел ее в комнату к телевизору. Она, видите ли, посмотреть маленько желает. Федор Павлович с каким-то небывалым отвращением подхватил эту тушу и перетащил ее к телевизору на диван.

Экран телевизора засветился, а Федор Павлович, перебарывая себя, чтобы тут же не прибить Нюрку, вышел в прихожую, достал из сумки кружку, развернул бумагу и, успокаиваясь, полюбовался золотом. Затем, прикинувшись добреньким, принес кружку в комнату и поставил на стол перед женой, сказав, что это он ей подарок купил, а то она, мол, питье любит пить, а та, старая, чашка ей мала. Нюра как-то бессмысленно улыбнулась и что-то в знак благодарности простонала. Федор Павлович матернулся про себя и пошел в свой закуток снимать сапоги. Переобувшись в тапочки на босу ногу (в квартире, никогда не проветриваемой, было очень жарко), пошел с сумкой в кухню раскладывать продукты в старенький холодильник “Север”. Раскладывал, а сам все думал, как бы она поскорее отсмотрелась телевизор (он знал, что больше полчасика она никогда его не смотрела), да и легла. Но прежде нужно было как следует накормить ее ужином. Он размотал шерстяной платок с кастрюли, в которой была сваренная им еще в шесть утра (вставал Федор Павлович в пять утра, а ложился в девять вечера) гречневая каша, затем поставил на плиту разогреваться гуляш. Когда гуляш закипел, Федор Павлович навалил полную миску гречки и залил ее этим кипящим гуляшом, в котором куски мяса были с кулак величиной. “Живем, чтоб поесть как следоват!” - частенько восклицал Федор Павлович.

Разглядев перед собою миску с едой, жена как бы вся преобразилась, взгляд ее принял осмысленное выражение, она поспешно схватила деревянную ложку и принялась быстро и жадно глотать пищу, которая действовала на нее, как наркотик. Минуты за три съев всю миску, она попросила Федора Павловича перевести ее на кровать, что Федор Павлович быстро и с удовольствием исполнил. Только она легла, как сразу же захрапела. Федор Павлович с дрожью выключил телевизор, схватил со стола миску и ложку и удалился на кухню. А мыслишка так и бурвила мозг, так и бурвила. Федор Павлович стоял у раковины, мыл посуду и думал нервно, как все это он проделает, как это все у него получится. Хмель благотворно действовал на его психику. Разумеется, Федор Павлович нервничал, трусливо поглядывая по сторонам, но не так

уж очень нервничал, как если бы был трезвым. Из комнаты слышался храп Нюры, но Федор Павлович знал, что минут через двадцать она очнется и попросит чаю, поэтому он вскипятил чайник, принес из комнаты новую кружку и, когда чайник вскипел, налил ей чаю и стал ждать, сидя на табурете за столом на кухне, когда Нюра позывно простонет. Федору Павловичу самому ужасно захотелось спать, он даже опустил голову на руки и чуть было не заснул, как до него донесся голос жены: “Федька, где ты, чаю!”

Как доброжелательная медсестра, Федор Павлович исполнил требуемое: напоил больную чаем, после чего она уж заснула крепко. Он вошел в свою комнатку и стал осматривать поочередно свои подушки: их на кровати, очень широкой, было четыре штуки. Остановившись на самой большой, обхватив ее и прижав к груди, Федор Павлович бросил взгляд на настенные часы: было десять минут десятого. “Рановато”, - подумал Федор Павлович и так, с подушкой, направился на кухню. Подушку положил на стул, где стояла кастрюля с гречкой, вновь завернутая в платок. Федор Павлович сел на табурет, но тут же встал и нервно заходил по кухне. Спать уже не хотелось. “Рановато, - повторил Федор Павлович про себя и добавил: - К утру остынет”. Тогда он решил вот что, сделать: завести будильник на три часа ночи и тогда уж, проснувшись, все и осуществить.

Раздевшись, он лег, закрыл глаза и увидел Дусю: ах, как она была хороша! Не спалось. Федор Павлович провел ладонью по щеке, почувствовал подростую за день щетину и решил пойти в ванную побриться, а то потом и времени на это дело не будет, подумал он, вставая и нащупывая босыми ногами тапочки. Горячая вода успокаивала. Федор Павлович намыливал щеки и смотрел на себя в старое деревенское зеркало: помнится, рамку, резную, делал сосед, и вся-то изба у соседа была резная. Теперь, правда, рамка вся была изъедена червячками или жучками, вся в точечках, но по-прежнему очень нравилась Федору Павловичу. Побрившись, Федор Павлович как следует умылся и поодеколонился “Шипром”.

И тут Федор Павлович задумался: а вдруг да все откроется, вдруг да догадаются, вдруг да... “К черту!” - прошептал Федор Павлович, прошел в свою каморку, завел будильник и лег. Некоторое время Федор Павлович ворочался, затем, как-то особенно удобно подложив ладони под голову, задремал. И увидел он Дусю,

увидел, как она через голову снимает платье, а под платьем ничего нет, и Федор Павлович хочет броситься к ней, но его кто-то не пускает, обхватили его чьи-то руки и не пускают. И видит Федор Павлович самого себя как бы со стороны, видит себя маленьким мальчиком, а его держит пастух дядя Семен. И вроде как стоят они в хлеву, а Дуся, сняв платье, оказалась лохматой козой. Пастух дядя Семен что-то шепчет Федору Павловичу на ухо, обдаёт его горячим своим дыханием, а Федор Павлович никак не может понять, что же тот ему шепчет. И вдруг, когда Дуся сдернула со своего козлиного тела платье, на весь хлев раздался звонок. Пастух дядя Семен выпустил Федора Павловича из объятий и бросился к двери открывать. Федор же Павлович протянул руки к Дусе, а та вдруг стала превращаться в корову, и вымя с пальцами сосков мягко прижалось к лицу Федора Павловича. Он уже стал задыхаться в этом вымени, а звонок все звенел. Пастух же дядя Семен никак не мог справиться с замком. Тогда Федор Павлович оттолкнул от себя вымя... и проснулся. Звонок будильника делал последние обороты. Федор Павлович ударил по кнопке и будильник замолчал.

Первым делом Федор Павлович сходил умыться холодной водой. Затем, вздрагивая и страшась самого себя, принес с кухни подушку, подошел к кровати жены, примерился и с этой подушкой упал на закрытые глаза и открытый рот, упал всем весом и лежал так полчаса, не меньше, лежал, ничего не чувствуя и ничего не страшась, как бы во сне или в каком-то невероятном припадке смелости. Потом Федор Павлович встал вместе с подушкой и, не оборачиваясь, пошел в свой закуток, бросил подушку под другую подушку, лег, укрылся с головой ватным одеялом и, как бесчувственное животное, заснул и проспал до начала седьмого утра.

Одевшись, он вышел на улицу и позвонил из телефона-автомата в "скорую". Минут двадцать сидел у подъезда на лавочке в ожидании. Наконец машина подъехала, и Федор Павлович с врачом и медсестрой поднялся в квартиру. Федор Павлович для верности включил верхний свет, хотя на улице уже было довольно-таки светло. Врач только взглянул на труп, даже не прикоснулся, сел к столу и написал справку: мол, так и так, тяжело болела, при этом всякие болезни, со слов Федора Павловича, перечислил, да и написал заключение: кровоизлияние в мозг. Когда врач это вслух произнес, только тогда Федор Павлович осмелился, дрожа, взглянуть на Нюру: лицо ее было очень красное, но уже чужое, тихое.

И Федор Павлович понял, что уже не будет стонов, не будет ничего, что так раздражало его последние годы, и с этими мыслями он вдруг пуще прежнего задрожал и в голос зарыдал.

Врач кивнул медсестре и та дала понюхать овдовевшему нашатыря.

Старший сын Федора Павловича Фомичева - Алексей Федорович - весь день, когда у Федора Павловича был червячок в орешке в голове, находился в "походе". Сначала, в восемь утра, он подошел к магазину "на горке", чтобы подыскать клиента. Клиентом этим мог быть любой человек, который не знает, как купить бутылку ранним утром. Алексей Федорович мог и сам бы купить бутылку, но в том-то и состоял весь фокус, что без клиента он этого сделать не мог: в карманах не было ни копейки. Все было пропито подчистую и занять было негде. И так всем задолжал. В доме ничего не осталось, что бы можно было продать. Жена закрывала свою комнату на два замка, да и так бы он не позарился на ее добро. Это уж последнее дело. Алексей Федорович стоял у магазина и поджидал клиента. Тут же стояли ханыги, но вперед Алексея Федоровича они никогда не полезут. Однако с каждым из них Алексей Федорович любезно по приходе раскланялся и ему тем же отвечали, даже с неким подхалимажем, ибо ценили Фомичева за его пробивной характер и еще за то, что он лихо сходил с любым человеком, причем делал это ненавязчиво и даже с известным тактом, и что особенно умиляло ханыг - Алексей Федорович никогда не матерился. Эта черта в него как бы уж вросла, въелась. По-видимому, с тех пор, как он был мастером производственного обучения в строительном ПТУ. До армии кончил техникум, после армии устроился в это ПТУ, где жена, Светка, работала секретаршей.

Со Светкой он познакомился на танцах и на третью неделю знакомства подали заявление в загс. Поженились. Светка жила с матерью и бабушкой. Бабка умерла через полгода после их свадьбы, а мать Светки спустя четыре года. Все бы было хорошо, но Светка сразу рожать не захотела, поступала в институт, и Алексей Федорович пошел ей навстречу: разрешил сделать аборт. Но так ей это дело сделали, что рожать она теперь не могла. Алексей Федорович, конечно, хотел иметь детей, даже порывался сначала разводиться, но уж очень ему нравилась Светка, и он так и не развелся.

Двадцатый год живет с ней. А чего разводиться? - спрашивал он себя. - Девки на стороне навалом!

Беда теперь заключалась в другом: Алексей Федорович вот уже полгода был безработным. Иногда встанет утром, посмотрит в окно - люди на работу бегут, и так ему горько делается, так завидно, что они работают, что даже слезы на глазах появляются. Соберется уж идти устраиваться, а тут какой-нибудь ханыга навстречу, мол, давай! Алексей Федорович подумает-подумает, махнет рукой да и скажет: "Давай!" И понеслось! Главное же вот что обидно Алексею Федоровичу: ведь работа отличная была - начальник службы снабжения, - но потерял! Как? Очень просто: какая-то собака вагон украла! Был же вагон, под погрузку готовой продукции подали, но утром кинулись - нет вагона! Директор кричит, мол, ищи вагон! Все обыскали, нет нигде. Алексей Федорович и говорит директору, что, быть может, этот вагон уже во Владивостоке, что же за ним бежать прикажете? А директор ему, мол, и прикажу! Скандал. Тут еще кадровик, щучья морда такая, вмешался, гундосит, что, мол, до работы не допускаю, не допускаю, пока этот вагон не будет стоять здесь, и тычет пальцем себе под ноги. А сам, паразит, стоит на асфальте. Ему Алексей Федорович говорит, что, мол, вагоны по асфальту не ездят, что, мол, они только по рельсам бегают, а эта щучья морда продолжает тыкать себя под ноги и разоряется, чтобы вагон был тут - и все!

Трудовая книжка там осталась, жалко. Хотя у Алексея Федоровича есть вторая, но там пропуск лет десять. Надо бы как-то прикрыть. С ребятами уже говорил на эту тему, из кооператива одного, обещали закрыть: шлепнут пару печатей - и готово дело. Но они закроют последних два года, до этого-то кооперативов не было! Надо думать, надо думать, что делать. А тут, в это утро, не до дум, башка раскалывается, тошнота подпирает, руки трясутся: ведь полгода сплошная пьянка. Алексей Федорович как-то поежился, но тут же улыбнулся, завидя поднимающегося по лестнице к магазину клиента. Алексей Федорович сразу же понял, что это клиент: хорошо одет, но лицо бледное и тело как-то все вздрагивает. Алексей Федорович перекрыл путь клиенту наверху лестницы, а тот и сам ему пошел в руки: мол, так и так, всю ночь гудели, голова не своя, и спрашивает: нельзя ли чего достать? Отчего же нельзя, тут же улыбается Алексей Федорович и хочет уже взять из рук клиента двадцатипятирублевую бумажку, но тот крепко

сжимает ее в руках и не отдает. Говорит, чтобы вместе пошли, а то, однажды, он так дал - и ждал час вхолостую.

Алексей Федорович даже оскорбился этим замечанием, потупил взор. Подошедший ханыга, слышавший эту недоверительную сентенцию, сказал, что Алексею Федоровичу можно доверять как самому себе. Клиент брезгливо взглянул на небритую, с синяком под глазом физиономию подошедшего и упрямо повторил, что он хотел бы вместе с Алексеем Федоровичем пойти. В другой бы раз Алексей Федорович культурно послал этого клиента куда подальше, но тут было не до раздумий: нужно было срочно поправлять голову, а то сердце как-то перебойно стало стучать. Вместе с клиентом Алексей Федорович зашел в магазин и хотел уж вести его в подсобку, но передумал, решив прежде попробовать через мясника Кольку. В очереди за мясом навывстраивалось множество старух. Алексей Федорович зашел спереди, из-за чего старухи возбужденно закричали и замахали на него руками, думая, по-видимому, что он станет без очереди брать мясо, но Алексей Федорович успокоил их, сказав, что он лишь пару слов другу-продавцу скажет. Тут появился и сам продавец с тяжелым лотком мяса в руках. По очереди пробежал оживленный говорок. Алексей Федорович моргнул Кольке и задал лаконичный вопрос из одного слова: есть? Колька тут же в свою очередь спросил: сколько? Этот же вопрос переадресовал Алексей Федорович клиенту, стоявшему чуть поодаль, у прилавка кондитерского отдела. Клиент подошел и спросил: а почему? Пятнашка, ответил Алексей Федорович едва слышно. Тогда клиент полез в карман и присовокупил к двадцатипятирублевой бумажке пятерку и сказал: две.

Мясник кивнул головой в знак того, чтобы Алексей Федорович зашел в подсобку. Когда бутылки утонули а карманах Алексея Федоровича и когда они с клиентом вышли на улицу, Алексей Федорович деликатно спросил, сколько клиент желает налить ему за работу, на что тот без раздумий ответил, что с удовольствием тут же где-нибудь у магазина разопьет с ним одну бутылку. Алексей Федорович удовлетворенно потер руки, и солнечный свет этого майского утра показался ему очень ласковым. Завернули за угол, прошли во двор магазина, к ящикам, в одном из которых Алексей Федорович тут же нашел стакан. Налили, выпили. У клиента в кармане оказались две шоколадные конфеты, которыми и закусили. Поговорили о том, о сем, еще раз налили - выпили и разбежались:

клиент домой, а Алексей Федорович, почувствовавший некоторое облегчение во всем организме, – к дверям магазина. Он стоял у лестницы, прислонившись к ограждению, и задумчивым взглядом обводил прохожих. На нем были трикотажные спортивные брюки с двумя белыми полосами по бокам, синяя шелковая футболка с такими же полосами вдоль рукавов, на ногах – почти что новые кроссовки. Изредка Алексей Федорович приглаживал коротко стриженные волосы от затылка ко лбу, волосы светло-русые, редкие, да он и стригся коротко для того, чтобы не облысеть. И вот эти-то волосы, счесанные наперед, заканчивающиеся небольшой остроугольной челкой над тонким, несколько орлиным носом, делали Алексея Федоровича похожим на Наполеона. И фигура-то у него была наполеоновская: среднего роста, в меру упитанности, с небольшим животиком.

Постояв некоторое время у ограждения, обменявшись репликами с ханыгами, Алексей Федорович походил туда-сюда вдоль витрин магазина. Походка у него была какая-то раскачивающаяся, неспешная: так ходят мастера спорта по футболу, знающие себе цену и не бегающие, как мальчишки, за каждым шальным мячом, так они идут от ворот противника после забитого ими же гола к центру поля, для пущей важности с лентой поворачивая голову то направо, то налево. Точно так ходил Алексей Федорович, потому что он сам был кандидатом в мастера спорта и когда-то, в юности, играл за дубль “Торпедо”.

Издали еще Алексей Федорович разглядел идущего на “горку” Олега Павловича, соседа с третьего этажа, который работал в автосервисе на окружной дороге. Когда Олег Павлович подошел, то по его бледности, небритости, помятости, бегающим глазам можно было легко догадаться, что он мучается с похмелья. Постояв у магазина минут десять, не больше, Олег Павлович не выдержал и предложил идти с “горки” “вниз”, к стадиону “Медик”. Да и Алексею Федоровичу надоело уже здесь околачиваться. Пошли. Проходя мимо высокой башни, в которой находилась пивная в застекленном помещении, переглянулись. Олег Павлович пошарил в карманах и нашел тридцать четыре копейки медью. Перед входом в пивную стояли, сидели, ругались, кричали многочисленные посетители. Из-за отсутствия достаточного количества кружек пили из банок, бидонов, кастрюль, молочных бутылок. Лица красные, многие с синяками и ссадинами (“асфальтовая болезнь”), небри-

тые. Протиснувшись в помещение, Алексей Федорович сразу услышал многочисленные приветствия, обращенные к нему. Он поприветствовал всех знакомых энергичным взмахом руки и у первого же попавшегося попросил любезно одолжить ему шесть копеек, чтобы взять две кружки. Тут же эти шесть копеек были сысканы и без очереди налиты для Алексея Федоровича обе кружки.

За одним из столов играли в шахматы. Алексей Федорович мигнул Олегу Павловичу и прошел, вернее, протиснулся сквозь горячие тела к играющим. Играли по трояку. Алексею Федоровичу тут же уступили место сыграть с каким-то очкастым зазнайкой, который до этого всех подряд обыгрывал и скопил уже достаточную сумму. Алексей Федорович выиграл сначала одну, потом вторую, потом третью, потом четвертую партии. Прошло полтора часа. Очкастый смущенно развел руки в стороны и сказал, что поиграл бы еще, но на работу нужно бежать.

Олег Павлович, несколько повеселевший, потому что тут же в пивной успел одолжить у кого-то сто граммов водки, весело смотрел на то, как Алексей Федорович выглаживает на столе мятые рубли и трешки и бережно убирает их в карман. Вышли из пивной, солнце ударило в глаза, направились “вниз”, к стадиону. Шли, весело переговариваясь, а пришли - помрачнели. У Клавы в подсобке был только коньяк за 15 р. 80 к. Не хватало трех рублей. Клава, смеясь, говорила, что она бы и без трех рублей дала бутылку Алексею Федоровичу, если бы он не был ей должен двадцать пять рублей. Пришлось стоять и у этого магазинчика в ожидании клиента. Пять, десять минут прошло - никого, одни ханыги, да все так любезно подходят к Алексею Федоровичу, да руку жмут, а он ко всем так это приветливо, с вопросиком, мол, “салды-балды?”, те в ответ, смеясь и утвердительно: “салды-балды!” Пока эти “салды-балды” говорились, лицо Алексея Федоровича просияло: он увидел идущего к магазину старого приятеля - Феликса Евгеньевича Заводовского. Вот так удача? Интеллигентнейший Феликс Евгеньевич! Аккуратно выбритый, в белом костюме, при галстучке, в белых туфлях... и кружевной платочек из нагрудного кармана пиджака торчит! Ай да жизнь, умеет же повернуться хорошим боком! Тут уж не выдержал Алексей Федорович, тут уж он вскричал своим несколько сипловатым и высоким голосом:

- Господин-товарищ-барин! Сколько лет, сколько зим! Куда, откуда и зачем?

Феликс Евгеньевич щелкнул каблуками, расставил руки в стороны и обнял Алексея Федоровича как брата. Это объятие еще больше воодушевило Алексея Федоровича, и он поцеловал Феликса Евгеньевича в щеку. Затем, обернувшись к Олегу Павловичу, который в это время улыбался их встрече, бросил:

- Прошу любить и жаловать - русский дворянин Заводовский Феликс Евгеньевич!

Феликс Евгеньевич расцепил объятия и протянул руку Олегу Павловичу, потом деликатно отвел Алексея Федоровича в сторону и сказал, что хотел бы взять несколько бутылочек коньяку, поскольку у него в квартире сидит гость и с нетерпением дожидается быстрой поправки. Он бы сам, Феликс Евгеньевич, мог бы попросить в подсобке, но ему могут и не дать, а уж Алексею Федоровичу обязательно дадут. На это Алексей Федорович усмехнулся, сказав, что у него самого не хватает какой-то трешки на бутылку, а то бы он тут уж не стоял, но вот эта самая трешка удержала его у магазинчика до этой встречи с ним, Феликсом Евгеньевичем. Вот такой незначительный случай, а сколько решает! Схватил бы бутылку, ушел и не встретил друга! Тут же Феликс Евгеньевич достал из внутреннего кармана своего белоснежного пиджака кожаный бумажник и извлек из него несколько бумажек. Алексей Федорович удивленно уставился на эти бумажки, не просто даже удивленно, а как-то оторопело и спросил, мол, что это за бумажки? Феликс Евгеньевич непринужденно рассмеялся и сказал, что не в то отделение бумажника попал, что это всего-навсего доллары, а рубли у него в другом отделении, и тут же эти самые доллары вернулись на место, а из другого отделения бумажника, из толстой пачечки, была выдернута сотенная наша бумажка. У Алексея Федоровича холодок приятного предчувствия отдыха пробежал по спине. И он тут же, чтобы все порешить сразу, сказал, что должен Клавке двадцать пять рублей. Феликс Евгеньевич благородно разрешил вернуть долг из этой суммы и протянул извлеченную из кармана шелковую сумку для бутылок.

Тут же покупка была совершена, сумка вручена Феликсу Евгеньевичу, а одна бутылка утонула в кармане спортивных брюк Алексея Федоровича. Но ему не хотелось расставаться с Феликсом Евгеньевичем, хотелось пойти с ним. Да тут и сам Феликс Евгеньевич предложил Алексею Федоровичу зайти к нему, но мешал Олег Павлович, который нетерпеливо ожидал выпивки. Тут же решили

понемножку выпить в лесочке. Первые зеленые листочки, первая молоденькая травка. На сучке орешника - стакан. Феликс Евгеньевич выпил с доньшка, и Алексей Федорович столько же, а Олег Павлович засадил стакан и минут через пятнадцать, пока говорили о весне, о цветении, о травах, закачался и упал под дерево. Подняли, повели, довели, открыли его ключами квартиру и уложили на диван. Алексей Федорович удовлетворенно вздохнул, а Феликс Евгеньевич, когда спускались по лестнице, сделал замечание Алексею Федоровичу, чтобы не пил с разными ханыгами. Алексей Федорович погрустнел и, пока шли к дому Феликса Евгеньевича, рассказал ему о своем незавидном положении безработного, об украденном вагоне, о том, что с завистью по утрам смотрит на идущих на работу людей. Феликс Евгеньевич со всем вниманием выслушал рассказ и посоветовал: первое - завязать, второе - устроиться на работу. Алексей Федорович возразил, что, де-мол, легко сказать - устроиться, а куда? И про трудкнижку рассказал.

Феликс Евгеньевич на минуту остановился, подумал, что-то вспоминая, и сказал, что у него есть одна знакомая кадровичка в НИИ и что он с нею переговорит, да что там откладывать - сейчас же, по приходе домой, он ей позвонит. Сердце радостно екнуло в груди Алексея Федоровича, ему тут же захотелось обнять Феликса Евгеньевича, но он сдержался. Он шел и думал о том, что в жизни нужно держаться за хороших, интеллигентных людей, а всякую рвань гнать от себя взашей. Он стал вспоминать, когда же познакомился с Феликсом Евгеньевичем, и вспомнил, что то было лет десять назад и... опять у гастронома "на горке", правда, не утром, а вечером, после закрытия. Тогда Феликс Евгеньевич подошел к нему, потому что Алексей Федорович кому-то уже бутылку вынес, и попросил сделать для него то же самое. Алексей Федорович вынес, а Феликс Евгеньевич потащил его к себе домой. Вот и разговорились, вот и подружились. Какая-то странная сила толкала, тянула Алексея Федоровича к интеллигентным людям. Здесь, в районе, у него таких интеллигентных знакомых было много, но он их как бы стеснялся, никогда к ним просто так не приходил, не досаждал и не занимал у них денег, разве уж они сами как-то незаметно давали во время выпивок, а все эти интеллигентные знакомые любили выпить, но не так, разумеется, как всякие ханыги, а культурно, за столом, с хорошей закуской, под приятный и содержательный разговор. Изредка им хотелось ранним утром похме-

литься, и тогда уж они без Алексея Федоровича прожить не могли, самим-то им совесть не позволяла входить в контакт с мясниками да с кладовщицами, вот и звонили по телефону Алексею Федоровичу или у магазина встречали, а он уж это взятие бутылок в любое время дня и ночи исполнял на счет “раз!”

Возникает вопрос: почему все эти мясники, кладовщики так хорошо относились к Алексею Федоровичу? Да потому, что он был очень общительным и искренним человеком и еще обладал каким-то фантастическим чутьем - где и что можно достать. Для одного ПТУ, в котором преподавал когда-то, черт-те чего только не достал: и пару токарных станков, и компьютер, и облицовочную плитку, и паркет, и краску... А уж когда снабженцем работал, и рассказывать нечего - просто-таки заваливал разными материалами и товарами... Если б не этот треклятый вагон! А уж тут, в районе, его знали во всех магазинах: продавщицам из книжного доставал колбасу финскую, колбасницам - книги, шляпницам - кофемолки, кофе - молочницам, молочницам - кофточки, кофточницам - сантехнику и т. д. и т. п. Одним словом, Алексей Федорович был мастером бартерных сделок. И при встрече с ним каждый не забывал спросить, может ли он достать то-то и то-то, и почти что всегда получал утвердительный ответ. Причем всегда с доброжелательной улыбкой. Нет ничего невозможного. Наполеон!

Пришли к белой девятиэтажке Заводовского. Он набрал код пропускного устройства в подъезде, и они направились к лифту. Эту дверь Феликс Евгеньевич, дверь лифта, открывал и закрывал всегда с каким-то почтением, тихо, совсем неслышно, как бы опасаясь побеспокоить соседей, и это очень нравилось Алексею Федоровичу. И сам Алексей Федорович, когда где-нибудь пользовался подобным лифтом, всегда тихо закрывал дверь. Он любил перенимать хорошие манеры. Одной из лучших его манер, как уже говорилось, было отсутствие матерщины в речи. Лифт в доме Заводовского был устроен так, что останавливался между этажами. И чтобы попасть на шестой этаж, где жил Заводовский, нужно было нажать “пятую” или “шестую” кнопку, что он и предложил сделать на выбор Алексею Федоровичу. Тот нажал “пятую”. Вышли из лифта, и сам Алексей Федорович бесшумно закрыл дверь. Поднялись по лестнице и прошли к квартире 43. Дверь была открыта. В комнате у стола стоял элегантный мужчина с веревочкой в руках, а на конце веревочки был привязан бумажный бантик. За этим

бантиком бегали и прыгали сиамская кошка и ее котенок: черно-бурый, в белых носочках. Мужчина так заигрался с ними, что не заметил вошедших.

Феликс Евгеньевич представил Алексея Федоровича гостю. Тот, не выпуская из рук веревочку, протянул свободную руку и отрекомендовался:

- Бахрак Александр Самойлович!

- Американец, - добавил Феликс Евгеньевич, выставляя на стол, уже сервированный закусками, коньяк.

Алексей Федорович смущенно оглядывал квартиру. Хотя ему многое здесь было знакомо, но кое-что появилось и новое, например, на стенах прибавилось картин. Алексей Федорович принялся рассматривать один пейзаж. Феликс Евгеньевич, заметив это, пояснил:

- Это художника Подлужного... По-моему, замечательная вещьца!

Алексей Федорович согласился и перевел свой взгляд на другую картину, затем принялся оглядывать книжные полки. Он отметил про себя, что книг у Заводовского стало значительно больше, чем прежде. Почти что год он не виделся с Зааводовским.

Сели за стол. У Бахрака глаза были красноватые. Он с удовольствием выпил первую рюмочку и, не закусывая, повторил. Закусив баночным балыком, на который положил дольку посахаренного лимона, он сказал:

- Вчера так здорово посидели в ресторане, что до сих пор голова чужая...

Алексей Федорович со всем вниманием смотрел на нового знакомого, в знак понимания кивал головой и не спеша намазывал на белый хлеб с маслом черную икру. Разве может сравниться это застолье с ханыжничаньем у магазина! Аппетит у Алексея Федоровича разыгрался. Вслед за бутербродом с икрой он проглотил пару ломтей балыка, затем прихватил вилкой несколько маслинок.

- Мы только вчера из Нью-Йорка, - пояснил для Алексея Федоровича Заводовский. - Прилетели уставшие и решили поужинать прямо в аэропорту. Так поужинали, что Александр Самойлович не в состоянии был попасть в гостиницу! В четвертом часу утра на такси попали ко мне.

- Вы были в Нью-Йорке?! - с оттенком недоумения спросил Алексей Федорович у Заводовского.

- Да, дорогой Алексей Федорович, а вы разве не знали? Надо было бы позвонить, жена всегда вечерами дома.

- Неудобно вас беспокоить, - сказал Алексей Федорович, придвигая к себе мисочку с салатом из крабов.

- Что ж тут неудобного? Я уж полгода как ушел из своего НИИ и вот теперь вместе с Александром Самойловичем работаю в одном американско-советском совместном предприятии... Да! Самому не верится, - проговорил Феликс Евгеньевич и налил всем коньяку.

- И кем же вы там? - спросил Алексей Федорович.

- Александр Самойлович - президент, а я - генеральный директор, - сказал Феликс Евгеньевич и добавил: - А не поставить ли нам пластинку?

Бахрак блаженно откинулся к спинке стула, закурил и в этот момент к нему на колени запрыгнул котенок. Бахрак ласково погладил его и сказал:

- Да, ты мне обещал дать послушать Агафонова.

Феликс Евгеньевич включил проигрыватель, поставил пластинку, зазвучала гитара и полилась чудесная цыганская песня. Бахрак поднял котенка над головой, встал и принялся с ним танцевать. Под ногами у него вертелась кошка, глядела вверх на своего котенка и зазывно мяукала, а котенок молчаливо крутил головой и, казалось, что он улыбался. Пока Бахрак танцевал, Алексей Федорович напомнил Заводовскому, что тот обещал позвонить знакомой кадровичке. Вышли в соседнюю комнату, где стоял телефон. Феликс Евгеньевич тут же дозвонился, объяснил суть дела, и, как понял Алексей Федорович, на том конце дали согласие помочь, но с одним каким-то условием. Когда Феликс Евгеньевич положил трубку, то это условие прояснилось: за две печати - сто рублей.

Алексей Федорович засмутился, когда Феликс Евгеньевич полез в бумажник и протянул ему сотню, а затем и еще двадцатипятирублевую бумажку на такси, чтобы сейчас же ехать к этой кадровичке. Алексей Федорович выпил рюмочку на дорожку и побежал вниз. У метро взял первую подвернувшуюся машину, заехал домой за трудовой книжкой и через пятнадцать минут был у нового застекленного корпуса НИИ проблем автоматике, на первом же этаже отыскал дверь с табличкой "Начальник отдела кадров Сименс Берта Рудольфовна", постучал и вошел. Кадровичка предло-

жила ему сесть, полезла в сейф, достала какую-то амбарную книгу, взяла из рук Алексея Федоровича трудовую книжку, полистала и спросила, мол, кем у них Алексей Федорович работал, на что тот без запинки ответил: снабженцем. Запись была совершена, печати поставлены, сто рублей вручены.

Счастливым Алексей Федорович выбежал на улицу, сел в машину и не знал, как отблагодарить Феликса Евгеньевича. Заметив цветочный киоск, он попросил шофера остановиться и купил целую охапку тюльпанов: и для Феликса Евгеньевича, и для его жены. Когда Алексей Федорович вошел в квартиру, то услышал, что все еще звучит Агафонов.

- Третий раз ставим, - сказал Феликс Евгеньевич, - и все Александр Самойлович послушать не может. А ты, Алексей Федорович, джентльмен! - добавил Феликс Евгеньевич, принимая тюльпаны. - Какие великолепные цветы, не правда ли, Александр Самойлович?!

- Прелестно, прелестно! - ответил Бахрак, неизвестно что имея в виду, то ли Агафонова, то ли тюльпаны. На сей раз на коленях его сидел не только котенок, но и сама мамаша, а Бахрак в каком-то умилении их поглаживал.

Алексей Федорович с удовольствием сел к столу и, когда Заводский всем налил, произнес тост за процветание американо-советского совместного предприятия. Александр Самойлович взглянул на часы и сказал, что как бы им не забыть к пяти часам подъехать к китайскому кафе, где назначена деловая встреча. Феликс Евгеньевич успокоил его, сказав, что до пяти еще далеко, и взглянул на Алексея Федоровича, добавив, что он не даст им прозевать время. Алексей Федорович был польщен этим доверием, и теперь то и дело бросал взгляд на настенные часы; свои, электронные, он как-то пропил по надобности.

Феликс Евгеньевич принялся развивать мысли о конвергенции, но его перебил Александр Самойлович и попросил еще раз повторить Агафонова. Феликс Евгеньевич пожал плечами, но спорить не стал и вновь поставил пластинку.

- А в Москве где ваша фирма размещается? - спросил Алексей Федорович у Феликса Евгеньевича.

- Пока арендуем номер в гостинице, - сказал тот, оглядывая свои картины. - С нуля начали. Даже машины своей пока нет. Приходится на такси ездить. Мы в самом начале пути.

- И штаты у вас все заполнены? - вдруг вклинил Алексей Федорович вопрос.

Бахрак вперил в него свой взгляд и стал внимательно рассматривать. Наконец он сказал:

- Кого-то вы мне сильно напоминаете...

- Нет, штаты у нас плавающие, - сказал Феликс Евгеньевич. - Кто нам необходим, того и возьмем. Сами этот вопрос, без проводочек, решаем. Мы же не государственная контора!

- Кого же вы, Алексей Федорович, мне напоминаете? - продолжал Бахрак, поглаживая кошек.

- А может, меня, Феликс Евгеньевич, возьмете, а? Снабженцем, а?

Феликс Евгеньевич какими-то новыми глазами уставился на него.

- А что?! - сказал он.

- Я что хочешь вам достану! - воодушевился Алексей Федорович.

- Ну, дай Бог памяти, - талдычил свое Бахрак, - кого же вы напоминаете? - и неотрывно смотрел на Алексея Федоровича.

- Вагон кирпича достанешь? - довольно резко спросил Феликс Евгеньевич.

- Достану! - не моргнув глазом, сказал Алексей Федорович, хотя по части кирпича он еще ни разу не работал. Но тут же он вспомнил прораба Пашку, который жил в красном доме и который строил теперь здание института на пустыре за кинотеатром.

- Точно достанешь? - удивился столь бодрому ответу Феликс Евгеньевич.

- Достану! - резюмировал Алексей Федорович и прихлопнул ладонью по столу.

- Ну, кого же вы мне напоминаете? Кого? - в который раз задался вопросом Бахрак и встал. Кошки слетели с его колен под стол и принялись возиться между собой.

Феликс Евгеньевич тоже поднялся из-за стола и сказал:

- Вот достанешь, тогда сразу же тебя оформлю...

- Ну, это надо письмо мне написать, на бланке, - сказал Алексей Федорович, - мол, так и так, просим выделить сто тысяч штук кирпича...

- Так это десять вагонов! - удивленно воскликнул Феликс Евгеньевич. - В вагон, кажется, входит только десять тысяч?

- Десять, - подтвердил Алексей Федорович, хотя, честно, не знал, сколько в него входит, ибо, как уже было сказано, кирпичом не занимался. Подумав, он спросил: - А для чего вам кирпич?

- Кого же вы мне, все-таки, напоминаете? - в который раз спросил Бахрак, пританцовывая под пение Агафонова.

- Мы с Александром Самойловичем участок земли купили под Москвой, для загородного офиса... А кирпич - на фундамент. Страшно дефицитная вещь оказался этот кирпич... Да теперь все в дефиците. Брус, доски, шифер... Что ни возьми - все в дефиците, все фондировано, все Госпланом расписано! Страна протянутых рук: дайте, дайте, дайте! Все что-то просят! Бабки у подъезда сидят, кроют кооператоров, а я им однажды сказал: чем крыть кого-то, взяли бы да и открыли свой кооператив, пироги пекли бы, носки вязали... А они мне: а разве, сынок, можно? Ну, что тут говорить... Дисквалифицированное население!

Феликс Евгеньевич пошел на кухню и принес на огромном блюде запеченную в духовке индейку. Тут же налили, выпили и принялись разрезать ее.

- Так когда же ты сможешь достать кирпич? - спросил Феликс Евгеньевич, работая ножом и вилкой над розоватым куском индюшатины.

- На следующей неделе сделаю! - сказал, как отрезал, Алексей Федорович и принялся, подражая Феликсу Евгеньевичу работать ножом и вилкой над своим куском. А ведь сначала хотел схватить его руками.

- Хорошие все-таки у меня картины! - обводя стены глазами, сказал Феликс Евгеньевич.

- Прелестные! - сказал Бахрак и вновь взглянул на Алексея Федоровича. - Кого же вы мне в самом-то деле напоминаете?!

- А утюги с самоварами вам не нужны? - спросил вдруг Алексей Федорович.

Тут уж оживился Бахрак и сразу же сказал:

- Нужны! У нас палатка в гостинице здесь, в Москве есть. Для товарооборота нужны, на валюту нужны. А самовары и в Нью-Йорке нужны! Сколько вы можете достать? Как часто вы сможете доставать?

Алексей Федорович взял салфетку и, промокнув губы, ответил:

- Хоть миллион самоваров и утюгов! Каждый месяц! На постоянные поставки поставлю!

Тут уж Алексей Федорович знал, что говорит: и на заводе самоваров, и на заводе утюгов у него были свои люди. Однажды он выручил универмаг, что рядом с пивной находится, четыре трайлера пригнал им для выполнения квартального плана. После чего директриса отвалила в знак благодарности дубленку Светке-жене.

Между тем время приблизилось к четырем часам, и Алексей Федорович напомнил, что встреча в китайском кафе начинается в пять. Феликс Евгеньевич переглянулся с Бахраком и сказал:

- А не взять ли нам тебя с собой, Алексей Федорович?

- Конечно, взять, обязательно, господин-товарищ-барин! - сам решил он этот вопрос.

- Тогда, раз ты все умеешь доставать, - сказал Феликс Евгеньевич с благообразной улыбкой, - гони машину к подъезду!

- Слушаюсь, господин-товарищ-барин! - отчеканил Алексей Федорович и помчался к метро, на "плешку" за машиной.

Там уже дежурил Косой, и первая черная "Волга" (Алексей Федорович заказал именно такую машину) была его.

Феликс Евгеньевич успел переодеться в черный, в полосочку вечерний костюм. Бахрак, садясь в машину, в сотый, наверное, раз спросил:

- Кого же вы мне напоминаете?!

Алексей Федорович облегчил задачу:

- Наполеона!

- Точно! - вскричал, пугая шофера, Бахрак. - Вылитый Наполеон!

Феликс Евгеньевич, садясь на переднее сиденье, обернулся, окинул взором Алексея Федоровича и подтвердил:

- Да похож. Даже очень похож! Машина тронулась. Развалившись на заднем сиденье и опустив стекло, Бахрак сказал:

- Да, я вижу, Алексей Федорович, что вы умеете доставать то, что нужно!

Мимо трех вокзалов пролетели по Красносельской и остановились у неприметного домика. Позвонили, дверь открыл самый настоящий китаец, чему Алексей Федорович очень удивился. Стол был накрыт за ширмой, в полумраке. Неярко горели разноцветные, с павлинами, фонарики. Стол был необычный, с вертящейся круглой столешницей.

Сели. Только Алексей Федорович принялся открывать бутылку водки, как к столу подошел невысокий черноволосый, с ровным пробором человек лет сорока и представился:

- Виталий Семенович!

- Виталька! - вскричал Бахрак и принялся лобызать пришедшего. - Десять лет не виделась! Я же впервые в Москве после разлуки!

Виталию Семеновичу предложили лучшее место, и пошел под водочку и китайские деликатесы разговор о компьютерах, о земельных участках под гостиницы в Крыму и на Кавказе, и о слиянии капитала, и о процентах, и о налогах, и о бартерных сделках, и о конвертируемости рубля, и о третьих странах, где совместное предприятие предполагало размещать свои заказы и реализовывать продукцию, и об обменах туристскими группами, и о фрахте авиалайнеров, и о грузопотоках по воде, и еще бог весть о чем.

Алексей Федорович замороженно слушал, изредка вставляя, что можно достать, а что трудно, и наливал в рюмки. Наконец, когда сам Бахрак воскликнул: "Наливай!", наливать было нечего. Подозвали официанта, а тот отвечает, что водка в кафе кончилась. А на часах уже десятый, все магазины закрыты.

- Доставай, Алексей Федорович! - сказал Феликс Евгеньевич и протянул ему сотню.

Алексей Федорович выскочил на улицу. Район был незнакомый, но схема действий - та же, что и везде: магазин, подсобка, черный ход. На всякий случай - у таксистов. Тут же какая-то женщина и подсказала, где магазин. Покрутившись у витрин и никого не высмотрев, Алексей Федорович нырнул со двора, дверь была открыта. По узкому коридорчику, где пахло селедкой, прошел на свет, в комнату, а там очень полная торгашка деньги считает.

- Вам кого, товарищ?

- Вас, только вас! - воскликнул приветливо Алексей Федорович - и всю правду на стол, мол, сидят в кафе с американцами, дела миллиардные прокручивают, а у несчастных китайцев водка кончилась. И сотню на стол.

По пятнашке уступила торгашка три бутылки.

- Вот это класс! - воскликнул Бахрак, увидев бутылки. - За пятнадцать минут все дело обделал! Класс!

И опять разговор про то про се. Очень интересный разговор, но Алексей Федорович уже захмелел и начал терять нить этого разговора. Потом он бегал за машиной, потом завозили Бахрака в гостиницу, потом ехали с Заводовским. Потом у его дома машину

отпустили, потом Алексей Федорович поплелся домой. На “плешке” его кто-то окликнул, оказалось Пашка-прораб. Алексей Федорович ему про кирпич, а тот говорит, что со стройки взять не сможет. Алексей Федорович огорчился, даже совсем нахмурился, тогда Пашка-прораб налил ему сто граммов и Алексей Федорович выпил. А не надо было пить. Он пожал руку Пашке-прорабу и пошел в сторону дома, но перед самым кинотеатром, решив срезать угол по газону, упал в клумбу с цветами и проспал мертвым сном до самого рассвета. Очнулся, не понимая, где он. Только аромат цветов так и бьет в нос, так и бьет. Поднялся Алексей Федорович из клумбы и поплелся домой. Разделся, лег. А утром его жена Светка в бок толкает, и глаза у нее испуганные-преиспуганные, и дрожащим голосом говорит, что, мол, отец к телефону зовет.

Подошел Алексей Федорович к телефону и услышал из отцовских уст, что мать его, Анна Николаевна, умерла час назад.

Дочь Федора Павловича Фомичева - Зинаида Федоровна - вышла замуж в восемнадцать лет за тридцатилетнего токаря-инструментальщика. Тогда Зинаида Федоровна училась в химическом техникуме, но, забеременев, бросила со второго курса. После декрета пошла работать в химлабораторию на завод к мужу. С мужем она познакомилась в клубе завода, куда с новыми подругами ходила довольно часто на танцы, не ради самих танцев, но чтобы именно с кем-нибудь познакомиться, потому что с шестнадцати лет уже мечтала о муже, о семье, о детях.

Однажды, на праздник, в этом же клубе она увидела на сцене участника художественной самодеятельности, солиста самодеятельного хора - будущего мужа, - певшего “Коробочку”, и самой Зинаиде Федоровне захотелось быть самодеятельной артисткой - и голосок у нее был, правда, визгливый, но для народных песен в самый раз. После этого самодеятельного концерта были танцы, и солист пригласил ее на танец, и она очень волновалась, поскольку солист - будущий муж - казался очень степенным, достигшим известности в “ящичке”, и лысина придавала ему еще больший вес в глазах юной Зинаиды Федоровны, которая во время вальса вся как бы трепетала. В перерыве между танцами Николай (так звали солиста) наливал в буфете в тонкие стаканы портвейн “Три семерки” и потчевал Зинаиду Федоровну бутербродами с сыром и кон-

фетами. А потом массовик объявил какой-то конкурс, и Николай плясал, скинув пиджак, вприсядку, одновременно выкрикивая бойкие частушки. Вспотевший, он плясал и все время смотрел на Зинаиду Федоровну, а затем протянул к ней руки, призывая выйти в круг, и она вышла, и затопала каблучками, и тоже закричала визгливо частушками, которые с молодых ногтей слышала от матери и от ее деревенских родственников и без которых (частушек) не обходился ни один праздник.

Миновало то время, и вот теперь справили Николаю шестидесятилетие, подарили от завода самовар, а Зинаида Федоровна и не хотела совсем отмечать этот день рождения мужа, потому что уже третий год они лаялись между собой, как собаки, без всяких на то видимых причин. Хотя, если подумать, причины можно было отыскать. Ну, например, Зинаиде Федоровне не нравилось, что Николай жил теперь в отдельной комнате (это после того, как старуха-соседка умерла и он выхлопотал от завода эту комнату, то есть всю квартиру теперь записали на Николая). Николай приходил со смены и прямым ходом шел в свою комнату, даже вешалку там, паразит, себе приделал за шкафом. И телевизор, старенький, себе поставил там. Вот придет с завода, ляжет на диван и давай смотреть свой телевизор. А Зинаида Федоровна готова! Руки обламываются готовить на этих оглоедов! Трое мужиков! Мало того, что Николай нырнул в свою комнату, он еще изнутри запирается. Однажды, в порыве ненависти к нему, Зинаида Федоровна чуть не сожгла его дверь: плеснула керосинчику на половичок и спичку поднесла. Правда, в тот момент она была под сильной мухой.

В лаборатории у нее спирту было видимо-невидимо! С подругами настаивали разведенный и на лимончике, и на клюковке, и на каком-нибудь варенье. И так Зинаида Федоровна пристрастилась к этим напиткам, что через день бывала (мягко скажем) пьяненькой. Эдак едет с работы в хорошем расположении духа, весело ей, а приезжает домой - Николай уже закрылся! Хотя и работали они в одном "ящике", а на работу и с работы вместе не ездили. Зинаида Федоровна говорила ему, мол, нечего мне позориться: с таким стариком ездить! И матери всегда в последнее время говорила, что стариком стал Николай, а мать отвечала, что, мол, никто ее не гнал за него, мол, сама выбрала себе, да и дети теперь. Эти дети шлялись где-то целыми днями (одному двадцать пять, другому шестнадцать), приходили поздно, да и под хмельком. Старший

нигде не работал, бросил завод (он там слесарем был), одно время ящики разгружал в магазине. Зинаида Федоровна кричала на него, а он бурчал, что трудовая книжка у него в одной фирме лежит, и что за это (то, что она там лежит) ему платят пятьдесят рублей. Младшего выгнали из школы, вернее, не перевели в девятый класс, сунули аттестат за восьмилетку и иди, гуляй, куда душе заблагорассудится. Ну, тут уж Зинаида Федоровна не растерялась, взяла его за шкурку и отвела в заводское ПТУ учиться на шлифовщика, а он там дружков себе нашел! Уже пару раз вызывали в милицию.

Зинаида Федоровна к матери приезжала поплакаться, но чем могла помочь больная мать. Лежит на кровати или сидит на сундуке в прихожей и вздыхает со слезами на глазах. Зинаида Федоровна ее более или менее в порядок приводила: подстрижет “кружочком”, оботрет всю влажным полотенцем (мать уж не могла в ванну залезть). А раз в полгода состричит ей Зинаида Федоровна платье-мешок: прошьет тряпку с двух сторон и сверху - вырез для головы, вот тебе и платье!

Сама же Зинаида Федоровна следила за собой, как ей казалось, самым тщательным образом: завивка на голове каждую неделю, раз в месяц - новое платье, или юбка, или костюмчик, или брючки, или туфли, или сапоги. Сама все достает, с Николая в зарплату все до копейки выскребет, да со своей получкой сложит, вот вам и навар. От природы русая, она с восемнадцати лет стала белой, вытравивала волосы и травила их регулярно, и шестимесячную завивку делала: вся в кудряшках! Лицо круглое, деревенское, но “выкрашено” косметикой до неузнаваемости под городское! Посмотрит на себя в “зергило”, как она сама говорила, научившись так произносить это слово, да и многие другие слова, от отца-матери, и воскликнет с чувством, что, мол, какая она красивая!

Спала Зинаида Федоровна на трех маленьких подушечках-думках, чтобы только под щеку они приходились, а кудряшки прически как бы на весу оставались, чтобы эта прическа не портилась. Вообще к себе и к вещам Зинаида Федоровна относилась чрезвычайно бережно. И очень любила вещи. Как только поженились с Николаем, сразу же купили полированный шкаф. Этот шкаф был давней мечтою, и она осуществилась. Затем купили широкую деревянную кровать. А уж потом - цветной телевизор, когда они стали появляться. Этот цветной телевизор сделался тоже причиной

многих скандалов, потому что Зинаида Федоровна не давала его никому смотреть, ну разве что на полчаса включит, да и гасит. А как же, ведь испортиться может. Николай и дети возмущались, мол, его для того и купили, чтобы смотреть, а Зинаида Федоровна гасит и все! Ей - слово, она в ответ десять, и все слова вылетают из ее рта визгливые, скандальные, и при этом вся Зинаида Федоровна трясется. Тогда и купил Николай подержанный черно-белый "Рекорд" и назло жене включал его каждый день на целый вечер!

Но что особенно любила Зинаида Федоровна, так это застолья. Даже не сами застолья, а предпраздничную суету. На голове у нее к этому времени целый дом кудряшек, упрятанных под шелковую косынку для придания кудряшкам формы. На кухне все кипит, шипит, варится-парится. Холодец, заливное. А за неделю до этого с Николаем каждый день несут в дом добытые с боем продукты. Там ножки для холодца достали, там горбушу, там селедку... Дня три Зинаида Федоровна в каком-то экстазе готовит, готовит и готовит. А в сам праздник - ящик водки, все пьяные, пляшут, кричат песни, перемешают-попортят все закуски-блюда, кто-то падает головой в заливное, кто-то опрокидывает на пол винегрет, кто-то гасит окурочку в салате... Эх! Однова живем! Да, можно сказать, именно подобное воскликнет пьяная Зинаида Федоровна, завизжит: "Меня милый обнимал днем на сеновале!", - топнет каблучком импортных туфель - и пошла пляска! Тут уж все пьяные гости в круг, кто-то, пытаясь пойти вприсядку, падает и укатывается под кровать и дурным голосом вопит оттуда: "Бродяга Байкал переехал..." А Николаю, как бывшему солисту самодеятельности заводского клуба, хочется успокоить всех, рассадить, чтобы самому спеть. С трудом он это проделывает, предварительно выпив стакан и поплясав как следует, и когда все усаживаются за столом, заводит "Коробочку" (так он называет эту песню). Но едва Николай успевает в тишине пропеть: "Располным-полна моя коробочка", - как (кто в лес, кто по дрова) въезжают в песню пьяные надрывные голоса: "Есть в ней ситец и парча!" Николай злится, замолкает и принимается закусывать, а уж его никто и не помнит, песня сама гремит, звенит, визжит: "Пожалей, душа-моя зазнобушка, молодецкого плеча!" И особенно громко вопит своим сипатым голосом "брательник" Зинаиды Федоровны - Алексей Федорович, да не просто вопит, а вскакивает на стул ногами, раздирает рубашку на груди, так что пуговицы сыплются в закуски, и, как на

пожаре кричат “караул!”, воет: “Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись: подставляй-ка губы алые, ближе к милому садись!” Когда все, наконец, замолкают, так как слов до конца песни никто не знает, и Зинаида Федоровна кричит, подняв рюмку, что пора выпить, вот в этот тихий момент из-под кровати слышится голос забытого: “Рыбацкую лодку берет...”

Все смеются.

На другой день Зинаида Федоровна с утра до вечер приводит дом в порядок, изредка проглатывая рюмочку-другую. Николай же, чтобы не мешать, уходит в пивную, что находится возле кладбища. Через час-другой он приходит домой повеселевшим, миролюбиво обменивается впечатлениями с Зинаидой Федоровной, кое в чем ей помогает, а уж затем укладывается отдыхать. Проспав до вечера, встает, ужинает и опять ложится, чтобы проснуться на работу в полшестого утра. От дома до работы полчаса езды на трамвае. В шесть тридцать начинается смена. В проходной выдают пропуск, и до конца рабочего дня никуда из “ящика” не выйдешь. У Зинаиды Федоровны такой же режим.

Летом Николай во время отпуска ездит к себе в деревню, а Зинаида Федоровна - на юг, к сестре матери, Валентине. За рекой в материнской деревне располагался аэродром, туда бегала эта Валентина на танцы, сошлась там с солдатом и уехала с ним к нему на родину, в Алушту, устроилась посудомойщицей в столовой дома отдыха и зажила припеваючи. На лето сдавала комнату, сарай, пристройку отдыхающим и размещала Зинаиду Федоровну. Когда муж Валентины умер, она стала попивать, и особенно ей нравилось попивать с Зинаидой Федоровной во время ее наездов. В деревню Николая Зинаида Федоровна не любила ездить, хотя одно время ездила, но там однажды поскандалила с сестрой Николая, которая приперлась на лето туда со всей семьей своей. Николай обьяснял, что сестра имеет такое же право на дом, как и он сам, но Зинаида Федоровна сказала, что пока эта сестра сюда ездит, ее ноги в деревне не будут.

Самому же Николаю очень нравилось проводить время в деревне. Ходил на рыбалку, выпивал с Ученым, соседом-пастухом. А Ученым его прозвали за то, что он стадо догонял только до леса, а сам возвращался домой, не проявляя дальнейшей заботы о поголовье. Коровы сами бродили по лесу, жевали траву и дисциплинированно возвращались по домам.

Два раза Николай возил в деревню Федора Павловича на девятое мая. Ездили на “Жигулях” младшего сына Федора Павловича, Владимира Федоровича. В багажнике - ящик водки. Садились под яблоней в саду за стол, пили, пели, закусывали. Пели всю ночь, и Ученый присоединялся. Утром похмелялись и сажали картошку, которая уже к июню зарастала травой. В этих поездках принимал участие и Алексей Федорович. Итак, сзади в “Жигулях” - Федор Павлович, Алексей Федорович, впереди за рулем - Владимир Федорович, рядом Николай. Едут за двести километров веселые, трезвые. Туда. Обратно - разбитые, уставшие. Кроме, разве, Владимира Федоровича, который пил мало. Он вообще не любил пить, да и жены своей побаивался и опять-таки же - за рулем. В последнее время Владимир Федорович в гости к сестре перестал ходить, и она прозвала его “куркулем”.

И опять наступало утро и нужно было вставать, идти на работу. Зинаида Федоровна садилась за свой стол среди химических реактивов, брала пробирки и начинала что-то с чем-то смешивать. А сама думала о том, как быстро проскочила жизнь, только вчера, казалось, ходила на танцы, и вот, пожалуйста... Но эти мысли быстро исчезали, потому что подружки принимались сплетничать о чем-нибудь или о ком-нибудь, и Зинаида Федоровна с удовольствием подключалась к разговору. Во время этого разговора ее пригласили к телефону, она подошла и услышала голос отца.

- Плохие дела, - сказал отец и сделал паузу, во время которой Зинаида Федоровна побледнела от предчувствия, а отец закончил: - Давай приезжай, мать преставилась...

- Ой! - воскликнула Зинаида Федоровна и села на стул.

Сердце ее от страха забилось очень часто, губы затряслись, и она заплакала. Подбежали подружки, узнали о скорбной новости, стали, кто как мог, успокаивать. Тут же Зинаиду Федоровну отпустили с работы. Позвонив Николаю в цех, она побежала к проходной. Николай, молодец, догадался занять пятерку на такси.

Младший сын Федора Павловича Фомичева - Владимир Федорович - в этот день выехал из автокомбината в три часа тридцать минут утра, когда еще на улице было темно, небо светилось звездами, и за будкой механика в кустах пел соловей. На своем “ЗИ-

Ле"-фургоне он приехал на мясокомбинат, в специальный цех, загрузился отборными мясными продуктами и помчался в центр. Там, возле ГУМа, въехал в подвал и подвалами поехал по широкой улице. Разгрузив полкузова, выехал из подвала и поехал развозить остальное по гастрономам по своему усмотрению, так как работал и за экспедитора. Проезжая мимо одного гастронома, подумал, что в него давать ничего не будет, потому что в прошлый раз директриса дала ему вместо четвертака всего пятнадцать рублей. У другого гастронома, прямо у фасада, не въезжая во двор, остановился и посигналил. Тут же выскочил директор в белом халате, Владимир Федорович не спеша открыл дверь кабины, директор, скрестив руки на груди, уговорил Владимира Федоровича сгрузить ему кое-чего повкуснее. Что ж, этот директор хороший. Владимир Федорович загнал машину во двор, магазинные грузчики под присмотром Владимира Федоровича выгрузили несколько ящиков, а директор сунул Владимиру Федоровичу четвертак. В последующих трех гастрономах Владимир Федорович проделал то же самое и в итоге у него в кармане оказалось сто рублей. Для начала неплохо! К десяти был вновь на мясокомбинате, но уже в цеху "для простых советских людей", затоварился вареной колбасой, фаршем, суповым набором и поехал по обычным продовольственным магазинам. Да и то останавливался не у каждого. Здесь такса была поменьше, но можно было поторговаться. Там сбил червонец, в другом магазине - двенадцать рублей, в третьем... в общем, схема ясна.

Владимир Федорович работал через день, со сменщиком, но теперь сменщик пошел в отпуск, и Владимир Федорович пахал каждый день. В гараж мчался в крайнем левом ряду, как легковушка, не уступая никому дорогу. От его тяжеловесного "ЗИЛа" эти легковушки так и шарахались в сторону. А Владимир Федорович сидел в высокой кабине, как на троне, и жал на газ. В три тридцать дня он уже ставил машину носом к толстой трубе, из которой зимой дул на радиатор горячий воздух, под окном будки механика. Отметив и сдав путевку, сунул механику за отличную разрядку тридцатку, пересел в свои бежевые "Жигули", которые стояли тут же у входа в будку, и покатил домой. По пути остановился у универсама, зашел, осмотрел товары и, заметив в отделе женской одежды очередь, зашел к директору и спросил, что дают. Тот выдал ему тут же то, что "давали", и попросил подбросить ему на праздник кое-какого "мясца".

Дома Владимира Федоровича встретил приветливым лаем коричневый и кудрявый, как ягненок, пудель Филя, и когда Владимир Федорович закрыл за собой входную дверь, прыгнул на руки к хозяину и лизнул влажным языком в щеку. Дочка сидела в маленькой комнатке за письменным столом и делала уроки. Квартира у Владимира Федоровича была очень тесная (не его квартира - он был прописан у родителей, - квартира тещи), из двух проходных комнаток, тесной кухни и двухметровой прихожей.

Пройдя на кухню, Владимир Федорович налил себе тарелку борща с огромными кусками мяса, взял ложку и принялся есть, чавкая и втягивая в себя влагу ноздрей. Затем, подумав, достал из холодильника колбасу, отрезал огромный ломоть и принялся прикусывать им борщ. По мере поглощения пищи Владимир Федорович чувствовал неумолимое наступление сна: глаза сами собой слипались, по телу разливалась блаженная истома, и не хотелось ни о чем думать.

В школе он учился очень плохо и один раз остался на второй год. Но был смирным учеником, с учителями не спорил, и когда ему делали замечания, все больше молчал, насупившись, глядя в одну точку. Потом учился в ПТУ на токаря, ходил в тяжелых черных кирзовых ботинках, черных суконных брюках и в гимнастерке, подпоясанной широким ремнем с пряжкой. Владимир Федорович был очень дружен с отцом, потому что отец везде таскал его с собой: и на малярные халтуры, и на рыбалку, и за грибами. Особенно им нравилась зимняя рыбалка. Они надевали ватные брюки, валенки с галошами, брали рыбацкие ящики и отправлялись на электричке к замерзшим водоемам в четыре утра, когда еще на улице стояла ночь. Сидели над лунками и говорили о том о сем. Чаще же всего разговор сводился к тому, как и где лучше работать, чтобы была и зарплата неплохая, и халтурить можно было. Так что учебу в ПТУ на токаря рассматривали как временное явление, до службы в армии. В армии Владимир Федорович забыл о токарном деле, выучился на шофера и возил на огромной дизельной машине ракеты.

До армии, на танцах, он познакомился с будущей своей женой, Лидочкой. Эта Лидочка с какой-то фанатической верностью ожидала его возвращения, регулярно навещала его родителей и молчала. Это была какая-то феноменальная молчунья. Придет, скажет

“здрасьте”, сядет и молчит. С ней пытаются разговаривать, а она молчит. Сидит себе и молчит. Федор Павлович и так и эдак, а она молчит. После восьмилетки Лидочка устроилась в паспортный стол, так до сих пор там и работала, и молчала. Ну, как в рот воды набрала, молчала. Федор Павлович сначала злился, а потом привык, сам скажет пару-тройку слов и тоже молчит. Он любил собирать детей на застолья, и первое время все они приезжали к нему, когда еще мать могла ползать и кое-что готовить. Да и Зинаида Федоровна помогала. Та приезжала накануне, с ночевкой, и варила, и жарила, и парила. У Алексея Федоровича Светка веселая, говорливая, песни поет, Николай Зинаидин тоже поет и сама Зинаида Федоровна поет, и мать поет: “Над рекой туман, за рекой граница”, - а Лидочка сидит и молчит.

Зинаида Федоровна сразу к ней стала относиться с подозрением, мол, Владимира Федоровича хочет от семьи отбить. Так оно в дальнейшем и случилось: перестали они приезжать к родителям на застолья. Но сначала приезжали, сидели, выпивали-закусывали. Владимир Федорович тоже пел, да громко так, басом: “Расскажи, расскажи, бродяга...”. Он запоет и пропоет уж целый куплет, а Лидочка так на него взглянет, что он и затыкается поспешно. Потом он через год после возвращения из армии купил себе машину. Сразу после армии он на эту продовольственную автобазу устроился по блату, через тещу. Теща его, мать Лидочки, работала приемщицей вторсырья, палатка у нее была возле линии железной дороги, ну она - теща - без пятидесяти рублей каждый день домой не возвращалась, и знала всю эту “бражку” торговую. Пристроила Владимира Федоровича за триста рублей на автобазу. Вот с тех пор и стала Зинаида Федоровна ревновать брата к Лидочке. Каждый раз, когда встречались у родителей, Зинаида Федоровна замечала на Лидочке новые наряды и украшения, в основном из металла желтого цвета, да и сам Владимир Федорович приоделся, даже перстень из такого же металла носил!

Машину же он купил через отца как ветерана войны - там у них своя, небольшая очередь на машины. На имя отца купил, одна фамилия - Фомичевы, но на всякий случай с отца доверенность взял. Сначала на ней в деревню к Николаю ездил, а потом перестал, потому что купил себе дом по казанке - бревенчатую избу с сараями да с огородом. Зинаида Федоровна называла теперь его “помещиком”, называла и злилась, мол, у него денег мешок, а подарки на

дни рождения дарит грошовые. Однажды так и лягнула ему за столом:

- Куркуль!

Тут уж прорвало, как плотину, молчаливую Лидочку:

- Ты, Зинаида, пылинки-то в чужих глазах брось замечать, ты бревна в собственных увидь! Что вы нажили за жизнь? Ничего! А у нас и машина, и дом, и на книжке кое-что есть! Вы пьянствуете, а мы каждую копейку бережем! Нашлась, тоже мне, обзывать! Ты хочешь, чтобы Володя, как твой Николай, напивался? Нет, это не будет! Он все своим горбом зарабатывает! Не ворует!

Зинаида Федоровна - в краску, и кричит:

- Как это не ворует! Он всю ворует! Колбасу финскую возит! Финскую! Знаю я! А теща-помощница тоже, скажешь, не ворует? А?!

- Не трожь мать, стерва! - вопит Лидочка и вцепляется в кудряшки Зинаиды Федоровны лаковыми ногтями.

- А-а-а! - истошно вопит Зинаида Федоровна.

К ним бросается Алексей Федорович разнимать и получает оплеуху от Владимира Федоровича.

- Не трогай мою жену! - ревет басом Владимир Федорович.

С горем пополам дерущиеся разнимаются. Попадает и Светке ни с того ни с сего от Лидочки:

- Потаскуха, детей не нажила, а туда же!

То ли послышалось что-то Лидочке, то ли Светка действительно что-то сказала, но тут уж за Светку вступается Алексей Федорович:

- Ты, вобла! (Лидочка действительно была тощей.) Молчи, как прежде, а то язычок-то укорочу!

- Да, я вобла, - с достоинством отвечает Лидочка и, взглянув на мать, добавляет: - А вы свињи!

Тут уж Федор Павлович не выдерживает и бьет кулаком по столу, так что тарелки падают на пол и разбиваются:

- Молчать!

Все замолкают.

Слышатся всхлипы. Зинаида Федоровна, оскорбленная до глубины души, плачет. Глядя на нее, плачет и Алексей Федорович, но у него слезы больше от выпитого, чем от горьких чувств. Чтобы заглушить этот плач, Николай заводит пластинку на проигрывателе. Утесов поет "Мишку". Федор Павлович откупоривает очередную

бутылку водки. Наливает. Алексей Федорович, утирая слезы, берет рюмку, Светка берет рюмку, все берут рюмки, даже Лидочка.

- Ну, дай бог, не последняя! - говорит Федор Павлович, и все выпивают.

Затем молча закусывают.

Николай, Владимир Федорович и Алексей Федорович идут как ни в чем не бывало на кухню курить.

Все эти застолья Владимиру Федоровичу порядком надоели, и он перестал реагировать на приглашения.

Отобедав, он встал, потянулся, зевнул и пошел на диван. Дочка, сделав уроки, перешла в большую комнату, чтобы не тревожить сон отца.

В девять часов вечера Владимир Федорович просыпался и ужинал. Теща, высушенная старушка, подсовывала ему то одно, то другое блюдо, приговаривая: "Поешь, Володенька, поешь..." И он ел, ел, ел. Он был большой и здоровый, еще молодой, но животик уже намечался. Владимир Федорович ел много и жадно, громко глотая, шевеля носом и ушами.

- Ешь, ешь, - говорила теща, подвигая к нему новую еду.

А он, поднимая еще сонные глаза от тарелки, благодарно взглядывал на Лидочку, которая за компанию сидела за столом и любовалась мужем. Она была красива неяркой бледной красотой, и сохранялось в ней что-то от девушки - стеснительное выражение глаз, угловатость движений.

- Надо бы купить мне шапку, старая изнасилась, - говорила Лидочка.

- Купим, - отвечал Владимир Федорович, приступая к чаю с вареньем.

- Я присмотрела верблюжье одеяло, - говорила теща.

- Купим, - отвечал Владимир Федорович.

- А палисадник будем делать? - спрашивала Лидочка.

- Обязательно, - говорил Владимир Федорович. - Штакетник купим.

- Говорят, сейчас плохо со строительными материалами, - замечала теща.

- Купим, - отвечал Владимир Федорович.

- Второй этаж надо бы этим летом сделать, - говорила Лидочка.

- Сделаем.
- Бригаду нанимать? - спрашивала теща.
- Найдем. Да и Витька поможет.
- Витька поможет, - говорила теща о своем сыне.
- Я магнитофон японский хочу купить, - говорил Владимир Федорович, позевывая.
- Купи, - говорила теща. - Чего же не купить.
- А может, и бригаду нанимать не буду, - говорил Владимир Федорович. - Я в отпуск пойду, Витька приедет, да соседа попрошу.
- А и то, - соглашалась Лидочка. - Чего деньги зря выбрасывать.
- Ну, на это денег не жалко, - говорила теща. - Здоровье дороже. Поломайся на крыше!

Так проходили вечера. И все укладывались спать озабоченными, что завтра нужно что-то добывать, покупать, нести в дом, чтобы вечером, за ужином, обговорить сделанное и наметить дела на будущее. Утром звонил будильник, Владимир Федорович поднимался, умывался, одевался, а теща уже ждала его в кухне с завтраком.

- Поешь, поешь, Володенька.

Владимир Федорович ел, потом выходил на ночную улицу, два квартала проходил пешком до стоянки, садился в машину и ехал в гараж под звучание автомобильного приемника. Владимир Федорович глядел вперед и позевывал. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче дышалось, приоткрывал окно. Он обдумывал, в какой гастроном он сегодня будет заезжать, а в какой нет, кто сколько ему сегодня подкинет в обычных магазинах, и сколько чего нужно будет прихватить сегодня домой, потому что обещала приехать жена Витьки за продуктами. Потом он думал о пятнадцатилетней дочери Витьки, которая родила двойню, а ухажер от нее смылся. Потом думал о том, что в ближайшее время нужно просить отца, чтобы через совет ветеранов записался в очередь на "Волгу".

Поставив "Жигули" у будки механика и взяв путевку, он пересел на свой огромный "ЗИЛ" и поехал загружаться товаром на мясокомбинат. День прошел удачно, с хорошим калымом. Вернувшись домой, он застал тещу и Лидочку в тревожном состоянии. А дочка, бросившись радостно ему навстречу, воскликнула:

- Твоя бабушка умерла!

Разбуженный Светкой, Алексей Федорович встал с больной головой, и первое, после мрачного известия, что пришло в голову, - похмелиться. С этой мыслью он и выбежал на улицу и даже дошел до "горки", но передумал, потому что понял, что неприлично приходить на такое дело поддатым. Но руки тряслись, голова гудела и давила горло тошнота. Чтобы избавиться от этих ощущений, Алексей Федорович завернул в аптеку, купил флакон валерьянки в таблетках и мятных лечебных конфеток. Выйдя из аптеки, насыпал на ладонь штук десять желтеньких таблеточек и проглотил. Затем бросил в рот несколько зелененьких карамелек. После этого направился к метро и хотел уже входить в здание станции, но передумал, потому что не был уверен в том, что сможет ехать. Поэтому прошел до другой станции пешком. Он знал, что если не похмеляться, то будет плохо часа три-четыре, и что это время нужно пережить. Еще в такой ситуации помогает сок. В нем есть фруктоза, которая довольно-таки успешно борется с алкогольными тельцами. Эти тельца Алексей Федорович представлял в виде рыбок. Вот за этими рыбками и должны гоняться тельца фруктозы, которые, однако, он никак не представлял. Он зашел в гастроном и, держа стакан обеими руками, выпил подряд три стакана виноградного сока. Его все еще продолжало тошнить, подташнивать, но Алексей Федорович мужественно крепился, только сплевывал по сторонам. И в другую станцию метро он не стал входить, решив пройти пешком до следующей. И он шел, и ему становилось легче. Светило солнце, зеленели кусты, пестрели желтые одуванчики на газонах. Алексей Федорович шел, сосал мятные конфетки и отгонял от себя мысли о смерти матери. Минутами ему становилось не по себе от мысли, что вот он сейчас увидит мертвую мать. Как это произойдет? Где она лежит? На кровати? Или уже в гробу?

От слова "гроб" Алексея Федоровича всего затрясло. Он поспешно открыл флакончик валерьянки и проглотил еще с десяток таблеток. Но его продолжало трясти, как будто на улице был не май, а декабрь. Однако минут через пять Алексея Федоровича бросило в жар, и на лбу выступили крупные градины пота. Во рту пересохло. Увидев красную палатку, он встал в очередь и выпил две больших кружки горьковатого квасу. Затем сел на скамейку

отдохнуть и задремал. По всей видимости, повлияла валерьянка. Дремал он каких-нибудь минут пятнадцать, но ему показалось, что он проспал часа два. Испугавшись, побежал в метро, забывая на ходу о своем похмельном состоянии. Вдруг бодрое, здоровое настроение овладело им.

Только когда подходил к дому родителей, почувствовал, что тошнота опять надвигается, и заболела голова. Поднимаясь по лестнице, ощутил в себе беспокойный страх, что вот-вот упадет. И в самом деле, ноги как будто совсем онемели, так что от ступеньки к ступеньке он переставал ощущать их, и поражался, что еще поднимается и не падает. Перед самой дверью сердце у него так забилося, что, казалось, сию же минуту разорвется. Даже под левой лопаткой заболело.

Алексей Федорович остановился перед дверью, глубоко вздохнул и несколько раз поднял вверх левую руку. Он позвонил. Дверь открыла сестра, Зинаида Федоровна, вся заплаканная, со сбившимися кудряшками на голове.

- Горе-то, горе какое, Лешенька! - воскликнула она.

Он не мог ответить и, как казалось ему, не мог даже стоять. Зинаида Федоровна, утираясь платком, прошла в глубь тесной прихожей, Алексей Федорович увидел Николая, в черном костюме с галстуком. Николай, по всей видимости, не находил себе места, то скрещивал руки на груди, то убирал их за спину, то укладывал в карманы брюк. Дверь в комнату была плотно закрыта. Федор Павлович, чисто выбритый, сидел за столом на кухне. Алексей Федорович, окончательно забыв о своем похмельном состоянии, поздоровался со всеми и спросил, можно ли ему зайти в комнату, но Зинаида Федоровна сказала, что там сейчас обмывают тело соседки. У Алексея Федоровича опять затряслись поджилки, и чтобы отделаться от этого дрожания, он подошел к Николаю и спросил:

- Давно приехали?

Николай был бледен и как-то особенно серьезен.

- Полчаса назад, - сказал он тихо и добавил: - На такси.

Алексей Федорович постоял некоторое время молча, затем прошел на кухню. Он не знал, о чем и как говорить с отцом, с Зинаидой, с Николаем, но чувствовал, что нужно что-то говорить.

- Как она умерла? - спросил он у отца.

Отец сцепил руки, лежащие на клеенке стола, посмотрел на Алексея Федоровича каким-то испытующим взглядом, затем отвертел глаза на окно.

- Как-как? Взяла да умерла. Как люди помирают? Слышу утром зовет: "Федя, Федя!". Ну, я, думаю, пить ей надо или еще чего. Не поспешил. Замолкла, а я задремал. Вышел потом, а она уж мертвая. М-да, проклятая жизнь.

Зинаида Федоровна, стоявшая у стены, с последними словами Федора Павловича простионала:

- Ой, мамочка!

Чувство страха не покидало Алексея Федоровича; чтобы не думать о том моменте, очень близком, когда он увидит мертвую мать, он спросил:

- Володе сообщили?

- Звонил, а как же, - сказал отец. - Но он нонче пашет. Лидочка сказала, что, как только с гаража придет, сразу же они приедут.

- А деревенским дал телеграмму?

- Вон, Зинка бегала, - сказал отец.

- Отбила, - кивнула Зинаида Федоровна, продолжая вытирать слезы платком. Глаза ее покраснелись.

Дверь из комнаты открылась и вышла одна из соседок.

- Надо переложить ее на кровать, - сказала она.

Алексей Федорович первым вошел в комнату и увидел мать, лежащую на полу, на большой полиэтиленовой пленке. Полное лицо матери показалось ему еще полнее и сохраняло еще жизненный цвет. Николай встал напротив Алексея Федоровича в головах, а Федор Павлович, Зинаида Федоровна и обе соседки - в ногах. Подняли. Тело показалось Алексею Федоровичу таким тяжелым, что у него едва не расцепились руки. Уложили мертвую на кровать. Алексей Федорович, сдерживая слезы, поцеловал еще теплый лоб матери.

Вышли на кухню. Зинаида Федоровна сказала:

- Она еще не совсем умерла.

- Как это? - удивился отец.

- Я слышала, кто-то говорил, что мертвые еще все слышат, мозг у них будто бы еще работает.

- Чушь, - махнул рукой Федор Павлович.

- Я тоже слышал, что они не сразу умирают, - сказал Николай.

Соседки сказали, что они уходят, а потом, когда нужно, придут и помогут готовить стол. Федор Павлович поблагодарил их, и когда они ушли, сказал, что скоро должен прийти похоронный агент.

Наступило молчание. Чтобы как-нибудь отвлечься от тяжелых мыслей, Алексей Федорович стал про себя припоминать эпизоды своего детства. Мать тогда была стройная, красивая. Жалела Лешеньку. Она вообще как-то по особенному тепло относилась к нему. Может быть, оттого, что он рос болезненным, много раз лежал в больницах. В последующие годы она жалела его еще и потому, что у него со Светкой не было детей. Володьке что, он сам матери подбрасывал мясо да денежки, а она, как только Алексей приезжал, снаряжала ему сумку харчей да десяточку совала.

- Пойдем покурим, что ли? - сказал Николай.

- Идите, прогуляйтесь, - сказала Зинаида Федоровна. - Погода-то, вишь, отличная.

- Да и этого агента покараульте, - добавил Федор Павлович.

Спустились к подъезду, закурили.

- Ну, как живешь? - спросил Николай. - Пьешь все?

Алексей Федорович смутился.

- Бывает. А кто теперь не пьет? - сказал он. Последнее время, чтобы его не расспрашивали, Алексей Федорович перестал бывать и у матери, и у сестры. А у Владимира Федоровича не был уже года три, с тех самых пор, как занял у него тридцатку и все не мог отдать.

- Мать еще до смерти говорила, что ты нигде не работаешь, - сказал Николай.

- Было дело, - вздохнул Алексей Федорович. - Теперь кое-что подыскал.

- Что?

- Да так, одно советско-американское предприятие... Вроде, хотя бы снабженцем взять...

Николай вскинул удивленные брови, спросил:

- Это, что ж, в Америку поедешь?

- Не исключена возможность, - соврал Алексей Федорович и стал напряженно думать, где бы ему раздобыть кирпич.

- А мне так офонарела работа, что решил прямо с июня выходить на пенсию, - задумчиво проговорил Николай.

- Правильно, - поддержал Алексей Федорович. - Я бы не смог трубить в твоём "ящике". Я к свободным профессиям привык. Помню, в ПТУ, как сыр в масле катался. Отбарабанишь свое время по расписанию и - гуляй. А снабженцем работал - вообще малина! И как ты, Николай, только пашешь там всю жизнь?!

- Привычка, - вздохнул Николай.
- У тебя нет каких-нибудь знакомств, чтобы кирпич достать? - вдруг спросил Алексей Федорович.

- Зачем тебе кирпич? Строиться, что ли собираешься?

- Для дела нужно. Вагон кирпича для начала, а?

Николай задумался, закурил новую сигарету, затем, что-то вспомнив, сказал:

- Есть у меня один еврей знакомый... Спрошу. Вот мать похороним, позвони мне тогда на работу. Телефон помнишь?

- Помню, - сказал Алексей Федорович, - в книжке записан.

- Как жизнь проскочила! - вздохнул Николай. - Своих я схоронил, уж сколько прошло? Восемь лет! Вот и матушка твоя... Большая была, диабет, давление...

- Есть ей нужно было поменьше, - сказал Алексей Федорович.

- Да, ела она много, - согласился Николай.

Помолчали.

- Получу расчет и - в деревню! - сказал Николай. - Буду там жить!

- А Зинаида?

- Да ну ее к черту! - сказал Николай. - Мы и не живем, наверное, год. У меня своя комната!

Алексей Федорович увидел, что к подъезду идет хорошо одетая женщина с черной сумочкой. Когда она приблизилась, глядя на табличку с нумерацией квартир, Алексей Федорович спросил:

- Не к Фомичевым?

- К Фомичевым, - сказала женщина.

- Стало быть, вы - агент? - спросил Николай, выбрасывая сигарету.

- Да, - сказала женщина и вошла в подъезд.

Алексей Федорович и Николай вошли следом. Агентшу усадили на кухне за стол, и она принялась выписывать справки и накладные: на гроб, на венки, на похоронную машину, на могилу. В заключение Федор Павлович расплатился с ней и дал пять рублей сверху, потом, подумав, добавил еще три рубля. Агентша поблагодарила и сказала, что гроб и венки привезут сегодня же, часам к пяти, а чуть раньше приедут врачи для заморозки и вскрытия.

Мало-помалу все привыкали к процедуре похорон. На глазах у Зинаиды Федоровны уже не было слез. Федор Павлович принялся в ванной вскрывать свою стальную копилку при помощи зубила и

молотка. Ему помог Николай, как заводской специалист. Федор Павлович выгреб все деньги и с ними ушел через большую комнату, где лежала покойница, к себе в маленькую. Там он был долго, очень долго, все считал деньги. Время незаметно проходило. Приехал Владимир Федорович с Лидочкой. Постояли над телом матери, поплакали. Федор Павлович стал совать Владимиру Федоровичу деньги на продукты и водку, но тот не брал, говоря, что у него свои есть и что он хочет похоронить мать, как положено, и на свой счет. Потолкавшись на кухне, Николай, Алексей Федорович и Владимир Федорович спустились вниз, сели в “Жигули” и поехали по магазинам. У гастронома за водкой была огромная очередь, но Владимир Федорович заехал во двор и минут через пять вынес ящик водки и погрузил его в багажник. Так же покупали мясо - десять килограммов говядины и пять свинины. Затем в одном гастрономе набрали всяких деликатесов, в том числе дюжину баночек красной икры и пяток - черной. Когда приехали, поднимаясь к квартире с тяжелыми сумками (Алексей Федорович тащил ящик с водкой и неприятно морщился), увидели на лестничной площадке, у окна, крышку гроба, стоящую вертикально. Сам же красный гроб стоял уже в комнате на табуретах. За время их отсутствия в квартире побывали и патологоанатомы, все сделали с умершей, что было нужно, и оставили банку с формалином, в котором Зинаида Федоровна смачивала марлю и протирала лицо покойной. Вызвали еще раз соседок, они одели мать в последний путь, а затем уж Николай, Алексей Федорович и Владимир Федорович уложили заметно полегчавшую покойницу в гроб. После этого слезы у всех хлынули сами собой.

Ночевать было негде и Алексей Федорович поехал домой. Светка расспрашивала: что да как, он вяло отвечал и наблюдал за тем, как она гладит свое черное платье. И глядя на это приготовление к похоронам, Алексей Федорович испытывал одно только мучение. Не проходило и полчаса после более или менее неплохого физического состояния, как он начинал чувствовать слабость в ногах и перебои в работе сердца. Он садился в кресло с газетой, но читать не мог, через минуту поднимался, ходил по квартире, потом опять садился. Во рту сохло, голова кружилась. Чтобы скрыть от Светки свое состояние, он то и дело пил воду, кашлял, часто сморкался, точно ему мешал насморк, на вопросы Светки отвечал невпопад и каким-то сдавленным голосом.

- Я отвыкла от тебя трезвого, - сказала Светка.

- Угу, - выдавил он.

Он лег в своей комнате и через некоторое время услышал, что дверь открылась и вошла Светка. Она легла рядом. Затем положила руку на его плечо.

На другой день, когда Алексей Федорович приехал, в квартире уже были деревенские и среди них - Дуся. Тут же была и южанка - Валентина. Все в черном, они сидели у гроба, плакали, а кое-кто сидел на кухне, тихо переговариваясь. Зинаида Федоровна вертелась у плиты. В огромной кастрюле у нее варился холодец. Следом за Алексеем Федоровичем приехал Владимир Федорович. Зинаида Федоровна прикидывала, сколько народу соберется завтра на похороны и поминки. Оказывалось, что недостаточно мужчин. Гроб муж и сыновья нести, по обычаю, не могли. Остальные были женщины, кроме Николая. Владимир Федорович, посоветовавшись с отцом, предложил пригласить своих ребят из гаража. С Алексеем Федоровичем съездили туда. "ЗИЛ" Владимира Федоровича стоял у будки механика. Сам механик обещал организовать троих свободных от смены шоферов.

Наступил день похорон. В квартире было не протолкнуться. Приехали на своих "Жигулях" приглашенные Владимиром Федоровичем шофера. Простились с покойной сначала в комнате, выстроившись в живую очередь. Последним в комнате простился Федор Павлович:

- Прощай, Нюра! - и зарыдал.

Понесли гроб на улицу. Там, перед подъездом, поставили на лавку, простились, и здесь все знавшие по дому умершую простились. Подняли гроб, а лавку перевернули вверх ногами, как того требовал все тот же обычай. Гроб вдвинули сзади в похоронный автобус. Далее - кладбище, могила, земля, вечность!

Обратно возвращались чуть повеселевшими, переговаривались, вспоминали добрыми словами покойницу. Расселись за длинным столом, опять вспоминали хорошими словами умершую, выпивали, не чокаясь. Федор Павлович был бледен и пил очень мало. Все сочувствовали ему в его горе. Курить выходили на кухню, и один раз Алексей Федорович остался на кухне наедине с Зинаидой Федоровной и она ему сказала:

- Ты знаешь, что отец придумал? Нет? Не знаешь? А я все видела. И Маруся, и Валентина, и все видели... Дуська, сука, ночью из его комнатки в одной сорочке в туалет бегала! Спал он с нею при всех! Это когда гроб-то стоял в квартире!

У Алексея Федоровича перехватило дыхание.

- Что ты придумываешь, - прохрипел он.

- Я тебе точно говорю! Спроси вон у Маруси! Чтобы не продолжать этот разговор, Алексей Федорович пошел в комнату, сел около Николая, налил себе и ему водки, и сказал:

- Вечная память! - и выпил.

Краем глаза он следил за отцом: тот был трезв и чрезвычайно серьезен. Сидел как бедный родственник и ничего не ел. Потом поднялся и пошел на кухню. Через минуту-другую послышался оттуда его громкий голос:

- Убирайся отсюда, ты мне не дочь!

Кто-то догадался прикрыть дверь плотнее и голос смолк. Алексей Федорович встал из-за стола и пошел на кухню, но застекленная дверь туда была закрыта. Через стекло он увидел, что и Зинаида Федоровна, и Федор Павлович размахивают руками и говорят друг другу шепотом какие-то колкости. Алексей Федорович в волнении рванул дверь.

- Не дочь ты мне! - шептал Федор Павлович. - Убирайся отсюда! И все, все убирайтесь! - воскликнул он громче, завидя Алексея Федоровича.

- Что ты разбушевался?! - урезонил его Алексей Федорович.

- Убирайтесь все! Это вам не пьянка! Выпили по три рюмки и - по домам! Я сам помру от вас тут! Убирайтесь. Иди и скажи всем, - кнул он пальцем в грудь Алексею Федоровичу, - что праздник закончен!

- Да ты что, спятил! - воскликнул Алексей Федорович. - Мы же только что сели!

На кухню потянулись люди: Николай, Владимир Федорович, Маруся...

- Убирайтесь! - кричал уже во всю глотку Федор Павлович, но, завидев Дусю, осекся и, обращаясь к ней, сказал: - А ты - оставайся!

Тут уж взвопила Зинаида Федоровна и, обращаясь к Алексею Федоровичу, подвела черту:

- Ну что, видал? Видал? Он же с ней спутался!

- Замолчи! - взревел Федор Павлович и ударил Зинаиду Федоровну по лицу.

На него бросился Николай, но бить не стал, а только усадил его на стул. У Федора Павловича текла пена изо рта, и он продолжал в конвульсиях кричать:

- Убирайтесь все!

В комнате за столом наступило тягостное молчание: ничего еще не выпили, не съели, и уже такой поворот событий. Обида и неловкость скользнула по лицам. Московские родственники потянулись на лестничную клетку. Шофера подошли к Владимиру Федоровичу, который стоял возле Алексея Федоровича, и сказали:

- Надо уходить, он не в себе.

- Да, пойдете, - сказал Владимир Федорович и кивнул Лидочке, чтобы она выходила на улицу.

Вместе с Лидочкой ушла и Светка. Зинаида Федоровна шепнула на ухо Алексею Федоровичу:

- Не уходи, жди меня внизу, я пару бутылок припрятала и закуски набрала. Вон моя сумка, возьми ее. Мы сейчас ко мне поедем.

Алексей Федорович, как оплеванный, поплелся к выходу. У зеркала в прихожей стояла Дуся и красила губы. Алексей Федорович, все еще не веря сплетням Зинаиды Федоровны, обратился к ней:

- Вас проводить?

- Да. Я такси поймаю. У меня знакомые в Чертаново.

Алексей Федорович взял сумку и вышел из квартиры. У окна на лестничной площадке остановился. Следом вышла Дуся, большегрузная и круглолицая. За ней - Федор Павлович. Дрожа, он стал умолять ее остаться. И тут в Алексее Федоровиче зашевелился червь сомнения: а не так ли уж не права Зинаида Федоровна?!

- Нет, - сказала Дуся. - Я завтра приеду.

Мимо, с грустными лицами, спускались гости. Вышли на улицу, Дуся сразу же схватила такси и укатила.

- Блядь! - крикнула ей вдогонку, появившаяся из подъезда Зинаида Федоровна.

Алексей Федорович сказал Светке, чтобы ехала домой, а сам он поедет к сестре поминать мать как следует.

Ну и помянули. Николая рвало под конец, а то он все песни пел! Так разгулялись, что и о покойной забыли. Алексей Федорович не помнил, как доехал домой. Первой мыслью при пробужде-

нии было: похмелиться. Но он вспомнил мать в гробу и передумал. Следующей мыслью было: неужели отец в самом деле пошел на такую подлость?! Эту мысль Алексей Федорович отогнал от себя, пошел на кухню и выпил два пакета кефира. После этого лег на кровать и пролежал трупом до полудня. Когда он встал, то почувствовал себя значительно лучше. Сказался трехдневный перерыв в питье. Даже съел тарелку щей с черным хлебом.

До девятого дня он все искал кирпич, и нашел через того знакомого Николаю еврея. Прямо на кирпичном заводе загрузил два трейлера и отвез по указанию Заводовского куда надо.

На девятом дне во всю хозяйничала в квартире Дуся. Зинаида Федоровна молчала и через час с Николаем уехала. Алексей Федорович выпил пару рюмок и тоже уехал. Через день позвонил отец и сказал, чтобы он заехал по очень важному делу.

- По какому? - спросил с дрожью в голосе Алексей Федорович.

- Дусю прописать нужно, - сказал Федор Павлович. - Мы подали заявление в загс.

Вот тебе и удар обухом по голове. Вот тебе и Зинаида Федоровна!

- Ты бы хоть год подождал, как порядочный!

- Да я понимаю, - проблеял отец. - Но не могу я один жить!

Алексей Федорович только вздохнул на это. И поехал. И подписался в бумаге, что не возражает на прописку Дуси.

- Ты бы с Володей поговорил, - сказала Дуся. - Он не дает согласия.

- Что я ему скажу? Пусть он сам решает! - сказал Алексей Федорович. - И ты, отец, хорош, все кричал, мол, ваша, дети, квартира, ваша! А теперь?

Что-то уж очень скоро их расписали в загсе. Наверное, Федор Павлович из своих сбережений сунул там кому положено.

А Владимир Федорович не давал согласия на прописку Дуси. Когда к нему с "мирной миссией" приехал Алексей Федорович, он сказал:

- Только через мой труп!

Потом Алексей Федорович, чтобы уйти от позора, сам выписался с родительской площади и, с согласия Светки, прописался к ней. А Федор Павлович каждый день обрывал телефон: мол, поговори с Володей, он же брат все же! И против воли Алексей Федорович звонил Владимиру Федоровичу и уговаривал. Что же толка-

ло на это Алексея Федоровича? Только та простая мысль: неизвестно, что случится в старости с ним самим и что Федор Павлович, какой ни есть, все же отец. А Владимир Федорович этого понимать не желал, потому что всю жизнь надеялся на родительскую площадь. Тогда Алексей Федорович сделал заход через Зинаиду Федоровну. Она звонила Владимиру Федоровичу, но тот наотрез отказался выписываться и добавил, что Алексея Федоровича отец подкупил, мол, сунул ему тысячу рублей, и тот выписался. От этого Алексей Федорович так возмутился, что перестал вообще поддерживать какие бы то ни было отношения с родней.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

повесть

Неважно, с чего было начать разговор, важно было смело войти, чтобы он увидел ее, важно было просто-напросто показаться. Неужели она ему не понравится?! Быть такого не может. Она красива. Она это хорошо знает. Она всем мальчикам в классе нравилась. Ну и что? Опять она стала нервничать. А когда лежала в кровати до десяти, не спала, а просто лежала, нежилась, то все казалось так просто: доехать, подняться на третий этаж, пройти длинным коридором, усталанным ковровой дорожкой, войти в приемную, а там уж и в кабинет.

И вот она, приемная.

Секретарша сидит, как сова, в своих огромных очках, шелестит какими-то бумагами и не замечает ее. Даже не удосужится посмотреть в ее сторону. В солнечном свете поблескивают кольца на ее пальцах. Юле хочется закричать на секретаршу, и она уже про себя кричит на нее, но внешне сохраняет спокойствие, даже некоторую надменность. Неужели секретарша не хочет понять, какая Юля красивая и какая единственная? Секретарша должна это понять, поэтому Юля нежным тихим голосом говорит:

- Какое у вас великолепное платье!

Секретарша вскидывает голову, как бы пробуждаясь ото сна, видит Юлию, вздыхает и быстро проговаривает:

- Да что вы, обыкновенное платье...

- Я к Вадиму Станиславовичу, - быстро, как и секретарша, говорит Юля, пока на нее смотрят.

- Он мне ничего не говорил, - сказала секретарша, вновь погружаясь в бумаги.

- Мой папа Вадиму Станиславовичу звонил, - сказала Юля, улыбаясь. - Он в курсе и ждет меня.

- Ну раз так, то идите, - сказала секретарша и вдруг весело рас- смеялась, оглядывая свое платье. Затем она встала и вышла из-за стола. Все еще продолжая оглядывать себя, она сказала: - А вы правы, действительно миленькое платьице! - и провела ладонями по бедрам.

Юля с некоторой завистью взглянула на нее, потому что секретарша была выше ее на целую голову. Зато у Юли талия вдвое тоньше! И если Юля наденет туфли на высоком каблуке, то еще посмотрим, кто будет эффектнее смотреться.

Вадим Станиславович что-то писал за своим столом. Он был лысоват и с бородой, и Юля вначале даже с сожалением поморщилась, поскольку видела его впервые. Но глаза Вадима Станиславовича Юле сразу понравились - они были голубые, как небо. Взгляд этих глаз скользнул по открытым коленям Юли. Она была в короткой юбке. И голубые глаза Вадима Станиславовича стали сразу же приветливыми. Он предложил ей сесть перед столом в кресло, но Юля села на стул сбоку, чтобы Вадим Станиславович имел возможность видеть ее колени постоянно, пока она находится в этом кабинете.

Вадим Станиславович принялся рассказывать о факультете, а Юля время от времени ловила его стреляющий по коленям взгляд. А кто-то еще говорит, что у нее ножки плохие! Увидели бы, как он смотрит на них! Прелесть, а не взгляд у старичка. Впрочем, какой он старичок, лет, наверно, сорок пять, не больше.

- Итак, значит, к нам хотите поступать? - спросил Вадим Станиславович, в очередной раз бросая взгляд на обнаженные колени Юли.

- Хочу, - с придыханием вымолвила Юля и улыбнулась.

- По-вашему, это будет правильно? - спросил Вадим Станиславович и машинально потянулся к ее коленям и чуть не дотронулся до них пальцами, но тут же отдернул руку.

Как это замечательно. Он сразу же хотел дотронуться до ее колени. Но можно же было дотронуться, подумала Юля. Что же он смущается. Пусть потрогает ее колени. Это же так приятно. Для него. А для нее? Щекотно, не более. Интересно, о чем он еще ее спросит? Сейчас, наверняка, подумала Юля и улыбнулась, он спросит - свободна ли она сегодня вечером. Да, прямо так - вечером, не завтра, не послезавтра, а вечером, сразу спросит, чтобы не потерять связующую нить.

- А что вы сегодня вечером делаете? - спросил он, и Юля рас- смеялась.

Вадим же Станиславович удивленно вскинул брови.

- Ничего, - вздохнула Юля и широко улыбнулась, чтобы он уви- дел ее великолепные белые зубы.

И он их увидел, и даже побледнел немного, но чтобы согнать эту бледность, тоже улыбнулся.

- Так что же вы делаете вечером, Юля? - повторил он свой во- прос, вновь опуская свои небесные глаза к ее загорелым коленям.

- Ничего, - прошептала она и приблизилась к столу. - Ничего. Вы знаете, что такое ничего? Нет, вы не знаете, что такое ничего, - зашептала она. - В Париже есть сейчас такие духи "Ничего". Я хо- чу такие духи! Вы слетаете в Париж и привезете мне духи "Ниче- го". Там мода сейчас на все русское. Это вы знаете. "Ничего", в смысле хорошо, даже - отлично, а не то, что вы подумали, то есть ничего - как пустое изречение...

Вадим Станиславович с восхищением смотрел на Юлю, и она это отмечала про себя, он видел ее волосы, светлые, почти что пшеничные, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшие- ся пышным естественным каскадом; изредка выбивавшаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда Юлия встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место.

- Значит, ничего? - спросил он шепотом.

- Ничего, - шепнула она.

И они дружно расхохотались.

Вдруг Юля очутилась так близко, что ее полудетские черты с тонкими царственными бровями расплылись перед его глазами, и он чуть не поцеловал ее, даже губы вытянул, но она тут же отпря- нула. Ему бы надо было на это посмеяться, но вместо того он спро- сил:

- И что вам дался наш факультет? Автоматизация... Зачем вам, такой красивой, автоматизация? - и добавил: - Такая прелестная девочка...

- Ух ты! - воскликнула Юля.

- И все же? - самым серьезным тоном настаивал он на ответе.

- Какая разница, где учиться, - равнодушно проговорила она.

- Да, в вашем возрасте трудно определиться. Выберете сейчас одно, а через пять лет потянет к другому...

Он встал.

Она снизу вверх посмотрела на него, и он смущенно отвернулся.

Юля захихикала и невинно выпалила:

- А я проголодалась!

- Замечательно, - сказал Вадим Станиславович. - Я тоже... У меня тут... на факультете учится один из Баку... Но он живет в Москве... председатель кооператива... кафе "Агдам", у метро "Авиамоторная"... Может быть, махнем?

Юля пожала плечами, минуту подумала и, улыбнувшись, сказала:

- Махнем!

Вадим Станиславович просиял.

В такси она придвинулась к нему совсем близко и чмокнула его в колючую бороду поцелуем, лишенным всякого вкуса, так что Вадим Станиславович даже оторопел. Если и была в ней страсть, то он мог только догадываться об этом, ибо в этот момент ни глаза ее, ни губы ничего не говорили о страсти.

Такси переехало мост через Язу и устремилось к Таганке.

Облако, висевшее над рекой, пронизывалось заходящим солнцем. Юля еще тесней придвинулась к Вадиму Станиславовичу, и он, сильно волнуясь, положил чуть дрогнувшую руку ей на колено. Это длилось не больше минуты, затем Юля как-то мягко взяла его руку и сняла со своего колена.

В тесноватом вестибюльчике "Агдама" путь им преградил небритый черноволосый мужчина в тренировочном костюме.

- Э-э, дорогой, куда ходишь? - заговорил он с сильным восточным акцентом. - Место не хватай, а он ходишь! Иди другой кафе, у нас праздник сегодня, земляки придут сегодня, понимай же надо!

Вадим Станиславович несколько растерялся от этого напора.

- Я к Алику, - сказал он, смущенно поглядывая на Юлю, которая как ни в чем не бывало смотрелась в зеркало и подкрашивала губы.

- Ха! Так бы говорил сразу, - сказал человек и крикнул в зал: - Алик, к тебе!

Из глубины зала показался такой же черноволосый мужчина в тренировочном костюме с двумя белыми полосками по бокам. Он вскинул приветливо руки и воскликнул:

- Дорогой! Проходи! - и по-своему закричал в глубину кафе.

Юля увидела несколько восточных людей в шапках, сидевших у стойки бара. Алик, размахивая руками, поблескивая золотыми

зубами, давал им какие-то указания. Затем он предложил Вадиму Станиславовичу и Юле место в углу за большим полированным столом. Тут же подскочил смуглолицый официант с подносом, на котором в огромном блюде шипели куски мяса, только что снято-го с огня.

- Какая экзотика! - выдохнула Юля. - Как на азиатском базаре! И почему они сидят в шапках?

- Такой у них обычай, - сказал Вадим Станиславович, поглаживая бороду.

Подскочил Алик с двумя четвертинками водки.

- Я хочу шампанского! - сказала Юля, улыбаясь Алику.

Алик смущенно развел руки в стороны и сказал:

- Нет шампанского. Берем и так водку у таксистов. У нас не пьют. Пьют только друзья! - сказав это, Алик дернул висящую за спиной Вадима Станиславовича занавеску и она, легко прошуршав, отгородила их от остального зала.

- Какая прелесть! - воскликнула Юля, белозубо улыбаясь.

- Отдыхайте! - сказал Алик и исчез.

Тут же появился официант (кстати, он тоже был в тренировочном костюме) и поставил на стол блюдо с зеленью, а также тарелочку с лимоном, хлеб и несколько бутылочек с "фантой".

- А мне в "фанту" несколько капель, - сказала Юля, когда Вадим Станиславович хотел налить в ее рюмку водки.

Спустя минут десять Вадим Станиславович принялся рассказывать по просьбе Юлии о факультете. Говорил он не спеша, мягко, со знанием дела, щурил глаза и улыбался. Он говорил так, как говорят с детьми, упрощая многое и о многом умалчивая, полагая, что Юле это будет непонятно. А ей все было непонятно, она и не вслушивалась в смысл говоримого, она слышала только его голос, низкий и приятный.

- Я вам нравлюсь? - вдруг прервала она его.

- Конечно, - сказал Вадим Станиславович и покраснел.

Юля вспомнила, какое прекрасное выражение, заискивающее, виноватое и мягкое, бывало у мальчиков из ее класса, когда кто-нибудь из них говорил с ней, и какие при этом они делали усилия над собой, чтобы их голос звучал равнодушно.

Юле было шестнадцать лет, и она только что окончила школу. Она знала, что ее любят одноклассники Соловьев, Панкратов и Аншин, но теперь, после этой встречи с Вадимом Станислави-

чем, ей хотелось сомневаться в их любви. Что от них можно было ждать? Те же проблемы, что и у нее. Соловьев собирался поступать на филфак, Панкратов во ВГИК, а Виталик Аншин почему-то в МАДИ. Наверно, потому, что у него отец шофер. Все они хорошие мальчики, думала Юля, но такие желтые, такие инфантильные. Только Соловьев однажды осмелился и поцеловал ее в щеку.

И почему в период, когда хочется любить и быть любимой, нужно заниматься с преподавателями, готовиться к экзаменам, поступать в институт... Зачем все это? Хочется жить легко, красиво, хочется безумной любви, поездок на море...

- А вы бы поехали со мной на море? - спросила она.

- На море? - удивленно переспросил он.

- Да.

Вадим Станиславович задумался. Как с ней поехать на море? Как с этой красавицей, сочной, юной, поехать на море, когда уже жена взяла билеты в Кондопогу, где жили ее родители, когда дети уже отправлены туда?

И против воли он ляпнул:

- Жена взяла билеты в Кондопогу.

Юлия посмотрела на него с удивлением и усмехнулась.

- Разве я спрашивала о вашей жене?

- Нет, нет, но...

- Я спрашивала вас, - сказала Юлия с некоторым огорчением.

Она подозревала, что Вадим Станиславович женат, но не хотела об этом думать. Пусть себе женат, но пусть бы это было его тайной. Неужели он не понимает, что говорить с такой девушкой, как она, о своей жене неприлично. Зачем говорить об этом, она же не говорит о своих мальчиках из класса, хотя Вадим Станиславович должен догадываться, что за ней наверняка ухаживают.

Просто не могут не влюбляться в нее, в такую красивую, в такую маленькую, в такую миленькую.

Он грустно и в то же время любовно улыбнулся и протянул руку к ее руке. Юлия сидела напротив. Рука его была холодной. Юлия встала, обошла стол и села рядом с ним.

- Чего же вы боитесь? - спросила она. - Скажите жене, что вас срочно посылают в командировку... после вступительных экзаменов. Ну, когда я стану студенткой вашего факультета...

Вадим Станиславович улыбнулся и обнял Юлию за талию. Юлия посмотрела в его глаза, и они были грустные-грустные. Она прочитала в них, что ему очень хотелось любить ее, любить горячо, до самозабвения, но воспоминания о жене и детях не давали ему полной свободы действий, и он был на распутье.

Юля осторожно подняла руку и погладила его по бородке. Он склонился к ней и крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы. И ей был невыносимо приятен этот взрослый поцелуй, долгий и захватывающий. Она еще никогда в жизни так не целовалась.

За занавеской, в зале, раздался звон битой посуды. Юля вздрогнула и отстранилась. Когда она откинула занавеску, то увидела толстого, высокого восточного человека с тарелкой в руках. Он хотел и эту тарелку шлепнуть об пол, но парни в шапках вцепились в него и отняли тарелку. Толстый человек сел к столу, и все как будто успокоились. Парни в шапках пошли на свое место к стойке. Но тут толстый человек порылся в карманах, выхватил пачку сотенных купюр, вскочил из-за стола, выбежал на середину зала и стал поспешно рвать на глазах у всех эти деньги.

Юлия ахнула и прижалась к Вадиму Станиславовичу, который стоял сзади. Восточный толстяк с каким-то ожесточением рвал деньги и швырял их на пол. Парни в шапках вновь подскочили к нему и повисли на его руках.

- Вода деньги! - кричал толстяк. - А я их брызгами делай!

И действительно, несколько мелко изорванных купюр брызгами посыпались на пол.

Когда инцидент был исчерпан, Юлия вновь задернула занавеску и сама обвила руками шею Вадима Станиславовича.

В двенадцатом часу к ним за занавеску зашел Алик, и Вадим Станиславович полез за деньгами, чтобы расплатиться за стол. Алик возмущенно отстранил в сторону его руку с деньгами и сказал:

- Зачем обижаешь?

- Вот так всегда, - вздохнул Вадим Станиславович, - даю деньги, а он не берет. Получается, что Алик учится у меня за взятку.

Юлия усмехнулась, а Алик воскликнул:

- Зачем говоришь так? Нехорошо говоришь! Ты мой гость!

- Хорошо, хорошо, - сказал Вадим Станиславович, убирая деньги и вставая. - Термех придешь сдавать Жабинку. Я с ним поговорю.

Алик просиял.

- До дома меня провожать не нужно, - сказала Юлия, когда они вышли из такси.

Они остановились под фонарем. Длинные тени от деревьев лежали на сухом асфальте.

- Как я только напишу сочинение! - вздохнула Юлия.

- Я поговорю с Корчагиной, - сказал Вадим Станиславович.

- Кто это такая?

- Председатель комиссии по русскому языку, - сказал Вадим Станиславович и хотел обнять Юлию, но она воспротивилась, сказав:

- Здесь не надо.

И он послушно убрал руку.

- Разные Островские, Грибоедовы... Скучища! - сказала она.

Вадим Станиславович взглянул на небо, оно было темное и звезд не было видно с этой точки, потому что мешал свет фонаря. Вздыхнув, Вадим Станиславович сказал:

- Мне раньше тоже казалось, что скучища. А потом как-то прочитал Грибоедова и поразился его гению... Некто Эванс, англичанин, прожил в России лет сорок и оставил в ней много друзей. Он находился в приятельских отношениях с Грибоедовым. Этот Эванс впоследствии рассказывал, что по Москве однажды разнесся слух, что Грибоедов сошел с ума. - Вадим Станиславович еще раз вздохнул и продолжил: - Эванс, видевший его незадолго перед тем и не заметивший в нем никаких признаков помешательства, был сильно встревожен этими слухами и поспешил его навестить. Грибоедов встретил его настороженно и обрушился с вопросами, мол, зачем Эванс к нему явился. Эванс напугался этими вопросами и про себя подумал, что, быть может, Грибоедов в действительности сошел с ума. Грибоедов же объяснил ему, что он не первый приехал, что к нему все ломаются, чтобы узнать, не сбрендил ли он на самом деле. И Грибоедов рассказал, что дня за два перед тем был на вечере, где его сильно возмутили дикие выходы тогдашнего общества, раболепное подражание всему иностранному и, наконец, подобострастное внимание, которым окружали какого-то француза - пустого болтуна. Негодование Грибоедова постепенно возрастало, и в итоге его нервная, желчная природа выказалась в порывистой речи, которой все были оскорблены. У кого-то сорвалось с языка, что

“этот умник” сошел с ума, слова подхватили и разнесли по всей Москве. “Я им докажу, что я в своем уме, - продолжал Грибоедов, окончив свой рассказ, - я в них пущу комедией, внесу в нее целиком этот вечер: им не поздоровится! Весь план у меня уже в голове, и я чувствую, что она будет хороша”. На другой же день он задумал писать “Горе от ума”...

- Как интересно! - прошептала Юлия и спросила: - А к чему вы мне это рассказали?

- К тому, чтобы вы хорошо написали сочинение. Ну, отнеслись к литературе, как к живой жизни. Каждая книга - это же живое... Настоящая книга...

- Вы много читаете? - спросила она.

- Много.

- Почему?

- Потому что расширяю чтением свою жизнь, - сказал несколько сухо Вадим Станиславович и погладил Юлю по голове.

- А я не люблю читать. Скучно, - сказала она. - То ли дело видик, или маг! Мы соберемся с ребятами и балдеем! А вы рок любите? - вдруг спросила она.

- Современный - нет. Он гораздо слабее рока моей юности. Был Пресли, а теперь сплошные его отражения. Были Битлы - и то же самое: сплошной гитарный плагиат. В моей юности рок был оригиналом, а на вашу долю достался тираж!

Юлия недоуменно пожала плечами и спросила:

- Как это? Я не понимаю.

- Вы не понимаете, что такое оригинал?

- Ну, это-то понимаю, а вообще не понимаю.

- Подростете и поймете, - сказал он.

- Я уже подросла! - с долей обиды в голосе сказала Юля.

Придя домой, Юля первым делом взглянула на себя в зеркало и убедилась в очередной раз в своей красоте. А глаза! Огромные, тревожные, любвеобильные.

- Ну, как дела, Юлька? - спросила мать. У нее на лице была кремовая маска и она походила в этот момент на Пьеро.

- Нормально! - с чувством произнесла Юлия. - Водил меня в кооперативное кафе! Там один чудик деньги рвал. Сотни так и летели брызгами. А мясо было, мам, ты такого не пробовала! Кусается, как пирожное! Мягкое, сочное!

- Ну, а он сам-то, что сказал?

- Нормально, мам! Примет, куда он денется, - сказала Юлия.
- Ну, ухаживал он за тобой? - мать поглаживала бедра. Она была в ночной сорочке, уже собиралась ложиться.
- Лез целоваться.
- Ну, а ты?
- Дала пару раз поцеловать себя, - сказала Юлия, проходя в ванную. - Отец звонил?
- Нет. Со шлюхой своей совсем нас забыл!

Юле был неприятен этот разговор об отце. Пусть он живет, как знает. Семь лет назад он ушел к другой, и у него уже там двое: мальчик и девочка. Алименты платит, и хорошо! Да еще так подбрасывает, когда Юлька к нему заезжает.

Мать ушла спать. Юлия быстро сбросила с себя одежду и некоторое время постояла обнаженной перед зеркалом, любуясь своим юным телом. Затем влезла в ванну и приняла душ. Коже было щекотно и по ней бежали мелкие мурашки.

Лежа в постели, перед тем как заснуть, Юлия думала о Вадиме Станиславовиче, о его любви к ней, о своей любви к нему. Конечно, она его сразу полюбила. Где еще найдешь такого человека? Он доктор наук, декан факультета. А глаза какие! Голубые-голубые, как небо! И она стала думать о небе, о звездах, о море, голубом, как его глаза, и постепенно мысли Юли расплывались и она уже думала обо всем: и о Соловьеве, и о матери, и об отце, и о его красивых детях, и о роке, и о недавно просмотренном на видеке порнографическом фильме, и о красоте своего лица и тела, и еще о многом-многом, пока сон не ухватил ее и не понес на крыльях любви над самым настоящим морем, по которому скользила белоснежная яхта и она загорала на корме этой яхты в шезлонге...

Утром ее разбудил телефонный звонок. Звонил Вадим Станиславович, предложил встретиться вечером, и она с радостью согласилась.

Юлия встала с постели, потянулась и стащила с себя сорочку, чтобы снова полюбоваться своим телом перед зеркалом. Она очень любила рассматривать себя в зеркало, каждую деталь своего тела рассматривать и восхищаться. Затем, не одеваясь, села перед этим зеркалом на стул, взяла щетку и стала расчесывать волосы. Она водила щеткой по волосам до тех пор, пока у нее не затекли руки, а волосы не превратились в шелковые.

Делать было нечего. Скучая, Юлия облачилась в варёнку, кое-что поклевала на кухне и затем включила на полную громкость магнитофон. Сделала несколько ритмичных движений в стиле рок и широко зевнула. Надо же, позвонил в девять часов. Влюбился! Юля радостно зевнула еще раз.

Вновь зазвонил телефон. Звонил Соловьев. Спросил, что она делает. Она ответила, что готовится к экзаменам. А он предложил готовиться вместе. Она сказала: “Давай!” И Соловьев через пятнадцать минут был у нее. Он жил в соседнем доме. Бледный, встревоженный, он сел на диван и вдумчиво уставился на орущий магнитофон. А Юлька взяла и выключила его. Соловьеву пришлось что-то говорить.

Высокий, худой, Соловьев говорил на знакомом языке:

- Вчера вечером у Аншина балдели. Предки его куда-то укондехали. Клевая музыка была. Потом видик зырили...

И Юлии почему-то стало неприятно слушать этот “родной” язык. Уставившись на Соловьева, так что он покраснел, Юлия сказала:

- А ты знаешь, почему Грибоедов “Горе от ума” написал?

Соловьев даже вздрогнул от этого вопроса. И она рассказала ему то, что ей поведал Вадим Станиславович.

- Включи лучше маг, - сказал Соловьев, - давай побалдеем.

Он встал и положил ей руки на плечи. Юля дернула плечами и руки соскочили.

- Что ты, детка?

- Иди. Уходи, - твердо сказала она, как бы ощущая взгляд на себе Вадима Станиславовича. - Мне заниматься нужно.

Она подошла к книжному шкафу и вытащила несколько учебников. Затем, помедлив, бросила их на стол.

- Мне с тобой неинтересно! - вдруг выпалила она.

- Чего ты, старуха? - заикаясь, спросил Соловьев.

- Ничего!

- Изречение или духи? - пытаюсь понять, в чем дело, спросил бледный Соловьев.

Ничего не говоря, Юлия села в кресло и опустила голову. Когда она ее подняла, то увидела, как Соловьев, ничего не понимая, сделал шаг к двери. На миг Юле захотелось - он такой молодой, такой наивный! - броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя. Но она увидела Вадима Станиславовича и ей стало стыдно это-

го своего внезапного порыва. Ну что этот мальчик ей может дать? Глупый, дурашливый мальчик, которому только и подавай ее любовь. А что дальше? Ничего!

Он ушел.

Опять стало скучно. Но видеть, кроме Вадима Станиславовича, никого не хотелось. Она подошла к зеркалу. Вот она - вчерашняя школьница с распущенными волосами, такая юная и невинная, воплощенная инфантильность...

Потом она вдруг вспомнила про "Горе от ума", бросилась к шкафу, нашла книжку и, плюхнувшись в кресло, стала читать. Она читала не своим, а его голосом, даже не читала, а как бы слышала его голос.

Ровно в семь она была у памятника Гоголю, на бульваре, там, где Гоголь стоит в сапогах и в шинели, как Сталин. Прошло минут пятнадцать, а Вадима Станиславовича все не было. Юлия стала заметно волноваться. Наконец, Вадим Станиславович появился.

- Вы же не барышня, чтобы так безобразно опаздывать! - сказала Юлия. Ее слова и бледное лицо были сердиты, но в глазах читалась самая нежная, девическая любовь. А глаза были большие, яркие, ясные и влажно сияли.

Вадим Станиславович не сводил глаз с нее. Вся Юлия, казалось, трепетала на последней грани детства: без малого семнадцать - уже почти расцвела, но еще в прекрасной утренней росе.

Целый день она ждала этого момента встречи как развлечения. Искать развлечений ее побуждала скука и неопределенность и жадность школьницы, успешно закончившей год и считающей, что заслужила веселые каникулы.

Они пошли по бульвару в сторону "Кропоткинской". Он изредка приотставал, пропуская Юлию вперед, чтобы полюбоваться ее походкой. У нее была осанка балерины, и она несла свое тело легко, при каждом шаге как бы взлетая. Светило солнце. Они сели на пустую скамейку. Вадим Станиславович говорил о каких-то осложнениях в парткоме института, членом которого он был. Юлия слушала вполуха. Солнце сильно припекало в спину. Юлия сняла куртку-варёнку, осталась в облегающей крепкую грудь кофточке на тонких бретельках. Вадим Станиславович все говорил и говорил. А она смотрела в его глаза и видела море.

Он откинулся на спинку скамейки, а она спустила с бронзоватых плеч лямки кофточки, чтобы лучше загоралось спине. Через

мгновение она ощутила на ней прохладную ладонь Вадима Станиславовича и вздрогнула от этого приятного прикосновения.

Он ей казался теперь самым прекрасным мужчиной в мире, самым добрым и обаятельным. И она знала, что встреча и знакомство с ним сулят ей в будущем новый мир, перспективы, одна другой увлекательнее. Нужно только ухватиться за него покрепче и не отпускать, как говорит ей мать.

Мать была лучшей ее подругой и руководила ею, опираясь на свой вполне состоятельный опыт. Хотя она и бранила отца, но по-прежнему его любила и никак не могла понять, как это он ушел к другой, как это он оставил ее, такую прежде родную и единственную. Теперь у матери был майор Никольский, но то было не то. Хотя майор нравился Юле мягкостью и приветливостью. Он всегда приносил шоколадку и, вручая ее Юле, неизменно произносил достаточно серьезным током:

- Сахарком не посыпать?

А мать всем видом показывала Юлии, что ей можно пойти к друзьям "побалдеть". Лицо матери было еще красиво той уходящей красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью морщин, но глаза у матери не старели: взгляд был спокойный и одновременный живой и внимательный.

Вадим Станиславович что-то говорил.

Дул легкий теплый ветерок, шелестел листвою. Юлия молча любовалась Вадимом Станиславовичем. Ей не верилось, что она влюбила (или почти что влюбила) в себя настоящего доктора наук, декана крупнейшего факультета крупнейшего института.

Они встали и пошли по бульвару. Вадим Станиславович вновь приотставал, чтобы полюбоваться ею. Юлия оглянулась и улыбнулась ему. Он оглядел ее с головы до ног, и что-то вдруг как бы раскрылось в Юлии навстречу этому взгляду. Не влечение, нет, ничего похожего на восторженное чувство, просто электрический разряд. Этот человек желал ее, и девичья скованность воображения не помешала ей представить себе, что она могла бы уступить.

- Куда мы пойдем? - спросила она.

- Ко мне, - без запинки сказал он.

Она внутренне вздрогнула, но промолчала и даже попыталась улыбнуться.

Потом Юлия спросила:

- А как же жена?

- Она уехала на пару дней к сестре на дачу.
- Понятно, - произнесла Юлия и постыдилась своего вопроса про жену.

А он подумал именно о жене. Она была старше его на пять лет и помимо его детей у нее была дочь от первого брака, дочь, которой было уже тридцать и которая уже была дважды разведена. Жена постарела и стала хорошею брюзгой. Ревновала его ко всему и ко всем. И он жил с нею по какой-то инерции, не то что любви, даже дружбы не осталось.

Он жил в просторной квартире в переулке между Кропоткинской и Арбатом. Окна спальни выходили на маленькую церквушку.

Когда они только вошли в квартиру, он, притворив за собой дверь, повернулся к Юлии и хотел поцеловать ее, но она испуганно отшатнулась, как дикая кошка.

Он оцепенел от изумления.

Затем шутливо-отеческим тоном сказал:

- Давайте ужинать!

Но Юлия не приняла этот шутливо-отеческий тон. Она сказала медленно:

- Никакой любви у вас ко мне нет, а если бы она возникла, то переломила бы вашу жизнь... привычную жизнь... с женой.

И опять она спохватилась, когда вылетела эта "жена". Ну, зачем!

Вадим Станиславович сильно расстроился. Они прошли на кухню, где сильно урчал холодильник. Вадим Станиславович достал из него несколько бутылок минеральной воды и бутылку сиропа. Затем поставил на стол два высоких и узких хрустальных бокала. Открыл сироп, налил немного в оба бокала, а затем уж довел их до полна минеральной водой.

- Попробуйте, вкусно, - сказал он мрачновато.

- Ну вот, - вздохнула Юлия, - вы и духом упали.

Она подошла к нему и погладила его по лысеющей голове. Он вдруг как-то поспешно обнял ее и упал на колени, руки его проскользили вниз по ее телу. Он прижался губами к ее коленям.

Юлия откинула голову от прилива нежности и против воли прошептала:

- Поцелуйте меня.

Он медленно встал и прижался губами к ее губам.

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

Затем, отстранившись и переводя дух, сказал:

- Какой же я дурак! Я втрое старше вас... тебя, - поправился он, в первый раз обратившись к ней на "ты".

- Я не ребенок! - с детской строгостью сказала Юлия. - Я просто знаю, что у вас...

- Перейдем на "ты"...

- Я не могу так сразу.

- Попробуй!

Она молчала, напряженно дыша, пока он не повторил:

- Обращайся ко мне на "ты", Юличка!

- Я знаю, что никакой любви у... тебя ко мне нет. Ты просто хочешь воспользоваться отсутствием жены и взять меня, а потом бросить.

Он обхватил свою голову ладонями и взмолился:

- Глупости. Ты ничего не понимаешь в жизни. Я сразу же полюбил тебя, как увидел! Нас с женой ничего больше не связывает. Я был открыт для любви, и сразу же ты появилась, как по заказу.

Юлия нервно заходила по кухне.

- Зачем ты смеешься надо мной?! Я-то прекрасно знаю, что у тебя нет никакой любви ко мне!

Юлия остановилась и неосознанно уловила, что, должно быть, переживает в этой сцене, но все же продолжила:

- Чтобы как следует полюбить, нужно минимум полгода встречаться!

Он засмеялся.

- Кто тебе сказал об этом?

- Все говорят!

- Глупости. Ты ведь совсем еще девчонка, а ссылаешься на всех. Никогда не ссылайся на всех. Ты не знаешь еще, что весь мир существует благодаря тому, что ты живешь. Весь мир - в тебе! Ты не знаешь еще, что блаженство заключено внутри тебя. Когда-нибудь ты это поймешь...

Он замолчал и вспомнил жену. Что осталось от совместной жизни с ней, от когда-то бывшей любви? Долг? Пожалуй, один лишь долг и остался. А после того, как жене сделали операцию, она превратилась в какого-то мужика. Страсть навеки покинула ее, и она от этого стала психичкой, кричит по каждому поводу и без повода. Долг остался. Так что же, и жить всегда в долгу? Он

понимал, что назревает конфликт, и где-то в подсознании закалял себя и точил оружие, готовясь к сражению.

Такую красивую девушку, как Юлия, он встречал впервые в своей жизни. Самым искренним образом он считал ее красивее всех, кого знал, находил в ней все, в чем нуждался.

В большой комнате стояло старенькое черное пианино с бронзовыми подсвечниками. Вадим Станиславович, глядя на Юлию, сел к нему, заиграл, слегка фальшивя, потому что некоторые клавиши западали, и запел:

Снился мне сад в подвенечном уборе,
В этом саду мы с тобою вдвоем.
Звезды на небе, звезды на море,
Звезды и в сердце моем...

Юлия отворила дверь в комнату детей с волнением, не ведомым Вадиму Станиславовичу. Она вторгается в его жизнь. Она сейчас, глядя в комнату детей, поняла это просто и ясно. И ей стало немного страшно. Она оглянулась на Вадима Станиславовича.

Он пел, и лицо его было грустно. Лишь в следующую минуту, когда он перехватил ее взгляд, в нем нашла отклик беззащитная прелесть ее улыбки. Он встал и подошел к ней. Она стала сама целовать его короткими, быстрыми поцелуями, а он дивился необыкновенной шелковистости ее кожи.

Юлия думала, что в ее жизни наступила пора, когда все удается, когда сама себе кажешься героиней.

Вадиму Станиславовичу все время хотелось смотреть на нее. И он целовал ее. Своими поцелуями он словно благодарил ее за прекрасный вечер, и все больше и больше понимал, что влюбился, как юноша, а она становилась от ласк все уверенней, радость стала переполнять ее, как будто Юлия вобрала в себя всю радость, какая только есть в этой жизни.

Юлия улыбалась, стараясь как можно больше вложить чувства в эту предназначенную ему улыбку. Она всю себя отдавала за такую малость, как поцелуй, за мгновенный отклик на порыв Вадима Станиславовича.

Для Вадима Станиславовича проступало что-то новое в ее лице, близкое и родное, позволявшее угадывать, каким это лицо станет потом, таким же красивым в период расцвета и зрелости. Бы-

ло ясно, что это лицо будет красиво и в старости, об этом говорило его строение, изящество черт.

- Что ты меня так рассматриваешь? - шепотом спросила Юлия и облизнула самым кончиком языка губы.

- Просто думаю, что ты всегда будешь так же красива, как сейчас, - сказал он с дрожью в голосе.

Вдруг она отстранилась и стала ходить по комнате. Встретив его взгляд, она внимательно оглядела всю его фигуру, которая сохраняла, несмотря на некоторую грусть в его глазах, горделивую осанку (а какую же осанку иметь доктору наук, преподавателю-профессору, декану факультета, который должен быть образцом для студентов?!), посмотрела в его лицо, на котором улыбка словно не смела задержаться надолго и тотчас же уступала место привычному выражению сосредоточенности. По-видимому, в нем было нечто такое, что делало его моложе своих лет, что-то сближавшее его с молодежью, в среде которой он варился всю жизнь, и он выглядел более мужественно, что ли, чем другие мужчины его лет, которых видела Юлия. И с этой стороны, со стороны мужественности (муж?!), она его не знала, и - откровенно! - боялась узнать, хотя ей и очень хотелось докопаться тут до глубины.

Юлия сделала шаг навстречу и спросила:

- Я тебе на самом деле нравлюсь?

- Конечно! - воскликнул он.

- Ты врешь! - топнула ножкой Юлия.

Голос ее упал. Вадим Станиславович шагнул к ней. Она была теперь так близко, что он невольно обнял ее за талию, и сейчас же его губы нашли ее губы. Все ее тело откликнулось на этот поцелуй. Он обнимал ее, вдыхал ее, а она все прижималась к нему и прижималась, не узнавая сама себя, вся поглощенная и переполненная своей любовью.

Я приручу его, - кружилось у нее в голове, - он будет мой!

Его рука скользнула вниз по ее бедру, затем пошла медленно вверх под подолом юбки. Для Юлии все это было так ново, так восхитительно, что она медлила вырываться, хотя знала, что вот вот придется вырываться, медлила с тем, чтобы насладиться до самого предельного момента.

Он гладил ее так нежно, что она заскулила, как собачонка.

Наконец, дрожь пробилась в нее. Она резко оттолкнула его и бросилась к двери.

- Я провожу! - крикнул он.

Но Юлия уже хлопнула входной дверью. Она подумала: пусть, пусть помучается, пусть пострадает!

У матери был майор Никольский: его китель висел на спинке стула на кухне. Юлия беспричинно рассмеялась. Через некоторое время на кухне появилась мать.

- Он сейчас уходит, - сказала она, кивая за стену.

- Да пусть хоть ночует, - сказала Юлия. - Что тут у тебя можно поесть?

- Он что, тебя сегодня не покормил? - спросила, зевая, мать.

- Минеральную воду пили.

- А-а... понятно... Где?

Юлия потянулась, затем нехотя сказала:

- У него.

Мать всплеснула руками.

- Ты пошла к нему?! И что же он там с тобой делал?

- Ничего. Пару раз поцеловал и все.

- И не лез?

Юлия рассмеялась.

- Когда полез, я сразу же убежала.

Мать нежно улыбнулась и засуетилась у плиты. Затем оглянулась и наставительно сказала:

- Теперь все. Будет лезть, как кобель. Но ты все делай так, как я сказала. Слушай меня!

- А если я не сдержусь, - тихо сказала Юлия и как-то меланхолически добавила: - Он такой хороший.

Мать остановилась с открытым ртом.

- Ты что это говоришь? - прикрикнула она. - Что это еще за хороший?! А? Спрашиваю!

Юлия молчала.

- Я спрашиваю, что это еще за хороший такой?! Ты соображаешь, что ты говоришь? Он же тебе в отцы годится! Ты в уме ли своем, Юлька?

- Заткнись! - вдруг крикнула Юлия и покраснела.

Мать оторопело смотрела на нее, но больше ничего не говорила, опасаясь, что с дочерью случится истерика. Через некоторое время Юлия чуть мягче сказала:

- Иди, вон, к своему майору... Ублажи, а то он, наверно, там загнул от скуки!

- Дуреха же ты, Юлька! - закачала головой мать. - Честное слово, дуреха.

Юлия повернулась и пошла в ванную. Она долго рассматривала свое лицо в зеркало, затем медленно разделась и пустила воду. Капли застучали по ее нежной коже. Юлия закрыла глаза и сразу же увидела Вадима Станиславовича. Но, что самое странное, увидела и себя, стоящей к нему спиной. Он шагнул ближе и с силой повернул ту, другую Юлию, которую эта Юлия видела с закрытыми сейчас глазами, с силой повернул ту к себе, а она положила руки ему на плечи и поцеловала его, потом еще и еще. Его глаза становились огромными каждый раз, когда она приближались к ее лицу, становились, как море.

Когда Юлия вышла в халатике из ванной, то увидела, что мать уже приготовила ей ужин. Юлия принялась за еду. Мать села напротив, и вдруг глаза у нее наполнились слезами, а рука, лежавшая на столе, задрожала. Юлия догадалась, о чем думала мать, и глаза ее тоже заблестели от слез.

Затем мать нагнулась к ней и стала говорить о чем-то шепотом. Мать была к дочери лицом к лицу, и вдруг мать замолчала и изумилась, что дочь так красива и что раньше она словно не замечала этого.

Утром Юлию разбудил телефонный звонок, и прежде чем снять трубку, она улыбнулась и догадалась, что это звонит Вадим Станиславович. Да, это звонил он.

- У Гоголя на том же месте? - переспросила она.

Слышно было плохо.

- Да! - крикнул он и, попрощавшись, положил трубку, а она еще с минуту слушала прекрасные долгие гудки.

Потом, положив трубку, Юлия пропела:

Снился мне сад в подвенечном уборе...

У нее был красивый голос и хороший музыкальный слух.

В этот момент Юля желала закрепить свою власть над Вадимом Станиславовичем, желала, чтобы он всегда оставался при ней.

Делать было нечего, и Юлия бесцельно слонялась по квартире. Это недолгое одиночество, физическое и душевное, порождало в ней тоску, а тоска еще более усиливала одиночество. Чтобы отделаться от этого чувства, она старалась думать о Вадиме Станисла-

вовиче. По всей видимости, за многие годы жизни у него, кроме жены, были любовницы, и, очевидно, он любил их. А какое место она сейчас заняла в его жизни?

Чтобы чем-то занять себя, Юля вновь, как и вчера, взяла “Горе от ума” и вновь читала его голосом.

На сей раз она сама опоздала к Гоголю. Вадим Станиславович - это она заметила издали - нервно прохаживался и поглядывал по сторонам. Увидев Юлию, он буквально ринулся ей навстречу и сразу же поцеловал.

Пока они шли к нему, он радостно что-то рассказывал о намечающемся конкурсе в институте, о том, что переговорил со всеми нужными людьми, чтобы Юлия наверняка стала студенткой.

Юлия взяла его за руку и остановила, затем быстро-быстро поцеловала его в колючую бороду.

- Быть с тобой, - сказала она, - быть так близко от тебя, и не поцеловать тебя - это ужасно!

- Малыш мой!

Когда вошли к нему в квартиру, то сразу же стали целоваться, стоя посреди комнаты. Потом она плюхнулась в кресло, но просидела в нем ровно секунду, снова вскочила и подбежала к Вадиму Станиславовичу. Поцелуй был долгий, страстный. Юля крепко прижалась всем телом к Вадиму Станиславовичу, затем опять вернулась в кресло.

Он сбегал на кухню, принес минеральной воды с сиропом и коробку шоколадных конфет. Надкусывая конфету, Юлия, не отвлекаясь, смотрела на Вадима Станиславовича.

- Какие у тебя, Юлька, длинные ресницы! - воскликнул он.

Он назвал ее Юлькой! Совсем как мать. Приручился!

- Как я счастлив, что встретил тебя, - сказал он мягко.

Она встала и зажала ему рот поцелуем. Он обнял ее и в каких-то вальсирующих движениях через прихожую провел в спальню. Она на мгновение вырвалась и подошла к окну. Он лег на кровать поверх покрывала. Юлия сказала с придыханием:

- Какая красивая церковь!

- Красивая, - согласился он и добавил: - Иди ко мне.

Она подошла. Он схватил ее за руку и притянул к себе. Она легла рядом, и они стали целоваться до тех пор, пока у обоих не заболели губы. Дыхание Юлии было легким и свежим, как у ребенка.

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

Он гладил ее, а она скулила. Но когда рука пошла вверх и почти что достигла предела дозволенного, а другая рука в борьбе с ее рукой больно сжала ее грудь, она шепнула:

- Нет, сейчас нельзя. Сегодня я не могу.

- Почему?! - вырвалось у него.

- Неужели ты не понимаешь? - удивленно спросила она и села.

Он послушно убрал руки: и с явным сожалением сказал:

- Давай ужинать.

- Давай, - согласилась она.

Но они продолжали сидеть на кровати. После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикал будильник на тумбочке, Вадим Станиславович вздохнул и сказал насмешливо:

- Связался черт с младенцем!

- Почему черт? - удивленно спросила она. - Ты скорее похож на ангела...

- Да-а? - удивился он.

- Да, - сказала она и встала с кровати.

Вадим Станиславович достал из холодильника тощего куренка и сказал, что сейчас приготовит отменного цыпленка-табака.

Пока раскалялась сковорода, Вадим Станиславович сел за пианино и спел:

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел,
И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви...

Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь все живет
В моем сердце больном...
Отцвели уж давно
Хризантемы в саду...

Юлия любила чувствительные романы, и сейчас, когда Вадим Станиславович пел, у нее радостно щемило сердце от чудесных звуков. Она думала о будущем, о том, как она будет жить с Вадимом Станиславовичем, как он будет в буквальном смысле слова носить ее на руках, дорого одевать и ездить с ней в заграничье.

дировки. В тоске ожидания этого будущего, которое наверняка наступит, она с умилением смотрела на клавиши пианино, на пальцы Вадима Станиславовича. И ей вдруг захотелось, чтобы переменна в ее жизни произошла сейчас же, сию же минуту, и было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет еще продолжаться некоторое время.

Из кухни запахло паленым, и Вадим Станиславович бросился туда готовить своего куренка.

Юлия легла на тахту возле пианино. Когда Вадим Станиславович вернулся, она плакала.

- Что с тобой? - спросил он взволнованно.

- Ничего.

- Духи?

И они рассмеялись.

- Нет, - сказала она, - мне просто до слез хорошо с тобой. Я люблю тебя, честное слово!

Он сел, а она, продолжая лежать, положила ему голову на колени. Он гладил ее волосы.

- Можно я задам тебе вопрос? - спросила она.

- О чем?

- О твоих романах.

Вадим Станиславович напрягся, затем простодушно рассмеялся и сказал:

- Запомни, Юлька, есть вещи, о которых не принято говорить вслух.

- Ты просто не хочешь быть со мной откровенным! - обидчиво сказала она.

Он вздохнул, а она всхлипнула.

- Я хочу, чтобы ты был только моим, слышишь?

Она встала, и он последовал ее примеру, затем обнял ее за талию, но Юлия устало отклонилась назад и на минуту застыла с закрытыми глазами, со свесившимися волосами. Он наступал на нее, а она отстранялась, испуганная своей ревностью, которая отбивала ласку и нежность.

- Хочешь анекдот? - вдруг спросила она.

- Хочу.

- Чебурашка приходит в булочную и спрашивает у продавщицы: "Сколько стоит крошка хлеба?" - "Нисколько", - отвечает та. - Тогда, - говорит Чебурашка, - накрошите мне батон!

Вадим Станиславович засмеялся неестественным смехом и пригладил хохолок на лысеющей голове. Зайдя сзади, он положил ей руки на плечи, потом, скользнув ладонями от плеч вниз, крепко сжал ее пальцы. Их щеки соприкоснулись, губы встретились, и Юлия глубоко вздохнула, то ли от нежности, то ли от изумления, что эта нежность так сильна.

На улице еще было светло, когда он пошел ее провожать до троллейбуса.

- Поцелуй меня еще.

Он поцеловал.

Следующий день они провели в разлуке. Юлия не находила себе места. Позвонила с работы мать и сказала, чтобы Юлия отнесла белье в прачечную. Юлия огрызнулась, но отнесла, затем зашла в магазин и купила два пакета молока, батон, двести граммов масла и триста колбасы.

Потом она минут пятнадцать позанималась математикой, а после принялась дочитывать "Горе от ума".

Когда она встретилась с Вадимом Станиславовичем, он сказал, что никуда идти не хочется, и предложил просто погулять. Вид у него был какой-то усталый, даже подавленный. Подходя к Москве-реке, Вадим Станиславович быстро заговорил, словно его что-то прорвало. Он говорил о жене, с которой уже успел поскандальить, о том, что жизнь с ней стала для него невыносима, о том, что он не только морально, но и физически не переносит ее...

Юлия слушала, и ей было страшно от этого рассказа.

По реке шла белая баржа. Несколько чаек парило над кормой. По пояс обнаженный матрос кормил их хлебом. Он швырял кусочки вверх, и чайки их на лету ловко подхватывали.

- Ты знаешь. Юлия, я знаком с тобой несколько дней, а кажется, что знал тебя всегда, - продолжал Вадим Станиславович. - Интересно устроена жизнь. Живешь и чего-то главного не замечаешь, уходишь от этого главного. Отвлекаешься работой, другими делами. А есть какая-то банальная, примитивная сила жизни. Если бы мои родители не повстречались и не полюбили друг друга - не было бы меня. И эта страсть и жажда любви нами загоняется в подполье. Живем так, как будто мы с неба упали, а не появились на свет самым обычным образом. И почему в человеке заложено так много страсти, так много любви. Почему мне каждое утро хочется женщину!

Юлия быстро взглянула на него и отвела глаза на реку.

- Да, всему сволочному организму хочется женщину. Не душе моей, не мозгу, а физиологической моей сущности! Неужели я спланирован так, чтобы каждый день хотел женщину. А что бы было, если бы я каждый день оплодотворял все новых и новых женщин? Это же уму непостижимо, какое потомство я бы оставил. Каждый день! Это же 365 детей в год, это же 3650 за десять лет! Что это такое! Я не хочу этого умом, душою цивилизованного человека не хочу, а на меня давит похоть, не мною в меня заложённая! Неужели подобное происходит с каждым мужчиной? Когда-то в юности я думал, что мужчина способен на продолжение рода лет так до тридцати, а потом увядает, как осенние астры с первым снегом. Но нет! О ужас, я знаю у нас в институте восьмидесятилетнего доцента, который при каждой встрече со мной считает своим долгом поведать мне о своей новой победе. И говорит об этом сально, с подробностями! Ты можешь себе представить? Я не знаю, как от него избавиться. Прямо ему сказать о том, что мне его откровения противны, не могу, какое-то вежливое стеснение охватывает... Так что приходится, как только завидю его издали, разворачиваться и идти окольным путем. Что это? Ему же восемьдесят лет! Значит, и мне еще без малого сорок лет мучиться этой не от меня зависящей похотью. На эту тему я читал много умных книг и не нашел в них ничего, что бы дало мне ясный ответ на этот вопрос! А ты что думаешь на этот счет? - обратился он к Юлии, которая облокотилась на парапет и смотрела в воду.

Юлия молчала, и легкий румянец выступил на ее нежных щеках.

- Вот ты молчишь, как будто не понимаешь, о чем я говорю. А ты вот в метро, спускаясь на эскалаторе в час пик, взгляни на толпы. Откуда они все? Задай себе такой вопрос. Каждого ведь родила женщина! А девять месяцев до того эта каждая женщина была с мужчиной, была страстна и любвеобильна! Смотришь на какого-нибудь академика серьезного или на генерала деревенского и думаешь: э, а ведь ты, братец, оттуда же! Чего же ты корчишь из себя?!

Вадим Станиславович махнул рукой и замолчал. Он уставился на проходящий по реке прогулочный теплоход. Затем, сменив тему, заговорил вновь:

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

- В понедельник у тебя первый экзамен. Вроде, я все сделал как нужно.

- Как? - спросила она.

- Узнаешь.

- А заранее узнать нельзя?

- Я думаю, что не стоит. Мало ли что. Вдруг да ты кому-нибудь проговоришься и все сорвется.

- Да что ты! - вспыхнула Юлия. - Я никому не скажу!

- Не нужно. Ты лучше позанимайся в выходные...

- Мы с тобой до понедельника не встретимся? - спросила Юлия испуганно и схватила его за руку.

- Нет. Я никогда в выходные из дому не выхожу. Жена это прекрасно знает. Зачем же я буду подавать повод к скандалу? - сказал он мягко и улыбнулся Юлии.

Юлия поникла.

- Я знала, что ты меня не любишь! - резко сказала она.

Он обнял ее и привлек к себе.

- Еще как люблю! Но нужно же себя контролировать и сделать все без эксцессов!

- Что сделать?

- Ты же сама знаешь, что, - сказал он и задумался.

Помолчали.

- Какая же ты драгоценность! - вдруг воскликнул он, кладя ей руку на плечо. - Вот чтобы ты сейчас жила, все твои предки до Адама должны были передать по живой человеческой цепочке свое семя, чтобы оно дошло до тебя. Это уму непостижимо! Все они, до того, как умереть или погибнуть, отдавались страсти, чтобы рождался новый человек, и женщины твоего рода, как матрешки, выходили одна из другой миллионы раз, и, наконец, вышла ты. Ты понимаешь, что твой род, раз ты жива, не пресекается, твое генеалогическое дерево живо! И твой предок - Адам!

- И Ева! - усмехнулась Юлия.

- Да, и Ева! - горячо проговорил Вадим Станиславович и поцеловал Юлию в прохладные губы.

Из-под моста показался еще один прогулочный теплоход, с борта которого неслась песня:

Еще не вечер, еще не вечер...

Юлия взглянула на него и улыбнулась. По выражению ее счастливых глаз и лица, которое стало в эту минуту еще красивее, Вадим Станиславович понял, что она его любит. Юлия провела рукой по своим волосам и в каком-то приливе радости закрыла глаза. Он взял ее за талию. А она положила руки ему на плечи и минуту с восхищением, словно во сне, смотрела на его умное, немножко грустное лицо, голубые глаза, лоб, прекрасную бороду.

Юлия вновь закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и очень долго никак не могла прервать этого поцелуя.

Они пошли по набережной, потом еще долго гуляли переулками, а когда стало темнеть, он проводил ее до метро.

В субботу и воскресенье Юлия не находила себе места. Звонил Соловьев, предлагал прошвырнуться в кинишко, но она с раздражением сказала, что ей некогда и что она готовится к экзамену.

Мать несколько раз заводила разговор о Вадиме Станиславовиче, но Юлия, не начав этого разговора, обрывала ее. В воскресенье вечером приезжала тетка, и Юлия с матерью готовили к ее приезду домашний пирог.

В понедельник Юлия проснулась в половине восьмого в холодном поту. Неизвестно почему на нее накатил страх. А вдруг да все сорвется, и она с треском провалится?

В институт она приехала за двадцать минут до экзамена. И сразу же пошла к кабинету Вадима Станиславовича, но его не оказалось на месте. Тогда она направилась в аудиторию и заняла место в середине. На столах уже были разложены чистые листы со штампами. Аудитория постепенно заполнялась абитуриентами. Появились и преподаватели, и, наконец, объявили темы. Время пошло, и все принялись строчить про разные “образы”. А Юлия сидела и не знала, что делать.

Минут час, некоторые скорописцы стали уже сдавать свои сочинения, а Юлия все сидела с видом утопленницы над чистым листом и делала вид, что она усердно пишет. В аудитории появился какой-то студент с красной повязкой на рукаве и спросил, кому не хватило бумаги. Юлия тут же, как будто ее кто толкнул, крикнула, что ей. Студент подбежал к ней и проворно сунул под ее листы какую-то стопку.

Некоторое время Юлия продолжала имитировать писание, а когда студент исчез из аудитории, она, осмотревшись, не наблюдает ли кто за ней, отодвинула с подсунутой стопки чистые листы и увидела написанное аккуратным почерком сочинение на тему,

которая среди других была обозначена на доске: “Трагедия Григория Мелехова из станицы Глазуновской в романе Федора Крюкова “Тихий Дон”.

Юлия внутренне возликовала, но внешне оставалась спокойной, и даже еще минут сорок помахала пером над бумагой.

Сдав сочинение, Юлия бросилась к Вадиму Станиславовичу. Не обратив внимания на секретаршу, она сразу же открыла дверь в его кабинет. Вадим Станиславович с кем-то беседовал, но как только увидел Юлию, встал и предложил ей место на стуле сбоку от стола. После этого Вадим Станиславович еще некоторое время побеседовал с посетителем, который сидел в кресле. Вадим Станиславович говорил о какой-то перспективной модели специалиста, о сокращении числа кафедр на факультете, об интенсификации учебного процесса.

А Юлия рассматривала его, и когда его голубые глаза смотрели на нее, она видела море.

Посетитель ушел. Вадим Станиславович тут же склонился к ней и поцеловал в губы. Она протянула к нему обе руки и обняла за шею.

- Ты меня любишь? - спросила она.

- Люблю! - страстно прошептал он.

- Как ты меня любишь?

- Безумно! - прошептал он и спросил: - Как твой экзамен?

- Пришлось здорово поволноваться! - усмехнулась Юлия.

Вадим Станиславович сел на свое место и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнившую все его существо.

Потом он повел Юлию в студенческую столовую обедать. Он взял себе и ей супа, котлет с макаронами и компот. И этот посредственный обед показался Юлии самым вкусным на свете.

Когда они из столовой поднимались по лестнице, Вадим Станиславович, обнаружив, что они одни на этой лестнице, обнял Юлию, и она откинула голову назад, и он поцеловал ее в губы и, чтобы этот поцелуй длился дольше, он взял ее голову в ладони, а Юлия обвила руками его шею и прижалась к нему всем телом так крепко, что хрустнули косточки.

Потом они оба быстро побежали вверх по лестнице.

Вечером они ходили в кино, в “Повторный”, смотрели “Андрея Рублева” Тарковского.

Весь фильм Юлия сжимала руку Вадима Станиславовича. Когда она вернулась домой, мать спросила взволнованно:

- Ну, как?

- Нормально.

- А все же?

- Ниже пятерки не поставят! - уверенно сказала Юлия.

Мать села за стол, подперла голову кулачком.

- Нет, ты скажи, Юлька, помог он тебе или нет? - настаивала мать.

- Помог, помог! Отстань.

- Не груби! - мать пристукнула ладонью по столу.

- Все тебе, мам, расскажи! Я расскажу, ты кому-нибудь расскажешь, и все пойдет прахом, - сказала Юлия, зажигая конфорку под чайником.

- Ну, а сейчас где были? - спросила мать, улыбаясь.

- В кино. Мам, такой зэканский фильм зырили!

- Что еще за зырили! Ты мне, Юлька, брось эти словечки!

Юлия смутилась. Ей самой были теперь неприятны подобные слова, но в разговоре со своими они как-то незаметно сами вылетали изо рта.

- Ладно. Смотрели отличный фильм. "Андрей Рублев" называется...

- Это про богомаза, что ли? - неуверенно спросила мать.

- Про него.

- Ну, а после кино что делали? Не приставал он к тебе?

- Ну, мам, ты прямо, я не знаю! - вспыхнула Юлия. - Не приставал. Я сама к нему приставала! Вот тебе!

- Ну уж и спросить что ли совсем нельзя, - усмехнулась мать и, встав, подошла к плите, чтобы приготовить дочери горячий ужин.

Мать осталась довольна тем, как Юлия выполняла ее наставления. Ей все время хотелось поставить дочь на рельсы и подтолкнуть, и вроде бы дочь вставала на эти рельсы.

На другой день Юлия сразу же сказала Вадиму Станиславовичу:

- А я влюбилась в тебя с первого раза, как только увидела.

Он сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей, как обыкновенную любезность. Но на самом деле что-то радостно дрогнуло у него в груди от этих слов. В его взгляде светилась нежность и доброта. Юлия взяла его руку. Их щеки соприкоснулись, губы встретились.

- Хочешь посмотреть, как я живу? - спросила она.

- Хочу, - тут же согласился он.

Они вышли из троллейбуса у ее дома-башни. Из какого-то окна слышалось радио, диктор объявила: "Два романса Демона прозвучат в исполнении Федора Шалапина". Они вошли в подъезд. В лифте он поцеловал ее.

- А вот моя комната, - сказала она, открыв дверь в маленькую комнату.

Вадим Станиславович обнял Юлию за талию и как бы тихонько подтолкнул ее в комнату. Юлия повернулась к нему лицом, он взглянул в ее огромные глаза с расширившимися зрачками, и достаточно было с его стороны одного движения, как она села на кровать, а он принялся страстно целовать ее колени. Потом его рука пошла вверх.

- Не надо, - сказала Юлия и впилась в его рот своими губами.

Ее короткое сопротивление доставило ему радость. Юлия забыла о наставлениях матери, обо всем на свете, она видела голубые, изменившиеся глаза и уходила все дальше в глубь непостижимо прекрасных ощущений. Была минута в их близости, когда она, как ребенок, забыв, кажется, и саму себя, вскрикнула:

- Мамочка!

Это произошло почти в ту же секунду, когда его плоть оторвалась от ее плоти, и когда ее вдруг охватило чувство пронзительной любви к нему.

Юлия приподнялась, облокотясь на подушку, и сказала:

- Я люблю тебя!

- Я тебя тоже, - тяжело дыша, отозвался он, ложась рядом.

Юлия опустила голову на подушку.

Несколько минут прошло в молчании. Вдруг Юлия сказала:

- Ты помнишь тот разговор у реки? Так вот, я тогда боялась быть с тобой откровенной. Но я так понимаю тебя. У меня были те же чувства. Ты представить себе не можешь, как мне хотелось этого... ну, того, что ты сейчас со мной сделал. И это было со мной, знаешь, с каких лет?

- С каких? - спросил он шепотом.

- С двенадцати! - выпалила она.

Вадим Станиславович даже присвистнул.

- Да. В двенадцать лет у меня начались месячные... Я представить себе не могла, что уже в эти двенадцать лет могу рожать детей!

И с каждым месяцем страсть во мне все усиливалась. Я ложилась и просыпалась с чувствами похотливой кошки. Меня распирали чувства, но я знала, что это нехорошо, что нельзя так думать. И мать мне постоянно долбила, что нужно беречь себя... Так зачем же я так скроена, что я хочу, а мне по каким-то там высшим причинам нельзя?! Почему? В мыслях я была смелой и даже, знаешь, - она повернула голову к нему и прошептала, - мне снился половой акт, в котором я принимала самое активное участие. Мне часто снюсь я сама... Я как бы со стороны сама на себя смотрю... И кто это определил, что только в восемнадцать лет можно выходить замуж! Я же уже пять лет, как созревшая... Я хочу любить тебя, милый!

Вадим Станиславович приподнялся над нею и было видно, что он любит ее загорелым телом с белыми полосками на острой груди и на бедрах.

Юлия широко раскинула руки на постели и смотрела в его глаза. Ее тело взмокло от страсти и от шеи к ложбинке между двумя утесами груди бежал ручеек.

- Иди ко мне, - шепнула Юлия, и он припал к ней, и она от прикосновения вздрогнула и проскулила тонко-тонко.

Все вокруг для Юлии исчезло, превратившись в сплошную нежность.

Когда Вадим Станиславович хотел встать, она сказала:

- Не спеши, милый. Полежи еще...

И он лег, глубоко дыша, прикрыл глаза и не заметно для себя заснул. Юлия некоторое время слушала его ровное дыхание, затем прижалась щекой к его плечу и тоже уснула.

Проснулась она внезапно, ей показалось, что ее позвала мать. Юлия привстала и оглянулась на дверь комнаты. На пороге стояла мать, бледная, с округленными глазами, с открытым ртом, с прижатыми к щекам ладонями.

Юлия приложила палец к губам и прошептала:

- Тихо, мам! Пусть он поспит, беденький!

Руки матери, как ватные, опустились.

- Вот это миленько! - прошептала мать.

Вадим Станиславович открыл глаза, приподнялся и увидел мать Юлии. Тут же он догадался натянуть одеяло на голые тела Юлии и свое.

- Здравствуйте! - достаточно бодро проговорил он, перебарывая в себе ужас неожиданного визита и собственный страх.

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

- Здрасьте-здрасьте, - с долей ехидства проговорила мать и, покачав головой, пошла на кухню.

- Господи, откуда она свалилась! - с дрожью в голосе прошептала Юлия и вскочила с постели.

Странные чувства овладели Вадимом Станиславовичем: первоначальный страх схлынул и появилось что-то вроде трепетной радости, какая бывала в детстве от неожиданного подарка.

Одевшись, вышли на кухню, где мать хлопотала у плиты. Мать посмотрела на Вадима Станиславовича и проговорила не своим, а каким-то странным, сорванным голосом:

- Знать, мне на роду написано ничего не понимать. У меня в глазах темно, - и, обратившись к дочери, добавила: - Юлька, что ты со мной делаешь?!

Мать взяла тарелку, и видно было, что у нее дрожат руки. И вдруг она зарыдала от горя и стыда.

Вадим Станиславович чувствовал необходимость сказать что-нибудь этой женщине, но не находил таких слов, которые бы успокоили ее.

- Ну, мам! - сказала Юлия.

Вдруг мать перестала плакать и, улыбнувшись, сказала:

- Что делать! Раз случилось, так случилось. Этого уже поправить нельзя... Садитесь за стол.

По всему виду Юлии было заметно, что она не смущена, и смотрела на мать и на Вадима Станиславовича искренно и ясно.

Вадим Станиславович перестал испытывать смущение.

- Как у вас уютно в квартире, как чисто! - сказал он.

- Ну, еще бы! - отозвалась мать. - Я по три раза на день протираю мою, каждую пылинку снимаю.

Мать взглянула на Вадима Станиславовича спокойно, даже обыкновенно, как будто знала его давно, несколько лет. Она уже заранее представляла эту встречу и, основываясь на собственном опыте, чувствовала, что это человек порядочный и по-своему несчастный.

Да, это, несомненно, хороший человек, - думала мать, - выдержанный, учтивый, с ласковым, участливым взглядом, и он стал доступен дочери, и этим человеком она завладела, не раздумывая, и правильно сделала. Ну и что, что ему за сорок?! Можно ли гадать в жизни наперед?! Вот она когда-то гадала, а муж, который был старше ее всего на полгода, взял и бросил ее! Когда начинаешь

понимать, что у нее какой-то другой, загадочный смысл, который не в состоянии уловить простым размышлением: строишь планы на будущее, а они в один момент разваливаются, и выводят в какие-то неведомые дебри. В самом деле, человек рождается не по своей воле, и не по своей воле уходит из жизни... Почему? Зачем? Хочется узнать смысл этой жизни, своей жизни, а он постоянно исчезает. И есть ли этот смысл вообще? Есть ли цель жизни? Люди чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, и что может быть счастливее, как найти себе надежную опору на всю жизнь?

Юлия с любовью смотрела на Вадима Станиславовича, но не с той любовью, которая была в ней до этого дня, а с какой-то новой, почти что блаженной. И в глазах у нее появилось новое выражение, выражение первоначальной женственности. И это выражение уловил Вадим Станиславович, и ему захотелось тут же вновь привлечь к себе Юлию. Теперь было ясно, что он связан с нею, и не только потому, что мать стала свидетельницей их близости, а потому, что сама Юлия, как чистый солнечный свет, осветила и согрела его.

Появление матери лишь усилило в нем чувство любви к этой прекрасной девушке, и он вполне удостоверился, насколько глубоко затронуты этой девушкой его сокровенные чувства.

Глядя на Юлию, не веря в ее существование, он как бы старался уйти от наваждения и вернуться в реальный мир. Но он уже был в этом реальном мире! В мире, где помимо Юлии существовала его жена, его дети. И он невольно углубился в анализ ситуации, в анализ, как реакцию на происшедшее, как реакцию на воздействие жизненных перипетий. В этот момент ему хотелось каким-то сказочным, безболезненным путем обойти пропасть, разверзнувшуюся у него под ногами. И он как-то спокойно подумал о жене. Теперь, по крайней мере, его ничто не связывало с ней.

А дети?

Мать подала Вадиму Станиславовичу тарелку щей. Теперь ей хотелось обласкать его, сказать ему, что он ей симпатичен. Но вместо этого у нее вырвалось:

- В магазинах совершенно ничего нет. Забегала сегодня в гастроном, и даже захудалой колбаски купить не смогла!

- Это так, - тут же согласился Вадим Станиславович.

- Да ничего, - сказала мать. - Проживем как-нибудь. Я человек неприхотливый.

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

- Я, признаться, тоже, - сказал Вадим Станиславович.

- А я нет, - усмехнулась Юлия. - Мне всегда хочется чего-нибудь такого...

- Да она у меня ничего не ест, - сказала мать. - Фигуру все соблюдает.

- Это хорошо - соблюдать фигуру, - сказал Вадим Станиславович и с нежностью посмотрел на Юлию.

- Вот видишь, мам? Человек понимает, что нужно следить за собой!

- А я тоже слежу за собой, - сказала мать и осмотрела себя. - Неужели я уж такая полная?! - и рассмеялась.

- Конечно, нет, - сказала Юлия, глядя на Вадима Станиславовича с выражением девочки, которой очень хочется шалить. Она легко вздохнула и засмеялась. - Мамочка, ты очень у меня красивая!

Щеки матери покраснелись, и это ее немного смущало, и она стеснительно поглядывала на дочь и на Вадима Станиславовича.

И Юлия поглядывала то на мать, то на Вадима Станиславовича, полная горделивого сознания, что ею совершено что-то в высшей степени смелое и необыкновенное (да так оно и было!), страстно любящая и страстно любимая, предвкушающая новую счастливую жизнь и упивающаяся этой новой жизнью. От избытка счастья она взяла руку Вадима Станиславовича и крепко сжала.

...В среду у входа в институт на огромных щитах были вывешены списки с результатами первого экзамена; возле фамилии Юлии красовалась пятерка. На экзамене по математике, спустя пятнадцать минут после начала, к ней подскочил тот же студент с красной повязкой и незаметно взял у нее задание. Буквально минут через двадцать он же ловко подсунил ей исполненное самым аккуратным почерком решение. С ним Юлия, приняв самый сосредоточенный вид, какой и подобает в данной ситуации абитуриентке, просидела еще около часа.

И ей казалось, что этот экзамен длился целую вечность. Тем более что перед тем, как идти сдавать работу, Юлии стало как-то не по себе. Дело в том, что один какой-то абитуриент пристально изучал левую сторону ее физиономии. В конце концов, Юлия взглянула на него таким испепеляющим взором, что тот подался назад и сильно покраснел.

Она перевела взгляд, полный негодования, на другого своего соседа: не смотрит ли он на нее? Но то был невзрачный веснуш-

чатый мальчик, безумно вспотевший, глядящий воспаленным взглядом в свои листки.

После экзамена Юлия пошла к Вадиму Станиславовичу. Он был на месте. Увидев Юлию, он тут же бросил все свои дела, выскочил из-за стола, обнял ее за талию и привлек к себе. И в эту минуту Вадиму Станиславовичу показалось, что Юлия стала удаляться, и все предметы в кабинете как-то резко уменьшились и стали размываться.

Удерживая Юлию за талию, он резко качнулся и упал вместе с нею в кресло. Юлия вздрогнула и увидела, что его лицо быстро стало бледнеть, а голубые глаза помутнели и потеряли всякое выражение.

- Что с тобой?! - вскрикнула Юлия, высвобождаясь из его железных объятий.

В ответ на это он что-то промышчал и как-то машинально стал неуверенной рукой копаться в кармане пиджака. Напуганная до смерти Юлия принялась дрожащими руками ослаблять его галстук и расстегивать верхнюю пуговицу крахмальной белой сорочки.

В каком-то полусне Вадим Станиславович извлек из кармана стеклянную колбочку с маленькими таблетками, но тут же его рука с этой колбочкой упала на колено. Юлия моментально выхватила у него колбочку, насыпала себе на ладонь несколько таблеток и сунула их ему в рот. Минуту-другую он сидел, согнувшись, закрыв глаза. Потом, не вставая, потянулся к графину с водой, но Юлия опередила его и налила стакан, расплескивая воду по столу и по полу.

Он жадными глотками выпил половину стакана, глубоко вздохнул и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Юлия стояла напротив него, прижав руки к груди. Наконец он открыл глаза и слабым голосом сказал:

- Сердце прихватило, - и в это же время прижал правую руку к левой стороне груди.

- Бедненький, - сказала Юлия и хотела сесть ему на колени, но он, встряхнув головой, встал и прошел к окну.

У окна он немного постоял без спокойно, затем, повернувшись лицом к Юлии, сделал несколько мягких движений руками, отдаленно напоминавших утреннюю зарядку.

- Может быть, врача вызвать? - неуверенно спросила Юлия.

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

- Зачем? Пустяки, - отмахнулся он, и его глаза приняли прежнее выражение ясности и голубизны моря.

- Тебе лучше? - спросила она.

- Как будто ничего и не было, - сказал он.

- Ты переволновался, - сказала она.

Он не спеша прошелся по кабинету, глядя в пол.

- Всю ночь не спал, - сказал он. - Жена вывела из себя. А сегодняя утром уехала в Кондопогу за детьми. Сказала, что привезет их сюда, назло мне!

- И что же ты? - спросила Юлия, кусая губы.

Он взглянул на часы и сказал:

- Час назад подал заявление на развод.

Сердце у Юлии екнуло, она хотела что-то сказать, но промолчала, затем улыбнулась, но улыбка была недолгой, и по лицу разлилась бледность, сменившаяся через секунду румянцем.

Вадим Станиславович подошел к ней и взял в ладони ее голову. Вглядевшись в ее глаза, он сказал:

- Ты моя! Понимаешь ли ты, что ты моя навсегда!

- Да, - прошептала она.

- Ты моя невеста?

- Да.

- Ты моя жена?

- Да.

- Ты мне родишь ребенка?

- Да.

- Мальчика или девочку?

- А кого ты хочешь? - прошептала она, прижимаясь щекой к его аккуратно подстриженной бороде.

- А ты кого?

- Нет, я первая спросила, - сказала она. - Кого ты хочешь?

- Девочку, - прошептал он ей на ухо и добавил: - Такую же красивую, как ты.

- Я хочу тебя сейчас же, - сказала Юлия. - Поедем ко мне.

Он крепче прижал ее к себе и поцеловал в губы. А она гладила его спину, шею, голову.

- Подожди меня внизу, - сказал он, отрываясь от ее губ.

Юлия посмотрела на себя в маленькое зеркальце, затем, сунув его в сумочку, двумя пальчиками с облупившимся маникюром помахала Вадиму Станиславовичу, который проходил на свое место,

и выпорхнула из кабинета. В приемной секретарша читала “Московские новости”, она столь была углублена в чтение, что не заметила, как Юлия вышла из кабинета и как покинула приемную.

У входа в институт на солнышке толпились стайки абитуриентов, живо обсуждали только что прошедший экзамен. Вдруг к Юлии подошел тот юноша, который стрелял в нее глазками на экзамене, и спросил:

- Можно с вами познакомиться?

Юлия с ледящим душу холодком взглянула на него, так что юноша попятился, и сказала:

- Отвали, я занята!

В этот момент из дверей института вышел Вадим Станиславович, и изумленный юноша, знавший, что это декан факультета, увидел, как он взял Юлию под руку и как они вместе, улыбаясь, побежали по ступеням вниз.

Как только они дошли в ее квартиру, избавившись от взглядов прохожих, пассажиров, пешеходов, их бросило друг к другу, словно от подземного толчка. Ее груди расплющились под его ладонями, ее рот, по-новому теплый, сросся с его ртом. Они перестали думать, перестали видеть, испытывая от этого почти болезненное блаженство. Их одежды беспорядочно упали на пол.

Когда Вадим Станиславович лег рядом, он подумал о том, что то, что он делает в последние дни, означает крутой перелом в его жизни, - настолько это не вяжется со всем, что было прежде. Никакие бы даже самые смелые предположения не смогли сравниться с тем, что ныне происходило.

Юлия положила ему руку на грудь, и он перестал обо всем думать, он просто закрыл в каком-то блаженстве глаза и через несколько минут уснул почти что детским сном.

Юлия осторожно, чтобы не разбудить его, встала, прошла в ванную и приняла освежающий душ, затем некоторое время любовалась своим телом перед зеркалом. Взяв пинцетик, она выщипнула три волосика из тонких бровей. Глядя на свои груди, она глубоко вздохнула и села перед зеркалом. Потом она осматривала ногти и принялась, почистив их пилочкой, покрывать лаком. Кисточка тщательно обходила лунки на ногтях. Убедившись в красоте своих ногтей, она завинтила крышку на бутылочке с лаком, и стала помахивать в воздухе руками, чтобы лак быстрее просох.

Вернувшись в свою комнату, она села на край кровати и склонилась к лицу Вадима Станиславовича. Ее груди коснулись его груди, и он раскрыл глаза.

Словно во сне, в счастливом сне, он как-то поспешно обхватил ее руками, и прижал к себе, и поцеловал в губы. Она обвила его шею, а он, точно растерявшееся, преследуемое животное, хотел выскользнуть из-под нее, но она не дала ему этого сделать. И он, забыв все напряжение вчерашнего вечера, забыв окончательный разрыв с женой, как бы вычеркнув из жизни все прошлое, ощутил небывалую нежность.

В глазах Юлии появился масляный блеск.

Припав к нему в последний раз, она воскликнула:

- О, милый! - и упала рядом на подушку.

Минут через двадцать она встала, накинула халат и плотнее запахнула его. Пока Вадим Станиславович принимал душ, она приготовила кофе и бутерброды с сыром.

Вадим Станиславович вышел из ванной просветленным, даже каким-то посвежевшим. Он погладил Юлию по волосам, поцеловал в щеку и сел за стол.

- Тебе хорошо со мной? - спросила она.

- Безумно!

- Ты любишь меня?

- Люблю, - сказал он менее страстно, отпивая кофе.

- Мы поедем на море? - с долей неуверенности спросила она.

- Да. Мы обязательно с тобой поедем на море. У меня есть прекрасное местечко под Евпаторией, деревня Оленевка, море в ста метрах. Правда, я там не был, но друзья говорят, что превосходное местечко. Показывали как-то по телевизору в "Клубе путешественников" окрестности Евпатории, я посмотрел и удивился, какие, оказывается, в Крыму есть еще девственные места. А тут у меня приятель собирался в отпуск. Бусыгин, с кафедры электроники. Ну, я его попросил съездить в те места. И что бы ты думала? Приезжает, отдохнув, с адресом в эту самую деревню Оленевку, застолбил великолепную комнату у старухи! Так что, Юличка, мы с тобой в эту комнату и махнем через недельку!

- Как это здорово! - воскликнула Юлия, глядя его бороду.

Вадим Станиславович встал и сказал:

- Мне пора в институт. В четыре часа у меня деканат.

Когда он ушел, Юлия кинулась примерять пестрые купальники, чтобы уже сейчас быть готовой к поездке в Оленевку. Ее захватил

дух какого-то карнавального веселья. Она уже просто сгорала от любопытства: что же это за Оленевка такая на берегу моря? Это любопытство было вызвано тем, что Юлия ни разу не была на море. На миг ей померещилось, что она на корабле и берег исчезает на горизонте.

И настроение у Юлии было веселое, праздничное. Когда пришла мать, Юлия лежала на тахте и читала учебник физики.

- Какая сегодня великолепная погода! - сказала мать. - А ты все с учебниками. Хоть бы вышла подышать воздухом.

- Последний экзамен остался, мамочка! - воскликнула Юлия, захлопывая книгу. - И я - студентка!

Мать посмотрела на нее с улыбкой и спросила:

- Ну, как он-то?

- Ничего, - ответила Юлия.

Мать засмеялась.

- Завидую я тебе, - сказала она. - Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то талант.

За ужином мать все вздыхала и покачивала головой.

- Но все на этом свете имеет конец, - сказала она как бы между прочим. Отчасти эти слова она адресовала и себе.

Юлия ела без аппетита и время от времени поглядывала на мать, как бы вопрошая, все ли идет так, как нужно. Мать молчаливо подтверждала, одними глазами, мягкими и добрыми, что все идет, как нужно.

Зачем говорить в счастливые дни, что будут и страдания, что, возможно, Юлия разлюбит его или он разлюбит ее и будет ей изменять, а Юлия будет приходить в отчаяние и сама начнет изменять. Но настанет время, когда и все это станет воспоминанием, наступит старость и Юлия-старушка будет холодно рассуждать о прожитом, и считать это прожитое совершеннейшими пустяками.

Она очень любила дочь. Но ей было ясно, что в один прекрасный момент Юлька выскочит замуж и оставит ее. Однако мать старалась не думать об этом.

- А что он говорил тебе сегодня? - спросила мать.

- Да, в общем, ничего особенного, - сказала Юлия, стараясь быть равнодушной. Но потом не выдержала, рассмеялась и радостно воскликнула: - Он сказал, что мы поедем на юг! Сразу же после экзаменов!

- И куда же?

- В Крым.

- А для меня там местечка не найдется? - усмехнувшись, спросила мать.

- Да что ты, мама!

- Я шучу, - сказала мать и повторила: - Шучу.

Ложась в постель, Юлия все время думала о море, о солнце, о пляже, о Вадиме Станиславовиче, а потом - о подвенечном платье, о свадьбе... Потом она унеслась в белые облака и видела под бою горы с белыми шапками ледников.

Экзамен по физике прошел столь же удачно, как и по математике. Наконец настал день, когда перед входом в институт вывели списки зачисленных, и Юлия, как бы не веря сама себе, с волнением прочитала собственную фамилию.

Юлия не то испугалась этого, не то удивилась и смотрела на список большими глазами. Она даже запыхалась от этого чтения и побледнела. Затем еще и еще раз вглядывалась в свою фамилию и, как богомолка, про себя читающая молитву, шевелила губами.

А рядом были восклицания, вздохи, слезы.

- Ну, как?! - услышала Юлия обращенный к ней вопрос.

Она оглянулась и увидела того молодого человека, который на одном из экзаменов рассматривал ее.

- Полный кайф! - машинально воскликнула она и порозовела от прилива счастья.

- И у меня то ж! Поступил! - воскликнул юноша и взмахнул руками. Пальцами правой руки он изобразил "козу". - Прошвырнемся? - спросил он.

- Что ты ко мне привязался?! - отрубила Юлия. - Ты же знаешь, что я занята!

- Я думал, ты уже освободилась! - сказал он с оттенком ехидства.

Юлия смерила его уничтожающим взглядом с головы до ног и, отвернувшись, пошла в институт.

- Мы же в одной группе! - услышала она сзади.

Вадим Станиславович вышел ей навстречу из-за стола, радостно распахнув руки для объятий. Прижавшись к нему, она откинула назад голову и он поцеловал ее в губы.

В Евпаторию они ехали в мягком вагоне "СВ". Юлия проснулась рано. От непривычки спать в поезде у нее немного побалива-

ла голова. Она томилась от ожидания встречи с морем, и все утро смотрела в окно. Ей были видны горделивые тополя, освещенные солнцем. Над домами деревень - голубое небо, птицы, а за зелеными садами - просторная степь.

Проснулся Вадим Станиславович, обнял ее за плечи и тоже уставился в окно счастливыми глазами.

До Оленевки от автовокзала добирались на машине. Старушка-хозяйка встретила их радушно и сразу же спросила, глядя на Юлию:

- Это, что же, дочка ваша будет?

Вадим Станиславович немного смутился, но затем сказал:

- Жена.

Юлия сразу же захотела идти на море. И когда она увидела его голубую даль, то вся затрепетала, и глаза ее сделались большими, яркими и засияли влагой.

На пляже Вадим Станиславович сразу же принялся надувать матрас. Наблюдая за этим, Юлия сказала:

- Я совсем не умею плавать, - и скинула халатик.

На ней был миниатюрнейший купальник желтого цвета. И матрас был желтый.

- Это ничего, - сказал Вадим Станиславович. - Я тебя научу.

Солнце обжигало плечи.

Юлия стремглав бросилась к воде. Из-под ее ног летели брызги. Она, окунувшись, весело стала бултыхаться на мели. Наконец Вадим Станиславович надул матрас и вошел с ним в воду. Море синело в глазах Вадима Станиславовича, слитое с небом в одну раскаленную полосу.

Юлия легла на матрас, и Вадим Станиславович, толкая его впереди себя, поплыл вдаль.

Юлия смотрела сквозь прозрачную воду на дно и видела отчетливые тени от матраса и от плывущего Вадима Станиславовича.

Вдруг ей стало страшно, потому что они заплыли так далеко от берега, что он превратился в полоску, а тени на дне уменьшились почти что до точки.

- Хватит, - сказала она.

Вадим Станиславович послушно остановился и подплыл к ней сбоку. Она с улыбкой посмотрела в его глаза и вдруг заметила, что они резко стали мутнеть. Вадим Станиславович схватил Юлию за руку и хотел подтянуться, чтобы вскарабкаться на матрас, но от этого сама Юлия чуть не оказалась в воде.

НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО

Юлия с силой дернула свою руку, и она выскользнула из руки Вадима Станиславовича. В следующий момент Юлия, застыв от изумления, увидела, что голова Вадима Станиславовича исчезла под водой и что все его тело, плавно извиваясь, пошло вниз.

Море любовно втягивало его в себя, просачиваясь в волосы, в уши, в нос, забираясь во все складочки тела.

Юлия в ужасе закричала так пронзительно, что у нее зазвенело в голове, и перед глазами поплыли синие круги.

Спустя мгновение, она увидела, что уменьшенное тело Вадима Станиславовича, как тельце новорожденного, задело дно, качнулось в медленных струях подводного течения и затихло. Серебристые пузыри тянулись тонкой нитью к поверхности.

Все вокруг замерло. Только синело море, слитое с небом, да где-то далеко, на берегу, продолжалась хлопотливая жизнь.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

АЛЯ

повесть

- За целый день я ни разу не рассмеялась, - говорит она медленно и отводит глаза на огромные лопухи, на заросли крапивы, на кусты бузины.

Она говорит, кусая сухие губы, говорит, как будто давно не говорила. Голос ее хрипл, неустановлен, прыгает с верхов на низы и, кажется, если не вдумываться в произносимые ею слова, это шумит в высоких ветвях кривого тополя ветер. Идет второй час дня.

Учительница истории Алевтина Васильевна Свечникова, или попросту Аля, двадцатисемилетняя, очень высокая, худая, стала заговариваться.

- Как-то ехала на троллейбусе. При спуске с Бородинского моста под машину попал мальчик. Колесо проехало по нему, то есть мальчика раздавило пополам. Пассажиры сперва ахали, потом сказали: "Хорошо, что насмерть. Так лучше", - и пошли по своим делам. Я дала свой адрес вожатой с тем, чтобы выступить в ее защиту. Но меня не вызывали.

Аля переводит взгляд с бузины на остриженного почти что до гола - лишь светлая челка ершится надо лбом - мальчика, который сидит рядом на ошкуренном желтом бревне и жмурится от солнца. Мальчику хочется поскорее убежать, он ерзает, шевелит локтями, чмокает губами, но что-то сдерживает его. Когда Аля говорит про троллейбус, мальчик вздрагивает и бледнеет. Но не надолго. Он вновь нагибается и принимает ковырять пальцами землю под ногами.

Только что он видел скользкого, холодного, красного с синим кольцом на рубчатом тельце червяка, чуть было не ухватил его, но

червяк проворно всосался в мягкую сырую землю.

Мальчик - Андрей Мансуров - двоечник. Аля жалеет его и хочет, чтобы он непременно исправился.

- Уполз, - вздыхает Андрей и уныло глядит в землю.

Он шарит у себя в карманах, находит пластмассового индейца с зелеными перьями, искоса посматривает на учительницу и думает про себя, почему она такая некрасивая. Волосы будто ошипаны, короткие, редкие и залысина на лбу, как у мужчины, над верхней губой заметен темный пушок, под глазами мешки, и все лицо какое-то ватное, припухшее. Шея длинная, тонкая, а голова маленькая. Только янтарные серьги в ушах напоминают, что это женщина.

Андрей, шмыгнув носом, отворачивается, убирает индейца в карман, молчит.

- На выпускных экзаменах учитель спрашивает ученика: "Ваша фамилия?" - "Иванов". - "Имя?" - "Алексей". - "Отчество?" - "Павлович". - "Скажите, кто был Дарвин?" - Молчание. - "Садитесь. Ставлю вам два". Ученик после этого говорил: "Удивительно, как теперь строго спрашивают: на три вопроса я ответил, а на один - нет. И получил двойку".

Рассказав это, Аля посмотрела на Андрея, но мальчик не улыбается, хотя под влиянием услышанного лицо его несколько проясняется, и в глазах появляется блеск. Але досадно и обидно, что она не может настроить его на разговор.

Отдать своего ребенка, наивную, доверчивую душу, в руки первых попавшихся учителей, которых не знаешь, было бы ужасно, поскольку учитель влияет на ученика, действует на него решительно всем - каждой своей мыслью. Но каковы мысли у учителя? Кто его учил? Как он работает над собой? Все это родителям неизвестно. И это печально. Школьный период - наиважнейший в жизни человека. Это печать на всю жизнь. Когда Аля смотрит на детей, ей их жалко. Кто и чем набьет их великолепные головки?

Глаза у Али то настоженные, то грустные.

Впереди, где кончается ржавое мелколесье, стоят высокие ели, отбрасывающие длинные тени. Ели уходят вниз по склону холма к лесу, который тянется дымчато-сиреневой полосой на стыке неба и земли.

Что-то случилось у Али с нервной системой. Быстрая утомляемость, нежелание кого-либо видеть. По-видимому, это реакция

после всяких жизненных бедствий, которые она переносит.

Муж вечером опять не пришел. Он где-то добыл денег и “отдыхает”, как любит сам выражаться. Еще он любит говорить, когда направляется на работу: “Иду пахать”. Пашет совхоз “Смычка” так, что в долгу перед государством третий год. Картошка замочила в поле и сгнила - черт с ней! - пригонят эшелон, как в прошлом, как и в позапрошлом году, из Польши. Техника развалилась - новую дадут...

Аля пришла к мысли, что сопротивляемость организма или его стойкость против всяких бедствий относительна, то есть имеет свой предел. В каждом организме этот предел индивидуальный: что один организм как-то переносит, то другой - не в силах и подкашивается.

Нас больше занимает электроэнергия, чем энергия, присущая человеческому организму, мы совсем не думаем об ее расходе и быстром восполнении.

- Иди, - говорит Аля Андрею и смотрит на свою руку, где у запястья привязана ниточка, чтобы помнить и не ругаться.

Андрей придает лицу виноватое выражение, встает и как-то боком отходит от учительницы.

- Ты мне весть принеси с приставкой “со”, - говорит она вслед и опускает глаза.

Андрей ничего, совсем ничего не понимает, подхватывает потертый ранец и бежит от школы, как от проклятого места.

Глаза у Али наполняются слезами, и руки, лежащие на коленях, вздрагивают.

Аля остается сидеть на бревне у школы, одноэтажного, но высокого, вытянутого, серого деревянного строения, похожего на огромный ларь. Когда-то в этом здании была церковь. Но купола пошибали, перебрали стропила и покрыли крышу шифером. Теперь шифер позеленел, как будто его покрасили, но это растет мох...

Скука необычайная, всепоглощающая скука безраздельно царствовала в школе.

И куда только пропадал задор учеников, который они выказывали во внеурочное время, куда девалась их находчивость, которую они проявляли на улице в играх...

Куда?

- Родителей вызову!

Рыжие завитые волосы, полное, с отвислыми щеками и трой-

ным мясистым подбородком белое лицо и бледные, водянистые глаза под очками в тонкой металлической оправе.

- Родителей вызову! - грозит в который раз Нина Дмитриевна Потемкина.

Пол-урока благополучно протекает в запугиваниях учеников. Ученикам кажется, что Потемкиной трудно говорить. У нее то ли заложен нос, то ли вообще он никогда не дышал: звук клокочет где-то внутри и выползает приглушенный, неестественный. Потемкина часто и громко, с присвистом набирает воздух пухлым ртом. В эти минуты она напоминает выловленную рыбу.

- Родителей вызову! - в третий раз повторяет она, глядя безучастно на Мансурова, сидящего у окна.

Андрей Мансуров катает на языке вишневые косточки и от нечего делать изредка плюется в проход, в окно, в потолок, в застекленный портрет какого-то бородатого ученого. Косточками Андрей запаса, когда варили вишневое варенье, и он выдавливал их из вишен специальной машинкой. По пальцам стекал густой вишневый сок. Когда выдавливал, уже знал, что косточками будет плевать на уроках.

- В общем и целом, - говорит Потемкина Але, - ты не справляешься с классом.

Потемкина всегда употребляет выражение "в общем и целом". Она не произносит звука "к", вместо него "х", например "дохтор", "хоторый"...

Аля пропускает это мимо ушей. Потемкина достает из сумочки расческу. Густые волосы под расческой потрескивают, как провод при коротком замыкании. Почему-то этот треск благотворно действует на Алину психику. Аля пожимает острыми плечами, говорит:

- Мне кажется, что история может быть понятна только через переживание, на основе внутреннего опыта, когда вдруг сознание преобразуется... Легко говорить о чьей-то смерти, а вот пережить это - дело серьезное и страшное, поучительное для окружающих...

На лице Потемкиной выступают красные пятна, и она с тоской и непониманием смотрит на Алю, которая продолжает говорить и неизвестно когда остановится. Потемкина застывает с поднятой над головой рукой. Волосы липнут к расческе. История представляется Потемкиной давно известным, малоинтересным делом, как

нечто раз и навсегда данное: цепь важных дат, которые нужно вы-зубрить и забыть.

Потемкина вглядывается в расширенные зрачки Али и думает, что пора с ней прощаться, три года, копейка в копейку, отбарабанила, чего ей теперь тут искать, пусть возвращается в свою Москву.

- Мы забыли, - произносит Аля, - о происхождении и последовательном развитии своего я... Необходимо эмоциональное вос-питание...

- Да будет тебе! - говорит Потемкина, причмокивая крашеными губами.

Она направляется к выходу. Аля вздрагивает, дает ей дорогу. Во всей фигуре Потемкиной написано отвращение. Она идет с каким-то шелестом, который, видимо, издают синтетические тонкие одежды, обтягивающие грузное тело...

Аля как-то странно улыбается, кашляет и поднимается с бревна. Потом она задумчиво смотрит на серую длинную стену школы, на огромные пыльные лопухи, на крапиву и бузину, и, чтобы отде-латься от мрачного, унылого настроения, которое теперь пресле-дует ее всюду: и дома, и на улице, и в школе, - она, стараясь не ду-мать о плохом, идет вниз по тропинке к оврагу.

Сухой песок с мелкими камешками хрустит под ногами.

В сочно-зеленой тени оврага среди зарослей орешника, чере-мухи, тонкоствольных осин и ольхи протекает ручей. Серые дроз-ды носятся над оврагом, трещат: "крах-крах-страх". Воздух здесь холоден и пахнет раствором марганцовки.

...Аля слушает ночью, во втором часу, приглушенную речь му-жа, насыщенную угрозами и оскорблениями, с опаской косится на него и втягивает голову в плечи.

Лицо мужа плохо различимо, оно в тени, потому что муж стоит спиной к неярко горящей настольной лампе. Аля читала, когда он вошел. Тупая, злобная улыбка не сходит с его лица. Он улыбается одними губами, как мертвец, когда на мгновение замолкает и от-водит взгляд на окно, как бы прислушиваясь, нет ли там кого.

Во время длительных отлучек муж проявляет завидную деловую сноровку. То он достает для совхоза цемент, чтобы часть его за наличные пустить налево, то завозит на склад строевой лес, с которым поступает так же, как с цементом, в общем, достает все, что можно достать. Он подвижен, суетлив, говорит короткими

фразами, быстро, улыбается, смахивая пот, берется за лацканы пиджака и сдвигает его на спину, когда особенно жарко. Он весь в деле, в движении, гоняет по району на пыльном газике с брезентовым верхом, везде Свечниковы знают, просят достать то то, то это, он обещает, говорит, что нет того, чего бы он не смог достать.

Вечером он сколотил бригаду для разгрузки бетонных блоков, которые привез на участок агронома. Блоки удалось списать как негодные для совхозного строительства. Свечников вскочил на высокий ящик и, размахивая длинными руками, с шельмоватой улыбкой, выкрикивал лозунги, типа: “Товарищи трудящие, перекроем все нормы для жизненной платформы!”, - чтобы разжечь утомленных после трудового дня совхозных работяг, которые, тем не менее, разгружали тяжелые блоки и катали их на железной тачке с благообразными физиономиями, потому что знали, что тут будут расплачиваться наличными “бабками”.

Жена агронома, невысокая, полная женщина уже накрывала на стол, поэтому, предчувствуя приятное застолье, Свечников в лозунгах, которые выкрикивал безостановочно, не забывал и ее: “Товарищи советские женщины! Облагородим наш быт, чтобы каждый был пьян и сыт!”...

Но дома мужа словно подменяют.

Даже в пьяном припадке смелости - он не смел до конца. Он не терпит шума, громких голосов, говорит, заикаясь, тихо, ругается и оскорбляет шепотом.

Але жутко от его угроз.

Он роняет хромированный плоский чемоданчик на пол, из него вываливается бутылка водки, закупоренная газетной пробкой, и стакан. Больше в чемоданчике ничего нет. Муж поспешно поднимает бутылку, дабы не просочилась драгоценная жидкость.

На морщинистом лбу мужа, на носу, на впалых висках выступают капли, он, выпятив нижнюю губу, сдувает лезущую в глаз градину пота и затем резко взмахивает кулаком. Але успевает отшатнуться, муж бьет кулаком по лампе, та со звоном разбивается и летит в большое, с валиками и высокой спинкой кресло.

Следующий удар приходится Але в ребро.

Ненавидит Сергей Алексеевич Свечников жену, как он выражается, “по совокупности статей”, за то, что она “много понимает о себе”, за то, что презирает Дмитрия Семеновича Потемкина, за то, что “все женщины как женщины” - ходят на застолья, танцуют, а

“эта” все книжки читает, за то, что она считает себя “интеллигентшей”, а “баба - это никто”, за то... Впрочем, он бы мог перечислять “статьи” до второго пришествия и все бы они так не действовали, как одна - Аля бесплодна. И это сводит мужа с ума.

Аля хочет выскользнуть из дому, но муж уже на пороге. Глаза совсем ввалились в глазницы, их почти не видно, в руках - топор. Старый, ржавый топор с зазубренным лезвием, как будто им рубили железо.

Аля чувствует себя виноватой, ничтожной, неспособной на смелый шаг, и от этого с каждым днем все сильнее ненавидит себя.

Утром муж трусливо опускает глаза, выливает на голову, а заодно и в рот пузырек “тройного” одеколона. Аля хочет глубоко вздохнуть, но боль в ребре и запах одеколона сдерживают ее на полувздохе. Муж знает, что она никуда не пойдет жаловаться, никуда не напишет. Он знает и гордится тем, что его жена не доносчица. Но эта мысль озлобляет Алю, она вскакивает с кровати, обхватывает лицо руками и кричит сорванным голосом:

- Я решилась!

Он понимает, что это может означать: вплоть до исключения из партии...

- Умоляю! - слабо взвизгивает он, падая на колени.

Она долго смотрит на его лысеющий затылок, на красный порез после бритья возле маленького уха, на тяжелые надбровные дуги, на впалые виски. Он кашляет, вытирает пальцами рыжие усы и полные губы. Аля машинально начинает грызть ногти, но зубам не за что зацепиться - заусенцы и те изъедены до крови.

Самое удивительное, что Сергей Алексеевич Свечников считает себя видным и очень умным, оригинальным человеком. Время от времени, когда он не пьет, его разговоры насыщены, как ему кажется, изысканными мыслями. Он складно, хотя и сильно окая и коверкая многие слова, говорит и рассуждает о русском патриотизме, о морали, о церкви, о традициях, утерянных окружающими, но только не им самим. Однако во всех его рассуждениях чувствуется некая неестественность, поддельность. Он, по всей видимости, произносит умные слова лишь для того, чтобы в глазах слушателей слыть умным человеком.

Надо сказать, что Сергей Алексеевич вообще любит наслаждаться звучанием собственного голоса. А голос у него красивый,

низкий и твердый, как у хорошего драматического актера, которому этот голос ставили опытные педагоги по сценической речи. Но голос голосом, а вот в актеры бы его не взяли из-за провинциального произношения. Когда он говорит, то кажется, что родной русский язык дается ему туго.

Видимо, живет Сергей Алексеевич напоказ. О нем поговаривают, что хотя он и пьющий, но себя держит (видели б его дома в моменты возвращения! Однажды Свечников вернулся в одном ботинке и в мокрых от мочи брюках!), и лучше с ним не портить отношений, разумнее стороной обходить.

Але делается скучно. Она много раз слышала клятвы мужа.

Вот теория: она заранее знала, что из этого ничего не выйдет. У Али удивительные глаз и нюх, дающие ей возможность почти безошибочно определять интеллектуальный и моральный мир нынешних субъектов, ловкачей и эгоистов. Поэтому таких людей надо держать от себя на известной дистанции. Общаться можно только с человеком с большой буквы.

Зачем муж носит на лацкане пиджака институтский “поплавок”? Опасается, что так не поверят, что он главный инженер совхоза “Смычка”?

После уроков Аля тоскливо смотрит кругом, как бы ища, за что бы зацепиться взглядом и успокоиться. Наконец она видит под потолком слабо проступающий из-под штукатурки бледно-бирюзовый глаз. Аля ловит себя на мысли, что никогда не видела этого глаза, поэтому ежится от неожиданности.

Она никак не может сосредоточиться и понять, где она находится.

Аля выходит из школы и садится на бревно, которое наполовину в тени. Пахнет гниющей в стороне корой. Аля не думает уже ни о муже, ни о его красных кулаках и впалых висках, ни о его “разумных” речах. Она долго сидит неподвижно, сложив руки на коленях, и смотрит на дымчато-сиреневую полосу леса, на высокие ели, бегущие с холма, на ржавое мелколесье, на глубокий овраг, и смутно догадывается, что все в жизни повторяется.

Вечером становится душно, все предвещает дождь. Глухо стучат часы. Аля сидит в постели, обхватив колени, вспоминает что-то, думает, смотрит на длинную тень от своей фигуры, на ковер, на щель в двери и, не замечая, начинает грызть ногти.

Аля помнила, что отец любил часто изрекать: “Беда, Макар,

снегу не будет, всю зиму пропасешь”. Отец периодически впадал в уныние. Однажды, будучи не в себе, читал Пушкина, стоя посреди комнаты, и на словах: “И всплыл Петрополь, как тритон...” - вдруг заплакал и не мог дальше читать. Для нее, девочки, было ясно, что он нервно болен. Ему еще и тринадцати лет не было, а он уже свободно читал по-немецки и сочинял на этом языке стихи. В десятом классе написал подражание “Фаусту”. Перед самой войной окончил с отличием инъяз, на фронте был переводчиком, призывал в рупор громкоговорителя немцев складывать оружие, в 1943 году был арестован органами НКВД и особым совещанием осужден на 10 лет как немецкий шпион...

Аля идет домой и думает о чем-то неясном, о человеческой пользе, необходимой для жизни, о разных точках зрения на эту пользу, о непонимании людей и даже порой нежелании понимать друг друга.

Муж ночевать не пришел. Утром Аля ввиду плохого самочувствия пришла к выводу, что не нужно давать ходу мрачным мыслям, не нужно ни от кого ждать помощи, не думать о том, какое она производит впечатление на окружающих, не болтать попусту и не критиковать, быть ко всему готовой, в особенности к разного рода неприятностям и бедствиям, смело глядеть фактам в глаза и ничего не бояться, а вообще положиться на хозяина жизни - “им же вся быше”...

Время от времени Аля задумывается над составом личности человека.

Особенное значение она придает среде, понимая ее в самом широком смысле, начиная от природы и кончая окружающими людьми. Какое хрупкое существо человек и как он поддается всяким влияниям, начиная с детских лет! Значение родителей и учителей - громадное и ответственное, но - увы! - понимают это далеко не все.

С этими мыслями Аля умывается и идет на работу. На последнем уроке, как назло, появляется в классе тяжелозадая Потемкина.

- Что здесь у вас происходит?! - восклицает она, видя сидящего возле доски на полу ученика. - Мансуров, встать!

- Я не Мансуров, - решительно отвечает мальчик. - Я думный дяк Челобитьев!

Аля ходит по классу в довольно сильном волнении, по-видимо-

му, ей хочется сказать Потемкиной что-то очень важное, но она не решается. Аля думает с досадой, что Потемкина приходит всегда в тот момент, когда что-то начинается на уроке получаться.

- Вы дневник Мансурова поглядите! - говорит Потемкина, сумрачно улыбаясь, как будто знает что-то такое, чего другие не знают, и, сцепив руки на животе, проходит к столу учительницы.

Але становится неловко и жутко от этого призыва. Записывать замечания в дневник Аля считает мерой крайней, надрывающей последнюю ниточку связи с учеником.

- Дневник на стол! - командует Потемкина, поправляя очки на испещренном красными жилками носу. При этом ее одежды шелестят.

Аля подносит руку ко рту, обкусывает тонкую, едва заметную полоску ногтя на мизинце.

Мансуров нехотя поднимается с пола, смотрит, сощурившись, на директрису, и жалеет, что во рту его сейчас нет косточек от вишен. Он нагибается и начинает медленно поглаживать по коленям, делая вид, что отряхивается. Затем под пристальным взглядом Потемкиной идет к своей парте. Отвернувшись, лукаво подмигивает приятелю, достает из ранца дневник, возвращается и кладет его на угол стола.

Слышится звонок. Аля смотрит в окно, видит на стекле дождевые разводы и плоские капли, видит еще зеленые деревья, хотя уже середина октября, и злость почему-то проходит.

В дневнике Мансурова, помятом, исчерканном, красуется в основном размашистый, угловатый, как у первоклассницы, почерк Потемкиной: "Выкрикивает с места на уроке", "Тов. Мансуров. Ваш сын продолжает нарушать дисциплину на уроках, мешает учителю", "Не готов к уроку!", "Прошу срочно прийти родителей в школу", "Не работает на уроке", "Ушел с дополнительного занятия", "Безобразно ведет на уроках", "За плевание косточками вишен по поведению - 1"... И далее - крупные красные двойки с подписью "Пот" и длинным хвостиком.

При демонстрации дневника Потемкина проявляет заметное возбуждение, потирает руки с длинными бордовыми ногтями и тяжелыми золотыми кольцами, щурит глаза, увеличенные линзами очков, и с чувством говорит своим гундосым голосом о порядке, организованности и дисциплине.

Когда Потемкина уходит, Аля смотрит на класс и удивляется,

что никто из учеников не срывается с места, хотя прозвенел звонок, и не бежит вон...

Аля продолжает урок.

...Под гудящий колокольный звон, под раскатистый бой барабанов и воинственный клич рожка накатила толпа. Услышала я тупые удары копий. Увидела рослого, краснощекого, с густыми рыжими бровями стрельца в кумачовом кафтане, схватившего за плечи Матвеева. Стрелец тащил его из толпы. Матвеев был бледен, испуган и смущен, бормотал: "Я всегда толпы боялся..." Он упирался, делал усилия, чтобы освободиться из огромных, грубых рук, нечаянно зацепился за ворот кумачового кафтана стрельца и надорвал его. Стрелец вытаращил глаза, хотел ударить Матвеева кулаком, даже замахнулся, но его опередили сотоварищи его, другие стрельцы, с копьями. Тупые удары с трех сторон: в пах, под ребро, в грудь, Матвеев вскрикнул, пошатнулся и полез наверх, как будто хотел пойти по головам толпы, опираясь на копья, по которым уже текла узкими темными струйками кровь. Лицо его вдруг стало равнодушным и спокойным.

- Пусть издыхает, немецкий прихвостень! - с брезгливой улыбкой пробормотал русобородый рослый стрелец, ища глазами в толпе братьев Нарышкиных.

Было все страшно. Убиты в тот день многие, разгромлен Холопий приказ, разорваны крепости, провозглашена свобода господским людям...

Аля говорит ребятам, что урок окончен. Ученики как-то тихо покидают свои места и выходят из класса.

Аля смотрит на ершистую челку Мансурова, ей хочется поговорить с мальчиком, она окликает его и спрашивает, не располагает ли он временем. Вопрос для Андрея, по-видимому, недостаточно понятен. Времени, как он думает, у него "навалом", но что значит обращение учительницы? Начнет еще, как эта, как Нина Дмитриевна, бубнить одно и то же: "Дисциплина, дисциплина, дисциплина, плена, глина..." Но Андрей понимает, что Алевтина Васильевна не такая, но с ней тоже как-то странно сидеть и говорить.

Андрей ожидает ее в коридоре. Ранец надет не за спину, а на грудь, как гармонь. Когда Аля подходит к Андрею, он серьезно спрашивает:

- Пробьет пуля меня через ранец или нет? - При этом глаза его скашиваются к кончику носа.

Аля кладет руку на затылок мальчика, ощущая ладонью колючие волосы.

- Я хочу с тобой... погулять, - говорит неуверенно Аля.

Андрей забывает про вопрос о пуле и с удивлением расширяет глаза. Аля помогает ему снять ранец и надеть его правильно. Андрей опускает глаза в пол и неопределенно сопит, как маленький старичок.

Они выходят из школы и некоторое время стоят под навесом крыльца. Аля продолжает думать о составе личности. Кажется, только теперь поняла, почему люди в большинстве эгоисты. Наблюдая растения и животных, она замечала, что каждое из них существует для себя. Если с ним что-либо и происходит, то только потому, что этого требует польза организма. Каждое растение и животное, за исключением явлений дисгармонии, стремится к приятному или полезному и избегает неприятное. То же происходит и с человеком как организмом. Отказ от собственной пользы, жизнь для других - явление или инстинкт, например у родителей, или прививка, по существу очень ненадежная.

Нравственные обязанности только тогда являются принципами поведения человека, когда они входят и сидят прочно в самом ядре личности. Под влиянием среды нравственные навыки или являются стойкими, или ослабевают. Это - прописная истина. Но как-то мало приходится слышать об этом в жизни.

Предполагается, что все люди хороши и человек может жить, где угодно - везде для него великолепная среда. А между тем это не так. Когда мы говорим об улучшении растений и животных, то ссылаемся на естествознание. Когда мы говорим о человеке, то все это забываем. Мы идеализируем человека, как будто это дух, забывая, что он в большинстве своем организм. Борясь с идеализмом, мы пребываем в его объятиях. Но тогда, значит, идеализм - не пустоцвет.

Ключья темных, быстро бегущих облаков изредка обнажают голубое небо. Дождя уже нет, но пахнет дождем. Идет второй час. Листья на деревьях жирно зелены, они изредка вздрагивают от стекающих капель.

Андрей живет в большом деревянном доме с двускатной ломаной крышей. Над высокой калиткой вырезана из дерева голова лошади. Вокруг дома растут высокие ели и несколько молоденьких берез, вдоль забора - заросли малины. В железную бочку

лется вода с шиферной крыши.

На светлой террасе, над окнами, по всему периметру вытянулась книжная полка с журналами. В просторной комнате у окна сидит очень полная, рыхлая, молодая еще женщина и шьет на машинке, которая сильно стучит. В комнате пахнет вымытым полом.

- Мне что, - говорит тягучим, тонким и пугливым голосом мать Андрея. - С отцом говорите... Я говорю, учись, сатана! Ничо не учит! Неслух. Не учит, что задают! - И смотрит осуждающе на Алю.

Мать встает из-за швейной машинки, и видно, что ей тяжело на ногах держать свое необъятное тело. Медленно подходит к застекленному серванту, который со звоном вздрагивает от ее шагов, достает вазу с конфетами, ставит на стол и говорит, зевая:

- Поклюйте!

Потом Андрей выкатывает из кирпичного гаража легкий мотоцикл, поблескивающий никелем, пахнущий заводской смазкой, и, оседлав его, бьет ногой по стартеру, крутит ручку газа. Мотоцикл вздрагивает, не громко, даже глуховато работает.

Андрей достает из кармана пряник, кусает его, кивает Алевтине Васильевне на сиденье за спиной и говорит, чтобы она не боялась, потому что "это дело", как выражается Андрей, кивая на мотоцикл, освоил "давным-давно", может и "машиной рулить".

Говорит Андрей медленно и твердо, стараясь подладиться под серьезный мужской тон, и по лицу его видно, что он любит руководить.

Глядя на него, Аля думает о том, что если ребенок ощущает хотя бы небольшую свою власть, то становится любознателен и нешаловлив.

Эту-то любознательность выбивают из учеников постоянным давлением на них, попреками, запугиваниями. Школьники оказываются в положении ведомых и поэтому не всегда любят подчиняться.

Когда-то и им нужно дать волю...

Размашистой рысью прошел вороной рослый жеребец три круга, прежде чем, повинуясь хлесткому удару бича, пружинисто бросить мускулистый корпус в галоп. Жеребец, глухо стуча копытами, кружит по манежу, устланному потемневшими, как влажный речной песок, опилками, от которых пахнет осенним увядающим ле-

сом.

То полуторагодовалый, необъезженный чистокровный верховой конь по кличке Кумир. Когда он, раздувая ноздри и прижимая уши к голове, влетает в косые пыльные, как лучи прожекторов, столбы солнечного света от высоких, забранных решетками окон манежа, черное глянцевое тело его бликует, как надраенные голенища хромовых сапог. Впрочем, на эти сапоги идет лошадиная кожа, мягкая и тонкая, как шелк.

Манеж просторен, стар, как заброшенный зал замка, штукатурка на арочном потолке облупилась и кое-где свисает на нитях паутины. Стены из красного кирпича побурели и на высоте крупа лошади лоснятся. В глубине манежа, по центру, стоит барьер, обыкновенная жердь на стойках с откосами.

Кумир работает на корде - длинной брезентовой вожже, соединенной с трензельным серебристым, как в ухе цыгана, кольцом уздечки. Другой конец корды двумя расставленными руками держит, как мешок, когда в него сыплют картошку, невысокий, щуплый, с заостренным, бледным лицом заводской главный зоотехник Юрий Валентинович Мансуров.

На вид ему лет тридцать семь - сорок. Он в потертом сером с черными пуговицами рединготе, на плече которого, там где вшивается рукав, разошелся шов и торчат бахромой холщовые нити бортовки.

- Пап, дай я покручу! - нетерпеливо говорит Андрей и косится на учительницу.

Юрий Валентинович постепенно, как рыбак вытаскивает из воды сеть, укорачивает корду, пока не останавливает коня и не ухватывает его за уздечку.

Андрей подбегает к отцу, уверенно перехватывает корду, хлопывает, как бывалый конюх, коня ладонью по крутой шее. Отец отходит в сторону и, подумав, останавливается возле учительницы. В глазах его, узких, посаженных близко к переносице, Аля замечает властную силу.

Андрей постепенно освобождает корду, цокает языком. Конь покачивает головой, как бы бодаясь, медленно идет шагом. Черная, отливающая синевой челка колышется на лбу между огромными лиловыми глазами.

Аля улыбается, глядя на столь красивое создание, и думает почему-то о счастье. Жизнь - не состояние, а прохождение. В наши

дни ужасно много болтают, в особенности молодежь, о счастье. Даже простой наблюдательности над обыденными фактами достаточно, чтобы прийти к выводу, что о счастье говорить довольно странно. А в самом слове “счастье” слышится как бы остановка - сей час, сей часть, сейчастье, счастье. Остановка, а не движение.

Андрей шевелит концом корды и, замахиваясь на жеребца, кричит:

- Р-рысью... рр-рысь-ю-у!

Аля вновь улыбается и думает о том, что нельзя серьезно смотреть на жизнь всегда, ибо она печальна по самой своей сути, если нет Высшего свидетеля наших усилий, мучений, наших стремлений к лучшему или идеальному, если мы, умирая, обращаемся в ничто.

Кумир воротит голову на сторону, грызет белыми зубами удила, пританцовывает, взмахивая густым хвостом, но продолжает идти шагом. Андрей нетерпеливо нагибается, собираясь ухватить горсть опилок и швырнуть в коня. Кумир все видит, ему не нравится, когда в него швыряются опилками. Выпрямляясь и вновь замахиваясь, Андрей кричит:

- Я тебе, Федя! Р-рысью!

Аля мрачнеет и восклицает про себя: “Странная, тяжелая эпоха! Нет передышки никому!”. Далее она думает о том, что дети это чувствуют и рано начинают мыслить практически. А ведь настоящее детство - фантастическое, наполненное разными грезами, незнанием черновой стороны жизни время. Теперь все наоборот.

Очень плохо, что дети стоят в очередях, болтаются по магазинам, разглядывают товары - их на все это тянет, им хочется тоже покупать, - в итоге они раньше времени теряют свое детство, ту особенную, чудесную пору, когда человеку прививаются навыки к идеальному, возвышенному, что оказывает влияние на всю его жизнь. Вместо этого дети погружаются в грубый эмпиризм, наблюдают жизнь в ее наготе.

Конь выставляет уши торчком, как овчарка в момент опасности, и тут же переходит на рысь. По всему телу его пробегает как бы электрический разряд, видно каждую мышцу, как она работает.

Мальчик крепко сжимает корду, самый конец ее, сдержанно улыбается, радуясь, что конь слушается его. Андрей поворачива-

ется вослед коню по часовой стрелке. Длинноногий Кумир выписывает превосходной рысью большие круги.

Как только Андрей перехватывает восхищенный взгляд учительницы, вновь нагибается, берет горсть опилок, но Кумир и без того уже знает, чего от него хотят: он бросается в полевой галоп.

...Вечером, в половине двенадцатого, когда Аля раздевается и ложится в постель, все время кажется, что вот-вот нагрянет муж, и от этого по всему телу пробегает судорога и холодеют пальцы.

Но Але не спится, она ворочается с боку на бок, наконец, садится в постели, включает лампу и, обхватив колени, начинает думать. Мысли текут мрачные, однообразные, одна страшнее другой, оттеняются они лишь светлым воспоминанием о манеже, о лошадаях, о Юрии Валентиновиче и его сыне Андрее.

Она прислушивается. Где-то далеко лает собака, потом замолкает. Слышится тяжелый, размеренный ход настенных часов из большой комнаты...

На момент блеснул светлый луч: может быть, муж остепенится? Аля сжимает руки на груди и смотрит в окно. Ученики сидят тихо, пишут о Полтавской битве. Время идет медленно. Между рамами жужжит зеленовато-золотистая муха. Как она туда попала?

Аля дергает за ручку раму, открывает ее, но муха не желает лететь в класс, она медленно ползет по стеклу, останавливается, чешет лапки и крылышки. Аля приоткрывает и наружную раму, подталкивает муху рукой, но та падает в пыльный желобок между рамами и, дернув лапками, затихает.

Аля смотрит за окно, взгляд ее цепляется за человека, стоящего у тополя, и Аля узнает Юрия Валентиновича Мансурова. Перехватив ее взгляд, он смущенно кивает ей.

Дребезжит чуть слышно стекло, когда Аля закрывает раму. Она замечает желтеющие листья на тополе.

Звонит звонок. Аля собирает тетради, затем, когда дети покидают класс, подходит к окну. Мансуров все еще стоит у тополя. Аля улыбается и вдруг обнаруживает улыбку на стекле, вздрагивает, всматривается в свое слабое отражение, не отводя глаз, поворачивается почти что в профиль и видит маленькое, изящное ухо, резную раковину, удивительную деталь своей головы и, в первый момент, не понимает этой замысловатой детали. Полуме-

сяц тени, контур округлости, виньетка... Глаза Али на мгновение расширяются и застывают, невозможно отвести взгляд. Она хочет отвести, но не может, глаза не слушаются. Наконец стекло как бы исчезает, зрение обретает свободу и Аля видит высокий тополь и в тени его - Мансурова.

При всяком удобном случае в разговоре она подчеркивает, что каждый человек понимает хорошо только то, что лично пережил или выстрадал. Вот почему часто взрослых не понимают дети, личный опыт которых или мал, или элементарен. Но что любопытно, детьми иногда остаются на всю жизнь.

- Говорил с Потемкиной, - вздыхает Мансуров, когда Аля выходит из школы. - Странная какая-то женщина...

- Странная?

- Да... Ей бы не в школе работать... Во всем уверена, обо всем судит...

- А где Андрей? - спрашивает Аля, глядя по сторонам.

- Побегал домой, переодеваться... Тут мы... Может быть, поедете с нами на озеро? - спрашивает Мансуров и смотрит в Алины грустные глаза.

У школы шумно. Школьники без всякой цели скачут, бегают, цепляются друг за друга, строят рожи, лупят друг друга ранцами...

Незаметно Аля и Мансуров подходят к бревну. Аля садится, ставит возле ног свою сумку на длинном ремне. Мансуров, подумав, садится рядом. Ему хочется поговорить с Алей, но он не знает, с чего начать. Поэтому говорит первое пришедшее в голову:

- Если умру, то буду жалеть, что не успел прочитать несколько прекрасных книг. Действительно, у меня сейчас сильная жажда к чтению...

Идет второй час дня. Аля с тоской смотрит на дымчато-сиреневую полосу леса на горизонте, на бурые, уже вспаханные поля на холмах, на высокие ели, сбегаящие к оврагу и думает об одиночестве. Затем поднимает глаза на Мансурова, улыбается одними губами и говорит:

- Борьба со скукой переходит в борьбу с окружающими, как будто они виноваты... Но никто ни в чем не виноват, кроме нас самих...

- Это все так, - соглашается Мансуров. - Но что делать, когда не с кем поговорить.

Глаза у него ясные, васильковые и немного удивленные. Он

нравится Але. Плохо ему, по-видимому, живется с толстой, некрасивой женой.

Из школы выходит Нина Дмитриевна Потемкина, подходит к сидящим, тяжело ступая, говорит:

- Надо принимать меры! Он же ни одной минуты не сидит смирно, вертится, болтает! В общем и целом, веретено!

Мансуров смотрит на нее с неприязнью, но, сдерживаясь и подумав, выдавливает:

- Я с Андреем поговорю.

Потемкина проводит руками по тому месту, где должна быть талия, вид у нее руководящий, уверенный. Муж ее, Дмитрий Семенович Потемкин, директор совхоза "Смычка", говорит точно таким же поучительным тоном, причем берется судить по любому вопросу с завидной безапелляционностью, что со стороны выглядит забавно.

Дмитрий Семенович, сутулый и совершенно седой, ездит в черной "Волге". Говорит он, после затяжного болезненного кашля, торопливо, коверкая слова, какие-нибудь банальности, вроде: "Хлеб родить может только земля!" или "Коровы дают молоко и мясо".

Имея за спиной такого важного мужа, Потемкина держит себя надменно, изрекает прописные истины с чувством первооткрывательницы, ратует за поголовный охват, за повышение всяческих процентов, за всеобщее одобрение, не выносит критики и на каждое скромное замечание отвечает яростным криком: "Да я двадцать лет в народном образовании! Имею грамоты и значки!"...

- Вот это да! - произносит Мансуров, когда Потемкина удаляется. - И это - в школе! Почему мой сын должен смирно сидеть, когда ему неинтересно?! Спросите меня, так я не отвечу про разные иксы и игреки. Они мне не нужны!

Аля молчит, ей это давно известно, говорить тут не о чем. Но беда в том, что Потемкина и ей чинит преграды, проверяет соответствие уроков программе: два урока на БАМ, один на Дмитрия Донского!

Аля встряхивает головой, как после сна, будто ее насильно будят, и встает с бревна. На ней вельветовая юбка и белая блузка с кружевным воротником, что придает ей вид строгий и трогательный. На груди брошка - янтарный жук с золотыми тонкими лапками. Аля любит янтарь за теплоту, солнечность, прозрачность.

Мансуров тоже поднимается и ощущает некую неловкость, потому что стоять возле Али, значит, смотреть на нее снизу вверх. Очень высокая женщина, но это-то как раз манит, притягивает Мансурова. Он вглядывается в ее припухшее лицо и догадывается, что Аля часто плачет.

Они идут по тропе сквозь пролом в церковной ограде. На лавочке у палисадника сидит старуха с вытянутым синим лицом, в телогрейке и мужской зимней шапке.

- Бох в помошш-ш! - говорит она шепеляво, завидя Алю.

Это соседка.

- Здра-с-те! - быстро говорит Аля.

Старуха изучающим взглядом рассматривает Мансурова, причмокивает языком. Але чудится, что старуха усмехается.

Дом из серого силикатного кирпича кажется Але чужим, хотя прожила она в нем уже два года.

Проводив Алю, Мансуров идет домой. Жена, непричесанная, вспотевшая, жарит рыбу. На промокшей газете лежат скользкие колючие плавники и рыбы головы с выпученными красными глазами.

Жена косится на Мансурова и зло говорит:

- Чой-то за училкой увилси?

- Помолчи! - резко бросает Мансуров и идет из дому.

Он направляется к сараю, слышится кудахтанье кур, наконец, Мансуров возвращается с безголовой курицей в руке, на песчаную дорожку капает кровь. Мансуров завертывает курицу в холщовый мешок, открывает дверцу машины и бросает сверток на пол у заднего сиденья.

Желтая "Нива" уже вымыта, лаково сияет. Андрей сматывает резиновый шланг и улыбается отцу. Заодно Андрей помыл и свой мотоцикл.

- Садись! - говорит Мансуров. - Съездим на заправку.

Машину трясет на засохших колдобинах. Слева тянется кирпичная стена совхозной автобазы, справа - серый забор сыроварни. Выезжают на булыжную площадь, там возвышается обугленная церковь без купола, в которой размещался до недавнего времени склад, что сгорел. К фонарному столбу привязана черная колова с вспученными боками и сломанным рогом.

- Жаль, что в моем распоряжении мало времени, - говорит Мансуров, шевеля веткой костер.

Заостренное лицо Мансурова освещается пламенем. Густые, синие тени лежат под глазами. В темном воздухе, высоко над костром, висают искры. Слышно, как в темноте жуют лошади, фыркают.

- Пап, скоро домой? - спрашивает Андрей.

Мансуров вздыхает и что-то бормочет неопределенное.

Чтобы как-то увлечь Андрея, которому явно скучно слушать беседу взрослых, Аля говорит:

- Стрельцы лежали в ненавистных мне красных кафтанах у плаха с топорами...

Андрей затихает на отцовском ватнике, слушает, смотрит на вздрагивающий, лижущий невидимый воздух огонь, и Андрею представляются стрельцы.

- Двое несут плаху, третий - топор, - говорит Аля, задумчиво глядя на Андрея.

Почему-то Андрей видит мясника, разделяющего тушу на колоде, взмахивающего широким, с полумесяцем заточки топором. Потом видится Андрею вращающийся круг красного абразивного камня, слышится скрежет лезвия топора. Андрей вдыхает металлическую гарь, провожая взглядом выстреливаемые камнем искры.

Мансуров каким-то странным взглядом смотрит на Алю. Ее глаза, короткие черные волосы, длинные руки, голос производят на него впечатление чего-то необыкновенного, трепетного и очень важного.

Андрей шевелится на ватнике, вздрагивает и подползает ближе к отцу. Андрею страшно, он пучит глаза и вздрагивает.

Когда Мансуров смотрит на Алю, она вся как бы сжимается, лицо ее принимает виноватое выражение. Мансуров понимает, что в душе ее, очевидно, происходит что-то такое, о чем она предпочитает умалчивать.

Они застенчиво поглядывают друг на друга.

Андрей, подперев лицо кулаками, смотрит на выкатившуюся из костра, дымящуюся, вспыхивающую малиновым светом головешку. Чувство жалости и страха его то окутывает, то расходится туманом. Заботы старших ему неведомы. Он сам весь состоит из забот, своих, детских.

Андрей вглядывается в головешку, которая мигает двумя круглыми огоньками, и ему кажется, что этими малиновыми глазами смотрит на него стрелец, голова которого лежит отдельно от туловища в придорожной грязи. Дым ест глаза, лезет в нос.

- Пап, отрубленная голова еще дышит? - вдруг спрашивает он громким шепотом, озирается по сторонам и трет глаза, которые слезятся.

- Не знаю, - говорит Мансуров и добавляет: - Подумай сам... - Он обхватывает руками колени и смотрит на свои сапоги.

Идет девятый час вечера, но кажется, что уже ночь. Небо от стра кажется темно-фиолетовым, звезд не видно...

Муж третий день не приходит. Аля еще потерпит, потерпит. Почему-то сейчас она не думает о нем плохо, хотя в тайниках памяти злость лежит, спрессовалась.

Мансуров чешет затылок, подходит к костру, вынимает из него запеченную в фольге курицу. Вспышки костра озаряют лица.

Аля идет к берегу озера, кусает ногти и смотрит на темные, перевернутые деревья в тихой воде, в которой неярко отражен кумачовый, как пламя костра, свет из окошка прибрежного домика.

Хрустит ветка за спиной, слышится сопение. Это Андрей выходит к берегу. Он ежится в длинном отцовском ватнике, рукава достают до колен, пилотка натянута на уши. Андрей продолжает громко сопеть, поднимает руку, чтобы рукав опал, шевелит пальцами, затем, придерживая рукав другой рукой, нагибается, отыскивает камень и с силой швыряет его подальше в воду. Алый отсвет от окна дробится и расходится легкими кругами, чтобы через мгновение замереть.

Андрей опускает руки и трясет пустыми длинными рукавами. Аля, подумав, говорит:

- На воду и на костер можно смотреть вечно.

- Домой надо, - выдыхает Андрей протяжно. - Мамка ругаться будет.

- Мама, а не мамка...

Где-то далеко слышится стук, и звук стелется над водой. Темные силуэты перевернутых деревьев едва заметно дрожат на воде.

- Да, надо домой, - говорит Аля и, пряча подбородок в воротник куртки, смотрит на озеро.

Показалась луна, и по мере того как темнота сгущалась, свет ее

делался ярче, и казалось, что он, рассеянный и холодный, издает тонкий мелодичный звук.

Кто может сказать, что весь день только и жил тем, чтобы увидеть картину лунного вечера, склоняющегося к ночи, когда серебристый свет тронул деревья, гладь воды?

В какой звездочке душа отца? Аля ищет эту звездочку. Расположение светил занимало отца последние годы. Он умер в 72-м году, когда Але было одиннадцать лет. Но она помнила невнятные речи отца о демоническом сочетании светил, которое вызвало к жизни страшное время торжества низменных инстинктов человека-зверя.

Аля идет к костру.

Мансуров стоит, поставив одну ногу на пень. Красные пятна бегают по его фигуре, от которой падает длинная, вздрагивающая тень.

Густой дым от костра несет в сторону лошадей, это им, видимо, не нравится, потому что слышится короткое фырканье и тонкое ржание.

Аля нагибается и подкладывает в костер хворост, костер вспыхивает, искры с шипением летят вверх и в стороны, ярко освещенное лицо Андрея кажется утомленным и суровым, как у солдата. Андрей заунывно повторяет:

- Домой пора, мамка ругаться будет...

Когда они едут верхом, Мансуров говорит:

- Большую часть жизни делаем то, чего не хочется, делаем потому, что кто-то ругаться будет...

У Али такое ощущение, как будто земля далеко, а она сидит на высокой, теплой горе. Перед глазами - темная шея, торчащие, с выпущкой уши. Лошадь идет как бы задумавшись, без понуканий, Аля следит за тем, хорошо ли прилегают ее колени к крыльям седла, находятся ли пятки ног ниже носков, имеют ли шенкеля правильное, как показывал Мансуров, соприкосновение с крутыми боками.

У темных ворот, обшитых косо, в елочку, вагонкой, горит слабая лампочка под металлическим абажуром. Мансуров спрыгивает с лошади, звенит ключами, отпирает ворота конюшни. В нос бьет запах теплого навоза. Алин взгляд блуждает по длинным и высоким стенам, по узким окошkam, по башенкам с железными флажками флюгеров.

Копыта лошадей громко стучат по цементному полу, со скрипом открываются денники. Андрей, несмотря на сонное состояние, расторопно подкидывает лошадям сено, а затем деловито проверяет задвижки - хорошо ли денники закрыты. В полутьме лошади пофыркивают, шумно дуют на душистое сено...

Домой возвращаются на "Ниве" Мансурова. Свет фар выхватывает церковь...

Аля думает о том, что нужно поставить свечку отцу за то, что он ей даровал жизнь...

В момент прощания Мансуров печально смотрит на Алю, по спине его пробегает холодок, в душе что-то сжимается. Нет минут более непонятных, чем прощание, каждое сказанное слово кажется лишним, поэтому Мансуров молчит, находит Алину руку, очень холодную, и пожимает. Рука ее вздрагивает.

- Иди домой, - говорит Мансуров Андрею. - Я скоро...

Андрей ежится, неохотно поворачивается, видит на обочине консервную банку, с размаху бьет по ней ногой, банка с лязгом летит к забору.

Затишают в темноте шаги.

Аля вглядывается в лицо Мансурова и вдруг, словно по наитию, догадывается, что он влюблен в нее, что между ними все уже решено.

Они идут по темной улице, которая кажется бесконечной, потом долго стоят у Алиного дома. Наконец Аля крепко сжимает его руку и ведет за собой. Сердце так громко стучит, что Але кажется, что даже Мансуров слышит этот стук.

- Тссс! - шепчет она, как будто в доме кто-то есть...

- Аля-а, - говорит Мансуров с придыханием.

Але кажется, что темное окно, потолок, стены, слабый свет настольной лампы - все соединяется в одно чувство обжигающей нежности, и страшно думать, что все это неминуемо оборвется...

А она так истосковалась по любви!

Когда Мансуров уходит, Аля долго не может уснуть, листает книгу Флоренского "Столп и утверждение истины", потом зачем-то одевается и ходит по дому, прислушиваясь и вздрагивая.

Жизнь ей представляется невероятной случайностью. Аля выходит на крыльцо, вглядывается в темноту. Воздух влажен, прохладен и пахнет березовым листом.

На небе отчетливо видны мигающие звезды. Кому они мигают,

зачем и почему?

Из темноты с радостным поскуливанием выскакивает Солнышко, золотисто-рыжая коротколапая собака с обрубленным хвостом, и трется теплым телом о ноги Али. Аля задумчиво гладит ее, затем выносит в мисочке молока.

Ложась в постель, Аля вспоминает отца, и ей кажется, что она видела его только сегодня. Аля гладит книгу Флоренского, которая принадлежала отцу.

Отец не обозлился, не говорил на лагерные темы, не перемывал в разговорах лениных, бухаринных, сталиных, хрущевых, потому что жалел их как неразумных существ и с великодушием священника отпускал им все их грехи.

Аля думает, до чего ненадежна человеческая память: все куда-то проваливается. Только чрезвычайное прочно оседает в памяти, но разве жизнь человеческая состоит из чрезвычайного?

Изо дня в день мы живем, созидая свой душевный мир, - вот в чем жизнь, а всякие события, все чрезвычайное нас только рассеивает, тащит в сторону от чего-то более важного.

Явно и тайно Алю тревожит мысль, что и она - Аля - должна исчезнуть и от этого конца никуда не убежишь - он неизбежно будет - и встретить, пережить этот конец, можно только держась за то, что вечно, чему нет конца.

Утром с тяжелой от бессонницы головой Аля торопливо встает, словно что-то вспоминая неприятное, трет ладонями виски, лицо ее бледно, глаза насторожены. Во всей ее высокой, в этот момент неуклюжей фигуре появляется что-то нервное, выражающее, по всей видимости, душевную борьбу и колебание. Она грызет ногти, там и грызть-то уже нечего, но она грызет, до боли, до крови, потом сжимает руки в кулаки.

Наконец, решаясь, она поспешно собирает вещи и уходит, убегает, опасаясь увидеть мужа. В эти минуты он ей особенно противен.

В утренней дождливой полутьме Аля идет к Вере, учительнице физике, тихой и незамужней.

Небольшой дом, обшитый тесом, стоит между двумя высокими елями с обрубленными вершинами. По стойкам крыльца вьется дикий виноград, залезает на крышу. Под этой крышей, на чердаке, куда ведет узкая лестница, и размещается Аля.

- У меня последний год пошел, - говорит физичка Вера, подер-

гивая плечами. - Уеду домой. Хватит... Три года, как положено!

Вера на три года после вуза, как и Аля, попала сюда по распределению и постоянно жалуется на скуку, болеет и читает "Огонек".

- Это все равно. Поезжай, - говорит Аля и кусает ногти.

- "Взгляд" будешь смотреть? - спрашивает Вера.

- Я лучше почитаю, - говорит Аля...

Муж недели две не дает о себе знать, пока сама Аля не встречает его у магазина с завитой блондинкой. Муж, деланно удивляясь, поглаживает длинными пальцами рыжие усики. От него пахнет водкой. Кожа на лице светится и кажется, что это тончайшая прозрачная маска, живой чулок.

Аля брезгливо отворачивается и уходит.

Мансуров теперь все реже и реже заглядывает, и Але кажется, что потребность поговорить с ней была лишь предлогом, чтобы сойтись.

Аля уже месяц как разведена.

Когда все же Мансуров приходит, Аля оживает, начинает что-то поспешно вспоминать и говорить, но он сухо, по привычке, глядит ее, торопливо целует, как бы опасаясь прихода Веры.

Бывший муж не переживает разрыва, думает о скорой женитьбе на "нормальной бабе", чувствует себя победителем.

В школе у Али дела идут не лучше.

- Что вы взади сели! - говорит Потемкина и буравит взглядом Алю.

Судя по весьма уверенному виду Потемкиной, она намеревается при всех ее проработывать. Але делается скучно, словно она попала на бездарный фильм, а выйти из зала не может, потому что пристегнута к креслу ремнями, как в самолете; вот-вот сдавит уши и сердце начнет падать. Где тут выход, которого нет?!

Аля нервно грызет ногти, смотрит на других учителей и понимает, что им так же скучно, как ей, они делают вид, что полны внимания.

Когда Потемкина говорит о перестройке и о том, что в первую очередь перестраиваться нужно Але, то стучит ладонью по стопке методик. Аля видит ее алые длинные ногти, золотые кольца и кажется Але, что руки эти принадлежат не Потемкиной, увесистой

деревенской бабе, а какой-то ресторанной певице.

Потемкина произносит свое коронное “в общем и целом”, проходя от стола к окну. От нее ложится совершенно квадратная тень, как от шкафа. Потемкина тяжело свистит носом, неуверенно ставит свои толстые ноги, как бы сомневаясь, выдержит ли ее пол или нет, при этом пытается обернуться к сидящим, но голова без шеи не поворачивается, приходится поэтому действовать всем корпусом.

Не внешний вид, разумеется, но в сочетании с говоримым, приводит Алю в ярость, она вскакивает и, не подбирая слов, говорит о том, что школа в нынешнем виде есть главный источник насилия над личностью, потому что все в ней делается без любви, а без любви и морали не существует, о том, что бесполезны самые совершенные методики, педагогическая наука, если ими пользуются малообразованные, ленивые люди.

В темных глазах Али властный блеск, она вся собрана, напряжена и чуть бледна.

- Это вы мне? Это ты... Да у меня два высших... два образования! - трясется Потемкина, и на глазах у нее появляются слезы. Она глубоко оскорблена и поражена, что ее можно причислить к малограмотным, она-то считает себя чуть ли не самым прогрессивным педагогом в районе.

- Да хоть три! - бросает Аля, не сдерживаясь, и говорит, говоря, разбивая шаблонные представления о грамотности и образованности.

Потемкина глотает воздух ртом, снимает очки, отчего лицо сразу же тускнеет, и сжимает голову руками. Такой неблагодарности, такого отношения Потемкина явно не ожидала, она сбита с толку, она теряет начальственность, ее ни в грош не ставит эта девчонка, разведенная, аморальная (все знают, что она спуталась с Мансуровым!), возомнившая себе, что она только и есть учитель. Так дай им волю, они начнут выбирать директоров! Нет, так не пойдет.

Физичка Вера пытается сгладить ситуацию, говорит, успокаивая обеих женщин, о том, вспоминая Островского, что жизнь дается один раз и что прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

Но и ее Аля бесцеремонно обрывает:

- Эти слова переписаны у Чехова, из финала “Рассказа неизвестного человека”... Переписаны с небольшими изменениями... А

у Чехова, - Аля задумывается и продолжает, - это звучит так: "Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество или еще хуже того... Я верю и в целесообразность, и в необходимость того, что..." - Аля обрывает цитату и садится.

- Ах, вот что! - восклицает Потемкина. - Вы и Островского обвиняете в малообразованности?! Хорошо. Посмотрим. М-да...

- Аля, ну зачем ты! - восклицает Вера, розовея.

- А пусть поболтает, - говорит Потемкина. - Они все теперь разболтались. Известно, кому это нужно. Нам-то хорошо известно, кому это на руку. Нас-то не проведешь. Партия не позволит...

И в таком духе на двадцать минут. Тут и гадать Але не пришлось: Потемкина была заядлой сталинисткой, но так как имя Сталина в положительном контексте с некоторых пор перестало употребляться, Потемкина заменяла везде Сталина партией. Там, где говорила "партия", подразумевала "Сталина".

- Извините, что погорячилась! - слышит Потемкина голос Али, но не может произнести ни слова, потому что вдруг ей становится все равно, на нее нападает равнодушие, то благотворное равнодушие, которое позволяет ей долгие годы работать в школе и не трепать себе нервов.

Сейчас Потемкина похожа на гостеприимную домохозяйку, которая, дабы сгладить неловкость, переводит разговор на другую тему, а именно говорит об уроках труда, которые не проводятся уже второй месяц, потому что нет учителя.

Когда все расходятся, Потемкина приглашает Алю к себе в кабинет и твердо говорит:

- Если не будешь придерживаться планов урока, то нам придется расстаться! - при этом Потемкина внимательно разглядывает живот Али, не пополнил ли.

- Помимо планов, - говорит довольно сдержанно Аля и смотрит на ниточку у запястья, - есть душа... К душе учеников...

Потемкина резко прерывает:

- Врачи в человеке души не нашли! - И победно смотрит на Алю.

На это Аля невозмутимо замечает:

- Но и в мозгах мы не найдем ума!

Она видит, что Потемкина в замешательстве, и думает, что все идет к тому, чтобы уехать из этой “райской” тишины...

До этого все дни стояла холодная погода, выпадал снег. Были дни, когда он прочно держался, утаптывался.

Аля думает о зиме, о снеге, о длинных сосульках, о белых тяжелых лапах елей, потом ей становится грустно и страшно, она чувствует запах хвои, вспоминает Преображенское кладбище, решетки оград, кресты, от которых ложатся на снег голубые тени. Там в одной из могил спит ее отец...

- Пап, ну пойдем домой! - просит Андрей. Он мнетя на пороге Алиной чердачной комнаты, оклеенной светлыми обоями. На Андрее длинное зимнее пальто, как тулуп на стороже, видимо, пальто куплено на вырост, и большая кроличья шапка, надвинутая на глаза. А в этих глазах - непонимание и досада на отца, который, как говорит “мамка”, “совсем потерял голову и позором семью покрывает”.

Мансуров стучит пальцами по книге Тейяра де Шардена “Феномен человека”, лежащей на столе.

- Я вру, денег у меня нет. Но не хочу брать у тебя.

- Дура! - Мансуров вскакивает.

- Мамка сказала, чтоб ехали вы отсюда и все! - выпаливает Андрей, срывается с места и хлопает дверью. Слышны его катящиеся шаги по лестнице. Теперь и на Алиных уроках он вертится, демонстративно выкрикивает и с удалью плюется огрызками спичек.

Мансуров напряженно хмурит лоб, кусает губы и, не прощаясь, уходит. У крыльца видит сына, подходит и бьет его наотмашь по лицу.

Мальчик больше слышит, чем чувствует пощечину, вздрагивает и в глазах мерцают слезы. На щеке проявляются рубиновые следы пальцев.

Некоторое время отец и сын идут молча. Потом Мансуров, стесняясь своей несдержанности и проникаясь жалостью к Андрею, спрашивает тихо:

- На заправку поедешь?

- Нет! - с всхлипыванием бросает Андрей и бежит вперед, пугаясь в полах пальто.

Мансуров долго глядит туда, где исчезает сын, видит забор и

березу, березу и забор, забор и березу, березу и забор...

- Вся жизнь в березах и заборах! - кричит Мансуров и бьет кулаком в белый ствол, чтобы руке стало больно.

...Жена сидит спиной к столу, широко расставив ноги и положив руки в подол платья, как в гамак. Волосы растрепаны, в глазах отчужденный блеск.

- Ну что, накобелилси?! - говорит она прокурорским тоном, и ни один мускул не шевелится на ее лице.

Мансуров обхватывает голову руками и выбегает на улицу, споткнувшись у порога и зацепив цинковое ведро на лавке, которое с лязгом падает и катится по полу.

Весной Аля случайно встречает бывшего мужа. Тот пытается скрыть свои чувства, но ему это плохо удается. Он с опаской косится на округлившийся живот Али и идет дальше. Он проходит несколько домов, останавливается, садится на первую подвернувшуюся лавку у забора.

И плачет.

Ему не так жалко себя, как обидно, что Аля забеременела. Ущербность, которая, как он считал, была в ней, позволяла ему вести жизнь без оглядки, с надежным тылом, где Аля всегда смирится, примет, простит. Он так и считает, что без терпения и терпимости мы погибнем.

У ног его появляется рыжая коротколапая собака с обрубленным хвостом, трется о его ноги. Сергей Алексеевич некоторое время неподвижно смотрит на нее, потом вскакивает и бьет собаку ногой. Собака клубком отлетает к забору и скулит.

- Проститутка! - выкрикивает Сергей Алексеевич и сплевывает в сторону.

Зажигается тусклая лампочка в пыльном конусе плафона, свет не достает до углов, в которых темно. Белые сборенные шторы закрывают половину широкого окна, в верхнюю видны мрачно-зеленые заросли со столь густо сплетенными ветвями, что днем, как ночью.

Аля неподвижно смотрит в потолок, оклеенный пожелтевшей бумагой. За дверью слышатся шаги, в палату проворно заглядыва-

АЛЯ

ет нянечка Шура. В руках у нее швабра с намотанной влажной тряпкой и ведро с водой. Шура не ставит, а бухает ведро возле ног.

- Девки, мыли у вас аль нет? - визгливо спрашивает она.

Никто нянечке не отвечает.

- Значит, мыли, - бросает та и хлопает дверью.

Аля прислушивается к себе, вернее - к другой жизни в себе.

Утром, в начале десятого, когда у Али начинаются предродовые сильные схватки, мелькает горестная, мрачная мысль, что ребенок будет без отца.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

РАННИЕ СУМЕРКИ

повесть

I

За окнами шел снег, по радио пел Утесов, в коридоре кричал, как ребенок, кот Васька, которого мать мыла в тазу особым мылом - от него, говорили в аптеке, пропадут блохи. Маленькая елка стояла в углу на телевизоре, и от нее приятно пахло хвоей. Елку купили и поставили вчера, но еще не наряжали.

Слава связал в узел грязное белье, которое мать просила отнести в прачечную, и сунул узел в большую спортивную сумку. Затем Слава подошел к зеркалу, склонил голову и принялся рассматривать пробор, тонкой белой жилкой выделявшийся даже на светлых, слегка вьющихся волосах, потому что накануне Слава аккуратно выбрил этот пробор. Убедившись в безукоризненной прямизне пробора, Слава поднял воротничок сорочки, надел и завязал тонким узлом галстук, затем, опустив воротничок, застегнул длинные уголки этого воротничка на перламутровые с четырьмя дырочками пуговицы.

Приехал Вадим, с некоторой завистью оглядел Славу и сказал:

- Где ты только достоешь такие вещи?

Слава подправил маникюрной пилочкой свои белые ногти, бабовито ответил:

- Батничек мать спроворила, а щузню взял у комка.

“Щузня” - мужские полуботинки - была из дорогостоящей кожи, лаково-желтой, с узором из мелких дырочек на носках.

В темном полированном серванте вместе с хрусталем стояло несколько книг, среди которых Вадим заметил двухтомник Есенина.

- Читал? - кивая на него, спросил Вадим.

- Некогда читать, - сказал Слава, беря с низенького столика деньги и убирая их в новый кожаный бумажник. - Хотя "Собаке Качалова" читал. Ничего...

Пятнадцатиметровая комнатка была перегорожена. На двери перегородки висели шелковистые занавески. За перегородкой был угол матери: кровать, шкаф, тумбочка. Слава спал в большей половине на раскладном кресле.

Вошла мать с завернутым в махровое полотенце котом. Мать была высокой, красивой женщиной с пышной прической и голубыми глазами. Положив кота в кресло, мать прошла на свою половину, быстро сбросила халат, и Вадим увидел ее обнаженную прямую и белую спину. Вадим стыдливо отвернулся.

- Слава, - сказала мать, - застегни-ка!

Краем глаз Вадим заметил, как мать накинула на плечи бретельки, завела руки за спину и оглянулась, ожидая помощи сына. Слава неторопливо застегнул пуговицы.

Вадим не мог понять, почему мать Славы не стесняется двадцатидвухлетних парней.

Кот тщательно вылизывал свою влажную шкурку.

- Захвати еще мою юбку, - сказала мать и неодетая вышла в большую половину комнаты. Она принялась отыскивать юбку в нижнем отделении серванта, нагнувшись и положив одну руку на бедро.

Вадим почувствовал неловкость, покраснел и, чтобы не выдавать своего смущения и не созерцать далее соблазнительные формы сорокалетней женщины, поспешно вышел в коридор.

У окна на табурете сидел сосед, тощий и лысый токарь Коля, курил сигарету через черный самодельный мундштук. На полу еще были видны брызги от мытья кота.

- Удумала чего, - сказал Коля, щурясь от дыма, - котов мыть!

- Дрессированный, раз дается мыться, - дружелюбно сказал Вадим, глядя в окно на кирпичную стену, на заснеженный куст, на идущий крупными хлопьями снег.

- Рублевочкой не разживешь? - тихо спросил Коля.

Вадим усмехнулся и отрицательно покачал головой.

Из уборной вышла старуха, другая соседка, принялась и со злобой сказала:

- И курят, и курят, дышать нечем!

- Шла б ты отсель, Ивановна, пока чувствую равнодушие! - прикрикнул на нее Коля.

Появился Слава, одетый в дубленку и пыжиковую шапку, с объемистой сумкой. Вадим нацепил на голову своего кролика, надел ратиновое осеннее пальто. Шли вдоль линии железной дороги. К вокзалу бежала электричка, повизгивая колесами на стрелках.

- Отец обещал мне сделать однокомнатную квартиру, - сказал Слава, поджигая сигарету фирменной американской зажигалкой.

- А кто твой отец? - спросил Вадим, впервые услышавший от Славы об отце.

- Зампред исполкома, - сказал с долей неподдельной гордости Слава.

- А чего ж с ним мать разошлась? - спросил Вадим. Вспомнив как мать переодевалась при нем, он смутился, и глаза его заблестели.

- Отец влюбился в другую. Она и сейчас - во! - поднял большой палец в замшевой перчатке Слава. - Ножки, фигурка, губы, ресницы... А моя сводная сестренка! - чмокнул Слава губами. - Уже готова, хотя ей нет и семнадцати!

В прачечной Слава разлюбезничался с молоденькой приемщицей. Слушая его болтовню, Вадим смущался, но внутренне завидовал Славе, как тот легко знакомится и как, наконец, вынуждает девушку дать ему свой телефон.

После химчистки доехали до "Елисеевского" за покупками к новому столу. Глядя на огромную люстру под высоким лепным потолком, Вадим спросил:

- Говорил насчет меня?

- Я и забыл тебе сказать, что все в порядке, - сказал Слава, пересчитывая деньги. - Говорил с Чистопрудовым. Он тебя возьмет. Сразу после праздника позвони ему и подъезжай.

В "Елисеевском" приятно пахло кофе и яблоками.

II

В комнате погасили свет и включили лампочки на высокой елке. Женя, хозяин, зажег на столе свечи. Вадим сидел рядом с полной Татьяной и рассказывал ей о том, как привез из армии целый чемодан списанных книг. Татьяне было неинтересно слушать, она все ждала, когда Вадим пригласит ее танцевать.

Слава, обеспечивший Вадима этой полной Татьяной, уже танцевал с Надей, вернее, стоял с ней в полумраке у елки, целовал

взасос и гладил обеими руками по спине, талии и еще гораздо ниже.

- Десятитомник Достоевского удалось списать, - говорил Вадим. - Я обалдел, когда читал "Мертвый дом"...

Вдруг Татьяна обхватила его могучей рукой и впиалась в его губы своими потрескавшимися сухими губами. Вадим закрыл глаза и представил, что его целует прекрасная Ольга Игоревна, мать Славы. Повинуясь Ольге Игоревне, он встал и, ведомый ею за руку, пошел в страхе предчувствуемого таинства любви в ванную. Женская рука закрыла ванную на крючок и принялась темпераментно шарить по телу Вадима, как будто обыскивала на контрольно-пропускном пункте.

Они стояли в темноте у стены. Женщина сильно дышала носом.

- Ну, что ты, как теленок, ждешь! - шепнула она на ухо, укусив это ухо, нашла своей рукой руку Вадима и крепко, по-мужски, ее сжала.

Вадиму стыдно было самого себя, что он, двадцатидвухлетний парень, не знал еще женщин.

- Подожди, - сказал он, чтобы как-то оттянуть развязку.

Голос Татьяны, так не похожий на голос Ольги Игоревны, вывел Вадима из забытья, и ему вдруг стало стыдно еще и оттого, что он прячется ото всех с этой кубышкой в ванной. Но Татьяна не слушала его, что-то шептала, и все крепче сжимала его руку. Вадиму было неприятно.

В дверь резко постучали, послышались голоса соседей, а затем и голос Жени:

- Вадим, тут людям ванна нужна!

Вадим с радостным облегчением вздохнул, протянул руку к крючку, чтобы открыть дверь, но Татьяна на мгновение остановила его и поцеловала в лоб, как покойника.

Сосед в майке, с татуированной на груди змеей вокруг лезвия кинжала, с бельевым баком в руках недовольно бросил:

- Нашли место шуры-муры разводить!

- Да ладно-ть, - шикнула на него худощавая жена, - полизаться уж им что ль нельзя?!

Покрасневший Вадим быстро прошел в комнату Жени. Слава сидел на диване у елки, а на коленях у него была Надя. Девушка Жени лежала под одеялом на кровати.

- Чего ты в ванную полез! Тут что ли места мало? Вон, ложитесь на пол. Сейчас раскатаю матрац вам. - И с ухмылкой подмигнул Татьяне.

Женя включил свет, чтобы найти в шкафу матрац. Вадим взглянул на полную Татьяну, на ее круглое румяное лицо с двойным подбородком и темными усиками над верхней губой, взглянул и поморщился, как от сильной боли в голове. Слава погладил Надю по плечу, с какой-то обидой сощурил глаза и крикнул:

- Туши фонарь!

Вадим посмотрел и на него, и на его Надю, и на лежащую под одеялом девушку Жени, и на серебристые шары на елке. Вадиму стало очень грустно. Он оглянулся на Татьяну и показал ей язык.

- Дурак! - крикнула та.

- Га-га-га! - захохотал Слава.

Вадим схватил пальто и шапку и бросился вон. На улице было светло от снега и от горящих в домах окон. Вадим быстро пошел вдоль железнодорожных путей к дому Славы, то есть к дому его матери, Ольги Игоревны. Вадим часто дышал и все еще не мог успокоиться от нанесенной ему, как он считал, Татьяной обиды.

Не может же он заниматься этим с каждой встречной-поперечной!

Вадим вошел во двор, двинулся вдоль кирпичной стены к окнам комнаты Ольги Игоревны. Ветка куста ударила Вадима по щеке, но он не почувствовал этого удара, потому что увидел в освещенной комнате Ольгу Игоревну. Она была в нарядном голубом платье с белым шалевым воротником, с красивой прической, высокая, статная, крупная женщина, единственная на всем белом свете, потому что все женщины терялись в воображении Вадима рядом с Ольгой Игоревной.

- Будь со мной, будь со мной всегда ты рядом, - прошептал Вадим одними губами и привалился спиной к кирпичной стене.

За прозрачными занавесками была хорошо видна комната, стол, празднично накрытый. За столом кроме Ольги Игоревны сидели две женщины и мужчина.

Через час у Вадима так замерзли ноги, что он их не чувствовал. Наконец гости стали собираться домой.

Вадим услышал голоса у подъезда, шаги. Ольга Игоревна вернулась в комнату, стала убирать со стола. Когда она подошла близко к окну, Вадим против воли сильно постучал в стекло и застыл от волнения. Ольга Игоревна взгляделась в окно, узнала Вадима. На лице ее вместе с улыбкой выразилось удивление. Подумав, она вскинула брови и жестом руки пригласила Вадима зайти.

- Ты откуда? - спросила она, когда Вадим вошел в коридор. -
Где Слава?

Бледнея и заикаясь, Вадим сказал:

- Можно я побуду у вас. Ноги окаменели от мороза.

- Конечно! - рассмеялась Ольга Игоревна, проводя Вадима в комнату. - Раздевайся... А где же все-таки Слава?

- У Жени.

Вадим разделся и сел в кресло.

- Можно я и ботинки сниму? - спросил он.

- Что за вопрос, - улыбнулась Ольга Игоревна. - Будь как дома.

Вадим тер онемевшие пальцы ног до тех пор, пока их не стало покалывать.

Потом пили чай и разговаривали о пустяках.

- Я тебе кресло сделаю, - сказала Ольга Игоревна.

Когда постель была готова и свет был погашен, горела лишь настольная лампа за перегородкой, Ольга Игоревна сходилась умыться. Вернулась она с мохнатым полотенцем на плече и от нее пахло земляничным мылом. Халат был расстегнут, так что Вадим, стоявший у приготовленного для него кресла, видел и шею, и грудь.

Ольга Игоревна не пошла сразу в свой угол, а остановилась возле Вадима, с усмешкой заглянула в его глаза.

- В твои годы нужно веселиться, ухаживать за девушками, влюбляться.

Вадим медленно расстегивал свою рубашку, боялся смотреть на лицо Ольги Игоревны.

- Я уже влюбился, - вдруг, подавляя волнение, прошептал он и почувствовал, что во рту все пересохло.

- Ну-ну, - сказала Ольга Игоревна и пошла к себе.

- Я люблю... люблю вас! - сказал он.

Почти машинально он сделал несколько шагов, приблизился к Ольге Игоревне и, ничего не соображая, неуклюже взял ее двумя руками за талию. Глаза их встретились, и по расширившимся зрачкам Ольги Игоревны Вадим догадался, что и она его любит. Однако Ольга Игоревна легко высвободилась из объятий и шутиливо бросила:

- Я же для тебя старуха, на восемнадцать лет старше... И потом в любую минуту может прийти Слава...

- Он не придет, - горячо проговорил Вадим.

- Одумайся, ложись в кресло, - сказала Ольга Игоревна. - Я же мать твоего друга. Подумай, это же невысказано, не укладывается в голове! - последние слова она проговорила с чувством.

Вадиму вдруг стало невыносимо совестно, он вернулся к креслу, торопливо разделся и лег под одеяло. Он лежал, затаив дыхание, и ему было слышно, как раздевается Ольга Игоревна, как поскрипывает ее кровать, как шелестит крахмальный пододеяльник.

Свет погас.

Слышен был стук будильника.

Через некоторое время Ольга Игоревна сказала:

- Вадим, там в серванте лежит шкатулочка с лекарствами... Принеси, пожалуйста, ее мне...

- Сейчас...

В ее половине зажглась настольная лампа.

Вадим быстро встал, открыл дверцу серванта, нашел шкатулку и, дрожа, пошел на половину Ольги Игоревны.

Из-под одеяла выглядывала белая рука. Вадим нагнулся и раскрыл перед лицом Ольги Игоревны шкатулку. Рука отвела шкатулку в сторону...

- Мальчик мой, как же я тебя люблю! - сказала Ольга Игоревна вполголоса.

III

Из проходной телецентра на Шаболовке Вадим позвонил начальнику цеха осветителей киногруппы Ивану Степановичу Чистопрудову. Затем получил пропуск и, предъявив его милиционеру, ступил на территорию телецентра. Была оттепель. Серый снег хлюпал под ногами, но на ажурной Шуховой телебашне был белым, воздушным.

Чистопрудов оказался высоким, плечистым мужиком с ширококостным крестьянским лицом. Он сидел за столом на железных антресолях в осветительном цеху, напоминавшем сарай. К Чистопрудову вела железная лестница, наподобие тех, что называются "пожарными".

- Ну, чао, пацан, робить будем? - спросил грубоватым голосом Чистопрудов и сдвинул потрепанную мерлушковую шапку на затылок.

Вадим не предполагал, что на телевидении работают такие “ископаемые” мужички. Когда шел сюда, виделся, представлялся начальник интеллигентный.

Внизу топали, сильно стучали приборами вернувшиеся со съемки осветители. Послышался металлический удар: уронили на дощатый пол огромный черный прожектор. Чистопрудов запустил вниз с антресолей многосоставным матом. В ответ получил не менее оригинальное непанибратское матосочетание, достойное разухабистой пивной.

- Дорохвеев! - крикнул Чистопрудов. - С собой возьмешь этого пацана. - Ткнул корявым пальцем в Вадима.

В другом конце антресолей, у раскрытой двери каптерки, играли в шахматы. От толпы играющих отделился пожилой человек с простецким лицом, приблизился по узкому балкончику антресолей к Вадиму, спросил:

- Варежки получил, как тебя?

Вся эта публика явно не нравилась Вадиму. Он снисходительно ответил:

- Простите, зачем мне варежки, я же не картошку копать пришел.

Дорофеев тупым взглядом красных глаз осмотрел Вадима, усмехнулся, зычно втянул в себя соплю и харкнул на металлический пол.

- Бычок! - крикнул Дорофеев, закуривая “Памир”. - Покаж новичку проводочки! - И толкнув в спину Вадима к лестнице, добавил: - Пять “дигов” и две коробки.

Высокий Бычок, одетый модно, как бы Слава сказал: “под фарцу”, положил руку на плечо Вадиму, когда тот спустился вниз, подвел к толстому кабелю, висевшему на крюке, и сказал тоном наставника:

- Старичок, бери и выноси на улицу. Сейчас машина подойдет.

На полках вдоль стен стояли осветительные приборы: огромные “диги” и “десятки”, поменьше - “полтинники” и “двадцатьпятки”, совсем маленькие - “бебики”. В торцы полок, обитых кровельным железом, были вколочены крюки, на которых висели кабели разного сечения, как хомуты на конюшне. Тот моток кабеля, к которому Бычок подвел Вадима, был самый толстый, с внушительными крючковатыми медными клеммами.

У Вадима едва хватило сил, чтобы сбросить кабель с крюка на пол. Глядя на этот черный моток, Вадим понял, что пришел рабо-

тать не туда, куда хотел, что все иллюзорные представления о телецентре рухнули в одну минуту.

- Старичок, - прикрикнул Бычок, - давай-давай, тащи, "диги" пора таскать.

Вадим ухватил кабель, связанный в двух местах веревкой, за клеммы и волоком потащил на улицу. Асфальтовый двор был широк. У дверей осветительного сарая курили осветители. Вадим, разочарованный и подавленный, тоже закурил, став в сторонке. К нему подошел худощавый молодой человек, сказал:

- Ты не переживай. С "дигами" мы редко работаем. В основном - с "зеркалками". Легкие ящички, тонкий провод, штативы компактные.

- А вы давно здесь работаете? - спросил Вадим.

- Третий год.

- Я только до лета, - сказал взволнованный Вадим, как будто ему кто-то грозил трехлетним сроком работы в этом сарае, - и в институт.

- Можно здесь работать и учиться, - сказал щуплый молодой человек. - Я во ВГИКе на экономическом, на втором курсе...

- Да-а?

- Да. Жду места. Администратором не хочется. Пойду сразу на директора картины.

- А вы Славу Тимофеева знали?

- Он в телеоператорах. Год у нас отработал, дождался местечка и махнул в телеоператоры.

Шумно подкатил к дверям сарая грузовик, гремя бортами.

- На "Серп и молот"! - сказал шофер.

Дорофеев голосом армейского старшины крикнул:

- Кончай перекур!

Бригада осветителей принялась быстро загружать машину. Носили из сарая тяжелые "диги", такие же тяжелые неуклюжие треножные штативы на колесах, провода, распределительные коробки. Следом за грузовиком подъехал автобус. Осветители сели в него, закончив погрузку, и поехали к выходу. Дорофеев бросил Вадиму новые брезентовые рукавицы.

В заводском цеху стоял металлический грохот. Бригада осветителей устанавливала прожектора на штативы, разматывала провода, коммутировала их. Дорофеев молчаливо ходил между приборами, глубокомысленно молчал, изредка поправляя галстук. По всему

было видно, что перед заводскими работягами он хотел казаться иным человеком, чем был на самом деле, то есть представителем сферы культуры. Это у него плохо получалось, и Вадим усмехнулся, поглядывая на его простецкое лицо и потертый черный костюм.

Да и другие осветители держались надменно по отношению к заводчанам. Когда те что-нибудь спрашивали, осветители или величественно молчали или говорили что-нибудь сквозь зубы, типа: “Контровой не очень удачно поставлен, и рисуночек боковым надо подыграть”.

Если осветители держали себя надменно в отношении рабочих завода, то столь же надменны были по отношению к осветителям кинооператор, его ассистент, звуковик и автор двухминутного сценария для “Московских новостей”.

Вспыхнули голубоватые дуги между угольными электродами “дигов”, цех осветился.

Ассистент кинооператора небрежно бросил Вадиму:

- Что ты, как этот, куда светишь? Дай чуть-чуть в потолок!

Ассистент был в батнике и в замшевой куртке и чем-то напоминал Славу, не внешне, а манерами.

Вадим с некоторой обидой поправил прибор.

В конце пролета показался коренастый мужичок, ведомый под руку автором сценария. Когда они приблизились, Вадим разглядел на лацкане мужичка золотистую звезду Героя. Мужичок был лыс, розоват, упитан, подвижен.

Он подошел к станку, оглядел его, затем надел прямо на костюм засаленный черный халат, застегнув его на верхнюю пуговицу, чтобы белой сорочки с галстуком не было видно, и нацепил на изнеженную лысину берет с поблескивающими на нем опилками.

- Так! - воскликнул кинооператор. - Свет можно погасить. Пока. Порепетируем.

Вадим закурил в отведенном месте. На лавке сидели заводские рабочие.

- Что это за диво привезли? - спросил Вадим, кивая на перодеото Героя.

- А-а, - протянул один рабочий. - Такая падла, пробы ставить негде! Тут нам все мозги полоскал, за звездочку выкобенивался. Бывают же такие скоты!

- Ладно-ть тебе, Гриш! - успокоил его пожилой рабочий. - А то еще узнает и прижмет.

- Я ему прижму! Всю кровь выпил, пока тут был. Слава богу, туды взяли! - рабочий кивнул вверх.

Снимали фиктивного станочника часа три, потому что он не мог связно проговорить заранее заготовленный текст, все время путался.

Вечером усталый Вадим сидел в кресле у телевизора и жадно ждал "Московских новостей". Отчим, полковник МВД, шелестел газетой рядом.

- Вот он! - вскричал Вадим, когда пошел сюжет об "ударнике коммунистического труда".

Отчим сквозь очки смотрел на работающий станок, на рабочего в засаленном халате и в берете.

- Норму выработки я выполняю регулярно на два месяца вперед... В настоящее время я тружусь в счет следующей пятилетки.

- Вот негодяй! - воскликнул Вадим. - Его на заводе никто не видит, а он тут о нормах!

- Не горячись, - сказал отчим. - Об этом только ты и знаешь. А для народа это имеет большое воспитательное значение.

IV

Принесли заявки от кинооператоров на свет. Чистопрудов разбрасывал осветителей по бригадам: кого на завод, кого на фабрику, кого в театр, кого в школу... То есть туда, где собирались снимать очередные сюжеты для новостей.

Вадима распределили на фабрику "Красный Октябрь" с бригадиром Борей Чесалиным, разбитным сорокалетним человеком, с золотым зубом, в замшевом пиджаке и в замшевой "щузне".

Пару зеркалочек положили в багажник микроавтобуса, прихватили оператора с ассистентом и автора.

Оператором оказалась миловидная молодая женщина Марина. Когда ехали, она сказала ассистенту:

- Вчера читала "Живаго". Стихи прекрасны, а проза не очень. В общем, роман слабенький.

- Я бы не сказал, - ответил ассистент.

- Но исключить из союза такого поэта! - воскликнула Марина. Вадим разволновался и, глядя на Марину, продекламировал:

Гул затих. Я вышел на подмости...

Марина взглянула на осветителя удивленно, как бы не веря, что среди осветителей есть знающие Пастернака люди.

- А "Гефсиманский сад" знаете? - спросила она с придыханием. Голосок у нее был тонкий, детский.

- Наизусть нет.

В карамельном цеху Боря Чесалин сказал Вадиму:

- Не перебивай аппетит. Терпи до шоколадного. С зеркальными лампами работать было приятно и легко. Начальник шоколадного цеха пригласила в свой кабинет, куда принесли ведро какао на молоке, а на столе высилась гора любых шоколадных конфет и плиток шоколада.

- Кушайте на здоровье! - сказала начальница и вышла.

- Как вы думаете, - спросил у Марины Вадим, - я смогу поступить на операторский во ВГИК?

- Если умеете фотографировать, то почему бы нет, - сказала Марина, надкусывая белыми зубами круглую конфету с ромом.

Вадиму нравилась ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, детский голос, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое серое платье, своим видом она должна была возбуждать в скучных людях чувство умиления и радости. Напившись горячего какао и насытившись шоколадом, направились на съемку в цех.

- Поснимай, - сказала Марина ассистенту, а сама задумчиво отошла к окну, которое выходило на набережную.

Вадим с Чесалиным быстро поставили свет, ассистент дал поддержать кинокамеру Вадиму, пока замерял освещенность экспонометром. Вадим посмотрел через окуляр камеры на Марину.

Ассистент принялся снимать, а Вадим подошел к Марине.

- Вы "Записки из мертвого дома" читали? - спросил он.

- Нет, - подумав, ответила Марина. - Я вообще не люблю Достоевского. Он плохо писал. Не художественно. Все это - черновики, не отделано. Пыталась несколько раз начинать "Бесов", но так и не смогла втянуться.

- Напрасно, - сказал Вадим. - В конце "Мертвого дома" отбивают заклепки, кандалы падают, арестанты отрывистыми, грубыми голосами говорят: "С Богом!". Да, они говорили: "С Богом!". И думали, что их ждала новая жизнь, свобода, воскресенье из мерт-

вых... То же чувство испытал я, когда дождался минуты демобилизации из армии. Вы знаете, темный народ у нас в стране, необразованный. В Москве мы еще видим проблески культуры, а там, - куда-то за окно махнул рукой Вадим, - все та же дикость, какая и при Достоевском была. Никто в гарнизоне ничего не читал. А если и читали, то газеты да развлекательную чушь типа "Двенадцати стульев"...

- Вы впечатлительный мальчик, - сказала Марина и улыбнулась. - Вам трудно будет жить. Прошла минута в молчании.

- Вы снимаете то, что хотите? - спросил Вадим.

- Если бы! - усмехнулась Марина.

Подошел Чесалин, сверкнул золотым зубом:

- Предлагают коробку шоколадок, - сказал он.

- Нас на проходной не выпустят, - сказала Марина.

Чесалин вытянул шею и подмигнул. Взяли черный мешок, в котором заряжали пленку, засунули в него коробку с шоколадками: 100 штук. Мешок положили в кинооператорский чемодан, сверху камеру. На проходной черношинельный вахтер бросил беглый взгляд в микроавтобус и разрешительно махнул рукой. Поехали. Чесалин вытащил мешок, вскрыл коробку и поделил шоколадки на пятерых, включая шофера.

С этими шоколадками Вадим зашел в студию "Б", где у телевизионной огромной камеры стоял Слава. Когда к нему подошел Вадим, Слава снял наушники, сказал:

- Мы тут малость в парке культуры, - пауза, - и горького отдыха... Будешь? - От него довольно сильно пахло вином.

- Что? - спросил Вадим, протягивая Славе шоколадку в обертке.

- О, закусон! - воскликнул Слава и подозвал другого оператора, от которого тоже веяло спиртным.

Слава разломил шоколадку и половину протянул коллеге.

- Что тут у вас? - спросил Вадим, кивая на декорации.

- Съемка с монитора, балет, - сказал Слава.

Вадим взялся за рога телекамеры, посмотрел в экран.

- Идиотская работа, - сказал он. - Каждый сможет. Это же телевизор! Смотри, резкость подкручивай, панорамируй...

Слава обидчиво вытянул губы.

- Идиотская работа у тебя, - сказал он грубовато. - У осветителя. Плебейская работа! А у нас, - обвел широким жестом руки студию Слава, - творческая!

- В таком случае, - не сдавался Вадим, - у каждого, кто сидит перед экраном, - работа творческая!

- Будешь? - не обращая внимания на язвительность Вадима, повторил вопрос Слава.

- Что? - непонятливо пожал плечами Вадим.

Слава извлек из заднего кармана брюк плоскую коньячную бутылку и с улыбкой посмотрел на Вадима.

- С какой радости? - простовато сказал Вадим, усмехаясь.

- Просто так, - сказал Слава, поправляя узел галстука.

- Нет, - сказал Вадим, оглядывая отутюженного, модного Славу, и спросил: - Ты сегодня когда освободишься?

В студии было душновато от горячих софитов и пахло краской и столярным клеем от декораций.

- Сегодня до упора, часов до двух ночи.

- Ну, ладно, поеду домой, - сказал Вадим и добавил: - Сегодня был на "Красном Октябре" с прекрасным оператором...

- С кем? - Слава опустил глаза на свои импортные туфли.

- С Мариной...

- О, Мариночка! - сказал Слава и, поднеся щепоть к губам, звучно чмокнул. Белой жилкой мелькнул пробор.

Вадим почувствовал досаду на Славу, страх и удовольствие от того, что ему можно сейчас поехать к Ольге Игоревне. Лицо Вадима в этот момент покраснело густым малиновым румянцем. Слава дружелюбно хлопнул по плечу Вадима, мельком взглянул на окна аппаратной, хлебнул из горлышка коньяку, кашлянул и с видом облеченного властью человека надел наушники и взялся за ручки телекамеры.

Уже смеркалось, когда Вадим свернул в подворотню и пошел вдоль щербатой кирпичной стены, поскрипывая снегом.

Окно светилось.

Вадим увидел лицо и плечи Ольги Игоревны, сидевшей глубоко, немного сгорбившись в знакомом кресле. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове заметно было, что она занята рукоделием. Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову и глубоко вздохнула, затем неожиданно быстро, с тревожным выражением повернула лицо к окну.

V

Золотые волосы Ольги Игоревны падали крупными локонами на плечи, ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели доверчиво и кротко. Цвет этого красивого, правильного лица поража́л Вадима своим ровным, нежным тоном, совсем юным.

- Любовь к вам, Ольга Игоревна, - какая бездна тайны, какое наслаждение и какое сладкое, острое страдание! - вдруг сказал восторженно Вадим.

Он рассеянно и неловко улыбался, но тотчас же хмурился и бледнел, пугаясь нелепости и прямизны своих слов.

- Да, да... это так... Ну, хорошо...

Вадим смотрел на нее сияющими влюбленными глазами, не выпуская из своей руки ее руку.

- Вадик, - сказала Ольга Игоревна шепотом, - нет, правда, не забывай меня. У меня теперь единственный человек, с кем я, как с родным, - это ты. Слышишь?

Вадим испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, не существовавшим на земле напитком.

Вдруг Ольга Игоревна спросила тихим, вздрагивающим голосом:

- Вадик, хорошо тебе?

Он нашел губами ее руку, затем взволнованно проговорил:

- Вы необыкновенная, прекрасная. В вас какая-то загадка, я не понимаю, какая... Но... Все это мне кажется противозаконным, я боюсь и вместе с тем совершаю...

Она засмеялась, и этот низкий, ласкающий смех отозвался в груди Вадима радостной дрожью.

- Милый Вадик! Милый, добрый, трусливый, милый Вадик! Я ведь тебе сказала, что это тайна наша. Мне должно быть страшнее, я многое повидала в жизни... Не думай ни о чем, Вадик. Знаешь, отчего я такая смелая с тобой? Нет? Не знаешь? Я же в тебя влюблена!

Вадим вздрагивал, глядя ее волосы.

- Ольга Игоревна... Ольга... Оленька! - произнес он благодарно. Ему хотелось сказать ей еще что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама. И он сказал страстно: - О, милая!

- Подожди... Слушай меня. Это самое важное. Я тебя сегодня видела во сне. Это было удивительно. Где-то играла музыка, и мы с тобой танцевали...

Чем дальше Ольга Игоревна говорила, тем сильнее становилась грусть Вадима. Ему почему-то было жаль и себя, и Славу, и Ольгу Игоревну. Вадим ясно видел ее глаза, которые стали огромными, голубыми-голубыми и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в свете настольной лампы все ее знакомо-незнакомое лицо. Была ли у Вадима зависть к ее зрелой красоте, или он жалел, что эта необыкновенная женщина досталась ему на краткое мгновение, случайно, и никогда не будет всегда с ним, или он смутно чувствовал, что ее красота только ему кажется таковой, а другие люди, быть может, вовсе и не считают это красотой, но грусть Вадима была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке именно созерцанием настоящей красоты. Он это знал наверняка. И чтобы очнуться от этой грусти, он сделал над собой усилие и сказал:

- Теперь я немного понимаю Печорина...

- А кто это? - невинно спросила Ольга Игоревна.

- Такой же молодой человек, как и я. Он тоже любил женщин, которые много старше его...

- Ах! - воскликнула Ольга Игоревна. Она стала гладить и перебирать его волосы. - Вадик, славный мой. Я чувствую себя молодой... твой возраст... ты такой... Я верю песне: любви все возрасты покорны...

Он перебил ее с ласковой и грустной улыбкой:

- А я Пушкину: "Любви все возрасты покорны; но юным, девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям..." И эта буря - во мне...

- В этом вся твоя прелесть...

Они замолчали. Ольга Игоревна обвила руками его шею и прижалась губами к его губам, и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом, от ног до груди.

Когда Вадим пришел в себя и почувствовал смущение, она потянулась и лениво сказала:

- И бури вешние проходят, - и встала, белая, прямая.

Вадим закрыл глаза, слышал шаги ее босых ног и никак не мог до конца поверить в то, что происходит между ними. Это какая-то новая форма существования материи, раздувающая чувства, подобно огненным мехам.

- Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя! - сказала Ольга Игоревна, присаживаясь на край кровати.

Вадим, еще, казалось, минуту назад охваченный смущением, вновь почувствовал прилив неконтролируемой страсти. От Ольги Игоревны струился нежный запах духов. Вадим протянул к ней руку, ища ее руки.

- Ольга Игоревна! - произнес он просительно. - Милая!

- Милый...

Вадим был в другом мире.

Тот, знакомый, вещный мир был где-то далеко, за границами видимого и осязаемого, словно его, настоящего мира, совсем не было. Вадим точно вступил в странный, обольстительный, одновременно живой и призрачный мир запретов, таинств любви. Да, нереальными были и эта комнатка за перегородкой, и свет настольной лампы под голубым абажуром, и странная, милая женщина в шелковом халате, сидевшая рядом, так близко от него.

Вадим потянулся к ней. Ему казалось, что от лица Ольги Игоревны идет бледное сияние.

- Я люблю вас! - прошептал он тихо.

- Милый... милый... милый, - сказала она и оперлась о подушку локтем.

Вадим стал целовать ее халат, отыскал ее руку и приник лицом к теплой, душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, срывающимся голосом:

- Оленька... Я люблю вас... Я люблю...

Он жадными, пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом:

- Милый... милый... милый... Что же мы с тобой делаем... Зачем все это... Почему я не могу справиться с собой... Почему? Милый... милый... милый... Я помолодела с тобой... Ты для меня как та буря, но что-то в ней есть осеннее...

- Ольга Игоревна... Какое счастье! Я люблю вас... - твердил Вадим в каком-то блаженном бреде.

Ольга Игоревна молчала.

Вадим поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг нереальным, вымышленным. Чтобы убедить себя в реальности происходящего, он прикоснулся дрожащими пальцами к ее щеке.

- Воображаю, что будет, если кто-нибудь узнает, - наконец сказала Ольга Игоревна, плотнее запахивая халат.

- Милая...

На ночном столике глухо стучал будильник.

У Вадима билось сердце.

- Милый, - сказала она.

С туманной головой, с шумом в ушах Вадим вдруг крепко прижался к ней.

- Вадик... - услышал он ее слабый, протяжный и несколько ленивый голос.

Вадим видел ее золотистые волосы, видел ее голубые глаза, видел чистый открытый лоб, дрожал и наслаждался до горечи, до постижения неизведанных глубин своей души.

- Вадик, зачем ты такой... Я не хочу скрывать... меня влечет к тебе, ты мне мил всем: своей неловкостью, своей наивностью, своей нежностью...

Обжигающее прикосновение ее губ обострило пронзительное чувство нереальности.

Глухо стучал будильник.

- Я уже не думаю ни о чем, - сказала она.

- Милая...

Вдруг постучали в дверь. Ольга Игоревна испуганно вскочила, одернула халат и, приложив палец к губам, пошла открывать. Вадим услышал голос соседа Коли:

- Игоревна, у тебя соли не найдется?

- У, черт, не дает отдохнуть! - возмутилась Ольга Игоревна и полезла в сервант за солью.

Когда она вернулась, Вадим застегивал пуговицы на рубашке. Ольга Игоревна села на стул у ночного столика и смотрела на Вадима с улыбкой и грустью. Затем она взяла губную помаду и стала подкрашивать губы.

- Милый...

Она встала, взглянула на окно, подошла и плотнее задернула занавески. Вадим сделал шаг к ней, обхватил сзади и поцеловал плечо через шелковистую ткань.

Ольга Игоревна вздрогнула и, не поворачиваясь, прильнула всем телом к Вадиму.

Слышно было, как тикал будильник.

Они стояли некоторое время молча, затем Ольга Игоревна освободилась из его объятий и сказала твердо:

- Довольно... Скоро Слава придет.

Вадим в этот момент подумал о Славе с ненавистью. А Ольга Игоревна мрачно добавила:

- Какая же я дура!

На глазах ее показались слезы.

VI

Судя по заявке, в которой значился Вадим, Марина обратила на него внимание. Однако Чистопрудов, недовольно хмыкнув, Вадима из заявки вычеркнул и вписал его в ту, где требовались “десятки”.

Вадим огорченно сказал:

- Вы не должны так поступать, поскольку оператор сам просит. Я же не нанялся таскать эти бочки по заводам, где снимают сплошную липу!

В маленькое окно с антресолей виден был двор, большой корпус студий, где в тепле работал Слава, видны были ворота, наклонный люк в подвал.

Чистопрудов принял позу, какая подобает начальнику, и громко высморкался в синий клетчатый платок.

- Ну, этто... мы поглядим! Липу! Сопли утри сначала, хм. По-едешь туды, куды пошлють! - сказал он.

Вадим с неприязнью посмотрел на этого плохо владеющего родным русским языком человека, надулся и нахмурился.

- Вы говорите со мной почтительно и не тыкайте! - сказал Вадим.

- А, чтоб тебя... - проворчал Чистопрудов, поднимаясь и задевая головой в мерлушковой шапке низко свисающую лампу. - Иди, пацан, “десятки” грузить.

Вадим помялся и несмело пошел вниз по лестнице. В это время со двора послышалось урчание грузовика.

Черные прожектора, размером с “диги”, но чуть полегче, выносили вдвоем с Бычком, который все время почему-то подмигивал Вадиму. Когда сядились в автобус, Бычок спросил:

- Будешь?

Вадим отрицательно покачал головой, а Бычок, отпив из горла рыжего портвейна, передал бутылку по кругу. Бригадир Кусков, коренастый, маленький, с красным грубым лицом, перед тем как

выпить, протер горлышко полой желтого армейского бушлата. Выпив, сказал:

- Ну, значит, вот... Теперь мы на месяц, значит, того... Вместе... Надо сброситься, - и снял с головы шапку, в которую кинул скомканную трешку.

В автобусе поднялся веселый гул, осветители оживленно копались в карманах, выгребая рубли и мелочь, у кого сколько было. Чтобы не выглядеть белой вороной, Вадим швырнул в шапку свой обеденный рубль. По просьбе Кускова шофер тормознул у гастронома. Набрали портвейна и поехали на площадь Журавлева в Телетеатр.

Пока ехали, Кусков говорил хрипловатым, простуженным голосом:

- Вчерась, наконец-то, развелси. Эх, братва, мой вам совет: не женитесь вы на стервах. Всю кровь выпила, сволочь! От тебе, гундосит, вином каждый день пахнет! Фифа какая! У самовой отец не просыхает, самогонку варит, а мене все брешет, чтоб я энтим... приличным был! Как приду домой, так скандал! А я что, не мужик, что ли? Рази мне выпить нельзя? Да без вина на Руси ни одно дело не делается! Открывай, Бычок!

Бычок быстро распорядился и пустил бутылку по кругу. Когда очередь дошла до Вадима, он широким жестом взболтнул жидкость в бутылке и, перевернув, приставил к плотно сжатым губам. Лишь по губам чуть-чуть потекло. Передал бутылку следующему.

Чтобы не таскать "десятки" с грузовика, Вадим ухватился за толстый и тяжелый магистральный кабель, который был в автобусе, выволок его на снег и спросил у Кускова, где будет подключение. Бросив концы кабеля у энергетического щита с тыла Телетеатра, Вадим потащил другой конец через черный ход, через сцену в зал, где уже другие осветители устанавливали на треножники штативов огромные черные прожектора с рифлеными стеклами, защищенными металлическими сетками.

Кусков, от которого сильно пахло портвейном, ходил по залу среди кресел партера с видом метрдотеля дорогого ресторана, чему способствовал лоснящийся от старости черный пиджак и белая сорочка с черным галстуком.

Вадим подтащил конец кабеля к большой распределительной коробке, нагнулся, перевернул коробку и накинул крючки клемм на стержни болтов, привернув клеммы накрепко ушастыми гайка-

ми. Затем сходил с Кусковым и электриком Телетеатра к щиту, который на минуту обесточили, подсоединили кабель клеммами к специальным зажимам, и врубили нагрузку.

Разбросали шнуры к софитам, подсоединили, после чего сам Кусков воткнул рубильник на коробке, а вслед за тем - и на каждом приборе. Зал и сцена ярко осветились.

Кусков скрестил руки над головой и крикнул:

- На сегодня хорош! Все свободны... Завтрава к шести вечера прямо сюды...

Вадим радостно взглянул на свои черные от кабеля ладони. Пока мыл руки в туалете, думал об Ольге Игоревне, дома ли она сейчас или на работе, думал и о Славе - где он? Жаль, что нет у них дома телефона. От администратора Телетеатра позвонил на студию, оказалось, что Слава сегодня выходной.

Вадим несколько огорчился.

Слава, выбритый, наодеколоненный, гладил брюки. В кресле дремал лохматый кот Васька. Ольга Игоревна еще не пришла с работы.

- А, старичок! - сказал приветливо Слава, когда Вадим вошел в комнату. Дверь в квартиру ему открыла полная соседка.

- Только что в Телетеатр аппаратуру забросили, - сказал Вадим, чтобы что-то сказать. Разумеется, откровенничать о тайне тайн с кем-либо он не собирался, но чувствовал внутреннее напряжение: не догадывается ли Слава о чем-нибудь.

- Там клево работать, - сказал Слава. - Я однажды там пару месяцев кантовался. И палец о палец не ударил. Тяжело лишь в день приезда и в день отъезда... Вы с "десятками"?

Судя по спокойному тону, Слава, конечно, ни о чем не догадывался.

- Да. Восемь "десяток". Две на сцене по краям. Остальные в зале... Какую-нибудь муру будут снимать...

Слава усмехнулся и с долей некоторой надменности сказал:

- Это я свет заказывал. Да, старичок. Будем там работать. Съемка с монитора.

- А ты куда гладишься?

- А ты разве не знаешь, что у Жеки сегодня день рождения?

- Забыл.

- С тебя пузырь. Жека так распорядился. Сказал, увидишь Вадика, скажи, чтобы тащил пузырь.

- Ладно, - вздохнул Вадим и возбужденным взглядом посмотрел за перегородку.

Слава поставил утюг на подставку и громко сказал:

- Слушай, старичок! Я с матыгой лицевой счет разделил!

При слове "матыга" Вадим порозовел, но промолчал. Уж очень оскорбительным ему это слово показалось, но он не собирался воспитывать Славу.

- Отец потребовал, - продолжил Слава, надевая брюки. - К лету обещал квартиру... Но, - Слава грустно помолчал, - с женой. Говорит, что на одного меня провести через исполком не может. Там, говорит, очередь до второго пришествия. Женись, говорит, срочно. А где я сейчас жену найду, кругом одни б...! Что ты на это скажешь? - спросил он.

В это время кот принялся мусолить языком переднюю лапу и тереть ей за ухом.

Вадим задумчиво смотрел на кота.

- В этом вопросе, - сказал Вадим, - мне кажется, нельзя ни с кем советоваться. Это такое дело... загадочное, тайное, - он представил Ольгу Игоревну и покраснел, - что я не берусь тебе что-либо советовать...

- Это ты прав, старичок, - сразу же согласился Слава. - Дело щепетильное. Ты же должен понять меня, что я хочу по-настоящему жениться. Ну чтобы она меня любила и ухаживала, чтобы я ее любил, чтобы, как говорится, характерами сошлись.

- А с мамой ты не советовался? - спросил Вадим и на слове "мама" опять порозовел. Но Слава не смотрел на него.

- Советовался. Обещала в субботу кого-то привести. Ты приходи обязательно. Хоть со стороны посмотришь. Но... До лета надо во что бы то ни стало жениться. Отец уже на двоих записал там меня. Понимаешь?

Вадим сел в кресло, взял кота на руки и, поглаживая его, со вздохом сказал:

- Раньше были свахи, все выведывают, все обстряпают. А теперь, как волки в лесу, люди. Найти свое... единственное... по любви... практически невозможно. Вдруг да твоей единственной еще пятнадцать лет или, наоборот, сорок?

Вадим опять покраснел.

- Гм!.. Вопросец! - сказал Слава и воскликнул: - Да я бы взял лучше деревенскую или из какого-нибудь городка. Но где эта деревня и где этот городок, где "батончик" мой живет?

Вадим сменил тему:

- А кто будет у Жеки?
- Кто? Он, я, ты и три чувихи!
- Не новогодние?
- Нет. Женина баба и две ее подружки... Да какая разница, с кем спать! Это тебе не женитьба.

Вадим сбежал домой. Мама сидела у себя в кабинете и готовилась к лекции. Сегодня у нее были занятия с вечерниками. Мама была доцентом кафедры философии и научного коммунизма. Отчим еще не пришел с работы.

- Мам, у Жени день рождения, - сказал Вадим, целуя маму в щеку. - С-ссуди, сколько можешь, на подарок. - Свистнули лишние "с".

Мама пошевелила челку, взглянула на сына с улыбкой.

- Возьми сколько тебе нужно в моей сумочке.

VII

Водка продавалась и в рыбном, и в мясном, и даже в бакалейном отделах; ее продавцы охотно отпускали без очереди как штучный товар. Вадим купил бутылку "столичной" за 3 р. 12 к.

На столе была красная рыба, икра, сухая колбаса, лаково поблескивающие маслины, салат с зеленым луком. Остро пахло сельдереем и петрушкой, пучки которых живописно лежали на плоском большом блюде с рулетом из фаршированной щуки...

Черноволокный, похожий на цыгана Женя заиграл на гитаре и низким голосом запел:

Идут на Север, в строга огромные,
Кого ни спросишь, у всех указ.
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз...

Слава выпил и включил магнитофон "Астру", на котором скрипели, задевая друг друга, кассеты. Из магнитофона неслось:

В меня влюблялася вся улица,
И весь Савеловский вокзал...

Слава взял Вадима за пуговицу пиджака, шепнул:

- Ты тут только про женитьбу не бухни, а то не отвяжешься!

- Я вообще не имею привычки вести разговоры на подобные темы, - сказал Вадим.

Перемотали кассеты, поставили Битлов. Женя пригласил свою тощую девицу танцевать. По всему было видно, что эта некрасивая девушка нравилась Жене. Слава, поправив галстук, подлетел к более или менее смазливой подружке, а Вадим протянул руку невысокой скуластой девушке восточного типа.

Почему-то от нее пахло постным маслом. Она стеснительно поднимала свои черные глаза на Вадима и бледнела.

- Вы не помните, кто писал о Печорине? - спросил Вадим.

- Девушка наморщила лоб.

- Наверно, Пушкин.

Вадим вздохнул и больше девушку ни о чем не спрашивал.

В это время Женя поднял над головой руку с зажатой в ней бочечкой, вроде батарейки для карманного фонарика, с хвостиком проволочным, в изоляции, как показалось Вадиму.

Женя вскричал:

- В честь моего дня рождения сейчас салют будет!

Слава небрежно сунул руки в карманы своих отутюженных стального цвета брюк, кивнул на поднятую руку и спросил:

- Что это, старичок?

- Сигнальная шашка! - выпалил Женя, сверкая глазами, и побежал на улицу.

Вадим со Славой не спеша пошли следом. Остановились поодаль. Вышла тощая девица Жени. Тоже встала в сторонке. Женя чиркнул спичкой, поднес к короткому проволочному хвостику огонь. Проволочка вспыхнула ярко-голубым светом и, шипя, стала отбрасывать искры в стороны, как электрод у электросварщика.

- Бросай! - крикнул Слава.

- Погоди, - не понятно почему медлил Женя, жадно следя за шипящим огоньком.

Наонец он взмахнул рукой, и на взмахе раздался взрыв, сопровождавшийся яркой вспышкой, как от блица фотоаппарата. Запахло сгоревшим порохом и еще чем-то приторно-сладким.

Женя выронил дымящуюся шашку и обхватил лицо руками.

Вадим подбежал к нему, обнял и быстро повел домой. Все было очень напуганы. При свете в комнате рассмотрели фиолетово-

бордовый отек под правым глазом. И правая рука Жени была такого же цвета и волдырилась.

- Главное - глаз цел! - говорил подавленно Женя, рассматривая себя в зеркало.

- Дурак же ты, Женька! - обидчиво сказала ему его девушка. И принялась делать ему примочки.

Вадим собрался уходить, одевался.

- Посидим еще! - попросил Слава, судя по бледности лица, тоже сильно испуганный.

- Да ну вас к черту! - зло сказал Вадим. - Какая-то бестолочь. Зачем-то собираемся, пьем, едим... И эти, - кивнул он, - девицы... Чего мы хотим? Ни одного умного разговора для прочистки интеллекта. Какая-то тупость. А время уходит, уходит. И ты, Слава, не знаешь, чем себя занять. А ведь, сознайся, ничего из Достоевского не читал!

- Зачем мне твой Достоевский! - огрызнулся Слава, наливая в зеленоватый тяжелый бокал водки. - Что ты, как ребенок, с книжечками все своими!

- Ох-ох, грамотей выискался! - бросила Вадиму восточного типа девушка, с которой он до этого танцевал.

Слава медленно выцедил водку из бокала, взял руками пучок петрушки и поднес этот сочно-зеленый букетик к носу. Понюхав, он запихал весь пучок в рот и стал смачно жевать.

Женя лежал на диване и тихо постанывал.

- Меня еще про Печорина расспрашивал! - не угомонялась девушка восточного типа. - Не могу терпеть этих грамотеев! Как чуть что - начинают познания качать...

Вадим смерил ее с ног до головы насмешливым взглядом и с подчеркнутым хладнокровием сказал:

- В ваши годы, уважаемая, стыдно не знать, что Печорина написал не Пушкин, а Лермонтов. И называется все это про Печорина "Герой нашего времени", а также "Княгиня Лиговская"...

Девушка восточного типа вспыхнула, сжала кулачки и крикнула, не известно к кому обращаясь:

- Я же говорила, я же говорила! Смотрите, он же издевается над нами своими познаниями! Смотрите, это же гаденыш, которых голыми руками давить нужно! Он же над нами издевается! Он нас ни в грош не ставит! - она резко отвернулась, отошла и села на стул.

Слава, подумав, налил себе еще, затем сказал снисходительно и чуть заплетающимся языком:

- Старичок, будь вежлив с девушками. Ну, что ты хочешь от этих матрешек. У них же в голове мякина, а ты им о Лермонтове, Пушкине!

Смазливая подружка Славы, сидевшая до этого молча в углу, встала и, покраснев, воскликнула:

- Это у тебя, дурак, мякина! - и грозно пошла на Славу.

- Трудно прощаться, но еще трудней прощать, - сказал неопределенно Слава и на всякий случай обошел стол и остановился с другой стороны.

- Да хватит вам трепаться! - стонущим голосом сказал Женя. - Дайте отдохнуть!

Возникла неловкая пауза. Слава выпил еще раз, затем быстро оделся. Вадим поехал домой: пару остановок на троллейбусе. Слава пошел провожать девушек.

Придя домой, Вадим сразу же лег в постель, подбил выше подушку под головой, и в свете бра стал читать Достоевского. Вадим любил читать на ночь, лежа в постели. На грани сна и яви возникал через книжные строчки другой - представляемый мир, который, быть может, сильнее действует на человека, выкрадывает этого человека из реальности, крадет его жизнь, и чем больше человек читает, тем, по всей видимости, он меньше умеет и хочет жить сам.

Вошел отчим, высокий, привлекательный мужчина с серебристыми висками, спросил:

- Ты плохо себя чувствуешь?

- Нет.

- Что читаем?

Вадим молча показал серую обложку.

- Угу. Понятно, - сказал отчим и вышел.

Вадим с нетерпением впился глазами в черные строчки: "...в то морозное и сиверкое ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно надо было идти со двора "по одному весьма важному делу", а между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели, по некоторому экстремному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора..."

Вернулась из института мама, вошла, спросила:

- Ты картошку почему не купил?

Вадим вздохнул, переключаясь из одного мира в другой, и недовольно посмотрел на девическую челку мамы.

- Мам, очень важно в жизни молодиться? - не отвечая на вопрос, задал свой.

- Что ты имеешь в виду?

Вадим улыбнулся, помолчал, затем сказал:

- Ну, то, что сознание все-таки, на мой взгляд, первично. В том понимании, что оно постоянно поправляет материю. Тебе хотелось бы всегда выглядеть моложе своих лет?

Мама провела пальцами с длинными маникюренными ногтями по челке, сказала:

- Как ты всегда сложно говоришь! Вернее, отговариваешься. Лентяй ты, Вадька! - и другим тоном добавила, более жестко: - Завтра же купи картошки! Деньги на телевизоре оставляю! - и вышла, хлопнув дверь. Должно быть, обиделась за челку.

Вадим бежал глазами по строчкам, а сам думал о том, что книги и жизнь - несоизмеримые величины. Из-за книг он с недоверием относился к реальной жизни. И в последнее время так заразился этим недоверием, что начинал видеть одну лишь материальную, вульгарную сторону всего.

Блажен, кто забывается в книгах!

И Вадим забывался только в книгах. Он с некоторой долей страха чувствовал, что книги дают ему гораздо больше, чем люди. Для него воспоминание о людях всегда бледнело перед воспоминанием о книге.

Нейтральные строчки позволяли вести свою мысль, но вдруг эта своя мысль заглушалась: строчки исчезали и вставал тот застрочечный, забуквенный мир, облекался в плоть и кровь, напывался запахами, наполнялся звуками, раскрашивался красками, становилось, короче, предметным то, что не было таковым.

В данном случае такими строчками стали: "...в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка..."

И он увидел лицо Катерины, точь-в-точь похожее на лицо Ольги Игоревны, увидел красного кричащего ребеночка, с еще не перевязанной пуповиной, ребеночка со взрослым лицом Славы.

- Вы, Ольга Игоревна, так хорошо обо мне говорите... Как будто я и вправду все могу делать, - сказала Нина, которую пригласила Ольга Игоревна для знакомства со Славой. Нина залилась румянцем и принялась теревить тесьму скатерти, опустив глаза.

Вадим смотрел на ее чистенькую, худощавую фигурку, большой лоб и длинную косу, так не вязавшуюся с представлением о современной девушке, вслушивался в ее речь, и ему казалось, что она как раз подойдет для Славы этой своей наивностью и недалекостью. Рот у Нины был большой, и губы не закрывали зубов, что выглядело очень смешно, и она напоминала кролика.

Слава с Вадимом выходили несколько раз в коридор курить, и Слава, волнуясь и страявая пепел прямо себе под ноги, спрашивал с заметной дрожью в голосе:

- Ну, что скажешь, старичок? А?

- По-моему, для жены - в самый раз, - говорил Вадим, взвешивая в уме все "за" и "против". - Какая у нее прекрасная коса! Это же говорит о ее чистоте! - Вадим тут же хотел сказать о своем втрашнем дне рождения, на который он собирался пригласить и Славу, и - главным образом - Ольгу Игоревну...

- Но зубы! - болезненным тоном перебил Слава. - Рот, как у крокодила! Безобразный ртище! Как представляю, что с ней придется целоваться, дрожь в коленках начинается...

Возвращались в комнату, чтобы еще и еще раз всмотреться в Нину и вслушаться в ее голос.

Откровенно говоря, Вадиму с первого же взгляда эта девушка не понравилась. Она поразила его своим каким-то утомленным, крайне болезненным видом. Несомненно, она была молода, неплохо сложена, с почти что правильным (если бы не огромный рот!) лицом, но, в сравнении с Ольгой Игоревной, казалась угловатой, вялой и попросту глупенькой.

Сватовство она воспринимала очень серьезно, и так же серьезно говорила, как будто Слава уже согласился на ней жениться:

- Я не люблю, когда мужчины выпивают. У меня сразу это кончится. По хозяйству будем работать вместе. Нужно мужу ходить в магазины, мыть пол, чистить картошку...

По-видимому, главным в женитьбе она считала плановость и хотела это подчеркнуть. Она говорила:

- Детей необходимо заводить сразу, не откладывая. Я бы хотела иметь троих...

Ольга Игоревна слушала ее, затем сказала:

- Ты, милочка, уж очень прямодушна. Хотя в чем-то я тебя и поддерживаю. Все эти рассуждения, что мужчин нужно держать, или держать нужно женщин, я не разделяю. Нужно просто любить друг друга. Да, любить! - улыбнулась Ольга Игоревна и мельком взглянула на Вадима, который тут же покраснел.

Нина по-прежнему теребила тесьму скатерти и гнула свое:

- Ох, Ольга Игоревна, слышали мы про эту любовь. Одно расстройство. Ну, что такое любовь? Сгорит и дыма не останется, а жить нужно. И жизнь очень длинная...

По всему было видно, что Нина рассуждает с чужого голоса. Так рассуждают старухи и незамужние женщины в годах. Движения Нины, ее суховатая или, точнее, нарочитая улыбка, ее слова носили в себе что-то вымученное, холодное. Хотя, если честно, то по всем пунктам она была права: нужно друг друга уважать, деньги отдавать жене, не пропивать их, вести домашнее хозяйство, воспитывать детей...

Но беда в том, что это были не мысли живой души, девушки, а банальности, штампы, лозунги, от которых хотелось бежать и делать все наоборот: изменять жене, не просто жене, а именно такой жене, пропивать подчистую получку, плевать на кухонную философию, и вообще уйти из дворца надуманной порядочности и валиться свиньей под забором.

Обо всем этом думал Вадим, с удовольствием рассматривая Нину, еще и еще раз убеждаясь в том, что она поет с чужого голоса. И чтобы проверить свою догадку, Вадим спросил:

- Нина, вы слышали что-нибудь о непротивлении злу?

Так же рассудительно Нина сказала, как на экзамене:

- Да, слышала. Это учение Толстого. Оно ошибочно, потому что если не противиться злу, то оно сокрушит все и мы окажемся в каменном веке.

- А кто такой Печорин? - заинтересовавшись, спросил Вадим и заметил, что Ольга Игоревна встрепенулась и едва заметно побледнела, вероятно, вспоминая, что Печорин - такой же молодой человек, который любил женщин среднего возраста.

Задав вопрос, Вадим ожидал услышать стандартное: лишний человек. Но не услышал, потому что Нина покраснела и сказала:

- Печорин очень хороший человек, потому что ему скучно и он не нашел еще себе жену, чтобы она его образумила. Как только Печорин женится, так и успокоится. Он умный мужчина. Но он не знает, что делать со своим умом. Еще дороги своей не нашел. И цели у него нет.

Пока она говорила, Слава бледнел, потел, вздыхал и незаметно подливал себе сухого красного вина.

Вадиму же стало очевидно, что Нина - тяжелый человек, что всю жизнь она будет говорить штампами, вставать в позу, отчитывать мужа, качать права и так далее. Вадим махнул рукой на эту Нину и принялся разговаривать со Славой и с Ольгой Игоревной.

Но и с ними у него разговор не клеился, потому что Вадиму хотелось говорить о людях, томимых духовною жаждою, а Славе с Ольгой Игоревной - о тряпках.

К примеру, Ольга Игоревна сказала:

- Я тебе такое французское платье, Ниночка, достану...

- А мне еще пару батничков, - вставил Слава.

Наконец, когда прошло часа два, но еще не стемнело, Нина сказала:

- Мне пора!

Она это сказала таким тоном, как будто с нею кто-то собирался спорить. А Вадим видел в этот момент не лицо, а одни зубы, как в суре у Дали.

- Слава, проводи девушку до метро, - сказала Ольга Игоревна, вставая из-за стола.

Вадим тоже поднялся, сказал:

- Я тоже пойду...

- Отчего же, Вадик! - сказала Ольга Игоревна. - Посиди.

Слава понял эту остановку как желание матери обсудить кандидатуру Нины на должность жены. Слава подмигнул Вадиду, давая понять, что он скоро вернется и тоже примет участие в обсуждении. Глядя на него, Ольга Игоревна спросила:

- Слава, ты не купишь сахару на обратном пути? А то у нас кончилось... Да и хлеба прихвати. Только не бери бородинский, я не люблю. Как только дверь за ушедшими закрылась, Ольга Игоревна вспыхнула и обняла Вадима.

- Какой ты молодец что пришел, - сказала она. - Эта девчонка - то, что надо. Это она для начала такая. Но жена будет верная, обтешется. Славику другой и нельзя. Иначе он распустится...

Вадим молчал, вздрагивал, не слушал и гладил Ольгу Игоревну по спине. Затем взял ее руку в свои обе и медленно поднес к губам.

Они прошли на ее половину. Ольга Игоревна поспешно задернула занавески...

Потом она сказала:

- Милый... милый... милый!

И лицо ее при этом выражало блаженство.

К приходу Славы они сидели за столом и пили чай.

- Ну, что скажете? - спросил Слава, раздеваясь и рассматривая свой пробор в зеркале.

Ольга Игоревна так ушла в Вадима, что ни разу не взглянула на своего сына.

Вадим сказал:

- Я остаюсь при прежнем мнении: по-моему, это то, что нужно тебе. Все ее прописные истины в один момент улетучатся, как только вы соединитесь.

Слава громко засмеялся и, глядя на стол, спросил:

- По рюмочке еще пропустим?

- С удовольствием! - воскликнула Ольга Игоревна, отрывая наконец-то взгляд от Вадима и переводя его на сына.

Слава осмотрел запонки на манжетах белой сорочки, поправил фирменный (голландский!) галстук - сталисто-серый с золотой искоркой - и сел за стол.

Выпив, Слава промокнул крахмальным платком губы и вдруг вскричал:

- Глядеть противно было на эту невесту! А вы мне - подойдет! Фашистка какая-то... То нельзя, это нельзя, будешь делать так... Сама бы на себя взглянула в зеркало - кролик! Ни кожи, ни рожи!

- Слава! - одернула его мать.

- Да ладно, мам! Не тебе же с ней жить, а мне... Хоть бы, как говорится, чувство вызывала. А то, как вобла, как фанера... У нее грудь-то плоская!

- Слава!

- Ну что, Слава? Я двадцать два года Слава! - с чувством закончил Слава и добавил: - Сам себе найду!

Ольга Игоревна смущенно пожала плечами. Вадим, чтобы разрядить обстановку, сказал:

- Завтра мой день рождения. Слава, Ольга Игоревна, приходи-те, пожалуйста. Я приглашаю.

- Ты с Жекой вместе почти что, - сказал Слава.

Подумав, он выпил еще одну рюмку, а Ольга Игоревна протянула ему на вилке дольку апельсина.

IX

День рождения Вадима начался с того, что отчим подарил ему пыжиковую шапку, с искрящимся нежным мехом, пушистую, как Славин кот Васька, когда свертывался клубком и дремал в кресле, высохнув после мытья.

На кухне приятно пахло горячим печеньем, которое делала мама. Вкусное печенье, рассыпчатое, с застывшими капельками густого малинового джема.

- Слава, дай наш подарок! - воскликнула Ольга Игоревна, после того, как выпила вторую рюмку водки.

Слава развернул бумагу и торжественно поставил на стол бронзовую статуэтку Чернышевского, которого Вадим сразу узнал.

- Хотели купить Лермонтова, - сказал Слава, - но не нашли. В ГУМе одни Ленины чугунные и вот эти бронзовые Чернышевские.

Мама Вадика пожала плечами и сказала:

- Помнишь, Ольга, в седьмом классе родительское собрание?

- Что-то, Вера, припоминаю...

- Тогда еще классная... Отчим громко воскликнул:

- А не сыграешь ли нам вальсочек, Вадим?!

Вадим поднялся и подошел к черному, старому пианино. Он взял несколько аккордов, затем заиграл какой-то вальс Штрауса. Отчим тут же пригласил на танец Ольгу Игоревну. А Слава протянул руку маме Вадима. Отчим был в своем полковничьем мундире с двумя ромбиками - "поплавками", - свидетелевавшими об окончании двух высших учебных заведений. На службу и в праздники отчим ходил в мундире.

После вальса Слава подошел к Вадиму, сказал:

- Сбацай нашу!

Из-за стола шел разговор:

- Если б он со вниманием писал, - говорила Ольга Игоревна, - тогда бы не было ошибок...

- Об ошибках я уж и не говорю... Им все там казалось дурным, - говорила мама Вадима. - Школа в сфере правил и законов. А

этому противится живая душа. Она хочет полета. А в школе се-
рость забила все и вооружилась серыми учебниками.

- Да, ты права, - говорил отчим.

Слава нависал над сидящим за пианино Вадимом, просил:

- Сбацай нашу!

Но Вадим не стал "бацать нашу", а громко заиграл одну из со-
нат Бетховена.

- Гм... длинно! - сказал Слава, когда Вадим закончил и отошел
от пианино.

Вадим промолчал и печально посмотрел на Ольгу Игоревну, на
лице которой была написана скука.

- Верочка, а как ты делала это печенье? - спросила она.

Сначала мама Вадима покачала головой и поморщилась (гости,
по-видимому, уже начали надоедать ей), затем со вздохом сказала:

- Я тебе дам рецепт, Оля.

Отчим налил всем водки и предложил выпить за дружбу. На
щеках и на лбу отчима выступили красные пятна. Он выпил и стал
говорить о том, как хорошо выглядит Ольга Игоревна.

- Много вокруг женщин! - говорил он. - Но даю честное слово,
Вера, твоя подруга - это редкая женщина. Конечно, - усмехнулся
он, - есть и недостатки, - у кого их нет! - но все же вы, Ольга Иго-
ревна, очаровательны и очень молодо выглядите!

- Ну, что вы, - краснела Ольга Игоревна, - честное слово! Ве-
рочка куда очаровательнее!

Отчим взмахнул рукой.

- Вера вне конкурса! - и обнял жену.

Вадим смущенно смотрел на отчима и про себя клялся в любви
Ольге Игоревне, и приходил в ужас от своего поступка, который в
этой обстановке казался ему диким и бессмысленным, но сильнее
того ощущения, которое испытывал там, за перегородкой, предста-
вить себе не мог. Вадим поглядывал на отчима и все: щеки, глаза,
заметное брюшко, толстые губы - было сыто, лениво и противно.

Слава рассказал анекдот про Чапаева: "Василь Иванович! Бело-
го привезли!" - "Сколько ящиков?" - и все рассмеялись. Выпили за
дам. Отчим закусывал молча - теперь он имел хмурый, сонный вид
и смотрел важно, холодно, как начальник. У Вадима билось серд-
це и холодела спина.

Горел свет. Слава в наушниках стоял за камерой на краю сцены. Вадим сидел в ложе и читал Марселя Пруста: “Бришо, зрение которого постепенно все слабело, вынужден был, даже в Париже, все меньше и меньше заниматься по вечерам. К тому же он мало симпатизировал новой Сорбонне, где принципы научной точности, в немецком духе, начинали брать верх над идеями гуманизма...” В этот момент раздался грохот, отвлекший Вадима от чтения.

Слава вместе с камерой упал со сцены. Через микрофон прозвучал грозный голос ведущего режиссера:

- Что там у вас происходит! Картинка улетела...

Слава, постанывая и потирая колено, поднялся, и все заметили, что он пьян в дым.

Ведущий режиссер, лысый, толстый старикан, прибежал в зал из автобуса ПТС, мгновение соображал, затем, взмахнув рукой и указывая пальцем на дверь, заорал:

- Во-он!

Слава, покачиваясь, смело подошел к нему и, обдавая ведущего парами водки, пробормотал:

- Ша, дядя, ты на кого тянешь, а?

В этот момент что-то затрещало. Бригадир Кусков, такой же пьяный, как Слава, кинулся к распределительной коробке, которая стояла в проходе партера, споткнулся и упал. Туда же ринулся, раскачиваясь, как маятник, Бычок. Треск усилился, от распределки брызнули искры, затем ослепительно голубым светом озарился зал и все погасло. Тьма опустилась на Телетеатр.

- Скоты! - вопил в этой тьме ведущий режиссер. - Да они тут все пьяные! Дайте какой-нибудь свет!

- Не лапай! - взвизгнул голосок какой-то актриски со сцены.

- Бычок, бе-эги к щи-итовой, - орал Кусков откуда-то из-под стульев. - Вы-ыруби на-агрузку!

- Куда бежать, - откликнулся Бычок. - Ничего не вижу...

Запахло огнем, оранжевое зарево поднялось над партером: то горел паркет и занимались пламенем кресла.

- По-ожар! - завопил ведущий режиссер.

- Ну, че-эго гло-отку-то дра-ать! - окоротил его Кусков, снимая с плеч свой засаленный пиджак и принимаясь вяло стучать им по огню.

Вадим помчался в уборную, схватил там мусорное ведро, стоявшее в углу, вывалил мусор прямо на пол, налил воды и, вернувшись в зал, плеснул воду на горящий паркет. Пар пошел к потолку. Где-то сбоку вспыхнул дежурный свет. Кто-то тянул к месту аварии брезентовый пожарный шланг, но воды в нем не оказалось.

- Дураки! Нельзя во-одой! - крикнул Кусков, ошалело глядя по сторонам.

- Уже можно! - бросил вернувшийся от щитовой Бычок. - Я снял нагрузку!

Бычок сильно, как и подобает пьяному, сопел носом и вытирал ладонью обильный пот с лица.

Когда огонь был погашен и все успокоились, Кусков рассуждал:

- Бляха-муха, Сла-авка, па-аразит, сва-алился со сцены, вон там, кабель ка-амерой потянуло, ко-онтакт на ко-оробке замкнул-си! Ско-ольки разов го-оворил Чистопрудову, де-элай другие ко-оробки! Тут же ко-онцы го-олые рядом вты-ыкаем, полсантиметра зазор... Ду-ураку ясно, что...

Бычок склонился к нему, сказал:

- Ла-адно, тре-эпаться... Будешь?

- А чо, еще есть?

Съемка с монитора была отменена. Грозный ведущий режиссер сразу же укатил. Слава в пьяном веселии махнул рукой на все последствия и ходил в слабом свете дежурного освещения по сцене вприсядку. Его компаньоны - телеоператоры - хохотали. Они тоже были сильно навеселе и, когда явившийся пожарник попросил их очистить помещение, предложили ему прямо из горла, на что тот незамедлительно согласился, уйдя с бутылкой портвейна "агдам" в кулису.

Минут через сорок последствия аварии были устранены: пол затерт влажной шваброй (паркет был надраен мастикой), а подгоревшие кресла партера (всего в количестве трех) выскоблены и вычищены. Концы проводов, обгоревших и приварившихся к коробке, превратившейся в металлический слиток, обрублены топором.

- Хо-орошо, под ко-оробкой пла-астину положили, - сказал Кусков, в последний раз оглядывая пол, - а то бы про-ожгло наскрозь!

Обрубки кабелей, слиток бывшей коробки вынесли во двор и тщательно замаскировали в помойном баке. Монтеры связи привели в порядок упавшую телекамеру. Слава ходил возле них и спрашивал:

- Материального ущерба не нанес? А, старички?

- Все нормально, старик! С тебя пузырь!

- В получку поставлю!

Монтеры связи смеялись:

- В получку мы сами нажремся до поросячьего визга! Ты сейчас давай!

Слава разводил руки в стороны, говорил:

- Се... мы... сегодня все выжрали... Ста-арики, да-айте выпить! - говорил он, обводя взглядом группу.

Кусков снизошел, сказал Бычку:

- Да-ай, по-острадавшему...

Бычок артистичным жестом выхватил из заднего кармана брюк еще один "агдам".

- Э, тутова не надо! - закричал со сцены пожарник. - Вона, подите, - перешел он на шепот, - в примерную.

Слава запел:

Ямщик, не гони лошадей!

Мне некуда больше спешить.

Мне некого больше любить.

Ямщик, не гони лошадей!..

- Не грусти, человек! - вскричал Бычок, обнимая Славу и целуя его в щеку. - Пройдет и дождь, и снег... Каждый год, каждый век у любви есть дождь и снег!

Они пошли, покачиваясь, в боковую дверь зала. За ними двинулись остальные.

Вадим нагнал Славу на подходе к гримерной, сказал:

- Кончай ты это... Уже второй час ночи... Надо домой!

Вошли в тесную озеркаленную комнату, кто-то быстро распорядился, Слава выпил залпом стакан вина, хотел что-то сказать, но передумал, опустил на стул, тут же уронил голову на колени и упал на пол.

- Го-отов! - весело воскликнул Бычок, высасывая остатки вина из горлышка.

Кусков поглядел на его сияющее лицо и хмуро прогудел:
- На во-оздух его... Отва-аливаем!

Шофер автобуса давно уже томился в ожидании. Славу кое-как внесли в узкую дверь и уложили на заднее сиденье. Вадим сел рядом и все время, пока ехали, придерживал его, притискивая к спинке.

Вадим не просто нервничал, а им овладело чувство досады, настоящего отчаяния от бессмысленности и бесцельности этого телевизионного шоу. Неужели эти люди были рады и довольны такой жизнью? Вадиму хотелось сделать так, чтобы всем им вдруг стало стыдно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь, чтобы увидели темную улицу, услышали, как чавкает под ногами грязь, чтобы наконец-то поняли, что, проснувшись завтра утром, ровно ничего не обнаружат, потому что для того, чтобы что-то обнаружить, нужно создавать духовный задел сегодня. А завтра опять будет водка и этот бездарный балет столетней давности, будет огромная толпа, армия телевизионщиков: группа режиссера, администраторы, монтеры связи, телеоператоры, осветители, инженеры ПТС, бутафоры, гримеры, реквизиторы, балерины, шоферы автобусов и разъездных легковушек... То есть будет синдикат, Молох голубого экрана, который создаст такую бездарность, что даже ценитель балета, посмотрев минуты две-три, погасит этот голубой экран, дабы углубиться в книгу какого-нибудь самиздатовского гения, чтобы не похоронить себя преждевременно духовно.

Шофер автобуса включил приемник, который голосом Утесова зашел:

...Ну, так как же это все же получается,
Что-то в жизни перепуталось хитро...
А теперя плетемся тихо по асфальтовой...
Ты и я поникли... головой...

Эх, Маруська.

- С "ручником", парень, поедешь, - сказал Чистопрудов. - Вона, в каптерке возьми кумулятор...

Было шесть часов вечера, но еще не стемнело, день заметно прибавился, шел март четвертым числом. Кое-где у метро, из-под полы, цыганки торговали мимозой, теплое солнце подтапливало слежавшийся почерневший снег, из подворотен тянуло гнилью. Вольный весенний ветерок с юга приятно гладил по лицу.

Оператор, автор и Вадим сели в "Волгу" и к семи были в Шереметьеве. В сумерках поблескивали фюзеляжи самолетов, горели огни, светились окна аэровокзала и домиков аэродромных служб.

Автор побежал выяснять, где и что снимать, оператор и Вадим остались в машине. Оператор расстегнул "молнию" меховой курки, повернулся к Вадиму, спросил:

- Кто же нам ужин подаст?

Вадим недоуменно пожал плечами. Светлые глаза оператора смотрели весело и приветливо.

- Удивительно великолепный вид! - сказал он, кивая на огни и самолеты.

Вадим хотел что-то ответить, но в это время подбежал автор, вспотевший высокий и упитанный человек лет сорока, рывком распахнул дверь и крикнул:

- Скорей! Вперед! Зафрахтовал рейс! Начальник управления дал добро!

Оператор с Вадимом переглянулись. Оператор спросил:

- Я что-то не понял... Ты же говорил, что здесь на час всего работы...

Автор нетерпеливо схватил с коленей оператора кожаный кофр с кинокамерой, вскричал:

- Некогда рассуждать... В воздухе снимем ее. Понял! Туда-сюда до Симферополя! К двенадцати будем в Москве...

Побежали к рулежной дорожке, поднялись на борт ТУ-104, сели, не успели опомниться, как взревели двигатели, самолет качнулся и пошел на взлет. Никаких ремней не пристегивали. Салон был пуст. Автор нетерпеливо подталкивал оператора:

- Игорек, сними ее на взлете!

Вадим подключил "ручничок" к аккумулятору, который на кожаном ремешке болтался на плече, вспыхнули ярко-белым светом

грушевидные зеркальные лампы. Со звоном в ушах от перегрузки пошли к пилотам. Героиня сюжета в полторы минуты была борт-радисткой, сидела в наушниках, вытравленные до белизны кудри спадали на голубую форменку ГВФ, на маленьких погончиках желтели двойные треугольнички лычек. Полные губы радистки были сильно покрашены пронзительно алой помадой, отчего казалось, будто эти губы существуют отдельно от лица.

Оператор Игорь включил свой “Арифлекс”, черную компактную западногерманскую камеру, снял крупный, средний и общий планы при свете зеркалок. Когда вернулись в салон и сели в кресла, Игорь сказал:

- А в Симферополе, наверно, уже весна!

Вадим улыбнулся, подумав, сказал:

- Как странно, из-за ерундового сюжета гоняют самолет, создают условия... А настоящую жизнь никто не снимает...

- А в чем она, эта настоящая жизнь? - усмехнулся Игорь.

- Ну, хотя бы в том, что вот я ни с того ни с сего лечу на юг, смотрю в иллюминатор, вижу далекие мерцания огней...

Игорь оживился, крикнул автору:

- Посвети! - и сунул ему зеркалки.

Вадим испуганно вдавился в кресло, зажмурился от яркого света.

- Ну, старик, сиди, как рядовой, жизненный пассажир! - приказал Игорь, зажмурил один глаз, а ко второму поднес окуляр кинокамеры. Она почти что бесшумно зажужжала. Сняв “крупешник” Вадима, Игорь сказал автору: - Дашь этого “пассажира” на перебивку.

- А что, дельно, - сказал автор. - Очень даже дельно...

Самолет пошел на посадку, зажглась надпись над дверью: “Пристегните ремни”, но никто и не думал этого делать. Сели.

В симферопольском аэропорту со всех сторон в душу лезла весна: было такое чувство, как будто впервые вышел на волю после тяжелой болезни, глубоко вздохнул и впал в какое-то блаженное состояние веселого слабоумия, когда затихаешь от неясных предчувствий и улыбаешься без всякой причины всему и всем. Чудесные запахи распутившей зелени, которая благоухала повсюду и загадочно кучерявилась в свете фонарей, струились в теплое вечернем воздухе. Казалось, простора прибавилось, и небо повысилось, чистое темно-синее, бархатистое небо, щедро усыпанное гроздьями звезд.

К зданию аэровокзала вела по-летнему сухая асфальтовая аллея в обрамлении пирамидальных кипарисов.

- А не выпить ли нам хорошего вина? - воскликнул коренастый командир корабля и крепко обнял за талию бортрадистку.

В буфете аэровокзала тут же явилось первоклассное массандровское вино. Автор изъявил желание привезти в Москву к восьмому марта цветы - и это желание было быстро исполнено: командир корабля кому-то моргнул, и через минут пятнадцать охапка тюльпанов лежала на столе. Вино было чуть-чуть горьковатое и пахло виноградом.

Весны прибавилось. Стояли у кустов акации в свете фонаря, курили.

- Любаша - блеск у нас! - сказал второй пилот, кивая на бортрадистку, и цирково, скинув фуражку, сделал "колесо", пройдясь по сухому асфальту на руках.

Автор ухмыльнулся, пожал плечами и подошел к Вадиму.

- Ну-с, молодой человек, довольны прогулкой?

- Да. Это как-то странно. Только что были в Москве, а теперь в Крыму... Здесь настоящая весна! - с чувством сказал Вадим и пошел к Игорю.

Игорь сказал:

- В этом вечере есть что-то от романтических пейзажей Куинджи...

Помолчали. Вадим, подумав, спросил:

- А почему вы без ассистента?

- Да вот подыскиваю себе, - сказал Игорь, закуривая тонкую длинную сигарету с темным фильтром "Филипп-Морис".

Вадим взволнованно и непосредственно выпалил:

- Возьмите меня!

Игорь смерил Вадима задумчивым взглядом и вдруг спросил:

- Кто такой Констебль?

- Знаменитый английский художник, - сказал Вадим. - Родился, кажется в конце XVIII века, а умер в один год с Пушкиным - это я точно помню... У него прекрасные пейзажи... Помнится, на одном в реке стоит телега, собака, кажется, сеттер, лает с берега, облачное небо, слева домик с черепичной крышей, купы деревьев... и много воздуха... Особенно замечательна фигурка рыбака в высокой траве на противоположном берегу, где лодка привязана... Такой жизнью веет от этой работы!

Игорь просиял и даже пальцами щелкнул.

Послышались голоса.

- Скоро в Москву? - спрашивал автор у командира.

- Сейчас груз кое-какой возьмем... уже загружают... и поедем,
- отвечал тот.

Пошли в самолет. Вадим сел рядом с Игорем. Сначала заговорили о живописи, потом же незаметно перешли к литературе, причем, было высказано много упреков, недоумений и даже насмешек по поводу ее низкого уровня. И далее, как это водится во всех русских компаниях, перешли на политику. Автор, сидевший сзади, в азарте перегнулся к ним через спинку сиденья и говорил:

- А какое образование они получили, какое? Да никакого!

- У них образование не требуется, - сказал Вадим и продолжил: - Дело не только в образовании, то есть не столько в общей эрудиции, сколько в этизации образования, интеллигентизации...

Самолет заходил на посадку в Шереметьеве.

- Вадим, ты мне нравишься, - сказал Игорь, когда они прощались у машины. - Завтра приходи к нашим кабинам к десяти часикам. Я буду.

Вадим пришел домой в половине второго ночи. Поел супа прямо из кастрюли и поставил свежий южный букет тюльпанов в хрустальную вазу на кухонном столе.

Перед сном в своей комнате полистал альбом Джона Констебля, подумав о том, что бы было, если бы он не знал этого художника, затем завел будильник, лег и сразу же заснул.

XII

Когда утром шел через холл студийного корпуса, встретил сначала дикторшу Светлану Моргунову, затем актера Юрия Яковлева, затем телеоператора Кипарисова. Тот на вопрос Вадима о Славе сказал:

- Старичок, жалко старичка, но пойми, старичок, такого старичка держать нельзя... Перевели его в супера... И то хорошо, старичок. А то бы совсем - тю-тю... Ведущий настрогал такую телегу, еле разгрузили ее! Так-то, старичок!

За углом направо, где была комната телеоператоров, а за нею выход во двор, к цеху осветителей киногруппы, Вадим увидел Славу с Жекой и очень удивился последнему. Они молча курили.

- Привет! - достаточно весело сказал Вадим и спросил у Жеки: - Какими судьбами?

Жека провел узкой ладонью по своим длинным цыганским кудрям, посопел и сказал:

- Да вон, Славка привел устраивать в администраторы. Тут одна чувиха сказала, что им срочно нужен администратор. В киногруппу...

Вадим сунул руки в карманы брюк (плащ был распахнут), оглядел печального Славу и сказал:

- Слышал, что ты теперь в суперах будешь... Слава швырнул окурок в урну, зло отозвался:

- Гаденыш какой этот режиссер оказался! Не думал, что среди нашего брата такие сволочи есть. Стукач!

- Славка, советую бревна в собственном глазу рассмотреть, а не выискивать соринки в чужом! - с чувством возразил Вадим. - Ну, что ты как алкаш нажрался? Ладно, тяпнули для настроения и хорош!

Помолчали.

Слава тоже сунул руки в карманы брюк, приподнялся на носках, вздохнул и, заведя глаза в потолок, сказал:

- Это ты прав, старичок. Лишку взял на грудь, каюсь.

- Ты куда? - спросил Жека.

- Да надо зайти в киногруппу... На съемку мне в час, - сказал Вадим.

- И мне в час, - сказал Слава. - Ты куда, случаем, не на фабрику в Люберцы?

- Туда, - сказал Вадим. - Я один заказан. Пару зеркалок возьми... Значит, синхрон, раз ты тоже едешь. А кто такая оператор Ларина? - спросил Вадим.

- Ого! - воскликнул Слава и поднял большой палец.

Вадим пошел в корпус, где помещались кинооператоры. Он миновал дверь с табличкой: "М. Хуциев. Руководитель (художественный) т/о "Экран"", - и в дали коридора увидел оператора Игоря.

Игорь в замшевой серой куртке, в брюках со стрелочкой, в замшевых полуботинках, приветливо поднял руку. Вошли в комнату, где размещались операторские кабины.

- Ну, вот мое хозяйство, - сказал Игорь, открывая дверь своей кабины-шкафа. - Я уже говорил с начальством... Хорошо, что ты уже немножко натаскался в осветителях, знаешь суть дела... Пиши заявление!

После представления начальству, Игорь рассказывал, что у каждого, кто здесь работал, были свои особые привычки и притязания. Одни операторы, вполне сформировавшиеся люди, имевшие свой самостоятельный взгляд на вещи, пробивали свою тему, отыскивали авторов и режиссеров. Другие, равнодушные, шли по течению, творческая сторона дела их нисколько не интересовала, да и никаких далеко идущих планов и намерений у них не было. Они-то, как правило, обслуживали информационные программы, лепили минутные сюжеты, не заботясь об их качестве. Игорю тоже приходилось делать эти сюжеты, поскольку основная часть киногоруппы занималась именно текущей оперативной хроникой. Только с созданием т/о "Экран" забрезжила надежда на производство полнометражных документальных фильмов. Собственно говоря, те, кто стремился делать настоящее документальное кино, и были здесь настоящими кинооператорами, в основном молодыми, подвижными людьми; у них вся жизнь была впереди, и каждый из них надеялся стать когда-нибудь великим художником экрана, вырвавшись из этого чистилища минутных сюжетов.

Подавляющее большинство кинооператоров, прошедших через телевизионную кинохронику, были уверены, что они унаследовали высокие художественные традиции кинооператоров, носивших бархатную куртку и берет, однако лишь единицам удавалось достичь своей цели (уже давал себя знать Ю. Белянкин, а также М. Голдовская); то же большинство, обессилев, опускало крылья и после десятилетия сюжетных коротышек начинало относиться к своему искусству как к самому затрапезному ремеслу: день прошел - и слава Богу! Среди этого отряда кинооператоров попутно разгорались страсти по поводу заграникомандировок или постоянной приписки к какому-нибудь корпункту в Дании или ФРГ, откуда они столь же ремесленнически подавали бы свою двухминутную продукцию о загнивании буржуазного общества для информационных программ.

Когда Вадим пришел в осветительский цех и положил бумагу о переходе в ассистенты кинооператора перед Чистопрудовым, тот нехорошо выругался и посмотрел на Вадима брезгливо, как на не-

полноценного человека. Внизу, под антресолями, крепко ругались бригадиры из-за каких-то шнуров, которые один не желал уступить другому.

Да, здесь был совсем другой мир, чем тот, в котором Вадим только что побывал и в который собирался отплыть навсегда. Но и здесь Вадим уже чувствовал себя как дома и жадно вбирал в свою память крепкие слова и грубые обороты речи, иронические реплики и дикие выкрики, запоминая все это столь же благоговейно, как и тщательно продуманные, спокойные слова Игоря.

Вадиму казалось, что там он - один человек, а здесь - совсем иной и все-таки тот же самый. Вадим радовался тому, что жизнь открывала перед ним еще одну страницу, и он гордился тем, что эти грубоватые и веселые осветители считают его, как казалось Вадиму, вполне достойным своего общества и не сдерживают перед ним своих шуток. С удовольствием думал Вадим о будущих спорах с Игорем, о том, как серьезно и пристойно он будет с ним дискутировать о творческой сути кинематографа, располагая, однако, и другими приемами полемики, ибо Вадим считал для себя очень важным быть в курсе жизни всех слоев общества, со всеми познакомиться и все узнать.

К часу он вызвал машину (то была обязанность осветителей, они загружались первыми), сунул в багажник "микрика" картонную коробку с двумя двойными зеркалками, шнур и распределительную коробку и поехал за оператором Лариной. Она уже поджидала у подъезда, высокая, красивая, чуть полноватая женщина с распущенными каштановыми волосами. С минуту подождали звуковика, который вышел со своим чемоданчиком-магнитофоном. Потом подъехали к студийному корпусу, где их приветствовал широкой улыбкой и поднятой рукой Слава. У ног его стоял серебристый большой кофр с синхронным "Арифлексом".

Вместе со Славой в автобус влез Жека.

- С нами прокатится, - сказал солидно Слава. - Будущий администратор.

Звуковик, высокий парень в очках и с заметной плешью, зевнул со сладкой мукой, замирая, выгибаясь и напрягаясь чуть не до судорог. Когда выехали на Ленинский проспект, залитый веселым солнцем, звуковик сказал:

- Ох, хорошо бы вздрогнуть, а то вчера с корешами до утра просидели.

Он еще раз зевнул и, не открывая глаз, торопливо вялыми руками достал из пачки сигарету и закурил, глубоко затянулся, издав губами всхлипывающий звук.

- Неплохо бы! - воскликнул Слава и потер ладони.

- В такую погоду грех не выпить, - сказал шофер, обернувшись на мгновение.

Вадим с грустью вздохнул, уставился в окно, как бы ожидая, что на это скажет Ларина.

- А мы в кафе заедем. Там есть шалманчик возле обжешития.

- У вас отменный коллектив! - с чувством сказал Жека.

В Люберцах тормознули у магазина, скинулись, Вадим неохотно протянул пару рублей. Слава сбежал, принес две бутылки водки и подмигнул Лариной.

В кафе-стекляшке, где только что помыли кафельный пол и пахло баней, расставили на столике граненые стаканы и за два приема опустошили обе бутылки, закусив винегретом и бутербродами со шпротами. Причем Ларина пила наравне со всеми.

В общежитии ткачих установили камеру и свет, звуковик подключился, надел наушники, Ларина взглянула через камеру на юную грудастую ткачиху в ситцевом платье, нажала клавишу пуска, но камера не пошла. Вадим погасил зеркала. Слава полез в камеру. Поковырялся, прочистил рамку. Но камера не захотела опять идти. Слава, сопя носом, с шуточками вновь принялся за ремонт: рвал пленку и бросал ее себе под ноги.

- Салат! - воскликнул он. - Рвет перфорацию.

Жека, сложив руки на груди, поблескивая захмелевшими глазами, наблюдал за происходящим, затем сказал:

- У меня еще пятерка!

Звуковик сбросил на магнитофон наушники, крикнул:

- Кто сколько может! - и выскреб из карманов тридцать копеек.

Ларина извлекла из сумочки трешку и сказала:

- Возьмите колбаски закусить и черного хлеба!

Жека сбежал.

Камера так и не пошла, и на нее махнули рукой. Сидели с ткачихами за столом и голосили:

А в терем тот высокий
Нет хода никому...

Вадим больше не пил, убирал в автобус камеру, штатив, свои осветительные принадлежности, чемодан звуковика; сам звуковик лыка не вязал и дремал за столом. Слава увлек грудастую ткачиху в темную комнату, вроде стенного шкафа. Ларина курила, положив ногу на ногу и сильно обнажив смуглое полное колено. Она говорила о чем-то с ткачихами. Ларина являлась и автором, и режиссером, и оператором пятиминутного сюжета, в котором должна быть и производственная (съемка на фабрике), и бытовая (общечитие) сторона. Бытовую сторону решили перенести на завтра. Слава грозился взять другую камеру.

К десяти часам вечера шофер стал нервничать. Наконец все сели в автобус: Славу под руки втащили Вадим и Жека.

Шофер ссадил Славу, Жеку и Вадима у вокзала. Жека хотел провожать Славу до дома, но Вадим сказал, что сам доведет. Жека поблагодарил за отменный съемочный день и ушел. Вадим довел Славу до крыльца, усадил на ступеньку, но тот не пожелал сидеть, а сразу лег. Вадим обошел одноэтажный деревянный дом, постучал в светящееся окно. Выглянула Ольга Игоревна, улыбнулась. Когда она, в халате и в шлепанцах на босу ногу, вышла на крыльцо и увидела сына, всплеснула руками.

- Ну, что ты будешь делать! - воскликнула она.

Принесли Славу в комнату, раздели, уложили в кресло. Вадим хотел уходить, но Ольга Игоревна обвинила его шею и с придыханием сказала:

- Мы тихо... мы как мышки... Он не проснется... Он не услышит...

Они прошли за перегородку. Ольга Игоревна, разбирая широкую деревянную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

- Я в положении... Надо сделать чик-чик...

Вадим вздрогнул и почувствовал свое сердце, перебойно толкнувшееся в груди. Ольга Игоревна легла, а он сел с краю, задумался, затем в каком-то отчаянии скользнул руками под сорочку и высосался в ее губы.

XIII

На другой день, с утра, когда еще темно было в комнате и из-за перегородки слышался звонкий храп Славы, Вадим оделся и сказал Ольге Игоревне:

- Я люблю тебя, и по живому чик-чик... Нет!

- Дурачок мой... Но что же делать...

- Ольга... Оленька... Я женюсь на тебе...

Она села на постели. Вадим видел белеющие в темноте лицо, плечи, большие груди, руки - и все это, думал он с волнением, принадлежало ему, только ему, и та жизнь, которая теперь зарождалась в этом теле - тоже принадлежала ему. И от этих мыслей взбухало сердце, звенело в голове. Ольга Игоревна включила ночник и надела сорочку.

- Я хочу ребенка! - прошептал страстно Вадим и покраснел.

Ольга Игоревна испугалась, всхлипнула. Она вдруг почувствовала неловкость, даже стыд.

- Вадим, ты словно подозреваешь с моей стороны игру, - забормотала она. - Но то, что ты говоришь, нелепо...

- Ах, да разве жизнь состоит из того, что лепо! - повысил он голос.

- Тсс...

- Ни разу мы не поговорили прямо! - Вадим не договорил и сел на кровать. - Я люблю тебя, хочу на тебе жениться, иметь детей... И это ни в коем случае не противоречит нормальной жизни... Да мало ли примеров, когда один супруг много старше другого... Я в этом не вижу ничего предосудительного...

Ольга Игоревна слушала, и его разговор нравился ей. Для нее была приятна эта смелость Вадима, с какою он, не задумываясь, решает большой вопрос и строит окончательные выводы.

Она вдруг спохватилась, что любит Вадимом, и испугалась.

- Уходи скорее, пока соседи не проснулись...

На улице все еще было темно. Вадим оглянулся на деревянный дом, на крыльце которого горела тусклая лампочка, и почувствовал, что любит не только Ольгу Игоревну, но и этот деревянный дом, странным образом уцелевший во дворе почти что в центре Москвы, любит кирпичную стену, на которую выходили окна перегородженной комнаты Ольги Игоревны и Славы...

При воспоминании о Славе Вадим поморщился, поднял воротник плаща и быстро пошел домой.

В квартире была тишина. Мама и отчим еще не вставали.

Было пять часов утра. Вадим лег, хотел заснуть, но ему не спалось. Он взял книгу, принялся читать, но строчки расплывались перед глазами. Он положил эту книгу, взял другую, с иллюстрациями.

В книжке много говорилось о гениальности, о смелом желании идти своим путем и тому подобных вещах, о взбалмошности, превратностях судьбы. Перевернув последнюю страницу, Вадим закрыл книжку и задумался. Где-то в глубине души, возможно, еще бессознательно, он решил всего себя без остатка посвятить операторскому искусству. До этого он шел к выбору цели как бы вслепую, а сейчас, этим утром решил окончательно.

Он поймал себя на мысли, что и в его жизни, подобно жизням многих людей, наступил момент тщеславных мечтаний. Он сильно засомневался в том, что, избрав себе какой-нибудь род деятельности и желая достичь в нем хотя бы скромных успехов, люди непременно должны подводить под свои начинания массивный фундамент далеко идущих замыслов и планов с претензией на гениальность. Ведь отличие таланта истинного от мнимого, по-видимому, заключается лишь в том, что настоящий талант не кричит о себе на каждом углу, но ежедневно тянет лямку творчества, изредка озаряемую вдохновением.

Вадим лежал и думал то о том, как он будет снимать свои фильмы, то об Ольге Игоревне. Томительное чувство счастья, которое он испытывал при этом, граничило приблизительно с восторгом, каковой он испытывал в объятиях Ольги Игоревны, и таинственность их молчаливого согласия придавала воспоминаниям сладостную прелесть. Губы Вадима хранили воспоминание о поцелуях, теплых, но в то же время свежих и прохладных, как роса.

Он незаметно задремал, вокруг него кружил рой туманных призраков, сновидение сменялось сновидением, и они были то многоцветные и яркие, то темные и душные, а потом внезапно темно-лиловый мрак рассеивался, и его сменяла светлая голубизна, которая переливалась пестрыми цветами поляны, по которой, как Афродита, гуляла Ольга...

Вадим открыл глаза.

Перед ним стояла мама, в сорочке, с открытой грудью, и спрашивала, шевеля за плечо:

- Тебе не пора на работу? Будильник еще десять минут назад прозвенел... Ну и спишь же ты!

В девять Вадим был уже на студии. Достаточно потрепанная съемочная группа отправилась в Люберцы второй раз. Слава сидел рядом с Вадимом, дрожал и лягал зубами с похмелья. По молчаливому согласию остановились у магазина, купили пива, и до самого места тянули его из горла. Кроме оператора Лариной и Вадима.

В гроыхающем цеху Ларина снимала ткачих без синхрона. Затем, забрав девочнок с работы, покатили в общежитие. Камера пошла сразу, сюжет сняли за два часа.

Когда ехали обратно, Слава сказал Вадиму:

- Старичок, пойдем к сеструхе. Приглашала. Там она с подружкой будет. Во! - Слава поднял большой палец, затем пригладил волосы, чтобы четче был виден пробритый прибор.

- Мне не хочется, - сказал Вадим.

- Да ты что, старик! Я обещал, что приведу тебя! Батя с мачехой укатили на юг!

- В Крым?

- А ты откуда знаешь?!

- Позавчера был там, - сказал Вадим.

- Ну ты даешь!

- Честно. Слетали туда-сюда. Снимали бортпроводницу.

- Понятно, старичок!

Со студии поехали к сводной сестре Славы на Пресню.

Стол был сервирован закусками. Стояло две бутылки армянского коньяка и шампанское.

Две симпатичные девушки - брюнетка и блондинка - сидели в низких креслах, выставив напоказ длинные ноги. Слава чмокнул в щеки ту и другую, потер руки, поспешно открыл бутылку коньяка, налил в рюмку и выпил.

- Ну, бабы, еле доехал до вас! - воскликнул он. - Три головы, как у змея, с утрава было!

Вадим спросил:

- Так, какая же твоя сестра?

- Угадай? - сказала брюнетка.

И Вадим угадал:

- Вы.

- Точно. Я, - сказала она и встала. - К столу!

- В честь чего праздник? - спросил Вадим.

- В честь восьмого марта!

- Так это же завтра.

- А мы заранее, с ночевкой!

- Ну, если так, то...

Повеселевший Слава наливал коньяк в рюмки.

- Тост! - воскликнул он. - Тост за великолепных герлочек!

- О, ес! - завопили девушки и бросились к столу.

К вечеру Слава был сильно навеселе, да и девицы от него очень уж поотстали. На столе горели свечи, и легкие тени от танцующих скользили по стенам. Блондинка льнула к Вадиму, прижималась крепкими, как яблоки, маленькими грудями и коленями. Вадим кое-как старался держать дистанцию и думал об Ольге Игоревне.

Внезапно Слава скинул пиджак, затем снял рубашку, следом майку и закричал:

- Купаться!

К удивлению Вадима, сестренка моментально разделась до гола и, сверкая розовыми ягодицами, побежала за Славой в ванную.

- Я тоже хочу! - капризно протонала блондинка, оттолкнула Вадима и принялась стаскивать юбку через голову.

Вадим увидел полноватые бедра и плоский тугой живот, отвернулся и поспешно закурил, чтобы погасить волнение.

- Пошли! - приказно крикнула блондинка, схватила Вадима за руку и потянула в ванную.

Вадим обернулся, увидел торчащие снежно-белые груди, пьяные глаза, задрожал и что было силы, размахнувшись, ударил блондинку по щеке.

- Это гнусно, гнусно! - крикнул он и побежал вон из квартиры, на ходу надевая плащ и сильно хлопая дверью.

XIV

Восьмого утром Вадим долго валялся в постели, проклинал Славу за приглашение к сестренке, проклинал и себя за то, что ударил глупую пьяную девчонку по лицу.

Не сдержался.

После завтрака читал Марселя Пруста: “Я различал во мраке поля, слышал море, мы стояли в открытом поле. Альбертина, прежде чем мы присоединились к ядру кружка, смотрелась в зеркала, вынимая его из золотого несессера, который она носила с собой. В первый же раз, когда г-жа Вердюрен провела ее с собой наверх в свою туалетную, чтобы она могла оправиться перед обедом, я ощутил, среди того состояния глубокого покоя, в котором я находился все последнее время, как во мне шевельнулись тревога и ревность оттого, что я должен был расстаться с Альбертиной...”

Вадим отвлекся от чтения и подумал, что, прежде чем пойти к Ольге Игоревне, нужно узнать - дома ли Слава, а для этого следовало заехать к его сестренке, чего, в сущности, Вадиму делать не хотелось, но страстная жажда встречи с Ольгой Игоревной понуждала.

С мамой и отчимом пришлось выпить вина, от которого волнение в крови возросло, особенно когда Вадим представлял Ольгу Игоревну у себя за перегородкой. Когда он поднялся к квартире Славиной сестренки, то, прежде чем позвонить в дверь, настойчиво затвердил себе, чтобы Слава был тут, чтобы он никуда не собирался уходить.

Дверь открыла сама сестренка, усмехнулась и сказала:

- Заходи, я сделаю кофе!

И он вошел, хотя догадался, что Славы здесь нет. Сестренка закрыла за Вадимом дверь на замок, повернув два раза ключ. У Вадима забило сердце от бессознательного страха, хотя в то же время он радовался всему этому приключению и думал о том, как выйти из него с честью, не ударив лицом в грязь. Об Ольге Игоревне он в этот момент почему-то совсем не вспомнил, а думал лишь о самом себе и хотел испытать свою стойкость.

Им овладело какое-то странное романтическое чувство долга, заставлявшее смело идти навстречу каждому необыкновенному испытанию.

- А где Слава и подружка? - спросил Вадим, усаживаясь в кресло и спокойно глядя на довольно смазливое лицо юной сестренки, которая была в белом халатике.

- Поехали куда-то добывать деньги, - вздохнула сестренка. - Мы на нуле, а праздник только начинается!

Вадим сразу же снова ощутил замешательство, потому что сестренка села рядом напротив, беспечно обнажив ослепительно прекрасные ноги. У Вадима зарябило в глазах, и лишь постепенно его лихорадочный взгляд стал привыкать к красоте и спокойствию движений этой юной козочки. Потом она принесла кофе, села подле Вадима и сказала:

- Зря ты убежал вчера...

Она внимательно посмотрела ему в глаза, затем внезапно обняла его за шею и спросила:

- О чем ты думаешь?

- Не знаю, - ответил он смущенно.

- А ведь я, - продолжала она, - готова съесть тебя заживо. - И она еще крепче прижала его к себе.

Вадим густо покраснел от неловкости, так что ему показалось, что он обожжет ее белое плечо своей пылающей щекой.

- Ты такой красивый, - говорила она.

И бормотала что-то еще в таком же духе, а Вадим против воли упивался каждым словом этой сладостной лести. Глаза его были устремлены на ее грудь, чистые и строгие линии которой вырисовывались под тонким полотном. Это мгновение было настолько прекрасно, что его хотелось продлить, и оно даже не испугало Вадима. Только вызвало неостановимую дрожь. Для того чтобы подавить эту удручающую дрожь, он обнял сестренку и поцеловал ее в губы. Она ответила на его поцелуй крепким и горячим поцелуем. А он, закрыв глаза, представил Ольгу Игоревну, одна рука его машинально проникла к ней на грудь под халатик, а другая гладила сквозь ткань низ живота.

- Значит, ты меня немножко любишь? - спросила она.

Вадим отпрянул и совсем растерялся: сказать "да" - значило совершить настоящую измену.

- Нет, - выдавил он, краснея.

Сестренка разомкнула свои руки, но сделала это так странно, так бессильно, что у Вадима перехватило дыхание, и он почувствовал, как мучительно больно ему расставаться с этой девушкой. Он двинулся к ней и снова хотел нащупать ее крепкую и острую грудь, но она, оттолкнув его от себя, тихо сказала:

- Отваливай! Я себе чувака вызову сама! Слышал!

Вконец посрамленный Вадим пошел к двери, а сестренка, громко смеясь, крикнула вдогонку:

- Импотент!

Вадим проглотил и это, пошел, не оглядываясь, к лифту. Ольга Игоревна, как только он вошел, схватила его и принялась целовать, и Вадима объял такой жар, что он, стремясь охладить его, целовал, удерживал и снова целовал ее влажные губы. Целуя Ольгу Игоревну, он испытывал такое чувство, точно прикасался губами к свежей розе. Какое-то таинственное, благоуханное дыхание исходило от этой красивой и сильной женщины и вливалось в Вадима живыми токами. В нетерпении они буквально метнулись к постели...

Наступили сумерки, а они все не расцепляли объятий. Вдруг за окном послышались голоса. Ольга Игоревна быстро надела сорочку и поспешила задернуть занавески.

- Открой, Ольга, это мы! - прогудел мужской голос.

Вадим лежал молча, не шевелясь, и ощущал болезненное бие-ние какой-то жилки в виске. Что это за люди, почему они так нагло кричат?

- Это с работы, - прошептала она.

За окном с насмешливой старательностью принялись на три голоса петь песню. Хмельные голоса сильно вибрировали. Когда и это не помогло, они принялись свирепо ругаться, а один из них принялся толкать форточку, чтобы заглянуть в темную комнату. Форточка открылась, и большая рука отстранила занавеску. Лазутчик тотчас же разглядел Ольгу Игоревну благодаря ее белой сорочке.

- Так она тут! - крикнул он приглушенным голосом своим товарищам.

У Вадима в голове пронеслась цепь самых непристойных мыслей. Он спросил чуть слышно:

- Как это понимать?

Ольга Игоревна быстро села на постель.

- Я же сказала, что с работы. - И подумав, добавила: - Смешные мужики! Иногда заходят ко мне выпить.

Она встала и, пока за окнами о чем-то совещались и никто не заглядывал в форточку, выдвинула на центр комнатки торшер и бросила на него белое покрывало с кровати, после чего бесшумно легла и привлекла Вадима к себе. Кровати из окна не было видно.

Кто-то еще раз просунул руку в узкую форточку, раздвинул занавески, вглядываясь в комнатку, и крикнул:

- Да это не она, это какое-то белое покрывало... Ну и нажрался же ты, Пашка! Если б она была дома, то давно бы пустила! Не знаешь, что ли, Ольку!

Через некоторое время их голоса смолкли.

- И кто-то из них лежал в этой постели?! - ревниво выпалил Вадим и сам испугался своих слов.

Он обнял ее и стал целовать. Но затем, прекратив внезапно свои ласки, он задержал руку на ее щеке и заметил, что по ней тихо стекает слеза. Тяжело вздохнув, Ольга Игоревна сказала:

- Ты, оказывается, жестокий!

- Но ведь кто-то из них всерьез может быть твоим любовником!

Она ничего не ответила и припала к его губам горячим, упругим ртом.

XV

В апреле приступили к съемке небольшого фильма "Учитель геометрии", авторского фильма Игоря, которому с трудом удалось его пробить. Ассистент Вадим замерил экспонометром свет, выставил на синхронной камере диафрагму, поправил свет: взял без осветителей два прибора. Звуковик надел наушники.

Пожилой лысоватый учитель геометрии сел к столу. За его спиной на стене висели многочисленные фотографии в рамках. Игорь посмотрел в камеру, затем, вздохнув, сказал:

- Вадим, как ты думаешь, хорошо будет сразу с общего плана переходить на крупный? - и добавил: - Мне это что-то не нравится. Теперь каждый играет трансфокатором...

Игорь еще раз склонился к камере, взглянул в окуляр и покрутил трансфокатор за металлическую ножку, то удаляя учителя, то приближая.

Вадим, задумчиво глядя на фотографии в старинных рамках - черных, золотистых, под цвет дерева, резных, - сказал:

- А что, если так... Сначала в кадре только стол и стул... Без героя... Потом останавливаем камеру, чтобы ничего не сдвигать... Осторожно сажаем его, - Вадим кивнул на старика, - и снимаем на общем плане сначала, потом с наездом до крупешника... Когда он заканчивает говорить, останавливаемся и тоже аккуратно герой

уходит, а мы доснимаем без него... То есть у зрителя создается впечатление, что учитель как бы врывается в кадр и также внезапно исчезает...

Игорю понравилось предложение.

Свет на учителя падал и из окна, и от бокового софита, и от контрольного, так что ярко серебрились виски и вокруг головы стояло сияние, отдаленно напоминавшее нимб.

Начали съемку. Учитель говорил:

- Геометрия развивает пространственное представление и воображение, способствует более образному, объемному восприятию многих сторон жизни. Человек, не знающий начертательной геометрии, уподобляется точке, ползающей по плоскости и неспособной выйти в третье измерение. В свое время мой отец, директор судостроительного завода в Астрахани, говорил, что геометрию следует знать каждому культурному, интеллигентному человеку, так как еще Ломоносов сказал, что геометрия - изначальница всех мыслительных изысканий.

Учитель задумался, грустно глядя в объектив работающей камеры. Игорь в свой микрофон спросил:

- Иван Иванович, кого вы относите к интеллигентным людям?

- Людей корректных, деликатных, добрых, неспособных на подлость, хамство, имеющих относительно высокий уровень культуры и образования, для которых умственный труд является одной из форм существования.

Перед учителем на столе стоял стакан в золотистом подстаканнике, лежали очки, в линзах которых сфокусировался жемчужинками яркий свет, пачка сигарет. Учитель закурил. Игорь задал вопрос:

- Следите ли вы за последними литературными публикациями? Что вы можете сказать, например, о романе Дудинцева "Не хлебом единым"?

Выпустив струйку голубоватого дыма, учитель сказал:

- Стараюсь следить, насколько позволяет мне мое свободное время и возможность приобретения хотя бы для прочтения этих книг. "Не хлебом единым", в определенном смысле, относится к той же категории произведений, что и "Теркин на том свете" Твардовского, "Один день Ивана Денисовича" Солженицына, "Хранитель древностей" Домбровского и других. Отношусь к ним в целом положительно, так как в них впервые с полной откровенностью

рассказано о том страшном времени, которое пришлось пережить поколению наших отцов и матерей, да и в определенной степени нам самим. Что касается художественной ценности этих произведений, то тут не все однозначно и одинаково. В последнее время с глубоким вниманием и болью прочитал повесть Фазиля Искандера “Созвездие Козлотура”.

- Ваш отец был другом Сергея Мироновича Кирова. Расскажите немного об отце.

Глаза учителя вспыхнули, он словно весь вошел в потусторонний, закамерный мир, - так впился взглядом в широкую загадочно темную линзу объектива.

- Киров долгое время работал в Астрахани, бывал у нас дома. В ту пору мне было лет пятнадцать и я уже многое понимал. Помню, Киров принес бутылочку хорошего вина, они сидели за столом с отцом, говорили, кажется, это был прощальный вечер: Кирова переводили в Ленинград. Потом был очередной съезд, на котором за Кирова было подано голосов намного больше, чем за Сталина. Это и послужило причиной убийства Кирова. Вскоре пришли за отцом. Примерно через два месяца нам разрешили с ним встретиться в астраханской тюрьме. Я был убит видом отца: он превратился в бордовую водянистую глыбу - вместо глаз и рта - черные дыры на бесформенном вздутом лице. Каждый день ржавая селедка и вода, вода и ржавая селедка. Пытали его так: ставили в шкаф, закрывали, а сверху на голову капала вода...

Глаза учителя подернулись влажной пленкой.

- Почти что всех участников того съезда и тех, кто знал Кирова лично, - сказал он, - уничтожили... Сталин говорил, что он вел партию к единству. К какому же единству он привел ее? Борьба мнений и течений была запрещена в ней вообще. И рядовые коммунисты, и члены ЦК лишились права обращаться к партии, даже если вопрос был коренной, принципиальный. Единство партии с убийством Кирова и его сторонников основывалось на беспрекословной воле вождя, на личной преданности ему. Другими словами, то было единство слепое, безыдейное. И сила партии превратилась в ее слабость. Вождь повел не туда, а члены партии, обязанные в такой ситуации кричать, молчали, не смея воспользоваться своими правами и обязанностями. Нам еще предстоит выяснить, где кончаются заслуги Сталина и начинаются ошибки, где кончаются его ошибки и начинаются его преступления... Я воевал на Сталинград-

ском, Донском, Юго-Западном, 4-м Украинском, 1-м Белорусском, 2-м Белорусском фронтах, был автоматчиком, разведчиком. Три раза ранен, контужен, награжден орденами и медалями, участник Парада Победы в Москве в 1945 году, но никогда не кричал: “Вперед, за Сталина!”, потому что знал, что это за личность, и с недоверием относился к тем, кто это кричали, кто на чашу весов суда истории кладет победу советского народа в Великой Отечественной войне как оправдание всех или почти всех деяний Сталина. Принцип “победителей не судят” - не наш принцип. Нам далеко не безразлично, как победа достигнута, какой ценой.

- Вы сказали, что воевали в разведке. Не могли бы рассказать о каком-нибудь значительном эпизоде из фронтовой жизни?

Учитель отнесся к этому вопросу без всякого воодушевления.

- Говорят, что о войне и о болезни, - сказал он, - рассказывать нельзя. Это надо пережить.

Вадим с еще большим уважением смотрел на учителя, а Игорь задал еще один вопрос:

- Что вы думаете о тех людях, которые “воевали” при штабах, а после войны громче всех кричали о своей роли в победе? Знаете ли вы таких “героев”?

Учитель нервно загасил сигарету о пепельницу, сказал:

- К сожалению, есть такие люди. Это воры - они стараются присвоить чужое. Таких людей приходится встречать и сейчас, видеть по телевизору, на трибунах!

Когда вернулись на студию и Вадим сдал отснятый материал в прозявку, Игорь предложил заехать к нему.

- Дам кое-что почитать, - добавил он.

Трамвай бежали по Шаболовке, высекая из серебристых рельсов бело-рыжие искры. У проходной тормознул обшарпанный “Москвич” - пикап, и из него вышел актер Ульянов, в кепке-букле и в хромовых сапогах.

В доме Игоря на многочисленных полках стояли Толстой и Гамсун, Набоков и Гумилев, Пастернак и Достоевский, Гроссман и Платонов... Большая часть книг была русскоязычными вариантами западных изданий. Игорь сунул Вадиму книгу в мягком переплете, обернутую в газету, сквозь прорыв которой виднелось одно слово названия: “...террор”.

- Наше свободолюбие, - сказал Игорь, глядя в глаза Вадима, - еще зачастую не более чем жалкий недоносок. У нас недостает

истинной смелости и интеллигентности, которые вносят в сложную политическую жизнь бодрую живость ума. Ты думающий парень и тебе надо глубже всматриваться в жизнь людей. Я убежден, что знание многочисленных жизненных обстоятельств и отношений приносит молодым гораздо больше пользы, чем все нравственные теории.

Вадим выслушал это и после паузы, подумав, сказал:

- Последние приходят к человеку только с опытом, в известной мере как компенсация того, чего уже нельзя изменить. Поэтому, я думаю, книги столь же необходимы молодым, как и живое знание жизни. Умные книги придают живой жизни форму, как гений облекает в совершенную форму грубый кусок глины.

XVI

Щелкнув пальцами, Слава, облаченный в черный пиджак с шелковыми лацканами, в галстук-“бабочке”, парящей над белой сорочкой с кружевными всплесками вдоль планки с перламутровыми пуговицами, сказал:

- Старичок, тебе лучшее место! - И убрал со столика, приютившегося в углу за колонной, табличку: “Стол не обслуживается”. Затем, подумав, присел на минуту, сверкнув белым пробором: - На хрена мне это телевидение сдалось! Здесь я без четвертака в день не выхожу! Да еще продукты! Сыт, короче, старичок, пьян и нос в табаке!

Вадим сидел молча, не шевелясь, как будто напряженно взвешивал в уме: где выгоднее работать - на телевидении или в ресторане. На самом деле он думал о том, как скорее вырваться от Славы и бежать к Ольге Игоревне.

- Что ты молчишь, старичок? Укормлю, упою!

Вадим пожал плечами, сказал:

- Я же не пью, ты знаешь. И есть что-то не хочется...

- Это мы посмотрим. А я тебе шашлычок с соусом сейчас изготворю! И баба должна подойти. Женюсь! - воскликнул Слава и, бросив перед Вадимом меню, помчался на кухню.

Через некоторое время Слава, грациозно лавируя между столиками, держа на ладони поднос, подлетел к Вадиму, поставил перед ним на хрустящей скатерти закуску и графинчик водки.

- Салатик, старичок, - Слава закатил глаза и чмокнул щепоть пальцев, - закачаешься! Рыбка - севрюжка, маслинки, лимончик, свежие помидорки!

И все в уменьшительной форме, чтобы сами слова лоснились и приобретали вкус, запах и цвет.

Вадим смотрел на Славу, и странное ощущение чуждости, даже враждебности приобретали эти словечки, и весь Славин вид в черном костюме с поблескивающими шелковыми лацканами, с "бабочкой", с легкомысленными кружевами белоснежной сорочки отталкивал.

- Ща я с тобой рвану рюмочку, - сказал Слава, быстро наливая в рюмки из тонкого стекла водку, оглянулся, вытянулся и выпил, бросил в рот маслинку и побежал куда-то.

На эстраде ударили в барабаны, взвизгнула труба и басовито загудел саксофон. Худошавая певица в длинном бархатном малиновом платье запела:

От поцелуя дрожу весь вечер...

Вадим поморщился и выпил.

В глубине зала показался Жека с двумя женщинами. Черные кудри Жеки падали на узкие плечи сталистого пиджака. Увидев Вадима, Жека приветливо замахал рукой, затем обхватил за талии обеих женщин и быстро подвел их к столу. Одна из женщин была невероятно полной, с огромнейшей грудью, распирившей облегающую тело синтетическую "водолазку", и могучими бедрами, едва позволившими ей усесться за небольшой стол.

Потерев руки, Жека мигом распорядился, налил себе и Вадиму. На столе было две рюмки.

- Я только что врезал, - сказал Вадим.

- Ленка, давай тогда ты! - предложил Жека толстухе, чья грудь нависала грозными утесами над столом.

Бархатные глаза толстухи вспыхнули, по щекам разлился румянец, как заря на утреннем небосводе. Она послушно и очень медленно выпила, поставила рюмку, затем пошевелила огромные свои груди ладонями. Судя по всему, лифчик ей сильно жал.

Жека оглянулся, затем украдкой достал из кармана бутылку водки, сорвал зубами пробку и под столом, между колен, перелил содержимое из бутылки в графинчик. Тут появился Слава с пышущим жа-

ром шашлыком для Вадима. Поставив поднос на стол, он склонился к толстухе и поцеловал ее в губы, затем, как бы случайно, коснулся пальцами груди, нажал и резко отпустил, как от резиновой груши.

- Мигом оформлю! - сказал он и через минуту принес недостающие рюмки, фужеры, ножи и вилки.

- Ну, как тебе на телевидении? - спросил Вадим у Жеки, чтобы поддержать разговор.

Деловито налив рюмки, Жека сказал:

- С Алешкой Габриловичем попал на картину... Буду ходить за ним с портфелем, туго набитым деньгами.

- Молодец, старичок! - воскликнул Слава и, оглянувшись, выпил, держа рюмку за ножку двумя пальцами и оттопырив мизинец, на котором поблескивало колечко с зелененьким глазком.

Из-за соседнего столика какой-то грузин крикнул:

- Официант, да-ра-гой, давай шашлыку!

Слава поклонился своему столику, попятился, развернулся, прищелкнул пальцами и на одной ноге помчался в кухню, откинув занавески на двери, как театральный занавес опытный актер.

Обслужив всех, кого нужно, Слава присел к столу, традиционно оглянулся и выпил фужер водки. Вадим даже озноб почувствовал. Далее события разворачивались стремительно: Слава, заметно покачиваясь, пошел за шашлыками, но пришел без них, бледный, напуганный. Он сказал:

- Метр домой гонит, а я не пойду! - И тяжело опустился на подставленный Жекой стул.

- Я тебя провожу, - сказал Вадим, понимая, что тем самым он лишает себя возможности побыть с Ольгой Игоревной наедине.

Слава посопел и, обмотав вокруг пальца угол хрустящей ска-терти, сделал легкое движение, и закуски, шашлыки, бутылки с минеральной водой, графинчик с водкой, рюмки, фужеры, ножи и вилки посыпались со звоном на пол.

Славу пришлось везти домой на такси. Дверь открыл пьяненький сосед Коля, так как в окнах не было света и Ольга Игоревна не выглядывала. Может быть, задержалась? Вадим обещал быть в половине десятого, а сейчас только восемь часов.

Жека покопался в карманах Славы, нашел ключ, открыл дверь. На пороге стояла Ольга Игоревна в халате, лицо ее пылало румянцем. Увидев Славу на руках у Вадима, она быстро проговорила почти что шепотом:

- Положите его здесь, на пол, я сама его приведу в порядок!

Эти слова показались Вадиму очень странными. В этот момент Слава очнулся и двинулся в сторону комнаты, оттолкнул мать и упал на пороге. Вадим кинулся поднимать его и, мельком бросив взгляд в комнату, заметил на спинке стула милицейский мундир с полковничьими погонами и двумя институтскими “поплавками” на груди. В голову сильно толкнулась кровь. Не понимая, что он делает, Вадим перешагнул через Славу, заглянул за перегородку и увидел седовласую голову отчима.

Глаза их встретились, и на лице отчима выразилось недоумение, граничащее с испугом. Вадим оглянулся на Ольгу Игоревну, которая, сложив руки и поднеся их к губам, тихо всхлипывала, но не плакала, слез не было, и Вадим в одно мгновение понял, что она играла страх, но самого страха не было.

Вадим вновь переступил через Славу и, ни слова не говоря Ольге Игоревне, бледный и растоптанный выскочил в коридор, где у входной двери курил сосед Коля.

Вадим резко остановился возле него и спросил отрывисто, шепотом:

- Часто у нее бывают эти... - Он не договорил.

Коля не спеша открыл дверь и вышел вместе с Вадимом на крыльцо. Почесав небритый острый кадык, Коля сказал:

- Каждый день, вот тебе крест. Что за шлюха такая! Не пойму! И тебе-то, вижу, давала... А ты-то дурак и уши развесил! Да проститутка она обыкновенная, вот кто она по всем официальным статьям должна быть! Да я, знаешь...

Но Вадим уже не слушал пьяненького соседа Колю. Не было сил слушать, и он, обхватив голову руками, побежал через двор к воротам, на улицу, и все бежал, бежал, бежал, пока не обнаружил себя у подъезда собственного дома. В голову ударило: как он посмотрит в глаза мамы, чей муж сблизился с другой женщиной, не просто с другой, а с той самой, в которую до беспамятства был (да, уже был!) влюблен ее сын! Чувство омерзения и гадливости нахлынуло на Вадима, сердце сильно билось и болела голова. С трудом подавляя в себе все это, он все же пошел домой, и сумел вполне спокойно посмотреть на маму, которая как ни в чем не бывало спросила:

- Ужинать будешь?

Он заставил усилием воли себя улыбнуться и ответить:

- Я ужинал в ресторане.

- Где-где?

- В ресторане, - твердо повторил Вадим и добавил: - У Славы. Он теперь работает официантом в ресторане. С телевидения он ушел.

Подумав, мама сказала:

- Может быть, он поступил правильно. Вообще, мне кажется, он очень недалекий мальчик.

- Ты права, - сказал Вадим, пошел к себе, открыл книгу, обернутую в газету и стал жадно глотать страницу за страницей, чтобы выбить из головы все впечатления постыдной жизни людей, не облагороженных интеллектом и нравственностью.

XVII

Несколько отстраненно Вадим поговорил обо всем случившемся с Игорем. Туда же, где оставалось что-либо непонятное, погруженное во мрак, Игорь вносил яркий свет уже разъясненного, и этим светом озарял темные углы жизни, так что каждое понятие оставалось до поры до времени неосвещенным и незатронутым, ожидая наступления своего срока, как серая стена дома ожидает утренних лучей солнца. Даже тогда, когда приходилось отказываться от объяснения чего-либо, например, похоти, он отступал с убедительным указанием на то, что все совершается в полном соответствии с необходимостью и что предел, ограничивающий человеческое поведение, никоим образом не означает предела для действия законов природы.

С отчимою Вадим избегал встреч, а если встречался, то старался из-за мамы не подавать виду, что между ними что-то произошло, однако задача осложнялась тем, что приходилось вместе садиться за стол, не каждый день, разумеется, но достаточно часто в течение недели, и, встречаясь таким образом, Вадиму хотелось ни на мгновение не задерживать на нем взгляда, чтобы сохранить превосходство своего духовного существа, которое удавалось на некоторое время укрощать, то есть повелевать природными силами, терзавшими Вадима, и забывать об Ольге Игоревне, отчасти уже привыкнув к мучительному состоянию отрезанности от нее, позволявшему овладевать им чувством печального смирения, и Вадиму казалось, что все это можно стерпеть, лишь бы не было хуже.

После того, как отчим, оставшись наедине с Вадимом, все же сказал, приглаживая серовато-желтую прядь на виске:

- Это мужское дело... Ты должен понимать. Конечно, она мать твоего друга, но... Она прекрасная бабенка!

Тут Вадимом по-настоящему овладела тоска, он чуть было не заплакал, как заблудившийся ребенок, на несколько минут закрыл глаза и сказал себе: "Все кончено..." Но чтобы не утратить преимуществ" не совмещая в данном случае его с законами разума, Вадим каким-то чужим, скрипучим голосом бросил:

- Я до тебя с ней был близок и многожды!

Отчим не побледнел, не изумился, не напустился, - он усмехнулся, подмигнул Вадиму и похлопал его по плечу. Скорее всего, подобным интрижкам он не придавал ровно никакого значения. В отношении женщин природное и нравственное для него расходились, и пренебрегать любой случайностью сблизиться с хорошенькой женщиной он считал глупым. А Вадиму было стыдно своей наивности и страдания, стыдно своего заблуждения. Но он подзревал, что силы человека в борьбе с подобными заблуждениями - как раз то, что придает жизни цену. Тут он припомнил почему-то выражение Ольги Игоревны: "Чик-чик", - и подумал, что и она подлечит этому ножничному лязгу: чик-чик!

Ему понравилось это сравнение того, на что она в свое время намекала, с тем, что он вычеркивает, вырезает ее из своей жизни, и он нашел его весьма разумным, и даже почувствовал приятное тепло оттого, что так хорошо решил с этим "чик-чик".

Но еще больший смысл обрело это выражение на исходе мая, когда зеленые остроконечные трубочки разворачивались в листья, и Игорь, взвинченный после просмотра начальством фильма "Учитель геометрии", сказал:

- Предложили вырезать от стула до стула и снимать заново!

Потрясенный этим горестным сообщением, Вадим сказал:

- Чик-чик...

- Что?

- Я говорю - чик-чик! - и он пальцами изобразил ножницы и словно пощелкал ими.

Игорь не удержался от мрачной усмешки, сказал:

- Да, чик-чик... И меня тоже чик-чик! Я сказал, что ничего переснимать не собираюсь... Короче говоря, не сдержался. Поскандалили. Я сказал, что подаю заявление. Они не возражали.

Вадим ничего не ответил и беспомощно глядел в одну точку.

Игорь вздохнул и сказал:

- Ладно, чего грустить... Это всего лишь пленку режут... Чик-чик... А скольких людей тогда чик-чик?!

Вечерняя встреча с отчимом внезапно напомнила Вадиму о том, что ведь и он любил Ольгу Игоревну. Вадим поймал себя на мысли, что лишь умозрительно вычеркнул Ольгу Игоревну из жизни. На самом же деле она жила в нем каким-то шестым чувством, несмотря на то, что отчим был с нею, что сосед Коля называл ее потаскушкой. Вадима страстно тянуло к ней, но все-таки он находил в себе достаточно сил, чтобы побеждать эту тягу, тем более в последнее время он с головой ушел в фотографию: снимал портреты и жанровые сценки на улицах Москвы, проявлял многочисленные пленки, при свете красного фонаря печатал большеформатные, как для выставки, фотографии, которые собирался подавать во ВГИК.

Игорь уволился, и Вадим работал теперь с другим кинооператором, невысоким, коренастым Славой Степановым, которого все больше гоняли по заводам и фабрикам. Шумные ватаги осветителей, огромные “десятки” или “диги” высвечивали пролеты цехов, толстые черные кабели путались под ногами, Вадим таскал камеру за Славой, выбирали точку, затем устанавливал камеру на штатив (Слава не любил снимать с рук), замерял свет, просил осветителей подправить тот или иной прибор, в общем, делал то, что подобает ассистенту.

На заводах все больше стали митинговать, “теснее сплачиваться вокруг Центрального Комитета”, “единодушно одобрять и поддерживать”... Перед самым отпуском на экзамены Вадим попал со Славой Степановым на ЗИЛ, где в огромном цеху, в котором пахло моторным маслом и бензином, поставили грузовик с бортами, затянутыми красными лозунгами - эдакая экспромтная трибуна, - приставили к кузову сколоченную из свежих досок лестницу, по которой в кузов поднялся лысоватый В. В. Гришин. Боря Чесалин, бывший бригадиром на этой съемке, дал свет, а Вадим, взойдя на трибуну следом за начальством, приставил почти что к самому лицу Гришина темное окошко экспонометра, дабы замерить свет.

- Да одного меня так близко не надо снимать, - сказал Гришин, застыв в позе впервые пришедшего в фотографию провинциала.

Вадим разглядел тонкие лиловые прожилки на внушительном носу Гришина, повернулся и крикнул Чесалину, который к этому

времени был чуточку выпивши, чтобы добавил свету, которого явно не хватало, ибо огромный пролет цеха выкрадывал не очень яркое свечение пяти “десяток”.

Чесалин, в замшевом светло-коричневом пиджаке, пожал плечами и, когда Вадим спустился, сказал:

- Мало заказали... Надо было десяток “дигов” сюда, - и дыхнул дешевым портвейном...

Пространство вокруг митингового грузовика заполнялось рабочими, оторванными “по важному делу” от работы и поэтому стоявшими с мрачными лицами. Из уст одного парня в черной промасленной робе Вадим услышал:

- Через день треп устраивают! Как не надоест!

Вадим подошел к Славе и сказал:

- Не потянет... Надо на полную дырку снимать... Тогда зернище попрет такое, что нас за это дело чик-чик!

- Что? - переспросил Слава, заглядывая в камеру.

- Чик-чик, говорю! - повторил Вадим и изобразил пальцами ножницы.

У трибуны поднимался гул, вдали цепями гремел еще какой-то огромный станок. Слава подозвал автора, отставника-полковника из главной редакции пропаганды, и сказал, что снимать нет никакой возможности. Автор подозвал какого-то “шестерку” при галстук, а сам спросил у Славы:

- Что будем делать?

Боря Чесалин смело сказал:

- Ща сделаем! - и зашептал что-то на ухо автору.

Тот, помедлив, согласно кивнул головой. Веселый Боря быстро перекоммутировал со своими подручными “десятки”, которые затем вспыхнули ослепительно голубоватым светом.

- Чего ты ему шептал? - спросил Слава, когда автор отошел.

- А то, что в связи с опасностью, прошу, мол, на пару бутылок портвешку!

Слава грозно посмотрел Чесалину в глаза.

- Чудило! - сказал Слава и рассмеялся.

- Да я же вполне адекватно давал сначала! Я этого полкана давно за сек. Как митинг, так сшибаю с него поддачу! Уже, вижу, привык...

Тем временем В. В. Гришин, уставившись в бумагу, начал громко в микрофоны: “Вместе со всем народом, еще теснее сплотившись вокруг родной...”

РАННИЕ СУМЕРКИ

Вадим услышал голос все того же работяги:

- Изо дня в день все теснее сплываемся - скоро от тесноты задохнемся и ребра переломаем!

XVIII

Вадим уже начинал забывать про деревянный одноэтажный дом в глубине двора, и лишь изредка, в промежутки между экзаменами, когда читал или писал, вдруг ни с того ни с сего припомнил свет в окне, выходящем на кирпичную стену, шаги Ольги Игоревны, комнатку за перегородкой. А еще реже, в минуты, когда Вадима томило одиночество и ему становилось грустно, он смутно вспоминал ночные объятия и поцелуи, и мало-помалу ему почему-то начинало казаться, что о нем тоже Ольга Игоревна вспоминает, ждет его и что они встретятся.

Наконец, после того, как Вадим достаточно равнодушно обнаружил себя в списках поступивших, он отдался воле чувств и пошел в тот двор, к тому домику... Однако каково же было его удивление, когда на месте домика он обнаружил строительную площадку: экскаватор зубастым ковшом копал котлован, отваливая рыжую глину к кирпичной стене, поодаль лежали бетонные блоки, доски, какие-то металлические каркасы...

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ФИЛОСОФИЯ ПЕЧАЛИ

роман

1. ДОЦЕНТСКАЯ СТАВКА

Спешили прохожие, всяк за своим делом, с шумом пронеслись машины, тоже куда-то устремленные. Пахло талым снегом и согревающейся землей. Блинов свернул в свой переулок. Его дом, без архитектурных излишеств, стоял уже лет сто.

Блинов зажал трость под мышкой и вошел в полутемный подъезд, где на втором этаже помещалась его общая квартира.

Какой-то сгорбленный мужчина в кожаном старом пальто, черной поношенной шляпе рассматривал номера квартир, но не мог ничего путного разглядеть на ржавых табличках.

- Сорок пятая не в этом подъезде? - спросил дряблым голосом мужчина, поглядывая на белую бородку Блинова.

- На втором этаже, - удивленно ответил Блинов при упоминании его собственной квартиры. - А кто вам нужен?

Мужчина поправил шляпу, шаркнул ногой, сказал:

- Блинов... Георгий Михайлович.

- Это я, - бледнея и еще более удивляясь, ответил Блинов.

На какое-то время мужчина застыл в нерешительной позе, часто-часто заморгал, жадно вглядываясь в Блинова, чуть слышно выдал:

- Не может быть...

- Почему же не может, - с волнением сказал Блинов. - Я и есть Георгий Михайлович Блинов.

Они постояли с минуту, как иногда говорят, хотя чтобы выстоять минуту друг против друга, нужно обладать солидным терпением, но, тем не менее, они какой-то промежуток времени постояли друг против друга молча. Наконец Блинов, подумав, сказал:

- Что ж это мы, пойдёмте в квартиру.

Свет в подъезд падал сквозь сетчатую шахту лифта, который был сооружен в начале шестидесятых годов. Застекленная труба, по которой бегал лифт, была как бы прилеплена со двора к стене. Пока Блинов с гостем поднимались на второй этаж, Блинов напряженно вспоминал, думал, кто же этот мужчина. Перед самой дверью, крашенной коричневой краской и увешанной по обоим косякам кнопками звонков, Блинов оглянулся, еще раз с волнением взглянул на его лицо.

Что-то знакомое показалось ему в этом лице. Покопавшись в карманах, Блинов достал ключи, отпер дверь, пропустил мужчину перед собой в полутемный коридор. Соседи во избежание лишних оборотов счетчика держали включенной лишь одну двадцатипятиваттную лампочку около уборной. Другую, более сильную, каждый включал и выключал за собой сам.

Блинов захлопнул массивную дверь, нащупал черный выключатель. Коридор осветился. Гость в нерешительности стоял у стены, поглядывал на выцветшие обои, теребил в руках снятую с головы шляпу. Он стоял как раз в том месте, где возвышался коричневый косяк, упиравшийся в притолоку. По-видимому, здесь, в этом месте, когда-то была дверь или перегородка, разделявшая квартиру надвое.

Пришедший был лыс, по бокам и на затылке желтели, по всей видимости, от краски, редкие, свалявшиеся волосы. Блинов указал мужчине на свою дверь, тот нерешительно двинулся. Блинов погасил свет.

И тут Блинов догадался, кто это.

Жены дома не было, дверь была закрыта. Пока отпирал ее, гость и сам напомнил о себе:

- Я Волков, Евгений Степаныч... может...

- Евгений Степанович?! - подавляя волнение, с каким-то брезгливым удивлением воскликнул Блинов.

- Он самый, - прошамкал гость и хихикнул.

Блинов толкнул дверь, открывавшуюся вовнутрь, впустил нежданного гостя в комнату. Тот остановился в тесном закутке перед черным буфетом, ожидая, пока хозяйин затворит дверь, а когда она закрылась, сказал:

- Никак не предполагал, Георгий Михалыч? А я третьего дня карточки разглядывал в альбоме, тебя молодым увидел... Накатила тоска на грудь, думаю, дай разыщу Георгия, да и...

Блинов поморщился, что-то вспоминая, кашлянул тихо в бородку и сказал:

- Впрочем, дело прошлое. Величайшая мудрость - жить как живется...

Блинов прошел мимо гостя за книжные шкафы к окну.

- Раздевайтесь, Волков! - с дрожью в голосе сказал он.

Гость повел по сторонам бесцветными глазами, медленно желтыми пальцами стал расстегивать пуговицы своего потертого кожаного пальто. Блинов вернулся к двери, откинул занавеску, принял от Волкова пальто, шляпу, повесил на вешалку и вздохнул.

- Ну, проходите, коль пожаловали, - сказал он.

- Все дуешься? - хихикнул Волков и потер маленькие ладони.

Они прошли в кабинетную половину очень большой, тридцатипятиметровой комнаты, куда гляделись стеклами книжные шкафы. Блинов подобрал кое-какие бумаги с дивана, освобождая место для Волкова, кинул их на письменный стол, придвинутый к стене между диваном и этажеркой, на которой покоился мраморный пожелтевший от времени бюст Иоганна Вольфганга Гете в натуральную величину.

Хотя форточка была открыта, в комнате было душно. Наверное, с улицы так показалось Блинову, но он все же подошел к окну, сбросил шпингалет, растворил внутреннюю раму.

Волков стоял у дивана, но не садился. В сгорбленной его фигуре, вскинутой плешивой голове просматривалось что-то птичье. Он был одет поверх байковой коричневой рубахи в какую-то немислимую душегрейку, латаную-перелатаную, с торчащей там и сям черной и белой овчиной, но брюки на Волкове были вполне приличные, темно-синие со стрелочкой. Когда же Блинов присмотрелся, обнаружил по бокам этих брюк красные во всю длину прожилки.

- Вы, смотрю, Волков, в офицеры записались! - съязвил Блинов, усаживаясь на стул за круглым столом, стоявшим в центре комнаты.

Волков возвел водянистые глаза к потолку и с чувством выговорил:

- Сын подарил... Он у меня в Германии служит!

- Это да! - усмехнулся Блинов, доставая из кармана трубку.

Он не спеша набил ее табаком, закурил и посмотрел на Волкова. И по мере воспоминаний его подмывало в первые минуты по-

дойти к этому щедедушному человеку, взять его в охапку и вышвырнуть в окно. Но это - только в первые минуты. Всей Блиновской злости хватило на мгновение. Да за что, собственно, злиться на этого маленького, согбенного человека, которому, по всей видимости, уже семьдесят исполнилось?

- Вот зашел повидать тебя, - проговорил Волков.

- Ну, посмотрите! - деланно удивляясь, сказал Блинов и уставился, не мигая, на Волкова.

Ему не хотелось говорить так пренебрежительно, но акценты, сами слова выходили такими помимо воли Блинова.

- А я прощения просить у тебя пришел, - сказал Волков, закашлявшись.

Блинов поначалу опешил от этой фразы, хотел что-то сказать, но промолчал, нахмурился, не веря в реальность происходящего. Но Волков сидел тут, на диване, в его комнате. Откашлявшись, прикладывая кулачок ко рту, издавая хриплые, сдавленные звуки, он продолжил:

- Ты что же думал, Георгий Михалыч, что я совсем не осознающий человек?

Блинов молчал, слушал, облокотившись на стол, обхватив клинышек белой бородки ладонями. Густые тени лежали под глазами.

- Но я осознающий... Это ты неправильно понимал ситуацию, а я-то видел, понимал...

- Долго же вам пришлось осознавать... А как вы меня нашли? - перебил Блинов, не желая говорить о прошлом.

- Хм... А на что мосгорсправка?!

Блинов хотел еще что-то спросить, но в дверь постучали. Отворив ее, Блинов увидел испуганное лицо соседки, высокой седой старушки. Она ухватила Блинова за руку, вытащила в коридор. Он недоуменно посмотрел на соседку, прикрыл за собой дверь.

- Георгий Михалыч, дорогой, - затараторила старушка довольно громко, - с моим-то что делается! Ой, царица небесная, прости и помилуй! Звонила я, но никак не дозвонюсь!

- Да что такое? - вполголоса спросил Блинов. - Что с вашим мужем?

Старушка сжала руки на груди и, глядя по сторонам, прошептала:

- С утра ничего себе, встал, выпил чаю. Правда, не одевался. В белье пил. С вечера температура была. Ну, я в магазин сбегала.

Прибегаю, а он говорит, мол, одеваться хочу. Я ему: да куда ж одеваться? А он, мол, жену искать пойду. Пропала, говорит, жена. И за брюки. А я тут стою, смотрю на него. Он брюки-то расстелил, в одну брючину двумя ногами норовит попасть. Тычет обе ноги в одну брючину...

Блинов заволновался при этом рассказе, но внешне сохранил спокойствие, лишь щеки его несколько блее стали. Правда, совсем незаметно.

- Умоляю, Георгий Михалыч, позвоните вы в поликлинику, а то мне в комнате надо быть. Десять раз набирала, все занято, занято! - она сунула Блинову клочок газетки с номером поликлиники.

Настенный черный телефон находился невдалеке от Блиновской двери. Набрал требуемый номер, Блинов услышал короткие гудки, подождал и нажал пальцем на клавишу. Старушка ушла в свою комнату, осторожно притворив за собою дверь. Блинов набрал номер еще раз. Снова гудки. Но на третий раз послышались долгие, дрожащие позывные, трубку на том конце провода сняли. Блинов с расстановкой, не спеша объяснил случившееся с соседом; на том конце провода записали адрес.

Блинов повесил трубку, прошел, прихрамывая, к двери соседки, тихо постучал. Послышались торопливые шаги, она приоткрыла дверь. В щель Блинов разглядел кровать, бледное лицо соседа, утонувшее в снеге подушки. Сосед лежал с открытыми, стекленеющими глазами.

- Все в порядке, - сказал Блинов, отводя взгляд от больного. - Сказали, скоро будут.

- Вот уж спасибо! - пропела старушка. - Большое, большое спасибо!

- Да что вы, за что спасибо? - сказал Блинов, направляясь к себе.

На диване в той же позе, в какой оставил его Блинов, понуро восседал Волков. Увидев вошедшего Блинова, он едва заметно оживился, потер руки, спросил:

- Что-нибудь случилось?

- Врача соседу вызвал, что-то с ним не то.

- А-а, - протянул Волков.

Сложив руки на груди, опустив голову, Блинов расхаживал по комнате. Молча поглядывал на него Волков.

- Может быть, чаю? - вдруг спросил Блинов.

- А?

Блинов подошел к черному массивному буфету, отыскал в банке из-под кофе чай, взял заварной, пожелтевший, с отбитым носиком фарфоровый чайник и отправился на кухню.

Пока Блинов возился с чаем, в памяти отчетливо возник длинный, поблескивающий холодным кафельным полом типографский коридор с множеством коричневых дверей, черными табличками на них, плохо освещенный коридор с закутком, где располагалась так называемая труба, в которую укладывали вычитанные материалы и, нажав черную кнопку, опускали их в подвал, в наборный цех.

В корректорской свету было много, помимо яркой люстры на каждом столе стояли черные настольные лампы.

В один из дней сорок восьмого года, когда Блинов пришел на работу, его вызвали в красный уголок. За широким непокрытым столом, на котором обычно играли в шахматы в обеденный перерыв, сидел молодой человек в очках, что-то писал в блокнот. Блинов представился, молодой человек, заметив в руках вошедшего трость, предложил ему сесть.

- Вы знаете, что произошло? - начал приятным, вежливым голосом молодой человек, отвлекаясь от блокнота.

Блинов пожал плечами, ничего не сказал.

- Так вот, по вашей вине, - смущаясь, проговорил молодой человек и поправил очки за дужку, - во вчерашнем номере чуть не прошла грубейшая ошибка.

Он покопался в своей тощей папке, вытащил газетные подписные полосы, развернул.

Блинов взглянул на первую страницу, озноб пробежал по его спине: там на просторном поле стояла его подпись, причем завитушка и точка в его фамилии, как он обычно любил расписываться, были на месте.

Удивленный Блинов во все глаза уставился на молодого человека. Он посмотрел так потому, что как раз позавчера, то есть, когда готовился вчерашний номер, Блинов вычитывал вторую и третью полосы, не участвуя таким образом в сверке первой страницы. Он и сказал об этом молодому человеку, но того, видимо, не удовлетворил этот аргумент.

Блинов откинулся к спинке стула, встал, пересел на лавку, ближе к столу, холодный пот выступил на его лице. Молодой человек

ткнул красным карандашом в полосу чуть ниже названия газеты, “плашки”, как говорили типографские.

Блинов нагнулся, вчитался во второй абзац и на переносе “Сра-” споткнулся, легкий смех, вопреки ситуации, вырвался из его груди.

Молодой человек промолчал, опустил глаза. Блинов различил едва заметную улыбку на его лице. Сросшиеся брови молодого человека вздрагивали. Но он взял себя в руки, смахнул с коричневого пиджака воображаемую соринку, сказал:

- Конечно, я понимаю, в вашей работе всякое может случиться, но... Хорошо, что “свежая голова” выловил, когда, правда, тираж прошел... пришлось перепечатывать...

- Неужели вы думаете, что кто-нибудь бы заметил эту ошибку, да еще в таком дубовом материале? - неосмотрительно выпалил Блинов.

Вскинув на него темные сросшиеся брови, молодой человек неожиданно сказал:

- Я тоже так думаю, а если...

- Если, тогда и...

- Но как вы могли такой материал... Вы бы только его выверяли, в другом бы материале - куда ни шло...

- Так я же вам повторяю, - сказал Блинов, - позавчера я делал сверку второй и третьей... И подпись здесь не моя...

Молодой человек шмыгнул носом, снял очки, протер их о подкладку пиджака и надел.

- Как же не ваша? - спросил он.

- Моя, но не моя рука... Я не расписывался, понимаете!

Блинов еще раз взглянул на первую полосу, куда настырно тыкал красным карандашом молодой человек, и против воли засмеялся. Всего лишь одна буква, а смысл... Молодой человек, розовея, сложил полосы, засунул их в свою черную папку.

- Как бы там ни было, но факт свершившийся, и если ему дадут ход, то...

- А вы не давайте хода, - не вникая в происходящее, беспечно сказал двадцатидвухлетний Блинов.

Жалостливая улыбка выразилась на худощавом лице молодого человека, он покрутил в руке карандаш, сунул его в папку, кашлянул и, поднимаясь, спросил:

- Вы стихи, случайно, не пишете?

- Нет, я пишу “Философию печали”! - съязвил Блинов, заглядывая в темные глаза молодого человека.

Тот, видимо, не принял шутку, дернул своим коротким носом, как будто он о чем-то сожалел, сказал:

- А я вот пишу стихи...

Удивленный Блинов широко открыл рот.

- ...Да, пишу стихи, - продолжил молодой человек, поправляя ворот старенького свитера под горлом. - И вынужден заниматься такими делами, - он кашлянул, - разбираться, протоколировать... Да еще выслушивать смешки... Но я вам скажу откровенно, вы, видимо, не совсем чувствуете время, в которое мы живем...

- Почему вы со мной откровенничаете? - спросил Блинов. - Может быть, у вас метод работы такой?

Молодой человек вышел из-за стола, стал расхаживать вдоль стены, увешанной портретами и плакатами.

- Метод... - как бы про себя повторил он. - Мне двадцать четыре года. Какой там может быть метод... Но то, что вокруг нас происходит что-то не так - это я понимаю... Мне вас нечего стесняться, мы почти что ровесники... Вы воевали? - вдруг спросил он.

- Да, - ответил Блинов, пристукивая тростью по полу.

- Понятно. Я тоже, не доучившись на юрфаке... Не на передовой и не по-геройски - рокадные дороги прокладывал: кирка, лопата и бревна... О передовой по далекому артиллерийскому гулу догадывался. В лесах, по болотам... Но дело, разумеется, не в этом... Я хочу вам сказать, что вы влипли в серьезную историю... Значит, “Философию печали”, говорите, пишете? - спросил он, долгим и задумчивым взглядом окидывая Блинова.

- Это я так, - смутился тот. - Но пишу, пока не знаю, что получится... Хотя возникновение мысли, необычайной мысли - для меня процесс мучительный. Я прежде увидел одинокое озеро на широком лугу, изрезанном глубокими тенями продолговатых облаков, тянущихся вдоль горизонта. К озеру идет философ... Понимаете, - и тишина! Звук жужжащего шмеля: ж-ж-ж-жз-жз-жз! Мир, подобно ребяческой погремушке, сотрясается где-то в стороне, недосыгаемой стороне. А философ идет к озеру... Он всю жизнь идет к озеру. Облака, как шершавые черепахи, ползущие по небу полудня. Солнце то скроется, то... Вопиющее, страдающее сердце философа, брошенного в туманную точку среднерусской местности. Совершаются на земле где-то войны, перекалеченные люди

безумно доказывают друг другу недоказуемое, а философ идет к озеру. Век проходит, и ничего у философа и с философом не случается. Ничего. Широкий, утопающий в ромашках июльский луг, воздух дрожит и струйками вздымается к небесам, а философ идет к озеру. И все - век: поход к озеру! Жизнь, совершенная на периферийности жизни...

- Странно, а почему - философ? - выслушав, спросил молодой человек.

Наступило молчание. Блинов через некоторое время, подумав, сказал:

- Понимаете, девятнадцатый золотой век русской мысли, век необычайных метаморфоз, век противоречий, войн, борьбы... Разночинцы, народовольцы, покушения и убийства царей и министров... И философ, который обо всем этом понятия малейшего не имеет, он ни разу не выезжает ни в какой город, он не выписывает календарей, не читает газет...

- Утопию сочиняете, - усмехнулся молодой человек. - А почему вы о современности не думаете? Я ведь так понимаю, что о девятнадцатом веке сказано достаточно...

- Да. Но разве важно, в каком веке живет человек? Разве важно его пристегивать к какому-нибудь событию, ведь чувства его исключительно человечески, то есть - вечны! Ведь, как говорится, немного нужно для того, чтобы сделать счастливым мудрого, и ничто не может сделать довольным глупого, поэтому почти все люди и несчастны.

- Значит, вы полагаете, что философ ваш - счастливый человек?

- Да, - вздохнул Блинов.

- Простите, а на какие средства он живет? Да на него же вкалывают тысячи этих, как вы говорите, несчастных.

- О, это, конечно, так, но это для меня неважно... Даже не важно, а просто не входит в круг рассмотрения... В конце концов, мой философ малоежка и сам сажает себе сотку картошки... Дело не в этом, повторяю... Я хочу, - задумчиво и как-то умирительно вздохнул Блинов, - услышать мелодию широкого луга...

- А как вы к Толстому относитесь? - спросил молодой человек.

Блинов отодвинул лавку, на которой сидел, тоже стал, постукивая тростью и припадая на правую ногу, расхаживать по красному уголку.

- Обыкновенно. Не нравится он мне... Ну, посмотрите сцену ранения князя Андрея. Коряво, по-школярски написано. Кутузов мечется на лошади, его теснят бегущие от французов русские солдаты, Кутузов видит в этом водовороте падающее из рук знаменосца знамя, видит, как знамя подхватывает князь Андрей, увлекает за собой воинов в наступление. Потом Андрей чувствует, будто палкой бьют его по голове! Что за чушь! Он падает, открывает глаза, видит небо. И все! Понимаете. Не прописано, никаких деталей, да и стиль! Сплошной пересказ. Пошел, встал, побежал, упал! И это - Толстой! Да не нравится он мне! Как говорил Карлейль, я бы приплачивал еще писателям за то, чтобы они не писали.

- Здорово вы его! - поблескивая очками, засмеялся от неожиданности молодой человек. - А мне кажется, наоборот, этот кусок очень сильным именно из-за этого короткого, школярского пересказа. Ничего лишнего... Вот у Достоевского в самом деле ни один роман до конца нельзя дочитать. Сначала читаешь с интересом, картины, образы, а потом - сплошной сумбур, какие-то Пелагеи Прокофьевны, Аделаиды Васильевны, Трофимы Степановичи, Николаи Всеволодовичи - запутаешься в них окончательно, не понимаешь, кто о чем говорит...

- Это да, - согласился Блинов и добивил: - Действительно, Достоевский какой-то журналист, репортер. Молотит, молотит, как язык не отсохнет! Из "Раскольникова" вообще можно одну главу лишь оставить - первую... Но иногда... Иногда он доходит до каких-то необычайных вершин. И как ему, черт возьми, удается! Ума не приложу! Вот, к примеру, - Блинов достал записную книжку, и, найдя нужное, с жаром принялся читать, скандируя и размахивая руками: "Тут, брат, нечто, чего ты не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красотку, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет, будучи кроток - зарежет, будучи верен - изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь, не одни ножки... Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он ее и презирал. И презирает, да оторваться не может... А вот тебе еще один случай. Приходит к старику патеру блондиночка, лет двадцати, де-

вуха. Красота, телеса, натура - слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. "Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?... - восклицает патер. - О, святая Мария, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это будет продолжаться, и как вам это не стыдно!" - "Ах, мой отец, - отвечает грешница, вся в покаянных слезах. - Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда!"... Красота - это страшная и ужасная вещь... Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Иной, высший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит... Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красоты. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, - знал ты эту тайну или нет? Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей", - Блинов захлопнул книжечку и сунул ее в карман. - И при всем при том у него много лишнего. Даже в "Бедных людях" и то есть, что сократить... Потом, возьмите "Село Степанчиково". Ну кто в жизни говорит такие длиннющие речи, такие монологи! Дай бог, пять-десять слов друг другу скажем и готово, договорились, поняли друг друга... По мне уж ближе Писемский или Гончаров. Это художники! Рассуждают мало - больше показывают. Один "Обломов" чего стоит!

И говорили, и судили молодые люди так целые полчаса, и махали руками, и спорили, и бегали по красному уголку, и сами раскраснелись, пока, наконец, один из них не сказал:

- Вам нужно, необходимо сегодня же подать заявление на увольнение по собственному желанию!

Опешивший Блинов заморгал, не понимая услышанных слов.

- Пишите! - сказал молодой человек, подсовывая Блинову лист бумаги.

- Ка-ак же?! - выдавил Блинов.

- Пишите! - твердо повторил молодой человек. - Это единственная возможность...

- Неужели так серьезно? Но ведь я же не читал сверку, не моя подпись! - воскликнул Блинов.

- Волков сказал, что вы читали! А Волков... Впрочем, не станем объяснять друг другу... Пишите!

Блинов придвинул к себе чистый лист бумаги, начал писать заявление. Руки его дрожали. Буквы выходили корявыми, пляшущими. Написав, Блинов с облегчением вздохнул, достал носовой платок, вытер пот со лба. Молодой человек прихватил заявление, свою папку.

Вместе с Блиновым проследовал к руководству, где под его грозным взглядом из-под очков, которого Блинов даже испугался, - он не мог предположить такой грозности в молодом человеке - были наложены соответствующие резолюции.

Тут же молодой человек отдал распоряжение, чтобы переносов в слове "Сталин" не употребляли.

На другой день Блинов был уволен. И только через неделю испугался до въедливой боли...

Выключая хлопающий крышкой вскипевший чайник, заваривая чай, Блинов думал о том, где сейчас мог находиться тот чрезвычайно странный следователь, жив ли он вообще? Случайным образом переплетаются судьбы людей, соединяются, расходятся.

Память не в силах удержать образы людей, с которыми приходилось встречаться в жизни. Хотя в судьбе Блинова не так уж много было встреч...

Раздался телефонный звонок, глухой и прерывистый, потому что телефонный аппарат был очень старый. Блинов кашлянул, глядя на телефон, медленно подошел и снял трубку. Послышался далекий женский голос. Блинов узнал секретаршу кафедры. Та передала просьбу Евграфова зайти к нему после вечерней "пары", то есть после сдвоенной лекции у вечерников, которую сегодня должен был читать Блинов. Он что-то буркнул в ответ, не понимая, зачем он понадобился, и в этом раздумье повесил трубку...

Блинов оделся и направился к выходу, Волков заковылял следом. По лестнице он спускался медленно, нащупывая ногой каждую ступеньку, держась за перила. Блинов почти что бежал по лестнице, постукивая тростью, не оглядываясь, убежал бы уже в переулок, но Волков жалобно окликнул его:

- До метро-то, может, проводишь, Георгий?!

Блинов остановился на улице перед подъездом. Сильно шаркая ногами, из подъезда выполз Волков, позеленевший лицом. Или, быть может, Блинову так показалось, когда он увидел Волковское лицо? Шляпа Волкова сбилась на затылок, как у заправского рыбака, водянистые глаза бегали по сторонам, не находя места, на чем бы задержаться.

Когда свернули за угол, приостановившись у почты, пропуская вперед милиционера с увесистой посылкой под мышкой, Волков со вздохом спросил:

- Так не отпустишь грех мой?

Блинов поднял голову, чему-то про себя грустно улыбнулся, ответил:

- Отпускаю, Евгений Степанович, отпускаю... Всем грехи все бы отпустил, если бы имел силу такую... Как же бы мы жили тогда, если бы грехи наши нам никто не отпускал?!

- Вот благодарствую, Георгий, от самого сердца благодарствую... Что тогда-то думал?! А ничего не думал. Плыл, как щепка, в общем течении, считая, что жизнь-то она вечная. Аң, нет! Не вышла она вечной у меня... Все на что-то надеялся, рвался куда-то...

- К должности, видно? - вновь произвольно съязвил Блинов.

- К ей, поганой! Чтоб они все должности в тартарары провалились! - сказал Волков, захлебываясь в слабом дыхании, и поспешно перекрестился.

Блинов сдерживал шаг, чтобы Волков попевал. Как и прежде, как и каждый день, бежали по улице автомобили, троллейбусы.

- Не такой уж вы плохой человек, Волков, как думал я раньше, - сказал Блинов. - Не конченный вы человек, раз совесть ваша пробудилась!

Волков на ходу поправил шляпу.

- Только любопытно узнать, - продолжил Блинов, - сами вы до этого... ну, чтобы ко мне зайти, додумались или кто подсказал?

- Сам додумался, сам! - порывисто заговорил Волков. - Хотя знаю, что прошлого не изменить, но сам, сам и еще раз сам решил прийти к тебе...

- Да, прошлое не изменить, - грустно проговорил Блинов. - В том-то вся штука, что его никак не изменить... И никто за то прошлое ответственности не несет!

- Я-то, я-то несу! - горячо возразил Волков.

- Что вы, Евгений Степанович! Вон посмотрите, - Блинов указал тростью в сторону бассейна "Москва". - Помните, что ранее там стояло?

- Храм Христа...

- Вот, значит, помните, значит, не забыли! А, позвольте спросить вас, Евгений Степанович, несет ли кто ответственность за его уничтожение? Найдете вы сейчас какого-нибудь виноватого?

Волков остановился, снял шляпу и, глядя в сторону бассейна, каким-то чрезвычайно торжественным голосом, как священник с амвона, сказал:

- Все мы виноваты, все до одного!

Не ожидая услышать подобное откровение, Блинов застыл в нерешительности, стукнул тростью по асфальту, сложил губы бантиком, присвистнул.

- Ничего себе! По-вашему, и я виноват, что храм взорвали?

- И ты, Георгий, виноват! Раз на твоей жизни это случилось, то и ты виноват!

- Может быть, Евгений Степанович, вы мне тоже грехи отпускать начнете?

Надев шляпу, Волков поглядел в глаза Блинову, твердо сказал:

- Начну, Георгий... И - отпускаю тебе грех уничтожения Храма Христа Спасителя!

Чуть не упал Блинов от неожиданности, схватился за лацканы плаща, будто они могли помочь удержаться на ногах.

- Вы скажете же, Волков!

Идущие мимо прохожие задевали плечами, сумками стоящих на углу бульвара двух мужчин.

- Может быть, и подпись тогда на первой полосе была моя?

- Твоя, Георгий! Твоя была подпись. Ты в тот вечер витал, должно быть, в облаках и не в той полосе расписался. А я-то не придал сначала этому значение. Подумал: стоит подписать и ладно! Расписался вместо тебя на второй. А видишь, что получилось... Ошибка-то моей была, а к тебе прилипла...

Побледнел Блинов и, казалось, борода стала серее. Никогда в жизни он не мог подумать, чтобы все выглядело так, как рассказывает Волков.

- И вы - молчали! - вскричал, раздувая ноздри, Блинов.

- За это и прошу отпустить мне грех, простить меня, а то как же мне умирать - с нечистой совестью? Прощаешь?

- Прощаю, - едва слышно сказал Блинов и, не оглядываясь, громко стуча тростью, побежал к метро.

Он сбежал по лестнице, не замечая никого вокруг себя, разменял в автомате двадцатикопеечную монету, выхватил из желобка четыре желтых пятака, сунул один из них в щель железного контроллера, тот мигнул зеленым глазом, пропуская Блинова, спешащего по делам, в метрополитен. С глухим визгом, шумом вырвался из черного жерла тоннеля слепящий фарами голубой поезд, со скрежетом затормозил и остановился. Блинов зашел в вагон, сел на мягкое сиденье.

Поезд тронулся. Уставившись в стеклянный проем широкого окна напротив, Блинов в памяти пытался восстановить картину того далекого дня, когда он, по словам Волкова, расписался не там, где следовало.

Шелестели бумаги, стрекотали барабанищие текст голоса считчиков, хлопали двери. Черные строчки мелькали перед глазами; строчки, строчки, строчки, которым, казалось, конца-края не будет: "...в Москве продолжается строительство метрополитена. Сооружается четвертая очередь метро - Большое кольцо. Первый участок длиной в 7, 5 километра, включающий станции "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького", "Калужская", "Серпуховская", "Павелецкая", "Таганская" и "Курская", будет построен к концу 1948 года...", "...мы привыкли к серийной машине "Победа", пришедшей на смену верно и честно выслужившей свой век "эмочке", а главный конструктор лауреат Сталинской премии А. А. Липгарт со своим коллективом уже разработал новый тип автобуса, легкового и грузового "вездехода"... - строчки, к концу смены рябящие перед глазами, как косые полосы проливного дождя, mirиады строчек, подчас теряющие всякий смысл, превращающиеся в какие-то сплошные наборы слов.

Скорее всего, он, Блинов, по рассеянности положил свои полосу на стол Волкову, не расписавшись. Вроде бы даже Волков тогда его окликнул, когда Блинов уже собирался уходить домой, что он забыл поставить свой автограф на полосах.

Волков тем временем заговорился с Марьей Гавриловной - работала такая в корректуре, - а Блинов, уже в плаще, подскочил к столу, вытянул из нагрудного кармана свою самописку с черными чернилами, расписался на двух полосах. Он точно помнил, что сверху лежала вторая страница, а раз вторая, значит, под ней -

третья. Отогнул лишь широкое поле второй и туда, на чистое место наложил: “Блинов”. Хотя общую визу все равно ставил Волков как начальник смены, это уже не имело значения.

Но каков молодец дежурный редактор, пришедший к ночи для последней вычитки “насквозь”, как удалось этой “свежей голове”, как он назывался в редакции, выловить строчной ляп...

Час был еще не поздний, когда Блинов вышел из метро, дошел до института, кое-где высвеченного прожекторами и смотрящего на проспект горящими окнами, раскладывающими квадраты и трапеции на темном асфальте.

Шел девятый час вечера, за окнами давно стемнело, было тихо, во дворе замолк компрессор, но шум его все еще стоял в голове Евградова. В кабинете ярко горела настольная лампа с красным стеклянным колпаком. Евградов, угрюмый и взволнованный, мягко ступая по ковровой дорожке, ходил от двери к окну. Иногда Евградов взглядывал на тень от своей фигуры и как бы страшился самого себя.

В дверь постучали, Евградов оживился, пригладил серебристые волосы и, кашлянув, сказал:

- Да-да...

Как и ожидал Евградов, то был Георгий Михайлович Блинов, которому было велено через секретаршу явиться к Евградову после лекции у вечерников. Белая борода Блинова вздрогнула, когда он переступил, озираясь, порог и притворил за собой дверь, которая как-то по-кошачьи мякнула.

Евградов посмотрел на часы и сказал:

- Вот письмо. - Он достал из конверта сложенный лист, развернул и, положив перед собой, прочитал вслух “информацию” некоего Зайцева, в которой говорилось, что “доцент Блинов, преклоняясь перед идеализмом буржуазной философии, цитировал философа Сенеку, а именно, что жизнь ценится не за длину, но за содержание, намекая, конечно, на предстоящий юбилей института. Да еще озадачил студентов тезисом, что дух и материя - едины, неделимы и всегда пребывают первичными, ибо плоть переходит в дух, а дух в плоть!”

Письмо было адресовано в партком, откуда его и передали, по словам Евграфова, на кафедру для выяснения обстоятельств дела.

У Блинова забилося сердце, он спросил:

- А кто этот Зайцев?

- Адреса нет. Подписано просто "Зайцев", - вздохнул в свою очередь Евграфов.

- Понятно... Стало быть, анонимка, - подавленно вымолвил Блинов.

- Ну уж, как на письмо взглянуть, - вяло произнес Евграфов, вытянул поочередно правую, затем левую руки, поправил манжеты и добавил: - Как на бюро взглянут... Надо же, ярого реакционера, воспитателя Нерона цитирует! - Евграфов вспомнил вчерашний разговор с членкомром Ездаковым...

- Доцентской ставки там нет у вас? - спросил тогда Ездаков и кивнул на своего племянника Вадима.

- Есть! - не подумав, выпалил Евграфов, хотя твердо знал, что никаких ставок на кафедре, возглавляемой им, нет.

После этого ладонь Ездакова поднялась, качнулась и застыла, как бы предлагая попробовать на вес диссертационный фолиант, зажатый под мышкой у Евграфова.

Лицо Евграфова оживилось, он поспешно, как бы опасаясь, что Ездаков передумает, сунул ему свой труд под названием: "Методологические аспекты формирования мировоззрения молодежи".

Качнув ладонью, на которой лежал этот "труд", Ездаков, не глядя, бросил его на сиденье и пригласил Вадима выйти из машины. Тот оказался высоким, а его горбатый нос, когда-то сломанный на тренировке в секции бокса, придавал скуластому лицу хищное выражение. Вадим крепко, как давно знакомому человеку, пожал руку Евграфову, достал сигарету и закурил.

Деловой разговор прошел достаточно быстро и складно. Оказалось, что у Вадима пока нет прописки, но через некоторое время, как сказал сам Ездаков, все будет в порядке.

После того, как Евграфов проводил полным надежд взглядом черную "Волгу" и с минуту стоял довольный и растроганный, на него вдруг накатила тревожная волна мыслей по поводу доцентской ставки, которой, естественно, как сказано ранее, на кафедре философии и научного коммунизма не было. И это обстоятельство

во сильно озадачило Евграфова. Наверняка никакой докторской, то есть ее успешной защиты и утверждения в ВАКе не будет до тех пор, пока этот Вадим не займет должность доцента на вверенной Евграфову кафедре.

Евграфов перебирал в уме фамилии, но все они были накрепко связаны с кафедрой, с факультетами, с ректоратом, с парткомом... Если убрать Дубовского, думал Евграфов, то на издании собственных книг можно поставить крест, ибо Дубовской постоянно питал его идеями... Красных? Сын Красных! Нельзя...

И так далее.

Наконец воспаленный мозг Евграфова остановился на фамилии "Блинов".

- Я намек понял, Валентин Тихонович, - сказал Блинов тихо. - Место нужно освободить?

Евграфов настолько был поражен этим провидческим вопросом, что по неосторожности, против воли выпалил:

- Нужно! - И покраснел, хотя Блинов этой красноты не заметил, потому что настольная лампа с красным абажуром окрашивала лица и предметы в светло-кумачовый цвет.

Взяв трость под мышку и держась за ручку двери, Блинов подавил в себе неприятные мысли и сказал:

- Только по достижении пенсионного возраста!

Не веря этой дерзости, Евграфов вышел из-за стола, направился в сторону двери, но, передумав, остановился у книжного шкафа, посмотрелся в него и сказал:

- Я знал, что вы будете сопротивляться... Но я очень уважаю вас. Я...

- Что это вы, Валентин Тихонович, заискиваете перед идеалистом?!

- Да ладно, Георгий Михалыч, все мы люди-человеки! - и подмигнул.

- Не все! - сказал Блинов.

Евграфов посмотрел на него с удивлением. А Блинову уже было все равно. Чувствуя во всем теле слабость, Блинов, не попрощавшись, молча вышел в полутемный, длинный коридор.

Блинов шел, напряженно думая о случившемся, пытался успокоить себя и даже до некоторой степени успокоил соображения-

ми, что он так просто не отступит, что он не тот человек, которого... Но тут же Блинов опечалился, потому что очень печально, когда тебе в течение почти что всей жизни врут в глаза.

Утром, когда Блинов открыл глаза, увидел светящуюся стену там, где ее быть не должно. Откуда появилась эта стена? Но постепенно первое после сна впечатление прошло и, взглядевшись, он понял, что это вовсе не стена, а сыплющаяся через невидимую в потолке щель мука, настолько легкая и прозрачная, что, не касаясь пола, парит в воздухе в одной плоскости, напоминающей стену. Но и это впечатление улетучилось, сменилось вполне реальным восприятием узкого и плоского - от потолка до пола - солнечного луча, проникающего в комнату сквозь неплотно сдвинутые шторы.

Блинов пребывал еще на грани сна и яви, то есть в состоянии, знакомом каждому, правда, очень кратком и не многими замечаемом, в том числе и Блиновым, состоянии, когда кажется, что сама душа, отделившись от тела, помахивает крылами своими под небесами, наслаждаясь ничем не обремененной волей полета.

В комнате стояла тишина, равномерно нарушаемая ходом настенных часов. Блинов взглянул на них, затем перевел взгляд на бюст Гете.

Блинов заснул поздно, в третьем часу, поэтому утром разоспался. Он встал между тем со свежей головой, быстро оделся, перекурил и поехал в институт.

...Придя в назначенное время в кабинет кафедры, Блинов застал там секретаря партбюро Маслова, членов бюро Ключарева, Вавилкину, Казаринова и Красных.

- Тут жалоба на вас, - обратился к Блинову Маслов, отставной полковник с мохнатыми бровями и щетинистой прической, плотный, без шеи, так что казалось, что он горбат. - Не соответствуете, тасазать, должности своей, тасазать, доцентской...

Все сидели за столом, покрытым зеленым сукном. В конце этого длинного стола покоилась конторка, эдакий фанерный полированный ящичек со скошенной крышей, такая лекторская конторка, за которой любил стоять, выступая, Евграфов, но которого, странно, на сей раз не было.

Блинов уныло обвел взглядом собравшихся, затем уставился в окно.

Студенты чистили двор, сжигали прошлогодние листья. Из вороха листвы выбивался сизый дым, расплзался легкими струйками в разные стороны, а когда поддувал ветер, высывались в синем воздухе огненные языки, с кончиков которых срывались искры и, поблескивая, парили, как маленькие парашютики.

Этот дым будоражит предвкушением скорого цветения, возвышения новой жизни жучков, комаров и трав. Пьянящий, горьковатый дым сжигаемой листвы проникал в кабинет...

Листья пробьются из почек, распустятся, чтобы пожелтеть и покраснеть осенью, сорваться с веток, парить в воздухе и затем соприкоснуться с землей, чтобы пролежать несколько месяцев под снегом, пока не грянет весна.

Дым сжигаемой листвы, произвольно ворвавшись в форточку, манит на волю, в оживающий воздух, чтобы всеми легкими вобрать его в себя, надуться, как воздушный шар, и полететь, не предвидя на пути своем ограничений в виде стен, крыш, заборов...

- Что это у вас за воскрешение из мертвых?! - зычно и мрачно выдохнул Ключарев.

Блинов промолчал, не считая нужным разъяснять Ключареву положения "Философии общего дела".

- Да, без учета программы работаете, - сказала Вавилкина, желтолицая, полная, похожая на домохозяйку, и вздохнула, рассматривая свои руки без ногтей, почти мужские.

Немного помолчали.

- А вот Зайцев, тасазать, свидетельствует о преклонении, тасазать, перед Сенеккой, - сказал Маслов и почесал ершистый затылок.

- Ах, Зайцев, - отозвался Блинов и, подумав, добавил: - Так там еще про дух и плоть должно быть...

- Есть! - крикнул Ключарев. - Заводите тут свои порядки, как в частной лавочке! Дан конспект лекции - читай! Даны цитаты - цитируй! - и, сжав кулаки, упер их в стол и бросил: - Я выражаю товарищу Блинову политическое недоверие и предлагаю ходатайствовать перед администрацией о переводе товарища Блинова Г. М. На полставки!

- Я - за! - поспешно, как будто боялся, что его остановят, стукнул локтем поднятой руки по столу Маслов.

Блинов печально взглянул на Маслова, на его руку, на медленные вскинутые руки остальных и сказал без всякого чувства:

- Это исключительная чепуха, исключительная.

Наступило молчание.

Ключарев зацепил локтем указку, та упала и покатила по полу, издавая звук катящегося по бильярдному столу шара.

- Георгий Михайлович, в каком году вы родились? - спросила Вавилкина с таким выражением лица, как будто знала секрет вечной молодости или еще что-нибудь похлеще.

Блинов безразлично ответил и вновь устался в окно. На дереве сидели три вороны и изредка молотили друг друга клювами. И это было забавно наблюдать.

- А сколько вам лет? - вдруг ни с того ни с сего прохрипел полоницей и подслеповатый, в очках, Казаринов.

- Я же только что спросила! - одернула его Вавилкина.

Более вопросов не последовало.

Переулок, в котором Блинов оказался, был тих и безлюден. Солнечная сторона с двухэтажными особняками ослепляла желтизной. Немыслимые кариакиды поддерживали балконы, кариакиды, женственные, полногрудые, с легким изяществом держали балконы.

Блинов изумился, увидев их, остановился и взглянул вверх. И не сказал ничего, а лишь покачал головой. И со стороны походил Блинов на заезжего провинциала, пялящего глаза на столицу. Солнце нагревало асфальт, лужи сияли, отражая голубизну небес и коринфские колонны особняков.

Воробьи с дружным гомоном слетели с деревьев и приземлились на бульварную дорожку, выискивая, что бы склонуть, но поживиться на еще влажном гравии было нечем, да и спугнула их тут же девушка, шедшая быстрым шагом и размахивающая спортивной сумкой на длинном ремешке. Она так бодро прошагала в своих сапогах на высоченном каблуке, что Блинову показалось, будто прошагал мимо него солдат.

Блинов с любопытством поглядел ей вслед, достал трубку, набил ее черный вулканчик сыпучим табаком, закурил. И вдруг он вспомнил Волкова, совесть которого пробудилась. Вспомнил, пошел к метро, на ходу выбивая прогоревший табак из трубки, пошел, чтобы доехать до "Кировской", возле которой, в свое время, работал в газете корректором.

- “Жигули” выиграет тот, кто сегодня купит билет денежно-вещевой лотереи! - выкрикивал на всю улицу красноносый мужчина в сатиновых нарукавниках.

Блинов хладнокровно проследовал мимо лотка с лотерейными билетами. Думал Блинов о том, как ему быть дальше, что предпринять, а может быть, плюнуть на все, положить перед собой стопку писчей бумаги, остро заточить карандаш, ибо любил писать карандашом, и не каким-нибудь, а “конструктором - ТМ”, вспомнить жизнь свою и мысли, вспомнить дни и ночи и начать “Философию печали”. И все чувства свои выплеснуть на бумагу, чувства, скапливавшиеся всю жизнь, не дававшие покоя его сердцу тревожному.

Он вошел, прихрамывая, на станцию “Кропоткинская”, приблизился к пропускным автоматам, бросил в один из них желтый потертый пятак. Красный глазок поменялся на зеленый, будто подмигнул, мол, чего смотришь, тебе - “зеленый”, проходи живее, а то как выскочат железные руки-держалки в черной резиновой оболочке, как ударят по ногам и не пропустят тебя в подземный музей-метрополитен.

На платформе, широкой, сооруженной в свое время с размахом, ибо тут, наверху, вместо Храма Христа Спасителя намечалось возвести Дворец Советов, и станцию так поначалу называли “Дворец Советов”, на платформе, с мраморными колоннами, с мраморными стенами и белеными потолками, впрочем, все здесь было белым, как в снежном знобящем царстве, так вот, к слову, пахло на платформе шоколадным мороженым.

Блинов с удовольствием принялся к этому детскому запаху мороженого и прошел, постукивая весело тростью, по платформе вперед, к первому вагону. И тут же эти голубые вагоны замелькали справа. Прибавил шаг Блинов, успел вскочить во второй вагон. Двери за спиной сомкнулись.

- Следующая станция “Библиотека имени Ленина”, - проговорил бесстрастно механический бас.

Хотя мест было предостаточно, Блинов садиться не стал, а остался стоять возле дверей, привалившись спиной к никелированному поручню. Перед глазами летели стены черного тоннеля, и, как змеи, ползущие по этим стенам, стремились поспеть за мчащимся поездом черные кабели.

Привлекла внимание Блинова надпись на стеклянной двери: “Не прислоняться”. Хотя многожды видел эту надпись, только те-

перь Блинов и так и эдак переделывал ее про себя: “Не присло”, “присло”, “при слоне”, “слоняться”...

На “Дзержинской” в вагон ворвался такой мощный поток пассажиров, что Блинова прокрутили вокруг оси три раза и придавили какой-то огромной сумкой, от которой пахло селедкой, в противоположный угол. Из сумки торчала кудрявая голова щекастой куклы и толстый конец вареной колбасы в сморщенной пленке.

Блинов с трудом протиснулся к выходу между загородными и иногородними посетителями “Детского мира”, считавшими, вероятно, что только в “Детском мире” можно что-то купить.

На “Кировской” Блинов вышел, поднялся по эскалатору...

Пока он шел по бульвару, все время думал о чем-то неопределенном, печальном. Потом посидел на скамье против издательства, вспоминая длинный кафельный коридор, черный закуток с трубой, в которую опускали гранки в наборный цех, корректорскую, черные лампы, похожие на склоненные тюльпаны...

Потом Блинов пошел к пруду. Шел по бульвару, косился на пруд и в каком-то месте, по мере удаления от того места, где отраженное в воде солнце ударило по глазам, так вот, в каком-то месте свечение пропало. Темная вода поглотила солнце, хотя оно по-прежнему сияло высоко над Москвой, но уже того света не было. Вода разом позеленела и похолодела, черным провалом стояла среди бульвара, и утки, которым так обрадовался Блинов, превратились в маленьких, обычных водоплавающих.

Возле берега Блинов разглядел остатки нерастаявшего льда, с вмерзшими в него прошлогодними жухлыми листьями. Блинов поежился, и озноб пробежал по всему телу, схлынул в ноги, как грозовая молния стекает по грому... вернее - по молниеотводу в землю.

“Так время уходит”, - подумал Блинов и вспомнил слова Волкова: “Все мы в ответе”.

От “Кировской” Блинов доехал до “Библиотеки”...

Солнце зашло. Синий вечер спускался на Москву. Пахло самой настоящей весной. Асфальт был сух и чист. У метро цыганки продавали мимозы. В кассы кинотеатра “Художественный” выстроилась длинная очередь на какой-то детектив. Люди были нарядно одеты: белые и желтые плащи, красные, голубые куртки, кавалерийские сапоги женщин на высоком каблуке.

Блинов не спеша пошел в сторону Гоголевского бульвара. Было то время дня, когда день уже кончился, а вечер еще не наступил. Сумерки, одним словом, или “режим”, как говорят киношники. Но сумерки - это что-то серое. А тут было темно-голубое, с розоватым отливом.

У памятника Гоголю Блинов остановился и как бы удивился, что Гоголь встал с кресла. Хотя, впрочем, никакого кресла на постаменте не наблюдалось. Зажглись фонари, и быстрая тень от фигуры Блинова погналась за тенью Гоголя. Четыре фонаря по углам памятника. Бронзовые львы у подножия фонарей.

В детстве Блинов бегал по Пречистенскому бульвару, копался в песке на игровой площадке, обнимался с этими львами, проводил подошвой ботиночка по желобку между передними львиными лапами. А над ним с бесконечно скорбной улыбкой сидел согбенный, бронзовый, позеленевший Гоголь, словно мечтавший о раздольных степях Малороссии, о тройке быстрых коней, о широте и удалстве.

“Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеса, кони, и несите меня с этого света!”

Блинов, опустив голову, пошел по бульвару. На скамейках сидели люди: парочки, старики, женщины. У одной скамьи, под фонарем, сгрудились мужчины, стучали костяшками домино, восклицали, шумели. Блинов поднял голову. К западу небо выгнулось серебристо-синей дугой, словно некий великан положил эту дугу на крыши московских домов.

Стол в конференц-зале нового корпуса, который прилепился сзади основного здания, расставили в каре, участники, непринужденно переговариваясь, заняли положенные места. Ректор Байгунов, бархатисто покашливая и держа глаза широко раскрытыми, чтобы не задремать, посидел немного, пока секретарь парткома Смирнов говорил вступительное слово, затем поднялся и тоже в порядке выступления сравнил свой вуз, согласуясь с программой университета философских знаний, с академией инженерных искусств, в которую, по его мнению, должен превратиться машиностроительный в недалеком будущем, выпуская гармонически развитых, культурных, нравственно богатых инженеров...

Но, несомненно, центральной фигурой занятия был членкор Михаил Васильевич Ездаков, сидевший на самом видном месте, независимо и важно, положив ногу на ногу...

- Товарищи! - говорил Евграфов, пригласивший Ездакова. - Перед вузовскими коллективами стоят большие задачи, направленные на значительное улучшение подготовки высококвалифицированных специалистов, идейно-политической закалки студенчества...

Раздались жидкие аплодисменты, поднялся гул перешептываний, как будто в зал залетел рой пчел. Но Евграфов, волнуясь и бледнея, вскинул руку, мелькнула рубиновая подкова запонки, и дрожащим голосом, косясь на дородную фигуру Ездакова, представил ему слово.

Ездаков поспел, лениво встал и, как будто его кто-то вдруг встряхнул, приосанился и очень громко, с пафосом заговорил:

- ...теория выступает разветвленным, развитым определением, сцеплением тысячи тысяч атрибутов логического субъекта, только подразумеваемого в теории. В подсознании перемещается неизменный логический субъект, подчиненный дискурсивной логике доказательства. Тогда исчезает субъективно-атрибутивная структура. Определение множества поэтому импредицибельно...

По завершении семинара Ездаков принимал поздравления руководства института, комсомольцев-активистов и дружинников, потому что все остальные, в том числе Блинов, очень взволнованный появлением Ездакова в институте, как-то чересчур быстро удалились.

А как же Ездакову не принимать поздравлений, ведь он представлял теоретическую мысль, на которую должны ориентироваться вузы страны.

В кулуарах Михаил Васильевич был совершенно неотразим: то он на мгновение задумается, то опустит руку в карман брюк, подчеркивая свой полный демократизм, то едва обнимет собеседника, легонько похлопав его по спине, то примет позу спокойной величавости, которая, казалось, отныне никогда не потускнеет...

Евграфов это видел и фиксировал в своей памяти, он видел подобострастные лица, видел глаза, полные поддержки, видел зоры зависти и просто ревности к положению членкора Ездакова.

Провожая его к машине, Евграфов, даже забыв накинуть плащ, заглядывал Ездакову в глаза, улыбался, розовел, преодолевая смущение, и, наконец, отважился и спросил:

- Дорогой Михаил Василич, ну как моя диссертация?

Ездаков каким-то туманным взглядом окинул Евграфова, словно перед ним стоял студент, затем перевел взгляд на могучие колонны фасада, освещенные солнцем, выпустил через нос шумную струю воздуха, огладил ладонью солидное брюшко, подумал и сказал:

- Занят, очень занят в последнее время. Просто - вот как, - провёл он ребром ладони по толстому горлу, - занят!

Печальным, полным растерянности взглядом проводил Евграфов черную, лаково блеснувшую на солнце новую "Волгу" членко-ра Ездакова.

Когда Георгий Блинов проходил мимо музея изобразительных искусств, колоннадой выглядывавшего из зелени сквера, небо над Москвой резко потемнело, как будто до этого горел свет и вдруг его выключили, где-то за Москвой-рекой полыхнула зигзагообразная ярко-голубая змея молнии и ударил гром.

Сильные порывы ветра бросили в лицо Георгию мелкую пыль с асфальта, он зажмурился, повернулся боком, как фехтовальщик в момент отскока от укола противника, поднял воротник габардинового плаща и, ускорив шаг, почти что побежав, постукивая тростью и прихрамывая, пересек Знаменку, миновал дом Пашкова, Воздвиженку, а затем и Большую Никитскую, свернул в железную под аркой калитку во двор.

Серый асфальт как-то разом потемнел, потому что его накрыла волна проливного дождя, который сильно застучал по крыше черной "эмочки", стоявшей у ворот.

Пока бежал к крыльцу, обернулся и краем глаза заметил человека в шляпе, в офицерском мундире без погон, в широких синих галифе и в сапогах, голенища которых собрались гармошкой. Тот человек шел, невзирая на дождь, не спеша, как будто и не было дождя, чуть согнувшись, и держал в руке какой-то допотопный фанерный чемодан, с какими, вероятно, ходили по деревьям народники.

Крупный дождь шумел, шуршал в кустах и деревьях, барабанил по окнам и карнизам крашеного под желток старинного московского здания, смотрящего на красно-бурую зубчатую кремлевскую стену, виднеющуюся за купами деревьев Александровского сада.

В фойе, поравнявшись с Георгием, человек спросил с улыбкой низким голосом:

- Где тут на философов учат?

Разве он мог знать тогда, в послевоенном 1946 году, что перед ним стоит с этим немислимым фанерным чемоданом, пропитанным в рыжий цвет морилкой, будущий членкор Ездаков Михаил Васильевич?!

Пока поднимались на второй этаж правого крыла, где помещался философский факультет, недавно здесь обосновавшийся после закрытия в Ростокинском проезде ИФЛИ, Ездаков сказал, что он прямо с вокзала, что в Москве у него никого нет, но что у него зато есть направление па учебу. От кого направление, Георгий не стал интересоваться, впрочем, как не очень заинтересовался самим Ездаковым, с которым в следующий раз столкнулся лишь на вступительном экзамене.

Как-то после, кажется, первого же экзамена, Георгий заметил, что Ездаков идет по Моховой со своим фанерным, с проволочной ручкой чемоданом. Георгий, пряча в ладонь улыбку, спросил:

- Видимо, у вас там золото? Никак расстаться не можете.

Из желто-белого здания манежа, приземистого и длинного, выкатила черная с белыми ободами колес, с большими передними крыльями, поблескивающая никелем бампера и облицовкой радиатора машина "ЗИС-101", еще довоенного выпуска, и, плавно свернув в сторону Большого каменного моста, быстро удалилась.

Ездаков угрюмо взглянул на Георгия, на его трость с бронзовым набалдашником в виде головы собаки, выпустил шумную струю воздуха через нос, вытянул толстые губы, как это делают лошади, когда тянутся к сену, пробурчал:

- Я его вместо подушки использую...

Шумно промчалась, сигналив, черная "эмочка".

- Вот как, - сказал Георгий, делая лицо серьезным и внимательным.

- Да, использую, - глухо, с какой-то обидой подтвердил Ездаков, вздохнул, снял шляпу и провел крепкой ладонью по желтым вихрам волос. Затем, подумав, добавил: - Вынимаю бушлат, кладу на крышку и храп-храп. Вот какое добро в ящике - хоть ты его под голову, хоть как одеяло. И не говори! - усмехнулся вдруг Ездаков, разговорившись: - Бывало, в детстве Нюра, сестра, печь истопит,

говорит, ложись поживать на теплые полаты, братец! Вот залезаю на печь, да к кирпичам самым жарким прижмусь спиной... Сегодня снились те кирпичи! Глаза открыл - субъект с предикатом, милиционер стоит, говорит, что это я тут сплю. Он меня, знать, приметил давеча. На Савеловском вокзале. Понравилось мне там. Нешумно. Две ночи ходил...

Рассказ этот странным образом подействовал на Георгия, он подумал о том, что сам живет в прекрасных условиях, в получасе ходьбы от университета, а этот парень приехал невесть откуда, ночует на вокзалах, по всей видимости, плохо питается, но рвется к учебе. И Георгию стало почему-то жалко этого человека с фанерным чемоданом.

- Судя по речи, не скажешь, что вы провинциал, - проговорил, подумав о "субъекте с предикатом", Георгий и с любопытством взглянул в широкое лицо Ездакова.

- Я с семи лет в городе Козлове жил у тетки... Там Мичурин родился! - восхищенно поднял палец Ездаков.

- А Лысенко не там? - спросил с ироничным подтекстом Георгий, но Ездаков этого подтекста не заметил.

- А кто это?

- Говорят, второй Мичурин!

- Нет, этот не из Козлова, - с уверенностью сказал Ездаков.

Помолчали.

- Ну и пообедаем мы сейчас! - вдруг воскликнул Георгий, схватил за локоть Ездакова, вздрогнувшего от неожиданности, и увлек его по Волхонке к себе домой.

Дверь открыла домработница Елена Ивановна, полная и добродушная женщина лет пятидесяти.

- Здравствуйте! - прогудел Ездаков и снял шляпу. Он стоял в прихожей и с каким-то испугом оглядывался. Паркетный пол сверкал и от него приятно пахло воском. Вдоль стен высились книжные застекленные стеллажи, в нишах которых располагались двери в комнаты, их в квартире было пять.

Елена Ивановна и Георгий некоторое время молчали, делая вид, что не замечают удивления Ездакова, затем Георгий сказал:

- Обед, только обед, дорогая Елена Ивановна, облагородит нас после успешного экзамена!

Елена Ивановна сунула пухлые руки в широкий карман белого передника, насмешливо, так что ямочки выступили на округлых

щеках, взглянула на Георгия и веселой торопливой походкой пошла по длинному широкому коридору на кухню.

- Папа дома? - вслед громко спросил Георгий.

- В клинике, - отозвалась Елена Ивановна, исчезая за углом в конце коридора.

Зазвонил телефон, Георгий снял трубку и услышал нежный голосок Тамары, с которой недавно познакомился в Ленинке. Георгий договорился о встрече и положил трубку.

- И все это прочитали?! - изумленно спросил Ездаков, скользя поблескивающими глазами по книгам на стеллажах.

Георгий почувствовал, что подошла его очередь говорить и что молча слушать означало бы для него на самом деле разыгрывать из себя великодушного простака, чего он не собирался ни в коем случае делать.

- Я с любопытством смотрю на знакомые места, - сказал Георгий, задумчиво снимая с себя плащ. - Да это нормально. Как после приезда с фронта я радовался Москве! Я часто в воспоминаниях оглядываюсь назад. Вижу, что жизнь идет вперед и прошлое исчезает. Кажется, особенно в детстве казалось, что все должно существовать вечно и неизменно. А оказывается, что люди мрут, дома ломаются, деревья погибают или спиливаются и даже фонари всюду новые.

- Угу, - вздохнул Ездаков, с интересом оглядывая квартиру.

Георгий поспешно нагнулся, поднял чемодан Ездакова и понес его к угловой маленькой комнате, в которой когда-то жила бабушка, и поэтому комната так и называлась "бабушкина". Там было довольно мрачновато, на стенах все еще висели многочисленные фотографии в резных рамках, как при бабушке, но жилой вид комнаты был уже утерян, потому что здесь стояли старые велосипеды, расстроенное пианино с приделанными к нему двумя позолоченными подсвечниками, на которых все еще чернел запекшийся воск, какой-то огромный, старый, прямо-таки музейный кованый сундук, на полу лежали связки журналов... В общем, комната сама по себе превращалась в кладовую, хотя собственно кладовая находилась в кухне, просторной, как зал, но она так была забита, та кладовая, что поневоле стали кое-что складывать в бабушкину комнату.

Не выбрасывать старые вещи, совершенно ненужные, - загадочная, необъяснимая привычка москвичей.

ФИЛОСОФИЯ ПЕЧАЛИ

- Старье берем! - кричал татарин во дворе.

- Самим пригодится! - бурчала на кухне Елена Ивановна и ничего во двор не выносила. Она включала радио - черную бумажную тарелку, висевшую на кухне, - чтобы заглушить татарина, продолжавшего зычно свое: "Старье берем!" Из радио летело:

Где ж вы, где ж вы, очи карие?
Где ж ты, мой родимый край?
Впереди - страна Болгария,
Позади - река Дунай...

Елена Ивановна облакачивалась на подоконник и смотрела во двор, где вокруг татарина бегали мальчишки, некоторые кружили с гудением на самодельных подшипниковых деревянных самокатах.

Георгий поставил чемодан Ездакова у пианино, еще раз оглянулся на самого Ездакова и отметил про себя его физически крепкую, широкоплечую фигуру.

Георгий, присев на стопку связанных веревкой журналов, сказал:

- Частенько бываю на Арбатском рынке. Мне нравятся московские рынки. Также мне нравится ходить вместо Елены Ивановны за хлебом к утреннему чаю. Утром тихо, город пуст. На улице, освещенной солнцем, одинокий дворник метет тротуар. Тогда я иду переулками, потом через рынок, а не по улице Коминтерна, и захожу в булочную на Арбатской площади. Мама говорит, что до революции это была булочная Севастьянова. А чуть подальше, на Поварской, напротив аптеки, была другая булочная Севастьянова, но похуже и магазин поменьше. Елена Ивановна различает эти булочные так: "большой Севастьянов" и "малый Севастьянов". Так вот сегодня я покупал хлеб у "большого"... Очень хорошо отделана аптека на углу улицы Воровского. Раньше она была, как и все аптеки, мрачная и неудобная. А теперь все блестит, масса света, много приятных на вид витрин.

Ездаков переступил с ноги на ногу, как застоявшийся конь, шумно втянул воздух мясистым носом, сказал:

- Везет же, в Москве родиться! Мне тоже очень нравится Москва и мне тоже очень хочется, субъект с предикатом, в ней жить, учиться, работать, - мечтательно закончил он и почесал затылок.

В дверь со стуком заглянула Елена Ивановна, сказала, что обед готов.

В столовой, очень просторной и светлой от трех высоких окон с такими чистыми стеклами, что их даже не было видно, на стенах висели картины и множество красивых и дорогих тарелок, коллекционировал которые отец Георгия, Михаил Данилович, главный врач крупной клиники, известный хирург, “светило”, как писали о нем в газетах.

Кроме обеда, который состоял из куриного супа, антрекотов с грибным соусом и малинового киселя, Елена Ивановна подала еще мороженое с вишневым вареньем и пирожки, румяные, с лаковой корочкой, начиненные гусиной печенкой с луком и яйцами.

Георгий частенько смотрел на лицо Ездакова. Типичное актерское лицо, с богатой мимикой. Он так владел своим лицом, как будто регулярно таким образом обедал в богатых московских квартирах, изображая почти что любое движение мысли и чувства.

Хотя Ездакову действительно очень хотелось есть, он, тем не менее, сел к столу с миной необходимости уважить случайного знакомого.

Когда же он ел, то выражение лица приобретало сдержанно-высокомерное выражение, но при появлении Елены Ивановны становилось на мгновение добрым, с едва различимой улыбкой приличия...

Часов до шести вечера молодые люди читали, готовясь к очередному экзамену, причем Ездаков довольно уверенно расположился в бабушкиной комнате, привел ее немного в порядок, аккуратно сложив вещи к одной стене и поставив раскладушку. Казалось, он ничему не удивлен, воспринял приглашение как должное.

Иногда Ездаков заглядывал в комнату Георгия, где стоял бюст Гете и висел портрет воеводы в кольчуге, спрашивал о какой-нибудь книге, сноску на которую встречал в учебнике. Георгий находил требуемую книгу на стеллажах.

За ужином отец Георгия, Михаил Данилович, сухощавый, белолицый и подтянутый, с прямой спиной, глядя на гостя сына и ни о чем не спрашивая, говорил, более обращаясь к жене, Вере Петровне:

- Вчера на ночь читал мемуары Пуанкаре. Написано хорошим языком. Без словесных выкрутас. Простой слог. Некоторые стра-

ницы интересны только для французов. И французы, и англичане, и бельгийцы здорово боялись немцев. Пуанкаре часто объезжал фронт. Однажды он посетил даже бывшего лакея из Елисейского дворца и пожал ему руку. Это, конечно, произвело большой эффект на артиллерийскую часть, в которую по мобилизации попал лакей. Сам Пуанкаре сильно грустил, - говорил Михаил Данилович, откусывая кусочек ноздреватого сыра и наливая в рюмку вина. - В своей библиотеке он находил отвлечение от работы и событий. Любимым автором был Марк Аврелий. Как-то, развернув книгу, Пуанкаре прочел строки, которые, должно быть, его поразили, так как он занес их в дневник: "Скоро ты все забудешь, скоро тебя все забудут". Что говорить - сказано здорово!.. Как-то я листал журнал "Под знаменем марксизма". Не в восторге. С философией у нас слабовато, - закончил Михаил Данилович и принял-ся намазывать маслом белый хлеб.

Георгий заметил, что глаза Ездакова на мгновение вспыхнули, но тут же пришли в какое-то безразличное состояние. Потом, между разговором, Ездаков, улыбаясь, спросил у Михаила Даниловича:

- А как вы относитесь к учебнику по диамату?

- Как-то просматривал. Отношусь диалектически: по-моему, учебник написан плохо, местами совершенно непонятно, масса воды.

Мама Георгия, Вера Петровна, пила маленькими глотками чай и, заметив, что разговор спадает на скуку, сказала:

- Вчера днем встретила человека с очень знакомым лицом. Вспомнила: официант из кафе Филиппова на Тверской. Спрашиваю: "Вы работали у Филиппова?" - "Да". - "А что теперь поделяваете?" - "Был хлеборезом, а затем вышел на инвалидку. Правая рука перестала действовать. Не могу поднять. Ложку и вилку держу, а работать ей не могу. Лечил ее, ездил на курорт. Улучшение незначительное". - "Получаете пенсию?" - "Нет, потому что застойщик, в Кунцеве домик". На этом наш разговор кончился и мы разошлись. Я еще раз посмотрела на него и убедилась, что он сильно постарел и физически сдал. А был кряжистый, скульптурный мужчина...

Ездаков посопел носом, как бы что-то вспоминая, расстегнул верхнюю пуговицу своего офицерского мундира без погон, сказал:

- После демобилизации заезжал в деревню. Сестра там у меня, с мужем живет. Иду однажды, смотрю, парень у колодца: одна нога у него ниже колена отрезана и он ходит на деревяшке. Так вот, он идет не только без палки, но еще и с ведром с водой... - Ездаков помолчал немного и продолжил: - Ехал тут на вокзал, подслушал в вагоне трамвая разговор молодых. Ехали, видно, с карнавала. Одна девица, сказав, в каких парках она танцует, под конец заявила, что в парке ЦДКА она не будет больше танцевать. Там, говорит, площадка асфальтовая, и она в два вечера истратила подметки! Один парнишка сказал, что было неинтересно. Все девчонки в масках. А как снимают, так рожа на роже!

Говорил Ездаков громко и уверенно, с чувством. Глаза у него блестели, он молодецвато поглядывал вокруг себя, как бы давая понять сидящим за столом, что он человек не простой, а мыслящий и наблюдательный. Ездаков любил поговорить, когда рядом оказывались интересные люди, что случалось редко.

В особом отделе танковой дивизии, где он служил, лишь начальник отдела, капитан Безручко, мог составить ему компанию в разговоре, остальная же публика была неразговорчива. Иногда Ездаков, начавший службу писарем, в беседах строил целые философские системы, например, однажды поделился с Безручко мыслью, что Земля меньше человека, потому что, если хорошенько подумать, человек впитывает представлением Землю в свою голову, вот вам и "субъект с предикатом", говорил к месту и не к месту Ездаков, влюбившийся в это загадочное выражение, вычитанное в библиотечной брошюре...

Началась учеба на факультете, но Ездаков и не думал "съезжать" с квартиры, впрочем, он и не мешал, но все-таки было странным, что он злоупотребляет гостеприимством.

С первого курса Ездаков включился в общественную работу, а к сорок восьмому году входил уже в состав партбюро факультета. И все это время жил, как свой, в квартире известного хирурга Блинова, даже временно, с благородного согласия хозяев, прописавшись. На время учебы.

Однажды, войдя в квартиру (у Ездакова был уже свой ключ), Ездаков увидел девушку, высокую, с прекрасной прической, с большими карими глазами на смуглом узком лице. Оказалось, что это и была Тамара, с которой встречался Георгий и о которой однажды сказал Ездакову, в том смысле, что есть у него некто, когда

Ездаков хотел его затащить на одну вечеринку и познакомить с “красоткой”.

Тамара стояла на приставной лесенке и снимала с верхней полки какую-то книгу, лесенка качнулась, Тамара ойкнула и взмахнула рукой, едва не упав, но Ездаков, опередив Георгия, выбежавшего из столовой, подхватил девушку. Рука его скользнула по ее крепкой груди и обхватила тонкую талию.

Ездакова словно обожгло нежностью. Когда он убрал руку, девушка уже стояла на полу, прижимая к груди книгу, и смотрела своими большими карими, с какими-то искорками глазами на ладно сбитую, крепкую фигуру Ездакова, от которого даже на расстоянии, казалось, веяло силой.

Ездаков вздрогнул от этого взгляда и понял, что он с первого взгляда влюбился.

Георгий, не заметив пылкого взгляда Ездакова, едва кивнул ему, пошел с Тамарой к себе, а Ездаков, еще раз взволнованно вздохнув, отправился в ванную. Он включил холодную воду и долго держал под струей свои жилистые руки.

Вечером, когда Тамара ушла, ужинали все вместе в столовой. Михаил Данилович, как всегда подтянутый и бодрый, говорил:

- Мне шестьдесят лет и я стал замечать старость. Она выражается в том, что я вдруг стал уделять большее внимание мысли о краткости жизни. Эту мысль я постоянно подчеркиваю в разговоре. Явления, на которые я раньше не обращал внимания, теперь, наоборот, меня интересуют. Что же это за явления? Я, например, разглядываю вещи, старые, смотрю, какой отпечаток на них наложило время. В лесу смотрю на деревья, прислушиваюсь к шуму листьев. Этот шум мне ужасно нравится. Взираю на небо, на звезды... А в голове одна мысль: осталось жить недолго и я исчезну так же, как все исчезает. А между тем жить хочется и притом как-то по-особенному, вроде как бы хочется начать жизнь сначала...

- Да, это чувство преследует, - согласилась Вера Петровна и прижала холодные пальцы к вискам. Ей нездоровилось, поэтому посидела она недолго, минут двадцать, и, попрощавшись, ушла к себе.

Михаил Данилович сцепил белые пальцы с тонкими синими венками и, как бы размышляя вслух, продолжал говорить. Ездаков облокотился на стол и подпер голову кулаками. Георгий просматривал свежие газеты, шелестел страницами.

Михаил Данилович, кашлянув, сказал:

- У меня сейчас очень большая жажда знания, так бы и сидел, если б не клиника, все время за книгами. Но когда от книг возвращаешься к реальной жизни, то видишь, что все идет к концу, что новостей или приятных перемен уже не будет, здоровье неважное... Сколько людей жило до нас, и все они исчезли навсегда. Помню Ивана Михайловича Сеченова. Умер он в пятом году, когда мне было семнадцать лет, и я готовился в университет. Я часто сталкивался с Иваном Михайловичем на Остоженке или на Пречистенке. Жил он в следующем после нас переулке, в Полуэктовом. Теперь это Сеченовский переулок.

- Да вон через наш двор в него есть ход, - сказал Георгий, комментируя рассказ отца для Ездакова. - И дом Сеченова стоит...

- Да, стоит, - продолжал Михаил Данилович. - Когда я начал учиться, то у моих преподавателей были еще свежи воспоминания о клубе, созданном кружком художников и литераторов, о популярности этого клуба, где читались публичные лекции. Рядом с Орестом Миллером читал там и профессор Сеченов по физиологии и собирал огромную аудиторию... И вот этих людей нет...

- Диалектика, - мечтательно вздохнул Ездаков.

- Можно задать вопрос: был ли смысл в существовании простых людей, живших вместе с гениями? - продолжил Михаил Данилович приятным и неспешным баритоном, глядя перед собой, куда-то на картину в золотой багетовой раме. На картине были изображены широкий луг, озеро и маленькая фигурка человека, направляющаяся к озеру. - Зачем существуют люди? Утешаю себя мыслью, что жизнь каждого человека не напрасна. Что-то в ней есть, даже при самой скептической мысли. Если жизнь только случайность или шутка, то почему же мы - люди - так умны и порой божественны?..

Потом зашел разговор о знаменитом артисте Н., который лежал в клинике Михаила Даниловича.

- Возможно, он бы дожид до юбилея театра, - сказал Михаил Данилович. - В Барвихе Н. было плохо. Он попросился в больницу, где ему было не лучше. Я созвал консилиум. Диагноз был печальный. Чтобы улучшить самочувствие больного, ему стали давать коньяк - 60 граммов в день. Больной воспрянул. В четверг утром Н. хорошо позавтракал. Затем я его навестил. Сидел с ним за одним столом. Н. говорил, что ему лучше, что он ждет юбилея театра, думает выступить. Н. проводил меня до двери. Потом рассказывали,

что, как только я ушел, он закашлялся. Так как при кашле отделялись комочки сгущенной крови, то Н. подошел к раковине, и в это время кровь забила фонтаном изо рта. Он упал. На шум прибежала дежурная сестра. Тотчас пришел и я с врачами. Бились мы над ним минут 40. Делали искусственное дыхание. Но все напрасно: перед нами был труп. Вскрытие показало, что одно ребро совершенно развалилось от рака, и часть ребра впилась в плевру и вызвала смерть. Знал ли Н., что у него рак, о котором мы молчали, что смерть стоит за его плечами? Но, судя по тому, что он намерен был выступить на юбилее, он о смерти не беспокоился и во всяком случае ее откладывал, - заключил Михаил Данилович, задумчиво обхватил белый лоб ладонью и упер локоть в край стола.

Георгий встал, подошел к окну, отстранил шторы и посмотрел на светящиеся огни переулка...

Как-то Ездаков остался в квартире один, не считая домработницы Елены Ивановны, лежал на раскладушке в "бабушкиной", ставшей "ездаковской" комнате и читал. День был воскресный, Георгий уехал с родителями на дачу. Вдруг - звонок в дверь. Ездаков пошел открывать и с удивлением увидел на пороге Тамару. Он смотрел на нее с волнением и, как будто Георгий был дома, пригласил ее в квартиру.

Убедившись, что Георгия нет и поздоровавшись с Еленой Ивановной, которая готовила на кухне под звуки радио, из которого лилось:

... День придет - мы разгоним тучи,
Вновь родная страна расцветет, -
Я приеду в мой город могучий,
Где любимый наш Сталин живет.
Я увижу родные лица,
Расскажу, как вдали тосковал...

Дорогая моя столица!
Золотая моя Москва!..

Тамара собралась уходить, но Ездаков, кашлянув от смущения, сказал, что никак не может вспомнить автора одной книги, которая ему нужна для конспектирования. Он пошел в свою комнату с видом человека, которому до зарезу нужно выяснить фамилию то-

го автора, пошел, не оглядываясь и зная, что Тамара последует за ним.

Он стал копаться в горах книг и журналов, выхватил наугад какую-то книгу и, принимаясь сосредоточенно листать ее, кивнул Тамаре на стул, чтобы она присела, а сам прикрыл дверь.

Тамара не села на стул, она принялась разглядывать выцветшие фотографии в старинных рамках на стене. Ездаков, зажав книгу под мышкой, с ловкостью опытного человека, привыкшего обращаться с женщинами, смело обхватил Тамару за талию. Она обернулась, и он поцеловал ее своими полными влажными губами.

- Ка-ак? - выдохнула испуганная Тамара, и глаза ее расширились. Она хотела еще что-то сказать, но повторный жадный поцелуй ошеломил ее.

Ездаков трогал ее за талию, за плечи, за грудь, а она, откинув голову, не моргая, смотрела в потолок и не шевелилась.

- Тебя так целовал Георгий? - спрашивал Ездаков, приходя в восторг и впиваясь губами в ее длинную и нежную шею.

- Нет, - прошептала она. - Он странный... Ни разу даже не обнял.

- Я знал это, знал, - бормотал Ездаков, запуская свою ладонь под платье.

А Тамара, ни о чем не думая, гладила его по щеке, по голове, по спине. Страсть, вспыхнувшая в ней, погасила все мысли...

Лишь позже, когда Ездаков провожал ее до метро, она вспомнила Георгия и ужаснулась своему поведению. Такой жених! Такая квартира! Дома ждал ее пьяный отец-водопроводчик, забитая мать, братья, грязные, сопливые, ползающие по дощатому полу узкой, как коридор, семнадцатиметровой комнаты коммунальной квартиры...

- Я женюсь на тебе! - выпалил Ездаков у метро и поцеловал ее в губы.

Даже после того, что случилось между ними, Тамара не перестала нравиться Ездакову - знак того, что любовь эта не случайна, не как предыдущие связи, которых у Ездакова было достаточно, но после которых становилось гадко и не хотелось больше видеться с "партнерами", как называл их про себя Ездаков.

Отец Георгия, Михаил Данилович, когда по традиции все вместе ужинали в столовой, сказал:

- По-видимому, на Западе и в Америке про нас пишут такие штучки, что это вызывает с нашей стороны усиление идеологической позиции. И вот мы видим, что каждое слово оценивается и каждый волос расщепляется на четыре части. Горячим головам кажется, что воспрещается все оригинальное, ибо в нем - ересь и раскол. А, по-моему, никто ничего точно не знает. Насколько сейчас все обострено, видно на самых простых фактах. Так, например, моего знакомого врача, которого я знаю с детства, арестовали за то, что он якобы вредитель... Смешно!

Ездаков вытянул губы как будто тянулся, как лошадь, к сену, наморщил лоб и сказал:

- Люди маскируются так, что могут мать родную вокруг пальца обвести, что...

- Нет уж! - воскликнул Михаил Данилович и пристукнул ладонью по скатерти. - Перед матерью человек чист как на ладони...

Было слышно, как на кухне домработница звенела посудой. Дверь в коридор была открыта. Михаил Данилович приглушенно кашлянул и, подумав, сказал:

- Со дня рождения Толстого прошло 120 лет. В газетах были статьи, что Толстой - великий художник и никуда не годный мыслитель. Эта дата прошла так бледно, как будто ее и не было. Сколько было трескотни о Белинском! О Толстом, можно сказать, говорили ради приличия. По-видимому, о Толстом на Западе написано так много и так резко по нынешним временам, что нам, кроме пересказов банальностей, и писать нечего и нецелесообразно.

- Это так, - согласился Георгий и принялся наливать себе чай из большого фарфорового чайника, на котором улыбались два румяных китайчонка.

- Да и в самом деле, - продолжил Михаил Данилович, пощипывая себя за длинную мочку уха, - Толстой для нас плохая компания и подозрительная личность. Надо сказать, остатки русской интеллигенции и советская, новая интеллигенция о Толстом как мыслителе ничего не знают. Но знать Толстого, не зная теологии, невозможно. Кроме того, нет времени, чтобы прочесть и разобраться в его сочинениях: "Исповедь", "В чем моя вера?", "Критика догматического богословия", "Царство Божие...", "Так что же

нам делать?», «Перевод и соединение евангелий» и так далее. Все это не по силам современному человеку...

Ездаков встал и тихо и взволнованно, поглядывая на Михаила Даниловича, стал ходить из угла в угол, о чем-то думая. Между тем Михаил Данилович продолжал свои рассуждения:

- Нельзя отрицать и того, что Толстой не имел представления о реальном человеке. Он находился во власти библейского учения о человеке. А между тем реальный человек - это в большинстве своем странный, полный противоречий организм, который не ставит себе никаких идеальных целей и столь бестолков, что не соблюдает даже правил уличного движения. Я постоянно, когда выпадают минуты, наблюдаю из окна клиники толпу и вижу, что если бы не милиционеры, то на улицах происходило бы черт знает что: люди бродили бы по разным направлениям, машины двигались бы по усмотрению шоферов и каждый день мы имели бы сотни изувеченных и раздавленных. Вот такой простой факт скрывает за собой очень многое. Наша эпоха - эпоха очередей. Прислушайтесь к разговорам стоящих в очереди - можно сильно разочароваться в людях. То же впечатление производят и разговоры в клинике. Я работаю с 1908 года и не встретил ни разу человека, за которого я ухватился бы, который был бы мне необходим в духовном отношении...

Вера Петровна вскинула на мужа бровь, спросила:

- А меня вы, Михаил Данилович, не причисляете к необходимым?

Михаил Данилович шумно вздохнул и с улыбкой сказал:

- Мы - единая плоть!

Георгию что-то пришло в голову, потому что он поднял руку, прерывая отца, и когда тот обратил на него внимание, сказал:

- Дочь Льва Толстого, Александра Львовна, оказывается, живет в Америке, ведет против нашего правительства политику. Мы называли ее «шпионкой» и «предательницей Родины». В «Литературной газете» было сообщение, что она - старуха, что до войны как-то выступала с лекцией о Л. Толстом и сделала высказывание о необходимости войны с нами. Во всех газетах было написано, что она обесславилась именем своего великого отца. Сообщалось также, что жив еще Керенский и что он мечтает еще поработать в качестве политического деятеля. Когда я все это прочел, то подумал, что в Америке против нас готовят не только атомные бомбы, но и кулют какую-то философию. Из одной брошюры узнал, что в Амери-

ке в большом ходу учение, которое называется персонализмом. Теперь мне понятно, почему у нас заговорили о самостоятельности, о создании своей философии, независимой от Запада.

Ездаков, что-то тихо напевая себе под нос, продолжал ходить из угла в угол. Георгий косился на него, но стеснялся сказать, что, когда отец говорит, нужно тихо сидеть и слушать. Наконец Ездаков, видимо, догадавшись об этом, сел и задумчиво уставился в потолок.

Михаил Данилович положил руки на колени, посмотрел на них, как будто видел впервые, вздохнул и, вставая, сказал, ни к кому не обращаясь:

- Благодарю!

Его прямая спина в светло-сером пиджаке исчезла в застекленных дверях. Вера Петровна посмотрела вслед, затем перевела взгляд на Ездакова. Тот играл позолоченной ложечкой на блюде.

- Михаил, как ваша учеба? - спросила она, поправляя браслет на левой руке. Браслет был серебряный в виде маленького удавчика с зеленым камешком глаза.

Проскрипев стулом, Ездаков поднял на нее глаза, как-то лениво сказал:

- Скучно. Я думал - философия интереснее.

- Это, как посмотреть, - сказал неопределенно Георгий.

- Как ни смотри, - сказал Ездаков хмуро.

На факультете они почти что не разговаривали, на занятиях Георгий сидел в стороне, рядом с Ранским, а в перемены и по окончании занятий Ездаков исчезал в своем партбюро.

Туда часто заглядывал маленький и толстый, с красноватым лицом преподаватель Безчеревных, загадочным взглядом, склонив голову, обводил Ездакова и тонким голосом спрашивал: "Ну, это, есть там у вас студенты, которые собираются группами, мнения высказывают?" - "Есть", - говорил Ездаков, вынимал из внутреннего кармана записную книжку и читал фамилии. Блинова не называл, до поры до времени.

Однажды в факультетской стенгазете появилась заметка о Ездакове и схожих с ним "сознательных", которые всячески восхвалялись за свою "непримиримость" и "бдительность" преподавателем Безчеревных, чья подпись стояла под заметкой.

После того, как Георгий прочитал эту заметку и увидел Ездакова с Тамарой, которая при появлении Георгия опустила глаза и по-

краснела, Георгий отозвал Ездакова в сторону и, преодолевая волнение, робко, но с неприязнью, сказал, чтобы Ездаков больше к нему в дом не приходил.

- А где же мне жить?! - наивно воскликнул Ездаков. - В общезжитии я не смогу, хватит, покантовался на фронте по окопам и землянкам!

- Ты в пехоте служил? - спросил Георгий, ранее не интересовавшийся фронтовым прошлым Ездакова.

- Танки над собой пропускал, чтобы в зад им - гранатой! - соврал, не моргнув, бывший писарь особого отдела. - А ты думал!

Георгий смущенно опустил глаза и в глубине души, стал ругать себя, что из-за девушки и какой-то заметки хотел осложнить жизнь пехотинцу. Сам Георгий воевал в связи, таскал катушки, телефоны, рации, лазал по блиндажам, по окопам вдоль передовой, поэтому знал, как тяжело было пехотинцам, которые, в отличие от связистов, оставались надолго под огнем...

Как-то на рассвете Георгий тянул связь в землянку НП, бросил уже в полутьме землянки телефон, а сам с катушкой, с которой сматывался провод, побежал в сторону соснового бора. Нужно было пройти его насквозь и там подсоединиться к "магистрали".

Тут и там бродили бойцы и командиры; вдруг поднялся вой, налетели самолеты, началась бомбежка. Все ринулись в землянку, довольно просторную. Пока Георгий, спотыкаясь, бежал к ней, землянка набилась людьми до отказа, ему не хватало места. Он в несколько прыжков отскочил к овражку, упал и заслонил голову руками. Услышал надрывный стон крыльчатки бомбы, услышал грохот, даже земля под ним вздрогнула, а затем почувствовал удар по ногам.

Когда все стихло, Георгий попытался встать, но нога не слушалась и была горячей, как будто в кипятке. Георгий взглянул на прорванную кирзу сапога, на красный и мокрый тряпичный клочок на колене и отвернулся. Только тут он понял, вскинув голову на картину, открывшуюся его взору, что жив, а те, что укрылись под бревенчатой крышей, вернее, их останки, кишки и щепки от бревен в одном месиве с землей...

Однажды в субботу, когда ужинали, как обычно, за большим столом и Михаил Данилович уже собирался развивать кое-какие

мысли, в квартире раздался звонок, домработница Елена Ивановна под звуки песни из радио:

... За столом никто у нас не лишней...

- пошла к двери и впустила прилично одетого человека, который представился: "Бельский". Он, сняв шляпу и проведя ладонью по жестким волосам, сказал, что к Михаилу Даниловичу. Потом с ним о чем-то недолго беседовал в кабинете, потом Михаил Данилович, улыбающийся, в плаще и в кепке, заглянул в столовую и сказал:

- Срочный вызов...

Кто мог знать тогда, что этот вызов был последним в его медицинской практике?!

Через месяц Георгий Блинов предстал перед факультетским "треугольником", где Ездаков по книжечке зачитал "вины его". Особенно неотразимо сработала последняя фраза из этой книжечки: "Сочувственно отзывался о Керенском".

Георгия Блинова в этот же день исключили из партии, в которую он вступил в лесах Белоруссии в 1944 году перед боем, и отчислили из университета. Недели через три он уже работал в корректорской под началом Волкова. А Ездаков привез на грузовике "ЗИС-5" доски и перегородил квартиру как раз в том месте, где был вход в туалет, который тоже перегородил, пробил лишнюю дверь и установил унитаз с Ездаковской стороны. Причем часть книг, оставшаяся за перегородкой, и телефон перешли "добровольно" к Ездакову, который теперь занимал две комнаты из пяти и входил в квартиру вместе с женой Тamarой с парадного подъезда, тогда как Блинов и его мама, Вера Петровна, постаревшая и осунувшаяся, вынуждены были пользоваться черной лестницей, выходящей во двор.

Домработница подыскала себе другое место.

Как-то зашел изможденный болезнью де Карди с гитарой. Сначала он поднялся с парадного подъезда, но ему сказали, что к Блиновым следует отныне ходить со двора, черной лестницей. Де Карди печально посидел на диване, потрогал струны, но не играл. Туберкулез его почти что съел. Его шея была обмотана серым женским шерстяным платком, и он походил на нищего с Арбатского рынка.

Когда Георгий провожал его, де Карди остановился на выходе из переулка, со вздохом взглянул на гитару и с каким-то невидан-

ным отчаянием ударил ею об угол дома, так что она разлетелась в щепки под взвизг струн.

Через три дня де Карди умер...

Теперь перестал, казалось, замечать Блинов, как вокруг него гремело время, прорезая тишину лесов ревом заводов-новостроек, как одна за другой выезжали на улицы, еще свободные улицы Москвы, новенькие "Победы", как вступали в строй линии метро, как спешили, торопились люди обогнать время, скрутить его, покорить. Казалось, самого себя не замечал Блинов, отстранялся от себя, думал о своей "Философии печали", только не о себе в контексте этого времени...

Покинув с трудовой книжкой в руках корректуру, Блинов неделю сидел дома, никуда не выходя.

Еще через неделю, после долгих размышлений, Георгий Блинов предстал перед начальницей по кадрам каких-то складов, как Блинов уже не помнил, наниматься упаковщиком.

На застланном газетами столе начальницы кипел жестяной чайник на примусе, а она, поглядывая на трость в руке Блинова, жевала булку с котлетой.

- Не умаишься с ногой-то? - спросила она...

Помнил Блинов осенний день с падающей листвой кленов, с золотисто-зеленым от неяркого солнца утром. Воздух был прозрачен, тих от ночных заморозков. Легкое облачко дыхания вырывалось изо рта, быстро таяло. Блинов свернул в узкий переулок, прошел к высокому кирпичному зданию без окон, с дугообразной крышей. Сплошная кирпичная стена на много метров вверх. Красного, побуревшего кирпича. У маленького крыльца Блинов помялся, дернул дверь и по крутой, неосвещенной лестнице спустился, пригнувшись к гнили, в глубокий подвал.

Блинова обдало холодной сыростью. Справа, в закутке, нешибок горела желтая лампочка. Слева ввысь и вширь растилялось складское помещение, заваленное деревянными, пахнущими еловой смолой, продолговатыми, окантованными железными полосками ящиками. Блинов постоял некоторое время, созерцая подвальное помещение, чувствуя, как легкая дрожь сотрясает его спину. Будто что-то надломилось в его душе. Он двинулся осторожно в сторону освещенного закутка,

отгороженного от остального помещения ржавой стальной сеткой.

Там стоял человек в ватнике, валенках с галошами. Наклонившись, он заколачивал в ящик гвозди. Видимо, спиной почувствовав появление постороннего, он, заикаясь, спросил:

- П-по ка-кому вопросу?

Помялся Блинов, кашлянул, глядя на болотного цвета промасленный ватник, робко проговорил, чувствуя, как язык прилипает к нёбу:

- Работать вот пришел. Сказали, чтобы я сюда шел. К Шестоперову Якову. Вы им, наверное, будете?

Промасленная, стеганая спина распрямилась, перед Блиновым предстал невысокий, коренастый человек с черными усами и маленькими спокойными глазами. Он удивленно стал разглядывать достаточно высокого, стройного гражданина с тростью, аккуратно расчесанного на пробор, с большими светлыми глазами, прямым носом, гладко бритым подбородком с ямочкой.

- Н-да. Я и есть Я-яков Шестоперов. С-садись, чево с-стоишь! - он ткнул ногой в валяном сапоге табуретку к Блинову. - Т-ты третий уж б-будешь. Бегут отсюда скоро. Х-холодно и тяжело. Покидаешь ящики - поймешь. А-агитировать н-не буду.

Блинов осторожно сел на шатающийся табурет, молча взглянул на Якова, вводящего его в курс дела.

- В складе лежат я-ящики. Т-ты берешь один, тащишь с-сюда, ставишь на верстак, снимаешь с ящика крышку. П-потом бе-э... бе-эрешь на-акладную, - он взял с верстака шелестящую папиросную бумагу. - Ч-читаешь, чево там на-аписано... Вот в этой накладной г-говорится: п-пять кронш-штейнов, две тя-аги, в-восемь зацепов, т-тринадцать валиков и одна плат-тформа, - при этом усатый Яков доставал грубыми пальцами из ящика каждую деталь, демонстрировал ее Блинову. Детали были маленькие и большие, сверкающие поверхностями, покрытые маслом. К примеру, так называемую платформу Яков с трудом поднял двумя руками.

Пожевываясь от холода подвала, Блинов машинально как-то выслушивал, потирал замерзший нос тыльной стороной белой ладони, втягивал голову в плечи. Ему бы на лекции сидеть, а не в подвале.

- П-потом, когда напакую таких я-ящиков, на каждый колотишь т-табличку - фанерку с почтовым а-адресом. Придет г-грузовик и мы загрузим его...

Без рассуждений понял Блинов, что работа здесь тяжелая - что сделаешь, то получишь,- поэтому встал, ничего не спрашивая, скинул плащ и удивленно застыл. Он был обряжен в свой традиционный серый пиджак и зеленый, купленный на Сухаревке еще до войны галстук. Как будто пришел на факультет и сейчас начнет писать конспект лекции.

Он двинулся в темноту за ящиком.

- П-погоди! - окликнул его Яков. - П-переоденься, а т-то в-вымажешься! - он отпер ключиком маленький висячий замок шкафчика, перегороженного доской, стоящей вертикально, на две части. В одной висело черное суконное пальто, перекроенное, видимо, из шинели, в другой - телогрейка. - Т-твоя п-половина будет. В-вешай сюда свой плащ, бери телогрейку.

Блинов послушно переоделся.

- В-вот т-только валенок не-эту... У т-тебя дома есть?

- Нет, у меня валенок нет, - сказал Блинов, оглядывая на себе холодную, тяжелую и влажную телогрейку.

- Эт-то п-плохо, - сказал Яков. - К к-концу р-работы околеешь!

Сдвинув со штабелей ящик, Блинов почувствовал тяжесть его, с трудом донес, прихрамывая, ящик в закуток и, шумно вздохнув, положил на верстак. Взял из стопки сиреневую накладную, направился с ней к ящикам с деталями.

- Как выглядит переходник? - читая накладную, спросил он у Якова, который продолжал заколачивать укомплектованный ящик.

- В у-углу ле-эжат, - указал он молотком на сетку закутка и тем же молотком погладил себя по черным усам.

До обеда Блинов сумел сформировать лишь один ящик. Наименований было около тридцати, причем каждую деталь нужно было завернуть в промасленную коричневую бумагу, компактно разместить в ящике. Затем второй экземпляр накладной, сопроводительный, положить сверху, забить дощатую крышку и, написав адрес получателя на фанерке, прибить ее к торцу длинного ящика, похожего на гроб, под ручкой. Ящик получился такой тяжелой, что Блинов не смог его даже пошевелить на верстаке, между тем как маломощный с виду Яков, кряхтя, скидывал свои ящики и, кантуя их, ухитрялся отправлять к наклонному люку из подвала, который помещался возле лестницы.

Яков сказал:

- Чево т-ты на него смо-отришь и с-силу не на всю включаешь! Ты д-дай мощности п-побольше, рывком скидывай его...

Прислушавшись к совету, собрался Блинов и что было духу рванул за ручку. Рывок удался на славу и, если бы Блинов не отскочил, сам был бы придавлен упавшим на середину закутка ящиком.

- В-видал, есть силенка, а ты г-говоришь! - усмехнулся Яков, раскладывая на верстаке харч. - Л-ладно, после обеда перетащишь... Садись, по-жжуй...

Блинов молча подсел к верстаку, взял предложенную картофелину в "мундире". Почистил ее, густо посолил, сунул в рот.

Уминал картошку Блинов, поглядывал на Якова, удивлялся самому себе, что за каких-то четыре часа пообвыкся в складе, свету как-будто в нем прибавилось, притерся к телогрейке, которая из холодной превратилась в жаркую, да и в работе смысл отыскался: ходи, набирай по накладной детали, складывай в ящик, а сам, между тем, думай любую думу, только вот мозоли появились на руках, да поясицу стало поламывать, но это от не-привычки.

Однажды Яков, к слову пришлось, рассказал о себе, как он воевал. Блинов запомнил. 1941 год, битва за Москву (сам Блинов был мобилизован в начале 1944). Наступление немцев началось в самом конце сентября массированными ударами танковой группы Гудериана.

Была изморось, плотная стена тумана застилала взор. Взвод, в котором служил Яков, отрезанный от роты, пробивался редколесьем из окружения. Слева, из-за белесого марева строчил пулемет, заставляя бойцов ложиться и ползти. Время терялось, и никто не знал, вместе со взводным, на сколько километров продвинулся противник в нашу оборону. Пулемет строчил, отрезая дорогу для отступления.

Яков и еще один красноармеец поползли к пулемету. Граната была одна, патронов для трехлинейки - не густо. Обмотки на ногах вымокли, ноги казались чугунными. Подползли справа незаметно. Швырнули гранату, она не взорвалась, отсырела, что ли. Яков вскочил и в три прыжка оказался у пулемета, свалился на него. Садануло в пах.

Так вот отвоевался Яков. Крови много вышло из него, но очутился в госпитале, где провалялся около года.

- У-убить т-трудно человека - живуч! - смеялся Яков, теребя свои черные усы.

Дни шли за днями. Блинов ворочал ящики, в обед ел свою пайку, принесенную в газете из дому. После работы, едва волоча ноги, упираясь в трость, возвращался домой, заваливался на диван.

В начале сорок девятого года умерла мама. Подселили соседей.

Однажды в субботу вечером Блинов и Яков сидели на ящиках перед спуском в подвал, разговаривали, поджидали грузовик. Синее небо слабо засветилось звездами. Днем было солнечно, хотя и прохладно.

Вдруг где-то заиграл оркестр. Блинов прислушался. Яков достал кисет, надорвал газету, поспешил краем языком и склеил "козью ножку". Свет спички осветил голубым светом его добродушное лицо.

Играли, кажется, "На сопках Маньчжурии".

Заурчал у поворота к складу, слепя фарами, грузовик "ЗИС-5", заглушая звуки духового оркестра. Спустились в подвал, взяли за ящик и бросили его на железный настил наклонного люка.

Затем вместе поднялись по крутой лестнице вверх и со двора длинным стальным крюком втащили этот ящик к машине. Работали они торопливо. Яков спешил домой, а Блинов хотел отыскать тот оркестр духовой, что гремел трубами и тарелками где-то поблизости.

После загрузки машины, простившись с Яковым, Блинов переулками спешил, постукивая тростью, на звуки оркестра. Синий вечер лежал над Москвой. Блинову казалось, что этот синий, свет сам излучает музыку, ведет куда-то его - Блинова - под мелодию вальса по безлюдным переулкам.

Было прохладно, но воздух был сух. Зажглись фонари, от фигуры Блинова упала длинная тень. Приятно смотреть на свою то сжимающуюся, то вытягивающуюся тень и идти за ней.

Приятно.

Оркестр то затихал, то вновь возникал совсем рядом.

Вышел Блинов на широкую улицу, против каких-то высоких желтых гаражей. Оркестр отчетливо заиграл слева. Блинов свернул на его переливы и, пройдя несколько метров, увидел ярко освещенную площадку, зеленую арку с надписью "Сад Эрмитаж".

Блинов пошарил в карманах, выгреб медь, купил билет и оказался в веселой толпе отдыхающих, гуляющих, танцующих. На лотке продавалось мороженое. Блинову захотелось попробовать его, но весь наличный капитал, к сожалению, был использован на входной билет. Облизнулся Георгий Блинов, потер красивый нос и пошел к раковине эстрады, где восседали военные оркестранты.

Блестели медь и серебро, сияли красные, зеленые, желтые, синие прожекторы, расписывали на свой вкус, словно художник акварелью, пеструю толпу. От работы на воздухе музыканты раскраснелись. В фуражках с красным околышем, в затянутых ремнями кителях с двумя рядами латунных пуговиц они напоминали кукольных персонажей из сказок Андерсена или фантастических новелл Вельтмана. В перерывах между вальсами и маршами они слегка ежились, разминали немеющие пальцы.

И вновь шевелились, приставляли мундштуки инструментов к синееющим губам, надували румяные щеки, скашивали внимательные глаза на низенького майора-дирижера, под кителем которого ходуном ходили острые лопатки, и по взмаху его руки в белой перчатке начинали “Амурские волны”...

Музыка ударила в толпу, люди сдвинулись с мест и пары, одна за другой, закружились на асфальте, шурша плащами, шаркая сапогами и ботинками. Вскидывались полы пальто, девушки поддерживали шляпки, кавалеры обнимали партнерш за талию, выставляли в сторону сцепленные руки.

Тут и там стояли кучки молодых парней в кепках, надвинутых на глаза, смолили папиросы, поблескивая стальными зубами. Сплевывали они по обыкновению через плечо, говорили “ша!” и насвистывали, вопреки оркестру, “Мурку”: “Ты зашухерила всю нашу малину и за это пулю получай...”, - тянул кто-то гортанным хриплым голоском...

Когда Блинов сидел на ящике у склада вместе с Яковом, грянувшая музыка оркестра, донесшаяся до него, показалась загадочной, манящей, но как только он вошел в “Эрмитаж”, увидел оркестр, все очарование пропало. Видно было, как трудятся музыканты, как с отсутствующими лицами лицами дуют в свои трубы, берут нужные ноты. Когда оркестр был невидим, казалось, что кто-то веселый делает один всю музыку под синим небом московского вечера.

И всегда так бывает, когда ты, допустим, идешь расстроенный чем-то полутемным переулком и вдруг в каком-то окне слышишь

звонкие радостные голоса, видишь, как мелькают за шторами руки, доносятся до твоего слуха звуки патефона, и тебе кажется, что именно там, за этими окнами, происходит что-то самое важное, таинственное и прекрасное, что именно туда бы ты хотел ужасно попасть, и щемит твое молодое сердце, тянет туда... Но вот, положим, ты оказываешься там, видишь самые обыкновенные картины: Иван Иванович уже пьян и норовит лицом упасть в тарелку с вишнегретом, патефон крутит маленькая девочка в красном сарафанчике, а некрасивые, угрюмые женщины пьют чай, лузгают семечки и злобно судачат о соседях. Ко всему прочему поет никогда не выключаемое радио.

А с улицы-то тебе казалось!

Вот и Блинова разочаровало увиденное. Дух его уже не захватывало, как захватывало, когда он торопился сюда. Теперь раздражали дурно звенящие тарелки, однообразные басовые ноты огромной медной трубы, на которой, возможно, в свое время трубил и доводил до исступления окружающих какой-нибудь Егор Булычев.

Но публике не нужен был секрет, ей нужны были танцы. И не просто танцы под какой-то там патефон, а под живой оркестр! Людям тянуло на улицы, в потоки, в колонны, на митинги, они не хотели сидеть по углам...

Одиноко. Темная улица, едва высвеченная фонарями. Длинная, покачивающаяся тень от фигуры Блинова падает на проезжую часть, доходя до белой разделительной полосы. По этой тени, по-кошачьи урча мотором, проезжает колесом с белым ободом черная машина...

А Михаил Васильевич Ездаков в пятьдесят втором году с женой и ребенком получил квартиру на Калужской. В том же году он успешно защитил кандидатскую диссертацию, в которой с горячей убежденностью говорилось о "великом корифее теории..."

В докторской же диссертации шестьдесят первого года этот "великий корифей" был энергично атакован, развенчан и во второй половине диссертации вовсе не упоминался.

Отыскав номер Ездакова в записной книжке, Евграфов поднял трубку. Когда Ездаков подошел к телефону, Евграфов первое время не знал, что говорить, потому что Ездаков несколько раз хрипло проговорил: "Алле? Алле?.." Только после этого Евграфов представился, но Ездаков его не узнал и никак не мог вспомнить

или делал вид, что не мог. Наконец, что-то пробурчав, на вопрос Евграфова, читает ли он диссертацию, лениво сказал:

- Я очень занят, некогда... Занят очень...

У Евграфова похолодели ноги, и в этот момент постучали в дверь. На пороге стоял какой-то рослый и крепкий мужчина. Евграфов, приблизившись, вздрогнул, побледнел, узнавая по горбату, сломанному в секции бокса носу, Вадима. Заикаясь от неожиданности, Евграфов любезно, даже с подобострастием пригласил того в кабинет.

Вадим бросил безразличный взгляд на Евграфова, вошел, раскрыл плоский хромированный чемоданчик, извлек из него сколотые большой скрепкой документы с уже заполненной анкетой, фотокарточками, характеристиками, в общем с тем, что требовалось при устройстве на работу, и бросил все это небрежно на стол Евграфова.

- Я полставки для вас устроил, - сказал Евграфов.

- Хм. Так не пойдет, - сказал уже от двери Вадим, глядя мимо Евграфова в окно. - Я бы мог начать работу недельки через полторы. - И удалился, неуважительно хлопнув дверью.

С тяжелым чувством опустил Евграфов на стул, обхватил голову руками и принялся торопливо думать. Сердце у него горько щемило, а на душе было непогоже и сумрачно, как в дождливый осенний день...

Через неделю специальное заседание парткома посвящалось неудовлетворительной работе и. о. доцента кафедры философии и научного коммунизма Георгия Михайловича Блинова.

Профессор Шелягин сочувственно посмотрел на Блинова, который, оглаживая белую бородку, сел в стороне, у аквариума, в котором плавали ленивые черно-белые скалярии. Блинов сосредоточенно разглядывал свои руки, чрезвычайно хладнокровно, как будто его пригласили на объявление благодарности или вручение почетной грамоты.

- На сегодняшнем внеочередном заседании партийного комитета мы рассматриваем очень прискорбный факт - безответственное отношение коммуниста Блинова Г. М. к возложенным на него обязанностям по ведению семинара преподавателей кафедры технологии машиностроения и по основной своей деятельности - занятиям со студентами, - зачитал секретарь парткома Смирнов унылым голосом по бумажке текст, подготовленный Евграфовым.

Услышав это, Блинов хотел встать и крикнуть: “Ложь!”, но какая-то неведомая сила удержала его на месте. Он склонил голову, потер пальцами глаза, как будто они слезились. Он словно прислушивался к чему-то и ждал ответа, сидел не шевелясь, горбясь по-стариковски, а в душе разгорался, пламенел костер.

- Слово предоставляется заместителю секретаря парткома по идеологии Евграфову Валентину Тихоновичу, - сказал Смирнов, прошелестел разложенными перед ним бумагами, снял наручные часы, положив их на стол перед собой.

Наступила тягучая тишина.

В дверь заглянул Дубовской, пугливо оглядел зал и исчез.

Сильно пахло мастикой натертых полов. Зал заседаний, оформленный в светло-красных, белых и бордовых тонах, с высокими потолками с исключительно пышной лепниной в стиле псевдобарокко, с массивными люстрами, поблескивающими хрустальными подвесками, освещался ярким майским солнцем. Бликовали дубовые полированные шкафы с открытыми и закрытыми полками, вытянувшиеся вдоль стен.

Скрипнув мягким стулом, медленно встал Евграфов, обвел взглядом членов парткома, не замечая светловолосого Шелягина и сидящего на отшибе Блинова. Под ложечкой у Евграфова приятно засосало, он вскинул голову и голосом, не терпящим возражений, произнес:

- Члены партийного комитета поймут меня, когда я скажу, что коммунистом Блиновым совершена идеологическая диверсия!

От этой формулировки у Блинова проскочила искра в левом глазу, и он едва не захлебнулся воздухом. У него сильно забило сердце и стало покалывать. Остановившимся взглядом он смотрел на Евграфова.

В 1963 году, когда Евграфов принял кафедру, Блинов работал в музее. Евграфов, заинтересованный “в новом слове о новом времени”, подыскивал прогрессивных, как он тогда поговаривал, преподавателей и вот однажды, побывав в музее и услышав лекцию экскурсовода Блинова, восстановленного в 1956 году в партии и в университете, который он закончил в 1959 году, наобещал ему златые горы и уговорил перейти работать к нему на кафедру. Блинов перешел, но едва он развернулся, как с октября 1964 года “новое время” стало пахнуть “добрым старым” и Блинов превратился из “прогрессивного” в “негативного”...

- Преклоняться перед Сенекой, этим схоластом, в преддверии юбилея института мог лишь человек, лишенный какого бы то ни было понятия о философии! - восклицал Евграфов. - Прежде чем давать эту фразу, нужно было проконсультироваться с компетентными людьми, хотя бы со мной, - он взглянул на Смирнова, зная, что тот в нужный момент поддержит. - Уяснить мою концепцию. Но коммунист Блинов ко мне подошел? Спросил у меня? Нет. Все проделано за моей спиной, в тайне. И вот результат! Над нами смеются, на нас указывают пальцем: эти люди преклоняются перед буржуазной философией! Да нечто у нас, у меня нет своей мысли, что я к схоластам на поклон пойду!

- Но фраза из Сенеки очень правильная! - вскричал с места не выдержавший Шелягин и хотел еще что-то сказать, но Евграфов оборвал его:

- Что-о?! - он приложил к уху ладонь. - Что я слышу? Фраза правильная? Так! - Евграфов сложил руки на груди. - Значит, все годы, предшествовавшие юбилею института, ничего не значат? - Он вслушался в тишину, обвел негодующим взглядом присутствующих, заглядывая всем в глаза, не думают ли они чего о нем, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его? Не обнаружив ничего подозрительного, сказал: - У Сенеки так это звучит!

- Там же еще о содержании говорится, - возразил довольно спокойно Блинов. - Жизнь ценится за содержание...

Евграфов взглянул, усмехаясь, на Смирнова, затем - на членов парткома.

- О, господи! - вздохнул он. - Позвольте спросить: за какое содержание? Нешто за то, что наш путь не был усыпан розами? За это содержание? Да? Я вас спрашиваю? И коммунист Блинов еще осмеливается утверждать, что это изречение философа вполне применимо к истории нашего института! Ничего себе заявка! - Евграфов вытащил из папки тетрадочку. - Слушайте, - сказал он. - "За историческое время..." Так... "Из небольшого факультета..." Так... А-а, вот! - воскликнул он, найдя нужное. - "Не так был гладок его исторический путь и, увы, не был он усыпан розами... Не раз, а много раз находился он на грани ликвидации", - прочитал Евграфов и возмущенно спросил: - Вы слышите, товарищи? - и после паузы добавил: - Лик-ви-дация!

Члены парткома переглянулись. Смирнов смотрел на Евграфова и поражался, как тот все обобщил и вычленил.

- Да кто-нибудь из вас, - он опять обвел мрачным взором присутствующих и подмигнул, - знал об этом?

- Нет, - слышались отдельные реплики.

- Вот видите!

Не стерпел Шелягин, хорошо знавший историю института, крикнул:

- Что вы могли видеть?! Вас тогда не было. Пришли, как говорится, на все готовое!

- Успокойтесь, Олег Владимирович, - сказал хладнокровно Смирнов, поглядывая на часы, мол, не пора ли подводить черту. - Мы вам дадим слово.

- Да что он знает обо всем этом! - продолжал Шелягин, потрясая указательным пальцем и тыкая им в Евграфова.

Тот удовлетворенно посмеивался, подливая тем самым масла в огонь.

- Этот человек заботится только о своем кресле, ему наплевать на историю! - не унимался Олег Владимирович.

В свою очередь не выдержал Евграфов, он побагровел и сказал:

- Как вы смеете подобное говорить мне, коммунисту?

- Что вы швыряетесь этим словом! - заглушил его Шелягин. - Оно что у вас - наподобие щита? Да какой вы, извините, к черту, коммунист, если собрали это судилище! - И сел.

Теперь уже не сдержался Смирнов. Громко постучав карандашом по столу, воскликнул:

- Это не судилище, а заседание парткома! Прошу соблюдать партийную дисциплину!

- Извините, - тихо сказал, вставая, Блинов. - Я состою в партии более тридцати лет и никогда не козырял этим! И то, что вы здесь, Валентин Тихонович, несете, мне отвратительно слушать. Философ еще называется! - Блинов опустил на стул, укладывая ладони на бронзовый, в виде головы собаки, набалдашник трости.

- Вы все слышали, товарищи коммунисты? - подлаживаясь под спокойствие, произнес Евграфов. - Мало того, что коммунист Блинов не признает свою вину, он еще, господи, обвиняет нас в непонимании. Я не могу оставить без внимания этот из ряда вон выходящий факт, и, думаю, члены парткома меня поддержат. Предлагаю объявить коммунисту Блинову строгий выговор с занесением в учетную карточку с выражением политического недоверия! - заключил Евграфов и сел.

Тут же встал Смирнов.

- Факт возмутительный, товарищи. У нас не место буржуазным философам. Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку коммунисту Блинову, прошу поднять РУКУ.

- Подождите! - выкрикнул Шелягин. - Может быть, еще есть мнения?

Проголосовали за предложение Евграфова все, кроме Шелягина.

Блинов смотрел на людей за огромным столом, на портреты членов под стеклом, но, казалось, ничего не видел. Он как-то прерывисто вздохнул, ощущая во всем теле слабость, встал, опираясь на трость, и нервно сказал:

- Вы плохие!

Он это сказал, вскипая и не сдерживая это кипение в себе, как последний аргумент, как самое бранное, непечатное слово, какое знал, и, покачиваясь от потрясения, вышел.

В коридоре к нему подошел Дубовской и, пугливо оглядываясь, сказал:

- Не обращайтесь внимания...

- Мне 59 лет, а я хочу жизни и настроения, как будто мне 20 или 30 лет. Ну не дурак ли я?! По-видимому, диссонансы человеческой природы обостряются к старости, и я, зная это теоретически, должен испытывать это на себе, то есть практически, - говорил Георгий Михайлович Блинов поддерживавшему его за локоть Дубовскому, когда они выходили из института. Блинов был разбит и расстроен. Он нервно стучал тростью и глядел мрачно в землю. - Ну что ж, как-нибудь это утрясется, образуется. Сама жизнь - лучший учитель. Судьба - это все! Мы не можем требовать ни от себя, ни от жизни того, над чем не властны.

- В понимании этого, - согласился Дубовской, засовывая какую-то книгу, обернутую газетой, себе под мышку, - и заключается мудрость.

На улице было тепло, пахло молодой зеленью. Толпы людей шли, обгоняя друг друга, сталкиваясь, обходя, переговариваясь на ходу, размахивая руками, крутя головами...

- Говорят, что ученье есть труд, - продолжил рассуждения Блинов. - А я неоднократно повторял, что ученье есть мученье! Это не одно и то же, но зерно - одно. Я очень рад, что в моей голове иногда вспыхивают верные мысли... - Блинов остановился, как бы прислушавшись к себе. - Чувствую какое-то странное недомогание, - вдруг сказал он. - Какая-то неопределенная боль в правой части головы.

Дубовской вздохнул, глядя по сторонам на проспект, по которому мчались лавины машин, на деревья, выбившие на свет первые копыя листа, на дома, и молчал.

Блинов оглянулся. Здание с колоннами уплывало назад, покачиваясь, как лодка на воде. В каком-то окне, несмотря на дневной час, ярко горел огонь и было видно, как в той комнате двигались люди, похожие на рыб в аквариуме. Везде люди, подумал Блинов, и везде они что-то делают, копошатся или, наоборот, с умными холодными лицами враждебно поглядывают друг на друга, молчат, сидят в креслах и думают, каждый о себе и про себя, что они-то и есть самые умные. Перебирая в мозгу все эти соображения, Блинов вдыхал в себя запахи выбившейся на свет листвы вместе с привкусом выхлопных газов и теплого асфальта, о чем-то думал и смотрел прямо перед собой, не моргая, в одну точку. Затем, через несколько шагов, поворачиваясь как-то боком, чтобы пропустить идущего прямо на него, как на параде, полковника с широченными плечами, сказал:

- Я просто с удивлением смотрю, как возможно столь быстрое моральное вырождение. Впрочем, здесь играет роль и общий упадок этики. Только идейная прослойка на высоте, а она, по всей видимости, невелика, ибо масса живет по принципу: кто смел, тот два съел.

Дубовской засмеялся и крепче ухватил Блинова за локоть. У метро немного постояли, глядя на бесконечный поток машин. Блинов, каким-то непонимающим взором окидывая этот железный поток, проговорил тихо, через силу:

- Я не думаю, что у меня страх смерти, но о смерти я думаю очень часто. В самом деле, мне уже без году 60. Что это за возраст?! Можно сказать, что моя обедня кончилась. Вот почему я каждый день, если он прошел без беспокойства, считаю каким-то счастьем. А между тем враг, как говорится, не дремлет. А жить еще хочется, а главное - учиться, думать, читать книги, изу-

чать то, чего не знаю. При этом я надеюсь, что это в моей власти, что это возможно, ибо я будто бы еще не всего себя проявил и я еще чего-то могу изобразить. Конечно, все это сплошная глупость. Но в этом есть и нечто хорошее: я пока что не “замерз”, не охладел, я еще двигаюсь! Еще работаю над собой! За это меня стоит похвалить. Мы живем, пока ищем, пока надеемся! “Молодец, Георгий, хотя ты и старичок!” - закончил мысль Блинов, пожал как-то торопливо руку Дубовскому и заспешил в метро.

Придя домой, он почувствовал, что кто-то из угла надвигается на него, протягивает руки и хочет задушить. - Товарищ Гете! - закричал Блинов. - Я не верю, что вы член парткома!

Настроение было не из приятных и Блинов отвернулся к окну, в котором стоял голубовато-лиловый свет.

Где-то в коридоре стучали ведрами и лениво переговаривались, должно быть, нянечки. Пахло марлевыми бинтами, йодом. За последнее время Блинов стал ощущать в себе резкие перемены настроения. То вдруг становилось неизъяснимо хорошо на душе, хотелось думать, вспоминать, радоваться простому солнечному свету в окне, то накатывала мрачная волна недовольства собой и всеми и тот же солнечный свет, что до этого развлекал, был не мил.

Что это за состояния?

Какие-то постоянные переходы из одного состояния в другое. Вдумавшись хорошенько, Блинов пришел к выводу, что сама жизнь - переходное состояние...

Когда стук ведер и голоса в коридоре стихали, было слышно, как на улице, за больничным подлеском, угрюмым и строгим, проезжали машины. Их звук возникал приглушенно, нарастал, затем так же приглушенно исчезал и казалось, что машины созданы только для того, чтобы возить свой шум.

Прошел день, прошел вечер... Сколько их уже прошло! На широком подоконнике сменялись цветы: сначала была пахучая сирень, потом важные, с кулак величиной бордовые пионы, следом за ними копыта гладиолусов... Жена Блинова, похудевшая, осунувшаяся, но желавшая выглядеть веселой, приносила цветы, полагая, что они скрасят болезнь мужа.

На некоторое время они действительно привлекали внимание Блинова, он вглядывался в лепестки и соцветия и замечал, что постепенно цветы вяли, сохли и их властно выдергивала из трехлитровой банки полная, с заплывшими глазами нянечка и, как веник, несла на помойку.

Все кратко, хрупко, ненадежно.

Справа сосед по койке, плотный, налитой старик, ворочался, ворочался все лето и вдруг взял да умер.

Теперь на его месте лежал длинный, очень худой, с выступающими из-под тонкой кожи лица костями черепа, небритый человек примерно тех же лет, что и Блинов. Человек этот много спал, а когда бодрствовал, то непрерывно говорил что-нибудь глухим голосом, например:

- Надо полагать, что холода прошли. Вопрос о топке печки, колке и пилке дров отпал. С меня свалилась тяжкая работа. Сегодня Маня мыла пол в кухне. Грязи и пыли в ней так много, что вряд ли я справлюсь в один день. Починил керосинку. Сейчас варю суп с бараниной. Давно не ел!

Поговорив так, он засыпал. Его, разумеется, не слушали, но кое-что в его разговорах было интересно. Он был военным историком, у него что-то стряслось на работе и он стал разговаривать сам с собой. Звали его Петром Федоровичем.

По утрам Блинов просыпался от его глухого голоса, как от будильника.

- Вчера по радио сообщили, - говорил как-то Петр Федорович, - что наши войска и союзников соединились. Был салют. Берлин окружен нашими войсками. Все ждут его падения. Академик Тарле свою беседу о Берлине закончил словами Христа: "Поднявший меч от меча и погибнет". Девятнадцать веков звучит эта фраза. Лучше не скажешь. Муссолини, как сообщается в газетах, попал в плен. Петэн прибыл в Париж согласно личной просьбе. На что же надеется старик? В Москве почему-то до сих пор не отменяют затемнения. Зато разрешили зажечь фонари на воротах домов. Все ждут - вот-вот кончится война...

Когда длинный и костлявый Петр Федорович засыпал, то просыпался Степаныч, мордастый, красный плотник, сосредоточенно вынимал из-под подушки книгу, вставал, накидывал байковый застиранный серый халат, выступал в середину палаты и, раскорячась, в кальсонах и войлочных тапочках, надетых на босую ногу,

начинал с умным, каким-то профессорским видом, хмуря брови и шумно сопя, листать книгу. Причем делал он это с затаенным стремлением найти забытую цитату.

Страницы мелькали, а Степаныч покачивался из стороны в сторону и потихоньку, переставляя широко расставленные ноги, продвигался к окну, как на ходулях. У окна он застывал, издавая звук, близкий к жужжанию пчелы, очень резко поворачивался, как впервые вставший на коньки человек, и, начиная вновь, как китайский болванчик, раскачиваться из стороны в сторону, с завидной поспешностью листал книгу.

- Что вы ищете? - однажды спросил Блинов.

Степаныч посмотрел на него таким испытующе презрительным взглядом, что Блинов понял всю несостоятельность и нелепость своего вопроса. Весь вид Степаныча говорил, что он только что видел нужную фразу, а вот Блинов своим идиотским вопросом сбил его с толку, и поэтому приходится снова листать книгу.

Когда палата погружалась в сон, Блинов смотрел в темно-лиловое окно и думал о перепадах настроения. Что это за перепады? Почему человек должен жить душевными переживаниями, очень ненадежными, а не рассудком - математической моделью правила и порядка?

И вновь наступало утро, и свет появлялся в окне. Потом света как будто прибавилось: шел пять дней кряду крупный снег. Костлявый историк почему-то перестал будить Блинова своим глухим голосом, все больше теперь молчал и в глазах его появилось осмысленное выражение. С плотником тоже что-то произошло, он отложил книгу, оказавшуюся учебником математики для 2-го класса, и стал поглядывать на всех из-под мохнатых бровей осмысленно и дружелюбно.

Скоре плотника, переболевшего сильным неврозом, выписали. Петр Федорович теперь молчаливо похаживал по палате, выходил в коридор и даже в холл, где встречался с навещавшими его родными.

Петр Федорович, стоя у окна, воскликнул:

- Чудесная погода!

И это восклицание самым странным образом совпало с перепадом в лучшую сторону настроения Блинова. Бледное лицо его с темными кругами под глазами оживилось, он отложил старую, дореволюционную книжку Толстого "Критика догмати-

ческого богословия”, встал с кровати и, запахиваясь в халат, подошел к окну.

Некогда строгий и угрюмый больничный подлесок теперь был припорошен снегом, словно его выкрасили из мрачно-бурого цвета в веселый бело-голубой, кое-где отливающий серебром. А выше, над темными стволами и оснеженными ветвями, расстилось светло-синее, сочное зимнее небо.

- Да, день чудесный! - согласился Блинов, и глаза его засветились.- Читаю Толстого,- продолжал он,- и чувствую, что я все тот же, как и сорок лет назад, когда впервые читал эту “Критику”...

Петр Федорович провел сухощавой ладонью по скуластому лицу, и улыбка, казалось, стала яснее.

- И опять перечитываю, - вздохнул Блинов, опираясь обеими руками на подоконник, теплый от батареи. - Как будто снова что-то переоцениваю. Понимаю, что догматическое богословие Макария написано плохо, но и Толстой частенько мало симпатичен. Слишком рассудочен. Ведь некоторые вещи не понимаются, а чувствуются, да и то лишь в особом состоянии. А он все носится со своим “разумом”. Но некоторые выражения очень хорошие. Видно, что Толстой душевно мучился. А за это многое прощается... Присматриваюсь к людям и понимаю, что нравственное чуть-чуть брезжит в человеке.

За окнами послышался шум машины, наконец, и сама она показалась на узкой белой дорожке, отразила солнце лобовым стеклом, и яркий луч ослепил на мгновение Блинова и Петра Федоровича.

- Вы часто что-то говорили о войне, - сказал Блинов, поглядывая на высокого и очень худого Петра Федоровича.

- Да-а? - удивленно произнес тот и смущенно кашлянул.

- Кое-что говорили...

- Удивительно, - как и прежде глухо, сказал Петр Федорович. - Как развилось хамство. Я всю жизнь писал монографию, а у меня ее слямзали сопляки и тиснули в журнале! А что они знают о войне! - выдохнул с сожалением он. - Я же своими глазами многое повидал. Был на фронте, под обстрелом, в окопах... Да-а... Был на Красной площади во время парада... В заключение парада играл оркестр из 1200 музыкантов. Радио, конечно, было бессильно вместить и передать такой силы оркестр... Так же бессильны и эти юнцы, берущиеся писать о войне! - возмущенно закончил Петр Федорович.

Во всей его тощей, длинной фигуре было в это время столько несчастья, что, казалось, это не он некоторое время назад восклицал: "Чудесная погода!".

- Я удивлен, как у нас хватает энергии, если принять во внимание безумный расход ее за все годы, - сказал задумчиво Блинов, глядя на снежные деревья за окном, освещенные мягким солнечным светом, и добавил: - Бывает, что душа поддается неведомому чувству от самых обыкновенных картин, как вот от этого солнечного снега и синего неба. Казалось бы, что может быть обычнее, чем небо и солнце! И все же...

Лицо Петра Федоровича, заостренное, небритое, стало серьезным и как-то посерело. Он прищелкнул языком, спросил:

- Что это вы догматикой интересуетесь?

Блинов некоторое время помолчал, прикрыл глаза, затем запахнул плотнее халат.

- Меня интересует история догматов, - сказал он, - то есть, как они образовались, какие были споры, ереси и так далее. Нравственное богословие интересно особенно теперь, когда общечеловеческая мораль поколеблена во всей Европе. Наша мораль - материалистическая. Но в ней есть нечто общечеловеческое. Спрашивается: откуда это "нечто"? Есть ли оно наследие прошлого, так сказать, нравственный опыт человечества, или наша мораль есть следствие реальных отношений людей, то есть нечто условное. Я заметил, что о морали вообще никто не рассуждает, и когда начинаешь говорить об этом, то у слушателей - кислая физиономия.

Наговорившись таким образом, они расходились по своим углам. Блинов лежал на кровати и думал о том, что все только что сказанное им никоим образом не повлияет ни на Петра Федоровича, ни на погоду, ни на, тем более, мир. Зачем тогда говорить было? Ну, в таком случае и жить незачем, если подобные вопросы задавать. Сколько умных слов сказано на свете, и все они, во всяком случае, в большинстве своем, пылятся на полках библиотек.

Жизнь, таким образом, шла обыкновенно, изо дня в день, с последующим анализом сказанного, увиденного, сделанного. Каждую мельчайшую деталь будничного дня Блинов анализировал подобно научным фактам. Что ж, в этом, по всей видимости, был свой резон, ибо, считал Блинов, ни что в этой жизни не напрасно.

Он все меньше и меньше обращал внимание на перепады настроения, потому что они, эти перепады, становились незаметными.

Часто Блинов лежал на кровати и смотрел в потолок, думая о том, что никакие самые изощренные словесные аргументы не действуют на людей, пока эти аргументы не проявляются в поступках. Через поступок к слову - таков путь большинства людей, или, что проще и яснее, через шишку на лбу - к слову: "Больно!".

В серые дни он уже не чувствовал себя так плохо, как прежде, и даже замечал, что его настроение стало менее зависеть от погоды. Он улыбнулся и с удовлетворением подумал о том, что нужно в самом себе, в душе своей создавать хорошую погоду.

2. ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Дубовской, которому исполнялось 10 ноября шестьдесят лет и которому грозила пенсия, тщательно красил помазком для бритья седые волосы.

Помазок, некогда желтоватый, цвета спелого пшеничного колоса, теперь был темно-каштановым, такими же темно-каштановыми становились волосы Дубовского, и он уже предвидел шуточные и не очень шуточные укоры Петрова, который критиковал Дубовского беспощадно в глаза:

"Что ты, как баба, красишься!", а Дубовской терпел, вернее старался все переводить в ту самую шутку, доля которой содержалась в укорах Петрова: "Ну, Дубовской, рассказывай, сколько рюмок вчера выпил?" Сумбурность вопросов Петрова спасала Дубовского от прямых ответов, хотя в последнее время он почему-то совершенно перестал стесняться себя и говорил, глядя в одну точку, с маленькой улыбочкой: "Хочу выглядеть моложе..."

Дубовской покраснел до корней волос, а лицо Петрова ожило надеждой, любопытством и удивлением. В этот момент Дубовскому было 45 лет, а Петрову 25, и именно Петров привез на Зеленоградскую двух красавиц: одну, разумеется, для Дубовского, который с первых же мгновений стал прятать от нее глаза. Но пышная красавица, с тяжелым бюстом, высокая, с мощными бедрами не обращала на смущение Дубовского никакого внимания, обнимала его, садилась к нему на колени, а он, стараясь отвлечь

ее от порывов страсти, болтал о какой-то заумной чепухе, постоянно меняя тему, тогда Петров подмигивал ему и советовал удалиться в какой-нибудь уголок, но Дубовской с каким-то агрессивным напором лез туда же, куда уходил со своей красоткой Петров, как бы подчеркивая этим свою преданность молодому товарищу.

Внизу за накренившимся забором в гуще крапивы и иван-чая протекал ручеек, который в свое время Дубовской перегородил, так что получилась небольшая заводь, как раз против задней калитки с участка Дубовского. Петров разложил на берегу заводи костер для шашлыков, водку опустил в довольно прохладную воду, от костра струился голубоватый пахучий дымок, а красотки в купальниках загорали поодаль на солнышке. Петрову и без беса-искусителя трудно было устоять перед этой чарующей картиной, озаренной розовыми лучами заходящего солнца, а Дубовской с какой-то невинной наглостью старался перевести внимание Петрова на что угодно, только бы тот не увлекся вдруг всерьез своей смазливой девицей с огромными голубыми глазами и такими же голубыми тенями вокруг них. И розовато-красное, как у банщика, с капельками пота лицо Дубовского с бегающими бледно-голубыми глазами выражало не то что испуг за возможный исход этого пикника, а какую-то подчеркнутую потрясающую властность, когда глаза бегают у человека не от чувствуемого страха, а от осознанной, укоренившейся в воспаленном мозгу ненависти к вполне определенным ситуациям и объектам жизни. Некоторая косолапость в походке, ставшее достаточно заметным брюшко, упитанная красноватая шея с большим кадыком под гусиной дрябловатой кожей с бодливо нагнутой головой, как будто Дубовской всегда что-то озабоченно разглядывал под ногами, придавали ему вид пастуха, бредущего за стадом.

Вид дачного домика произвел на Петрова угнетающее впечатление. На террасе была грязь, доски пола во многих местах выломаны, пахло плесенью, вдоль стен стояли покрытые паутиной батареи бутылок, спал Дубовской в "кармане" убогой комнаты на дырявой раскладушке, завертываясь в какое-то пожелтевшее тряпье, некогда бывшее простынями и пододеяльниками.

И приятно было ожидать электричку, где-то за далеким ельником раздался ее гудок. Дубовской безостановочно трепался о какой-то классификации наук и не понимал (или понимал?), что с каждым новым словом отношение к нему... Петров старался его

не слушать, какое-то бессвязное бормотание и дым от сигареты, взглянет - глаза бегают и улыбка маленькая. Девушки вымученно смеются, строят глазки, но Петров-то знает, что он им угробил день из-за этого дурака, болтуна, неряхи.

Электричка былое увозит по рельсам гудящим, толпы дачников давятся в старых вагонах под грубые выкрики петушинных гитар, под матерщину какого-то пьяницы в тамбуре, куда дверь закрыть невозможно из-за груды распаренных тел, над которыми вьется, как дым, в чьей-то тощей руке огромный букет сирени.

Удачно найденная форма защиты от окружающих, заключающаяся в слове: “Занят”, повзвоняет Дубовскому ничем не заниматься в той мере, в какой мы употребляем это слово. Еще он довольно часто пускает в оборот словечко “некогда”, которое в общем безотказно действует на людей, которые плохо знают Дубовского, но не на Петрова, который в сорок лет защитил докторскую диссертацию и стал завкафедрой с присовокуплением к этому должности профессора. Если Петров говорит: “Занят”, то это понятно, поскольку к концу дня из-под его руки выходит статья в какой-нибудь сборник, но что значит “Дубовской занят”, понятно лишь Петрову. Он видит косолапо идущего по улице Горького Дубовского, заглядывающего во все винные магазины в поисках отсутствия очередей в таковых, чтобы взять без всякой давки свою обязательную бутылку коньяка (виски, бренди...) и сидеть с ней при включенном телевизоре в прокуренной конуре в коммунальной квартире, закрывшись на два замка, и вывесить на дверь записку для соседей, сообщающую, что его нет дома.

Входит же он в свою допотопную коммуналку, как разведчик ступает на территорию врага. На Петрова шикнул однажды: “Тихо!”, когда только первую дверь в квартиру отворили, а когда была приоткрыта вторая, в полутемный широкий и длинный коридор, и Дубовской просунул в щель голову, как страус, прошептал: “Быстро, бегом!”, словно их должны были тут же, в этом немислимом коммунальном коридоре взять под стражу. Бегом, озираясь, к своей грязно-коричневой двери, ключ наготове, в скважину, да не сразу попадает этим огромным амбарным ключом, вздрагивает всем телом, ноздри раздуваются, как у коня после тридцати кругов на корде, глаза традиционно панически бегают, с бледно-бор-

дового носа капают капельки пота, уши, большие и волосатые, делаются помидорного цвета, пальто на груди оттопырено бутылкой, лежащей во внутреннем кармане, наконец, Дубовской, оглядываясь, как будто они берут овощной магазин или пивную палатку, плачущим шепотом восклицает: “Не могу попасть, выручай!” и топорливо подталкивает Петрова к двери, суя ему в руку тяжеленный, как монтировка, ключ. Ошеломленный Петров абсолютно ничего не понимает, стоит, как принято в таких случаях простодушно говорить, словно дурак, хлопает своими темно-кариими глазами, грудь выпячена, как у гуся, голова на длинной шее прямо-таки вздыблена и длинный, тонкий нос с горбинкой, как у стервятника, поднимается все выше, назад и выше как бы для характерного для тех же самых стервятников удара, как топориком, по жертве. Не хватает еще Петрову похлопать крыльями, как руками, то есть, наоборот, руками, как крыльями, и долбануть Дубовского своим орлиным носом по темечку.

Но Петров молчаливо и по-прежнему ничего не понимая берет ключ, вставляет его в скважину и хочет повернуть, но Дубовской плечом оттирает Петрова, открывает дверь, вернее чуть-чуть приоткрывает, и в это мгновение слышится голос какой-то дальней соседки, выходящей из своей двери, правильнее - только тронувшей свою дверь, приоткрывшей до щели: нож света полоснул дощатый пол. Дубовской коротко, зачумленно воззрился на Петрова, резко распахнул дверь, с силой втолкнул во тьму Петрова, как дебошира в каталажку, вскочил в комнату сам, быстро хлопнул дверью и закрыл ее на стальной засов. Петров споткнулся о порожек, выставил руки вперед, но все равно ударился головой о что-то деревянное с выступами. Дубовской щелкнул выключателем, приложил ухо к двери и, часто дыша, подмигнул Петрову, как после удачно проведенной операции по обезвреживанию преступников.

Петров обошел черный буфет, в который в темноте вонзился, и увидел, что окна в комнате были затемнены, как в блокаду, черными шторами.

- Это я карточки печатал, - на всякий случай сказал Дубовской, выставляя на заваленный всякой всячиной стол бутылку.

Щели и лучи света в них настраивали Дубовского на какой-то минорный лад, особенно когда он выпивал первую рюмку. В грязной комнатке на даче он не снимал внутренние ставни, сколочен-

ные из неплотно пригнанных досок, и сидел, разрезанный несколькими тонкими, как лезвия, лучами, в задумчивости, не шевелясь, наблюдая за клубящимися в лучах пылинками, белыми, как снег; и Дубовскому легко было представить, что он сидит в снежной комнате, даже озноб по спине пробежал, легкий озноб, и вдруг видел пилящего воздух комара, изредка попадающего в луч, и думал об этом комаре с жалостью, что жизнь его комариная коротка и случайна, что, попетляв по комнате, нарушив тишину утонченным писком, комар погибнет, и легкие слезы навертывались на глаза Дубовского, средце щемило от неопределенности собственного бытия в этом щелистом мире.

На узкий луч взирает с грустью, с ним космос в комнату летит, зовет по этому солнечному лучу уйти в начало начал, уйти не так, как уходят люди, а так, как уходит свет. Вот он сидит на шатком стуле из алюминиевых трубок с прорванной брезентовой спинкой, на столе перед его заплаканным взором консервная банка, полная окурков, несколько черствых ломтей хлеба, полупустая бутылка коньяка, стакан. Солнечный луч бьет в грань стакана, рассыпая в его тени золотые искры. Угрюмо гудит черный счетчик на фанерной покрытой морилкой стене, над двумя белыми электрическими пробками, гудит, как шмель, залетевший в углубление цветка, и Дубовскому кажется, что это он начинает взлет с легким гудением миниатюрного моторчика-ускорителя, который почему-то слегка начинает постукивать, как чайная ложка о тонкий фарфор.

Бутылка и стакан поспешно прячутся в левый "карман" где покоится стеклотара рублей на триста: весь четырехметровый карман завален бутылками, некоторым из которых лет эдак двадцать - двадцать пять. Косолапо ступая по прогибающемуся полу - доски тонкие, - Дубовской выходит на террасу, в треснутое окно которой стучит ногтем седовласая, пожилая, сухощавая соседка, свободно перешедшая границу участка Дубовского, поскольку забор у него есть только внизу, общей линией отгораживающий участки от ничейной территории с протекающим по ней ручьем в зарослях осин, крапивы и иван-чая.

От яркого света на террасе Дубовской щурится, приветливо кивает соседке, идет осторожно, чтобы не попасть ногой в пролом пола, к двери, в которой торчит ключ, открывает ее перед носом соседки, которая быстро и шепотом говорит:

- Валерий Иванович, завтра комиссия!

Это она говорит каждый год, и каждый год действительно надевается комиссия, состоящая из садоводческой общественности, пенсионеров, которые не знают, чем себя занять.

Перед тем, как посидеть за столом в узких солнечных лучах, утром, зная наперед о комиссии, Дубовской оделся по-рабочему: на нем были широченный засаленный пиджак с дырами на локтях, короткие, выше щиколоток брюки с заплатами на коленях, пыльные стоптанные зимние ботинки на босу ногу. Отворачиваясь от соседки, чтобы не дышать на нее коньяком, Дубовской с умилением смотрел на зелень сада, приглаживая крашенные волосы, и переводил ладонь на голую шею, вернее, не саму шею, а ту часть головы, между затылком и шеей, которая накануне была выстрижена в парикмахерской, то есть сделана прическа полубокс. От этой прически голова Дубовского как бы вытянулась, напоминая самое натуральное яйцо, только гораздо больших размеров, яйцо, на котором торчали покрытые серебристым пушком большие уши с порозовевшими от встречи с соседкой мочками.

И сочная зелень, и высокое яркое-синее небо, и жаркое солнце приятно щекотали душу Дубовского, настраивали на неспешную косметологию участка, дабы комиссия в который уж год сказала, что за участком следят, обрабатывают...

- Продай бы ты его кому-нибудь! - восклицал Петров. - Что ты над землей издеваешься! Да давай я у тебя куплю, дом поставлю настоящий, парники построю, фруктами-овощами закормлю! Будешь приезжать сюда всегда и бесплатно, будешь умыт, накормлен, ублажен!

Глаза Дубовского начинали бегать от этих предложений, он с каким-то ожесточением переводил разговор на свою треклятую классификацию наук или на автомобили, или на жуков, то есть, как уж, изворачивался, ускользал, не отвечал по существу, как змей уж (а не как "уж" как сочетание), змеенок - уж, такой скользкий, с желтоватыми подпалинками на мордочке, извивался, как червяк у Ницше, на которого наступили каблуком, изворачивался, сравниваемый Ницше с диалектикой, ибо что такое диалектика, как не изворачивание, и тем более в применении к Дубовскому, который, преподавая эту диалектику, правда, с определением существенным: марксистско-ленин-

ская, научился так изворачиваться, что ни разу на своих лекциях это определение не употреблял, считая себя поэтому прогрессистом.

В двух шагах от сгнивших, едва дышащих ступеней террасы, в тени старого стволитого куста сирени разросся широколиственный борщевик, семенами посаженный Дубовским года три назад. Семена он привез из одной туристической поездки на Кавказ. Быстрорастущее растение с завидной бодростью отвоевывало себе жизненное пространство, окружило сирень, выступило на тропинку и пустило небольшие побеги с другой стороны тропинки на грядках клубники, чисто символических грядках, ибо листьев клубники не было видно в густой и высокой траве, а вот побеги борщевика заметно было хорошо. Да, судя по всему, этот борщевик из семейства зонтичных, крупное растение заливных лугов и кустарников, в скором времени заполонит собой весь участок, если не укротить его буйный нором.

Косметологию участка и решил Дубовской начать с уничтожения борщевика, листья которого, как лопухи, но с резной, как у клена, каемкой заглушали любую поросль, и особенно культурную, к которой Дубовской относился с особенным почтением и закупал ежегодно обильное количество семян, бродя между делом по семенным магазинам зимними днями. В такие дни Дубовской подчеркнуто твердо произносил слово “занят” или слово “некогда” и шел на Кировскую, или на Покровку, или еще на какую-нибудь улицу, где торговали в специальных магазинах семенами. Естественно, для поднятия тонуса, настроения, душевного состояния Дубовской прежде всего брал в каком-нибудь нелюдном магазине свою законную бутылку коньяка (виски, бренди...), засовывал ее во внутренний карман пальто и, закулив, косолапо двигался, улыбаясь всему и всем, в сторону магазина “Семена”.

Старомосковские особняки, разноэтажные, желтобокие, розоватые, с белыми, как свечи, колоннами по фасаду, с атлантами, поддерживающими балконы, с грудастыми кариатидами, с лепниной под козырьками, с аркадами ворот улыбались Дубовскому, и он улыбался им, а однажды, идя в тот же семенной магазин с Петровым, сказал:

- Ничего этого нет! - затянулся сигаретой и, выпуская дым, голубоватый на зимнем солнце, добавил: "Абсолютно ничего нет! Все это лишь в моем сознании..."

В помещении магазина Дубовской не спеша надевал очки, вынимал потертый лист бумаги, на котором был длинный перечень якобы необходимых ему семян. Тут же, у списка имеющих в магазине семян, Дубовской вступал в разговоры с посетителями, особо их не выбирая, а просто обращаясь к рядом стоящему:

- А если я посажу арбузы, как вы думаете, вызреют они к августу?

Если Дубовской слышал беседу каких-нибудь заядлых овощеводов, то тут же подходил и самым естественным образом включался в беседу о чем угодно, о любом овоще и фрукте, как будто был профессиональным селекционером или первым учеником Тимирязева. На носу - плюсовые очки, не соответствующие по силе, найденные в комодке и принадлежавшие некогда матери, светло-барашковая папаха сдвинута на затылок, лицо распарено, с обязательным порезом после бритья, бегающие глаза, пальто - рукав реглан - расстегнуто, виднеется замызганный воротник не знавшей стирки сорочки, лоснящийся галстук и худосочный шарф, какой-то нитяной, синий в серую клетку.

Разговор заходит об изобилии, по всем подсчетам, яблок в предстоящем сезоне. Дубовской перебивает крестьянского вида человека в армейском бушлате, быстро говорит:

- Повидлом называется продукт, полученный увариванием различных плодово-ягодных пюре с сахаром до такой же степени, как и при варке джема. Хорошо сваренное повидло может храниться без пастеризации в негерметичной упаковке - глиняных горшочках или деревянных бочонках и даже в ящиках.

Крестьянин в бушлате и его спутник с авоськами, набитыми толстыми батонами вареной колбасы, подозрительно косятся на Дубовского и отходят в сторонку. Рядом с Дубовским оказывается какая-то женщина, рассуждает сама с собой об огурцах. Тут же вклинивается в ее спокойный монолог Дубовской:

- Перед консервированием огурцы рассортировывают по величине на группы, стараясь, чтобы в каждой из них были плоды приблизительно одного размера, затем их замачивают в холодной воде в течение 6-8 часов, каждую группу отдельно. Лучшими сортами для консервирования являются Нежинские, Вязниковские, Рябчик...

Не глядя на Дубовского, женщина удаляется к кассе, а рядом - все новые и новые люди, их много в магазине, очень много, так что Дубовскому делается жарко, он снимает шарф и сует его в карман. Кто-то рядом говорит об изобилии в его саду черноплодной рябины. Дубовской тут же встречается:

- Вы знаете, - начинает он тоном лектора, - из черноплодки можно приготовить вкусное и питательное пюре с сахаром. Для этого ягоды отделяют от гребней и плодоножек, бланшируют в воде при 100°C в течение 3-5 минут и пропускают через мясорубку сначала с крупной решеткой, чтобы разрушить ягоды, а затем с более мелкими отверстиями. Измельченную массу...

Но Дубовского уже не слушают. Наконец, он становится в очередь к прилавку и зорко следит за тем, что покупают впереди стоящие огородники. Очередь его еще далеко, но как только он слышит: "Пару пакетиков щавеля", кричит продавцу: "И мне отложите"... Через полчаса Дубовской начинает по полной программе диктовать продавщице, ибо его очередь подошла. Несколько раз кашлянув, глядя сквозь очки на свой список, Дубовской заказывает:

- Так, пару пакетиков шпината, три - цветной капусты, три - петрушки, два - укропа, три - зеленого горошка, два - свеклы...

Далее идет полный ассортимент, имеющийся в продаже. Тут семена тыквы и арбузов, огурцов семи сортов и помидоров, лука и сельдерея, моркови и редиса...

Седовласая соседка мимо умывальника, привинченного к тополиному стволу, мимо кустиков красной смородины удалилась на свой участок. Голову Дубовского припекало жаркое солнышко, он решил защитить темечко от перегрева и надел потрепанную бордовую с загнутыми полями женскую шляпку, некогда, как и очки, принадлежавшую матери. Взяв в руки лопату, стоя у сгнивших ступенек террасы, Дубовской мысленно наметил фронт работ, затем принялся снимать дерн с тропинки, обнажая глину, по которой во время дождя невозможно передвигаться, ибо это будет не тропинка, а лед, но об этом Дубовской не думал, как и не думал передвигаться по тропинке во время дождя, он думал о комиссии. А ровно подрезанная лопатой тропинка, от террасы через весь участок до задней калитки к ручейку, производит на комиссию всегда самое благоприятное впечатление.

Свежевскопаннные грядки ждали семян. Грядки копались без выборки сорняков, зачем выбирать корни осота или чего-нибудь еще, если урожаем Дубовской не интересовался? На конец июня была уже взята путевка, каковые Дубовской каждый год брал, готовясь к этому “бранию” еще с января. Он названивал по знакомым, по туристическим организациям, заходил в профком института, выяснял, какую ему лучше взять путевку и куда. В общем, вопрос “куда” не стоял остро, поскольку ориентиром Дубовского был юг. На сей раз Дубовской собирался на Памир.

Так что смысл обработки участка заключался лишь в том, чтобы пройти комиссию. В землю высыпались все закупленные горы семян, заравнивались граблями. Дубовской оглядывал свои восьми-соточные владения с видом маститого агронома, шурился на солнце и предвкушал встречу с еще одной бутылочкой коньяка, которая дожидалась его за чугунным ограждением от камина, найденным на свалке по пути от станции, ограждением, или некими каминными воротами с мраморной плитой сверху,- этакая маленькая сцена, установленная на террасе перед входом в комнату.

К концу лета участок зарастал буйной зеленью сорной травы. Нельзя было понять, где грядки, где межрядья, где тропинка. В этом случае Дубовской поступал достаточно просто: брал у соседки косу и скашивал под ноль весь участок, умело обходя яблони, кусты смородины и сирени.

Когда Дубовскому стало совсем жарко и пот обильно заструился по спине, рубашка была сброшена, вместо брюк надеты вылинявшие шорты. Перекусив, Дубовской нацелился на борщевик, ринулся под сирень и принялся руками выпалывать, выдергивать, выкорчевывать своевольное растение заливных лугов. Прижимая к груди охапки сочного, пахнущего легкими эфирными маслами борщевика, Дубовской относил эти охапки на компостную кучу с целью получения в дальнейшем первоклассного перегноя.

К вечеру на теле появились красные пятна, превратившиеся утром в белесоватые волдыри. Дубовской огорченно рассматривал их, но не падал духом, как истинный естествоиспытатель, которому на роду написано терпеть всякие гадости от природы. В последующий месяц все беседы Дубовского с каждым встречным-поперечным так или иначе сводились к обсуждению свойств борщевика. Дубовской с жаром обрисовывал это растение тем, кто ни разу не встречался с ним, советовал не разводить его на участке, хотя, судя по всему, никто этого де-

лать не собирался, но Дубовской продолжал говорить, и некоторые собеседники не знали, как от Дубовского сбежать. Но Дубовской был не тем человеком, от которого кому-нибудь удавалось быстро избавиться, потому что Дубовской сам всех опережал и после собственного длинного монолога вдруг начинал суетиться и говорить, что ему, Дубовскому, некогда. Собеседник пожимал плечами и думал, что сам задержал этого занятого доцента кафедры философии.

Дубовской, готовясь в очередную поездку на юг, бегал с полученной зарплатой по магазинам, покупал майки и трусы, поскольку белье так занашивал, что стыдился при посторонних раздеваться, а на вопрос Петрова: “Почему в прачечную белье не сдаешь?” - Дубовской отвечал: “Некогда!”. Петров на это хохотал во все горло, хохотал до слез, потому что для него не составляло никакого труда самому постирать майку или трусы, самому их выгладить, то есть следить за собой как-то незаметно, машинально, без особых затрат времени, следить самым естественным образом.

Да и ритм жизни у Петрова был совершенно иной, впрочем, это ясно и без подробностей: в сорок лет - доктор технических наук, заведующий кафедрой.

А у Дубовского день иногда равнялся вечности, например, тогда, когда он покупал шнурки. Так однажды, зайдя в кабинет Петрова на кафедре, Дубовской с видом министра сказал, что завтра его не будет в институте, сказал так, словно Петров без него не мог обойтись, сказал тоном человека, обремененного неподъемными делами.

Утром, прежде чем выйти за шнурками, Дубовской долго прислушивался, приложив волосатое ухо к двери, не ушли ли соседи на работу, и, когда квартира затихла, он на цыпочках прокрался по длинному, освещенному тусклой лампочкой коридору в ванную, закрылся на крючок и тщательно выбрил щеки, разумеется, порезавшись. Затем, оглядываясь, подошел к настенному коммуналному телефону и позвонил Петрову.

- Дубовской говорит, - сказал вкрадчиво Дубовской. - Ну, какие новости?

- Лекцию прочитал, - бодро ответил Петров. - Сейчас иду на совет, затем гоно в издательство. А ты что там? Придешь?

- Нет. Занят. Некогда, - сказал Дубовской, придавая своему голосу металлический оттенок. - Я вот что звоню. Ты случаем не в курсе, где у нас шнурки продаются?

- Что? - не расслышал Петров, который во время разговора по телефону писал квартальный научный отчет по связи кафедры с производством.

- Шнурки где можно приобрести?

- Где?! - крикнул весело Петров. - Везде! У чистильщиков обуви в будках...

Дубовской деликатно перебил:

- Поблизости от меня таких будок теперь нет. Помню, в детстве их полным-полно было и, знаешь, однажды, мне, я тогда маленький был, дали дома рубль, и я все думал, на что бы его истратить, и придумал - вышел на улицу и к такой будке. За рубль до блеска мне начистили черные ботинки. Знаешь, я целый день ходил по улице, был праздник, и любовался своими надраенными ботинками. И что любопытно, этот блеск мне теперь напомнил блеск крыльев бабочки. Она парила...

- Угу, - поддакивал Петров, не слушая Дубовского, поскольку, прижав трубку щекой к плечу, всю работу над отчетом и изредка кивал входящим посетителям, чтобы садились в кресла, пока он слушает.

- Она парила, - продолжал Дубовской, - в солнечном воздухе и поблескивала, как спицы вращающегося велосипедного колеса. Точно такие же спицы, как на автомобиле "Бенц-VELO" 1897 года, который ровно на тридцать лет раньше увидел свет, чем я. Тогда заливались асфальтом булыжные мостовые. Стук колес быстро сменялся шорохом автомобильных шин. Да, - вздыхал Дубовской, почесывая затылок. - Вместо извозчиков - такси "Рено" с капотом в виде утюга. Все реже встречались высокие, словно поднявшиеся на цыпочки, полуторки "АМО", старомодные "Паккарды" и "Бьюики", постепенно исчезали "Форды-Т"....

- "Форды" исчезали? - для поддержания беседы, ухватился за последние слова Петров, продолжая строчить отчет.

Глаза Дубовского заблестели, и он, забывая, зачем звонил Петрову, воодушевленно сказал:

- Исчезали! На смену приходили "Испано-Сюзис", интуристовские "Линкольны" с серебристой собакой на пробке радиатора. Я после школы бродил по улицам с блокнотами - коллекционировал марки машин и мотоциклов, зарисовывал. Еще в пятилетнем возрасте знал названия основных деталей автомобиля, к десяти годам - устройство...

- Написал бы уж давно об этом книгу! - вставил Петров. - Что ты все ля-ля-тополя разводишь, не понимаю. Как баба рязанская: бу-бу-бу! А толку никакого!

- Некогда мне, - обиделся Дубовской. - Занят.

- Брось трепаться! - вспыхнул Петров. - Чем ты там занят?!

- Я же говорю, шнурки хочу купить. Ты не подсказешь, куда лучше пойти?

- Пошел ты к черту, старый дурак! - крикнул Петров и бросил трубку.

Настроение у Дубовского заметно улучшилось. Он набрал номер ассистента своей кафедры Красных. И долго расспрашивал его о том, где можно приобрести шнурки. Заодно поговорил о научно-техническом прогрессе в философском преломлении (Красных делал кандидатскую по НТР). Затем Дубовской позвонил еще троим: главному инженеру завода и тренеру институтской команды по легкой атлетике. Со всеми Дубовской считал себя на короткой ноге. И все посоветовали купить шнурки у чистильщика обуви на улице, даже адреса называли.

Наконец Дубовской вышел за покупкой. Шел и приспускал правую брючину, чтобы не было заметно белой веревочки, которую он вздел вместо лопнувшего шнурка на изношенном полуботинке. Чтобы совершить покупку наверняка, Дубовской решил начать с ГУМа. Как-то само-собой получилось, что Дубовской прежде всего попал в озер каленный, с лепниной на колоннах и потолке, продовольственный отдел, где, к его счастью, выбросили виски за 20 руб. Дубовской без всякой очереди взял бутылочку, утопил ее во внутреннем кармане пальто и веселый пошел разыскивать отдел, где могли продаваться шнурки.

Прошел насквозь три линии, но так и не обнаружил шнурков. Однако почерпнул много интересного из разговоров с покупателями. Например, один полковник в радиотоварах сказал, что на Петровке сейчас есть приемник "ВЭФ-206", и Дубовской, оказавшийся рядом, прочитал быструю лекцию о свойствах отечественной радиопродукции.

После двух часов блуждания по ГУМу Дубовской увидел на стене справочный телефон, позвонил, и ему подсказали, что шнурки должны быть в обувном отделе на втором этаже в отсеке сопутствующих товаров. Дубовской отправился туда, но ассортиментом оказался недоволен, поскольку старые, с дырочкой на ми-

зинце, стоптанные полуботинки были какого-то серовато-зеленого цвета, а шнурки в продаже были лишь черные и коричневые.

- Вы не подскажите, любезная, - обратился Дубовской к молоденькой продавщице, - куда бы мне пойти, чтобы приобрести, - Дубовской взглянул на свои штиблеты, купленные лет эдак двадцать назад, - зеленые или серые шнурки?

- Гражданин, вы вообще! - сказала накрашенная девица.

- Нет, дочка, вы же должны знать ближайшие магазины, где можно купить зеленые. - Дубовской опять опустил глаза к своей затрапезной обуви. - Или серые шнурки.

- Сам ты как шнурок! - всплила продавщица, оглядывая распаренного Дубовского взглядом утопленницы. - Ну, вообще!

- Дочка, вы такая молоденькая и такая злая, почему?

- Какая я тебе дочка, болван! Ну, вообще! - И повернулась спиной.

Дубовской выбрался из толпы, вздохнул, печально посмотрел на свои полуботинки, на выглядывающую из-под правой брючины белую веревочку вместо шнурка и не спеша, вспомнив о внутреннем кармане пальто, пошел за шнурками в ЦУМ. По пути, у желтого Малого театра, с тыла, встретилась будка чистильщика обуви, но зеленых шнурков у него не оказалось. С ухмылкой взглянув на изношенные вдрызг полуботинки Дубовского, черный и смуглый чистильщик бросил:

- Э-э, зачем зеленый шнурки! Бери черный шнурки, как новый ботинки станет!

Дубовской задумчиво сдвинул каракулевую папаху на затылок, стал с чрезвычайным вниманием рассматривать предложенные ему продавцом черные шелковые шнурки.

- Они прочные? - спросил Дубовской, пытаясь разорвать шнурок.

- Не тяни шнурки! - испугался чистильщик. - Зачем тяни? Что за люди! Двадцать копеек даешь и тяни на здоровье!

- Двадцать копеек заработать надо! - наставительно сказал Дубовской, поднося шнурок к зубам и пытаясь его перегрызть.

- Э-э! Дорогой! Совсем ум нет, а? Я не возьму этот шнурки назад! Ты его плохой делал! Давай двадцать копеек.

Дубовской молча протянул шнурки продавцу и сказал:

- Мне такие не подойдут. Они скользкие.

Чистильщик вытаращил темные поблескивающие, с белками, как у негра, глаза, вскинул обе руки вверх и вскрикнул:

- Сумасшедший, да?! Сумасшедший, да?!
- Вы мне дайте, пожалуйста, не шелковые, а простые шнурки.
Как будто я эти шелковые у вас купил, а теперь их обмениваю на хлопчатобумажные.

- Давай двадцать копеек! - сказал продавец, опуская руки.
- Вы мне сначала дайте другие шнурки, - вежливо, не повышая голоса, сказал Дубовской.

- Ничего я не дам, пока не платишь двадцать копеек!
- Не буду я платить вам за ненужный товар, - еще спокойнее, даже как-то равнодушно сказал с улыбкой Дубовской.

- Э-э! Подавись ты своим шнурки! - чистильщик выдернул из связки, висящей на дверце будки, другую пару шнурков, хлопчатобумажных.

Дубовской достал потертый кошелек, нашел монету и вручил ее продавцу.

Купив черные матерчатые шнурки, Дубовской отошел в сторонку, поставил ногу на приступочек, заменил сначала белую веревочку на настоящий шнурок, а затем и во втором полуботинке. Когда затягивал новый шнурок на втором полуботинке, приложил, по-видимому, чуть большее усилие и шнурок лопнул. С двумя хвостиками нового шнурка Дубовской вернулся к чистильщику.

- Замените, - мягко сказал Дубовской.

Чистильщик молча, с печалью на челе, отстранил рукой Дубовского от двери и, хлопнув ею, закрылся. Дубовской ни с чем поплелся, шлепая незашнурованным левым полуботинком, в ЦУМ и сожалел о том, что преждевременно выбросил в урну и белую веревочку, и старый шнурок.

В ЦУМе продавались точно такие же черные шнурки, как и у чистильщика с улицы, но стоили 10 копеек.

- Простите, дочка, - обратился Дубовской к продавщице, сильно накрашенной, как и в ГУМе, - можно у вас один шнурок купить?
- Не поняла!

- Ну, я уже один шнурок купил, - Дубовской кивнул на правый полуботинок, и "дочка", перегнувшись через прилавок, взглянула на давно не чищенные штилеты покупателя.

- Вам обувь пора покупать, - рассмеялась продавщица, - а не шнурки!

Дубовской невозмутимо парировал:

- Это с большой зарплаты.

- А сколько у вас в большую? - заинтересовалась "дочка".
- Двести, - простодушно сказал Дубовской.
- О, с такой зарплатой можно каждый месяц обувку покупать!
- А в аванс сколько? - заинтересовалась она клиентом.
- Сто пятьдесят с НИСом... Мне один шнурок.
- Платите десять копеек! Что такое НИС?
- Десять - за пару. НИС - научный сектор... Мне один.
- Продавщица сощурила глаза и прошептала гневно:
- Вы что, ненормальный?
- Дубовской извинительно улыбнулся.
- Я нормальный, вполне нормальный. Это торговля у нас ненормальная. Мне нужен один, понимаете, один шнурок, потому что второй я уже купил, на улице, у чистильщика обуви, понимаете?
- Вы что, ненормальный? Я вам русским языком говорю, платите десять копеек и берите свои шнурки!
- Нет, вы меня, дочка, не понимаете...
- Какая я вам дочка! Нашелся, тоже мне, папочка!
- Так вы продадите мне один шнурок?
- Продавщица обхватила лицо руками и завопила:
- Марь Иванна, подойдите сюда, тут гражданин...
- Подбежала низенькая и полная Мария Ивановна, спросила:
- Что вы хотите, товарищ?
- Я хочу купить один шнурок. Один.
- Во взгляде Марии Ивановны промелькнула настороженность.
- Купите два. Десять копеек. В кассу, товарищ. Один порвется, другой запасной будет, вставьте его...
- Дубовской расстегнул пальто, вздохнул.
- Говорим, на каких-то разных языках, - сказал он очень спокойно, без всякого гнева. - Я объяснил вашей коллеге, - Дубовской кивнул на отошедшую в сторону молоденькую продавщицу, - что до прихода в ваш магазин купил на улице в будке шнурки, один из них там же, на улице, когда я его затягивал в ботинке, лопнул, но чистильщик из будки не захотел мне его обменять. Тогда я пошел к вам и достаточно внятно объяснил этой продавщице, что со мной произошло. То есть, другими словами, я ей сообщил, что в мои планы не входит покупать пару шнурков, а что мне нужен только один, понимаете, один шнурок.
- Вам что, десять копеек жалко? - ехидно спросила Мария Ивановна и положила короткие ручки на могучие бедра.

Дубовской сцепил пальцы, желтые от табака, на груди, чтобы расстегнутое пальто распахнулось не настолько, чтобы была видна утопленная в кармане бутылка с золотистой винтовой пробкой. Лицо Дубовского, красноватое, с порезом после бритья на левой щеке, с густыми седоватыми бровями, с синеватыми губами, хранило необыкновенное спокойствие.

- Я хочу купить у вас один шнурок, - невозмутимо сказал он мягким голосом. - Вы же предлагаете мне покупать пару. Давайте условимся, для кого существует магазин? Конечно, для покупателя. В настоящем магазине, если покупатель захотел, ему бы продали полшнурка. Понимаете меня?

Мария Ивановна захохотала так громко, что покупатели и продавцы повернули в ее сторону головы, она хохотала и тряслась в этом хохоте.

- Да вы юморист! - сквозь смех, смахивая толстыми пальцами слезы, сказала она. - С детства юморите от нечего делать? А я-то сначала серьезно вас восприняла...

Дубовской медленно поднял руку с выставленным мизинцем.

- Я говорю от всей души, - сказал он, - и с детства не юморя. Это надо мной постоянно юморят. Я в 17 лет, во время войны был призван в учебный автополк. Получил права. Отправили на восток. Да, - вздохнул Дубовской, рассматривая продавщицу. - В Чите участвовал в сборке автомобилей, части которых поступали по ленд-лизу. Шла война с Японией. В монгольском городке Тамцак-Булаг доверили грузовик "Студебеккер ЮС-6- 62", шесть на четыре...

- Надо же, - вставила продавщица Мария Ивановна, - шесть и на четыре!

Принюхиваясь к запахам кожи, шедшим из отдела обуви, Дубовской, поблескивая глазами, продолжил:

- Да, шесть на четыре. Я на нем совершил свой первый настоящий рейс до города Ванемяо в Маньчжурии. Потом работал диспетчером, заправщиком, шофером на "Студебеккере" и даже на "ЗИС-5"...

Продавщица вдруг нахмурилась, пощелкала ногтями по прилавку и спросила:

- А собственно, зачем вы мне это рассказываете?

Дубовской пошмыгал крючковатым носом, глаза его вдруг забегали из стороны в сторону, и он сказал:

- Чтобы вам ясно было, почему я интересуюсь автомобилями.

- А вы ими интересуетесь?

- Историей автомобиля... Я уже тогда, в войну, вел сбор информации по автомобильной технике, сначала бессистемно, затем целенаправленно: увлекся малоисследованной историей нашего автомобилестроения.

Мария Ивановна склонилась к прилавку, подперла голову кулачком. В отделе редкие покупатели со скучающими физиономиями обходили полки, заваленные примитивно сработанной обувью, и, ничего не найдя для себя, лениво покидали секцию, изредка спрашивая о чем-то молоденькую продавщицу, которая все это время косилась на Дубовского и на Марию Ивановну.

- Ну и что же раскопали в своей истории? - спросила она.

Дубовской с важным, несколько задумчивым видом стал загибать свои прокуренные пальцы с обкусанными заусенцами возле толстых, потрескавшихся ногтей:

- Нашел фотографию первого русского автомобиля Яковлева 1896 года, установил его конструкцию. Обнаружил чертежи последних дореволюционных автомобилей "Руссо-Балт".

- Это такие есть детские, для коллекции автомобильчики.

- Есть, - важно сказал Дубовской, сознавая, что в данную минуту он занят наиважнейшим делом своей жизни. - Я показал...

- Где? - невинно спросила Мария Ивановна.

- Что "где"? - не понял Дубовской и пошевелил мохнатыми бровями.

- Где показали открытие свое...

- А, это я так, для весу, - смутился Дубовской. - В лекциях показываю, в институтской многотиражке показываю.

- Понятно.

- Так вот, - Дубовской зашевелил пальцами, - показал участие наших конструкторов в авто- и мотостроении: братьев Вернеров - в создании первого в мире практического мотоцикла и, возможно, Бориса Луцкого - в создании автомобиля "Мерседес", от которого ведут свой род современные машины...

Мария Ивановна достала из ящика связанную узелком пару черных, нужных Дубовскому шнурков, развязала узелок и протянула один из них покупателю. Однако Дубовской шнурок не взял, а побежал к кассе и пробил пять копеек. Пробитый чек вручил продавщице с видом обычным, равнодушным.

Домой возвращался Дубовской с великим чувством исполненного долга, с какою-то наполненностью в душе. Шел по тротуару, что-то себе под нос насвистывал, без причины улыбался белоколонным особнячкам, львам на воротах, прохожим. На перекрестке остановился, потому что горел красный свет. Машин не было, другие пешеходы смело шли на этот красный свет, не обращая на него никакого внимания. А Дубовской, сцепив на груди руки, с высоко поднятой головой в серой каракулевой папаше стоял без движений, как памятник, и неотрывно смотрел в ярко горящий глаз светофора.

На перекрестке, расчерченном широкими белыми полосами, которые у гаишников называются “пешеходный переход типа “зебра”, предполагающем преимущество пешеходов перед транспортом, Дубовской тем не менее стоял, не шевелясь, воззрившись в наглое, слепящее красным цветом око светофора на округлом столбе, покрытом краской-серебрянкой. И в бледно-голубых глазах Дубовского этот красный огонь отражался маленькой лампочкой, точкой огненной, пугающей Дубовского, как пугают красные флажки волков.

Справа, с бульвара, машин не было и слева, с площади, не было машин, а Дубовской стоял, ждал зеленого сигнала. Прохожие поглядывали на него, но не обращали внимания, поглядывали и не видели, как поглядывают и не видят, не воспринимают воздух зрением. Дубовскому показалось, что прошло достаточно времени с того момента, как он подошел к этому перекрестку, но красный свет все продолжал гореть, грозно внушая ему трепетное ожидание. И Дубовской стоял.

Прошло, наверное, минут пятнадцать, свет красный все горел, машин не было, пешеходы свободно переходили улицу, а Дубовской все стоял, не шевелясь, сцепив руки на груди. Наконец и он заволновался, но так как свет красный не гас и не менялся на зеленый, Дубовской подумывал уже о другом маршруте к дому, однако для этого нужно было сделать огромный крюк, и пока красный свет горел, Дубовской все думал: идти ли ему вкругаля или все-таки дожидаться включения зеленого сигнала светофора?

Петров не выносил хождение по улицам с Дубовским, поэтому ходил с ним довольно редко, особенно в последнее время, по-

сколько ездил на своей машине. И раньше Петров ездил на машине, редко, но ездил, не на своей, ездил по доверенности. Та старая машина принадлежала полной любвице Петрова, у которой он жил, хотя прописан был у тетки на Ленинском проспекте.

Петров приехал в Москву в семнадцать лет из деревни Тульской области, приехал учиться в институте, где уже работал доцентом кафедры философии Дубовской. На втором курсе, когда диамат стал читать у Петрова Дубовской, они познакомились, а Петров к тому времени уже нашел себе любвицу, лет на двадцать старше себя, толстую продавщицу с машиной. Забавно было видеть, как худой, с тонким орлиным носом юный Петров идет под руку с этой мощной накрашенной бабенкой к ее личному автомобилю.

В автомобиль к Петрову Дубовской сел всего лишь один раз и то с опаской. Но сел. И рад не был этому, потому что Петров, вызвавшийся подкинуть Дубовского на дачу, гнал по Ярославке с такой скоростью, что Дубовской зажмурил глаза и лег на заднее сиденье от страха скорой гибели. Высадив Дубовского, Петров помчался в Хотьково за какими-то образцами, которые он испытывал на промышленной установке. Дубовской едва расположился в тот вечер за столом, как Петров уже примчался с этими образцами, выпил кружку воды и поехал дальше, бросив: “Некогда!”. В тот день Петров успел купить и продать колеса, позаниматься со школьником, которого готовил в институт, побывать у любвицы, сделать расчеты на ЭВМ для докторской диссертации Коновалова, отвезти договор о научно-техническом сотрудничестве в НИИ, посидеть на лекции и сдать собственный курсовой проект...

Высокий, худощавый, очень подвижный и порывистый, с легким веером тонких волос над просторным лбом, с острыми, пронизательными глазами - в институте не привыкли видеть Петрова праздным. Будучи студентом, аспирантом, он не ходил, а бегал, забегал в лабораторию, на кафедру, в вычислительный центр института, забегал, как бы для передышки, со свитком ли бумаг с ЭВМ, мотком ли провода, и, даже когда его руки были пусты, они, часто перемазанные чернильной пастой, машинной смазкой, все еще жили и пахли минувшей, будущей работой... Петров отщипывал и торопливо прожевывал печенье в распечатанной пачке на столе. “Да идем в буфет!” - говорил Дубовской. “Нет! Да ты что? Некогда!”... Петрову смело можно было позвонить в пол-

ночь, наверняка зная, что оторвешь его не от подушки - от листов с расчетами.

Разве Петров стал бы стоять столбом, ждать переключения красного света на зеленый? Он ухватил бы упирающегося Дубовского за локоть и, быстро поворачивая голову то вправо, то влево, потащил бы его на ту сторону даже в потоке машин. А Дубовской стоял, как загипнотизированный красным оком, и не двигался, и стеснялся самого себя в этом неподвижении, но ноги словно приварились к тротуару, отяжелели и не желали ступать на мостовую.

Точно так же Дубовской всегда стоял перед своим шефом Евграфовым, который обладал поразительным свойством не моргать выпученными стального цвета глазами несколько минут, глядя в упор на собеседника, чем приводил последнего в легкое замешательство, сходное с состоянием кролика перед удавом, блестяще показанным Фазилем Искандером в философской сказке "Кролики и удавы", которую, впрочем, ни Евграфов, ни Дубовской не читали; Евграфов - по весьма уважительной причине природной серости, бесталанности, Дубовской - потому что некогда! Читал Петров, успевал читать Петров и постоянно стыдил Дубовского, который, придя на кафедру Петрова, как свой, поскольку на свою философскую кафедру, где серость правила серостью в лице отставных полковников и молодых функционеров, заключивших пожизненную сделку с совестью - говорить всегда не то, что думаешь, садился в кресло перед столом Петрова, а тот, размахивая длинными костлявыми руками, восклицал:

- Валера, да как ты можешь преподавать философию ничего не читая? И вообще философию ли ты преподаешь?

Бледно-голубые глаза Дубовского бегали, лицо розовело, руки с оттопыренными мизинцами расходились в стороны, как в плясовой, и сходились, сцепляясь желтыми пальцами с потрескавшимися, неровно остриженными ногтями, на груди поверх довольно заметного брюшка.

- Ты прав, - добродушно, без раздражения мычал Дубовской. - Какие-то сплошные законы... С законами э т и м, - Дубовской кивнул вверх, - проще управлять. А начнешь вдумываться в законы...

Петров раздраженно прервал неспешную речь друга:

- Ты мне мозги не пудри, ты мне скажи, почему ты ничего не читаешь?!

- Некогда, - выдавил тихо Дубовской.
- Петров рассмеялся до слез, сказал:
- Ты ведь и Достоевского не читал!
- Читал, - осторожно возразил Дубовской.
- Не читал!
- Читал.
- А я говорю, не читал! - шлепнул ладонью по столу Петров, и над его широким лбом колыхнулись мягкие светлые волосы.
- Мне лучше знать, что я читал, а что нет.
- Не читал ты, Валерий Иванович, Достоевского!
- Читал... Давно, правда, - хладнокровно сказал Дубовской, опуская глаза.
- Так. Хорошо. О чем идет речь в "Бесах"?
- О псевдореволюционерах, - сказал Дубовской, как на экзамене.
- Назови персонажей романа? - с напором спросил Петров.
- Не помню.
- Просто не читал!
- Читал, но не помню. Вообще, плохо запоминаю героев книг, - с оттенком смущения сказал Дубовской. Петров встал и заходил по своему кабинету.
- Как ты можешь преподавать философию, не прочитав Достоевского! - с огорчением воскликнул он. - Ладно, мне, технарю, можно обойтись без него, но... Я не могу обойтись! Потому что обидно, что всякая шваль, типа твоего Евграфова, пудрит студентам мозги своими бездарными, канцелярскими, подавляющими мысль и душу лекциями: материя первична, сознание вторично... Дошло до того, что даже одну из самых видных фигур в истории русской общественной мысли - Льва Шестова прикрыли наглухо черным покрывалом одиозности. На Западе о Шестове знают больше, чем у нас. А ведь он родоначальник русского экзистенциализма в философии - так же, как Достоевский в литературе! За Достоевского боролись долго и упорно, и теперь, когда он издается и его читают, ты же упорствуешь, не читаешь его!
- Читал я его, - невозмутимо проговорил Дубовской.
- Ладно уж, молчи! Читал он! Я сам лишь недавно, прочитав "Бесов", почувствовал все гениальное умение Достоевского проникать в глубину человеческой психологии, - Петров сел в кресло, заложил ногу за ногу, закурил и, выпуская кольцом дым, продол-

жил: - “Бесы” - это предвидение-предостережение, рассказ о группе политических честолюбцев, называющих себя социалистами. А применительно к нашему времени - рассказ о доперестроечных извращениях социализма. И гениальный в своем мракобесии Шигалев! Этот Шигалев был человек такой мрачности, нахмуренности и пасмурности, что, казалось, он ждет окончательного разрушения мира. Помнишь Шигалева?

Как человек внезапно разбуженный, Дубовской вздрогнул, глаза его заблестели и забегали.

- Смутно, - сказал он и полез в карман за пачкой сигарет. Закурив, уставился на Петрова, который страстно продолжал просвещать доцента кафедры философии.

- Шигалев, дорогой Валерий Иванович, - и это тебе нужно знать! - выдумал равенство! У него каждый член общества присматривает за другим и время от времени строчит на него донос. Каждый принадлежит всем, и все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях - клевета и убийство. А главное - равенство! Первым делом понижает уровень образования, наук и талантов. Это великолепно делает твой Евграфов!

Дубовской с некоторой долей возмущения взглянул на Петрова, возразил:

- Не мой он! Да я с ним, когда встречаюсь, не знаю, о чем говорить! Он вообще никогда ничего не читал. Выпустил какую-то брошюрку по коммунистическому воспитанию молодежи. Жаль, я не купил ее тогда. С двумя соавторами. И что ни абзац, то цитата из Брежнева! Ни одной своей мысли! Да и какие мысли у Евграфова! Учился где-то на юридическом факультете, докторскую с трудом по научному коммунизму защитил через своих подручных. Они же все так объединены! Держатся друг за друга. Ты взгляни на их лица, не облагороженные интеллектом! Был один Блинов, да и того сгноили! - Дубовской докурил одну сигарету и тут же прикурил от нее другую.

Петров нетерпеливо покачивал ногой и, как только Дубовской замолчал, подхватил:

- Откуда у него интеллект! Малину развел на кафедре, прикармливает ставками-полставками членкором и разных мелких сошек со стороны... Впрочем, Шигалев их выразитель. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, которые нужно уничтожать, дабы было равенство! Ни-

каких высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, вопит Шигалев, чем приносили пользы. Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезают язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается камнями - вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства. Но в стаде должно быть равенство! Вот шигалевщина! Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроить послушание. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь - вот уже и желание собственности. Мы, говорит Шигалев, уморим желание: мы пустим пьянство, донос, сплетни! Мы пустим неслыханный разврат, мы всякого Гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство! Необходимо лишь необходимое - вот девиз земного шара отселе... Но нужна и судорога, об этом мы позаботимся, правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга!

- Здорово! - воскликнул Дубовской, гася сигарету и прижигая новую. - Как будто про наши дни!

- А ты говоришь, читал! Ничего ты не читал!

- Читал, но забыл. Что-то такое вспоминается, как в тумане. Но точно помню, читал "Бесов".

- Брось мне-то заливать! Скажи честно: не читал!

- Да я и без чтения все прекрасно понимаю, - сказал Дубовской, поднимая руку и шевеля пальцами, как бы этим жестом давая понять, что он размышляет. - Вырезание интеллигенции, судорога, пускаемая в стране в эпоху сталинизма, вселила в миллионы людей боязнь инакомыслия, доходящую до абсурда, боязнь думать вообще.

- Вот ты и стоишь перед Евграфовым с дрожью. Чего ты его боишься, дурака? Впрочем, что я говорю? Если бы ты не делал то, что он хочет, ты бы давно вылетел с кафедры. А это все же 320 рублей! Где ты еще столько заработаешь? Да с таким свободным режимом! Пару дней в неделю приходишь. А там - рюмку на стол, телевизор и сидишь ничего не делаешь!

- Делаю. Спецкурс по конформизму пишу.
- Ладно, - махнул рукой Петров. - Мне заниматься нужно.

...Дубовской смотрел на красный сигнал светофора, не двигаясь, и вдруг сверху, с бульвара, вынырнул милицейский “Мерседес”, промчался мимо Дубовского, за “Мерседесом” - черный “броневик” с зеленоватыми окнами, за ним - еще один, и следом - “Волги”, “Волги”, “Волги”, все черные, а замкнул процессию “Жигуль”, “раковая шейка”, с мигающим синим фонарем на крыше.

Дубовской облегченно вздохнул, красный свет сменился на зеленый.

Тупой нож из поблескивающей холодом нержавеющей стали плохо резал хлеб, крошки сыпались на клеенку, но точить нож Дубовскому было некогда. В старенькой ковбойке нараспашку, в мягких домашних брюках Дубовской, покуривая, не спеша готовил свою холостяцкую трапезу. Колбаски граммов двести покромсал тем же тупым ножом на желтоватую тарелку, рядом бросил пару ломтиков сырку, открыл банку варенья. Подошел к двери, прислушался: в коридоре было тихо. Схватил чайник, побежал бесшумно, как тень, на кухню, поставил чайник на свою конфорку, зажег, взглянул на наручные часы и назад, в комнату. Через семь минут, опять-таки сначала прислушавшись, сбегал за вскипевшим алюминиевым чайником, закрылся на замки, заварил чай, включил телевизор и сел перед ним за свой круглый стол, на котором стояла старая настольная лампа с разбитым зеленым колпаком.

Вечерние передачи по телевизору только начинались. Было шесть часов. Дубовской, вздохнув, празднично извлек из щели между книжными шкафами бутылку виски, налил в рюмку и устоялся в телевизор. Шло “Сегодня в мире”. Рассказывалось о ближневосточных событиях, о восстаниях, о жертвах. Равнодушно поглядывая на экран и думая о мировых катаклизмах, Дубовской медленно поднял рюмку, с оттопыренным мизинцем, но не пил, а все смотрел на экран, где палестинцы сталкивались с израильтянами, ждал, когда сюжет закончится, а то как-то неудобно выпивать на фоне человеческих страданий. В кадре возник очкастый, бойко говорящий ведущий, но и с его появлением Дубовской не

стал пить, поскольку не любил этого ведущего. Наконец на экране пошел материал о конкурсе красоты из Франции. И когда показала обнаженная, фигуристая красотка в бикини, Дубовской улыбнулся и с удовольствием выпил.

С красотками выпивать приятно. Однажды, это было, когда Петров достаточно часто заходил к Дубовскому “посидеть”, Дубовской показал ему несколько своих фотографий, любительских, на которых были изображены обнаженные, со спины, молоденькие девушки.

- А вот эта, - ткнул корявым желтым пальцем в фотографию Дубовской, - ничего! - И глаза его заблестели.

- М-да, - без всякого чувства сказал Петров, для которого Дубовской в женском вопросе оставался загадкой. - Я на живых еще могу смотреть, а это...

Дубовской оживился.

- На турбазе подхожу к ней, говорю, мол, не могли бы вы мне попозировать? Козочка маленькая такая. Смотрит на меня, спрашивает: “Зачем?” Я говорю: “Просто так”. Пошла за кустики, все с себя сняла и стоит, смотрит на меня. Я говорю, что мне нужна художественная поза, и предложил ей повернуться ко мне спиной. Она повернулась. Вон попка какая! И грудь немножко заметна...

Дубовской убрал фотографии в черный пакетик и, по всей видимости, не желая отвечать на бестактный вопрос Петрова, перевел разговор на другую тему. Петров принял эту тему, понимая, что не следует ломиться в частную жизнь...

Когда Петров выпустил свою первую книжку “Сопротивление элементов железобетонных конструкций действию статических и динамических нагрузок”, решил обмыть ее с Дубовским. Приехал к нему, звонил, звонил, но тот не открывал. Позвонил в кнопку соседей, те сказали, что не знают, дома он или нет, и не пустили. Петров вышел на улицу, посмотрел на окно Дубовского: горит. Постоял, посмотрел и увидел самого Дубовского, выглянувшего из-за занавески. “Пускать не хочет”, - подумал Петров, поднял с земли камешек и запустил в окно. Да так точно запустил, что камешек угодил по форточке, стекло лязгнуло и разбилось. Свет в комнате моментально погас. Петров поднялся и вновь надавил кнопку звонка Дубовского - никакого эффекта. Притворился, что его нет дома. На другой день, встретив Дубовского в институте, Петров спросил:

- Ты что, не мог мне открыть?!
- А это был ты?
- Я.
- Зачем же стекла бить?! - обидчиво произнес Дубовской.
- Если ты такая тварь дрожащая, то...
- Я думал, что Алеша с Андрюшей, - сказал Дубовской, имея в виду ассистентов кафедры философии Красных и Федорова, которые повадились к Дубовскому выпивать.
- В другой раз не думай!
- Вдруг слышу, стекло разбилось, я свет долой и на кровать, под одеяло! Мало ли что, - сказал кротко Дубовской.
- Но меня-то должен был пустить, - зло сказал Петров. - Я не просто так, я с книгой и с бутылкой!
- А я и пить не хотел. Печатал фотографии...

Действительно, Дубовской никогда сразу бутылку не выпивал, растягивал ее на два, а то и на три дня, никто его никогда пьяным не видел в институте, по утрам Дубовской не похмелялся, поскольку после 200-250 граммов спиртного голова не болела и не могла заболеть.

Лишь однажды Петров видел Дубовского сильно пьяным, да и то в день его пятидесятилетия. Петров тогда со своей любовницей взялся за организацию дня рождения, закупил закусок, водки, пригласил подружек любовницы. Был и Алеша Красных, черноволосый, ухоженный, аккуратный, любящий выпить. Так как Петров с любовницей приехали пораньше, то и выпивать стали пораньше. За неспешной беседой выпили одну, потом другую бутылку водки на троих. К десяти вечера Дубовской поплыл, его раздели и за руки - за ноги отнесли за шкафы, где стояла кровать, обложенная пустыми бутылками, которые мелодично прозвенели, когда Дубовского опустили на какой-то дырявый матрац.

Петров с Красных принялись петь под гитару, девицы подпевали, все было весело, дым стоял коромыслом, наконец в дверь постучал сосед-лимитчик и припугнул: "Не заткнетися - посажу с милициями!". Красных просто пихнул его в грудь и закрыл дверь. Все были на сильном взводе и угрозу лимитчика не восприняли всерьез.

Пели, пили.

Стук в дверь. На пороге - милиционер-участковый.

- В чем дело, граждане? - но в комнату не входит.

- День рождения у хозяина! - весело говорит Петров.

- Одиннадцать еще нет! - весело говорит Красных.

- Давайте выпьем! - весело говорит девица.

И тут, неизвестно как поднявшись с бутылочной койки, выполз в длинных черных трусах и в грязно-белой майке Дубовской. Едва шевеля языком, сказал:

- Да фтчут ми на юбиляря... И-ик...

- Валерий Иваныч, идите спать.

- Это хозяин? - хмуро спросил участковый.

- Хо-озяин! - подтвердил кивком всклокоченной головы Дубовской.

- Вот мы его сейчас в вырезвитель отправим! - сказал участковый.

Дубовской от этих слов несколько протрезвел.

- Ему же пятьдесят лет сегодня! - возмущенно воскликнул Петров.

- Паспорт! - протянул руку участковый.

Разыскали паспорт, по которому участковый убедился, что Дубовскому Валерию Ивановичу 10 ноября 1977 года действительно исполнилось 50 лет, и в вырезвитель брать его не стал.

В вырезвитель Дубовской попал в другой раз, когда вызвался в домашних тапочках проводить Петрова и его любовницу. И пьян-то сильно не был, всего рюмок пять выпил. Но прямо у дома, в переулке взяли. Петров с любовницей сел в такси, был летний вечер, Дубовской дошел до угла, покуривая, в шлепанцах. Тут перед носом тормозит фургон спецмедслужбы. Дубовской развернулся и быстро-быстро, шлепая тапочками, надетыми на босу ногу, этак сверкая пятками, к подъезду, а его за плечо "сержантик: "Стой, дорогой!"...

Кое-как утром удалось уговорить, чтобы бумагу в институт не присылали...

Пока Дубовской отвлекался в размышлениях и воспоминаниях, начался какой-то художественный фильм. Дубовской, поглядывая на экран, налил себе крепкого чайку, закурил и курил теперь до самого отбоя беспрерывно, прикуривая одну сигарету от другой. Отбой же у Дубовского начинался тогда, когда на экране телевизора возникла надпись: "Не забудьте выключить телевизор", сопровождаемая пронзительным пикающим сигналом.

В художественном фильме кто-то погибал и Дубовской, налив себе вторую рюмку, обливался слезами, часто моргал и сморкался в платок. Ему в эти минуты было жалко всех людей, он хотел, чтобы все они были счастливы и довольны жизнью. Вторая рюмка выпивалась перед самым началом программы “Время”, которую Дубовской смотрел с повышенным интересом и ни на что не отвлекался, даже сигарету от сигареты прикуривал вслепую, не глядя на нее. Каждое событие, сообщенное с экрана, настраивало или перенастраивало Дубовского на ту или иную чувственную сторону. То он бледнел и забывал затянуться сигаретой, то откидывался на спинку стула и небрежно выпускал дым в потолок, то весь как бы встряхивался и хохлился, как курица на насесте.

Самым неинтересным местом в программе для Дубовского была погода. Он не собирался выходить на улицу, не собирался ехать в лес, не собирался просто так бродить по улицам. Жизнь в городе была перебежками, перескакиваниями из одного помещения в другое. Когда начинали передавать погоду, Дубовской вставал из-за стола, подтягивал спадающие комнатные брюки, потягивался и разминался, косолапо ходя от стола к окну, набычившись, глядя себе под ноги. Иногда в эти короткие моменты в голове возникала какая-нибудь заманчивая идея на счет спецкурса, тогда Дубовской садился за письменный стол, который стоял у окна и на котором ожидала его пишущая машинка “Эрика”, отбивал пару-тройку фраз, а потом, с первыми звуками “Прожектора перестройки”, бросал начатое и жадно впивался глазами в экран, на ощупь беря с тарелки кусок колбасы, сыра или хлеба.

В момент окончания “Прожектора перестройки” и начала художественного фильма по второй программе Дубовской темпераментно наливал третью, заключительную, опрокидывал ее в рот, как будто спешил на отходящий поезд, закручивал пробку на бутылке, прятал ее в щель между шкафами, закуривал и видел на экране заставку: “Новый художественный фильм”. Фильм начинался, и слезы благодарности этому волшебному ящику выступали на глазах Дубовского, поскольку он не мог представить своей жизни без этого ящика, без его изумительной силы связывать Дубовского со всем миром цветущего, шумящего, говорящего многообразия, которое врывалось в прокуренную комнату легко и свободно, делая Дубовского полноправным участником любых событий, любых интимных историй, любых торжественных заседаний, любых

футбольных матчей, которые особенно обожал Петров и, собственно, которые ради Петрова смотрел Дубовской, чтобы на другой день обменяться с ним на этот счет впечатлениями.

Заряженный телевизионной информацией, в которую входили и общеобразовательные программы, например уроки испанского или английского языков, Дубовской мчался в институт к Петрову, у которого в кабинете наверняка будут интересные собеседники, где можно говорить обо всем, спорить, дискутировать. Мчался в институт, хотя Дубовскому там делать было нечего, лекция в понедельник - позади, лекция в пятницу - впереди, но Дубовской мчался, как раньше, до близкого знакомства с Петровым, он мчался в библиотеку, в Ленинку, не в саму библиотеку, потому что не для того же туда Дубовской мчался, чтобы сидеть в скучных залах за книгами, а в курилку библиотеки, где собирались прелюбопытнейшие типажи, владевшие самой разнообразной неформальной информацией, до которой и был большим охотником Дубовской.

Он входил в вагон метро и останавливался в проходе, невзирая на то, был народ или нет. При совершенно свободных местах Дубовской оставался стоять, ибо проверял свою способность стоять, не падая, на полном ходу, не держась за поручни, ни за что не держась, стоять и при резком торможении, и при энергичном трогании поезда с места. Это стояние без поддержки постепенно становилось для Дубовского какой-то навязчивой самоцелью.

- Да вон же места есть! - восклицал Петров.

Дубовской смущенно вскидывал на товарища поблескивающие, улыбающиеся глаза, спокойно и уверенно говорил:

- Я постою.

- Что стоять, если мест навалом! - удивлялся Петров и пытался тянуть Дубовского за локоть к свободным сиденьям.

Дубовской как-то по-детски хмурился, отстранял руку Петрова, шире расставлял ноги и начинал приседать на ходу поезда, имитируя движения жокея во время стремительной скачки, изредка поглядывая по сторонам с видом ребенка, без спросу забравшегося на крышу и пришедшего от этой рискованной самостоятельности в восторг, выражающийся в сжатых, прикушенных губах, в некоторой бледности лица, в широко открытых, округленных глазах, почти что не моргающих. Когда человек уходит в себя, то по-

чему-то совсем перестает моргать и, больше того, ничего не видит перед собой, как будто зрение его в этот момент отключается, вернее, переключается извне вовнутрь.

Петров присаживался и с нескрываемой усмешкой наблюдал за движениями Дубовского, стоящего враскоряку в пустом проходе вагона.

Вагон покачивался из стороны в сторону, иногда его сильно бросало, так что даже сидящий Петров вдавливался в спинку сиденья, а Дубовской лишь помахивал руками как человек, стоящий на краю пропасти и боящийся в нее упасть. При наиболее сильном броске вагона в сторону взмахи Дубовского переходили во вращательные движения: полусогнутые руки совершали несколько энергичных круговых взмахов назад или вперед, в зависимости от направления броска вагона. Устояв после очередного броска, Дубовской победно озирает вагон с выражением Александра Македонского, покорившего Персию, поглядывал на Петрова, который в смущении за почти что неприличную позу Дубовского опускал глаза в пол или в газету.

Если бы Дубовской видел себя со стороны, он, возможно, и не приседал бы враскоряку, но Дубовской со стороны себя не видел и, вероятнее всего, не хотел видеть себя со стороны. В последнее время все эти его приседания, раскоряченные ноги, расставленные руки, оттопыренный зад принимали какую-то гипертрофированную форму. Еще до того, как спуститься на станцию метро, Дубовской уже знал, как он встанет в вагоне, как расположит корпус, как подогнет ноги, как расставит руки.

Поезд внезапно тормозил, пассажиры, заблаговременно не взявшиеся за поручни, падали, как фишки домино, а Дубовской, враскоряку прилепившись к самому полу, глядя снизу вверх наивным взором, говорил:

- Не учли амортизацию, - и привстав, развивал эту мысль Петрову: - В человеке есть все - и гидравлика, и амортизаторы. Только люди не знают своих возможностей. Что такое наши мышцы? Это амортизаторы, то есть приспособления, улучшающие и смягчающие движения тела с целью достижения более плавного и мягкого хода. Приседая, я уменьшаю размах колебаний тела от вагона, как от рессоры, поглощаю и воспринимаю часть работы вагона, передающейся моему телу.

Естественно, Дубовскому приходилось ездить в метро не только с Петровым. Пока идет от института к станции, обязательно ко-

го-нибудь по пути подцепит: знакомого ли преподавателя, студента ли. Тут же включается в разговор. Например, если это преподаватель с кафедры математики, то Дубовской развивает мысли об этой науке. Правда, сначала беседа начинается с вопроса:

- Ну и как ваши студенты?

- Серенькие, - отвечает математик.

- А вы не пробовали, - рассудительно и мягко замечает Дубовской, - несколько оживить преподавание с помощью головоломок?

- Нет, - отвечает спешащий куда-то математик, но Дубовской, прибавляя шагу, не отстает.

- Напрасно, - говорит Дубовской. - Например, почему передняя ось телеги больше стирается и чаще загорается, чем задняя? - Математик бросает на Дубовского странноватый взгляд. Математик почти что бежит, по всему видно, что он куда-то опаздывает, но Дубовской двигается вровень и сам себе отвечает: - На первый взгляд задача эта кажется не относящейся вовсе к геометрии. Но в том-то и состоит овладение этой наукой, чтобы уметь обнаружить геометрическую основу задачи там, где она замаскирована посторонними подробностями...

Они быстро, почти что бегом, влетают в метро. Математик на ходу достает из кошелька пятак, а Дубовской - потертый, грязноватый, с загнутыми углами проездной билет.

Сбегая по движущейся ленте эскалатора, математик изредка пугливо оглядывается: не отстал ли Дубовской, но он столь же поворотно бежит по ступеням и говорит:

- Итак, почему же передняя ось телеги стирается больше задней?

Увидев поезд, собирающийся тронуться, математик" размахивая портфелем, стремительно летит к двери, вскакивает в вагон, двери съезжают, математик вздыхает, но не тут-то было: Дубовской артистично успел вскочить в другую дверь и уже косолапо, глядя себе под ноги, приближается к математику по проходу. Приняв позу игрока в лапту: нога враскоряку, руки на коленях, зад оттопырен, Дубовской с завидным спокойствием продолжает.

- Всем известно, что передние колеса меньше задних. На одном и том же расстоянии малый круг оборачивается большее число раз, чем круг покрупнее: у меньшего круга и окружность меньше - оттого она укладывается в данной длине большее число раз.

Теперь понятно, что при всех поездках телеги передние ее колеса делают больше оборотов, нежели задние, а большее число оборотов, конечно, сильнее стирает ось, - закончил Дубовской, и в этот момент вагон качнуло, но он был готов к амортизированию: ноги широко расставлены и согнуты, зад трясется то вниз, то вверх.

Бедный математик не знает, куда глаза девать. Наконец он видит свободные места, предлагает сесть.

- Никогда не сажусь, - спокойно возражает Дубовской и приседает, и приседает, и приседает.

- Что за глупый принцип! - удивляется математик.

- Полезно постоять.

- Ну давайте постоим, - говорит математик, берясь за никелированную трубу поручня. Математик с недоумением наблюдает за позами Дубовского. Тот то балансирует, как канатоходец, руками, то приседает, перенося корпус с одной вытянутой ноги на другую, то принимает позу человека, сидящего на стуле, затем говорит:

- Ни один из трех основных законов механики не вызывает, вероятно, столько недоумения, - Дубовской сел на корточки и снизу продолжил: - как знаменитый третий закон Ньютона - закон действия и противодействия. Действие, гласит закон, всегда равно и противоположно противодействию. Это значит, - Дубовской приподнялся, - что, если лошадь тянет телегу...

- Давайте сядем, - сказал математик, стыдясь поз своего собеседника.

- Я постою, - бросает Дубовской и продолжает: - ... то и телега тянет лошадь назад с такою же силою. Но ведь тогда телега должна оставаться на месте: почему же все-таки она движется? Почему эти силы не уравнивают одна другую, если они равны?

Математик не выдерживает, садится и громко говорит:

- Даже падение яблок строго подчиняется закону противодействия. Яблоко падает на землю оттого, что его притягивает земной шар. Но точно с такой же силой и яблоко притягивает к себе всю нашу планету. Строго говоря, яблоко и земля падают друг на друга, но скорость этого падения различна для яблока и для Земли. Равные силы взаимного притяжения сообщают яблоку ускорение 10 м/сек^2 , а земному шару - во столько же раз меньшее, во сколько раз масса Земли превышает массу яблока...

Розоватое лицо Дубовского было невозмутимо спокойно, лишь глаза бегали и поблескивали. Дубовской продолжал противодей-

ствовать движению поезда: стоять враскоряку, несимпатично приседать, опираясь руками на согнутые колени, крутить головой по сторонам. Математик не знал, как отвязаться от этого “чайника”. Математик видел, что на Дубовского неприязненно косятся женщины и мужчины, некоторые даже тыкают в него пальцами и, над чем-то смеясь, шепчутся.

- Ну, ладно, - вдруг засуетился Дубовской, - обсудим наши проблемы как-нибудь в другой раз. Мне некогда. Я выхожу. Извините, что не могу дальше с вами беседовать. Рад бы, да некогда. Дела! Сами понимаете! - и враскоряку, крутя головой по сторонам, направился к двери.

В дверь настойчиво постучали. Дубовской бесшумно подкрался к ней и, затаив дыхание, прислушался.

Стук повторился.

- Валерий Иванович, - раздался глуховатый голос соседки, - я вас видела, вы дома. Вас к телефону!

Дубовской осторожно вздохнул и, подумав, сказал:

- Скажите, что меня нет дома.

- Вас очень просят! Я сказала уже, что вы дома!

- Скажите, что я уже ушел!

- Неудобно.

- Ну, спросите, кто там меня...

Шаркающей походкой соседка отходит от двери, а Дубовской прислушивается.

- Красных? - переспрашивает в трубку соседка. - Ага. От Евграфова. Понятно. Сейчас скажу.

Услыхав имя своего шефа, Дубовской в страхе быстро открывает дверь и бежит к телефону.

- Дубовской слушает! - говорит Дубовской, осторожно поглядывая на соседку, которая, постояв, уходит.

- Валера! - кричит Красных. - Тебе конец! Шеф не обнаружил твоего спецкурса.

- Я заканчиваю, - с некоторой дрожью в голосе говорит Дубовской и спрашивает: - Ты с кафедры говоришь?

- Нет, - отвечает Красных. - Я тут поблизости. Сейчас подойду.

- Не надо! - говорит твердо Дубовской.

- У меня для тебя бумага от шефа!

Наступила долгая пауза.

- Ну, ладно, давай, - вяловато соглашается Дубовской.

Через минут пять раздался звонок в дверь и Дубовской обнаружил на пороге Красных и Федорова, Андрюшу и Алешу.

- Двоих не пущу! - недовольно, но мягко, сказал Дубовской, застегивая на животе ковбойку.

- Перестань, Валера, мы на минуту! - бросает черноусый Красных и, отстраняя Дубовского, идет по коридору к его двери. Следом двинулся Федоров.

Плотно притворив дверь в комнату, Дубовской спросил:

- Ну, что там еще случилось?

- Ничего! - гогоча, ответил Красных, плюхаясь на продавленный диван. - Это мы тебя обдурили.

- Иначе к вам, Валерий Иванович, не попадешь! - воскликнул Федоров Андрюша.

- Я занят. Очень занят, - сказал Дубовской.

- Чем?

- Пишу спецкурс, - кивнул на пишущую машинку с запрограммированным в нее листом бумаги.

Красных вскочил с дивана и подошел к машинке.

- Ну, и сколько же ты написал? - спросил он.

- Вторую страницу начал, - как-то равнодушно сказал Дубовской и незаметно подтолкнул ногой початую бутылку коньяка в щель между книжными шкафами.

На одном шкафу лежали горы каких-то пыльных бумаг и папок, на другом - до самого потолка навалом лежали такие же пыльные книги.

- Что это ты там ногой двигаешь? - басовито спросил Красных, улыбнулся и заглянул в щель. - Ого! Коньячок!

На круглом лице Андрюши Федорова вспыхнула спасительная улыбка.

- Хорошо бы по рюмашке, - сказал он, посопев носом.

Дубовской нехотя нагнулся, извлек бутылку из щели, посмотрел на нее и, махнув рукой, сказал:

- Что с вами, ребятки, делать!

Через полчаса сидели за столом и с грустью смотрели на пустую бутылку. Внезапно Алеша Красных оживился, нагнулся, заглядывая под диван.

- У тебя тара есть, Валера? - спросил он, подмигивая Андрюше.

- Что? - не понял Дубовской, мечтательно покуривая за столом.
- Хорошо бы мешок, - сказал Алеша.

Он встал и заходил по комнате, затем резко двинулся в темную половину и было слышно, как он там загремел бесчисленными бутылками.

- Мама родная! - завопил он, выбираясь на свет с двумя тяжелыми огромными чемоданами. - Вот тебе и тара! Чего там у тебя, Валера? - кивнул на чемоданы Алеша.

Дубовской с некоторой долей раздражения косолапо, набычившись, подошел к Алеше и попытался ухватиться за ручки чемоданов, но Алеша ловко отвел чемоданы за спину.

- Поставь на место, прошу, - незлобиво сказал Дубовской.

Алеша полизал языком черные усы, улыбнулся мирно.

- Валерий Иванович, - сказал он. - Тара нужна, смотри у тебя сколько бутылок. Сдадим и повторим!

- Конечно, нужно сдать посуду! - поддержал от стола флегматичный Андрюша, листаящий какую-то книгу.

- Да вы что! - несколько возбужденно произнес Дубовской и глаза его боязливо забегали. - Соседка дома!

Алеша не понял, спросил:

- Ну и что?

- Ничего. Что я при соседях буду бутылки по коридору таскать!

- сказал Дубовской и прикурил от чинарика другую сигарету. - И куда нести посуду? Надо же знать, работает ли приемный пункт...

Андрюша не спеша встал из-за стола, отложил книгу, и, потянувшись, сказал:

- Да у вас здесь через двор принимают, мы видели и... - сделал он паузу, - уже договорились с мужиком-приемщиком по гривеннику!

Дубовской развел руки в стороны и, покачивая головой, сказал:

- Значит, вы все заранее обдумали. Так-так. Обманым путем проникли ко мне, а теперь хотите посуду сдавать!

- Тебе же добро делаем!

- Не надо. Алеша, отнеси чемоданы на место, - мягко сказал Дубовской, начиная проявлять некоторое упрямство, что не по вкусу пришлось ребятам.

- Ну, Валер! - молил Алеша.

- Валерий Иванович! - вторил ему басовито Андрюша.

- Я сказал нет, значит, нет, - с дрожью в голосе, но не повышая его, сказал Дубовской и принялся косолапо, нагнув голову, словно что-то рассматривал на сером запущенном паркете, ходить из угла в угол.

- Мы же сами все перетаскаем, ты только сиди, кури! - не унился Алеша, изредка подмигивая Андрюше, мол, не молчи, поддерживай.

- Валерий Иванович, мы вам всю посуду сдадим! - поддерживал тот и, входя в уговорческий азарт, добавлял: - Мы вам ремонт с Алешей сделаем. Смотрите, весь потолок черный, обои облупились, засалились, пол заплыван... Мы все сами, вы не волнуйтесь, не беспокойтесь, не переживайте. Мы мигом, сами, с Алешей в две руки!

- Конечно, - вступал Алеша, - чемоданы набьем бутылками!

Дубовской, прикуривая следующую сигарету от предыдущей, остановился против Алеши и, глядя ему прямо в глаза, деликатным тоном сознался:

- Чемоданы уже набиты! В них бутылки! Алеша с Андрюшей радостно вздохнули.

- Ну, Валера, сокол ты наш! - Алеша чмокнул Дубовского в щеку и, положив чемоданы на пол, для верности открыл их.

В одном чемодане лежали ровно уложенные бутылки из-под шампанского, в другом - недоростки-четвертинки. Дубовской нашел еще рюкзак и спортивную сумку для Андрюши.

Когда Алеша прибежал с пустыми чемоданами, Андрюша только надел за спину огромный рюкзак и, покачиваясь под его тяжестью, ждал у двери команды Дубовского на право отправляться в ходку. Сам Дубовской выглядывал в коридор и, убеждаясь, что в нем никого нет, делал отмашку рукой, мол, путь свободен, можно идти.

Так челночно путешествовали Алеша с Андрюшей раз пятнадцать, отнеся в приемный пункт стеклотары около тысячи бутылок, но не выбрали всего, что было у Дубовского. Вырученные деньги Дубовской оставил ребятам, которые хотели продолжить поделки у него, но он категорически запротестовал, сказав, что ему некогда и что он срочно должен ехать на заседание в энтомологическое общество.

В вагон метро вошли вместе, Алеша с Андрюшей, счастливые тем, что их ожидал теперь подвальный бар, плюхнулись на сво-

бодные сиденья, а Дубовской принял классическую позу возницы, стоящего на телеге с зажатыми в руках вожжами.

Черная поблескивающая на солнце жужелица выскочила из-под трухлявого пня и побежала по влажной рыжеватой земле в прошлогоднюю вяловатую траву, но не добежала, потому что Дубовской проворно нагнулся и ухватил своими прокуренными пальцами с потрескавшимися обкусанными ногтями быстрое насекомое, поднес к глазам и некоторое время любовался шевелящимися лапками с острыми зазубринками, затем сунул жужелицу в спичечный коробок, специально прихваченный для коллекционных целей.

Лес был в голубоватой дымке, пахло подсыхающей землей и талой водой, которая отовсюду шушукалась, шумела” посвистывала, капала, бурлила. Дубовской шел по лесу в резиновых сапогах, в какой-то протрации смотрел по сторонам, без причины улыбался, закуривал, дымил сигаретой, любовался свежими копьями травы. Закуривая в очередной раз, достал не тот коробок, жужелица выпала на землю и исчезла в траве. Дубовской без всякого сожаления сунул пустой коробок в карман, достал другой, со спичками, чиркнул, прикурил, носом ощущая тепло спички.

Дубовской состоял в энтомологическом обществе, в котором мог бы и не состоять, так же как мог состоять в обществе филателистов, кинологов или юных натуралистов... Безразлично. Там, где есть интересные собеседники - там и Дубовской, необязательный, случайный, эфемерный член общества... В партком институте пришла из райкома разнарядка на учредительное заседание общества защиты животных. В частности, позвонили на кафедру Петрова, не выделит ли он какого-нибудь преподавателя на это заседание. Разумеется, Петров не выделит, ибо вступление в общество, считал он, дело сугубо добровольное. Но положив трубку, тут же поднял ее и набрал номер парткома. Набрал потому, что решил еще раз проверить безотказную покорность Дубовского.

- А он пойдет? - спросил заместитель секретаря по оргработе.
- Дубовской везде пойдет! - уверенно сказал Петров.

Да, Дубовской везде ходил: и на демонстрации, и к столбам для встречи зарубежных высоких гостей, и на овощные базы, ходил покорно, без всяких возражений... Пошел Дубовской и на уч-

редительное заседание общества охраны животных. После рассказывал Петрову, что все там переругались. Выступал какой-то собаколов, говорил что-то в свое оправдание, но его чуть с трибуны не скинули.

- А я со священником в кулуарах разговорился... Интересный человек! Неплохо знает историю.

- Нет такого специалиста, с которым бы ты не нашел общего языка! - усмехнулся Петров.

- Конечно, необходимо много знать, общаться... Впереди - ин-формационное общество, ноосфера, - согласился Дубовской.

- Болтун ты бездеятельный! - бросил Петров. - Вот и все! Люди по делу приходят, а ты как бабочка с небес спускаешься! Для затравки разговоров. Только разговоров. Не более! Ты везде прикидываешься знатоком, а на самом деле ты кто? Трепач самого высокого пошиба! Добился один раз в жизни доцентского оклада, защитил сто страничек диссертации - и существуешь на этом! Успеха добивается тот, кто бьет в одну точку. Я бью в свой железобетон и пробил стены! У меня уже с десяток книг и брошюр, докторская! А ты все болтаешь. Причем в серьезные места тебя просто не берут, там ты начнешь свою ахинею и все поймут, что ты просто болтун, без основания!

- С основанием! Я спецкурс пишу. Я классификацию наук разработал, - рассудительно сопротивлялся Дубовской.

А Петров оглядывал его крашенные волосы, его порезанную во время бритья щеку, его крючковатые желтые пальцы, его неглаженные брюки, его стоптанные пыльные полуботинки, его грязную сорочку с засаленным галстуком, его выдавший виды пиджак с закручивающимися в трубочку лацканами - оглядывал и удивлялся хладнокровию Дубовского, его незлобivosti, его беспредельной терпимости ко всем и вся, и в частности к сокрушительной, прямой линейной, грубой критике, исходящей от самого Петрова. Дубовской косолапо ходил по кабинету, курил с оттопыренным мизинцем, беспечно улыбался и рассудительно говорил о своей классификации, вернее, о своем варианте классификации наук, об уточнении их предмета с позиций системного подхода, о том, что в мире существуют только индивидуальные исторически сложившиеся системы.

- Нет плода вообще, - каким-то успокаивающим тоном произносил Дубовской, закуривая очередную сигарету, - а есть вот эта

конкретное яблоко, подобно тому, как существует вот это наблюдаемая вселенная. Тебе же ясно, - посматривал с небольшой улыбкой он на Петрова, который одновременно слушал и что-то писал, изредка почесывая голову, - что все подобные системы классифицируются по формам движения материи и изучаются эмпирическими науками...

- Угу, - соглашался Петров.

- Формы движения материи... - начал Дубовской, выпуская тонкую голубоватую струйку и наблюдая, как она превращается в облако.

Но Петров грубовато прервал его.

- Да это же не философия, черт тебя побери! Это же какое-то науковедение. Где душа, где Бог, где последние мысли о смысле жизни с позиции смертного, однажды живущего человека! - Петров резко встал, так что упал стул, на котором он сидел. - Это все мура. Напридумывали заводов, институтов, правил... А человек - раз, и сыграл а ящик! Да, он сыграл в ящик, не зная ничего ни о смысле жизни, ни о Боге, ничего! Ты понимаешь, казенная твоя душа, ничего! А ты мне лимонишь мозги каким-то тоталитаризмом науки, свою философию ставишь над науками! С какой стати? Любовь - это что, наука? Мудрость - наука?! - Петров махнул рукой, поднял стул и сел.

- Конечно, все это люди придумали, но...

- Что "но"?! Ты вот болтаешь, а мне очередной ответ в Минвуз подавать. Да-а. Спрашивают, какие перемены произошли на кафедре с апреля 1985 года. Вот и сосу из пальца! Мол, состав кафедры стал моложе - взяли четырех новых преподавателей. - Петров тоже закурил и посмотрел в окно. - Многие повысили свою квалификацию, - он взглянул на лежащую перед ним исписанную бумагу, - защитили кандидатские диссертации. За этот период мы почти успели закончить строительство новой учебной и научно-исследовательской лаборатории, организовали новый учебный класс, получили дополнительное оборудование для дисплейного класса. Преподаватели прошли подготовку по вычислительной технике. - Петров оторвался от текста и воскликнул: - А на самом деле - ничего не изменилось. И как может измениться, если Минвуз давит своими решениями, документами, которые противоречат один другому! С одной стороны, практически каждый из них ориентирует кафедру на развитие фундаментальных исследова-

ний, с другой стороны, финансирование работ передано производственным предприятиям, мало в них заинтересованным! Так-то, Дубович! А ты, вместо того, чтобы поразмышлять о чем-нибудь душеуспокаивающем, лепишь мне горбатого со своей классификацией!

- Но надо же доказать, что я прав! - с некоторым нажимом возразил Дубовской и сложил руки на груди.

- Кому?! - крикнул Петров, краснея. - Кому нужны твои доказательства! Канту? Гегелю? Мне? Никогда никому ничего не надо доказывать. Потому что никто еще никому ничего не доказал! Доказывание - это спор, спор - обиды, обиды - месть! А ты хоть на фоне твоей воинственной философии дай душе опору! Что это у вас все к вражде призываются: отрицание отрицания, борьба и единство противоположностей! Какой-то "Майн Кампф"! Кругом борьбу видят! А ты, Дубович, доброту кругом ищи, во всем ищи доброту. Не отрицание отрицания, а любовь. Да разве я отрицаю женщину, когда люблю ее? Слишком мир разгулялся в тьме невежества, в отрицаниях, в борьбе! И ты подначиваешь! Было уже такое, когда физики хотели по своим законам философию навязать! Все было, но остаются только любовь и добро!

Дубовской смущенно пожал плечами, сказал тихо:

- Да я не спорю, но кто-то ведь должен классифицировать науки, сказать об их взаимосвязи...

Петров вновь не сдержался:

- Это первоклассник скажет, дурачок ты! Философия - это нечто, - он мгновение помолчал, - нечто такое... тайное... сокровенное... чтобы ты один прочитал и удивился... и воскрес духовно... и стал жить по-человечески, а не по-скотски. Потому что "Майн Кампф" - это философия скотов!

Помазок для бритья был тщательно вымыт с мылом и ворс его вдруг чудесным образом покраснел, из черно-рыжего превратился в красный, цвета крови, сочащейся из пореза на щеке Дубовского. Хрустальная витая струя из латунного позеленевшего крана порозовела. Дубовской принялся слюнявить желтые пальцы и поглаживать порез.

Торжественная минута явления Дубовского в универмаг, где он в тесной примерочной кабине сбрасывал с себя все старое и

облачался во все новое: трусы, майку, носки, сорочку, галстук, костюм. А старое заворачивал в газету и осторожно, оглядываясь, оставлял там же, в универмаге, возле урны.

Петров стоял вместе с руководством института и прочими завкафедрами на ступеньках перед входом в институт. Шло посвящение в студенты.

Солнце золотом бликовало в нагрудных медалях на груди Петрова и прочих.

Студенты клялись в микрофон быть верными славным традициям вуза.

В конце октября Петров сказал Дубовскому:

- Сгоняю в деревню. Дядька там свинью заколол. Будет у тебя на шестидесятилетие мяско что надо! - и похлопал по крылу "свою красавицу", как он называл свой новый "Жигуль".

Второго утром звонит Дубовскому любовница Петрова и говорит:

- Петров погиб.

Без всяких эмоций говорит, как о пустяке. Дубовской не поверил, с улыбкой что-то сказал в ответ, но при этом все же спина похолодела, и так это морозцем по затылку погладило.

Пока ехал в институт в метро, борясь с инерцией поезда, балансируя, приседая, раскорячивая ноги, думал со страхом, а вдруг и вправду Петров погиб?! Что же тогда Дубовскому делать, как жить, к кому спешить, с кем говорить, от кого колкости выслушивать? Как-то весь смысл жизни терялся.

Замзавкафедрой Гирич мрачно рассказывал: поехал Петров за мясом, вечером из Тулы назад, гнал, конечно, а дорога скользкая, заморозки, выбросило Петрова из какой-то ямки на встречную полосу движения, а там КраЗ...

В дальнейшем любовница, которая, оказывается, ездила с Петровым, сидела на заднем сиденье, но не пострадала, рассказывала:

- Он живой еще был. Все за живот держался и орал так, что я оглохла. Выскочила я на дорогу, машину, как дура, а никто не останавливается. Наконец, милиция подъехала, через сорок минут. Кто-то, видать, сказал. В больницу живым еще привезли. А он все в голос кричал. Жутко кричал. Так эти врачи даже обезболивающий укол не сделали! - она замолчала и заплакала, краска потекла верткими струйками по щекам.

Дубовской сказался больным и на похороны Петрова не пошел. От страха не пошел. От невероятности случившегося. Лишь по весне позвонил любовнице Петрова, встретился, расспросил, где и как похоронили Петрова, планчик, как найти могилу, набросал, и поехал на кладбище.

Громыхнув автоматической коробкой передач, автобус свернул с шоссе, прибавил газу и помчался вверх, на пологую возвышенность. Мачты линий высоковольтных передач нехотя шагали по пустырям. Дубовской и в автобусе пытался ни за что не держаться: приседал, балансировал в воздухе руками, стоял в проходе враскоряку, переносил тело то на одну, то на другую ногу. Автобус поднялся в гору, резво покатил вниз. Слева тянулся бетонный забор, вдоль которого были посажены чахлые липы, подвязанные веревками к кольям. Забор оборвался, открылась широкая площадка, выложенная бетонными шестигранными плитами, как взлетно-посадочная полоса аэродрома.

Выйдя из автобуса, Дубовской поехал и направился через эту площадку к воротам. У забора стояли такси, черные "Волги", "павловские" автобусы, похоронные. Дубовской отвернулся. Неподалеку от них, выстроившись рядком, разложив товары на дощатых ящиках, женщины торговали рассадой в горшочках, семенами и луковицами цветов. Дубовской подошел к ним.

Торговля, видимо, шла небойко и женщины стали зазывать Дубовского, каждая к себе. Дубовской растерялся, но ему хотелось что-нибудь купить. Что - он сам не знал, вернее, знал, что нужно купить рассаду или семена, но каких цветов - не знал.

Хотелось взять такие, чтобы, если посадить сегодня, они цвели все лето. Он спросил об этом. Старушка в линялой кроличьей шубке, опережая конкуренток, сунула Дубовскому газетный кулечек с семенами, подходящими на коричневых сморщенных червячков. Затараторила, что лучше ноготков ничего не бывает - и цвета яркого, оранжевого, и на высокой ножке, и зелень сочная, да к тому же цветут все лето, притом - сами осеменяются, так что будущей весной не нужно будет сажать - сами вырастут.

Смущенный этой напористой рекламой, Дубовской купил кулечек ноготков, которые ему были хорошо известны, потому что он сажал их на даче, но из вежливости не прерывал старушку. Он по-

шел по дорожке, заглядывая в бумажку-план, разыскивать могилу своего друга Петрова.

Тянуло запахами жухлой травы, согретой глинистой земли. Попадались на глаза прошлогодние почерневшие, с золотистой сеткой тления листья. Солнце припекало. Кое-где оставшийся снег на глазах таял - из-под грязных льдинок в разные стороны растеклись ручейки. Наперебой кричали воробьи, перелетая с могилы на могилу. Деревьев на всем этом пространстве не наблюдалось. На открытой солнцу местности правильными четырехугольниками, как детские песочницы, располагались могилы. Будто геометр прошелся по листу ватмана с линейкой и рейсфедером, так ровно, рядами, по горизонтали и вертикали, как в кроссворде, убежали вдаль эти бетонные рамы могил. Все одинаковые.

Стояла тишина. После шума города она казалась ненастоящей. Тишина. Шел Дубовской и слышал, как бьется собственное сердце. Посетителей на кладбище почти что не было. Около какой-то свежей могилы возились рабочие в черных и синих тужурках, мести раствор в железной тачке, укладывали бетонные балки в правильный квадрат, окантовывающий могилу. Дубовской прошел мимо них, поглядывая по сторонам, искал ориентир, по которому можно было определить местонахождение могилы Петрова.

Все похоже, все одинаково.

Но вот он заметил на дорожке, уходящей влево, крытую автобусную остановку-будку, зачем-то поставленную на кладбище. Наверное, от дождя, ибо, если бы он начался, спрятаться здесь было некуда... Пошел по этой дорожке, миновал остановку-будку, догадался, что где-то справа должна быть могила. А потом он увидел кустик акации, тот самый ориентир, о котором говорила любовница Петрова.

Куст, правда, не был похож на акацию, потому что стоял голый, но Дубовской догадался, что это нужный куст. Дубовской в волнении свернул с асфальтированной дорожки, ступил на подсыхающую желтую траву, приглаженную, как лисий мех, сошедшим снегом к земле. В третьем от дорожки ряду Дубовской сразу же заметил серую табличку с фамилией Петрова, выведенной кривыми черными буквами. Страх охватил Дубовского. Он осторожно ступая, будто по одной доске - между могилами оставались узенькие проходы, - подошел к могиле друга, и слезы полились из глаз.

Жизнь оказалась комком впечатлений, зеленых и красных, янтарных и прочих цветов, но откуда возникло сейчас, в этот миг, ощущение черных провалов, как будто изъяли из памяти прошлую жизнь. Видение было, лишь было видение жизни, и вечный поход в неизвестную даль, чтобы каждый вот так же закончился, стал этой самой землею, травой, водою и птицей в начале полета. Но жизнь ведь была! Да, была! И живой Петров, деревенский мальчишка, прошел босиком по росистой траве, где в тихой излучине дремлет река. Петров уходил, и видел Дубовской, как пространство сужалось и в зеленый шлейф превращалось, как будто комету спустили на тихую землю, и гасли ее изумруды хвостатой одежды. И вот наступил час, когда тело Петрова, последнюю искру в себе загасив, отвердело, и краски исчезли, так лед превращается в камень и воск пожелтевший становится крепче огневого кремня. И снова роса на лугу у реки в синий вечер, и снова Петров идет по росе в тихий вечер, и будет идти так всегда по росе в синий вечер, так каждый живущий пройдет у реки в синий вечер.

Дубовскому казалось, что души их слились в единый комок путешествий по лугу, по свету, по воле, и он мог идти вместе с Петровым по зарослям диких городов, входить под ребристые своды соборов, музеев, где живопись прошлых видений людей сохранила печали и страсти... Он мог вместе с Петровым, нарушив законы, пройтись девятнадцатым веком Москвы и выйти в пустыни окраин, где также витали душевные страхи и бури людей, ушедших куда-то в безвестность. Лучистый румянец сменился могильным бесцветьем, душа же парит в неизвестном для нас измерении.

Очнулся Дубовской и увидел - такой же бетонный бордюры, как и на других могилах, лежал у Петрова. В глубокой овальной яме просевшей за зиму могилы стояла вода, отражая небо. Вода была голубая, словно подсиненная для стирки. Серебряная табличка с надписью покосилась. Бетонный заборчик зарылся в глину. Такой же бетонный, как балки заборчика, прямоугольный цветник покоился на дне глубокой могильной лужи, лишь одним серым углом выступая из голубоватой воды.

Пахло болотом.

Дубовской стоял неподвижно, горестно созерцая эту безрадостную картину. Но внезапно грохот ружейного салюта потряс его. Дубовской судорожно оглянулся, увидел вдали скопление народа, на центральной дорожке. Разглядел людей в черных шинелях, бе-

лый с голубым военно-морской флаг, морских офицеров. Залпы гулко разносились, не встречая на своем пути препятствий. Ополоневшие воробьи метались в воздухе. В довершение ко всему на фоне смолкающих выстрелов скорбно грянул духовой оркестр, слегка фальшивящий. Траурный марш Шопена затрепетал над землей.

Дубовской опустился на бетонную балку, уронил голову в ладони, новая слеза, как прозрачная дождевая капля по стеклу, скатилась по его щеке. Горько ему было, страшно, одиноко. В горле застрял комок, душа опустела. Не на что ей было опереться в эту минуту. Не на что.

Траурный марш оборвался, и вдруг оркестр ударил гимн. Мажорные звуки сверлили сердца живых, приказывая жить вечно.

Отзвучал и гимн, наступила тишина. Дубовской поднял голову, вытер ладонью слезу, отчего щека заблестела, встал. Разглядел у асфальтовой дорожки кем-то заботливо врытую скамью, выкрашенную синей краской. Пробрался к ней, балансируя между могилами. Скинул плащ, уложил на скамью и, уперев руки в боки, задумался.

Гляжу с участием умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч.

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!

Затарахтел по дорожке мотороллер с кузовом, везший песок. Дубовской опомнился и ринулся на дорожку, расставив руки в стороны, как птица крылья для полета. Мотороллер остановился. Человек в кепке, с папиросой в зубах весело глянул на него, весело, да как-то равнодушно весело.

- Мне бы песочку, - сказал Дубовской. - Вся могила провалилась засыпать бы...

- Червонец! - кратко сказал человек и лениво выплюнул папиросу.

У Дубовского само собой перекоилось лицо.

- Да вы что! - выдавил он. - За песок?

- Не за песок, а за стервис! - бросил человек, крутанул ручку газа и укатил.

Оторопелый Дубовской стоял, разведя руки в стороны. Если ждать помощи неоткуда, то приходится действовать самому. Но с чего начать, Дубовской не знал. Во-первых, ему нужна была земля или песок, во-вторых, лопата. Без лопаты на кладбище никуда не деться. У Дубовского лопаты не было. Где ее взять, если на кладбище ни души? Как же ни души! Можно попросить у рабочих, которых Дубовской видел. У тех, которые раствор месили в тачке.

Согласившись с разумностью этой мысли, Дубовской опустил руки, до сих пор растопыренные, и направился к центральной дорожке. Рабочие уложили балки, сидели на них, безмятежно перекуривали. Вежливо, без лишних слов Дубовской попросил у них на время лопату. У тех даже глаза на лоб полезли, ну чуть не вывалились из орбит, остолбенели работяги, дар речи потеряли, рты пораскрывали, пока в одном из них, во рту того, что сидел с краю, мордастого, что-то не проклокотало и не вырвался краткий и ясный матюг. Ожгло Дубовского, окоротило. Понял он, что обращаться тут требуется с большой оглядкой.

Прошел к выходу. Дощатый зеленый сарай инвентаря был закрыт. Огорченный Дубовской с вымученной рассеянной улыбкой вернулся к могиле Петрова ни с чем: то есть с улыбкой, но без лопаты. Сел на скамью возле плаща и... увидел лопату. Она лежала у бортика соседней могилы.

Любая радость проходит. Радость обретения лопаты прошла, как только до Дубовского дошло, что без земли и песка лопата ему ни к чему. И вновь побрел он по дорожке, но уже в другую сторону. Солнце припекало раскрытую голову. Дубовской воткнул лопату в обочину, нащупал в заднем кармане брюк носовой платок, завязал узелки по углам и нацепил вместо шапочки. Вышел на пустырь, на незаселенное еще место и увидел разрытую землю. Пласты дерна лежали горками. Вероятно, кто-то уже брал здесь землю. И к радости Дубовского, за горками дерна валялось выпачканное цементом ведро.

Набрав земли, Дубовской двинулся назад. Ведро показалось тяжелым, да перехватить в другую руку мешала лопата, которую он побоялся оставлять. Дважды ставил ведро на землю, отдыхал. Наконец донес его до могилы. Хотел уже высыпать в яму с водой, но бетонный цветник напомнил о себе острым серым углом.

Так и эдак Дубовской подступался к цветнику. Неудобно, несподручно. Ноги оскальзывались, в полуботинки вода наливалась. Плюнул на это, ухватился обеими руками за ребра цветника под водой. Рукава серого пиджака намокли. Пошел к скамье, снял пиджак, засучил рукава. Принялся вновь за вылавливание бетонного прямоугольника, совершенно забыв, что в полутора метрах под ним лежит, тронутый гниением, Петров в гробу.

Крякал Дубовской, пыхтел, напрягался, а оковалок ни с места! Подумал, как его удобнее ухватить. Ага! Подцепил снизу, рама встала на попа и перевалилась через балку в межрядье.

Дубовской отер ладонью пот со лба, глубоко, удовлетворенно вздохнул. Поднял ведро, высыпал землю в яму. Вода немного поднялась. Сколько ведер земли понадобится? Ссутулившись под тяжестью ведра, косолапо носил и носил землю. Копал ее сначала тупо, не вглядываясь, а потом присмотрелся к земле, задумался, воткнул лопату и сел на дерн.

Думал Дубовской самые простые думы. Отчего эта невзрачная, глинистая, слипающаяся, как пластилин, земля дает жизнь всему, на что ни взгляни? Дубовской почему-то, впрочем, стеснялся подобных мыслей. Уж какими-то примитивными они ему казались. Но он смотрел на коричневатую-желтую глину, и мысли эти не покидали его. Земля. В чем ее сила? Нет, не то! Почему человека закапывают в землю? Почему страшно расставаться с жизнью, почему так хорошо сидеть на земле под солнцем? Петров лежит в земле. Ему там холодно, одиноко. Нет, он ничего не чувствует. Мертвые не чувствуют. А где же его душа? Почему Дубовской не знает об этом, доцент кафедры философии и не знает, почему никто не подскажет ему, где может находиться душа его резкого друга, сорокалетнего Петрова?

Дубовской с волнением смотрел в землю. Верхний слой глины пообсох, был твердым. Глубже - земля мягче. Но такого же охряного цвета.

Пришло на ум что-то из кинематики, изучающей движение тел, не рассматривая причин, вызывающих это движение. Траектории

тел, вылетевших из некоей точки, лежащей вблизи поверхности Земли, представляют собою окружность. Если скорость тела такова, что ускорение свободного падения равно центростремительному ускорению, то это будет первой космической скоростью. А сумма кинетической энергии хаотического движения молекул, потенциальной энергии из взаимодействия и внутри молекулярной энергии будет внутренней энергией тела...

Человек не вырастает, как морковь, положим, из земли (философично!- усмехнулся Дубовской), он проносится над землей, человечество несется над землей. Новые вспышки рождений, в любви затаенно проросшие, в семени малом, горячем, как солнечный луч, проскочивший меж сомкнутых тел обнаженных, новые вспышки рождений совершаются над землей. Это, как летящий метеор, огненно-красный: вспышка - рождение, метеор несется далее, а в землю уж падают остывшие, окаменевшие крупницы. Такова смерть человека.

Из живого, огненного движения, никогда не прекращающегося, выпадают отдельные жизни, чтобы навсегда уйти в землю, но душа их, взлетая, не дает охладиться несущемуся потоку, отдает свою температуру духовную, потому само человечество бессмертно. Оно продолжает свой огненный путь над землей, и вспышки освещают туманные горизонты будущего.

Серое, с цементными шлепками на стенках ведро стояло на глине. Лопата воткнута в землю. Дубовской поднялся, кашлянул, взял ее и с удвоенной энергией принялся копать. Понес ведро, ударяясь об него коленом. Своя ноша не тянет, а тяжела. Пальцы немеют, готовы разжаться. Земля сыплется в блюдо лужи. Вода перекатывается через бетонный борт, растекается по узким проходам между могилами.

Скоротечна жизнь, смысл ее туманен. Понимаешь это особенно здесь, на кладбище. Зачем Дубовской носит землю, зачем выравнивает могилу? Живого Петрова нет, душа его питает огненный поток. Но Дубовской упрямо, тупо роет землю, наполняет ведро и несет. Вот уж холмик образовался. Дубовской, глядя на него, передохнул. Потом взялся утрамбовывать землю лопатой. Утрамбовал. Ухватился за цветник и с трудом перевалил его на холмик. Приработался. Силы появились. Вскопал землю в цветнике, размял комья глины пальцами. Думалось о самом хорошем. Петров вспоминался веселым.

Дубовской сидел на бетонной балке, разминал комки глины. И внезапно его будто озарило: мир состоит, оказывается, не из законов, а вот из этой глины, этого серого ведра, лопаты, зеркальных луж, цветника и скрюченных семян ноготков. Но все разрозненные части, такие привычные и натуральные, соединившись каким-то образом волею случая, составляют и Петрова, и студентов, и самого Дубовского. И каждый бессмысленный шаг обретает смысл, ложится в давно задуманную, но еще не законченную картину.

Мы для какого-то грандиозного замысла тут все суетимся, облекая скудные познания в рамки законов, подтвержденных формулами. Дубовской проделал ямки в земле и бросил в них семена ноготков - по-научному календулы, присыпал. Душа его радовалась.

Прихватив лопату, Дубовской пошел в низинку, к бетонному кладбищенскому забору. Заболоченная земля проседала под ногами, но Дубовской не обращал на это внимания.

Он увидел маленькую березку, совсем кустик. Даже удивился своей находке. Вокруг - ни деревца. И вдруг - березка! Как ее только сюда занесло. Он обкопал деревце, потянул его за тоненький ствол. Березка не шла. Корень сидел глубоко. Дубовской глубже стал копать. Земля чавкала. Дубовской вспотел. Солнце отражалось в широкой зеленоватой луже. Пахло почему-то хвойным лесом. Это старые венки свалены у забора.

Наконец Дубовскому удалось выковырнуть деревце-саженец. Радость подкатила к горлу, светлые капельки выступили в уголках глаз. Дубовской даже запел вполголоса: "Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота окиян-море, широко раздолье по всей земле, глубоки омуты днепровския...", - бережно взял березку и пошел к могиле.

Он вытянул из земли серебристую трафаретку с черными буквами: "Петров", выкопал на ее месте ямку, посадил дерево. Сходил к болотцу с ведром, набрал воды, полил саженец. Положил лопату на место, к бортику соседней могилы, ведро тут же оставил. Сел на лавочку, надел пиджак, умиленно прищурился на солнце, склонявшееся к далекому лесу, лиловой полоской обозначенному на горизонте...

У края шоссе, на обочине, стояли люди с ведрами, лопатами, сумками, дожидались автобуса. Лица у всех были такими, будто

люди исполнили что-то самое важное в своей жизни. И у Дубовского было такое лицо.

Подкатил автобус, забрал пассажиров, рыкнув мотором, покатил к метро. Дубовской стоял, раскорячив ноги, присев, положив руки на согнутые колени. Все радовало глаз Дубовского: и пустыри, и лес, и машины, и высокие коробки домов, и башенные краны, и прохожие...

- Напомню, что на прошлой лекции мы рассмотрели проблему эволюции форм отражения в живой природе, - сказал Дубовской, оглядывая аудиторию, и закурил. Дубовской позволял себе курить перед студентами, а если кто-то заглядывал в дверь, Дубовской воровато прятал окурок в рукав, тут же успевая загасить его желтыми пальцами. - Отражение мы определили как отношение между двумя непересекающимися множествами... Впрочем, я отвлекусь, - улыбнулся Дубовской, что-то вспомнив, и косолапо, нагнув голову, заходил от окна к двери. - Ехал я на днях в метро и заметил на стенке вагона "Правила пользования Московским метрополитеном". - Студенты сидели, развалясь на стульях, в позах слушателей. - Особенно приглянулся мне пункт 9. 6: "...запрещается подкладывать на железнодорожные пути предметы, которые могут вызвать нарушение движения поездов". Там же и наказание обозначено - "Наложение штрафа в размере до 10 рублей". Решил попробовать (деньги у меня были: только что по НИСу получил). Вышел я на станции, увидел тяжелую урну, подтащил к краю платформы и столкнул на пути! - Дубовской остановившимся взглядом уставился на студентов.

В аудитории раздался хохот и возгласы:

- Выдумываете, Валерий Иванович! Быть такого не может, чтобы вы так...

Дубовской медленно поднял руку, успокаивая студентов.

- Смотрю, что дальше будет, - ровным тоном продолжил Дубовской. - Из туннеля вынырнул поезд - и на мою урну! Лязг, грохот, искры посыпались! Поезд с рельсов сошел.

- Ну, заливаете!

- Милиционер тут как тут: "Вы урну на пути подложили?" - "Я. А что?" - "Платите десять рублей". Я вынул десятку и вручил ему,

а он мне - квитанцию: "С вас еще два рубля причитается за хождения по путям".

Громогласный хохот студентов переходил в какой-то вой с улюлюканиями. Но Дубовской был невозмутим. Он спокойно продолжил:

- Тут публика за меня вступилась: "Не ходил он по путям! Он только ее с платформы спихнул. Вечно к людям придираетесь". Кто-то тронул меня за плечо, и я открыл глаза. Передо мной стоял милиционер: "Гражданин, наверное, станцию свою проспали! Конечная". Неужели мне все это приснилось? Выходит, так, - сказал Дубовской, разводя руки в стороны. Смех в аудитории постепенно смолкал. Некоторые студентки промокали платочками слезы, чтобы не размазать краску. - Прежде чем выйти из вагона, заглянул в "Правила". Все точно, и два рубля за хождение по путям. Вот что я вам скажу, - обратился Дубовской к студентам, - не обедняйте себя, читайте правила - в них много любопытного и забавного.

- Забойно! - раздалось на галерке.

Дубовской прикурил от догоревшей сигареты новую, продолжил лекцию:

- Рассмотрели безусловные и условные рефлексy. . . Помните, как молодая собака спросила у старой: "Что такое условный рефлекс?" А та отвечает: "Видишь этого дурака в белом халате? Вот, я сейчас нажму на кнопку и он нам жрать принесет. Это у него - условный рефлекс!"

После паузы, пока длился смех, Дубовской подошел к поблескивающей черной доске и крошащимся мелом что-то принялся рисовать.

- Вот я нарисовал на доске зверюгу, то ли волка, то ли лису. Перемещается она в горизонтальной плоскости, длинную морду держит к земле носом. . . Представьте себе, что подобное животное решило залезть на березу или пальму: лезет, а нос книзу ее тянет - нехорошая консоль получилась. Видите, что с такой мордой по деревьям лазить не только неудобно, но и неприлично!

Кто-то в аудитории пискляво взвизгнул, но грохочущие в смехе басы заглушили этот писк.

Дубовской же был чрезвычайно серьезен.

- Поэтому у древесных животных, - продолжил он, - скажем у мишки или у кошки, мордочка круглая, симпатичная. - Дубовской стер тряпкой длинную морду у зверюги и подрисовал другую физиономию, округлую. . .

Когда-то громче всех на лекциях Дубовского хохотал Петров. Дубовской вспоминал Петрова, и теперь ему казалось, что на лице Петрова будто смерть была написана.

Да, жизнь есть и нечто эфемерное, неизвестное, никем не гарантированное бытие, которое в любой момент может стать небытием...

После занятий Дубовской, как и намеревался, прогулялся по улице Горького, зашел в несколько магазинов, купил бутылку коньяку и две бутылки минеральной воды. В квартиру входил тихо, дверь прикрывал бесшумно, все движения на цыпочках, замедленно, с редкими ускорениями в момент втыкания ключа в замочную скважину и проникновения в смрадное чрево комнаты.

И опять тупой из поблескивающей холодом нержавеющей стали нож кромсает хлеб, колбасу, сыр. В старенькой ковбойке нараспашку, в мягких домашних брюках Дубовской, умиленно улыбаясь и покуривая, усаживается в свете настольной лампы (окна занавешены черным) перед голубовато светящимся экраном.

По второй программе шло повторение передачи "В мире животных". На взлете аиста с болота Дубовской, как бы взлетая вместе с этой ширококрылой красивой птицей с удовольствием пропустил первую стопку. Затем, кое-как закусив, закурил. И в этот момент в дверь постучали.

- Валерий Иванович! - раздался скрипучий голос соседки. - Вас к телефону.

Дубовской огорченно вздрогнул, глаза его забегали.

- Кто? - вежливо через дверь спросил Дубовской и подтянул спадающие штаны.

- Евграфов, - сказала соседка.

У Дубовского задрожали ноги, дыхание перехватило. Он бросился к столу, загасил сигарету, спрятал бутылку и стопку, как будто Евграфов тут же собирался входить в комнату.

- Валера, - сказал Евграфов, когда Дубовский взял трубку, - тут, понимаешь, какое дело... Ну, ты в курсе, что наша кафедра первой в стране перестроилась... Что тебе говорить... М-да, эксперимент проводим... На ВДНХ стенд по нам оформлен... Опыт...

Дубовский слушал все это с неприязнью, поскольку знал все об этом липовом эксперименте, суть которого состояла в механической отмене лекций как вида занятий, и проведении вместо них

семинарских занятий. Евграфов везде лез со своими методиками, методологией, не касаясь сути философии.

- Так я вот о чем, Валера, - сказал голосом старого лиса Евграфов, - дорогой... Все двадцать лет я тебя оберегал, не давал читать тебе истмат... Понимаешь, ляпнул бы ты что-нибудь не то и... Но я-то всегда был с тобой, разделял тайно твою позицию...

Горькая усмешка отобразилась на лице Дубовского.

- Суть вот в чем, - продолжил Евграфов, - экспериментом заинтересовались в министерстве и вот... Едет комиссия. Да! Я в панике. Кому доверить экспериментальное занятие перед комиссией? Некому... Воробьев совсем с ума спятил, накопил четыре тома нового учебника и в ЦК послал... Кондратьев бубнит только по бумажке... Красных и Федоров от страха перед комиссией пару слов не свяжут... Так что, выручай, Валера!

- А вы бы сами? - мягко спросил Дубовской, понимая, что он вновь понадобился как пожарная команда.

- Ну, я слишком официален! - свел дело к шутке Евграфов.

После этого разговора Дубовской в какой-то горячке дописал спецкурс.

Последнюю страницу достучал на машинке. Итого получилось за два года работы 7 (семь) страничек.

Вот небольшой фрагмент:

"Полупустой вагон пригородной электрички. Мерно постукивают колеса. На край скамейки поближе к двери присаживается молодой паренек. Он ерзает, беспокойно поглядывает на входящих пассажиров. Ему явно не по себе.

А вот и те, кого он опасался: один, в кителе и форменной фуражке, остается у двери, а другой, с красной повязкой на рукаве, быстро проходит в противоположный конец вагона. Затем оба, медленно сближаясь, просят предъявить билеты. "Зайца" обнаружили сразу. Повели. Наверное, оштрафуют. А может быть, просто высадят: подумаешь, пацан хотел проехать остановку без билета!

Такие "зайцы" есть и среди наших студентов. Во время семинарских занятий их чаще можно видеть на "Камчатке" прячущимися за спины товарищей. Если их не успели спросить до звонка, они облегченно переводят дух и спешат в коридор, словно в тамбур вагона, остановившегося на спасительной станции. Не знаю, дрожат ли "зайцы" всю дорогу (время пребывания в институте) или привыкают к своей незавидной роли.

На экзаменах “зайцы” проявляют большую изобретательность по части шпаргалок. Стоит преподавателю отвернуться, они начинают судорожно списывать. Смотришь, и выкрутился! Даже четверку получил.

Списывают они и домашние задания у товарищей по группе. А те, вместо того, чтобы действительно помочь, объяснить трудный вопрос, предоставляют в их распоряжение готовые плоды своего труда. “Заяц” использует их как ту же шпаргалку. Цель одна: любой ценой переползти с курса на курс и получить желанный диплом. Ведь для него он не более чем “пропуск к кормушке”...

Закончив писание, Дубовской удовлетворенно, сцепив руки на груди, откинулся к спинке старого стула, стул пронзительно закрипел, развалился, и Дубовской, не успев расцепить руки, оказался на полу. Взгляд Дубовского устремился под шкафы. Чего там только не было! В пыли и паутине - бутылки, книги, папки, карандаши, зеленоватый уголок разбитого зеркала...

Дубовской перевернулся на живот, устроился поудобнее, подперев голову кулаками, как увлеченно играющий на полу ребенок, и принялся сосредоточенно изучать подшкафье. Затем взял зеркальный осколок и увидел в нем свои светло-рыжеватые крашенные волосы с белыми корнями. Нужно было срочно краситься. Комиссия! Но Дубовской не торопился, лежал на животе и смотрел в зеркало.

Он вспомнил, как стоял за прудом, в низине, на склоне холма, уходящего к небу, по которому несутся сталисто-серые с красно-вататыми подпалинами, с лиловыми мазками, вытянутые с севера на юг метельными вихрями облака. Дубовской не может оторвать взгляда от неба, и ему кажется, что это он несется навстречу облакам, и в эти минуты Дубовской чудесным образом выпрыгивал из времени, уходили все мелочи жизни, и он, оседлавший землю, как коня, мчится на ней по вселенной один, ибо кто еще тут нужен, достаточно лишь одного человеческого взгляда, чтобы все увидеть и понять, что все остальное, увиденное другими людьми, лишь повторение пройденного, лишь повторение, повторение...

Взгляд Дубовского обнаружил между книжным шкафом и батареей пыльную обувную коробку. Отложив зеркальце, Дубовской потянулся к коробке, вытащил, открыл и увидел на дне ее зеленые шнурки, связанные легким узелком. Какое удачное падение! Не просто так упал со стула, а упал с целью обнаружить новые шнур-

ФИЛОСОФИЯ ПЕЧАЛИ

ки, купленные, судя по чеку, лежавшему там же, вместе с полуботинками в октябре 1964 года.

Потирая ушибленный затылок, Дубовской прошел к столу со шнурками в руках, радостно вздохнул, налил стопку и с превеликим удовольствием обмыл находку. После этого Дубовской не спеша отыскал помазок для бритья, прихватил все необходимое для крашения, застыл у двери, приложив к ней волосатое ухо. В коридоре была тишина. Дубовской на цыпочках проскочил в ванную. Помазок, некогда желтоватый, цвета спелого пшеничного колоса, теперь был темно-каштановым, такими же темно-каштановыми становились волосы Дубовского.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

В ДОЖДЬ

рассказ

Третий день идет дождь. Саша стоит на террасе у окна и смотрит на вздрагивающий от капель шиповник с поникшими бордовыми цветами. Делать нечего. Дверь с террасы в комнату открыта, оттуда пахнет угольным дымом. Топится старая железная печка. Саша втягивает в себя воздух, грустно вздыхает и переводит взгляд на кота с большим и длинным дымчато-серым хвостом, растеленным по выгоревшей клеенке стола, который стоит в углу террасы. Кот сидит неподвижно, сложив лапы, смотрит в одну точку и изредка жмурится.

Десятилетний Саша в эти минуты похож на медлительного старичка. На Саше длинная отцовская телогрейка и большие кирзовые сапоги. На столе, сбоку от кота, лежит раскрытый учебник русского языка, но читать его у Саши нет никаких сил. Судьба Саши решится осенью: быть ли ему в четвертом классе. Монотонно жужжит под потолком зеленая большая муха. Саша закрывает глаза, в этом низком жужжании узнает звук вражеского самолета, резко стаскивает с головы кепку и швыряет ее в сторону жужжания.

Кот испуганно срывается со стола и кидается к двери. Там он затихает на мгновение, а потом басовито воет, чтобы его выпустили на улицу. Саша открывает дверь и ждет, когда кот уберет, выходя, свой лисий хвост, чтобы не отрубить его дверью. Хвост медленно, как бы назло, выплывает на крыльцо.

- Тепло же выпускаешь! - кричит на кота Саша и подталкивает его ногой.

Через окно Саша видит, как кот соскакивает с крыльца под дождь и бежит под стол в зарослях орешника. Саша отворачивается и видит на столе белые страницы учебника. Почему-то в этот

В ДОЖДЬ

момент Саше хочется плакать. Он быстро подходит к столу, захлопывает учебник и со злобой несколько раз бьет им по углу стола, приговаривая:

- Вот тебе, азбука!

Затем Саша бежит с учебником в комнату и, с глаз долой, засовывает его под подушку на кровати.

В это время слышится стук в дверь и доносится тонкий голос соседского мальчика Андрея:

- Санька, на рыбалку пойдешь?!

Вместе с Андреем на террасу вбегает мокрый кот, отряхивается и мчится к блюдцу. Но там пусто. Саша шмыгает носом и с хозяйской заботой говорит:

- Терпи, Васька!

Не обращая внимания на занудный, морозящий дождь Саша с Андреем идут к сараю копать червей. К сапогам липнет скошенная трава.

В руках у Саши большая лопата. Земля влажна, чавкает под лопатой, но копается легко. Холодные черви, извиваясь, летят в консервную банку и присыпаются сверху землей. За шиворот мальчишек попадают холодные капли, заставляют двигаться быстрее.

- Верхоплавки опять будут поплавок гонять, надо бы мух наловить, - говорит Андрей, засовывая красные руки в карманы куртки.

- А как их ловят? - спрашивает Саша.

- Как-как? Газетой шлепнут и готово дело.

- Ну, газетой от них ничего не останется.

Далее молчаливо берутся удочки, и мальчишки идут по грязной дороге к небольшому пруду.

- У тебя чего по русскому было? - между прочим, забрасывая крючок в воду, спрашивает Саша и, как только поплавок затихает, смотрит, не моргая, в одну точку.

- Трояк, - равнодушно отвечает Андрей и говорит: - Вчера дядя Слава тут целую кастрюлю манной каши вывалил в воду. Должно клевать...

Пахнет болотной травой и мятой, которая растет по берегу в кустах ивняка. Две вороны сидят, покачиваясь, на макушке мокрой ели, иногда они бросаются с гортанным карканьем вниз, ударяя клювами друг друга в полете, затем благополучно взгромозжаются на прежнее место.

- Зачем только русский язык учат! - продолжает свое Саша. - Спокойно говорим на нем. Чего учить... Еще бы урок хождения придумали! Правой ножкой, левой...

- Или урок раскрывания рта! - звонко кричит Андрей.

- Тихо! - одергивает его Саша и ежится в своей огромной телогрейке. - Кажись, клюет!

Поплавок Сашиной удочки начинает приплясывать. Андрей кашивает на него глаза, потом говорит:

- Верхоплавки, паразитки, балуются.

Саша не выдерживает, дергает удочку, из воды выскакивает серебристая, тонкая, как килька, верхоплавка и летит в высокую траву берега. Саша бросает удочку и прыгает за ней. Он копается в траве, глаза его жадно блестят, наконец, находит рыбку с воткнутым в бок крючком.

- Фигак, иди, позырь! - кричит он, как шальной.

- Вот это да! За бок поймал! - одобрительно говорит Андрей и хлопает ладонью Сашу по плечу. - Ну ты воще!

Саша смущенно опускает глаза, ищет банку с червями, с трудом насаживает скользкого, извивающегося червя на маленький крючок и забрасывает его в воду. Некоторое время проходит в молчании. У Андрея не клюет, он хмурится и затем говорит:

- И че мы воще в школу ходим, че мы там забыли?

- Да это нас отдают потому, что не с кем оставлять, - развивает мысль Саша, вытягивает губы и начинает тихо насвистывать.

- Это точно, - соглашается Андрей. - Отдают, чтобы отделаться от нас, сбуть с рук. Я бы, например, наставил телевизоров на каждой парте. Приходишь в школу, включаешь и смотришь.

- Ну да, на диктора... Тот как начнет бубнить...

- Не! - кричит, увлекаясь, Андрей. - Тогда видеомэгнитофон каждому! Смотри, что сам хочешь, а не что тебе диктор бубнит, как дед-девьяносто лет!

- У тя клюет! - истошным голосом перебивает его Саша, бросает свою удочку, готовый тащить Андрееву. Андрей поспешно дергает и радостно вопит:

- Фи-игак!

В траву плюхается скуластый и глазастый бычок. Андрей хватает его и пытается вытащить из широкой пасти крючок, но крючок так глубоко сидит, что приходится напрягаться и рвать с кишками.

В ДОЖДЬ

- Все равно Василий Алибабаевич слопает, - говорит Андрей.
- Да он их никогда не ел. Кто его знает. Он в школу не ходит.
- Везет же ему, - говорит тихо Андрей, поблескивая глазами.

Саша смотрит на свой поплавок, затем переводит взгляд на противоположный берег, на зеленое, с желтыми пятнами поле. Саше становится скучно, и он медленно вытягивает леску из воды. Но червяка ему снимать жалко, Саша нагибается, берет банку с червями и идет вдоль пруда на новое место. Андрей спешит за ним.

- Мне тоже надоело, - говорит он, догоняя Сашу.
- Последний разок заброшу, - говорит Саша.

Не успел поплавок успокоиться, как тут же пошел вниз. Саша, не веря столь быстрой поклевке, не шевелится. Андрей припадает к его уху и горячо шепчет:

- Тащи!

Огненно-перистый, золотой карась с добрую ладонь бьет хвостом по траве, быстро раскрывает рот и пучит глаза...

Кот долго кружит вокруг блюдца с живым карасем. Наконец, ухватывает рыбу острыми белыми клыками за хвост и энергично подбрасывает ее. Карась трепещет в воздухе.

Мальчики смеются.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ПОД НОВЫЙ ГОД

рассказ

Холодная ночь.

Вдалеке видны темные склады, у которых на высоких столбах горят в морозном воздухе под металлическими тарелками мутно-золотистые лампочки. Вдоль длинного серого забора натянута проволока, по которой бегают овчарка, но собаки сейчас не видно, вероятно, забились в будку и задремала. Тихо, лишь слышно, как где-то за еловым, заснеженным лесом, что начинается сразу за забором, перекликаются тепловозы. Их свистки и шипение доносятся до складов приглушенно, как бы из-под самой земли.

Часовой видит эти склады, снежные крыши, забор, поблескивающую серебром проволоку, макушки елей с опущенными, облепленными снегом лапами, мутно-золотистые воздушные шары освещения, вслушивается в едва уловимые звуки, идущие от железнодорожного узла и, надежнее приладив за спиной промерзший, тяжелый карабин с заиндевелым примкнутым штыком, хлопывает себя меховыми варежками по бокам тулупа, от которого приятно пахнет овчинным теплом.

Длинные полы тулупа, огромные валенки с высокими голенищами не позволяют делать широкие шаги, часовой ступает коротко, вприпрыжку, как будто пританцовывает. Снег не скрипит, а пищит, поскуливает под ногами, как собака. Изредка дует ветерок, вздымая легкие завитки муки снежной. Часовой скашивает глаза и замечает белый налет на наушниках шапки, завязанных под подбородком. Часовой вытягивает губы и дует сначала на левый наушник, потом, видя, что иней тает и белая шерсть шапки темнеет, на правый. Затем он подходит к столбу, от которого пахнет мерзлой смолой и на котором мерцают янтарные, окаменевшие слезы, приваливается к столбу плечом и стоит неподвижно в желтом пятне света.

Лицо часового молодо, совсем юно, над верхней губой едва различим нежный пушок, глаза круглые, светло-голубые, задумчивые.

Часовому видится метро, синие гремящие и пищание на оставшихся вагоны, поблескивающие мрамором стены с табличками названий станций, потемневшие, бронзовые фигуры молотобойцев, дискоболок с мощными руками, ногами и грудями, изразцовые картины с золотыми вкраплениями на потолках, длинные змеи эскалаторов с рубчатými ступенями, черные резиновые поручни, никелированные трубы ограждений при спуске вниз, застекленные будки дежурных, лакированные деревянные лавки у холодных стен... Часовой в умилении думает о том, как там сейчас в метро, кто там едет, много ли народу. Наверное, все спешат, торопятся, ведь до Нового года осталось всего полчаса, в руках у всех торты, сереброголовые "огнетушители" шампанского, цветы в хрустящем целлофане, лица возбуждены, сосредоточены и улыбки тайно.

Часовой протяжно вздыхает, трет рукой нос и щеки, отходит от столба и начинает свое обычное пританцовывание. Вдруг он останавливается, поворачивает голову и прислушивается. Ему кажется, что кто-то идет меж складами.

- Кто идет?

Тишина, ответа нет, но часовой боится пошевелиться. Через мгновение он вновь слышит снежное слабое похрустывание, а затем - хриплый, надрывный лай из будки, овчарка вырывается из черной амбразуры, вскидывается на задние лапы, натягивая цепь, и начинает бешено носиться по проволоке с оглушительным, похожим на пиление дров лаем.

Часовой срывается с места и бежит к складам. Сердце его замирает от страха и недоброго предчувствия. На ходу он путается в длинном тулупе, спотыкается и падает в сугроб. Карабин больно бьет его вороненым стволом по голове. Откашливаясь и сморкаясь, часовой быстро поднимается, бежит, достигает проулка между складами и видит в конце узкой, натоптанной в снегу тропы, голубой в это время, темную, размахивающую руками, бегущую фигуру.

- Стой, стрелять буду! - кричит, задыхаясь, часовой, сбрасывает варежки в снег, сдергивает с плеча карабин, щелкает затвором, снимает курок с предохранителя и стреляет в воздух. Уши закладывает от грохота выстрела и многократного эха от него.

Руки часового чуть-чуть дрожат, мушка прицела прыгает, пар из рта мешает разглядеть бегущую неуклюже черную фигуру. Часовой закрывает глаза, нажимает курок, в нос шибает горячим дымом. Резко разлепив глаза, часовой видит черную фигуру, балансирующую руками, подобно канатоходцу, еще бегущую, но уже спотыкающуюся и падающую затем в снег лицом. В ушах часового стоит звон, он даже не слышит отчаянного лая овчарки. Карabin горячим дулом уперся в сугроб.

Часовой переводит дух, по спине пробегает холодная дрожь, он медленно, как бы в забытьи, идет к тому месту, где ничком рухнула черная фигура. В ушах по-прежнему стоит звон, а от шапки пахнет паленым. Пройдя шагов десять, часовой встряхивает головой, как после ныряния, когда в уши заливается вода, слух возвращается, доносится лай овчарки и слабое постанывание того, кто упал в снег.

Пытаясь успокоить себя, часовой смотрит в ту сторону, оглаживает теплый ствол карабина, осматривает зачем-то приклад и берет карабин за спину. В голове пусто, нет ни одной мысли, тело дрожит, и часовому не хочется идти к тому, кто упал в снег.

Но через минуту часовой машинально делает первый шаг, за ним второй, третий... Чтобы не смотреть на лежащего, часовой глядит вперед, на торцевой забор за складами и замечает зияющую брешь с отведенной в сторону доской. Он долго и тупо смотрит на эту щель, на этот ход с натоптанными к нему следами, и до его слуха доходит стон. Часовой опускает глаза и в сумеречном, ночном зимнем свете узнает в страхе по черному, коротко стриженному удлинненному затылку с маленькой белой запятой шрама Былинского.

Былинский приподнимает голову, оборачивается и смотрит поблескивающими, удивленными глазами на часового, стоящего над ним.

- Ви-итек?! - выдавливает со стоном Былинский.

- Серега?!

- Я...

Часовой ошалело смотрит на своего лучшего друга Сергея Былинского, с которым первый курс на филфаке учился, с которым на гитарах в ансамбле играет железный рок, этот Серега лежит теперь в снегу, убитый Виктором Никольским!

- Куда я тебя?

- Сам не пойму, - стонет Былинский, и в его глазах Никольский различает ужас.

Никольский бросает карабин в снег, склоняется к другу, всматривается жадно в его бледнеющее лицо.

- Серега! - трясет он Былинского, который обвисает на его руках и закрывает глаза.

В глазах Никольского появляются слезы, но он не плачет, это слезы непонимания, неверия в происходящее. Былинский лежит на спине в гимнастерке, без ремня, с непокрытой головой, из кармана брюк-галифе выглядывает горлышко зеленой бутылки, заткнутой газетной пробкой, которая намочила и от нее едко пахнет самогоном. Никольский догадывается, что Былинский бегал в деревню, где в крайней избе толстая старуха варит самогон.

Перебарывая дрожь, Никольский пытается поднять и взвалить на себя Былинского, но тулуп и карабин не позволяют этого сделать. Тогда Никольский раздевается и, подняв неимоверно тяжелого друга, видит темное пятно на снегу. Но Никольскому не до созерцания черной крови, он, всхлипывая и покашливая, взваливает Былинского на спину, разворачивается и идет, покачиваясь, вдоль складов, огибает их, видит надрывно визжащую овчарку, видит желтый круг света под столбом, серый забор и продолжает идти.

Но вот он слышит впереди торопливые хрустящие шаги, вскидывает глаза и замечает начальника караула, высокого, горбоносого, со сросшимися черными бровями старшего лейтенанта Акбарова, низенького разводящего Белова и трех солдат.

Акбаров мгновение стоит молча, лицо его жестко и не выражает никаких чувств. Белов как вскинул белесые, тонкие брови, так и застыл с этим выражением удивления. Солдаты были бледны, а глаза их - испуганны.

- Живая? - наконец спрашивает Акбаров и крутит головой, как бы стараясь вылезти из колючего ворота суконной шинели.

- Чего стали! - прикрикивает Белов на солдат. - Пособите!

Те бросаются к Никольскому, стаскивают с его согбенной спины обмякшего Былинского и под присмотром расторопного Белова почти бегут в сторону караульного помещения, до которого около километра.

- Предупреждения кричала?! - грозно и отрывисто спрашивает Акбаров и вперяется узкими темными глазами в Никольского.

- Так точно...
- А где карабина?
- Там, кивает Никольский на склады, вздрагивая.
- Иди, я постою, - говорит Акбаров, поднимая плечо и склоняя к нему покрасневшее ухо.

Не ощущая холода, опустив голову, Никольский медленно идет к складам, сворачивает в проулок и останавливается. Сейчас он не виден Акбарову. Никольский нащупывает в кармане сигареты и спички. Он приседает и чиркает спичкой, но она, слабо вспыхнув, ломается и гаснет. Свет второй спички, мелькнув голубым огоньком, тоже гаснет от порыва ветра. Тогда Никольский встает, подставляет спину ветру, зажигает третью спичку, она вспыхивает, Никольский быстро подносит ее к серным головкам приоткрытого коробка, тот в мгновение ярко загорается, Никольский бросает коробок в снег, а вслед за ним в пачку с сигаретами.

Возвращается он так же медленно, как и уходил. Акбаров стоит около овчарки и теребит ее шерсть на загривке. Пес дружелюбно поскуливает. Акбаров поворачивает скуластое лицо, сжимает губы, а затем произносит:

- Правильно служба понимай! Теперь тебе отпуск родина будет!

Никольский пропускает это мимо ушей, плотнее натягивает шапку, от которой все еще пахнет порохом, и смотрит на уходящего Акбарова. Затем он переводит взгляд на заснеженные ели за забором и, вздрагивая, плачет.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ТАНЕЧКА

рассказ

Дверь на террасу отворилась и вошла Танечка. На лоб спадала длинная челка, но брови, очень тонкие, были видны, а под ними - большие глаза, чуть-чуть раскосые. В четыре года Танечке делали операцию, подтягивали мышцу глаза, чтобы исправить дефект, приобретенный при рождении.

Увидев Танечку, Виктор Васильевич, ее дядя, бросил карандаш на исписанные листы бумаги, кашлянул и в смущении поднялся. Приезда Танечки он не ожидал. Оглядывая ее удивленным взглядом, он несколько насторожился и, по мере оглядывания, настораживался все более и более.

Виктор Васильевич не видел Танечку с прошлого лета, и вот за год она превратилась в красивую девушку. Он взглянул на ее руки, когда она стала выкладывать из сумки кое-какие продукты, привезенные из Москвы, и обнаружил великолепные, очень длинные ногти с перламутровым маникюром.

Это в 15 лет! Было отчего насторожиться.

И челка, и длинные пальцы, и высокая фигура так поразили Виктора Васильевича, что он некоторое время не знал, куда девать руки, и то засовывал их в карманы тесных джинсов, то сцеплял за спиной, то опирался ими о стол. С лица не сходила глупая улыбка.

- А где тетя Вера? - спросила певучим, недетским голосом Танечка и посмотрела отвлеченным взглядом на Виктора Васильевича.

- Да вон, - кивнул он за окно, - в саду, после жары что-то сажает или поливает...

На Танечке была легкая, из тонкой прозрачной ткани безрукавная блузка с глубоким вырезом на спине, и, когда Танечка по-

дошла к охну, Виктор Васильевич заметил между загорелыми лопатками вдоль волнистого пунктира позвоночника золотистый нежный пушок и поспешно отвернулся. Танечка медленно подняла руку, отбросила челку набок и потянулась. Короткая блузка выбилась из широкой юбки, и Виктор Васильевич, вновь против воли смотревший на Танечку, увидел полоску гибкой талии, такой же загорелой, как спина.

- Да ты ли это?! - вырвалось у Виктора Васильевича.

Танечка резко обернулась, юные розовые губы приоткрылись в улыбке.

- Так душно! В автобусе все бока намяли, - сказала она и провела ладонями по округлым бедрам. - Душ работает?

В это время на террасу вошла полная, невысокая жена Виктора Васильевича, Вера Николаевна, и первое, что бросилось в глаза Виктору Васильевичу, ее морщинистые, без ногтей, совершенно мужские руки, перепачканные землей.

- Вот молодец! - вскричала Вера Николаевна и бросилась обнимать Танечку. - Приехала!.. А что же мамаша? Все крутит-вертит...

Мать Танечки жила без мужа и в последнее время откровенно заводила романы, не стесняясь дочери.

- Ну что ты! - оборвал жену Виктор Васильевич, виновато поглядывая на Танечку.

- Помалкивай, когда не спрашивают! - вскричала Вера Николаевна и уничтожающим взглядом посмотрела на мужа.

Виктор Васильевич покраснел, поспешно отвернулся и вышел из дому.

Под старыми яблонями стоял полумрак и было прохладно, но у домика душевой, где была зацементированная площадка, Виктор Васильевич ощутил струю теплого воздуха.

Виктор Васильевич принялся растапливать титан душа, а перед его глазами стояла Танечка, с острыми перламутровыми ногтями, с большими карими глазами, с бронзовой спиной и золотистым пушком вдоль змейки позвоночника.

Виктор Васильевич ломал сухие ветки, бросал в топку и думал о Танечке, о том, что ей 15 лет, о том, что эти 15 лет мелькнули одной минутой... Он вспомнил то время, когда учил Танечку ходить, здесь же, на этом садовом участке, вспомнил ее пухлые щеки и раскосые глаза, вспомнил детские книжки, которые чи-

тал ей, вспомнил и... ужаснулся, что за эти 15 лет, в которые природа из некрасивого, раскосого ребенка успела сделать очаровательную девушку, он, Виктор Васильевич, ровным счетом ничего не добился!

Тогда он начал писать диссертацию, и теперь он все пишет ее. Сменилось в отделе уже три заведующих, а он, не успев подделаться под одного, вынужден был перекраивать свою работу, дабы угодить новому...

Виктор Васильевич бросил ветки на пол, закрыл глаза и уперся лбом в холодный титан, наполненный артезианской ледяной водой. Воду на участки качали из скважины с глубины 150 метров.

После душа Танечка была еще прелестнее, и Виктор Васильевич не сводил с нее глаз. Свет от лампы под абажуром падал на стол, резко очерчивал предметы. При этом освещении глаза Танечки золотились. Легкие тени придавали ее лицу выражение совсем взрослой девушки...

В кустах обильно цветущей сирени уже металлически звонко зашелкал соловей, потянуло легкой прохладой в открытое окно, занавешенное сеткой, а Виктор Васильевич все ворочался, не мог заснуть и думал о Танечке.

Он лежал на раскладушке наверху, на необорудованном чердаке, вслушивался в голоса жены и Танечки, доносившиеся снизу. Жена любила разговаривать громко, потому что была глуховата. Она работала начальницей кузнечно-прессового цеха и считала себя лидером семьи.

Не считать ее лидером - лидершей! - было нельзя, поскольку она зарабатывала в два с половиной раза больше Виктора Васильевича, была деловита, подвижна, постоянно ругала Виктора Васильевича за инертность и советовала найти другую работу.

До Виктора Васильевича доносились слова жены об отце Танечки, который ушел от сестры, когда Танечке едва исполнилось два года.

Вера Николаевна всячески расхваливала ее отца и бранила мать, изнеженную, неприкайную самодурку, все еще молодящуюся и считающую себя очень умной женщиной. По мысли Веры Николаевны, этот ум выражался в бесчисленных, вполне лояльных театральных сплетнях. Мать Танечки работала в управлении культуры...

Утром, после чая, пошли купаться на пруд, который располагался за насыпью железной дороги.

Виктор Васильевич шел сзади, смотрел на высокую Танечку, на ее длинные, с крепкими икрами, смуглые ноги в шортах, вздыхал и переводил взгляд на толстые, с синими вспухшими венами, короткие, отекавшие ноги жены.

Жена и Танечка исчезли за кустами, и когда Виктор Васильевич, обогнув эти кусты, вышел на берег пруда, то на мгновение застыл, увидев Танечку в купальнике.

Виктор Васильевич смотрел на великолепную фигуру. Чтобы жена не уловила его пылкого взгляда, он принялся расстегивать пыльные сандалии, надетые на босую ногу.

Он увидел подходящую к нему Танечку, увидел, как она остановилась совсем рядом, увидел ее ноги, на которых был едва заметен золотистый волосяной налет, увидел поры на гладкой коже, вдохнул запах этой молодой кожи и, закрыв глаза, отвернулся.

- Дядя Витя, - сказала певучим голосом Танечка, - подержите, пожалуйста, медальон.

Виктор Васильевич вынужден был открыть глаза и выпрямиться, едва не коснувшись головой ее груди, с заметными через мягкую белую ткань темными маленькими острыми сосками, груди, на которой поблескивал серебряный овалчик медальона на тонкой ажурной цепочке.

Танечка подняла длинные руки, обнажив золотистые кудряшки под мышками, грациозно сняла с шеи медальон и протянула Виктору Васильевичу.

"Зачем все это! - думал Виктор Васильевич. - Зачем передо мной эта бесстыдно голая девчонка! Что творится на свете! Весь мир на похоти создан! Боже мой, почему так задуман мир..."

Виктор Васильевич нервно восклицал про себя, а сам, не отводя жадного взгляда, смотрел, как Танечка, покачивая бедрами, шла к воде, а в голове Виктора Васильевича сталкивались мысли: "Да как же так может время из ничего создавать шедевры?!"

Останься пеной, Афродита,
И словно в музыку вернись!

Но мысли Виктора Васильевича прервала жена, когда шумно вошла в пруд и вскрикнула.

Виктор Васильевич потрянул головой и взглянул на толстые руки, на оплывшую грудь в огромном ситцевом лифчике, на большой мягкий живот, погружающийся в воду...

Холодный пот выступил у Виктора Васильевича на спине, он почувствовал себя круглым неудачником, ничтожеством, подчинившимся этой крикливой бабенке, которая подавила в нем, как ему казалось, самостоятельность.

Виктор Васильевич, как человек внезапно испуганный, сунул в карман медальон, в долю секунды заметив изображение какого-то святого на нем, ничего не говоря, повернулся, схватил сандали и пошел по тропе к насыпи.

Поднявшись на нее, он, стараясь успокоиться, тщательно выдул пыль из сандалий, надел их и застегнул ремешки. Даже не заметил, что поднялся босиком по щебенке.

Пронеслась над головой с хриплым покрикиванием стая дроздов.

Вдали послышался шум поезда, металлический лязг вагонов. Виктор Васильевич с волнением смотрел в ту сторону, откуда покатился тепловоз, и продолжал сидеть на рельсе.

Тепловоз был еще достаточно далеко, но уже чувствовалась его стальная мощь, рельсы, шпалы и сама насыпь тихо вздрагивали.

Ветерок дул с пруда, доносил запахи воды и водорослей. Пруд этот никто не чистил, и вода в нем была желтой, болотной.

Виктор Васильевич поежился, закусил до боли губу, нервно сжал кулаки, так что ногти впились в ладони, и сполз на шпалы между рельсами.

“А что терять!” - суетливо думал Виктор Васильевич, в страхе поднимая голову и укладывая ее на отполированный до зеркального блеска рельс. Прикосновение теплого металла к щеке было приятным, успокаивающим, и приятной была мысль, что жена оценит наконец, кого она потеряла.

Грохот приближающегося тепловоза нарастал, уже все тело Виктора Васильевича вздрагивало вместе с насыпью. Запахло мазутом и пережженным торфом.

Виктор Васильевич открыл глаза, увидел тепловоз, увидел кусты деревьев по бокам насыпи, увидел хмурое, темно-лиловое облако на горизонте, и всего этого было ему не жаль. Он закрыл глаза и увидел Танечку. Она была укором, навязчивой идеей, тем, что

смогла создать за 15 лет природа, которая работает регулярно, не взирая на настроение, и ваяет свои создания совершенно, чтобы затем разрушить их.

Так он, Виктор Васильевич, младший научный сотрудник НИИ, разрушит себя чуть раньше.

Визг тепловозного гудка оглушил Виктора Васильевича, грохот потряс, он, унимая дрожь, плотнее прижался щекой к рельсу, не размыкая глаз. Минута, еще мгновение - и все.

Баста!

Виктор Васильевич слышит тяжелый, грозный перестук колес, он видит колесо, которое касается его лба, он...

Виктор Васильевич открыл глаза, увидел в десяти метрах тяжело остановившийся тепловоз, услышал надрывной, страшный голос машиниста, различил бегущие, хрустящие щебенкой шаги, но оставался неподвижен.

Крепкие руки вцепились в его рубашку, больно обожгло шею, рубашка с хрустом треснула. Его подняли, с криками толкали в спину, заталкивали и затолкнули в кабину тепловоза.

- Ты у меня... в тюрьму сядешь, подонок! - кричал горбоносый машинист с мучнистой бледностью на лице.

На разъезде Виктора Васильевича все с той же руганью сдали пожилому усатому дежурному милиционеру. Пришлось говорить неправду, де-мол, приступ сердечный сделался.

Когда Виктор Васильевич вернулся, жены и Танечки еще не было, он быстро, как будто кто стоял за спиной и понукал, начистил картошки, прокрутил через мясорубку мясо, слепил и поджарил котлеты. Затем удовлетворенно взглянул на себя в зеркало и улыбнулся.

ОКНО

рассказ

Аня очнулась от стука в дверь, потому что колотили так настойчиво и мощно, что дверь не выдержала, затрещала и вывалилась из коробки.

На пороге стоял коренастый старик в черной шинели до пят. Лица Аня не разглядела, далеко оно находилось, это лицо. Черная шинель выпустила из рук деревянную бабу, которой проламывала дверь, и втащила в мерзлую комнату продолговатый ящик на веревке. На ящике висели сосульки. Черная шинель приблизилась вплотную к кровати, и Аня увидела рябое толстое лицо с рыжими усами.

Старик остановился перед нею, показал белые острые, как гвозди, зубы и прохрипел, что его можно называть просто дядей Иоахимом.

От имени этого сердце Ани сжалось, страшная догадка промелькнула в голове.

“В Петрополе прозрачном мы умрем...”

Она разглядела в торчащей огненно-рыжей шевелюре ребристые серые рога, похожие на рога горных козлов, которых она вечность назад видела в зоо...

Аня зашевелила руками, стала натягивать на себя тряпье и увидела на белом от инея мраморе подоконника горячую буханку хлеба.

Пахло подрумяненной корочкой.

Аня всегда была голодна, но не так, как ныне. Прежде она хоть что-то съедала за день. А уж сухарь из мякины - обязательно. Нет, ей нельзя думать о нем.

Аня подошла к окну, боязно притронулась к блестящей корке хлеба, сладостно втянула в себя хлебный запах, ржаной, сочный, самый лучший на свете.

Кто бы мог принести ей этот хлеб, подумала она и оглянулась. У зеркала сидела на стуле ее мать и расчесывала частым гребнем густые волосы.

- Я тебе говорила, что нужно было ехать на Урал. Вот теперь одним хлебом питайся.

- Да что ты, мама, хлеб лучше всякой еды.

Аня стала разрезать буханку, из-под ножа послышался странный ноющий писк: “пи-пи-пипи-пипи-пи...” Да это же не нож. Это ключ! Возле печки пристроен. А по побелевшей дымоходной трубе проносятся этот писк. Молоденький лейтенант сидит у печки и постукивает ключом. Это же лейтенант Михальцов! Она сразу узнала его. Для него эти “пи” были симфонией. Как он только в пиканье этом разобрался. Она стояла на пороге штаба и смотрела на лейтенанта, который склонился над столом у рации и выстукивал морзянку.

- Аня, садись, попробуй! - добродушно сказал лейтенант Михальцов и положил руку на ее плечо.

Она резко отстранилась, Михальцов смущенно кашлянул.

Когда Аня впервые попала в эту комнату, уши ее заложило от писка. И теперь этот писк звенел в голове.

Аня раскрыла глаза, в комнате было темно, окно задраили, как люк в танке. Иоахим посапывал в черном углу. Это посапывание в холодной тишине напоминало писк. Не такой, разумеется, как от ключа, но... Да это же от мороза дуновения, от дуновения балтийского дымоходная труба потрескивает со звоном, догадалась Аня, и слабость нахлынула на нее, лишь где-то далеко-далеко продолжался писк, пока не смолкал, но по мере погружения в болезненный, голодный сон, писк стал возвращаться, а вместе с ним и лицо лейтенанта Юры Михальцова предстало перед Аней.

Удивленные глаза лейтенанта и сейчас внимательно смотрели на оцепеневшую в ледяной кровати Аню. Иоахим пошевелил плечами, поднял воротник шинели. Аня съежилась.

Долго, очень долго лейтенант Юрий Михальцов, опухший от голода и ослабевший, колотил в эту дверь. Ребра можно считать, когда он взглянул на себя в бане. А сердце и мозг работают неплохо. Конечно, голова кружится, особенно когда нагибаешься. Тогда чувствуешь себя в тупике каком-то.

В бане чуть лоб не расколотил о каменную скамью, когда склонился к шайке. Красные круги поплыли перед глазами. Такие же

круги плыли, когда он раздевался на лавке в предбаннике. Нагнулся, чтобы разуться... Затошнило, желчь в рот полезла. Правильно, что Аня не пошла с ним, потому что мокрый воздух пах мертвечиной. Раньше Михальцов не замечал этого запаха, а тут с желчью ощутил, откинулся к стене и вздохнул глубоко.

Люди толкуются. Не люди - тени от людей. Глаза у всех потусторонние, как у рыб. Мужчины и женщины тут же раздеваются.

Одна женщина, как парализованная, все узел свой затянуть не может. Стоит, как смерть, голая, венозная перед Михальцовым и вяжет узел. Михальцов спросил вяло, зачем узел-то здесь вязать. А она шепотом еле выговорила, что упрут одежду. Да кому нужна ваша "одежда", когда тут не до нее. Тут бы могильную вонь, да вшей смыть со своих костей.

Инерция боязни воровства. А тут не люди, а время-вор ворует!

Михальцова вновь затошнило, он едва поднялся с лавки и, покачиваясь, как пьяный, стал протискиваться меж скользких желтых тел в банное отделение.

Он глотнул горячего воздуха и ему полегчало. Встал за какой-то скелетной теткой в очередь за кипятком. За ним занял сморщенный, с мутными глазами старичок. Стоял за Михальцовым, прикасаясь холодной шайкой к нему, и все бубнил о том, что последняя стадия ада идет, потому что еще и ходим, а уж женщину от мужчины отличить нельзя.

Но горячая вода разгоняла печальные думы. Легче от нее делалось. И женщины мытые прозрачными какими-то становились. Добрые такие женщины. Люди. Не было потому что уже мужчин и женщин.

Оставались лишь люди.

Он нащупал дверь рукой, поднял лом и в темноте коридора стал долбить ее. Проломил. Смотрел в пролом, но ничего не видел. Нашупал в нагрудном кармане гимнастерки коробок. Пальцы от мороза не слушаются. Кое-как, сломав пяток спичек, чиркнул. Желтый лисий хвост огонька метнулся в щель, и Михальцов увидел кровать. Горы тряпья заиндевелого возвышаются, как сугроб на улице.

...А потом наступила весна, и она воевала за нас.

Ехали по пустынным улицам. Солнце светило в кабину и приятно было жмуриться, когда луч, как женская ласковая рука, скользил по лицу.

Шофер Сукочев, узкоплечий, с впалой грудью, с голубыми навывкате глазами и очень длинным носом, притормозил, потому что перед машиной прошла колонна моряков.

И тут взвыла сирена, пронзая до кишок каким-то металлическим звуком.

- Давай во двор! - крикнул Михальцов.

Сукочев с ходу крутанул налево и въехал под арку какого-то двора. Заглушил мотор, откинулся на спинку сиденья.

- Опять прилетел, - мрачно сказал Сукочев.

- Ты патефон никогда не чинил?

- Нет...

- Аня просила...

- К ней что ли заедем?

Михальцов кивнул и вспомнил тот день, когда долбил дверь, когда спас Аню и своего ребенка, который уже жил в ней. Ребенок, даже еще не ребенок, а то, что постепенно должно было стать ребенком, не умер в Ане, несмотря на то, что она сама была на краю гибели.

Сукочев положил обе руки на руль, уперся в них подбородком и заметил в глубине двора возле кирпичного сарая под железной лестницей какую-то рухлядь.

- Пойду гляну, - сказал он, - может, что ценное есть.

Он хлопнул дверцей и направился через длинный двор к куче у стены, на которой было выведено белилами: "Сдесь становитца воз прещено".

Поржавевшая, но еще целая канистра привлекла внимание Сукочева. Он, подумав, вытянул ее из кучи, обернулся, поднял ее над собой и потряс в руке, но мгновенно застыл, рука с канистрой сама собой опустилась, металлический, режущий воздух стон упал в тишину, дом, под аркой которого стояла полуторка, вздрогнул, как живой, вздыбился и осел в оглушительном взрыве, распадаясь на части.

Облако пыли окутало Сукочева, он упал, ощущая клокочущую боль в ушах.

Когда пыль рассеялась, он увидел канистру и сразу же сообразил, что живой.

И ему стало жаль лейтенанта.

Через какой-то подъезд и окно в нем Сукочев выбрался на параллельную улицу, встряхнул головой, слух вернулся к нему, он, подумав, решил пойти к лейтенантовой Ане, чтобы сказать, что... Или ничего не сказать, а просто починить патефон, де-мол, Ми-

хальцов прислал... Сукочев даже удивился простоте этой мысли. Потом - пусть пришлют бумажку... Он вновь задумался, сел на бортовой камень, закурил. И машину ему было жалко.

Прошло с полчаса, когда Сукочев все же пошел, увидел серый дом, свернул во двор. Здесь должна жить Аня. Он вошел в подворотню, гремя подковками сапог, и вдруг лицо его побелело, он остановился, дыхание прервалось и он закашлялся.

Во дворе стоял лейтенант Михальцов и смотрел куда-то вверх...

Сукочев поднял канистру и пропал под грудами камней.

Ты умер, бомба попала в дом и разнесла тебя в щепки. Ты мертв, но не весь, вздохнуть даже можно. Михальцов набрал полные легкие воздуха и тут же сплюнул. Земляная, песчаная пыль с привкусом старой ваты из матраца лезла в рот, в нос, в глаза, в уши, которыми он ничего не слышал, оглох сразу, не успев испугаться.

Он толкнул дверцу кабины и вылез в темную подворотню. Когда он выбрался сквозь щель в развалинах на улицу, то поразился надежности арки, как архитектурного сооружения.

Михальцов потряс головой, фуражка соскочила с головы, упала на тротуар и, как детское колесо, за которым ребята бегают с крючковой проволокой, подталкивая это колесо, покатила вдоль улицы, поблескивая фибровым козырьком на солнце. Михальцов взглянул на развалины и только в этот момент испугался. Нужно же было шоферу вылезать из кабины! В такой надежной подворотне стояли. Он стоял у развалин и переживал смерть Сукочева.

Когда Михальцов свернул под арку Аниного дома, гул шагов усилился до того, что слух вернулся, Михальцов вошел во двор, поднял голову и увидел распахнутое окно, а в нем - Аню в белом платье, которое когда-то надевала на выпускной вечер в школе. За спиной Михальцова в подворотне кто-то глухо кашлянул, он обернулся.

Пришлось уверовать в чудо.

МАТРОС МИША

рассказ

Последний почерневший лед плыл по реке. Солнце грело полетнему, поэтому Миша работал в одних плавках. На голове его красовалась сложенная из газеты шапка, кое-где заляпанная синей краской.

Миша красил причал.

Он лениво обмакивал валик, закрепленный металлической скобой на длинной палке, ждал, пока краска впитается в щетину валика, так же лениво извлекал его из ведра и, склонившись над краем причала, катал синим цветом по торцевым доскам. В мутной желтой воде, пахнущей глиной и прелыми листьями, видел свое отражение и вздыхал, потому что очень хотелось есть.

На зиму матросов увольняли, так как делать им было нечего. Но желающие могли работать в Нагатинском затоне, однако Миша не был среди них. Он мечтал поступить во ВГИК, чтобы стать кинооператором...

Мечты, мечты!

Самое смешное, что занять денег было не у кого, и не подо что. Ближайшая зарплата - аванс в размере тридцати двух рублей - ожидалась через полторы недели. В разгар сезона матросов подкармливали в передвижной столовой - сером прицепе-фургоне на колесах. Теперь же фургон был закрыт, а до начала навигации - 1 мая - оставалось две недели.

Мише надоело красить, он сел на скамью и стал думать, что бы предпринять. Подобрал несколько бутылок и пошел сдавать...

Открылась навигация.

Слепящая ртутная змея ползла по поверхности реки. Миша в синей хлопчатобумажной куртке матроса речного пароходства сидел на стальном быке причала "Ново-Спасский мост" и, щурясь, смотрел на тот берег. Был воскресный день, пассажиры в ярких

летних одеждах толпились за железной калиткой, ожидая подхода очередного теплохода.

Иногда кто-то из толпы кричал матросу, мол, скоро ли подойдет. Миша не обращал внимания на эти крики, продолжал, не моргая, смотреть на тот берег и краешком глаза следил за чайками, скользящими над водой. Ему, откровенно, надоело отвечать этим бесконечным пассажирам, что интервал движения пятнадцать-двадцать минут. Нетерпеливые какие! Только пришли и сразу же подавай им посудину!

Наконец из-под Краснохолмского моста показался теплоход “Москва-90”, и Миша встал с быка, с наигранной развалочкой прошел по палубе причала. Теплоход, вспенивая воду, сделал круг и причалил. Пацаны-матросы бросили Мише кольцо швартовых толстых канатов, он, привычно уже, накинул их на быки и закрепил морскими узлами. Подтянул за веревку деревянный трап, и пассажиры гуськом потекли на посадку.

Миша, делая лицо строгим, проверял у них билеты, обрывал клетчатый красный хвостик с надписью “контроль”. Некоторые билеты выхватывал целыми, машинально совал в карман и потом, когда теплоход отправлялся, возвращал их кассирше. С нею они наладили повторную продажу одних и тех же билетов, на чем в день Миша имел не меньше десятки.

Едва последний пассажир, какой-то папаша в соломенной шляпе с детьми, сел на теплоход, капитан в белой фуражке с черным околышем, с золотистым “крабом” кокарды, высунулся в открытое от жары окно рубки, подмигнул Мише и пробасил в микрофон: “Отдать швартовы!”. Миша энергично развязал узлы канатов и бросил их на борт. Дизель теплохода взревел, сизый дым выхлопа пошел из двух труб за кормой, вскипела белой пеной вода от винта и теплоход тронулся. Через динамики понеслась песня: “Ах, море, море, волна под облака...” - и где-то под Краснохолмским мостом стихла...

Блондинка со спортивной сумкой окликнула Мишу, он улыбнулся, кивнул и пошел в застекленную будку на причале. Блондинка явилась следом, затворила дверь и опустила шторы, чтобы ее никто не увидел.

- Принесла? - спросил Миша.

- А как же! - Она достала из сумки две бутылки портвейна.

Потом Миша выбегал на причал, выхватывал билеты из рук пассажиров, бросал швартовые и возвращался в будку, где, зало-

жив ногу на ногу, сидела блондинка. К вечеру, когда поток пассажиров спал, Миша, утомленный от вина и лени, посылал “рвать” билеты свою подружку...

На другой день шел дождь. Волны хлюпали у причала, сгоняя к береговому граниту щепки, бумагу, сор. Медленно прошел, наполнив влажный воздух гулом работающего двигателя, речной толкач с мокрым, обмотавшим древко красным флагом на корме. От мощно работающего винта вздымалась мыльная пена, волны косяком расходились по серой воде, с большой силой хлюпали, чавкали под причалом о сваи.

Дождь был до того мелкий, что нельзя было различить его струй, поэтому казалось, что сам воздух соткан из воды.

Какой-то чудак, облаченный в армейский намокший плащ с капюшоном, стоял на противоположном берегу с длинным удилищем и, как памятник, уставившийся навечно в одну точку, смотрел в желтую воду на поплавок.

Дождь зарядил с утра и, по всей видимости, не собирался прекращаться, потому что неба не было видно, ибо вместо неба недвижимо зависли над городом мутные сплошные облака, касавшиеся иногда капюшона рыбака, закрывавшие дома и мосты над рекой.

Миша то и дело протирал тряпкой окна будки.

Из тумана показался теплоход. Покачиваясь на волнах, он стал закладывать круг, чтобы подойти к причалу. Миша распахнул над головой газету и вышел на палубу причала. Теплоход даже не стал швартоваться. Капитан выглянул в окно и крикнул, что вроде бы идет последним рейсом до “Ударника”, а оттуда в затон, потому что ни одного пассажира не увидел по всему маршруту.

Миша печально ответил, что согласен, что нечего в такой дождь жечь топливо, что...

Теплоход отошел, прибавил ходу и скрылся в тумане. А Миша подумал, что хорошо бы все это снять на пленку, и стал мечтать о том времени, когда он будет кинооператором.

ЖИВАЯ ЩЕКА

рассказ

Когда Георгий открыл глаза, ему показалось, что он очень долго лежал на спине в густой тени сирени, на самом деле прошло всего минут пять. Георгий, громоздкий, широкоплечий, смотрел некоторое время на темную листву. Глаза его были грустны и туманно поблескивали. Одет Георгий был небрежно, в рабочие брюки с заплатой на колене, в побуревшую от пота байковую рубашку. На ногах Георгия были очень большие, свободно хлюпающие кирзовые сапоги.

Сквозь неплотную зелень сирени тянулись на серую, поросшую травой дорожку косые солнечные лучи.

Георгий закрыл глаза и тут же ему стало казаться, что он не под сиренью, а где-то в поле лежит на телеге, остановившейся на мгновение, чтобы дальше везти его куда-то, везти по большой и пыльной дороге долго, очень долго. Все время Георгия тянуло уехать, забыться...

Георгий встал, поднял легкую, из титанового сплава лопату и пошел по дорожке, сильно шаркая кирзачами.

У забора Георгий остановился, что-то соображая, затем влез на кучу свежей глины, посмотрел вниз и прыгнул в неглубокую яму. Он копал глину для печи.

Работая, Георгий вспоминал прошлую жизнь, службу в НИИ, ежедневные полуторачасовые поездки в Москву и обратно, в Петровское, где у него был большой, бревенчатый дом в три комнаты и жена, молодая, с удивленными большими глазами и маленьким пухлым ртом. Жена и теперь есть, а дома нет. Год, два, пять, пока Георгий ездил в Москву, Тамара сходилась и расходилась со всеми желающими мужчинами поселка, с умилением прикасалась к рюмке, пока не заболела и не слегла. В тот бурный период Тама-

ра смогла родить Георгию больную девочку с огромной головой и всегда красным, ничего не выражающим лицом. И помимо всего прочего, сожгла дом, догадавшись унести в сарай больного ребенка. Рассказывали, что, когда дом горел, сотрясая воздух почти что реактивным гудением и освещая вечернюю улицу пурпурным светом, Тамара в отчаянном веселье-трансе плясала, дырявила землю острыми каблуками, а потом сбросила туфли и, пытаясь стянуть с себя платье, рвалась в огонь, но соседи удержали...

Георгий остановился, воткнул лопату в каменную глину дна и вытер широкой ладонью высокие, потные залысины. Редкие черные волосы Георгия хохолком нависали над большим лбом. Георгий выбрался из ямы и пошел за ведром...

По дороге Георгий остановился на берегу маленького пруда, долго стоял, о чем-то думая, глядя в одну точку поблескивающими, угрюмыми глазами. Жизнь не должна быть бессмысленной, и если смысл в семье, в детях, то нужно идти домой.

И Георгий пошел, тяжело ступая, словно спустился на землю с облаков размышлений. Справа и слева потянулись серые заборы улочки. У двух высоких, старых, с изъеденными стволами и пожухлой листвой тополей, отбрасывающих негустые тени на разбитые колеи улицы, Георгий свернул к покривившейся, с выломанными рейками калитке, толкнул ее сапогом, она с хлюпающим писком отлетела в сторону. Чтобы не смотреть на то место, где когда-то стоял дом, Георгий торопливо, чуть ли не бегом, прошел в глубь усадьбы, к высокому бревенчатому, врывшемуся в землю сараю. Следы запустения здесь были очевидны: целый лес крапивы обступил сарай, бревна которого подгнили и поросли салатным мхом. Сарай покосился, дверь плохо открывалась. Георгий с силой дернул ручку, дверь нехотя уступила.

В полумраке, на сером дощатом полу сидела больная дочка, раскачивала огромной головой и била куклу об угол табурета. На диване лежала Тамара, щеки ее запали, нос заострился, губы стали тонкими. Одна половина лица ее улыбалась, другая была без движений. Георгий, преодолевая мрачность, подошел к жене и поцеловал в живую щеку. И с этим поцелуем в нем как будто сил прибавилось. Он подхватил дочку, вынес ее на улицу и посадил в плетеное кресло в тени яблони у забора.

- Два медведя Бук и Бак дружно кушают табак! - произнес он село, забывая обо всем, и побежал с пустыми ведрами к колодцу.

ЖИВАЯ ЩЕКА

У колодца в тени орешника сидел на лавочке седой, сгорбленный старик-сосед в мятом и пыльном черном пиджаке с орденом Отечественной войны на лацкане. Старик смотрел бесцветными глазами в газету и изредка вздыхал, шумно выпуская воздух через крючковатый нос. Завидев Георгия, он приложил желтую пясть к виску и сказал:

- Ягору всяняпряменнаяйша!

- Здравствуйте, Николай Иванович! - отозвался громким басом Георгий и принялся опускать гремящее ведро в колодец, из которого приятно тянуло холодом.

- Ягор, тута к тебе прибегал один... Я сказал, что ты нянадалга на работу ушел...

- Это Федор... Сегодня лес должен привезти. Строиться, дед, начинаю!

- Эт-та правильно! - воскликнул старик и уставился, не моргая, на крепко сбитую фигуру Георгия.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

“ГОЖУСЬ ЛИ Я В АРТИСТЫ?”

рассказ

Утренняя птица разбудила Афанасьева стуком в окно. Чистой и прохладой повеяло в комнату, когда он посыпал в кормушку пшена. Синица вспорхнула и отлетела к березе. Лишь после того, как рука скрылась в форточке, вернулась к окну.

Тонкая корка льда, под которой Афанасьев заметил расплавленную, как под стеклом, бабочку подорожника, хрустнула под ногами, когда он, потягиваясь, вышел во двор. Погромел рукой мизинцем, растер желтоватые после сна щеки. Береза, к которой был прикручен рукойминок толстой поржавевшей проволокой, въевшейся в ствол, скрипнула от порыва ветра. Береза была старая, надломленная, она постоянно жаловалась Афанасьеву на свой возраст, на свои мшистые болячки, на бугристый черный нарост, который напоминал горб человека, скрипела, казалось, даже в безветренный день, как скрипели от легкого прикосновения тонкие половицы в покосившемся сарае.

Петух скопил на Афанасьева галочку черного глаза, нахохлился, взмахами крыльев всколыхнул пыль с подсохшей песочной кучи, на которой он, как птица горная, стоял, и прокричал надрывно: “Ку-ка-ре...”, но не закончил фразы, бочком, под горку, выбрасывая вперед и твердо ставя ноги шпористые, важно прошествовал за рябенькой курицей. Афанасьев улыбнулся, запоминая позы, движения, шаг петуха. Он знал, что все увиденное в жизни, ему рано или поздно пригодится...

Но Афанасьев не додумал, потому что на крыльцо, возле которого лежало свежее еловое бревно, выскочила босая Аня, худенькая восьмилетняя сестренка. Афанасьев сел на крыльцо. Аня терла глаза и зевала. Вдоволь назевавшись, почесала тонкими пальцами всклокоченные волосы.

Афанасьев, глядя на нее, усмехнулся, встал, подтянул спадающие черные сатиновые шаровары, в которых ноги его походили на

диванные валики, подскочил к сестре и поднял ее высоко над собой. Она ойкнула гортанно от неожиданности, но тут же залилась смехом, какой возможен лишь у детей.

- Киржачей обыграем сегодня! - Афанасьев прижал к себе сестренку и внес ее в дом...

Футболисты вымесли поле до черноты. За десять минут до конца Булка прострелил с правого края, мяч летел по крутой дуге, Афанасьев выпрыгнул из-за защитника киржачей и головой вколотил под перекладину второй - победный! - гол.

После игры ребята пошли в душ, а он, перекинув мокрые бутсы через плечо, побежал домой.

Мать налила борща и сама села обедать с детьми. Она долго водила ложкой в тарелке, покусывая губы.

Афанасьев взял сестренку за руку, и они пошли в кино. Он шел, поглядывая на деревья, и думал о том, что люди, причиняя друг другу боль, постоянно забывают о движении собственной души, которая стремится угадать даже в обыкновенном петухе частицу таинственного я, которое, в отличие от внешнего мира, уходящего, как эти деревья, всегда за спину... Но дальше этого смутного размышления он не пошел, потому что зрительные образы оттесняли словесные соображения, а именно этих соображений Афанасьеву не хватало.

Первые свернутые липкие листья показали на свет. Пахло прелой прошлогодней листвой, осиновыми дровами, ржавым железом и еще чем-то неуловимым, чем пахнет весна. Эти запахи отвлекали Афанасьева, он посмотрел на Аню, которая шла рядом, бормотала себе под нос какую-то считалку.

После кино они сидели на лавочке и ели мороженое. Афанасьев повторял про себя: “Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой...” Он готовился к поступлению в театральное училище.

В самодеятельности клуба радиозавода он переиграл за шесть лет с десятком ролей. Этот монолог скупого рыцаря никак не лез в него, но Афанасьев долбил его настырно, как записной попугай. Руководительница самодеятельности советовала, что до того, как учить, нужно своими словами пересказать содержание этой вещи, раскрыть образ рыцаря, нарисовать его словесный портрет... Сама руководительница любила всякую таинственность, говорила о движении души, о внутренней наполненности... Слова эти и в го-

лове Афанасьева теперь витали, но он не мог найти для них подпорки осезаемости, чтобы понятия эти можно было увидеть, как вот эту продавщицу мороженого... Вдруг он вскрикнул:

- Выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел!

Сестренка не донесла до рта мороженое, уставилась на него, как на помешанного, спросила:

- Чего ты, Вов?

Он посмотрел на нее так, как будто видел впервые, спросил в ответ:

- Похож я на скупого рыцаря, по-твоему? Аня лизнула кончиком языка мороженое, завела свободную руку себе за шею, ухватила косу и перекинула ее через острое плечо на грудь, скосила на бант глаза, удостоверилась, что он по-прежнему похож на птицу с распахнутыми крыльями, серьезно сказала:

- Нет... Ты не скупой... Мороженое покупаешь, не то, что папка!

Афанасьев принялся вновь за составление словесного портрета скупого рыцаря. Бородка сначала походила на какую-то метелку, которой можно мести улицу, затем представилась щетинистым ежом, пока не пропала... Само же лицо никак не обрисовывалось, скулы то расширялись до монголовидных, то сужались до дистрофического вида, глаза, как медные пуговицы, валились из глазниц, он пытался подхватывать их, чтобы пришить к вицмундиру, но столоничальники разбежались по углам...

Наконец Афанасьеву это надоело, и он переключился с внутреннего на внешнее видение. По главной, прямой, как линейка, улице громыхали разболтанными замками стальных кузовов самосвалы, спешили куда-то. А весна наступала не спеша. Афанасьев подумал, что хорошо бы ему вот так же, не спеша освоить монолог.

- Гожусь ли я в артисты? - вдруг спросил он.

- Годишься.

- Нет, я вправду...

- И я вправду, - подтвердила сестренка.

Она лизнула мороженое.

Афанасьев все повторял, уныло и упрямо, про себя:

"Кто, кто во след за мной примет власть..."

Дома Аня ползала по полу, рассаживала кукол у ножек стола, гроздила какие-то коробочки и скляночки.

- Бабушка, - обращалась Аня к старой кукле, - можно я в гости пойду?

- Куды? - отвечала она по-старушечьи за куклу.

- К дяде...

- Вона, что удумала! - отвечала с причитанием “бабушка”. - Дядька всегда пьян валяется... Не ходи к нему...

- Что эту волюнку про пьяных завела! - одернула мать от швейной машинки. - Чтобы я не слыхала больше! - и стукнула ладонью по столу.

И тут Афанасьев, все еще долбивший монолог, услышал со двора от калитки знакомый хриплый голос. Этот голос пел, если, конечно, можно назвать пением те выкрики, которые, казалось, заполнили собою весь дом. От калитки несло:

А я такой холодный,
Как айсбе-эрг в океа-ане!..

Мать уронила ножницы на пол. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник отец.

Он стоял, покачиваясь, у косяка в грязных сапогах, в жеваном пиджаке, в тельняшке на голое тело, с редколесьем рыжей щетины на щеках, в милицейской фуражке без кокарды.

Мать, ни слова не говоря, с сухими глазами, потому что слез на него не было, шмыгнула мимо вошедшего к соседке, на ходу накидывая платок и сжимая в руке шитье.

С притопами и прихлопами отец прошелся по комнате, оставляя на чистом полу ошметки глины, и завалился на кровать. Афанасьев встал, потом сел, посмотрел на сестру, бросил книгу Пушкина, с которой сидел, на стол, и закрыл глаза. Аня притихла со своими куклами. Отец пошевелился на кровати и крикнул:

- Анька, сыми сапоги!

Аня сжалась и попятилась на коленях под стол. В душе Афанасьева сверкнула молния, а вместо грома по телу пробежала мелкая дрожь. Такое ощущение испытал он однажды, когда соединил оголенные концы проводки, подводя их к новому счетчику, и его дернуло током. Но тогда не было той горечи в душе, того бессилия, которое он чувствовал и переживал теперь.

- Слышь, что ли! - заорал отец, громко икая. Афанасьев, задыхаясь, вымолвил:

- Сам снимай.

Отец вскочил с кровати и, качаясь, подскочил к нему, размахнулся и ударил сына в зубы. Афанасьев осел под стол и услышал, наконец, в душе своей раскаты грома. По подбородку потекла горячая струйка.

В это время отец схватил Аню, поднял и ударил об угол шкафа. Визг Ани вывел из потрясения юного Афанасьева. Он вновь увидел перед собой зигзагообразный сполох, выскочил из-под стола, схватил за ножку табурет и углом его ударил по голове отца. Что-то хрустнуло, то ли дерево, то ли череп. Афанасьев, сдерживая дрожь, бросил табурет и увидел, что отец выпустил сестренку, побледневшую до синевы, и присел. Удар потряс его.

Аня бросилась вон из комнаты. Отец сидел на корточках, как в отхожем месте, зарывался лицом в ладони, словно в подушку, покачивался и дико мычал.

Афанасьев, утирая кровь с подбородка ладонью и поглядывая испуганно на эту кровь, выбежал следом за сестрой...

Ночевали у соседей.

Два урока физики Афанасьев кое-как высидел, а с литературы отпросился. Шел домой и твердил про себя, что теперь он справится с отцом, теперь в нем открылась потаенная сила противодействия, потому что, понял он, нельзя более терпеть этого чужого человека, нельзя пресмыкаться перед ним, потому что он - отец - подавлял самое сокровенное в нем - чувство самостоятельности.

На зеркала луж было больно смотреть, потому что все они отражали солнце. Афанасьев хмуро шел вдоль заборов. Вороньи тени мелькали на асфальте, раздавалось карканье, но Афанасьев не поднимал глаз.

Мать ушла утром на завод. У соседей завтракали и переодевались в форму. За ней ходил сам. Отец валялся посреди комнаты...

Афанасьев подошел к дому, заглянул осторожно в окно. Отца не было. Обошел дом, хрустнула ветка под ногами. Кошка сидела на ошкуренном еловом бревне, очень похожая на филина, такие же круглые, как медяки, глаза с черной прорезью, но, главное, поза - лапка к лапке, уши с шерстяными метелочками торчком, голова гордо вскинута.

Афанасьев облегченно вздохнул, пошел в дом, попил чаю и, оставив портфель у стола, отправился к школе за сестренкой. Афанасьеву казалось, что теперь таинственное движение души ему более понятно, потому что, вспомнив вчерашнее, почувствовал, что душа противится плохому, что она ищет успокоения...

Следом за этим рассуждением в голову пришла мысль о том, что скупой рыцарь не так уж и плох, потому что жалеет деньги не от одной жадности, но оттого, что не хочет бросать их на ветер распуствства сына.

Вечером отец не явился. Все облегченно вздохнули. Долго сидели за столом. Мать поднимала ресницы, смотрела на детей зеленоватыми глазами, вспоминала дедушку Николая, папашиного отца, который всю жизнь, не в пример этому, как сказала мать, и злая искорка блеснула в ее глазах, провел в трудах, дом построил этот. И сейчас” как новый.

Афанасьев заметил грустную нежность на лице матери, когда наступило молчание и она задумалась о чем-то своем. Слышно было, как подвывает ветер на чердаке, как чешется кошка, выставив заднюю лапу пистолетом.

Мать ложилась спать и все повторяла тихо, как молитву, чтобы он не вернулся, чтоб сдох где-нибудь под забором, чтоб упекли его куда-нибудь. Бога страстно просила об этом. И у нее протяжно и мягко ныло в груди.

Ночью разразилась гроза. Стонала, как гибнущая собака, берега, вздрагивал пол, позванивал пересохшим, растрескавшимся деревом потолок, весь дом вздыхал, покашливал. И совсем он не новый, как говорила мать. Сны у обитателей дома были тревожные.

На третий день узнали, что отца забрали с больницу... Афанасьев увидел мать, идущую к дому с работы с двумя тяжелыми сумками. Уголки губ ее так и хотели подпрыгнуть в улыбке, но она сдерживала себя. В душе Афанасьева посветлело, он подхватил сумки и потащил в дом.

В комнате мать открыто улыбнулась, лицо ее разгладилось, исчезли морщины, даже напевать стала: “Живет моя отрада в высоком терему...” Афанасьев посмотрел на нее расширенными глазами, принялся проворно разгружать сумки.

Это настроение матери как-то само собой передалось и Ане. Она прыгала возле стола, расправляла скатерть, помогала носить с кухни тарелки, ложки, вилки.

- Что случилось? - спросил, наконец, Афанасьев.

Мать откинула со лба прядь, выбившуюся из-под шпильки, взглянула на него с улыбкой, сказала:

- Помер наш ирод-то! - и осеклась, и вздрогнула после слов таких, глаза повлажнели, села она на стул и вся затряслась, заходила ходуном.

- Ой, детки мои родненькие... Ой, деточки... Аня, открыв рот, обхватила мать тонкими руками и тоже зарыдала. У Афанасьева похолодела спина, он сжал губы, готовый вот-вот сам, как ребенок, разреветься.

- Отец он вам все ж таки был! - всхлинула мать. ... Хоронили отца быстро и суетливо. Посторонние мужчины в телогрейках вытаскивали гроб из морга и втокнули в милицейский фургон. На кладбище взглянули на распрямленного, мраморного, трезвого отца и сразу же заколотили крышку и опустили гроб в яму.

Афанасьев держал мать под руку. Она комкала шершавыми мужскими пальцами платок, смотрела, не поднимая ресниц, себе под ноги, иногда, правда, протяжно, как бы в забытии, вздыхала. На нее косилась сгорбленная, высохшая сестра отца, старшая, лицо которой казалось вымученно исплаканным.

- Поплачь, бесстыдница! - шипела она. - Муж он тебе все же был! Как не стыдно только людей...

Мать почувствовала открытую ненависть в голосе сестры, не смутилась, лицо ее заострилось, стало жестким, она, вскинув бровь, взглянула на сестру, сказала твердо:

- Не стыдно...

Затем нагнулась и, не обращая внимания на смущенные от ее высказывания покашливания мужчин, подняла мерзлый еще ком глины и бросила в яму. Глухо стукнул он по доскам гроба, как будто кто-то ударил обухом топора по дереву.

Афанасьев взял за руку сестренку и они следом за матерью направились с кладбища. И чем далее они уходили от этого скорбного места, тем чище, казалось Афанасьеву, становилось в его душе, и он уже потихоньку начинал повторять про себя:

... но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство...
Нас уверяют медики; есть люди,
В убийстве находящие приятность...

ПОСТУПОК

рассказ

Семнадцатилетняя Зина останавливается, как бы приходя в себя после долгих раздумий, преследовавших ее пока ехала в поезде и шла от станции, и смотрит удивленными глазами на светлую, желто-изумрудную листву маленькой березы на фоне темно-зеленой ели с густыми, резко пахнущими хвоей ветвями, начинающимися прямо от земли. Зина понимает, что цвет только тогда бросается в глаза, когда оттеняется другим цветом. За березкой, белой полосой тонкого ствола разрезающей густую хвою, поднимается над небольшой елью другая ель с еще более темной окраской, за елью ветвисто, широко простирает мозговитую крону дуб. Боковые лучи солнца просвечивают верхние, волнистые по каемке листья, они шелестят в слабом ветерке и изредка вспыхивают малахитовым, светящимся огнем.

Зина опускает глаза, вздыхает и медленно идет по черной тропе через лес, который стоит на торфянике. Когда-то за эти земли бились, не щадя главы, удельные русские князья и называли эту землю ополем. Глядя на елки и ели, на березы и дубы, на кусты орешника и бузины, Зина думает о том, что и как она скажет родителям, будут ли они ругаться или благосклонно промолчат.

Лицо Зины, узкое и длинное, с едва заметными веснушками, кажется бледным в обрамлении густых темно-каштановых волос, спадающих жесткими локонами на плечи, как гроздь винограда. Талия в контрасте с широкими, крепкими, как у пловчихи, бедрами выглядит столь хрупкой, что кажется, вот-вот хрустнет и надломится. Зина высока, руки ее так же бледны, как лицо, и на них заметна веснушчатая сыпь.

Зине кажется, что она совершила поступок, достойный уважения: забрала документы с факультета автоматизированных систем управления и перебросила их в художественное училище. Все это она проделала быстро, пока отец, завкафедрой АСУ, в отпуске, на даче.

На мгновение остановившись перед ручьем, через который переброшена железнодорожная промасленная шпала, кое-где подгнившая, Зина вслух восклицает альтом:

- Не всю же жизнь им подчиняться!

От ручья пахнет укропом и стиранным бельем. Ручей течет со стороны дачного поселка, вода в ручье мыльно-синего цвета. Зина приглядывается к осоке, склоненной к воде, к высоким зонтичным дягилям, к зарослям дикой малины и крапивы. Назойливо пищат комары. Тут и там виднеются ржавые консервные банки, пробки из полиэтилена, обрывки газет, скомканные пачки из-под сигарет, битые бутылки... Привал вандалов.

Зина с грустью вздыхает и идет, покачиваясь, по шпале. Над головой твердо кричит дрозд: "крышу крро-рою!"

Когда Зина приходит на дачу, родителей не оказывается, но дверь не заперта, видимо, ушли купаться на озеро. Зина облегченно вздыхает, прохаживается по прохладной террасе, хватая из вазочки конфету, быстро съедает, берет еще две и тоже быстро съедает, изредка посматривая на себя в зеркало. Зина думает о живописи, все в ней сливается в прекрасное ощущение счастья. Взяв с полочки флакон с духами, Зина свинчивает золотистый шарик, прислоняет к горлышку длинный палец с острым бордовым ногтем, трясет флакон и затем водит пальцем за маленьким белым ухом. Глядя на себя в зеркало, она сначала пучит глаза, затем делает лицо усталым, как у все повидавшей, угрюмой, нервной женщины. Но тут же растягивает розовые детские нежные губы в улыбке, обнажает ровные, крепкие, очень белые, как сметана, зубы, высовывает острый язык и громко смеется.

От духов, от ощущения счастья и предчувствия чего-то очень светлого, непонятного и волнительного Зине становится вдруг душно и у нее кружится голова. Она небрежно запускает бордовые ногти в пышную прическу, вздымает волосы, подпрыгивает и, напевая, сбегает с крыльца в сад.

Доносится скрип калитки, Зина вздрагивает, оборачивается и видит маму в широком халате с полотенцем на шее. Влажные волосы ее разбросаны по плечам, в глазах, чуть-чуть красных после купания, добрый свет. Мама всплескивает руками и, шлепая резиновыми тапочками, бежит к дочери.

- Милочка моя, - после объятий говорит мама, - что же ты ставляешь себя ждать? Судя по тому, что ты говорила, мы с Владиславом Евгеньевичем ожидали тебя в пятницу!

ПОСТУПОК

Владиславом Евгеньевичем мама называет мужа и отца Зины. И это столь торжественное именование, привычное для Зины, теперь почему-то вызывает целую бурю негодования. Зина покрывается малиновыми пятнами, отшатывается от мамы и срывающимся голосом кричит:

- Не называй, пожалуйста, так при мне отца!
- Зиночка, что за тон?! - обрывает ее мама.
- Ничего! - бросает Зина, бежит через террасу в свою комнату.

В комнате солнечно, густая тень от высокой фигуры Зины скользит по паркету, мелькает в огромном зеленоватом зеркале и застывает на голубых обоях возле небольшого, в рамке, чернобородого портрета Поленова. Зина обхватывает голову руками и закрывает глаза. Весь мир ей кажется состоящим из Владиславов Евгеньевичей и мам. В комнате пахнет теплым деревом и полыню, букет которой стоит в большой глиняной вазе на полу.

Слышится стук в дверь и голос, уже спокойный, мамы:

- Зина, есть хочешь?

Зина мгновение молчит, опускает руки с головы на плечи, крест-накрест, и ведет их вниз, к талии.

- Спасибо, мама, я пока не голодна, - поддельваясь под спокойствие, отвечает Зина и рывком, взлохматив волосы, стягивает с себя майку. - Я схожу искупаюсь...

Слышатся удаляющиеся от двери шаги мамы. Зина оборачивается и видит в зеркале свое веснушчатое тело, зло стискивает зубы, копается в ящике шкафа в поисках купальника, а найдя его, долго стоит и опять смотрит на себя в зеркало...

Встретившись по пути на озеро с отцом, профессором Владиславом Евгеньевичем, высоким, худым, лысеющим, Зина сжимается, бледнеет до синевы и под пристальным взглядом отца начинает под детски, навзрыд, плакать еще до того, как признаться в содеянном. Отец гладит ее по голове холодными пальцами, о чем-то догадывается, но считает целесообразным благосклонно промолчать.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ОСТАВЬ СЕБЕ

рассказ

Красный свет от проявочной лабораторной лампы осветил круглое лицо Вацлава Подъяпольского. Он задумчиво почесал кудрявую голову и уставился немигающими глазами в ванночку. Белая фотобумага казалась в проявителе розовой, такими же розовыми были длинные пальцы, шевелящие бумагу. Подъяпольский работал без пинцета. Наконец на бумаге проступили лица, костюмы, фон и трафаретная надпись: “На долгую память о Москве”.

Подъяпольский торопливо извлек фотографию из проявителя, бросил ее под струю воды, а затем в широкую ванну с фиксажем. В лаборатории было тесно и душно. Подъяпольский торопился, печатал с мокрой пленки, которую можно бы было подсушить в спирте, но тот весь вышел еще в начале квартала.

Через час все было готово, вспыхнул верхний свет, ослепивший на мгновение, Подъяпольский зажмурился, а когда открыл глаза, увидел густую тень от своей лохматой, кудрявой головы на белой дверце холодильника и понял, что эта голова все еще болит. Подъяпольский подставил под холодную струю прозрачную мензурку, наполнил до половины и залпом выпил воду с привкусом хлорки.

Вацлав Подъяпольский был высокий, расположенный к полноте, с уже заметным брюшком, двадцатилетний молодой человек, с пухлыми щеками, толстым носом и большими, всегда удивленными глазами. Когда-то отец, директор НИИ, устроил его к себе в фотолабораторию, намереваясь далее определить сына в институт учиться. Но Подъяпольский учиться не пожелал, ударился во многие халтуры, которыми и доньше занимался. Отец в начале года умер, но новое начальство смотрело на деятельность сына сквозь пальцы, сохраняя в сердцах своих благодарную память об отце.

У здания НИИ Подъяпольский некоторое время постоял, как бы давая возможность окружающим посмотреть на него. Стоял от твердо, широко расставив ноги, уперев руки в боки, чуть-чуть склонив гривастую голову и, не моргая, смотрел куда-то в даль улицы. Это называлось - Подъяпольский показывает наряды. На нем были узкие вельветовые джинсы с великобританским флагом на заднем кармане, добротные, из чистой кожи мокасины на высоком каблуке и с золотыми пряжками, эластичная голубая куртка на широкой пластмассовой "молнии" с канадским красным кленовым листом на нагрудном кармане и золотым вензелем на другом, через плечо переброшен на длинном желтом поясе кофр для фотопринадлежностей, а на самом поясе кофра выделялись черные шелковые буквы по желтому полю "Никон".

- Привет, Вацек! - махнула ему рукой из открытого окна красавица-секретарша директора с неимоверно длинными, до обтянутых джинсами ягодиц, густыми рыжими волосами.

- Мульти вчера не смотрела? - крикнул он низким, басовитым, все еще ломающимся голосом.

- Нет,

- Э, зря! Ээканские мультяшки! - сказал Подъяпольский, притопнул высокими каблуками, раздвинул ноги и скосил глаза на мокасины, как ковбой на шпоры перед посадкой на лошадь, и пошел, думая о чем-то неопределенном, к метро...

На площадке у павильона его уже ожидали гости столицы - участники семинара по проблемам разведения нутрий. Завидев Подъяпольского, они восхищенно воскликнули:

- Вот это оперативность!

Подъяпольский небрежно бросил кофр на речную скамью в тени сирени, извлек из него толстую пачку глянцевых контрастных фотографий и, передавая поштучно каждую из них "заказчи-кам", желтыми от проявителя пальцами с длинными ногтями, принимал рубли, лениво комкал их, как фантики от конфет, и засовывал в тесный карман джинсов.

Не было дня, чтобы Подъяпольский не подхалтуривал у какого-нибудь павильона. То он снимал льноводов, то механизаторов, то коневодов, то доярок, то рыбаков, то комбайнеров, то птичниц, то кролиководов... И пока они обменивались в залах передовым опытом, Подъяпольский успевал сгонять к себе в НИИ, проявиться и отпечататься" и благополучно вернуться к окончанию семинаров...

Реализовав очередную партию снимков, Подъяпольский сидел в дальней аллее у фонтана, смотрел на голубовато-дымчатые брызги, на стриженный изумрудный газон, на высокие, ветвистые дубы с почерневшей корой и думал о том, куда ему теперь пойти. Пахло жасмином. Где-то над Подъяпольским, в кустах, копошились шумно воробы, легкий ветер сдувал пыль с дорожки и закручивал воронками.

Проходя мимо детской игровой площадки, Подъяпольский на мгновение задержался, а затем проворно влез следом за каким-то карапузом в панаме на металлическую горку и с восторгом съехал вниз. У киоска игрушек Подъяпольский заметил длинную очередь, ускорил шаг, протиснулся сквозь толпу к витрине, моргнул продавщице, зашел с той стороны, уплатил 25 рублей и пять сверху и сунул не без удовольствия в кофр электронную игрушку “Ну, погоди!”.

Около полутора часов он сидел на скамье у пруда, по которому сонно плавали кряквы и черный, красноклювый лебедь, и увлеченно, с восторгом ловил куриные электронные яйца, нажимая на маленькие кнопки игры. Подъяпольский не заметил, как к нему подседа маленькая девочка с огромным бантом и, не отрывая глаз и не моргая, следила за игрой и, посасывая палец, прислушивалась к шарманочной музыке, исходившей из коробки.

- Что, зканская вещица?! - восторженно спросил Подъяпольский, когда обратил внимание на девочку, на ее светящееся, доверчивое лицо.

- Ессе ба! - вымолвила та, и ее карие, неморгающие глаза жадно заблестели.

- Держи! - спокойно и твердо сказал Подъяпольский и протянул девочке игру.

Девочка вцепилась пухлыми, маленькими пальцами в плоскую катулочку и задрожала от восторга. Подъяпольский потянулся, удовлетворенно вздохнул, поднялся и пошел вдоль пруда.

- Дяинька, а игыюшка?! - услышал он тревожный возглас девочки.

- Оставь себе.

- Так нейзя.

- Ты здесь часто гуляешь? - ласково спросил Подъяпольский.

- Да.

- Я тоже часто... Отдашь как-нибудь...

Девочка удивленно посмотрела на него, но затем страсть к игре переборолась, и, когда Подъяпольский уходил, заметил, что она уже умиленно давит пальчиками на кнопки.

У лодочной станции к Подъяпольскому подошел небритый, помятый парень, кивнул и вежливо попросил:

- Вацек, дай троячок, что ли... Подъяпольский сосредоточенно начал копаться в кармане, но руку не вынимал.

- Наудачу, сколько будет. Идет?!

- Идет, - промычал, сглатывая слюну, парень. Подъяпольский выдернул руку из кармана и сунул комок мятых рублей парню. Тот суетливо расправил бумажки, которых оказалось семь.

- До пятого? - пробормотал он неуверенно.

- Ладно, - равнодушно согласился Подъяпольский, замечая, как к ним подходит милиционер.

Милиционер потер черные усики тыльной стороной ладони, затем улыбнулся и протянул руку сначала Вацеку, потом парню.

- Будешь? - спросил парень у милиционера.

- Ща сменюсь... Возьми... Ты белое будешь?

- Не, красницкого... Мне завтра с утра заступать, - сказал парень, который, как и усатый, работал в милиции.

Подъяпольский не спеша, любясь белыми, алыми, бордовыми розами, терпко пахнувшими, направился к выходу, оставив милиционеров решать свои проблемы самостоятельно...

Когда Подъяпольский поднимался в лифте, то уже весь был поглощен предстоящим просмотром мультфильмов по второй программе. Дверь открыла домработница Виктория Николаевна, худощавая, сдержанная женщина лет пятидесяти.

- Не начались? - торопливым баском спросил Подъяпольский, отстраняя ее и вбегая в огромную прихожую с хрустальной люстрой и зеркалами вдоль стен.

- Я не включала... Обед подать в гостиную или в столовой поешь?- спросила Виктория Николаевна мягким голосом.

- Тащи к телеку! - послышался из глубины квартиры голос Подъяпольского, который тут же заглушил звук телевизора.

После мультфильмов, когда Подъяпольский лежал на широкой софе, вошла мама и прошептала:

- Она пришла! - и кивнула в сторону прихожей.

- Ну, мама, опять... Вчера ты заставила меня с какой-то чучелой выпить целых три рюмки коньяку, отчего у меня все утро голова трещала! Сегодня еще кого-то там привела!

- Вацек, это не девушка, а чудо! - затараторила мама, понижая голос.- Вот увидишь...

И через некоторое время, когда завязал галстук, Подъяпольский увидел новый мамин экземпляр, уверенную в себе, с тонкой талией и белыми руками девушку, которая смело поглядывала огромными зелеными глазами из-под пушистых ресниц на Подъяпольского.

- Мульти любишь?! - без церемоний спросил низким своим голосом Подъяпольский.

- В каком смысле? - девушка недоуменно пожала плечами.

- В каком-каком? В прямом...

- Нет. Я вообще не люблю смотреть телевизор, - произнесла девушка, и лицо ее покрылось красными пятнами.

Подъяпольский поглядел на нее, на зеленые глаза, на красные пятна на лице, на белые, в венках, руки, подумал и ничего не сказал. Наступило молчание. Подъяпольскому хотелось вспомнить хоть одно девичье лицо, которого еще не коснулась рассудочность и самоуверенность, но как он ни напрягал свою память, вспомнить не мог. Постояв немного, Подъяпольский вздохнул, как вздыхают дети, когда их обманывают, покачал большой кудрявой головой, сделал лицо сердитым и пошел мимо ничего не понимающей девушки в ванную.

Когда он раздевался, чтобы лечь в воду, то все время смотрел в одну точку, ему все еще хотелось вспомнить какое-нибудь непосредственное, доверчивое девичье лицо и, наконец, когда он ложился в наполненную ванну, вспомнил, вспомнил лицо девочки, которой отдал игрушку. Подъяпольский грустно усмехнулся, веки его заморгали и он пустил на голову мощную струю душа. В дверь стучали.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ПРИМИ ЧУЖУЮ БОЛЬ

рассказ

И в нем возникло нечто такое, что можно было назвать легким испугом. Ведь сам Малюгин никогда в жизни не болел столь серьезно, чтобы требовалось ложиться на операционный стол.

Когда щуплый профессор Воробьев, хрустя накрахмаленным, отливающим синевой халатом, взял иглу, такую точно иглу, которой сам Малюгин неоднократно прокалывал вены больных, у него, как говорится, екнуло сердце и он едва заметно побледнел.

Он увидел блестящую бусинку катетера, которая быстро исчезла в проколе иглы, увидел уходящую под кожу мягкую, эластичную, гладкую тончайшую жилку и почувствовал, что тело, помимо его воли, противится этой жилке.

Воробьев сразу же заметил это напряжение и сказал, чтобы Малюгин расслабился. Сказать просто. Малюгин говорил себе то же самое, но лихорадочно пульсирующая плоть не желала подчиняться этим командам.

Малюгин знал, что ничего сложного в этом эксперименте нет, но умозрительное значение, понял он теперь, ничего не имеет общего с тем, что ты лично испытываешь.

Он понимал, что сейчас катетер медленно ползет по сосудам, воспринимает удар крови, гидравлический удар, который регистрируют приборы. Не волноваться, ведь Воробьев, вводя зонд, точно знает, какой уровень давления должен быть, допустим, в правом предсердии, поток крови удерживает и направляет движение зонда в сердце. Но где-то в глубине сознания Малюгина витало: “А вдруг!”.

И у него возникла мысль, что он борется теперь с этим “а вдруг!”, что он борется с инстинктом самосохранения, ибо этот величайший инстинкт сохранял жизнь в таких иногда ситуациях, когда, казалось, все кончено.

Лежа на столе, Малюгин выполнял собственную программу: прислушивался к своим ощущениям, чтобы в дальнейшем их подробно описать, следил за тем, чтобы неловким движением не изменить положения электродов, фиксирующих функциональное состояние организма, чтобы не вызвать смещения зонда в сердце. По команде профессора Воробьева садился, вставал, крутил велоэргометр и так в течение трех дней...

На языке медиков этот эксперимент назывался: "Исследование гемодинамики человека при различных функциональных состояниях".

Он и лег в основу диссертации Малюгина.

За работой он не заметил, как охладевала к нему жена, вернее, сам он перестал обращать на нее внимание, а если она с чем-нибудь обращалась к нему, он кричал, чтобы не мешала. Однажды она не выдержала и ушла к матери. Малюгин вздохнул свободно, одержимо ушел в работу и понял, что жена была обузой.

После защиты диссертации сидели на поляне в тени березы. С этой поляны кто-то еще несколько раз бегал в магазин за подкреплением, пока, наконец, мир не сомкнулся в узкую щель, в которой Малюгин пытался что-то разглядеть, направляясь куда-то.

Он пытался в метро добраться до "Юго-Западной" или до "Беляева", откуда ходил до улицы Академика Варги автобус, но никак Малюгину не удавалось попасть на эти станции, потому что в вагонах он садился и сразу же засыпал, уронив черный чуб в ладони. Просыпался где-то на "Ждановской", на "Преображенской", на "Речном вокзале" и везде его осторожно будили пассажиры, он вываливался на платформу, продирая глаза и, обнаруживая, что опять не туда попал, садился в поезд, который шел в обратную сторону.

Малюгин был подобен слабому стрелку, который со многих попыток никак не может угодить в мишень.

Наконец он обнаружил себя на какой-то открытой платформе в Измайлове, потому что проснулся и выскочил из вагона из-за нетерпения, зашел за какую-то колонну и справил малую нужду. Покачиваясь, вышел из-за нее и попал впросак, то есть был ухвачен за руку дежурной по станции. Она приставила" как гильзу губной помады, ко рту свисток и переливающаяся трель понеслась над платформой...

Тусклый свет лампочки упал на лицо Малюгина сквозь зарешеченное маленькое окошко, прорезанное в верхней части обитой

железом двери, и Малюгин проснулся. Взглянул на это окошечко, поморщился, ощутив боль в предплечье и в правом боку. Пока он ощупывал себя, не понимая, где он и что с ним, дверь лязгнула и отворилась.

На пороге стоял сержант с хмурым, невыспавшимся лицом. Малюгин с улыбкой непонимания поднялся с топчана и молча уставился на сержанта. Прикрыв глаза от света ладонью, Малюгин пытался вспомнить, что же с ним произошло. Но далее защиты диссертации и живописной поляны воспоминания не шли. Однако сержант с помощью капитана напомнили обо всем, зачитав подробный протокол, и дали подписаться Малюгину под ним. Слова Малюгинских извинений, говоримые им с искренностью, не подействовали.

Сержант доставил Малюгина в районный суд, передал протокол черноусому молодому человеку и удалился. Молодой неказистый человек, оказавшийся судьей, без всяких там торжественностей и церемоний, присудил за хулиганство Малюгину десять суток ареста.

- А еще врач! - назидательно сказал судья и с нескрываемой безразличностью отвернулся.

Сердце Малюгина в столь плачевных обстоятельствах вздрогнуло, ноги налились свинцом...

Фургон миновал границы Москвы, сделал правый поворот и по извиляющейся асфальтированной дороге подъехал к воротам. Был теплый летний вечер, но на душе кандидата медицинских наук Малюгина лежал лед, не тающий даже от некоторого оптимизма, что все, мол, перемелется...

Он вошел вместе со всеми в двухэтажный желтый барак и оказался в длинном широком коридоре с дощатым, поблескивающим мастикой полом. Малюгина распределили в правое крыло барака" в угловую, напротив столовой, вонючую камеру - шестнадцатиметровое мрачное помещение с небольшим зарешеченным окном. Справа и слева от узкого прохода, упиравшегося в зеленую обшарпанную батарею отопления, в два этажа располагались настилы - "нары", предназначенные для пяти - семи человек каждый. Настилы были окрашены в скучный коричневый цвет, который нагонял и без того сильную тоску.

В камере уже находились арестанты, "старика", которые довольно весело встретили пополнение. Поскольку нижние нары были заняты, потому что, как потом выяснил Малюгин, там дыша-

лось легче, он забрался на верхний настил справа и втиснулся между каким-то обросшим серебристой щетиной стариком и молодым парнем с перебитым лиловым носом.

Старик дремал, а парень тут же принялся расспрашивать Малюгина о том, за что он попал. Малюгин, задыхаясь с непривычки в смрадном воздухе камеры, довольно-таки невнятно что-то рассказал, потому что стыд не позволил говорить правду. Вроде бы за драку, сказал Малюгин. Сердце предательски сжалось, хотелось провалиться сквозь нары, но парень отвлек его своим рассказом о превратностях судьбы, то есть о том, как он “загремел”. После сандуновских бань “поперлись”, как говорил парень, в ресторан “Узбекистан”, “шикарно” посидели, “как купцы”, и он, как купец, молча вышел в фойе и перебил все зеркала.

Малюгин тяжело вздохнул и покачал головой, парень это заметил и, тоже загрустив, сказал, что теперь, наверно, “с работы вышибут”. В Малюгине что-то стрельнуло с резкой болью в голове от этих слов, он отвернулся от парня, накрыл голову руками и смежил веки. Он вспомнил о том, о чем все это время не вспоминал, о своей клинике, об исследуемых больных, о профессоре Воробьеве и даже простонал от этих воспоминаний. Парень толкнул его в бок, забормотал успокоительные слова.

Малюгин приоткрыл глаза и уставился в близкий грязный потолок камеры, вздохнул, думая о своем. Загремел засов, появился надзиратель с красным мясистым носом и грубо повелел слезать с нар, строиться и идти в столовую.

Длинный стол, обитый оцинкованным железом, тусклые засиженные мухами лампы и, пронзительный запах рыбных щей, в которых нельзя было ничего путного выловить, вызывали тошноту. Малюгин схватил кусок горбушки и, сунув ее под нос, часто стал вдыхать хлебный запах. Парень заметил это и сказал, чтобы “не брал в голову”, “все перемелется”, что “привыкнет к хлебову”. Старик, сосед по нарам, хлебал так азартно, что чувство отвращения постепенно схлынуло. Малюгин пожевал хлеб и запил его мутным чаем из алюминиевой, с жирными стенками кружки.

К утру кто-то с нижних нар закрыл форточку, Малюгин чуть не задохнулся в смраде и дыме, потому что кто-то всю ночь курил, хотя курить в камере запрещалось. Малюгин спрыгнул со второго этажа и, не обращая внимания на цыканье прочих, открыл форточку и принялся жадно вдыхать в себя мокрый и холодный ут-

ренный воздух, как будто кто-то только что душил Малюгина. За решетчатым окном шел сильный дождь, капли били по листьям деревьев и они вздрагивали, как больные в бреду.

Когда Малюгин узнал, что их повезут в Москву на работу, то есть представится возможность позвонить в клинику, потому что об этой возможности сказал ему парень, то страх в нем дошел до того, что даже чай не проходил Б глотку, так она заклинилась.

Поеживаясь от холода, дождя и тоски, Малюгин добежал до автобуса, занял место и принялся думать о том, куда ему звонить и что говорить при этом.

Рядом на сиденье плюхнулся парень в теплом свитере, вязаной шапочке, сказал, что он уже звонил “третьего дня” матери и она принесла ему, на всякий случай, теплые вещи, что так же точно может поступить Малюгин, позвонить родным и попросить принести ему все что угодно, то есть из одежды то, что угодно, потому что остальное, даже сигареты “в зоне” отбирают. И нос у парня был кумачово-лиловый, с облупившейся бурой коркой болячки.

Согревшись в теплом автобусе, Малюгин протирал ладонью запотевшее, как в бане, стекло и смотрел, куда их везут. От Савеловского вокзала автобус пробежал по тесному Бутырскому валу и через некоторое время подвез к воротам Боткинской больницы, что Малюгину сильно не понравилось, ибо здесь у него работало несколько знакомых, а он никак не хотел, чтобы его видели в столь пестром окружении.

Тут же парень “спроворил” для Малюгина пару монет по две копейки, вызволив их из ботинка. Малюгин, намокший под дождем, сжимал эти монеты и не знал, кому же ему звонить. Черный чуб влажными прядками прилип ко лбу.

Малюгин стоял под навесом, ожидая вместе со всеми, когда подъедут грузовики с новыми кроватями, которые им предстояло таскать в только что введенный в строй корпус больницы. Малюгин истязал себя и довел до того, что решил, вопреки всяким спасительным соображениям, позвонить в клинику, в Петроверигский, профессору Воробьеву и выложить все начистоту.

Телефон-автомат располагался на лестничной площадке корпуса. Малюгин несколько раз набирал номер профессора Воробьева, но от накатывавшего страха вешал трубку.

Наконец, пересилив этот страх, Малюгин вслушался в гудки.

Когда услышал спокойный голос Воробьева, в Малюгине возобладало мужество, и он рассказал профессору, что за справленную малую нужду прямо на станции в пьяном виде он арестован на десять суток.

После долгого молчания профессор Воробьев сказал, что он “ошарашен” сообщением, об остальном же - при встрече, и повесил трубку.

От этого звонка Малюгину стало легче. И он, подумав, решил позвонить жене.

Люда появилась, когда Малюгин с парнем снимал с машины очередную железную сетчатую кровать. Малюгин увидел жену, красивую женщину с розовым зонтом над светлой головой, сердце замерло, а в голове мелькнуло - да ведь она была моею. Малюгин выпустил кровать, парень от неожиданности вскрикнул, потому что кровать, ударившись об асфальт, задела и его по ногам, обернулся в ту сторону, куда смотрел Малюгин, и увидел высокую, с тонкой талией и большой грудью женщину.

Везет же людям, подумал парень, когда Малюгин подошел к ней, таких жен имеют, а дурака валяют, вот бы мне, подумал парень, такую жену, я бы ради нее был бы самым лучшим человеком на свете.

Он бросил кровать и закурил, но на него крикнул милиционер, сопровождавший их, однако парень извинился и, дождавись какого-то алкаша, потащил вместе с ним кровать в корпус.

Малюгин, ничего не говоря, взял Люду под локоть и повел ее в беседку за деревьями. Люда с какой-то поразительной улыбкой смотрела на него, пока не расхохоталась. Малюгин смущенно провел ладонью по небритому” посиневшему от холодного дождя подбородку.

Малюгин, не стеснявшийся этой женщины никогда, даже в тот далекий день, когда хладнокровно овладел ее красотой впервые, еще сильнее смутился и не мог поднять на нее глаз. Люда будто бы уловила в нем эту перемену, поставила вместительную сумку, которую до этого держала в руках, на скамью беседки, открыла “молнию” и достала нейлоновую куртку с капюшоном. Малюгин, еще не надев эту куртку, почувствовал, что ему стало теплее. Вслед за курткой Люда извлекла ботинки и свитер, а затем со дна - полиэтиленовый пакет с бутербродами.

Малюгин облачился в принесенные вещи и, все еще боясь взглянуть в глаза Люде, молча жевал, давая, бутерброды с ветчиной, в которые были вложены ярко-зеленые веточки петрушки и

укропа. Малюгин боялся прервать это жевание, чтобы не дать волю чувствам, так ему вдруг сделалось плохо.

Люде, казалось, передалось это состояние тоски и печали, она крутила в руке сложенный зонт и смотрела, не мигая, как с него стекали струйки воды на серый сухой пол беседки.

Наконец, когда рот затыкать было нечем, потому что всю принесенную еду Малюгин съел, он сказал:

- Ведь ты оказалось... ну... одной, которой... кому я мог позвонить...

При этих словах Люда вздрогнула и отвернулась. Она сдерживала себя, опасаясь, что слезы смоят краску.

- Зачем ты мне это говоришь? - спросила она.- Не нужно. Ты был слишком жесток со мной, чтобы теперь так говорить...

Слезы все же выступили на ее глазах. Она достала из маленькой сумочки носовой платок, промокнула их и уже спокойнее сказала:

- Не надо об этом... Лучше скажи, что тебе еще требуется... На вот, возьми платок... А то тебе там утереться, наверное, нечем...

Малюгин взял платок и сразу же почувствовал, что плачет. Он низко склонил голову, чтобы Люда не видела, но слезы капали на пол, как будто это были дождевые капли. Стыд давил душу, особенно сейчас, когда Люда была рядом, та Люда, на которую он раньше смотрел как на обузу, помеху его науке. И от этого воспоминания ему становилось гадко, он тряс головой и всхлипывал. Воловой, черноволосый...

Она прислонила холодную ладонь к его щеке. Он склонился к ее плечу. Люда отрывисто вздохнула и подумала о чем-то неопределенном, давнем, о том времени, когда она была влюблена в Малюгина, ходившего в хлопчатобумажной форме, в того Малюгина, который снился ей ночами и которому она была готова вверить свою жизнь, но чтобы не показывать тогда этого чувства, она делала вид, что ей больше нравятся мальчики в шерстяных формах, мальчики из приличных семей, а не этот безотцовщина, сын уборщицы...

Профессор Воробьев, против ожиданий, встретил Малюгина по-деловому и сразу же принялся листать какую-то новую брошюру о дифференцированном подходе к определению функционального состояния миокарда. Малюгин смотрел в брошюру, слушал Воробьева и все ждал, когда же тот начнет задавать вопросы по существу, но тот не задавал.

Задавал эти вопросы замдиректора клиники по административно-хозяйственной работе, толстопузый веселый человек, страстный любитель футбола и спиртного.

- Культурно нужно уметь пить, а не доводить себя до свинства! - сказал замдиректора и вслед за этим отчитал для острастки. Отпустив Малюгина, он сунул в специальную папочку "телегу" из милиции, считая, что человек становится лучше, если на него есть такие бумажки...

Через год наступил тот решительный день, когда Люда почувствовала, что ждать более нельзя. Схватки были такими сильными и болезненными, что даже Малюгин испугался, глядя на ее искаженное болью и страхом лицо. Он бросился к телефону и вызвал "скорую".

Голова Люды лежала на высокой подушке, волосы разметались, на лбу и щеках выступил пот. Ей казалось, что она не сможет подняться с кровати, так она отяжелела в этот момент, такие предродовые муки накатили на нее. Люда схватила руку Малюгина и прижала к животу.

- Ты слышишь? - спросила она с одышкой.

Прошло более двадцати минут, а "скорой" все не было. Люда продолжала сидеть на кровати, обхватив руками живот. Малюгин нервно посматривал в окно.

Был апрель, последний снег сошел, земля отдавала лишнюю влагу небу, поэтому казалось, что шел дождь. Но это был не дождь. Это влажные клубы тумана поднимались от земли к небу.

Люда вскрикнула. Малюгин бросился к ней. Он проникся таким состраданием к этому любимому, единственно любимому для него человеку, так перевоплотился в ее страдания, что, казалось, будто он сам собирался перенести все великие муки рождения нового человека.

В этот миг в его голове пронеслась очень понятная в простоте своей мысль о том, что вот и есть то основное, благодаря чему жив человек, то таинственное, что вызывает лишь восхищение и недоумение - да как же так, без всяких наук и диссертаций создается новый космос - новый человек?

СЫН

рассказ

Нет-нет да и взглядывал в небо Петр Александрович, шестидесятитрехлетний и бывший научный сотрудник, а ныне пенсионер, и вновь ему казалось, что было уже с ним такое однажды, что он видел этот тихий свет высокого весеннего неба, свет приглушенный, фиолетово-синий, прорывающийся иногда в голубизну. Ну, конечно же, он видел этот свет нынешним утром, свет, внезапно грянувший в окно и так же внезапно исчезнувший.

...Бывало, случалось с Петром Александровичем, что он совершенно выпадал из действительности, созерцал отчетливо возникшую в сознании картину, но тут подходил к нему Боря, сын его, подносил к лицу красного целлулоидного попугая и спрашивал, не вникая в суть занятий отца, о том, умеют ли летать попугаи, но не дождавшись ответа, Боря сам принимался отвечать, фантазируя, что попугаи живут вместе с пингуинами, у которых точно есть крылья, а когда становится холодно на льдинах, вместе с теми же пингуинами улетают в жаркие края.

Изредка Петру Александровичу удавалось уделять сынишке некоторое внимание, но и тогда Петр Александрович действовал как бы на два фронта, то есть говорил о чем-то с Борей, строил ему крепость из разноцветных кубиков или рисовал что-нибудь в альбоме, а сам витал где-то совершенно в другом мире...

Соседка стояла рядом и говорила:

- Мы залезали в сад, набирали румяных крепких яблок и, устроившись где-нибудь на задворках, чтобы видна была широкая красноватая луна, хрумкали их с неописуемым восторгом... Потом кончилась эвакуация, отца убило под Кенигсбергом, мать в день состарилась, брата мобилизовали. Мы с мамой вернулись в Москву. И помню весну сорок пятого, Москву майскую и опять, как и в эвакуации, сирень... Следующую весну тоже хорошо помню, потому что брат вернулся жив и невредим...

Она хотела успокоить Петра Александровича, ободрить. Соседка возвращалась с работы и увидела лежащего на асфальте вверх лицом на углу переулка Петра Александровича. Сначала она помогла ему сесть, привалившись спиной к стене, а потом и встать.

Зажглись фонари. От фигуры соседки упала резкая тень и коснулась тени от Петра Александровича. Соседку устраивал новый сосед. Она недавно въехала в эту квартиру. Прежде жила с пьющими скандалистами.

Час спустя Петр Александрович сквозь дымку видел свою комнату, видел корешки книг, всю комнату видел, но так, будто сидел в кинематографе и повлиять на происходящее никак не мог.

В том-то и дело, что все он отчетливо различал, но сам находился в блаженном состоянии полного равнодушия. Скажи ему сейчас, чтобы встал, ни за что не встанет, и не потому, что не захочет, а потому, что просто не сможет.

Он не замечал соседку, которая присела на стул возле него, не замечал ничего. Даже не знал, когда соседка ушла к себе. Он заснул не сразу. К нему вернулось ощущение присутствия в жизни, но как-то туманно, размыто, по-детски. Он слышал женский голос в коридоре, шаги, шарканье, телефонные звонки. И сладко ему стало, и хорошо до слез, что рядом есть кто-то живой.

Была тишина. Прожужжала и стукнулась в стекло первая проснувшаяся муха. Где-то далеко, в ином мире, едва слышно просигналила машина. Каждый звук вступал в тишину, как инструмент в симфоническом оркестре, в отведенное ему нотным станом время.

Невидимый дирижер управлял этими звуками, соединял их в одну разрастающуюся мелодию утра. Вот услышал Петр Александрович краешком уха ритмичное, глуховатое тиканье будильника, к нему присоединилось доносящееся через открытую форточку чирикание воробьев, на кухне звякнула кастрюля, проскрипела половица в коридоре, послышались шаги, дверь всхлипнула.

Петр Александрович лежал на боку, не шевелясь, глядя в дерматиновую спинку дивана. Петр Александрович смутно вспомнил вчерашний вечер и догадался, что это вошла соседка.

Ему стало неловко за себя, что так расклеился вечером, даже упал на асфальт, ступил за угол и упал, взял да упал, нет, не он сам взял, а его кто-то взял и уложил, стыдно Петру Александровичу стало, как бывает стыдно ребенку, когда он напроказит и ждет возмездия.

Петр Александрович смотрел в коричневую спинку дивана, которую он видел ровно столько лет, сколько прожил на свете. Боязно прислушиваясь к своему телу, он опасался услышать в нем - теле - какие-нибудь посторонние шумы, ощутить слабость и боль, но ничего, кроме сладостного пробуждения, не слышал. Он пошевелился и лег на спину. Солнечный луч скользнул по его удлинённому лицу с большим острым носом, ослепил. Петр Александрович зажмурился, улыбнулся и сел на диване. Затем сбросил одеяло, качнулся и встал. Вчерашней слабости как не бывало. Для верности он взмахнул рукой, прошелся к окну, присел - все нипочем, самочувствие самое утреннее, обнадеживающее.

Дверь открылась и из-за гардин показалась соседка.

- Ой, простите! - сказала она, увидев размахивающего руками Петра Александровича в одном белье, и поспешно вышла.

Петр Александрович на мгновение застыл в позе древнегреческого дискобола, но тут же вышел из оцепенения и принялся одеваться. Прихватив полотенце, отправился на кухню.

Соседка возилась у плиты.

- Утро доброе! - инверсировал Петр Александрович. - Вчера я сам что-то...

- Как спали? - спросила соседка. - Я, право, вчера хотела врача вызывать. Лица на вас не было...

- Как в детстве, - достаточно бодро ответил Петр Александрович, подставляя лицо под холодную струю воды.

Потом сидели за столом. Он пригласил соседку на чай. Петр Александрович смотрел в раскрытое окно, думал о чем-то своем. Тихий золотой луч скользил по стеклу книжного шкафа, расцвечивал корешки старых книг. Легкие пылинки парили в этом теплом луче весны.

Соседка задумчиво смотрела на Петра Александровича, глаза ее были грустны. Лицо ее казалось иссушенным и сморщенным, но не по-старушечьи, а так - как есть природные люди, которым будто с рождения раз и навсегда дано одно и то же выражение и состояние лица.

И золотой луч, и грустное лицо соседки, и корешки старых книг, и портрет жены в рамке, и шум в переулке - все радовало Петра Александровича, успокаивало, вносило в душу порядок.

Раздался звонок. Соседка пошла открывать. Вернулась она с гостем. Петр Александрович удивленно встал из-за стола, увидев сына своего Бориса.

- Ну, отец! - сказал тот, пощипывая светлую бороду. - Я думал, ты лежишь, а ты у меня тут...

Петр Александрович как-то деланно улыбнулся, отчего лицо вытянулось, затем двинулся навстречу, зацепил локтем чашку, она покатила по краю стола и уже готова была свалиться на пол, но быстрая рука соседки подхватила ее.

- Нет, какое там! - сказал Петр Александрович. - Это мы так... Ты бы хоть кепку снял, разделся...

- Вот еще скажешь! У меня ни минуты нет...

- Боря... - смешался Петр Александрович.

- Телеграфируешь, понимаешь, я вынужден за тридевять земель...

- Да не давал я телеграммы, дорогой ты мой, это недоразумение. - Петр Александрович пожал плечами и оглянулся на соседку.

- Это я давала, - твердо сказала она.

- Ну, вот видишь! - улыбнулся Петр Александрович.

- Отец, ты не прикидывайся, - металлически-равнодушно сказал Борис. - Мы с тобой чужие люди, по-моему, тебе это было ясно еще двадцать лет назад, а теперь...

- Молодой человек, не забывайтесь! - громко сказала соседка и встала. - Перед вами ваш отец!

- Это я и без вас вижу, уважаемая!

- Борис, не волнуйся, давай поговорим, садись,ними плащ, очень прошу,- сказал Петр Александрович.

- Садиться я, естественно, не намерен, я спешу. И впредь, будь добр, звони только в самом крайнем случае, а лучше...

- Вы переходите всякие границы! - вставила соседка.

- Простите, а вы кто такая? - небрежно глянул на нее из-под очков Борис. И нос у него был такой же длинный и острый, как у отца.

- Соседка... Но это неважно, я просто вижу, что вы, молодой человек, совсем не умеете себя держать!

- Положим, держать я себя умею, но не перед ним! - он ткнул указательным пальцем, как пистолетом, в сторону Петра Александровича. - Когда двадцать лет назад он вышвырнул меня из этой самой комнаты на улицу, он не думал о том, как себя держать. Он вообще никогда не думал ни о ком в жизни, кроме своей замечательной персоны. Ему, видимо, казалось, что все должны ходить вокруг него на цыпочках, не дышать, удаляться куда-нибудь, что-

бы он, он мог заниматься... Но кто он такой, вы посмотрите на него! Кто? Я понимаю, что со стороны моя речь покажется феноменально кощунственной, дикой, и сам я кажусь наглецом, нахалом, но нет, в моем сердце сокрыто многое, сердце умеет не только любить, но и ненавидеть, ненавидеть даже отца, отца, который дал мне жизнь! Да, это дико, но, поверьте, - он обратился к соседке, - этот человек ни разу в жизни палец о палец не ударил, чтобы что-то сделать для других, я не говорю о себе, мне он вообще никогда не уделял внимания, не интересовался, что я и почему, нет, ему было наплевать на всех окружающих, даже на мать, которую он прежде времени загнал в гроб...

- Борис! Пощади, ты не справедлив! - взмолился Петр Александрович и, как раненый, осел на диван.

- Нельзя говорить так, нельзя такое говорить! - с дрожью в голосе прошептала соседка и побелела лицом.

- Почему же нельзя. Вы думаете, что говорить только ему можно? Нет, вы ничего не знаете! Однако вы можете подумать, что он лупил меня ремнем или бил палкой по голове. Нет, ничего подобного не было. Он у нас тихий. Он даже никогда в жизни, наверное, не выругался как следует. Он просто молчал, упрямо молчал и делал такое лицо, что хотелось повеситься! Он входил в комнату так, будто входит в стан врагов, которые ему житья не дают. Он садился к столу и делал такие глаза, что хотелось провалиться куда-нибудь, только бы не видеть этих глаз. Я не мог не то что говорить в комнате, я не мог передвигаться, шевелиться. Но он, ему плевать было на меня! Другие отцы хлопотали по райисполкомам квартиры, а этому ничего не нужно было. Да он просто боялся куда-нибудь пойти, настоять на своем, потребовать. Нет, это не для него. Он у нас человек особенный, талантливый... всю жизнь просидел в своем тухлом НИИ на ста рублях. Ха-ха-ха! Да мать в три раза больше него зарабатывала, она содержала и меня, и его. Она одевала и кормила. Да по сто рублей теперь даже уборщицы не зарабатывают! Но он был выше денег, он был выше всего. Его манили высокие идеалы. Впрочем, мне уже безразлично. Я хотел побороть в себе неприязнь, и даже поборол отчасти, как видите, приехал, думал, он уже того, как говорится... Но, нет, я заблуждался, ох, как я заблуждался. Отец живуч! Такие, как он, не умирают! Нет, он сто лет будет жить и плевать на всех и вся! Лишь бы его не трогали, не беспокоили, ибо он, смотрите, здесь, сидит на диване, а на

самом деле его нет, ибо он в других измерениях... Отрезал я тебя, отец, нет у меня отца! И поэтому я чувствую себя более спокойным, чем если бы он у меня был и...

- Убирайся вон! - страшным голосом закричал Петр Александрович, вскочил с дивана, схватил со стола тарелку и ударил ее об пол. - Убирайся!

Звон битой посуды эхом отозвался из переуллка. Соседка схватила Петра Александровича за руку, оттащила к дивану, усадила. Искраженное лицо Петра Александровича пылало гневом, глаза налились кровью, бесцветные губы дрожали.

- Уходите, прошу вас! - тихо, но властно сказала соседка.

- Прощайте! - ответил Борис и торопливым шагом вышел.

Через открытое окно было слышно, как хлопнула дверь подъезда.

Спустя четверть часа соседка говорила:

- Это я во всем виновата из-за телеграммы. Не могла я знать. Впрочем, вчера не до рассуждений было... Как вы себя чувствуете?

Петр Александрович пожевал губы, скосил глаза на кончик носа, сказал с привкусом брезгливости:

- Отвратительно.

- Ничего, пройдет... Как все вышло! И зачем он все это говорил!

- Как же зачем? Чтобы правота за ним была. Теперь ведь все желают быть правыми. Виноватых нет. Я, разумеется, очень сожалею, что вам пришлось все это выслушивать. Я не собираюсь оправдываться, только Борис изобразил все со своей колокольни. Действительно, я был замкнут, молчалив, я садился за стол, я писал... Да, я работал всю жизнь младшим научным сотрудником, я получал сто рублей... Но, с другой стороны, я видел потребительские наклонности сына и молчал. Тут, конечно, я упустил, но поймите... Однажды я прихожу с работы, жены дома не было, а этот валается на моем диване с девицей... Что я должен был сказать? Я вышел из комнаты, подождал, пока она уйдет, а потом сказал Борису, что это неприлично водить в дом этих, что он уже взрослый, университет заканчивает... Борис вспыхнул, что я его зажимаю. Я тогда предложил ему подыскать другое место для подобного времяпрепровождения. Обиделся, не ночевал, затем уехал куда-то, женился... В общем, его позиция: отец не должен был заниматься собою, а делать все так, чтобы он по первому требованию по-

лучал все, что душа пожелала... Но тут я сказал: "Нет". Входи в мир и смотри, как копейка достается. О себе я скажу, что мне многого не надо, я себя с юности ограничил и доволен. Впрочем... Мой отец рассуждал так точно и для меня особого ничего не сделал. Я сам выбрал себе путь и на отца не обижаюсь, хотя если поставить меня на место Бориса, то я должен был обижаться. Тут, знаете, от психологического механизма зависит... Очень это тонкий момент. Один углубляется в себя и видит в этом смысл, а другой верит во внешний мир и желает многое из этого внешнего вещного мира перевести на свой баланс... Тогда и возникает старая как мир проблема поколений... Мать его, конечно, любила. Тут уж материнское - никуда не денешься. Шла у него на поводу. Магнитофон купила, проигрыватель - это еще когда Борис с нами жил. И с ним я тогда договаривался, чтобы, когда я приходил с работы, была тишина. Я полагал, что времени в мое отсутствие достаточно для того, чтобы послушать музыку. Но оказалось, что я ошибался. Ему нужно было слушать круглосуточно. В общем, все это скучно и неинтересно... Но теперь он, видимо, счастлив: нашел место по душе... Остается посмотреть, куда пойдут его дочки: в себя или во внешний мир. Если в себя, то ему повезло, если... Тогда, быть может, и вспомнит меня. Впрочем, на это я не уповаю... Тут, наверное, получился какой-то процесс отталкивания. То есть я без книг не могу представить себе свое существование, а он даже, может быть, из чувства противоречия, возненавидел книги. Учился через пень-колоду, в восьмом классе перепродавал пластинки, попал в милицию, благо мать хлопотала. Вообще, любитель острых ощущений. Работал в морге, но когда увидел, маленькую девочку с портфельчиком привезли, сбежал... Кое-как окончил вечернюю школу, кое-как после армии поступил в университет, кое-как диплом получил. Впрочем, я его не осуждаю. Ведь судить других - самое простое и необременительное занятие. Так что главная моя вина перед сыном, как вы слышали, он сам сформулировал: это то, что я его не обеспечил! Поэтому и злота такая, и уверенность в своей правоте, - говорил Петр Александрович уже спокойно и даже равнодушно. Он привалился к спинке дивана, смотрел на книжные шкафы, по которым продолжал скользить солнечный луч...

Соседка убрала осколки с пола и подмела его, вопреки протестам Петра Александровича. А он сидел и думал о сыне. Он теперь

не бранил его, нет. Он пытался отыскать хоть какие-то точки соприкосновения с ним. Разве можно жить во вражде?

Когда соседка ушла к себе, Петр Александрович достал из шкафа несколько книг наудачу, бросил их на стол. Сел, полистал, отложил. Уронил голову в ладони, задумался. Наплывали воспоминания, но он отделялся от них, вставал, ходил по комнате, глядел в окно, терзался, глядел на противоположный желтый дом, на серебристую крышу. В голове его роились грустные мысли. Так он расхаживал по комнате до вечера...

Соседка неоднократно заводила с ним разговор о здоровье, а однажды спросила:

- А вы были у сына после того случая?
- Нет.
- Нужно же съездить, поговорить, выработать какую-нибудь оптимальную политику взаимоотношений!
- Не поймет он меня! - с сожалением сказал Петр Александрович.

- Неужели не можете вызвать собственного сына на взаимность! Мой вам совет, хотя я советовать не люблю, - поезжайте к нему. Все встанет на свои места.

То ли этот совет, то ли внутренняя потребность повлияли на Петра Александровича, но как-то в субботу он, наконец, собрался к Борису. Долго ехал на двух электричках. Сын был настолько изумлен этому явлению, что в первые минуты не смог выговорить ни слова. Состоялась и на высоком исполнительском уровне прошла немая сцена в дверях пристройки сельского дома.

Петр Александрович, с тортом в руках, первым нарушил молчание:

- Гостей тут у вас принимают?
- Борис, кто там? - слышался женский голос из-за занавески.
- Отец пожаловал!
- Так что же ты, зови его! Пусть входит.
- Входи что ли,- как-то неуверенно сказал сын, почесывая бороду.

Петр Александрович осмотрелся. На дощатой, гладко струганной стене висели фотографии в старинных рамках. Многие из этих рамок Петр Александрович помнил, потому что они когда-то принадлежали его отцу. В одной из рамок была помещена хорошая фотография жены.

На полу играли двойняшки.

- Какие прелестницы! - изумленно воскликнул Петр Александрович.

Девочки весело переглянулись, встали с пола и сделали книксен. Они выглядели совершенно одинаковыми, как тиражированные куклы.

- Как вас зовут, детки? - спросил он, нагибаясь к ним.

- Ее Поля, меня Рита, - сказала та, что ближе находилась к Петру Александровичу.

- Очень хорошие имена! - похвалил он. - Чем же вы занимаетесь.

- Делаем мозаику. Смотрите, вот так! - показала Рита, вновь присев на пол.

- А мне можно попробовать? - спросил Петр Александрович.

- Вы умеете?

Поля протянула ему пластмассовую в дырочках тарелку, на которой нужно размещать по собственному разумению цветные пуговицы с ножками. Петр Александрович искоса поглядывал на золотистые заплетенные косы с бантами и аккуратно вставлял пуговицы этими ножками в отверстия. Вскоре получился яркий орнамент, чем-то отдаленно напоминающий букет сирени.

- У вас есть способности, - сказала Поля.

- Вы были когда-нибудь в зоопарке? - спросила Рита.

- Конечно, был.

- Вы не могли бы нам слепить из пластилина слона. Он у нас никак не выходит. А мы хотим, чтобы у нас полный зоопарк был. Обезьян мы уже слепили.

- Что вы пристали к человеку! - сказал Борис. - Дайте, я вам вылеплю.

- Нет. Мы хотим, чтобы дедушка нам слепил. У него есть определенные способности...

- Пожалуйте к столу! - позвала жена Бориса, Лена, высокая, худая и некрасивая.

За обедом Петр Александрович, поглядывая на бороду сына, спросил:

- Как твоя работа?

- Обычно. Ничего нового, - равнодушно ответил тот. Некоторое время смущение все еще не покидало сына.

Петру Александровичу показалось странным это смущение, потому что в тот раз сын никак уж не выглядел смущенным. Тогда

он являл собою в чистом виде агрессивность. Или, быть может, та агрессивность - симптом слабости позиции, неуверенности в себе? Как иногда трудно преодолевать нерешительность, смущение, слабость! Чтобы подавить эти чувства, приходится делать над собою усилия. В самом себе Петр Александрович ощущал постоянно эти борения, это противоборство. А Борис, сын его, наверняка унаследовал эти черты.

- Неужели так ничего нового и нет на твоей работе? - спросил Петр Александрович.

- Кое-что есть... Да разве тебе интересно!

- Боря, - встала жена, - не груби. - Что тебе не по нраву?

- По нраву мне, по нраву... Только как бы тебе объяснить. Я уж очень не люблю людей, которые только себя считают избранныками.

- Об этом я с тобой никогда не спорил, - сказал Петр Александрович. Я всегда с уважением относился и отношусь к людям положительного действия. Это те люди, которые всегда работали, работают и будут работать... Кстати, себя я причисляю к подобным людям. Я всю жизнь работал и считаю, что прожил жизнь честно.

- Кто тебя упрекает в нечестности! - сказал Борис. - Но все-таки заработок - не главное.

Жена нахмурилась, а Петр Александрович сказал:

- И в этом я с тобой согласен!

- Дедушка! - вскричала Рита. - Пойдем с нами гулять!

- Рита, дай человеку посидеть! - сказала строго жена. - Ты же видишь, что мы разговариваем. Не перебивай, когда старшие разговаривают!

- Ничего, ничего! - улыбнулся Петр Александрович. - Они такие милые!

- Милые? - воскликнула Лена. - Весь дом перевернут эти милые, если не смотреть за ними.

- Они же дети! - успокоил Борис.

- Если дети - значит, спрашивать не нужно с них? Не делай замечаний?

- Ребенка по пустякам не следует беспокоить, - сказал Петр Александрович. - Не следует постоянно их одергивать: то - нельзя, это - нельзя! Нельзя им делать лишь то, что опасно для их жизни. Объяснить им, как вести себя на улице, не брать спички - по-

СЫН

жар будет, не высовываться из окна - разбиться можно и так далее. По мелочам же, право, не стоит.

- В столовой устанешь, бежишь домой, они все чумазые, форма испачкана кашей, тетрадки в ранцы засунуты кое-как, мятые!

- Смотрите, какое большое солнце! - воскликнула Поля и указала на окно.

Солнечный луч скользнул по стеклам и упал на стол, осветив яблоко, лежащее на белой скатерти. Антоновка, казалось, засветилась изнутри, заиграли искорками капельки воды на его боках.

- Мы сейчас попьем чаю с тортом, - сказала наставительно жена, - потом пойдем гулять.

- Ура, ур-ра-ра! - закричали близняшки и захлопали в ладоши.

Борис принес с кухни на металлическом черном с красными розами подносе чашки с чаем. Жена энергично резала торт. Петр Александрович приятно вздохнул, взял маленькую ложечку, насыпал из фарфоровой сахарницы песку, бесшумно помешал чай, отпил...

Потом вышли на улицу. Девочки вприпрыжку бежали по тропинке. Жена покрикивала на них, чтобы не пачкались. Петр Александрович шел рядом с сыном. Разговаривали. Через лес вышли к станции.

- Заглядывайте к нам! - сказала жена сына, когда Петр Александрович садился в электричку.

- Приезжай, дедушка! - пропели двойняшки.

- Обязательно приеду!

Борис молчал и смотрел себе под ноги.

- Заезжай! - сипло крикнул он, когда уже поезд тронулся...

Отец через месяц умер.

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ЛАСТОЧКА

рассказ

Окно было закрыто, шел дождь, стекла запотели, и когда Черпаков шумно вздохнул от тоски, изо рта пошел пар. Тоска была обложная, необъяснимая, как всякая тоска, когда человек не знает, куда себя деть, что делать - читать или в шахматы с соседом играть, или надеть брезентовый до пят плащ, резиновые сапоги и идти куда-нибудь вдоль реки, заглянуть в лес, но и там, знал Черпаков, будет тоскливо, даже сиротливо.

Лень было спускаться вниз и топить печь, потому что дрова были сырые, с керосином бы их, но керосин в сарае, а до него идти по мокрой траве под дождем. Лучше лежать и ничего не делать. Тосковать, одним словом. И ведь все хорошо у Черпакова: он в отпуску, жена на работе, родители живы, ребенок уже третий час где-то бегает по улице с пацанами, кот спит внизу на диване, забившись между подушками, мухи не жужжат. Тихо. Но... тоскливо.

А воздух здесь другой, не как в городе, с привкусом дерева. И вода другая, без хлорки, из артезианской скважины, прозрачная и вкусная.

Дождь кончился, солнце заглянуло на чердак, задрожала в его луче золотистая пыль. Черпаков, с уже седеющим шелковистым чубиком, глубоко вздохнул и улыбнулся, потому что почувствовал, что с этим солнцем он перебарывает тоску. И что это за чувство - тоска? Что это за состояние? Странно. Только что ныла душа, а теперь, вроде, все в порядке.

Черпаков на счет "три" про себя резко поднялся, скрипнула старая кровать. Сразу же набежало множество мыслей: распилить сухие доски, заготовить дров, покрасить террасу, сходить за хлебом на станцию, вскопать землю под новые кусты, которые снопа-

ми свалены за домом в ожидании посадки, наконец, разогреть суп и позвать сына обедать...

На станции строили новую платформу, лежали тяжелые бетонные блоки. Черпаков, узкоплечий, с длинными руками, неизвестно чему улыбаясь, бодро шел вдоль штабелей этих блоков. А почему не по улыбаться, через полгода повесят Черпакову еще одну звездочку, он будет подполковником, в зарплате выиграет, купит тесу, пристроит кухню, а то прямо на террасе готовят, запахи еды по всему дому! Не так ли, товарищ майор?

Точно так! Все хорошо. Даже любопытно, почему так хорошо на душе? Вроде бы и радоваться-то особо нечему. Жене ложиться на операцию с ногами, вены ей, видите ли, не нравятся, толстые, синие на икрах. Пусть. Главное, чтобы ей было по душе. Отец там с матерью мается. У нее давление под двести. Качает, как на море, как только с таким давлением жить можно? Сын на одни тройки кончил год. Племянница срезалась в институт. Брат разбил машину, просит одолжить тысячу. А Черпакову к этой тысяче еще одну и с другими "бабашками", как он иногда называл деньги, сам возьмет "Жигуль". Отца как ветерана войны в очередь записал. Чему, в общем, радоваться? А весело на душе. Смотри: солнце блестит в луже!

Строятся, строятся вокруг! Вот и платформу новую сделают. Вдруг Черпаков остановился и резко помрачнел. У одного щербатого бетонного блока он увидел мертвую ласточку. Она лежала в лужице с неестественно выгнутым длинным и острым крылом. И вся она, темная, была какая-то заостренная, как стрела.

Много мыслей о ласточках сразу же пронеслось в голове Черпакова. Он вспомнил полуразрушенную деревенскую церковь, где под козырьком придела лепили из глины ласточки гнезда, прекрасные, как из шариков, гнезда и, главное, прочные. Когда Черпаков забирался, как горнолаз, по выбоинам в белой стене к этим гнездам, то долго не мог оторвать их от стены, но все же отрывал. А зачем? Это он теперь мог спросить себя, а тогда? Тогда было весело, что по отвесной стене залезал, на спор, кажется.

Острокрылая черная ласточка лежала без движений у бетонного блока, лежала в луже, в тени...

Вечером старики, в шапках, телогрейках, в валенках, глядели в небо, сидя у изб, высматривали ласточек. Для них, помнил Черпаков, ласточки были погодой, урожаем, вообще чем-то чуть ли не

святым, как ангелы.

- Вона! - тыкал какой-нибудь старик в небо корявым пальцем.-
Высоко летает, знать, завтрава кости погреем!

По плотницкому делу Черпаков не пошел, как отец, все лазал куда-нибудь или прыгал откуда-нибудь, его так и прозвали в селе "летчиком". Потом он часто приезжал в форме: голубые петлицы, голубой околыш фуражки.

- Ну как там, в небе? - спрашивали старики.

- Неплохо! - довольно бодро отвечал Черпаков, подавляя в себе смущение от некоторого допущения, потому что в небе он никогда не был, даже, к стыду, на гражданском флоте не летал.

Но в петлицы Черпаков вкалывал "птичек" летных, без красной звездочки, как должно быть у технарей, в серединке меж двух золотистых крылышек. Да и к технике Черпаков не имел ровно никакого отношения, потому что был замполитом. Оттого и узкоплеч был, и пальцы на руках тонкие.

И вновь Черпакову стало тоскливо. Как часто на него нападает это состояние! Да что же это, наконец, такое?

Вроде все хорошо: огурцы под пленкой вовсю дуются, сорт отличный, из ГДР, название забыл; подполковника через полгода получит, это в тридцать-то семь лет! А?

На должности полковника сидит прочно. И будет Черпаков полковником. А там, смотришь, и генералом - золотистые погоны, алые лампасы!

На лампасах Черпаков почему-то вновь взгрустнул. Ну и что? Подумаешь, погоны! А ласточка, заостренная ласточка, как стрела, выпущенная из детства, лежала без дыхания в луже у бетонного блока. Жалко, очень жалко.

Никогда такого с Черпаковым не было, чтобы так расчувствоваться, даже слеза скатилась по щеке. Черпаков боязливо оглянулся: не смотрит ли кто за ним, не любопытничает ли? Никого поблизости не было, лишь на противоположной платформе несколько женщин ожидало электричку.

Отчего тоска-то?! Опять ведь накатила. И все-то у Черпакова хорошо, гладко в жизни: школа, комсомол, училище, партия, чины, звания. Все без задержек, даже с опережением! Вроде и никаких способностей в себе Черпаков не замечал, а как все складно в жизни было и есть.

Но тоска заедает, черт бы ее побрал! Вроде бы жизненный

ЛАСТОЧКА

курс верный, а точки назначения нет, неужели, как эта ласточка?! Черпаков ужаснулся этой мысли, взглянул в небо – светило солнце. И Черпаков улыбнулся, облегченно вздохнул, потому что тоска стала отпускать, а ее место занимала неизвестно из чего вырастающая радость.

Черпаков стыдливо пнул носком ботинка ласточку под бетонный блок, подальше, еще пинок, чтоб видно не было.

*В книге “Философия печали”,
Москва, Издательское предприятие “Новелла”, 1990.*

СОВЕТ

рассказ

В полдень у разбитой тракторами дороги, круто поднимающейся из оврага, сидел на бугре пастух. Возле него полулежала на траве внучка, золотоволосая, подвижная Оксана, лет шестнадцати, с мягкими чертами лица. Поодаль, у кустов боярышника лениво бродила мохнатая, скуластая лайка, с завитым, клочьями торчащим хвостом и грязно-белым пятном между глаз. День был жаркий, душный, в воздухе монотонно скрипело, звенело, пищало разнообразное насекомье, сильно пахло скошенной травой, валки которой тут и там лежали по обочине дороги.

Коровы неспешно щипали на опушке, за полем, где еще не косили частники. Коровы были крупные, под стать пастуху, бокастые, в основном черные с малой белой рябью. Они сладостно пофыркивали, обмахивались короткими хвостами от назойливых слепней, передвигались медленно, покачиваясь, иногда замирали, задумавшись, поднимали головы и смотрели куда-то в дымчато-сиреневую даль с затаенной грустью.

Нет грустнее, чем коровы, животных.

- Ты, дедушка, воевал, знаешь, что такое армия,- сказала Оксана и тонкими загорелыми пальцами с алым маникюром провела по небритой, серебристой щеке пастуха.- И почему ты не следишь за собой, не бреешься?!

Пастух не обратил на эти слова внимания, кротко опустил глаза, зевнул и, откинувшись назад, облокотился на траву. Через некоторое время он спросил:

- Это что же, понимаешь, в казарме, что ль, бабьей жить будешь?

- Да ну тебя! Какой ты примитивный... Разве военные переодочки живут в казармах!

Оксана вскочила на ноги и принялась быстро расхаживать в своих синих кроссовках вдоль дороги. На Оксане были голубые, узкие на икрах и очень широкие, бутылочные от колен до бедер, как армейские галифе, брюки. Короткая белая блузка выбивалась из-за пояса, трепетала на легком ветерке. В большой вырез на груди были видны острые ключицы. Большие зеленые глаза были широко посажены, веснушчатый, вздернутый нос от этого казался широким, недевичьим. Оксана быстро подошла к собаке, упала на колени и, обхватив ее морду руками, прижалась к мохнатой шерсти щекой.

- Ну что, дуралей, жарко?!

Пес высунул розовый влажный язык и лизнул Оксану. Она захотела и повалилась на спину. Пес заглянул в ее глаза, склонил голову набок и, часто и шумно дыша, принялся тыкаться черным, холодным носом в золотые дебри Оксаниных волос.

- Дед?! - позвала она.

- Чего?

- Не "чего", а что!.. А я ведь могу потом попасть в Америку или в Англию!

- Она что! Ну-ну...

Оксана запустила копыя ногтей в загривок собаки, почесала, вскочила и, подбежав к деду, села возле него. В дрожащем воздухе с гудением проносились шмели и огромные мухи, зеленовато-золотистые, серые и черные, как сажа, парили бабочки, проплывали, как по воде, прозрачные фосфоресцирующие стрекозы. Вдалеке, за полем, начинался лес, уходил в овраг, а потом пятнистой зеленью поднимался на высокий, широкий холм. Оксана сидела неподвижно и смотрела в одну точку.

И этот высвеченный солнцем лес, и овраг, и дрожащий воздух с мухами и бабочками, и охряно-зеленое от сурепки поле, и пасущиеся на опушке коровы, и небо с плотно-белыми небольшими, четкими облаками казались Оксане лишь воспоминанием детства, но ненастоящим, потому что настоящее было для нее где-то далеко, то ли в прохладных, уходящих амфитеатром вверх лекционных аудиториях, то ли в старинных, дворцовых, с позолотой залах, где она без бумажек синхронно и бойко переводит речи высоких английских гостей, то ли в дорогих американских отелях, где не смолкает тяжелый рок дискотеки, то ли в загородных виллах, где она останавливается, будучи в деловых командировках, покачи-

вається в шезлонге, тянет через соломинку коктейль со льдом под “умопомрачительный” рокот тяжелого рока...

Большие глаза Оксаны поблескивали, она протяжно, в умиленнии, вздохнула и посмотрела на дедушку. Он сидел неподвижно, не моргал, и его мысли, долгие и обстоятельные, касались совсем иных вещей, на первый взгляд простых и понятных, как сама жизнь, но от этого и неразрешимых и загадочных, как та же жизнь. По всей фигуре его было видно, что это человек опытный, серьезный, имеющий подход к людям и поэтому малоразговорчивый. Он уже десять лет считался пенсионером, но не мог сидеть без работы: зимой раздавал корм скотине на ферме, летом пас общественное стадо. Из двенадцати его детей в живых теперь присутствовало восемь. Четверо сыновей умерли, не пережив отца, умерли по-разному, без войны, в мирное время... Но это разговор особый и об этом - в другой раз.

Собака потрусилась в овраг, помахала пушистым хвостом с налипшими репьями, и вдруг из оврага послышался ее отрывистый, звонкий лай, захрустели и зашевелились ветки кустарника и, проламываясь сквозь заросли напрямую, к дороге выскочила черная телка с маленьким розовым выменем и вскачь, козлом, подгоняемая собакой, помчалась к стаду.

- Угомонись! - крикнул пастух собаке, которая продолжала злобно лаять.- Я тебе! - шевельнул кнутом пастух, привставая и вновь садясь.

Собака затихла, уткнула морду в траву и, словно по следу, принявываясь, затрусилась на место.

- На что тебе сдались эти переводчики, да еще военные! - вдруг вымолвил пастух.- Тебя же туда не примут!

- А вот и примут... Ты ничего не понимаешь... Подружка узнавала, что и девочек принимают...

- Ну-ну... Учиться-то тебе еще сколько?

- В десятый перешла.

- Ну-ну... За год, оно, многое, понимаешь, перепашется. Мала ты еще...

- Я?! Да мне паспорт в декабре получать! Ты что, дед, спятил! Как ребенок, честное слово.

Пастух оживился, словно что-то вспомнил, поднялся и заходил неторопливыми шагами возле ели. Когда он выходил на солнце, от его крупной, кряжистой фигуры ложилась широкая, густая тень на

пыльную дорогу. Черты лица пастуха были так же крупны, как и он сам. Тяжелая нижняя челюсть, крутой лоб, широкий нос, большие оттопыренные уши, седой кустарник жестких волос - все свидетельствовало о силе, когда-то буйствовавшей в нем, а теперь начинавшей подтаивать. Глядя на таких людей, не скажешь, что они старики, таким судьба уготовила долгую, очень долгую жизнь лет до ста, а то и более.

В молодости, еще до войны, он был озорной, ершистый, нипочем было перевернуть тяжелую груженую телегу, занести наверх строящегося дома бревно, свалить с ног быка, но уже в войну остепенился, был центральной фигурой артиллерийского расчета, потому что один, вместо лошади, вытаскивал в слякотную пору из глубокой грязи пушку, вскидывал на плечо по два ящика снарядов и так, казалось, всю войну не воевал, а был за грузчика, за ломовую лошадь.

Размяв ноги в высоких резиновых сапогах, пастух остановился возле сидящей на траве Оксаны, шумно втянул в себя через нос воздух, поскреб короткими черными пальцами серебристую щетину на щеке и неспешно заговорил:

- Я вот что скажу... Ты, Оксана, понимаешь, все от главного увиливаешь... Как ни порхай бабочкой, а в землю ложись... Я вот что скажу... Ты подходишь только сама к себе... Сама себя скоро почувствуешь, аль, может, понимаешь, уже чувствуешь... Я вот что скажу... Выбрось ты из головы этих военных переводчиков... Ни к чему они тебе... Твое счастье в тебе самой... Возрадуйся тому, что ты девушка, красавица, посмотри в душу свою, открой в ней женщину! Страстно захоти ребенка... Да захоти так, чтобы почувствовала, что все кончается, если ребенка твоего не будет... Ад наступит, тьма ледяная, пустота кромешная... А ребенок твой разорвет эту тьму, прорвется к светлоте неба, к запахам этих трав, понимаешь, ко всему, что радует нас и ласкает... Найди себе мужа хорошего, пусть даже военного переводчика, и в Америку, и в Англию съездишь и главное дело свое, предназначенное тебе, сделаешь... И смысл твой - в женственности твоей, и во многих детях твоих, и в семье, и в любви до гроба... Остальное все - не смысл, а приложение к нему, понимаешь... Так что поступай в женщины... Люби мужа своего и рожай ему деточек...

Все время, пока дед говорил, Оксана сидела неподвижно и ровела, а внутри ее закипала злость, жгучая, непредсказуемая, и

только он кончил говорить, как Оксана, не помня себя, вскочила, лицо ее побелело, губы задрожали и она, срываясь с места, выпалила:

- Пошляк!

В тот же день, не дожидаясь возвращения деда, ошеломленная Оксана уложила вещи, схватила свой портативный магнитофон и помчалась на станцию. Проходя по деревне, она назло включила магнитофон на полную громкость. Воздух сотрясал металлический рок. Какая-то старуха, копавшаяся в огороде перед домом, отбросила лопату, выглянула на улицу, побледнела, сжала губы и, мрачно перекрестившись, прошептала:

- Свят, свят, свят...

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ПИСЬМО

рассказ

Вернулся домой Грищев продрогшим, выпил горячего чаю и внезапно его словно кто палкой по голове ударил, он взвыл от боли, схватился за щеку, повалился на диван.

Боль была такой пронзающей, дерзкой, что все вокруг померкло, все смыслы исчезли, оставив лишь эту невыносимую, мерзостную боль.

Грищев со стоном закрыл глаза, искры посыпались из черноты, как праздничный салют в вечернем небе. Грищев зарылся лицом в подушку, но боль пулеметной очередью и одиночными, снайперскими выстрелами расстреливала мозг.

Терзаемый болью Грищев пролежал на диване более часа, мял лицо, до крови расцарапал язык о скальпель разрушенного зуба, около полуночи поднялся, стал нервно, громко шаркая тапочками, расхаживать по комнате. Стреляло уже, казалось, во всей голове, во всем напряженном теле.

Чтобы отвлечься, Грищев принимался читать начатую полгода назад новую инструкцию по охране труда. В глазах зарябили, как помехи на телеэкране, строчки: “Работать с кислотой, щелочью или электролитом можно только в резиновых перчатках, полусапогах, в прорезиненном фартуке...”, “С огнем не входить”, “Курить запрещается”, “Горением называется химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением. Внешним проявлением горения является огонь...”

Но, прочтя несколько страниц, ничего не понимая, вернее, не принимая из написанного, ожесточенно швырнул страницы под книжный шкаф.

Все померкло перед ним. Все казалось никчемным, жалким по сравнению с этой всепобеждающей, страшной болью.

Грищев бегал по комнате, обхватив и стиснув руками голову. За что такие муки свалились на него, Грищева? Неужели все прежде жившие люди проходили через такую боль? Как они могли справиться с этой непостижимой болью? Заговаривали зубы? А обезьяны? Сходили с ума, прыгая по лианам, засовывали волосатые руки в рот, дотрагивались до больного зуба, издавали душераздирающие вопли? Неужели они переносили эту сумасшедшую боль до самого конца, до того момента, пока зуб полностью не разваливался, а боль не умолкала? Но для этого нужно было очень долго терпеть!

Терпеть и терпеть!

Почему такая боль сокрыта именно в зубах? Болеть может любое место в человеческом организме, разумеется, но зубы! Самая изощренная боль! Самые чувствующие нервы.

Грищев нагнулся, извлек из-под шкафа странички. “Быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов, называется вспышкой. Внешним проявлением горения газа, пара или взвеси является пламя. Беспламенное горение твердого вещества называется тлением”.

И вновь Грищев расхаживал по комнате, как борец перед схваткой, лицо его горело, глаза, ничего не выражая, бешено блестя, крупный нос стал красным, иногда Грищев от яростной вспышки боли приседал к полу, стонал, как подранок. Рот наполнялся сладкой, липкой слюной, Грищев в страхе сглатывал ее, а из дупла со свистом тянуло, будто насосом, ошеломляющую, наэлектризованную боль.

Когда Грищев сжимал зубы, они, казалось, склеивались, он не мог разомкнуть рот. Осторожно проводил ладонью от подбородка к виску, чувствовал вздувшуюся жилу, наполненную болью, переполненную ею, несущую эту боль от какого-то маленького, несчастного зуба, в мозг, а оттуда распространяя эту боль по всему телу, чтобы не один зуб знал, что ему плохо приходится, чтобы каждый орган почувствовал эту боль, услышал сигнал бедствия.

А то разоспались там, блаженствуют, не знают, что такое боль! Вот послушайте ее, поборитесь с нею, ищите смысл бытия! А он вот, этот смысл, в безумной боли, от которой нет спасения!

Неужели зубы имеют такую ценность, чтобы о своей гибели сообщать с такой неистовой болью?

Грищев судорожно вышагивал по комнате, думал обо всем этом. Он уже не мог отвлечься от боли. Он думал только о ней. Зуб для не-

го превратился уже в мудрого повелителя жизни, в тирана, только усов не хватало, ради которого все вокруг движется. Уничтожьте зубы, жизнь кончится. Вы не сможете пережевать самой простой пищи, вы будете давиться манной кашей, творожный сырок вам будет казаться камнем! Зуб - это жизнь! Поэтому он с такой невыразимой болью сообщает о своей гибели. Почему люди умирали в пятьдесят лет в каком-нибудь каменном веке? Да потому что не умели укрощать его величество зуб! Зуб, только зуб владыка нашей жизни!

Берегите зубы, своевременно обращайтесь к дантисту!

Не к специалисту по Данте Алигьери, а к зубному врачу - дантисту, dent - по-французски, зуб. Стало быть, в имени Данте есть что-то зубное, а поэтому инфернальное (адское)!

Я пригвоздил к нему свой взгляд,
И он выпрямился во весь рост,
Как если бы уничижал ад великим презрением.

От этой мысли Грищеву даже как-то полегчало. Теперь ему оставалось каким-то образом скоротать ночь. Он прихватил чайник, отправился на кухню.

Каждый шаг отражался всплеском боли. Вскипятил чайник, налил грелку, эту горячую медузу, пахнувшую сладким детством, и, кажется, боль чуть-чуть отпустило.

Грищев прилег на диван, от усталости сомкнул глаза. Притерпелся к боли. А когда очнулся, за окном рассвело. Начиналось воскресное утро. Боль с новой силой ударила в мозг, так что Грищев, вопреки себе, пропел: "Утро красит нежным светом..." и поморщился. Торопливо оделся, выскочил на улицу.

Щекастая дворничиха, щеки были видны сзади, мела мостовую. Грищев деликатно поинтересовался у нее, где тут поблизости зубная, никогда не ходил, поликлиника. Дворничиха поправила оренбургский платок, сощурила и без того узкие от жира глаза, указала рукой в сторону Зубовской площади. Грищев двинулся в эту даль и через некоторое время отыскал во дворе желтого, конечно, желтого, по-московски, еще чуть с белым, где-то между окон, как колонны, похожие на свечи, дома подъезд с табличкой: "Стоматологическая поликлиника".

У регистратуры толпились больные. Грищев сдал пальто в гардероб. Лица граждан были помяты, перекошены.

- С острой болью нужен талон? - спросила у регистраторши какая-то женщина.

- А что у вас? - высунулось из окошка овальное лицо.

- Боль под коронкой.

- Коронки мы не снимаем. В платную идите...

- Как же, - простонала женщина, - теперь-то?

- Ну сходите в пятый кабинет, - ответило овальное лицо и донесло голосом вокзального радио: - Граждане, у кого острая боль - в пятый кабинет. Талонов на прием нету. В пятый без талонов.

Услышав это разъяснение, Грищев не стал переспрашивать, а сразу, опережая задумчивых, направился к пятому кабинету. Занял очередь.

Он стоял у стены, заложив руки за спину. Боль нарастала. Грищев возводил глаза к потолку, прикусывал многострадальный язык...

Наконец его пригласили в кабинет.

Испуганно, как в зал суда, не зрителем, разумеется, вошел в кабинет Грищев, жалостно взглянул на поблескивающую никелем бормашину, понуро сел в жесткое кресло. Врач, молодая девушка с большими темными глазами, длинными и пушистыми ресницами, с ямочками на щеках, хрустя накрахмаленным халатом, направила в лицо Грищеву яркую лампу, попросила открыть рот, взялась за холодные инструменты. Едва она прикоснулась к зубу металлическим предметом, от которого почему-то пахло духами, как Грищев ойкнул и вдавился в кресло.

- Потерпите, - сказала мягко девушка, - я быстро! Закрутилось жало бормашинки, не успел Грищев опомниться, как в зуб уже был заложен мышьяк и закрыт белой массой.

- Вот и все, - сказала девушка, улыбнувшись Грищеву. - Через день придете вынуть мышьяк и поставить пломбу... А так у вас рот хороший... Один лишь зуб запустили...

И прикосновение ее нежных пальцев к его щеке. Встал Грищев, проговорил что-то в благодарность, поглощенный болью, направился в гардероб, оделся, вышел на улицу. Прошел несколько метров, почувствовал, что боль стала стихать.

Едва заметно улыбнувшись себе, он погулял на воздухе еще с полчаса и понял, что он стал другим человеком.

Боль исчезла!

ПИСЬМО

И это все она, та девушка.

И была она прелестна, и была мила она!

Грищев развернулся, побежал назад в поликлинику. Не раздеваясь, он прошел к пятому кабинету, распахнул дверь, но там работала одна лишь пожилая женщина. Девушки не было. Сказали, что она ночь дежурила, а теперь домой ушла.

Разочарованно опустив руки, Грищев поплелся к выходу. И был вечер, и шелестела листва под ногами, и перед глазами стояло лицо девушки с ямочками на щеках, а потом... Потом, придя домой, Грищев принялся сочинять письмо к ней. И письмо должно быть таким, какими всегда были и будут письма влюбленных.

Зачем писать, если можно увидеться? Но Грищеву нужно было писать, писать примерно так: "Степень нагрева души, при котором излучается тепло и свет, характеризуется накалом. Накаленные чувства при душевных разрядах называются искрой. Возникновение горения души под воздействием милого сердцу источника зажигания называется возгоранием любви. Источником возгорания может служить черноокая девушка с длинными и пушистыми ресницами и ямочками на щеках, обладающая чувственным запасом энергии, достаточной для возбуждения горения души пациента".

А пока расхаживал по комнате и думал. Впрочем, так... так бы начать: "Стоит отлучиться вам на минуту, и я уже близок к смерти..."

Нет, это выспренне... Но разве любовь не выспренняя? Слава зубной боли!

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

ВИНОВАТЫЙ

рассказ

Шел второй час ночи. Вагон электрички, идущей в Звенигород, был пуст. Гусев, позевывая в приятном опьянении после ресторана Дома композиторов, просматривал “Литературку”. Время от времени он отрывался от газеты, смотрел в темное окно и любовался падающим снегом, проплывающими мимо тусклыми огнями, заснеженными елями, силуэтами домов.

За спиной послышался шум раздвигаемых дверей, и Гусев оглянулся. В вагон вошел мальчик с поникшим тюльпаном в руке. Гусев сразу же вспомнил о подарке - серебряном колечке, - купленном с боем в комиссионке, и лежащем теперь в нагрудном кармане его пиджака, вспомнил про восьмое марта, которое будет завтра, вернее, уже сегодня, и опустил глаза в газету. Прочитав пару абзацев, Гусев взглянул на дверь, полагая, что сейчас должны войти родители мальчика или те, кто с ним едет. Но двери не открывались.

Мальчик сидел впереди через одну скамейку от Гусева, торжественно держал увядающий тюльпан перед грудью и во все глаза смотрел на Гусева. На мальчике было тесное, потертое пальтишко и вязаная шапочка, надвинутая до бровей, с дыркой на боку.

- Ты чей? - спросил Гусев.

Мальчик молчал.

Гусев помедлил. Его взгляд, обращенный на мальчика, настойчиво требовал ответа. Но мальчик не отвечал.

- Иди сюда.

Мальчик встал, виновато подошел к скамье Гусева, подумал и сел напротив, на самый краешек скамейки. Он был ни высокий, ни низкий, ни толстый, ни худой, ни веселый, ни скучный. Лицо у него было довольно приятное, но не из тех, на которых долго задерживается взгляд.

Слышался монотонный перестук колес.

- Куда ты едешь так поздно? - спросил Гусев, с шелестом складывая газету и убирая ее в карман дубленки.

Мальчик молча смотрел на него.

- Что ты молчишь?

Мальчик опустил глаза на тюльпан.

Перехватив этот взгляд, Гусев спросил:

- Где ты взял цветок?

- Купил, - тихо ответил тонким голосом мальчик.

- У тебя есть деньги?

- Нету.

- А где ты их взял на тюльпан?

- Дяденька один дал.

Гусев вздохнул.

- Куда ты едешь? - через минуту спросил он. Мальчик молчал и все крепче прижимал тюльпан к груди.

Как бы забыв о мальчике, Гусев подумал о том, что жена по его приезду будет ворчать. Наверняка она не спит, ждет его, волнуется. У Гусева были свои маленькие слабости. Он нередко засиживался с друзьями в каком-нибудь из ресторанов творческих домов. Это, разумеется, не назовешь поведением примерного семьянина и жена вправе была обижаться. Но когда они вместе появлялись в компании, Гусев был подчеркнуто внимателен к жене и всячески показывал, что гордится ею.

- И куда же ты едешь? - повторил через некоторое время свой вопрос Гусев.

Мальчик молчал.

- У тебя есть родители?

- Мамка умерла, - нехотя ответил мальчик и добавил равнодушно: - А папка пьет.

- Где ты выходишь? - спросил Гусев.

- Не знаю.

Электричка прибыла в Звенигород.

- Пойдешь со мной?

- Пойду. Спать где-то надо.

Сели в последний автобус, следовавший до санатория МВД. Вышли на центральной площади, где на невысоком постаменте стоял серебряный маленький Ленин с протянутой рукой. Гусев плохо знал дорогу до пансионата "Изобретатель", где ждали его

сейчас жена и сын Петя. Пока искали липу Чехова - ориентир, по которому Гусев всегда находил пансионат, - мальчик назвал свое имя: его, как и сына Гусева" звали Петром....

Жена при свете торшера сидела у телевизора, досматривала то ли "До и после полуночи", то ли "Взгляд", сын спал. На столе в хрустальной вазе стояли розы, источавшие приторный аромат.

Гусев сказал:

- Я не один.

Жена удивленно и с раздражением взглянула на него. В номер, замешкавшись, вошел чужой Петя и протянул тюльпан жене.

- Это вам, - сказал он.

- Кто это?! - воскликнула жена.

Неприятное беспокойство охватило ее. Гусев объяснил.

- Какой же ты грязный! - вновь воскликнула жена, осматривая мальчика. - А ну-ка, раздевайся и марш в ванную!

Она сдернула с него вязаную шапочку. Мальчик был стрижен наголо и вся голова его была в белых шрамах. Жена и Гусев испуганно переглянулись. Мальчик стал раздеваться. Все на нем было нечистое и дырявое. Но особенно уязвимым местом была обувь - истлевшие суконные ботинки с подвязанными веревками подошвами.

- Ой! - всплеснула руками жена. - Да откуда же ты такой!

Мальчик молчал.

Жена повела его мыться, а Гусев принялся за раскладушку. Вернулся чужой Петя в номер чистым, в сыновних новых трусах и майке. Жена приготовила ему ужин. Мальчик ел быстро и жадно, как звереныш.

Утром он сидел в кресле, приодетый в Петину-сына одежду, играл в электронную игру "Ну, погоди!", отвечал на вопросы жены и поглядывал на цветной экран телевизора.

Петя-сын ревниво взирал на чужака и шепотом отчитывал отца:

- Зачем ты его привел!

Мальчик выглядел запуганным и раболепным и все больше и больше замыкался в себе. Повезли его на вокзал.

- Куда же ты поедешь? - спросила жена у него.

- Не знаю, - ответил мальчик. - Может, в Дмитров. Там у меня тетка. А к папке не поеду. Он, как напьется, так бьет меня по голове.

ВИНОВАТЫЙ

Мальчик вошел в электричку, сжимая в руке бумажку с московским телефоном Гусевых. Двери захлопнулись. Провожая влажными глазами электричку, жена сказала:

- Мне кажется, он сбежал из детдома. Подруга говорила, что в Дмитрове есть детдом... И никакой тетки там у него нет.

- Вся голова в шрамах, - мрачновато добавил Гусев, глядя на удаляющуюся электричку.

Жена взяла его под руку и глубоко вздохнула. Светило солнце и снег серебрился.

- Не сдавать же его было в милицию, - сказала жена.

- Конечно, - сказал Гусев, чувствуя себя до конца виноватым и перед женой, и перед чужим Петей, и перед сыном, и перед всеми, всеми, всеми...

*В книге "Философия печали",
Москва, Издательское предприятие "Новелла", 1990.*

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

рассказ

Нет необходимости рассказывать о трудной жизни Козловой, потому что все у нее было трудно, чего ни коснись: и рождалась она через кесарево, ну, никак не пролезала в горловину своей машины, Дарьи Ивановны, бывшей колхозницы, сбежавшей из деревни даже без справки в Москву, считая, что Москва ее ждет. И что же вы думаете? Хотя нет необходимости рассказывать, как она спокойно на вокзале подъехала к старшине милиции Козлову (в девках у нее фамилия была Баранова; и нечего думать, что автор что-то выдумывает - сплошь и рядом в нашей советской стране Козловы женятся на Барановых, а в свою очередь Барановы выходят замуж за Козловых).

На Курском, конечно, вокзале, потому что Баранова, семнадцать лет, с огромной грудью и таким же огромным задом, приехала на паровозе (именно на паровозе, то есть, паровоз, шипящий паром, притащил в Москву, для тех, кто не знает, что это за город, то есть для непонятливых, таких, как прапорщики, повторяем - в Москву, столицу нашей Родины, паровоз, еще раз! притащил) с Дальнего Востока; вагоны, с маленькими еще окошками: другими вагонами, сарайными, еще довоенными. Баранова вышла из вагона со своим узлом и растерялась: столько народу и огней она еще не видела. Испугалась Баранова столицы нашей Родины. А тут еще включили радиосеть на весь Курский вокзал:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот.

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город, -
Сердце Родины моей!

От слов этих торжественных, от музыки этой маршевой, сердце Барановой сжалось, затрепетало, а губы сами разомкнулись и запели припев:

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая,
Страна моя,
Москва моя, -
Ты самая любимая!

Ее толкают тюками, мешками, чемоданами, а она задрала круглое свое лицо на громкоговоритель и орет припев. А что еще делать приезжей на перроне Курского вокзала, когда это конечная остановка ее маршрута? Дальше идти некуда. Нет, есть, разумеется, куда идти, - Москва, ведь большая деревня, но не к кому идти, никого из родных и знакомых нет в Москве у Барановой, на ура приехала, убежала от старой дуры матери да от сестер и братьев, меньших, голодных и грязных. Тут на платформе, увидела, старшина в милицейской гимнастерке и в хромовых сапогах разгуливает, она прямо к нему, бойкая, надо сказать, Баранова была, - к нему, бойкая, к нему, милиционеру, сразу эдак прямо, раз, как говорится, и два, к старшине бойко подходит, к милиционеру, очень бойко, без всяких там стеснений, прямо, по-товарищески, по-советски, мол, так и так, подходит и говорит, что спать ей негде, а приехала ударно помогать возводить, сооружать, строить вторую очередь, индустриально, стахановски... Нет необходимости подробно останавливаться на том, как здесь же, на вокзале, Козлов погладил ее огромный зад и после смены повел к себе в подвал в Гореховский переулочек, недалеко от вокзала, к себе повел, правда, не совсем к себе, а вроде как в общежитие, потому что сам после армии, после службы в Москве устроился в милицию, не поехал домой в деревню, а в милицию подался, еще бы он не подался, Козлов не подался, да Козловы в Брыкиных Горках (деревня так его называлась, именно так) самыми хитрыми считались. Ну, Козлов в

милицию подался, на все готовое, работать не надо, форму дают, жилье дают. Нет необходимости подробно все это выкладывать, это много раз каждый слышал, что в Москве ни одного москвича не осталось, а все сплошь Барановы и Козловы, но дело сейчас не в этом, а в том, что Козлов купил по дороге две бутылки “сучка” (для прапорщиков отдельно разъясняем: “сучок” - водка с коричневой сургучной запайкой, второго сорта; водка первого сорта шла с белой головкой, тоже сургучной, но белой, на праздник брали белую головку, а так - “сучок”, потому что считалось, что эту водку, то есть “сучок” делают из дерева, а белую головку из пшеницы), отдал по приходе друзьям-мусорам, ну, они вышли на пару часиков во двор за стол, в домино с литром отменно постучали, а Козлов несколько раз оплодотворил Баранову и влюбился в нее, потому что одна грудь ее могла составить три головы Козлова, а у Козлова, известно, вкус какой, чем больше, тем лучше. Это не Ленин вам с фразой: лучше меньше да лучше! Тут Козлов с любовью к породе: чем больше вымя, тем больше молока!

Нет необходимости рассказывать, как Баранова стала Козловой, как ей живот ее жирный располосовали в роддоме и вытащили другую Козлову, у которой жизнь оказалась невероятно трудной. Тупа была новая Козлова до неприличия. В первом классе сидела три года, все время путала букву А с буквой Я, а умножать совсем не умела. Зато в третьем классе научилась впускать в себя баловника Быкова, из конца коридора, подвала (“колидора” - говорила новая Козлова) и в двенадцать лет забеременела и родила чего-то странное, сросшееся, что ей и не показали, а ее саму отпустили без ничего. Нет необходимости рассказывать, что Козлова с трудом закончила семилетку; больше пока не рожала, потому что в роддоме ей подсказали, когда можно давать мужикам, а когда нельзя. Козлова любила давать мужикам, но теперь стала придерживаться совета и не беременела. А мужики ее били. Трахнут и морду набьют. Потому что она любила все прямо им говорить. Конечно, они сами виноваты: грязные, черные руки, черно под ногтями, желтые от табака подушечки пальцев, морды красные, с рыжей щетиной, не брились никогда, козлы, не в смысле, что они Козловыми были, а в самом прямом смысле - козлы, да еще вонючие. Она, Козлова, прямо так им и говорила, прямо, бойко, мол, козлы вы вонючие. Ну, тут они ей в рожу, в глаз, по зубам. Она вся избитая в столовую ходит. Не обедать, а полы мыть, посуду мыть.

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

Зад в мать у нее пошел, не обхватишь, как нагнется, так мужики за ширинку хватаются и сзади, а она наотмашь ручищей своей как врежет по сусалам, так тот валится сначала, а потом драться лезет. Знамо дело, они боксом лучше владеют: и слева как дадут по уху, и справа - в бровь, а то и в глаз.

Нет необходимости говорить, что глаза сразу красными, кровяными становятся, прямо, все в крови, нет белого места, нет белка, одна кровь. И представьте себе, выходит такая баба, Козлова, то есть, в зал, где люди обедают, жирная, квадратная с избитой мордой и с красными глазами! Все шарахаются от нее, лица в тарелки прячут, а в следующий раз не приходят в эту столовую. А Козлову увольняют. Но Москва, - нет необходимости об этом лишний раз напоминать, - большая деревня. Козлова за месяц сводит с рожки синяки и спокойно устраивается в другую столовую, потому что привыкла к столовым: есть очень любит и бесплатно. Тут и начала она детей рожать, сошлась с одним и начала детей рожать. Нарожает, а ей муж в глаз, и опять увольняют. Но, может быть, это к лучшему, потому что с синяками, пока отходит, лучше детей воспитывает: бьет их ремнем, а то и кулаком в зубы. Теперь Митька в тюрьме сидит, а Верка блядует, Николка, правда, хороший, на Микояна, мясокомбинате, скот забивает, мясо носит домой сумками.

Конечно, нет необходимости рассказывать о том, что старый дом Козловой сломали, а ей и мужу с детьми дали четырехкомнатную квартиру в Солнцево, с видом на лес и на взлет внуковских самолетов, в семнадцатипэтажном новом доме, с телефоном, с холлом в десять метров, с кухней в двенадцать. Это вшивая интеллигенция, вымирающая, московская, москвичи, вшивые москвичи ютятся в однокомнатных-двухкомнатных хрущобках, а Козловы живут полной грудью, хотя и очень трудно. Походи всю жизнь с битой рожей!?

СТОЛ

рассказ

Во двор вышли ребята, новоселы, познакомились, поговорили и решили вкопать за трансформаторной подстанцией стол для карт и домино, а также, на любителя, для шахмат. Но в шахматы среди ребят мало кто играл. Толян, который здорово стоял на воротах, говорил, что играл на второй разряд, но проверить было не с кем. Толян до этого жил в бараке в Останкине. У него был горбатый и красный нос. Витек жил на Малой Ботанической, в пятиэтажке из силикатного кирпича, с двумя тетками в одной комнате; вот теперь дали от райисполкома ему с женой двухкомнатную. Лека вообще жил в Лосинке, у пограничного училища, в каком-то шалаше, но так как работал на Северянке на заводе сельхозмашин, то и дали ему на пятерых трехкомнатную. И другие ребята жили кто где, но больше все на севере Москвы. Один Соловей приехал с Люсиновской; кстати, в футбол играл неплохо, потому что в свое время выступал за “Красный пролетарий”, за заводскую команду, на первенство Москвы. Они в одной группе были с “Мясокомбинатом”, “Окружным отделением ж/д” и “Рублевым”. У Соловья было трое детей один уже ездил после школы с рюкзачком в “Спартак” на Ширяевку.

Борька, здоровый, из третьего подъезда (он раньше на Михалковской улице жил), вынес бур, простой, такая палка с лопастями приваренными. Пробурили глубокую дырку и другую пробурили, и для скамеек пробурили. Потом Толян, Лека и Соловей притащили со стройки несколько асбестовых труб. Опустили трубы в отверстия, те встали почти что, как говорят, заподлицо, не шелохнутся. Сверху из бревнышек сделали пробки, вставили в отверстия торцов, а на них примостили сколоченную столешницу, пришили гвоздями. К вечеру и лавки были готовы.

Ну, тут, разумеется, сбросились, кто сколько мог: Толян дал трояк. Соловей - пятерку, Лека - рубль... Борька сбежал, успел взять по 2 р. 87 коп. два литра, то есть четыре пол-литры. Сели за стол обмывать. Выпили хорошо. Дяде Мите налили, он в тапочках вышел с собачонкой погулять. Потом он повеселел и вынес гармошку, еще на фронте выучился играть. Эх, и пели же все! И "Москву майскую", и "По долинам и по взгорьям"!

Потом, разогревшись, сходили в деревню, выкопали несколько кустов сирени, принесли и уже в потемках посадили вокруг стола. Утром вышли любоваться столом. Он освещался весенним солнцем. Толян вынес домино. Сели все ребята. Пустили пенсионеров сначала. Потом разбились на команды: играли по парам. Кто-то принес пивка, похмелились. Потом гоношили-гоношили, набрали на красное по 1р. 12 коп., молдавское. К вечеру подсел к ним участковый, положил планшетку на стол, сыграл сначала один раз, потом другой, а потом червонец на стол положил. Взяли водки. Участковый выпил и интересно рассказывал о своей судьбе; оказывается, он не москвич был, а с Дальнего Востока, на сейнере ходил по Охотскому морю, рубли большие зарабатывал.

Осенью умер вдруг ни с того, ни с сего гармонист дядя Митя, Гроб вынесли ребята на руках во двор и поставили на стол попрощаться. Плакали все подряд. Скинулись тут, конечно, все, кто был дома. Женщины вышли с носовыми платочками. Голосили. Ребята поехали на Востряковское кладбище, до могилы дядю Митю донесли, и комья земли бросили в могилу, на крышку гроба. Потом приехали и за столом устроили поминки. Внук дяди Мити, Генка, после вынес дедовскую гармошку и неумело пропиликал "Амурские волны".

Женщины года два приглядывались к столу, а потом, когда ребята были на работе, в тени сирени стали играть в подкидного дурака и сплетничать. Но как к вечеру ребята приходили с работы, то уступали им место.

На следующий год случайно попал под машину Толян. Хоронили все ребята, гроб поставили на стол, а венки прислонили к лавкам. Потом все ребята, кто мог, сели в похоронный автобус и повезли в последний путь Толяна па Домодедовское кладбище...

В живых теперь только Соловей, ему 70 лет; он стоит у окна на кухне и смотрит на стол, все тот же, за которым сидят ребята, мо-

Юрий КУВАЛДИН

лодые, и играют в домино. Среди играющих внук Соловья, Петя. Он студент медицинской академии. После занятий пришел и сразу побежал играть в домино. Традиция.

Потом, когда, наигравшись, он вернулся, Соловей сказал ему:

- Когда помру, не забудь гроб со мной на стол во дворе поставить. И заплакал. Внук расхохотался и сказал:

- Я тебя, как Ленина, забальзамирую!

“Новая Россия”, № 1-2000

ПОБРИЛСЯ

рассказ

Старик Степаненко собрался умирать. Встать утром не смог. Лежал в постели и чувствовал, как силы медленно покидают его. Вчера справил девять дней жене и вот теперь сам уготовился следом. Вчера чувствовал себя сносно, даже ходил на улицу с гостями. Приезжали дочь с мужем, тетка и двоюродная сестра. Посидели, помянули. Степаненко до метро их проводил. А вот теперь встать не может.

Он попытался пошевелить пальцами ног, но до них было так далеко, что он этих пальцев не чувствовал. Глаза плохо стали видеть. Открыл - и едва люстру различает. Мутно все, как в тумане. Помнится, он заблудился мальчишкой в тумане и попал в овраг. Насилу выбрался. До деревни нужно было в другую сторону идти. Плохо и с памятью стало; забыл, кто вчера еще был. В погонах, прапорщик. Кто?

Старику Степаненко казалось, что он теряет сознание. Уходило из него сознание. Причем безболезненно. Конечно, Степаненко никогда еще в жизни не умирал. Было, правда, в юности, когда он после армии завербовался на ЗИС, завод имени Сталина, упал с крана и ушибся с потерей сознания. Но больше такого не было. Отработал на родном заводе ровно 50 лет, квартиру вот эту в Нататине получил, с видом на Москву-реку.

Хороший завод имени Сталина. Степаненко Лихачева помнил. Лихачев ему на партконференции лично руку жал на сцене ДК и грамоту почетную вручил за победу в социалистическом соревновании. А он теперь жену свез на Домодедовское кладбище и сам умирает. Раньше все ребята в цеху смеялись, что умирать не страшно. Оказалось, что очень страшно, но как-то одновременно и приятно. Словно плавно едешь на чем-то мягком по трубе, а впе-

реди солнышко светит, травка блестит, цветочки разные, птички поют и нет комаров. Лежишь па травке, и никто тебя не кусает. Очень приятно умирать, не страшно.

Заказал на кладбище памятник жене. Уплатил все сбережения. Себе разве что оставил на похороны. Кто же теперь заботиться будет о могиле? Дочь, конечно, позаботится, но сам бы он по-мужски все проследил. А то и на кладбище халтурят. Сделают абы как. Странно, почему Степаненко ног своих не чувствует? Он попробовал рукой, правой, до ноги дотронуться, но и рука не шевелилась, Левая рука тоже молчала.

Степаненко открыл глаза: люстра совсем размазалась но полку. И он заснул. Опять ехал по длинному тоннелю куда-то к поляне. Ехал и улыбался, как будто только что после смены выпил с ребятами на троих. Хорошо раньше было, коллективно как-то. На демонстрацию собирались, красные флаги и транспаранты разбирали, шары и цветы. ЗИСовская колонна самая большая была. И Сталин так это с трибуны им помахивает рукой, мол, не подведите меня, ребята, делайте машину получше. Ребята не подводили. А потом на футбол собирались, когда автозаводцы играли, еще на "Динамо", Лужников не было, не говоря уже о своем стадионе на Восточной улице. Здорово было. Выпьют ребята после смены - и на "Динамо". Поболеть.

Стрельцов даже приснился Степаненко: бежит не спеша Стрельцов, а ему Иванов пасует, а Стрельцов в девятку забивает мяч. И так несколько раз во сне повторяется: Иванов пасует Эдику, а тот с ходу заколачивает в паутину. Как телевизионный повтор дают: опять Стрельцов бьет и забивает. А Сталин стоит па мавзолее в фуражке своей серой с матерчатым козырьком и помахивает автозаводцам. А у них в колонне аккордеон. И все ребята дружно запевают:

Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет Отчизна нас...

Потом коммунистические субботники вспомнились. Тоже так с утра, как на работу, шел Степаненко. Жена завтрак с собой ему накручивала. Он в карман его сунет - и к заводу, к главной проходной: газоны приводить в порядок, деревья белить, кусты подстригать. А весна уже надвигается. Черный снег кое-где только под

кустами лежит. Солнце дурманит. А тут ребята соберутся в кучки, перекурить, ну и, знамо дело, по стаканчику, и булка с котлетой жены идет как нечего делать! Там уж флаги красные развешивают. Грузовик подают с громкоговорителем, а из него оркестр как ударит всеми медными и деревянными:

Будет людям счастье,
Счастье на века!
У советской власти
Сила велика!

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути,
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!

Водишь так это не спеша грабельками по газону, шуришься на солнышко, кайф ловишь, зная, что после субботника - на футбол, и перед футболом в павильончике с ребятами еще бутылочку водочки раздавишь, так это культурно, тихо, но и весело.

Ехал Степаненко по трубе к смертельному раю, а видит, справа показалась другая труба, ответвление, и красная табличка вспыхивает, как раньше в кино "Запасный выход". Красная вспыхнула табличка "Жизнь". Степаненко растерялся. Туда, в рай, так приятно ехать, как па футбол, после того, как сообразил на троих; а при виде таблички "Жизнь" кольнуло под лопаткой, заболело в животе и рука занемела.

Открыв глаза, Степаненко увидел люстру. Резко, контрастно и ярко. Пошевелил пальцами ног. Руками потрогал живот, ноги. И подумал, что свернул он в темный коридор жизни. Степаненко попытался встать, но не смог, тело словно приморозилось к постели. Руки и ноги ощущались, но были ватными, непослушными. Степаненко прикусил губу и укололся собственной щетиной. Внутренняя нежная кожа наткнулась на щетину. Сколько же он спал, если такая щетина выросла. Только подумал об этом, как люстра опять расплылась, а на трибуне возник Никита Сергеевич Хрущев, а Степаненко несет по длинной палке голубя мира. Веселый, с ребятами из цеха поддали, и голубей несут по Красной площади, в сводной колонне автозавода имени Лихачева. А после демонстрации с

ребятами еще зашли в шалман на Ордынке, выпили, закусили, потом веселые по домам разошлись, а там - столы накрыты, гости собираются.

А 2-го мая на "Торпедо", автозаводцы играют, настоящие, чемпионы. И Эдик с Ивановым, Воронин, Маношин...

Чувствует Степаненко, что опять по трубе поехал к поляне без комаров, но с цветами. Едет себе плавно и безболезненно, а где-то далеко внутри мыслишка мелькает: вот, мол, сейчас справа где-нибудь отвлечение в жизнь появится. Но не тут-то было, движение разрешено в этот раз только в прямом направлении к счастливой райской смерти - и все. Точка. Страх смерти не было, но все же как-то непривычно было без альтернативы. Голову хочет повернуть направо Степаненко, а она не поворачивается, да и справа гладкая стена тоннеля, полированная, как стекло. Странно, что же в этот раз не показывается поворот с табличкой в сторону жизни? Внимательно следил за движением к раю Степаненко, и вдруг, наконец-то, возник черный провал в сторону жизни. Степаненко открыл глаза и ничего не увидел, потому что было черно и пепельно, как после пожара. Привыкнув к темноте, глаза различили слабый проем окна. И сердце успокоилось. Жизнь. Степаненко, высунув язык, поводил им по щетине. Некоторые волоски колосились, как швейные иголки. И смерть ощущалась в этих уколах.

Превозмогая смерть, Степаненко попытался подняться. Даже чуть-чуть привстал на локте, но большего осуществить не смог. Пот выступил на лбу. Степаненко собрался с силами и повернулся на бок, думая об одном: как бы побриться? Он закрыл глаза, сосредоточился, прервал дыхание, сжал руками край подушки, напрягся и вдруг резко рванулся вперед.

Он упал с кровати, но не ударился, только грохнулся шумно, как гряда досок, и затих, как на фронте перед ожиданием атаки. Отдышавшись, облокотился, стиснул зубы и медленно пополз в темноту в сторону коридора. Он полз очень медленно, руки и ноги едва его слушались. Сначала он подтягивал одну ногу, потом распрямлял ее и передвигался вперед. Затем точно так же подтягивал другую ногу. Включить бы свет, но куда там, хватило бы сил доползти до ванной.

Начало светать. Степаненко выполз в коридор и лежал теперь на коврик перед ванной. Лежал без движений, потому что как бы потерял сознание или заснул, но в сознании, в просмотровом за-

ле жизни был все тот же длинный коридор, ведущий к радостной поляне смерти. Иногда поляна превращалась в великолепный зеленый газон родного стадиона, и Стрельцов спартаковцам, этим подросткам (что это за селекция; словно из секции мягких, плюшевых игрушек, все маленькие, в стеночку играют, метр пять с кепкой росту!), заколачивал гол. Степаненко приободрился во сне и уже привычно различил справа вспыхнувшую стеклянную табличку, под которой зажигалась лампочка; как в табличках прежде у ворот зажигалась лампочка “Берегись автомобиля!”, так и тут зажглась: “Жизнь”.

Когда Степаненко открыл глаза, в коридоре было светло, шел свет с кухни. Степаненко опустил взгляд на свои синие, почти что мертвецкие ноги, пошевелил зеленеющими руками, и вновь высунул язык, чтобы им проверить рост щетины. Она росла, как пшеница яровая в урожайный год:

Стеной стоит пшеница золотая...

Вспыхнула, как табличка, яркая мысль, образом безопасной бритвы, никелированной, с новым лезвием, вспыхнула, как картинка на цветном экране телевизора. И в этот момент Степаненко сразу и одновременно увидел немецкую линию обороны, жену с завтраком в руках, товарища Сталина на трибуне Первого мая, Лихачева с грамотой для Степаненко и с великим усилием встал на колени... Тут уж Лихачев со Сталиным поддержали, поставили на ноги. Степаненко первым делом щелкнул выключателем и открыл дверь в ванную. Там было уютно и светло от белого кафеля и большого зеркала. Степаненко, не зная сам как, вошел в ванную и встал, схватившись обеими руками за раковину, перед зеркалом. На него смотрел мертвец, зеленый, с белой густой щетиной. Особенно поразила Степаненко эта щетина. Он слышал, что у покойников она растет в несколько раз скорее, чем у живых.

Обсуждать этот вопрос Степаненко не стал, пока были силы, неизвестно откуда прилившие, он взял дрожащей рукой станочек с лезвием (всегда после бритья готовил станочек к новому), пустил из крана горячую воду, смочил помазок, свинтил колпачок с пенистого крема, намылился и, повернув один бок к зеркалу, первый раз провел бритвой по щеке от виска к подбородку. Осталась чистая, как от комбайна в поле, полоса. И кожа жизнью задышала.

ла.

Глаза Степаненко словно расширились, свету прибавилось, а лоб из зеленого превратился в нормальный, живой. И силы начали приливать. Всего один раз провел бритвой, а жизнь, зацепившись, вспыхнула вновь. Дальше бриться было легче. Ноги окрепли, руки перестали дрожать. Степаненко провел бритвой по другой щеке, и ему захотелось выпить чашечку кофе с булочкой с маслом. Он побрил подбородок вокруг кадыка, и ему уже захотелось приготовить себе яичницу.

Когда он вышел через час на лавочку перед подъездом, сосед, уже сидевший в соломенной шляпе с газетой, спросил:

- Не слышал, что тренера в "Торпедо" сняли?

- Нет, не слышал, - сказал Степаненко, присаживаясь рядом.

В кустах сирени чирикали воробьи. Приятно было дышать свежим воздухом.

- А кого назначили? - спросил заинтересованно Степаненко.

- Иванова.

Сил еще больше прибавилось, Степаненко встал, покопался в карманах, нашел десятку и сказал на радостях:

- Сообразим?

Сосед приподнял шляпу, подумал, хмыкнул и сказал:

- В честь возрождения "Торпедо" - можно!

И встал с лавки.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

рассказ

Сначала Гриша жил в Оружейном переулке.

Это было первое место его жительства. Простое как простое предложение. В общем, так: Гриша Клейнард родился 28 октября 1944 года в Москве, в Оружейном переулке...

То есть, конечно, не в самом Оружейном переулке и не в двухэтажном доме, которого теперь нет, а в родильном доме на Гольяновской, у Язуы, в Лефортово, а уж оттуда его привезла на трамвае мать в Оружейный переулок, зарегистрировала его "Гришей Клейнардом", хотя Моисей Клейнард уже был на фронте, а сама мать была Жуковой Ксенией Федоровной и могла зарегистрировать Гришу как "Ивана Жукова", к примеру.

Но не зарегистрировала, потому что очень любила Моисея Клейнарда, работника исполкома, который прописал Ксению Жукову, деревенскую женщину /из-под Орла/, сразу к себе в Оружейный переулок, поскольку вступил с нею в законный брак. Что еще можно сказать о первом месте жительства Гриши Клейнарда? То, что переулок параллелен Садовой-Триумфальной улице. То, что расположен у метро "Маяковская". То, что до улицы Чехова рукой подать...

Ксения Федоровна Жукова сразу после рождения Гриши получила с фронта извещение о гибели Моисея Клейнарда. Ксения Федоровна долго плакала, сидя у окна и глядя на осенний дождливый переулок. Она плакала и покачивала коляску с грудным Гришей. Она плакала, еще шла война, а жил уже новый человек Гриша, рожденный на свет ею - Жуковой Ксенией Федоровной. Она плакала, а Гриша крепко спал с соской. Она заметила, что чем хуже погода, тем крепче спит сын. Она плакала.

Гришу отдала в ясли, потому что еще Моисей Клейнард устроил Ксению Жукову на курсы машинисток; теперь она заканчивала

эти курсы и могла печатать вслепую. Руководитель курсов приис-кал Жуковой работу в издательстве. И не простую работу: Ксения Федоровна сразу попала секретаршей к директору, который через месяц влюбился в Ксению Федоровну, через полгода развелся со своей старой женой, ушел от нее к Жуковой с Гришей в Оружейный переулок. Через год директору дали большую квартиру на Калужской.

Квартира на Калужской стала вторым местом жительства Гриши. Гриша Клейнард, Ксения Жукова и Владимир Трофимов (директор) стали жить вместе новой жизнью, каждый со своей фамилией, как соседи, но не как соседи, а как одна семья. Гриша услышал новое слово "отчим", но оно не закрепилось, а закрепилось имя "Володя". Маленький Гриша входил в кабинет сорокалетнего Владимира Ивановича Трофимова, директора большого издательства, и говорил:

- Володя, давай поиграем в шахматы...

Читать Гриша начал лет с пяти, причем сразу со сложных книг, вроде Свифта или Рабле. У Гриши была своя комната, свой письменный стол. Мама шила Грише нарукавники. Он сидел за столом в нарукавниках, как очень умный бухгалтер, и неспешно переворачивал страницы книг. Постепенно Оружейный переулок забывался, потому что Калужская с высокими домами приглушала память о старомосковском переулке. В доме был лифт... Потом появился телевизор. Потом Гриша стал интересоваться футболом и болеть за ЦСКА, потому что Володя болел за ЦСКА. Они бывали на "Динамо". Стадион вспоминался размякшими дорожками под опавшими листьями. Поход на стадион всегда почему-то сопровождался дождем, зонтом, прохладой. Но дома - тепло. Горит настольная лампа. Гриша, вернувшись, садится за письменный стол, надевает нарукавники и читает.

Однажды Володя спросил:

- А ты знаешь, что в Оружейном переулке родился Пастернак?

Ну, во-первых, Гриша не знал, кто такой Пастернак, а во-вторых... Что во вторых? Почему бы Володе прямо не сказать: в Оружейном родился кроме тебя еще такой-то. Нет. Володе доставляло удовольствие строить фразы вопросительно.

Итак, Гриша родился в одном месте с Пастернаком. Не потому ли, став страстным любителем поэзии, после школы при основательной поддержке Володи поступил на филологический факуль-

тет Московского университета. И на первом же курсе влюбился... Нет, не в однокурсницу, а в воспитательницу детского сада. Воспитательница, Галя, подошла к первокурсникам, среди которых был Гриша, когда они сидели в беседке детского сада, пели под гитару: "Во дворе, где каждый вечер все играла радиола..." и пили портвейн "777". Она подошла попросить ребят очистить территорию детского сада, а сама в итоге выпила стакан портвейна и в тот же вечер отдалась Грише, который не знал до этого всепобеждающей силы плотской любви.

Гриша привел невесту на Калужскую. Володя был против, но Ксения Федоровна отнеслась к поступку сына понимающе. Галя была весела, курноса, просторечива и любила выпить. В доме часто стали проходить застолья. Встал вопрос о месте жительства молодоженов. К тому же Галя забеременела. Гриша сидел за столом с учебниками, а Галя, напротив, на диване, поджав ноги, с большим животом, читала. Гриша подбирал для нее легкое чтение, вроде Анатолия Рыбакова или Ильфа с Петровым.

Володя наскреб для Гриши с Галей на кооперативную квартиру. На Профсоюзной улице. Двухкомнатную. Переехали. Гриша успешно окончил университет, устроился в НИИ и начал писать длинные, напичканные новейшей западной терминологией статьи со множеством ссылок, сносок. Он писал при свете настольной лампы, покачивал коляску и ждал Галю. Галя приходила пьяная, лезла целоваться, сбрасывала на пол писанину Гриши.

Профсоюзная была третьим местом жизни Гриши Клейнарда. Веселым местом жизни. Ибо, как уже было сказано, Галя любила выпить. Каждый вечер квартиру наводняли гитаристы и манекенщицы, филологи и геологи, переводчики и теннисисты, врачи и стукачи. Пробки из шампанского летели в потолок. Гриша тоже выпивал. Его все просили почитать Пастернака. Гриша поглаживал бородку (отпустил), затягивался трубкой (начал дымить) и зывал:

Сестра моя жизнь...

Все в восторге аплодировали. Но Гали он не видел. Потом дергал дверь ванной, она была закрыта изнутри. Он настойчиво просил открыть. Галя открывала, одергивая юбку, и с нею в ванной комнате был какой-нибудь бард или курд, филолог или альпинист.

- Ну, чего ты, Гриша! - басил этот кто-то. - Галке плохо стало, вот я ей и помогал...

Гриша шел, потупив голову, в комнату, выпивал стакан, забывався в новом приступе веселья.

Ребенок у Гриши с Галей был женского рода, названный Лией. Ксения Федоровна не возражала против этого имени, хотя предлагала назвать Машей или Олей. Гриша настоял на Лии. Бог с ней. Но быстро она выросла. А Галя пила.

Гриша по служебной линии несколько раз выезжал в Германию. Ничего не говоря Гале, однажды он подал на развод. То есть попросту бросил жену с ребенком, или ушел из дому. Это кому как нравится. И уехал в Германию. С сотрудницей своего НИИ Белкой Глузман.

Немцы поразительно культурны: на красный свет улицу не переходят. Нет ни одной машины, а они стоят на переходе. Можно спокойно перейти дорогу, а они стоят. Потому что красный свет. Потому что дисциплинированы. Потому что Белка воспитанна. Потому что она не пьет. Потому что пишет о Ходасевиче. А Гриша о Пастернаке. Потому что тишина. Потому что порядок. Потому что марки. Потому что свой домик. Потому что выдают пособие. Потому что...

Потому что германский полицейский, штрафую Гришу за переход улицы на красный свет, подписался на квитанции: "С дружеским приветом!"

РЯДОВОЙ

рассказ

Небо цвета шинели, шинель цвета неба, забор, КПП, звезда, мелкий, очень мелкий, до жути противный мелкий дождь. Старшина издевается над молодыми: поставил по стойке “смирно”, сам под навесом, а они под дождем. Срочный старшина. Пока прапорщик ушел на обед, этот с жирной лычкой выпендривается. Рядовой Савельев, из Москвы, он один в этой части из Москвы, чувствует, как капли стекают за шиворот и растекаются по спине. Ему обидно, что он связан каким-то неведомым страхом. Страхом устава. Что вот если он сейчас выйдет из строя и даст в зубы этому неграмотному хому, то его, рядового Савельева, посадят. Проматывая в мозгу эту нехитрую комбинацию, приходится идиотом стоять тут и слушать этого старшину. А он не дает команду “вольно”, минут пять, наверно, стоит подразделение “смирно”.

Наконец, старшине самому, видимо, это надоедает, он гнусавым голосом дает команду “вольно”, а потом - “разойдись”. Солдаты тут же бегут под навес. Кое-кто закуривает. Закуривает и Савельев, красными ладонями прикрывая огонь. Савельев рыжеволос и конопат, худощав, ему 18 лет, он окончил школу и не поступил в институт. Денег у родителей на платное обучение не было, да и родители не интересовались делами сына. Растет, ну и пусть себе растет. Отец сильно выпивал, но работал шофером в автобазе “мосводоканала”, ездил на ЗИЛе, синем таком фургоне с белой полосой. Мать работала всю жизнь поварихой в столовой министерства торговли, на Кировской. Все время кормила Савельева, кормила, а он все не хотел есть, не хотел. И вырос не такой, как все. Отец с матерью даже удивлялись и переглядывались, мол, чего это он водку не хлещет, морду дружкам не бьет? Подозрительно.

Главное, слова он в последнее время стал произносить странные, таких, которых отродясь в роду Савельевых - отца, и Жужковых - матери - не знали. Например, "контрапункт"... Ну, спрашивается, зачем такое слово в жизни нужно? Снюхался сын с нехорошей компанией каких-то композиторских детей. Сам стал ходить на занятия на рояле. И купил на свои аккордеон. Устроился работать - ноты развозить. Но, говорит, мало теперь композиторы получают, гонорары пропали. Вот тоже словечко - "гонорар". Не могут просто сказать - получка.

Савельев курил и с тоской смотрел на забор, на мокрую площадку, где они маршировали и думал о том, что он напишет для начала несколько хороших песен, а потом перейдет к сюитам и концертам для фортепиано. Серые армейские будни потянулись полмесяца назад. И нечего их, думал Савельев, приукрашивать. Трезво нужно взглянуть на армию. И Савельев смотрит трезво: ребята в основном малограмотные и бескультурные, сильно распространен мат, казарма тесная, как тюрьма, одеяла серые, сортир жуткий, вода не спускается, вонь и хлорка глаза ест, столовая как в лагере - длинные дощатые столы, покрытые протертой клеенкой, а главное - почему в половозрелом возрасте ребята - жеребцы! - насильственно удерживаются за колючим забором. Все серо и неприглядно, а главное, как отец говорил, не нужно! Все войны в России армия проигрывала. Проигрывала! Повторяем еще раз для прапорщиков: проигрывала! Спасало страну народонаселение, не забитое казармой и дураками. Война - это вольница, с вшами, но и с бабами. Овладение вражеским населенным пунктом означал совокупление с вражескими женщинами. Один вид женщины сводит солдата с ума. Эх, Савельев сейчас бы обнял какую-нибудь! Но где ее взять? Чеченцам и тем проиграли войну. И все загоняют, загоняют в казармы.

Только перекурили, опять команда строиться. Пришел прапорщик, вислоухий тунеядец, а с ним командир роты - капитан. Капитан спросил:

- Есть музыканты?

Савельев крикнул:

- Есть!

- Два шага вперед! - сказал капитан.

Повел Савельева в клуб, посадил за пианино, старое, расстроенное, но и на нем Савельев сыграл “Подмосковные вечера” и “Лунную сонату”. Капитан заслушался. А вечером, только легли, зажгли свет и скомандовали:

- Рота подъем, тревога!

Савельев оделся, встал в строй. Оказалось, пришел эшелон с имуществом из ГДР. Бросили разгружать. Под дождем, в потемках. Какие-то бесконечные тяжелые ящики, разное оборудование.

Савельев отходит в сторонку и закуривает. Его окликает старшина:

- Давай-давай!

Савельев зло бросает недокурную сигарету в темноту, красная точка летит, как муха. Савельев берется за ручки очень тяжелого ящика, поднимает и тащит из вагона. Конца этим ящикам нет. Через пять часов, к утру, измотанная рота идет спать, ее заменяет другая. Поспать дают до обеда, потом опять на разгрузку. Когда через неделю эшелон был разгружен, подошел другой. И снова - тяжелые ящики и понукания старшины и прапорщика.

Савельев искоса смотрит на этого тунеядца, закуривает и молча идет за вагон.

Прапорщик кричит:

- Назад!

- Я сейчас...

- Поссать, что ли?

- Ну да.

Савельев прячется за вагоном, видит, что за ним не наблюдают, и уходит дальше, за состав из цистерн, пролезает под сцепками, выходит к пассажирской платформе. Останавливается за будкой и тихо курит.

Подходит электричка, Савельев садится в нее, находит место у окна рядом с девушкой в красном пальто. Девушка при виде солдата отодвигается ближе к окну. Савельев тоже придвигается. Девушка недовольно, даже зло сопит и отворачивается к окну. Мелькают столбы и деревья.

- Давайте познакомимся, - вдруг роняет Савельев и краснеет.

- Зачем? - резко поворачивается девушка.

Савельев видит круглое конопатое, как и у него самого, лицо с носом-картошкой.

- Да так... Поболтаем...

Хотя болтать ему не хочется. И девушка ему не нравится.

Он сидит, он едет; через два часа он будет дома. Он не думает, для чего он будет дома? Он ни о чем не думает, потому что отучился за две недели скотского труда думать. Он просто дремлет возле девушки в красном пальто. Электричка, плавно постукивая на стыках колесами, везет его на Белорусский вокзал.

Савельев снится Большой зал Московской консерватории. Савельев во фраке и при бабочке выходит к роялю. Ударяет по клавишам. И его ударяют по плечу. Савельев открывает глаза и видит солдата с красной повязкой, за ним младшего лейтенанта и еще солдата.

- Документы?

- Нету документов, - без всякого страха говорит Савельев и косячится на девушку.

Та испуганно наблюдает за происходящим.

- Тогда пошли!

- Ну вот, и прокатиться до дому не дали, - зеваает Савельев и идет за патрулем в тамбур.

Девушка кричит вслед:

- Не трогайте его, он хороший!

ВЫСОКАЯ МОДА

рассказ

Зашел зоотехник Родин, в мятой серой шляпе, в потертой рыжей с засаленными черными пятнами, с разными пуговицами, одна из которых была с армейского бушлата, золотистая, со звездой, и с коричневой заплатой на локте телогрейке, в грязных с подвернутыми голенищами резиновых сапогах, с которых шматками слетала жирная глина на серый, давно не мытый дощатый пол.

Казаченко то ли улыбнулся, то ли всегда его круглое коричневое лицо с черными щелями глаз улыбалось. По паспорту он писался русским, но на самом деле был корейцем. Отец его, чтобы перебраться в Подмоскovie, взял себе фамилию “Казаченко”, чтобы не обращать на себя в документах излишнего внимания. В улыбке Казаченко не было как бы самой улыбки, а скрывалось некоторое надменное ироничное превосходство над прочими людьми. Волосы у корейца были длинные, свисали до плеч, лаково-черные, каждый волосок толстый, как леска.

Заросший, как дикарь, рыжебородый и рыжекудрый, одни тяжелые, как у гипнотизера, поблескивающие глаза выглядели из невероятных зарослей, Бакланов с неприязнью взглянул на корейца, отложил журнал и сел на кровати. Почему он так смотрел на корейца? Да потому, что он прилепился к Бакланову, а сам ни одной копейки добыть не мог, хотя говорил, что корейская община может что-нибудь подкинуть. На самом деле все обещания корейца оказались круглым нулем. А ведь и в советское время все тянул Бакланов. Казаченко начал с ним работать на фильме “Философские тетради” В. И. Ленина”, потом делал с ним такие фильмы, как “Сталеваы Запорожья навстречу XXIV съезду КПСС”, “Утро машиностроения” (о герое соцтруда Николае Забалдашкине), “Коммунист - имя существительное” (о первом секретаре Фрунзенского райкома КПСС г. Москвы Борисе Грязнове), “Третий трудовой семестр” (о студенческом строительном отряде МГУ) и др.

В избе было уже достаточно натоплено, но Казаченко и Бакланов были в полной одежде: в телогрейках и свитерах, даже в сапогах.

Родин без приглашения сел к столу, покрытому скользкой клетчатой клеенкой, потертой во многих местах, взял никелированную, с толстым черенком вилку и принялся тыкать ею в сковороду с жареной с репчатым луком картошкой. Бакланов сильно зевнул, со скрипом кровати встал и тоже сел к столу. Казаченко снял шапку, положил ее на угол стола и тоже сел. Родин достал бутылку, молча откупорил и налил всем в граненые стаканы.

В минуту тишины, пока пили, отчетливо слышался ход старых ходиков у печки.

Рыжие кудрявые космы Бакланова упали на лоб, горбатый нос покраснел, толстые губы залоснились от селедки, которой он закусывал.

- Хорошо тут на Вологодчине, как в доисторическое время, - сказал он задумчиво своим глуховатым баском, чтобы подыграть хорошему настроению зоотехника.

Бакланов встал и прошелся по избе, дабы размять затекшие ноги. Он был невысок и худ, но все его движения и позы были, что называется, монументальны. Вообще Бакланов всегда держал себя подчеркнуто надменно, и говорил свысока, давая понять этим, что он знает все обо всем, и манера держать себя таким образом, и высказываться столь непререкаемо и величественно лишний раз подчеркивают его превосходство над другими.

Родин пошел рассказывать о доярках. Казаченко встал из-за стола и включил приемник. Он был столь же горд и надменен, как его друг и коллега по работе Бакланов. Как и всякий надменный человек, Казаченко был мал ростом. Под музыку он несколько раз топнул каблуками и в ритм раскинул в стороны, а затем сложил на груди маленькие руки с короткими пальцами. Потом он с видом буддийского монаха прервал зоотехника и стал рассказывать, как он жил в Казахстане с другими корейцами, как сажал лук и как ел собак.

- Ну, это не дело! - услышав про собак, воскликнул Родин, и тут же налил себе и приежжим.

Недавно эту избу он продал корейцу. Стояла до этого изба без крыши, гнила. Жила в ней бабка, померла летось, ну, Родин и продал, за ящик водки. Теперь Казаченко наезжал сюда с друзьями поохотиться, да за грибами и ягодами. Два раза в неделю

ходил автобус на станцию за семьдесят километров. Другого транспорта сюда не было, и люди жили здесь отъединенно от общественного прогресса, национально ограничено.

В избе стало совсем жарко. Все поднялись и вышли на улицу. У забора стояла лошадь, запряженная в телегу. Родин отвязал лошадь, поправил шлею, перевернул сено, оскользнувшись, вспрыгнул задом на телегу, свесив ноги, и тронул вожжи. Лошадь наострила уши, взмахнула мордой с широкой белой, как положено, полосой между глазами, покосилась огромным блестящим глазом на Бакланова с корейцем, пока они усядутся так же, как Родин, свесив ноги, и тогда уж пошла, огибая палисадник, к дороге. Моросил дождь, и довольно-таки быстро темнело.

Заборы и избы почернели от дождей, и стояли безжизненно. Пахло болотом. Людей не было видно. В угловом доме только тявкнула собачонка, и тут же пропала. Проехали полем, по стерне. По дороге двигаться было невозможно. Дорога превратилась в густое коричневое месиво с полуметровыми колеями от колесных тракторов. Бакланов задумчиво смотрел на длинный смолистый хвост лошади, которым она изредка взмахивала, и Бакланову казалось, что это Казаченко взмахивает своей гривой.

За церковью, в которой был гараж и заодно конюшня, где распряг и поставил в стойло лошадь Родин, располагалась школа. Длинный серый, обшитый тесом барак светился огнями. В предбаннике двое учителей-мужчин, химик с физиком, пили из горла. Увидав новичков, встрепенулись, сунув бутылку за спину, но Родин успокоил:

- Свои, мужики, с Москвы.

Мужики с удивлением посмотрели на экзотичного корейца Казаченко и не менее экзотичного Бакланова. К корейцу Казаченко они никак не могли привыкнуть, и никак не могли понять, чего он забыл в их глухой деревне.

В коридоре на табурете стоял оцинкованный бак с питьевой водой, и к кранику на цепи была привязана алюминиевая кружка. В классе на сдвинутых столах в простых полулитровых темно-зеленых бутылках стояла водка, в больших эмалированных тазах, в которых обычно стирают белье, дымились горячие куски телятины, в тарелках лежал нарезанный хлеб, а рядом лежали целые буханки, и в мисках - крепко пахнущие укропом соленые огурцы. Народу было так много, что Бакланов и Казаченко рас-

терялись. А все лезли к ним, как к деятелям искусств, жали руки и знакомились. Бакланов и Казаченко работали на киностудии научно-популярных фильмов. Бакланов режиссировал, а Казаченко снимал кинокамерой. Местечко это им приглянулось, и вот они, в золотую осень, приехали отдохнуть. На корейца, когда он сел за стол, навалилась сзади грудью розовощекая директриса школы Суртайкина, мол, хочу выпить вместе и чокнуться. Суртайкина родилась в деревне под Саранском, в Мордовии, и по национальности была мокшанка, так как нет такой национальности - мордва, или мордвин, или мордвинка, а Мордовию населяют две нации: мокша и эрзя. Это для тех - кто понимает. Справа от корейца сидела с золотым зубом математичка, рыжая, как Бакланов, и плоская, как доска из дома парижских моделей. Бакланов на это шепнул корейцу:

- Я абсолютно, старик, уверен, что "синяя птица" вылупилась во Франции. Именно оттуда ветер дует. Почему? В этой деликатесной стране все прекрасно, кроме баб. Как сейчас помню: иду по Парижу и не могу встретить ни одной женщины с формами. А если и попадетсЯ - это просто сенсация какая-то! У нас же таких в метро навалом - роскошные бабы с тяжелыми кошелками. Россия - самая красивая страна благодаря нашим женщинам. А в Париже мужики настолько устали от своих тощих уродливых селедок, от их наигранности и неестественности, что в знак протеста у них возникло желание общения между собой, взаимного сочувствия и поддержки. А вот другой полюс - Америка со своей политической корректностью. Гомосеки, видите ли, "жертвы" жестокого общества. Они как бы "белые" негры-рабы (есть, правда, среди них и черные). И надо быть к ним терпимыми, бля, уважать их "самость". Но что из этого получилось? Сплоченное и агрессивное "голубое" меньшинство сразу же село на голову размягченному, аморфному, инертному "нормальному" большинству, да еще начало на нее срать. А если кто-нибудь из обсираемых начал возмущаться, его сразу же объявляли свиньей, которая не сочувствует "угнетенным", а потому заслуживает осуждения...

Слева от Казаченко сидела полная, щекастая физичка. Ее ляжка терлась о ногу корейца. Через нее, нашептавшись с Казаченко, сел Бакланов. Казаченко понимал, что Бакланов теперь накрепко замкнулся на этой теме. Дело в том, что он добыл чуть меньше миллиона долларов на производство фильма о голубых. Правда, не здесь, а в Германии, и через пару месяцев Бакланову с Каза-

ченко предстояло туда ехать. Чуть дальше, между двумя доярками втерся Родин. У него брат жил в Москве, на “Речном вокзале”, рядом с Центрнаучфильмом, и работал там слесарем в отделе супертехников.

Бакланова взял кто-то сзади за плечо. Бакланов обернулся. Ему улыбался директор совхоза Китаев и кивал на дверь, мол, пойдем, поговорим. Бакланов взглянул на корейца. Тот мотнул головой, чтоб не боялся.

Китаев вывел Бакланова в коридор, где уже вовсю курили мужики, и завел в комнату, напоминающую кладовку, потому что она была уставлена коробками, ящиками, лопатами и граблями. Китаев извлек из одной коробки запечатанную бутылку водки, поставил два стакана, и, открывая и наливая, объяснил Бакланову, что за столом у них не принято много пить, а тут - надо, чтобы за столом не пить. Бакланов этой тактики не понял, но махнул стакан, который Китаев наполнил под обода.

- Ты грузин, что ли? - спросил вдруг, крикнув, Китаев.

Несколько оторопев от прямого национального вопроса, который, считал Бакланов, задавать в наше время не то что неприлично, а даже оскорбительно, столь же прямо ответил:

- Еврей!

И действительно, отец его переименовал фамилию с “Бляхман” на “Бакланов” еще до войны, и внушал сыну, чтобы он не возносился над местным населением, а действовал столь же политически грамотно и тактично, как в течение тысячелетий действуют настоящие иудеи: маскируются под этносы и ландшафты. В Византии они были иереями, в Испании они играли роли испанцев, в Германии они носили немецкие фамилии и говорили на немецком языке, правда, искаженном, под названием “идиш”, в России они носят в массе своей русские имена и фамилии и говорят по-русски. Советы отца сын усвоил почти что полностью. А “почти” - это потому, что не мог переделать свою надменную внешность “богоизбранного народа” и не мог “унифицировать под народ” свою манеру говорить свысока. Действительно, Бакланову казалось, что он гениален, что он знает все, или почти все, что он начитан в философии, в филологии, блестяще знает режиссуру в лице таких, по его мнению, гениев, как Мейерхольд и Эйзенштейн, а уж об искусстве кино и говорить нечего. Там он плавал как рыба в воде.

Простительная улыбка разлилась по широкоскулому лицу Китаева, и он сказал:

- А то все говорили - грузин, грузин! А ты ж всего-навсего еврей, - он приударил именно на "я". - Это бывает. Я, к примеру, белорус, - добавил он как-то простительно приударив в слове "белорус" на "я" - "бялорус", как простительно отпускают что-нибудь в адрес несмышленных детей.

Бакланова поначалу это сильно обидело, но он постарался сдержаться, потому что знал, что всякий уважающий себя еврей непременно ввязался бы в пререкания, начал бы доказывать, что он не виноват, что он еврей, и так далее в том же духе, до того, что, мол, евреи самые лучшие люди на земле, что они избранники Божьи, про Бога сами написали Библию, дали веру славянам, христианскую веру, и вообще - родоначальники всех слов, и главного Слова, которое и есть Слово, из которого все живое пошло. Все эти мысли промелькнули в голове Бакланова, но как человек опытный, компромиссный и политически выдержанный, он понял, что на тему идеологическую (он считал, что еврей - не национальность /по национальности они арабы/, с Палестинского пятачка), еврей - это категория, и в переводе с греческого "иерей", от которого пошло русское слово "еврей", означает - священник, или святой). Разумеется, что все эти мысли было бы глупо толковать примитивному, по мнению Бакланова, даже дубоватому директору совхоза Китаеву. Да и вообще Бакланов редко кому что толковывал, он просто подделывался под русских дебиловатых людей, то есть, как бы играл всю жизнь роль рубахи-парня, своего среди русских. Но со стороны все это выглядело карикатурно. Поэтому Бакланов простовато хмыкнул, утер рот рукавом и быстро вырулил Китаева на другую тему (ох, какое это искусство выруливать на другую тему!) и стал хвалить деревенских женщин, а затем пересел на своего конька:

- Вы слышали, как в одном из американских университетов был проведен - в рамках "кампании терпимости" - день геев, лесбиянок и бисексуалов?

- Нет, не слышал, - сказал Китаев, откусывая крепкими зубами половину головки репчатого лука.

- Так вот, - продолжил Бакланов, - заправлявшие на нем активисты этого движения, согнали в кучу первокурсников и показали

ВЫСОКАЯ МОДА

им фильм о себе, который оказался самой настоящей порнографией - с минетами, орально-анальным сексом, взаимной мастурбацией и прочими чудесами.

- Во, чего делают, пидоры! - воскликнул Китаев.

- Причем, во время сеанса активисты ходили по рядам и фотографировали лица зрителей. Не дай бог, кто-нибудь поморщится, соорудит гримасу отвращения - потом его фотография появится в студенческой газетенке с ярлыком: "гомофоб", то есть "человеко-ненавистник"...

Китаев круглыми глазами смотрел во тьму глаз Бакланова.

В классе уже пели хором, как говорится, кто в лес, кто по дрова:

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого...

Бакланов привалился к косяку двери, с порога громко подхватил песню:

Эх, рано он завел семью!..
Печальная история!
Я от себя любовь таю,
А от него - тем более...

Китаев не сел за стол, а остановился у стены с мужиками. Он исподлобья глянул на Бакланова, и вдруг озорная мгновенная улыбка осветила его лицо, блеснули глаза, сверкнули зубы, и он о чем-то громко и весело заговорил с мужиками. Те в процессе разговора, по одному, подходили с другой стороны стола, останавливались напротив Бакланова, и пристально, у некоторых даже уши шевелились, как в музее, рассматривали его. Один из них захохотал, подмигивая Бакланову, толкая приятеля под бока. До Бакланова даже донеслось:

- Гляди-ко, настоящий яврей!

Бакланов подумал со злостью о том, почему все они в этой стране коверкают слова, почему они вместо "е" говорят "я"? И сразу догадался, да и догадаться-то не стоило особого труда: "Они

люто ненавидят меня и всех евреев, и не просто ненавидят - у них антисемитизм на генетическом уровне”.

Казалось, все многочисленные глаза мужчин и женщин обратились на Бакланова, а он, не смущаясь, взял под руку щекастую директрису и принялся плясать с ней под баян учителя пения. Ноги в резиновых сапогах взопрели, все тело вспотело, рубашка прилипла к спине. Потом перешли на медленный танец. Бакланов прижимал к себе мясо необъятной, высокой, выше Бакланова на голову, директрисы школы Суртайкиной, у которой лицо было совершенно мужским, не накрашенным и грубым, с бесцветными ресницами, и шептал ей на ухо:

- Сейчас мы то и дело слышим: голубые правят миром. Голубой капитал... Жуткие оборотные средства... Масонские ложки... Тайные рычаги... Чуть ли не рыцарские Ордена... Все это чистая чушь - нет никакой голубой мафии, голову даю на отсечение! Конечно, они в какой-то степени поддерживают друг друга, есть некая солидарность при устройстве на работу, но это скорее похоже на особое общество инвалидов, бя... - вырвалось непроизвольно у Бакланова. - Пардон, - моментально извинился он, а Суртайкина и не заметила этого “бля”, вовсе не обратила внимания на это “бля”, а Бакланов продолжил раскручивать тему: - А для создания мифа многого не надо: кто-то что-то сказал, кто-то подхватил и пошло-поехало. Главное, чтобы побольше говорили. Ну, есть в правительстве пара-тройка голубых, как в любой большой компании, не страшно. Нас как бы берут “на понт”. И мы беремся. Если бы все это было правдой, то был бы такой бардак, какой нам и не снился.

- Неужели? - вскидывала брови потная, даже мокрая от пота необъятная Суртайкина.

- Миф о том, что голубые правят миром, к сожалению, мы создаем и поддерживаем сами: ведь если говоришь о каком-то явлении, то в этот момент подпитываешь его энергией своего голоса, взгляда, мысли. Как от батарейки. Не голубые, а нормальные мужчины правят миром. Просто мир развивается циклами. Давно замечено, что в конце каждого века вся гадость всплывает наверх. Всплывает и ненормальный интерес к мистике, спиритизму, оккультным наукам - и все, как правило, на фоне исторических катаклизмов. Это происходит сейчас. Но гомосексуализм продержится в моде еще лет двадцать, а потом утихнет и примерно в 2025 году педиков занесут в Красную Книгу.

- Неужели? - крепче прижимаясь, спрашивала Суртайкина.

- Правда, есть одна польза от гомосексов - они спасают мир. Они нам посланы космосом: земля и так перенаселена до предела, а голубая любовь в какой-то степени действительно спасает мир от перенаселения. Естественный отбор за счет голубых - защитный механизм самой Земли. Вспомните всемирную историю. Настоящего успеха добивались неизменно те мужчины, которые нравились женщинам и которые любили женщин. Благодаря им талантливый человек добивался большего. Излучая любовь к женщинам, очаровываясь и восхищаясь ими, русские казановы черпают в ответ энергию, которая помогает им творить, дает силу и уверенность.

- А Петр Ильич Чайковский? - дышала горячо ему в ухо Суртайкина, и лицо ее затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, трансцендентном, но очень хорошем.

- А кто помогает творить голубым? - продолжал, пропуская не вписывающегося в теорию Чайковского, разгоряченный и увлеченный Бакланов, отличающийся ничем не излечимой интеллигентской болезнью говорения слов. - Нет, не смазливые женственные ребятки - эти им нужны в сугубо утилитарных целях. Голубая культура - это культура уродства, от которой идет густой аромат вырождения и тупика. В женщинах, особенно красивых, они чувствуют своих соперников и ненавидят их за то, что те дают жизнь и пропуск в вечность, тем самым оправдывая свое место рядом с мужчиной. У голубых же нет ничего, кроме двух яиц, в каждом из которых - кощева иголка.

- Неужели?

- Мы рождены на Земле и, как любая живая тварь, подчиняемся ее законам. В животном мире не бывает гомосексуальной любви, могут быть разные штучки-примочки, но любовь есть любовь, она закодирована на продолжение рода. Я до двадцати лет не имел женщин. Я был занят самосовершенствованием и познанием мира. На определенном этапе сублимация половой энергии дает очень мощный заряд к проявлению способностей. Теперь, в наши дни, меня, определенно, назвали бы гомосексуалистом. А будь я молодым эстрадным певцом, не имеющим возможностей самостоятельно пробиться сквозь дебри шоу-бизнеса, мне посоветовали бы искать пути, пролегающие через чью-то постель.

- Неужели? - задрожавшим голосом перебила она Бакланова, затем задержала дыхание, поправила плечом волосы, прядь которых прилипла к щеке, и еще раз повторила: - Неужели?

- Кстати, почему именно голубым цветом обозначается принадлежность к гомосексуалистам? Только за кражу голубого цвета я бы уже надавал им пиздюлей. Голубой цвет - цвет неба, покоя, мира, - ("Израиля" и журнала "Новый мир", - произнес он про себя). - Может быть, именно он в какой-то степени и примиряет их с естественным мирозданием?

- Неужели?

- Но мы, мужчины, были бы не очень великодушны и не очень справедливы, если бы видели в гомосексуалистах только плохое. Голубые обладают, например, более возвышенным взглядом на вещи, чего так часто не хватает нам, мужчинам. Они, по-видимому, могут тоньше чувствовать, переживать. Но определенные области, глубины души им не подвластны.

- Неужели? - голос Суртайкиной сейчас был тих и нежен. Спросила она, чуть помедлив, словно не сразу поняла смысл говоримых Баклановым слов. Золотистые волосы ее слегка вились возле висков, завитки их спускались на лоб, и всю эту слабо сияющую глянцевику массу волос прорезал чистый и ровный пробор.

- Однако меня беспокоит, что это меньшинство - при всей его внешней безобидности и миловидности - ведет какую-то скрытую борьбу и постепенно, благодаря своей сплоченности и энергии, отвоевывает куски нашей, мужской территории. Так, законодательство Нового и Старого Света уже капитулировало перед требованиями сексуальных меньшинств, - опьянение способствовало многоговорению Бакланова, да и вообще он очень любил говорить, мог говорить часами, увлекая людей, не способных этого делать. - Впрочем, область права - уже не единственная арена борьбы: гомосексуалисты прекрасно понимают, что добиться настоящей победы можно, лишь переломив общественное мнение, и через литературу и искусство внедряют в сознание доверчивой публики многочисленные мифы о прелестях и безвредности гомосексуализма. В последнее время нам усиленно навязывают теорию о том, что талант и успех неразрывно связаны с гомосексуальностью, что мир опутан намертво голубой паутиной, что без этого ничего не добьешься. Нам выдают жутчайшую статистику, в которой обычным мужикам вообще нет места. Ученые ударились в панику, и приводят цифры, близкие к концу света.

- Неужели?

- Как остановить голубого призрака, который шатается по миру и тянет руки к нашей ширинке? Как урезонить это декадентское привидение, которое виляет своим посиневшим задом и приписывает себе все - от цунами до поноса, - говорил Бакланов, испытывая необыкновенный прилив сил. - Как искоренить “злонамеренную эпидемию”, грозящую нам потерей в ближайшем будущем братьев, сыновей, внуков? Отвечу притчей мудрого сказочника Евгения Шварца. Однажды от человека отделилась его тень и зажила самостоятельной жизнью. Постепенно она прибрала к рукам имя и положение этого человека, его имущество, его невесту, наконец. И затем собралась отправить этого человека на плаху. А, чтобы справиться с ней, как оказалось, надо было просто сказать: “Тень, знай свое место!”

- Правильно! - воскликнула краснощекая Суртайкина, шаря рукой по брюкам Бакланова.

- Мир гомосексуализма - это своего рода тень нормального мира. Мы не должны позволять голубым дурачить нас и маскировать свою сущность. Не надо переписывать “голубыми” чернилами нашу историю, мужскую историю. Отойдите от наших летописей и не маячьте за спинами наших героев! Праздник жизни не может уйти от нас. Мы имеем право одеваться, как хотим, любить или не любить женщин, гулять во все стороны среди цветов необычайной красоты. И быть мужчинами! А потому мы говорим своим теням: “Не дышите нам в зад!”

- Вот это правильно! - воскликнула разгоряченная Суртайкина, крепче прижимаясь к Бакланову.

В это время Казаченко вывел для танца дощатую с золотым зубом. Баянист ударил плясовую. Все, кто был в классе, дружно стали бить каблуками в пол, так что звенели бутылки и стаканы, и раскатывались две скромные медные люстры.

После танца опять наливали, то в кладовке, то за столом. Потом вышли на воздух. Дождь перестал. Светила огромная белая луна. Казаченко пошел куда-то с золотозубой за заборы. Бакланов обнаружил в своих объятьях дородную Суртайкину. Они стояли на крыльце, и никого рядом не было. Потом Бакланов увидел себя под березкой, одетым, а рядом - раскатанные губы директрисы. Да, она раскатала губы на Бакланова. Он целовал их, мял своими губами. Чуть позже Суртайкина втокнула Бакланова в какие-

то сени. Некоторое время они были впотьмах, потом зажглась керосиновая лампа, и тут же Бакланов оказался раздетым на пуховых подушках, а на его лицо мягко и горячо легла одна из могучих грудей директрисы.

Он проснулся от какого-то грохота. Палили то ли ведра, то ли листовое железо. Суртайкина, тряся голубоватыми с огромными малиновыми сосками грудями и необъятными розовыми ягодницами, накинула халат и выскочила из комнаты. Потом ввела качающегося, сильно пьяного, черноволосого химика, своего мужа, и уложила на диван. Бакланов хотел встать, но не удержал равновесия и свалился с кровати на ковровую красную дорожку.

Минут через десять он шел к избе корейца, едва разбирая в темноте дорогу. Одеться ему помогла Суртайкина. Было холодно, дул ветер, срывая последние листья с деревьев. К избе Бакланов подошел с задов, где росли кусты терновника. Бакланов сорвал несколько ягод и сунул их в рот. Кислота сначала порадовала, а потом отрезвила и вызвала обильную рвоту. Бакланов стоял в раскоряку, держась за ствол ольхи, и с ревом блевал в крапиву. В глазах поплыли голубые, как флаг Израиля или обложка "Нового мира", круги.

- Ну как? Полегчало? - спросил Китаев.

Бакланов в страхе преследования оглянулся - никого не было. Привиделось. И он задрожал всем телом, даже колени и те задрожали. Зуб не попадал на зуб.

Спустя минут двадцать, он дергал ручку двери. Изба была закрыта. Казаченко, должно быть, занимался любовью с плоскодонкой. Бакланов оглядел избу и остановил свой взгляд на небольшом оконце кухни. Он легко выставил стекло, просто нажал, и оно выпало внутрь. Затем влез в оконце и, не раздеваясь, прошел в комнату, упал на кровать и с ходу мертвецки заснул.

ОГОНЬ ЖЕЛАНЬЯ

рассказ

Лысый, приземистый, располневший Орлов несколько месяцев приглядывался к сестре жены. Как-то он не пошел на работу. Не каждый же день туда ходить ведущему экономисту! Когда ушла жена, он позвонил этой сестре, Эвелине, на работу, сказал, что хотел бы посмотреть, как выглядят только что поставленные шкафы-купе у нее в прихожей, да и саму Эвелину давно не видел, и с ее вполне искреннего согласия договорился о встрече. Эвелина год уже, как развелась. И это ее положение одинокой женщины, довольно достигаемой, как казалось Орлову, не занятой еще никем, не давало ему покоя.

До двух дня он все представлял, как приедет, как сразу же обнимет Эвелину, в первый раз, и предложит ей полежать с ним на диване. До этого он переглядывался с ней, намекал. И она отзывалась понимающе, мол, без этого дела и жизнь не имеет никакого смысла.

Орлов не знал, чем себя занять. То листал “Банковский вестник”, то гладил крутолобого кота, то рассеянно смотрел на улицу. Окна комнат выходили на Новую Басманную, был виден Сад Баумана. Когда-то неподалеку, в доме, где теперь арбитраж, жил поэт Фатьянов, чьи песни частенько напевал Орлов. И сейчас он едва слышно затянул:

Майскими короткими ночами...

Шел снег, пытаясь скрыть грязь мостовой, но бесконечные потоки машин, следовавшие от кольца к центру, перечеркивали снежные усилия.

Без чего-то два он уже выходил из метро “Аэропорт” и, бросив взгляд на черный памятник Тельману в кепке, спустя десять минут, с букетом мимозы, звонил ей снизу.

- Ты? - спросила она.

- Я, - сказал он в решетку домофона.

Эвелина открыла. Он поднялся на лифте на четвертый этаж. Дверь квартиры была уже открыта. Он увидел ее чуть бледное, напряженно ожидающее любви лицо. Предвесенний запах мимозы в помещении усилился. Орлов смутился и решил, войдя, не сразу обнимать Эвелину, а потом. Сразу как-то неудобно, нетактично.

- Снег идет, - сказал он.

- Я знаю, - сказала она.

Он снял пальто и шапку, припорошенную снегом. Некоторое время они стояли друг против друга. Она как-то подчеркнуто выпячивала и без того заметную грудь, обтянутую тонким черным свитером, - готовая, казалось, чтобы он ее обнял. И он, в сущности, во всеоружии, но стесняющийся и откладывающий на потом. Эвелина, чтобы разрядить неловкость, сказала, что дочь, двенадцатилетняя школьница, ушла к подруге. Стало быть, в маленькой двухкомнатной квартире они одни. Орлов окидывал заинтересованным взглядом шкафы-купе. Если бы сама Эвелина прикоснулась к нему, он сразу бы набросился на нее. Вместо этого Эвелина пригласила его на кухню, покормить.

Кормежка не нужна была Орлову. Но он парализованно поплелся за невысокой, бедрастой Эвелиной, опустив глаза на ее ноги и обнаружив, что она без чулок. Значит, прибежав с работы, успела принять душ, подготовиться к ритуалу, так сказать. А на улице минус двадцать.

Орлов втиснулся в щель между кухонным телевизором и столом на табурет, и разглядел среди закусок зернистую икру. Играло радио. И, как назло, выводило под оркестр:

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,

Пока дохнет веселый день
И двинется ночная тень.

Эвелина придвинула к нему тарелки-вилки, заранее приготовленные. Села напротив. Под впечатлением от романса Орлов уронил себе на брюки розеточку с хреном. Эвелина дала ему полотенце. Пока он приводил себя в порядок, Эвелина с чувством сказала:

- В электронике сейчас дикая конкуренция!

- Конкуренция везде, - согласился Орлов, кладя полотенце на подоконник, и почти смело оглядел Эвелину.

Колени ее как-то уж очень сильно округлились и забликовали от снежного света из окна. Орлов короткими толстыми пальцами взял вилку и стал нехотя вталкивать в себя рыбку-огурчики. Время от времени он переводил взгляд от тарелок на колени, которые чуть-чуть раздвигались, приоткрывая ослепительно белые, даже отдающие голубизной полные ляжки.

Орлов был сам не свой. Даже не в мыслях, а где-то глубоко, в подсознании, он готов был тут же упасть с Эвелиной прямо на пол, а не на какую-то там кровать. Но внутренняя сила стыда и страха не позволяла Орлову даже осмыслить движение своего подсознания. А он так хотел Эвелину! В нем так все поднималось и росло!

Эвелина же стала длинно рассказывать о своих проблемах на работе, потом сказала, что к Новому году ей обещали путевку на Кипр. Изредка она облизывала свои полные, ярко-красные губы. При слове "Кипр" в Орлове страсть поугасла. Он посмотрел на Эвелину уже не так вождельно, как в минуту появления в квартире.

Он подумал о том, что вот когда они пройдут в комнату, он положит ей сзади руку на плечо, повернет ее к себе и страстно поцелует в губы.

Все в Эвелине нравилось Орлову: и губы, и шея, и ястребиный носик, и темно-каштановые волосы, и белые ровные зубы, и язык, который изредка показывался изо рта, чтобы облизать губы. Орлов чувствовал солоноватый вкус языка, и как этот ее язык входит в его рот, и как, в свою очередь, его язык оказывается в ее рту.

Они перешли в комнату.

Он уже хотел обнять Эвелину, но она этого движения не заметила, потому что включила большой новый телевизор, и села в

кресло. Орлову ничего не оставалось, как сесть на диван. И сразу же внутренний голос его как бы позвал Эвелину к себе, но настоящий голос молчал. Эвелина сидела в кресле, плотно сжав колени. Орлов смотрел на экран телевизора, не понимая, что происходит там.

А ведь, в сущности, он задумал преступление, покусившись на сестру жены. Зачем ему это? Сестра почти что такая же, как его жена. И уже много раз, овладевая женой, он представлял, что любит Эвелину.

- Скоро Лена придет, - сказала с явным волнением в голосе Эвелина, как бы говоря этим: "Ну, давай же, давай!".

Но Орлова словно сковали. С женой он прожил пятнадцать лет, ни разу не изменив ей. Вместо того чтобы встать, подойти к Эвелине, по-прежнему сидящей в кресле, смело положить руку на ее плечо, нагнуться и поцеловать, Орлов вымолвил:

- Я, пожалуй, пойду.

Эвелина тяжело вздохнула и встала. В тесной прихожей Орлов долго надевал пальто. Эвелина стояла почти что вплотную, даже был момент, когда его рука задела ее грудь, отчего желание вновь вспыхнуло в Орлове, но было уже поздно.

Однако, потянувшись к замку, Эвелина еще раз воззвала к сознанию Орлова:

- Останься, давай еще чайку попьем.

Но Орлов отвел ее руку от замка, и сам открыл дверь...

Спустя полгода Орлов проводил отпуск в Вельяминово на даче. У жены отпуск намечался осенью. Орлов ходил в армейских трусах и в шапке, сложенной из газеты, по участку с тяпкой и кое-где рыхлил землю. Вдруг скрипнула калитка, и он увидел Эвелину. Как она могла догадаться приехать в то время, когда он был на даче один? Эвелина сказала, что сестру, то есть жену Орлова, срочно отправили в командировку, поэтому она и приехала.

Недавно прошел дождь, и когда Эвелина поднималась по ступеням крыльца, на ее широких икрах, всегда возбуждавших Орлова, он заметил глиняные брызги. "Это, когда она шла тропинкой от станции", - подумал Орлов. Ему захотелось самому помыть ноги Эвелине. Но эта дерзкая мысль быстро прошла, потому что на крыльце появилась соседка с радостными восклицаниями, что уже несколько лет не видела Эвелину.

- Может, баню затопить? - спросил тем временем Орлов.

- Здорово, затопи! - сказала Эвелина, включаясь в интенсивную, несколько экзальтированную беседу с соседкой-ровесницей.

Соседка тоже была разведена. У нее было двое сыновей. Иногда Орлов думал и о ней. Особенно когда она ходила по своему участку в белых трусах, сквозь которые просвечивали волосы. Но как только он подходил к забору, подсознательно готовый предложить соседке разделить с ним раскладушку, как им овладевал столбняк.

Орлов нарубил чурок для каменки. Когда открыл топку, из нее выполз паук. Давно Орлов не топил баню. Погода стояла жаркая, и он мылся в пруду. Провожая длинноногого паука взглядом, Орлов стал представлять, как он через несколько минут будет тут, на дощатом полу, обнимать голую Эвелину, мылить мочалкой ее спину, живот... От этих представлений кровь вскипела в Орлове. Но как только он увидел Эвелину в халате жены, страсть улетучилась.

У Орлова не повернулся бы язык спросить: "А не потеряешь ли тебе спину?". И что думала Эвелина на этот счет - неизвестно.

- Как же хорошо за городом! - воскликнул она.

Он открыл перед ней дверь, она вошла в баню, но на щеколду не закрылась. Это был знак Орлову. То есть, можешь спокойно войти. У него мурашки от страха побежали по спине. Ну, как он войдет, когда кругом люди?! Баня стояла в углу участка и просматривалась отовсюду. Вон небритый Михаил Васильевич возится у крана, торцевой сосед. Вон Раевская, соседка слева, возит на скрипучей тачке воду для полива огурцов. А вон и ровесница, опять в прозрачных трусах, выставив зад в сторону Орлова, пропалывает клубнику.

Из бани послышался плеск воды. Орлов некоторое время сосредоточенно смотрел на крапиву, буйно росшую между баней и забором, затем пошел в дом готовить обед.

Румяная Эвелина с удовольствием ела молодую картошку. Она сидела в одном купальнике. Сначала это разжигало Орлова, а потом перестало. Орлов почему-то подумал, что чем женщина больше оголяется, тем меньше ее хочется. Странно.

Потом зачем-то пошли в лес, вместо того, чтобы плюхнуться вместе на широкую кровать и обниматься, любить... По опушке пастух гнал скотину, и около стада рысцой бегали две рыжие собаки, потягивая на отстающих коров и овец. В лесу было жарко,

и одолевали комары. Эвелина зачем-то говорила о перенасыщенности рынка электроникой, о подсидках и подлостях конкурентов, о черном нале... Орлов не слушал. Он напряженно думал о том, что сам виноват в бездействии. Сам нарисовал себе границу, и не может теперь переступить ее. А ей ведь хочется, он это видит. Протяни руку - и она твоя. Нет же! Он делает шаг в сторону и срывает мухомор. Зачем ему мухомор? Рос бы и рос себе. Вдалеке прошумела электричка. Они вышли из леса на какую-то свалку. Дачники без разбору валили банки-склянки и прочие отходы где попадется.

После ужина опять пришла соседка, с картами, и уговорила сыграть в подкидного. Увлечлись и за разговором сыграли несколько партий.

Когда Эвелина пошла спать, то сказала:

- Я сплю без рубашки. Так жарко!

Засмеялась, по-детски высунула язык и прикрыла дверь, но на замок не закрылась. Орлов готов был повеситься от нерешительности. Другой бы уж наслаждался любовью с Эвелиной целый год, а он даже руку не поцеловал.

Вздохнув, Орлов поднялся спать на второй этаж. Но никак не мог заснуть. Было душно, воздух пилили комары. Он встал, спустился вниз, попил воды из ведра. А сам говорил себе, открывая дверь, смело входи и залезай на Эвелину. Внутренний голос возражал: "А вдруг да она начнет сопротивляться, кричать?". При этой страшной мысли (потому что о сопротивлении, по мнению Орлова, и речи быть не могло, ибо все говорило о ее согласии) он вернулся к себе, повернулся минут двадцать и заснул. Проснулся он часов в шесть от скрипа внизу. То Эвелина выходила на двор. Орлов представлял, как она приседала под кустом сирени. Страсть с новой силой овладела им, он уже было собрался вставать и идти к ней, как вдруг вспомнил о дочери, о том, что вдруг да потом Эвелина расскажет и жене, и ей о том, что Орлов приставал к Эвелине!

Встал он в десять часов. Эвелина заторопилась. Не поднимала на него глаз то ли от обиды, то ли еще отчего. Он неохотно проводил ее на станцию.

Как-то зимой он выпил на дне рождения начальника отдела. К шести вечера все разошлись. Орлов остался в отделе один. И вдруг позвонил Эвелине. Довольно повелительно сказал, чтобы

ОГОНЬ ЖЕЛАНЬЯ

она немедленно к нему приезжала. Что он еще говорил, не помнил, но факт тот, что через полчаса Эвелина вошла в отдел. Он предложил ей полстакана сухого вина и шоколадку. Они сели рядом. Он первый раз в жизни положил ей руку на колено. И она чуть вздрогнула и как бы подалась к нему. Но тут в отдел вернулись сослуживцы, по дороге решившие, что не добрали, и поэтому зашедшие в гастроном за подкреплением. Захлопали пробки, полились песни.

Они с Эвелиной тихо ретировались. Орлов проводил ее почти что до самого дома. Но так и не осмелился поцеловать.

На день рождения жены Эвелина приехала с кавалером - щуплым, казалось, забитым мужичком лет сорока с маленькими, близко посаженными глазами. Он служил в охране фирмы, в которой менеджером работала Эвелина.

К концу вечера охранник поднабрался, раскраснелся, осмелел, плясал, спотыкаясь и чуть не падая, цыганочку с двумя бутылками в руках и со стаканом в зубах.

“Наша улица”, 12-2001

БРЕД НИЧТОЖНОСТИ

рассказ

Целый день кудрявый и толстогубый Боря вяло ходил по квартире. Паркет кое-где поскрипывал. Боря пугался этого скрипа, и все время оглядывался. Хотелось идти на улицу, но только не сейчас, потому что сейчас он боялся туда идти. Страшно выходить на Ленинский проспект, по которому все время (обратите внимание!), все время мчатся туда и сюда (туды-сюды, как в словаре Островского) машины, потоки машин, но не выезжают из Москвы, хотя едут к окраине, и не въезжают в Кремль, хотя едут к Кремлю.

Возникает резонный вопрос: куда эти железные хищники (пожирают бензин, убивают прохожих, испражняются угарным газом!) каждый день едут! Аристократия? То же безобразие форм, физическая нечистота, мокрота, те же беззубая старость и отвратительная смерть, что и у мещанок. Боря даже выглянул в окно. Сначала убедился в том, что машины идут сплошным железным, как у Серафимовича, потоком по Ленинскому. Боря скосил глаза на Ломоносовский проспект. И по Ломоносовскому стоят на красном свете железные потоки лысого Серафимовича, который дал рукопись Крюкова "Тихий Дон" юному делопроизводителю Шолохову, чтобы тот стал лауреатом Сталинской и Нобелевской премий. Все так у русских на воровстве устроено. И на смерти королевы у соседа. Лицо у Бори покраснело, голова закружилась от высоты и смога. Папа занимался в своем кабинете. Мама писала статью. У Бори болела голова, и он собирался поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно.

- Стра-а-ашно, - промолвил он совершенно детским голосом.

Мало того, что Боря заикался, он еще и боялся своей ничтожности.

Ну, скажите на милость, кто в сорок лет живет с папой и мамой, нигде не работает, но, самое главное, ни разу не попробовал жен-

щины? А ведь отец его - выдающийся писатель, автор романа "Жизнь и сума", в котором он с потрясающей смелостью приравнял негров к белым, фашистов к коммунистам, евреев к арабам, СССР к США, Чука к Геку, Сталина к Шарону, Гитлера к Наполеону... и, в конце концов, сделал всемирно-историческое открытие, что все люди, населяющие Земной шар, ходят на задних конечностях, имеют два глаза, два уха, две руки, но при этом по одному носу, одному рту и одному сердцу, что Волга впадает в Каспийское море и что лошади едят сено и овес... Человек, помешанный на том, что он приведение; ходит по ночам. Есть писатели, у которых каждое произведение в отдельности блестяще, в общем же эти писатели неопределенны, у других же каждое произведение не представляет ничего особенного, но зато в общем они определены и блестящи. Писать надо иероглифами! Хиер.

И Боря окончил Литературный институт имени Всеволода Вишневского по отделению государственных романов, выдвинутых на государственную премию. Боря даже написал роман "Каширское шоссе" (наряду с многочисленными похвальными отзывами в демократической прессе, высокую оценку ему дали в таком компетентном журнале, как "Вопросы государственных романов", главный редактор которого, по фамилии Трахтенбауэр, похожий на маленького крошечного школьника, считает, что его журнал как бы ставит знак качества произведениям); даже государственную премию получил, но из чувства малости своей, никчемности, посторонности, сжег, как Гоголь, и роман, и государственную премию. И когда ему говорили, что рукописи не горят, он страшно перекашивался и бился головой об стену, понимая, что правды добиться в этом подлом и лживом мире невозможно. Кому бы он ни давал читать следующий свой роман "Красный корпус", вскрывающий всю подлую сущность империи зла, давал пятому-десятому, включая отца, все высказывали какое-то неясное суждение, по всей видимости, из-за уважения к отцу, а отец из-за уважения к Президиуму Верховного Совета СССР и лично товарищу по дому творчества в Дубултах критику Нахимсону (критик сравнивал папу со всеми Толстыми сразу. Боря злился на этих Толстых - хоть кто-нибудь бы из них псевдоним взял! Ну, был бы этот Лев не Толстой, а, допустим, Прямой! А что? Лев Прямой. Звучит!), мол, здесь бы убавить, а там - добавить. В сущности, Боря понимал, что его бред ничтожности (нигилистический) является антитезой бреда величия. Отец -

Немчур, мать - Гусакова. Мог бы и Боря быть Гусаковым, вполне русским! Но нет же, Немчуром заделался, назло антисемитам. И букву "р" еще, как и отец, не выговаривает. И как отец, маленький, злой, с комплексом Наполеона. Да вы посмотрите на всех этих демократических критиков-литературоведов: метр пять с кепкой! Маленькие все как один, под стол пешком могут ходить, а все туда же - в великую русскую литературу. А русской-то литературы нет! Как и национальности такой нет - "русский". Есть - славянин, или москвит, на худой конец! А русский - от еврейского происходит (в греческой транскрипции; Библию евреи на греческом писали, как сейчас многое пишут на русском, прежде называвшемся славянским): иерей (русская орфоэпия - еврей), hiericus - буквально - жрец, hieros - священный. Стало быть, русское слово "еврей" означает - священный, или святой. Отсюда и хиерусалим, хиерус, то есть Русь. И все с Петра I пошло! До него никакой Руси и русских (хиросов, Хируси и херов) не было. А были князья московские и москвиты, то есть камаринские мужики! Комар ("о" и "а" - здесь одно и то же) значит - москвит, или, кому как нравится, - москит. От москитов натягивайте москитные сетки. Стало быть, чья идеология правит миром? Правильно - хиерейская (хиерусалимская). И революция 1991 года была хиерейская. Вместо коммунистов на экран телевизора вылезли хиереи. Хиерейская революция! И будет править до тех пор, пока Московия будет иметь название Россия, или Хиероссия, или, что точнее, Хиеруссалим, или (для краткости) Хер (и памятки ему ставить в виде церквей, например: Нью-Хиерусалиме, что в Истре)! Хотя Херусалим - глубокая провинция, каменистый пятачок, где и плюнуть-то от людей негде. В Германии - просторнее. Германия до прихода Адольфа Алоисовича Шикльгрюбера и была самой хиерейской страной. Вот почему Боря - Немчур, а не какой-то там Гусаков...

Хотя Гусаковы тоже кое в чем преуспели. Мама - главный разработчик антиоксичных таблеток "вибронет", приняв которые, наркоманы тут же переставали дрожать... и дышать... и двигаться... Боря считал себя наихудшим из всех людей, вырождаем общества, прахом и ничтожеством. Разве Боря не мог разработать подобные таблетки?! Он же с золотой медалью окончил Тридцать первый медицинский институт имени Зигмунда Фрейда! Прошу, пожалуйста! "Отставить разговоры!" - как говорит герой другого романа отца - "Дело было под Могилевом" - капитан 159 статьи

нового Уголовного кодекса РФ Швидлер. Две порции мышьяку, и одна - сульфата натрия! А тут еще чуть-чуть было его не взяли на работу в отдел космической связи МТС (Машинно-тракторной станции) колхоза им. Ленина “Шлях Сталина”, а он не смог преодолеть охрану. Смело так это подойти к окошку охраны и попросить ключ от 215-й. Чего проще!

Это для вас проще, а для Бори суший ад. Он еще дома, когда на правую ногу надевал белый носок, а на левую - синий, уже знал, что этот охранник с плоским, круглым лицом, со щелевидными глазами, китаец или кореец, не даст ему ключ. А почему он должен давать ключ Боре? Мама в школу ему ключ не давала, зная наверняка, что Боря в страхе, что этот ключ подходит к дверям завуча школы, и что его пошлют открывать запертую там у себя толстую Марь Васильевну, от вида которой Боря был готов упасть в обморок, разве он пойдет открывать дверь? Нет, нет и нет! И Боря молча выбрасывает ключ из окна в кусты. Оглядывается в ужасе, - не видел ли кто? - и, сутулясь, горбясь, бежит куда глаза глядят.

И потом, почему это у всех ребят джинсы нормальные, синие, а у него, как у самого затюканного советского разведчика, спрашивающего в подземном переходе у Курского вокзала у всех прохожих о никелированной кровати с тумбочкой, малиновые? Мало того, они еще ему великоваты и спадают постоянно, и подол рубашки выбивается наружу.

Ладно, Боря и второй носок бы надел синий, а не белый, но ведь нога-то потихоньку начинает отказывать и даже подгнивать. Поэтому, как в больнице, ее нужно облачать в белый цвет. Носок, как белый халат. Прохожие будут видеть белый цвет и не наступят на ногу. Потому что, когда Боря был в красном носке, ему специально наступали на ногу, от раздражения, по-черному. Чувство ничтожности иногда переносится на собственное тело: внутренние органы, будто бы, перестают функционировать, начинают гнить, тело изнутри превращается в труху. И откуда взялся этот красный носок? А! Понятно. Боря по пути в метро “Университет” зашел в “Ле Монти”, приценился, извинившись перед продавцом, а потом, извинившись и перед покупателем, что красные носки на два рубля дешевле, чем синие.

Вообще, когда папа разрабатывал систему доставки космонавтов на околовенерные орбиты, он брал Борю с собой. Бывало,

едут в десятидверном мерседесе с красным флагом СССР на крыле в Монино, а там уже генералы, маршалы и адмиралы построены. Боря идет впереди в коротких штанах на бретельках, типа “Тема и жучка”, приветствует почетный караул, причем не заикаясь, а сзади мама всем раздает таблетки. И “енералы” так и падают штабелями, чтобы вслед за ними упал ненавистный СССР и чтобы лучшие, самые справедливые люди Земли - американцы - первыми все как на подбор заболели околоченерными болезнями на орбите этой самой Венеры. Да и сам Боря, выпускник Московской общевойсковой дубосековской авиационной дважды орденов Санкт-Ю-Питера академии трижды побывав без ракеты и без носителя на обратной стороне Луны! Потом узнает из газет о смерти великих людей и по каждому из них носит траур.

Мама аккуратно зачесывала челку Бори на бочок, с водичкой. Эх, пионерский галстук!

Боря постоял на кухне у холодильника, затем, оглядываясь, осторожно открыл его и достал тонкими пальцами сырое яйцо. Так же осторожно вскрыл острый кончик его чайной ложечкой и жадно высосал содержимое, уставившись темными маслинами глаз в лепной потолок с огромной люстрой.

Самое страшное, конечно, это ездить в метро. Вы только посмотрите, кто туда входит! Бритоголовые, во всем черном, лица и фигуры - квадратные, с бутылками пива. “Русские свиньи!” - говорит мама. Боря сразу начинает дрожать, а они берут его за шкуру и волокут к дверям стадиона Ленина и заставляют отрывать пластиковые сиденья и швырять их в головы омовцев. Публика в искусстве любит больше всего то, что банально и ей давно известно, к чему она привыкла.

Конечно, чувство ничтожности может перенестись и на окружающий мир: он становится выгоревшей пустошью (катастрофический бред). Боря часто возвращался к мысли о собственной проклятости, о том, что страна - СССР, - в которой ему довелось родиться, - проклята, он люто ненавидел Россию и русских, этих краснорожих, в телогрейках и валенках, аборигенов, не способных к восприятию не то что литературы, а простых, статичных кадров на телеэкране. О! Как он ненавидел Москву, этот каменный мешок, в который его погрузили папа с мамой! Город, в котором нет дорог, или есть те дороги, которые ведут только от спальных районов к центру.

БРЕД НИЧТОЖНОСТИ

А Боре не надо в Кремль! Он не собирается на прием к тирану! Паучье племя! Построят в центре, в вилке между двумя реками - Тухлянкой и Вонючкой - Кремль и проведут лучи-нити во все стороны! И разрежут весь город железными дорогами. Ни вправо, ни влево! Справа - река (мостов нет), слева - железная дорога (мостов нет)! Все население страны съехалось в этот каменный мешок! А страна - самая большая территория в мире - летаргически спит без двуногих в состоянии вечной мерзлоты. Негативные эмоционально-чувственные установки по отношению к самому себе, которые встречаются у каждого человека и проявляются в чувстве малоценности или вины, здесь достигают бредовой формы самоуничтожения. Они могут проецироваться на собственное тело и на весь мир - по принципу "после меня хоть потоп".

И почему папа с мамой не увезли его в иерейские (святые!) США? Он так хочет в квадратно-гнездовые США! Там можно ехать и направо, и налево. Там нет центра! В центре может быть только солнце! И - ничего живого! Солнце-центр сжигает все! Этого типа бредовые идеи, как легко догадаться, сопутствуют глубоким состояниям пониженного настроения Бори, чаще всего при депрессиях. Хиерусалим - глухая провинция. Самые несносные люди - это провинциальные знаменитости. Иероглифы. Египет. Рабы придумали бога. Хиероглифы. Священные письмена. Джу. Джуэле. Святые, драгоценные ювелиры... Сыны божи (с маленькой буквы, как солдат, маршал, управдом...), бессмертные, шагающие из окна... Боря даже не заметил, как открыл раму, как взобрался на подоконник, и как, нечаянно столкнув на паркет алоэ в глиняном горшке, шагнул с высоты на внезапно опустевший Ленинский проспект.

"Наша улица", 12-2001

Комментарии

Нина Краснова

ПЕЧАЛЬНАЯ КРАСОТА

1.

Роман Юрия Кувалдина “Философия печали” - это не учебник по философии и не сборник научных трактатов о ней. Это - сложная художественная конструкция, состоящая из двух повестей: “Доцентская ставка” и “Отрицание отрицания”. Обе эти части связывает между собою общее время действия: 60-е - 70-е годы XX века, с экскурсом в 50-е годы; общее место действия (место жительства и место службы главных героев): Москва и институт с кафедрой философии; а также некоторые общие персонажи: сотрудники кафедры и один и тот же заведующий кафедрой марксистско-ленинской философии Евграфов, не главный герой, но фигура вполне символическая, типичный советский начальник, официальная шишка, которая требует подобострастного отношения к себе всех своих подчиненных и больше всего ценит лизоблюдов и стукачей.

И еще обе эти части связывает между собой философия печали, разлитая по всем их страницам. Она же связывает между собой все другие произведения второго тома. Что это за философия? Это философия жизни, которая полна печали - печали о несовершенстве человека и окружающего мира, о моментах и периодах преобладания в нем зла над добром, о воздаянии злом за добро, об одиночестве и одиночестве человека среди людей, о его незащищенности от них и от неких inferнальных сил, о невыполнимости многих его мечтаний, о тщетности многих его высоких устремлений, о суете сует и вечном томлении духа, о скоротечности жизни, о неминуемости смерти... о бренности всего сущего...

Главный герой “Доцентской ставки” - Блинов, доцент кафедры философии и научного коммунизма, нестандартный советский преподаватель, в сталинские времена исключенный из партии как “негативный”, но потом, в период “хрущевской оттепели”, восстановленный в ней как “прогрессивный”, а в брежневское время опять числящийся в “негативных” и подозрительных, в 1948 году он работал корректором в одной газете и по вине некоего Волкова был вынужден уволиться оттуда из-за того, что не углядел в готовящемся к печати очередном номере, в первой полосе, грубейшую ошибку, которая чуть было не проскочила в печать: букву “к” на месте “т” в фамилии Сталина и (запрещающийся тогда) перенос фамилии вождя со строки на строку. Полосу эту читал не он, а Волков, который расписался на ней за Блинова. И вот через много лет Волков, которого, значит, мучила совесть, разыскал Блинова с помощью мосгорсправки, пришел к нему домой и попросил его “отпустить” ему старый “грех”: “...а то как же мне умирать - с нечистой совестью?” Блинов великодушно - по-толстовски и по-достоевски - простил Волкова и сказал: я бы всем “все грехи” отпустил бы, “если

бы имел силу такую... "Как же бы мы жили тогда, если бы грехи наши нам никто не отпустил?!" Кстати сказать, Клоун в "Пьесе для погибшей студии" Кувалдина тоже отпустил "грех" своей жене (которая изменила ему со своим приятелем) и сказал при этом нечто подобное: "Если бы люди не прощали друг друга, они бы не могли жить на свете, они все поубивали бы друг друга". Сколько же у людей грехов, что если бы люди не прощали за них друг друга, то давно поубивали бы все друг друга и на земле ничего не осталось бы?

А теперь, в 1965 году, по вине другого своего коллеги, Ездакова, Блинов вынужден лишиться в институте своего доцентского места и своей доцентской ставки, потому что на все это претендует Ездаков, который подсиживает Блинова и распространяет по институту слухи о том, что Блинов скрытый антисоветский диверсант, что он цитирует на своих лекциях Сенеку, "ярого реакционера", "буржуазного" философа, и "воспитателя" Нерона, и что он с симпатией говорит о Керенском... Этого Ездакова Блинов в свое время, в пору студенчества, приютил у себя дома, парня из провинции, и он жил у него несколько лет как член семьи, в хорошей квартире, в хорошей семье, а потом соблазнил его девушку и отхватил себе часть ее квартиры, часть площади... Вот и делай людям добро! Блинов от расстройства нервов попадает в больницу, где находит товарищей по несчастью, людей с расшатанными нервами и со сдвинутой психикой. Но Ездаков в отличие от Волкова ни в чем не раскаивается и не просит Блинова простить его и отпустить ему грех.

Главным героем "Отрицания отрицания" является Дубовской, который в первой части был второстепенным персонажем, - мелькал там время от времени на заднем плане, а во второй части вышел на передний план. Дубовской, как и Блинов, тоже преподаватель кафедры философии и научного коммунизма. Он дружит с преподавателем Петровым, своим бывшим учеником, который на двадцать лет моложе его. Они - две противоположности, как в законе отрицание отрицания. Дубовской - пассивный человек. Он два года пишет одну научную работу, и в результате написал всего семь страниц. Он любит сидеть дома и не любит, когда люди, например, ассистенты с кафедры, беспокоят его, звонят ему, приходят к нему в гости (как правило, выпивать), он нашел хорошую "форму защиты от окружающих", которая срабатывает безупречно, он всем говорит: я "занят" и мне "некогда". Это позволяет ему "ничем не заниматься в той мере, в какой мы употребляем это слово", то есть - сидеть дома, в своей коммунальной комнатухе, пить "коньяк (виски, бренди)" маленькими дозами, и смотреть телевизор, например, передачу "В мире животных" (который напоминает мир людей).

Петров - наоборот, очень активный человек. К сорока годам он защитил диссертацию, сделал научную карьеру, стал доктором технических наук, заведующим кафедрой, профессором, выпустил книжку "Спротивление элементов железобетонных конструкций действию статических и динамических перегрузок" (книга серьезная, но сколько скрытого авторского юмора слышится - между строк - в наукообразном названии этой книги, которое натошак не выговоришь; и большая ли беда в том, что Дубовской не написал и не выпустил такую же книжку или подобную ей?).

Дубовской ходит по Москве пешком, а Петров ездит на машине, по Ярославке, со скоростью 100 км в час, чтобы никуда не опоздать. Дубовской может ходить по Москве и целый день покупать шурки к своим ботинкам, обойти несколько палаток и магазинов, чтобы купить два шнурка или даже один. А Петров за это время успеет "ку-

пить и продать колеса (к машине), позаниматься со школьником, которого готовит в институт, побывать у любовницы, сделать расчеты на ЭВМ для докторской диссертации (своего коллеги) Коновалова, отвезти в НИИ договор о научно-техническом сотрудничестве, посидеть на лекции и сдать собственный курсовой проект...”.

Авторская улыбка присутствует и в портрете Дубовского, эдакого советского Обломова, и в портрете Петрова, эдакого советского Штольца. Противоположности притягиваются друг к другу и составляют единство противоположностей.

Петров читает горы книг. А Дубовской ничего не читает, даже забыл, когда читал Достоевского.

“Ты мне скажи, почему ты ничего не читаешь?” – спрашивает Петров Дубовского. – “Некогда”, – отвечает тот. – “Ты ведь и Достоевского не читал!.. Как ты можешь преподавать философию, не прочитав Достоевского!” – “Да я и без этого все прекрасно понимаю...”, – говорит Дубовской (фамилия которого не случайно идет от дуба?). Нет, это говорит, пожалуй, не Обломов в чистом виде, а гибрид Обломова с Митрофанушкой, только с таким, который и книг не читает, и жениться ни на ком не хочет и бежит от дамского пола, почти как герой Гоголя, который удрал от невесты через окно.

А Петров читал Достоевского. Ну и что? Он написал такую скучную книгу, которую Достоевский ни за что читать не стал бы.

Зато он хорошо говорит о философии, о ее влиянии на формирование человека, на его духовное развитие:

– ...Философия – это нечто... нечто такое... тайное... сокровенное... чтобы ты один прочитал (это сокровенное, тайное) и удивился... и воскрес духовно... и стал жить по-человечески, а не по-скотски. Потому что “Майн Кампф” – это философия скотов!

Петров едет со своей очередной пассией в деревню за мясом и разбивается на машине насмерть. А Дубовской оплакивает его. И думает, что же ему, Дубовскому, теперь делать без него, “как жить, к кому спешить, с кем говорить, от кого колкости выслушивать?” У него сразу потерялся весь смысл жизни. Он покупает кулечек семян цветонотков-календулы и идет к Петрову на кладбище. И думает: “где же (теперь) душа” Петрова, если его тело закопали в землю? И приводит в порядок могилу своего друга и сажает на ней цветы и березку. И начинает радоваться жизни и обретает новый смысл жизни.

В композиции “Отрицания отрицания” Кувалдин использовал кольцевой прием. Оно начинается фразой о помазке для бритья, которым Дубовский подкрашивает свои седые волосы то в пшеничный, то в каштановый цвет, чтобы выглядеть моложе своих лет, и заканчивается этой же фразой: “Помазок, некогда желтоватый, цвета спелого пшеничного колоса, теперь был темно-каштановым, такими же темно-каштановыми становились волосы Дубовского”. Кольцевым приемом Кувалдин как бы говорит о том, жизнь Дубовского возвращается на круги своя.

...У писателей классицизма, например, у Шиллера, Корнеля, Расина, или у античных писателей, например, у Софокла, Аристофана и у других, помельче, герои произведений, как правило, выступали в каком-нибудь одном амплу, под одной маской: трагический герой или комический герой, положительный герой с набором положительных качеств или отрицательный герой с набором отрицательных качеств. Это были “рупоры идей”: идей добра или зла, идей революции или антиреволюции, советской или антисоветской

власти. В лучшем случае (у классиков мировой литературы) - это были герои-аллегии. А в худшем (у классиков и неклассиков советской литературы) - ходячие схемы.

У Кувалдина его герои - это не рупоры идей, не ходячие схемы, не манекены, а живые люди со своими индивидуальными чертами, со своими положительными и отрицательными качествами, со своими светлыми и темными сторонами, со своими характеристиками, привычками, наклонностями, со своими биографиями и судьбами, со своими взглядами на мир и со своими проблемами.

Не реальные, созданные на бумаге, эти герои кажутся такими же реальными, как все люди, которые живут рядом с тобой и вокруг тебя.

У каждого из них свои походки. Блинов, фронтвик, раненный в ногу, ходит "с тростью", "прихрамывая", "припадая на правую ногу". Дубовской ходит "косолапо", "косолапит".

У каждого из них своя одежда, своя внешность, своя речь. Вот одежда Волкова: душегрейка, "латаная-перелатаная, с торчащей там и сям черной и белой овчиной, но брюки - "со стрелочкой", "темно-синие". Глаза у Волкова "водянистые" (как у Медузы-горгоны?). Речь - с элементами протонародности: к должностям я рвался, "к ей, поганой", говорит он сам о себе, критикуя себя задним числом.

У каждого из них своя прическа. У кого-то лохматая, у кого-то с двумя волосинками на голове.

У каждого - свой головной убор. У Дубовского, например, "каракулевая папах".

А вот портрет второстепенного персонажа, но Кувалдин нарисовал его так же добросовестно и точно, как и портреты главных героев. Маслов - "отставной полковник с мохнатыми бровями и щетинистой прической, плотный, без шеи, так что казалось, что он горбат".

Если художник рисует картину, то для него на ней нет второстепенных персонажей и второстепенных деталей. Они для него все - главные, все важные. Как у Саврасова - какой-нибудь грач с прутиком. Саврасов и грача и прутик будет рисовать, как нечто особо важное и значительное. Так и Кувалдин.

Кувалдин так обрисовывает своих героев, и внешность, и одежду, и походку, и прическу каждого из них, и обстановку, в которой они живут, и среду, в которой они вращаются, будто все они - не только живые, реальные люди, но и люди, которых он знает лично, и у которых он не раз бывал дома.

В подъезде дома у Блинова - "сетчатая шахта лифта", который был сооружен в начале шестидесятых годов". На дверях висят "ржавые таблички" с номерами квартир. В коридоре "общей (коммунальной) квартиры" Блинова - "двадцатипятиваттовая лампочка около уборной". В комнате Блинова, "в тесном закутке", - "черный буфет", в "кабинетной половине" - "книжные шкафы" со стеклами, письменный стол, "придвинутый к стене между диваном и этажеркой", на этажерке - "бюст Иоганна Вольфганга Гете в натуральную величину". Интерьер жилья хозяина много говорит о самом хозяине. И интерьер Блинова говорит о Блинове. Как о культурном человеке, который читает книги и любит Гете.

В буфете у Блинова, "в банке из-под кофе" (потрясающая деталь!), хранится чай. А также "заварной, пожелтевший, с отбитым носиком фарфоровый чайник". Эти детали тоже говорят о Блинове. Как о человеке, равнодушном к мелочам быта. Для Блинова хорошие книги, которые у него есть, важнее хорошего заварного чайника, которого у него нет, без отбитого носика, и важнее коробки для чая, которой у него нет и вместо которой сойдет банка из-под кофе.

Кувалдин так описывает подъезд, квартиру, коридор и комнату Блинова, и интерьер и всю обстановку его комнаты, и мебель, и какие-то предметы, и посуду, будто он не раз бывал дома у Блинова и листал книги из его библиотеки и пил с ним чай.

У Дубовского, который, как и Блинов, живет в “допотопной коммуналке”, “прокуренная (им же самим) комната”, где он любит сидеть с “бутылкой коньяка (виски, бренди)”, “при включенном телевизоре”, “закрывшись на два замка”. И еще повесить на своей двери записку с сообщением о том, что его нет дома. Окна у него “в комнате... затемнены, как в блокаду, черными шторами”, чтобы никто не мог заглянуть к нему в окно с улицы и увидеть, что он делает, чем занимается.

Входит Дубовский в коридор коммуналки всегда осторожно, чтобы его не видели соседи, “как разведчик ступает на территорию врага”.

Рабочая одежда на Дубовском такая: “широченный засаленный пиджак с дырами на локтях, короткие, выше щиколоток брюки с заплатами на коленях, пыльные стоптанные зимние ботинки на босу ногу”. Волосы у него - крашенные из седых в когда-то желтый, а теперь каштановый цвет. Прическа у него - “полубокс”.

Кувалдин так обрисовывает своих героев, что к его повестям и рассказам никакие иллюстрации не нужны. Они - в самом тексте произведений, в словах и буквах.

По произведениям Юрия Кувалдина можно изучать историю Москвы и отечественного транспорта. Вот он пишет, но как бы не он, а его невидимый персонаж, автор газетной информации, которую вычитывает Блинов, какие станции метро должны войти в строй в конце 50-х годов - “Центральный парк культуры и отдыха им. Горького”, “Калужская”, “Серпуховская”, “Павелецкая”, “Таганская” и “Курская”... Все эти названия звучат у него как красивая песня о Москве тех лет, с красивыми словами и с красивой музыкой этих слов.

Или вот Кувалдин пишет: “Машину “Эмочка” сменила “серийная машина “Победа”... А главный конструктор лауреат Сталинской премии А. А. Липгарт со своим коллективом разработал новый тип автобуса, легкового и грузового “вездехода”. И все это тоже звучит как красивая песня о Москве и о России 50-х годов, о давно прошедшем времени, которая воспринимается читателями нового времени как песня в стиле ретро.

Другие названия станций метро, которые встречаются у Кувалдина в “Философии печали”, “Библиотека имени Ленина”, “Дзержинская”, “Кировская”, в честь деятелей революции, тоже звучат как песня о Москве советского времени, торжественная, приподнятая, мажорная, великодержавная по своему настрою и характеру, типа песни “Утро красит нежным светом // Стены древнего Кремля, // Просыпается с расветом // Вся советская земля”... и напоминают собой Москву советскую, периода развитого социализма, праздничные парады и демонстрации на Красной площади, которые всегда транслировались по телевизору, и оптимистический лозунг XX-го (или XXI-го? я уже забыла, какого) съезда партии: “Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!”, которому верил весь советский народ, за исключением философов типа Блинова и Кувалдина.

Юрий Кувалдин знает почти все улицы, переулки и закоулки Москвы и все ее памятники.

И только он мог вернуть в свою повесть памятник Гоголя в качестве такой мистической детали, в качестве какой он вернул ее в свою “Философию печали”:

“У памятника Гоголю Блинов остановился и как бы удивился, что Гоголь встал с кресла. Хотя, впрочем, никакого кресла на постаменте не наблюдалось”.

Только тот, кто знает историю Москвы и знает, что на Гоголевском бульваре когда-то был не тот Гоголь, то есть не тот его памятник, который стоит там сейчас, сделанный скульптором, фамилию которого я не помню, а другой, более старый, сделанный другим скульптором, фамилию которого я тоже не помню, но что потом старого Гоголя перенесли с Гоголевского бульвара во двор около Никитских ворот(?), где сейчас находится его музей, а на место старого поставили другого, нового, может обратить внимание на процитированный мной абзац Кувалдина и оценить и почувствовать его.

Старый Гоголь, углубленный сам в себя, печальный, трагический в отличие от веселого и бодрого нового, не стоял, а сидел в кресле, в окружении своих барельефных героев, высеченных на постаменте, он и сейчас сидит, но не на Гоголевском бульваре, а во дворе около Никитских ворот, в сквере, среди старинных лип и тополей, а новый стоит на Гоголевском бульваре. И поэтому-то Блинов и удивился, когда увидел Гоголя, который сидел в кресле, а теперь стоит, на своем постаменте, и поэтому-то Блинов и подумал, что Гоголь сидел-сидел в кресле, а теперь встал с него, как будто ожил, как Медный Всадник у Пушкина и как Командор у того же Пушкина... И вот почему тень Блинова погналась за тенью Гоголя, как будто Блинов испугался, но испугался не Гоголя и не того, что этот длинноносый мертвый бронзовый гений погонится за ним, как Медный всадник за Евгением, или как Командор за Дон Жуаном, или как Вий... сядет в гроб или в кресло (которое будто похитили любители антиквара) и полетит за ним, а того, что Гоголь уйдет со своего постаamenta.

А в следующем абзаце Блинов как раз вспоминает о себе, как он, Блинов, маленьким играл около Гоголя, который со “скорбной улыбкой”, “согбенный”, “бронзовый”, “позеленевший”, покрытый мхом, сидел в своем кресле и словно мечтал “о раздольных степях Малороссии, о тройке быстрых коней, о широте и удалстве”... И это на самом деле вспоминает не столько Блинов, сколько сам Кувалдин о самом себе.

История о том, как Дубовской покупал шнурки к своим старым, стоптаным, не щиченым ботинкам, это очень смешная история, фарс с гротеском. Это самостоятельный вставной рассказ в повести “Философия печали”.

Покупка шнурков, такое мелкое и незначительное дело, превращается у Дубовского в дело первостепенной важности, в главное событие дня и чуть ли не становится главным событием всей его жизни.

Но история со шнурками не только смешная, она и очень печальная, если посмотреть на нее с другой стороны, не с внешней, а с внутренней. Она говорит о том, что Дубовской очень одинок, у него нет жены, спутницы жизни, которая заботилась бы о нем, следила бы за его одеждой и обувью, у него нет близкого человека, которому он мог бы рассказать о себе, и он рассказывает о себе совсем незнакомым ему людям, разным продавцам... Например, он рассказывает им о том, как он во время войны попал в автополк, участвовал в Чите в сборке автомобилей, как в монгольском городке Тамацк-Булаг ему доверили грузовик “Студебеккер ЮС - 6 - 62”, шесть на четыре, как он на нем совершил своей первый настоящий рейс до городка Ванемяо в Манчжурии, как он потом работал диспетчером, заправщиком, шофером на “Студебеккере” и даже на “ЗИС-5”... он рассказывает им об истории автомобилей... и у него при этом возникает синдром болтливости, как у бравого солдата Швейка, а им это все неинтересно и ненужно, и они забудут обо всем этом через минуту:

- А собственно, зачем вы (нам) это рассказываете? - спрашивает у него продавщица и через некоторое время скорее дает ему его шнурки, чтобы только он скорее ушел из магазина.

В смешном иногда бывает много печального, как в печальном бывает много смешного.

Домой Дубовской возвращался “с великим чувством исполненного долга”, он задумал купить шнурки и купил их. Да еще прочитал продавщицам лекцию об истории автомобилей.

...Дубовской упустил в своей жизни что-то самое главное и поэтому старается утешиться такой ерундой, как покупка шнурков.

Его мучает чувство неудовлетворения от какого-то большого не исполненного им долга, и он старается заглушить его в себе чувством удовлетворения от покупки шнурков, от небольшого, но исполненного им долга.

В “Философии печали” много философии, много серьезных, оригинальных, непривычных, смелых и противоречивых размышлений и рассуждений на самые разные темы. О жизни и смерти, о предназначении человека, о литературе и искусстве, о писателях, в том числе - о Достоевском, о Тургеневе, о Льве Толстом... Эти размышления и рассуждения могли бы стать темой докторской диссертации. Но Кувалдин дает их в разных частях своих произведений не в виде больших и длинных монологов кого-нибудь из героев, или в виде таких же больших и длинных диалогов между героями, как сделали бы это, например, Достоевский и Толстой, которых, по мнению героев Кувалдина, надо сокращать раза в три, а небольшими, удобоваримыми порциями, вкладывает их в уста разных героев... то в одном эпизоде произведения, то в другом... И поэтому все это хорошо усваивается читателями. И воспринимается не как нечто наукообразное, скучное, а как нечто очень интересное и необходимое тебе для твоего понимания всего этого и для твоего внутреннего развития и роста.

Кувалдин - мастер художественных деталей. Люди ходят у него не в абстрактной одежде и обуви, а, например, кто - в “габардиновом плаще”, кто - в стоптанных ботинках об одном шнурке и с белой завязкой вместо другого шнурка, кто (девушки-модницы) в высоких “кавалерийских” сапогах на высоких каблуках, кто - с “фанерным” чемоданом, кто - в “пыжиковой” шапке...

А кроме того - Кувалдин изобретатель своих собственных художественных, очень поэтических деталей.

Вот одна из них.

Евграфов сказал Блинову, что тот должен освободить место доцента, и покраснел при этих словах, в этот момент. Ну, покраснел и покраснел. Значит, у него в глубине души есть мысль о том, что он поступает непорядочно по отношению к Блинову, и его в глубине души мучает совесть, которая у него еще не вся потеряна. Но Кувалдин как автор психологического портрета Блинова не останавливается на этом. Он идет дальше, усиливает и подчеркивает этот важный эмоциональный момент с помощью яркой детали - “красного абажура”. Блинов не заметил “красноты” Евграфова, “потому что настольная лампа с красными абажуром окрашивала лица и предметы в светло-кумачовый цвет”. Совесть заговорила в Евграфове, но никто этого не заметил. И она опять замолчит в нем и спрячется подальше от глаз людей. А может быть, он и не краснел? Может быть, это только показалось автору, который наблюдал за своим героем со стороны? Автор не уточняет этого. И тем самым оставляет читателям информацию к размышлениям и к догадкам.

В прозе Кувалдина речь каждого героя говорит о самом этом герое, как говорится, сама за себя и характеризует этого героя.

Некто отставной подполковник Маслов употребляет в своей речи оборот из двух слов, монологичный, слитый в одно слово: “т а с а з а т ь” - так сказать. Что придает его серьезным речам комичный оттенок:

- Тут жалоба на вас поступила, - говорит он Блинову. - Вы не соответствуете, т а с а з а т ь, должности своей, т а с а з а т ь, доцентской. ... вот Зайцев, т а с а з а т ь, свидетельствует о (вашем) преклонении, т а с а з а т ь, перед Сенекой.

Некто Ключарев употребляет в своей речи строго официальные слова и выражения, как будто выступает на трибуне съезда КПСС:

- Я выражаю товарищу Блинову политическое недоверие и предлагаю ходатайствовать перед администрацией о переводе товарища Блинова Г. М. на полставки!

Продащица в магазине, “накрашенная девица”, у которой Дубовской хочет купить шнурки, но непременно зеленые, которых у нее нет, а не коричневые и черные, которых у нее есть, говорит ему:

- Гражданин, вы в о о б щ е!..

И не находит слов, что сказать еще. Слово “вообще” выражает крайнюю степень ее негодования.

- Дочка, вы такая молоденькая и такая злая, почему? - говорит он ей.

- Какая я тебе дочка, болван! Ну, в о о б щ е!

В это слово “вообще” она вкладывает все самые плохие слова в адрес Дубовского, в том числе, наверное, и матерные. Оно получается в ее устах очень ярким, выразительным, емким, наполненным и суперэмоциональным. Хотя само по себе - оно вообще-то совершенно бесцветное, нейтральное, плоское и не эмоциональное.

Меня удивляет и восхищает искусство Кувалдина, с которым он умеет разместить, расположить в своих повестях и рассказах свой художественный материал и как он сделал это в романе “Философия печали”. Он знает, кого из своих героев и персонажей во что одеть и обуть, кому какие прически сделать, кого какую внешностью наделить, кому какие роли дать играть, кого какую походкою заставить ходить, кого в каких домах и на каких улицах поселить, кого куда устроить работать, в какие организации (а кого на печь посадить), и знает, кого с какими людьми свести и заставить общаться по сюжету, и знает, кому какие слова и речи вложить в уста, и знает, кому какие мысли вложить в голову и кому какие чувства вложить в душу и кого когда вывести под свет прожекторов и софитов...

Он распределяет художественный материал между всеми “участниками” своих произведений, как если бы между участниками пьес и кинофильмов... Кому - дает это, кому - то. А по сути он же сам и является главным и единственным участником всех своих произведений, один играет всех своих героев и персонажей, как гениальный актер, у которого много разных амплу.

Его произведения - как хорошо срежиссированные спектакли и фильмы, в которых играют великолепные актеры, независимо от того, в каких ролях они выступают, в больших или маленьких или вообще в массовках.

У Кувалдина в произведениях много филологических и поэтических находок.

Блинов в метро обратил внимание на табличку с надписью “не прислоняться”. В слове “прислоняться” он увидел слово “слон”: “при слоне”, “слоняться”...

О книгах, которые пылятся на полке у Дубовского, Кувалдин говорит: слова пылились на полке... Любкой поэт позавидовал бы такой метонимии Кувалдина, такой

поэтической находке, которую он нашел в комнате своего героя, когда рассматривал и описывал ее.

Я сказала, что роман “Философия печали” – это не учебник философии и не трактат. Но, пожалуй, это и учебник, не научный, а художественный, и не только философии, но и литературы, и стилистики, и языкознания, и лексикологии, и жизни, и актерско-режиссерского мастерства, как и каждая вещь хорошего писателя, как и другие вещи самого Кувалдина, и во втором томе, и во всех десяти томах его сочинений. Так много там ценного материала, ценного во всех смыслах, по которому каждый культурный человек может изучать все упомянутые дисциплины. Чтобы подняться в своем развитии на более высокую ступень.

В ранних повестях и рассказах Юрия Кувалдина, которые он включил во второй том своего собрания сочинений, уже присутствуют все основные линии и направления и особенности его творчества, которые он потом будет разрабатывать и усиливать в своих более поздних произведениях.

2.

“Не говори, что сердцу больно” – это повесть о любви между выпускницей школы, девочкой Юлией неполных 17-ти лет и доктором наук, деканом крупнейшего института, мужчины 45-ти лет Вадимом Станиславовичем. Она захотела поступить в институт, все равно в какой, лишь бы получить высшее образование, и пришла к декану, рассчитывая на то, что она понравится ему как девушка и он поможет ей поступить туда. И он помог ей, потому что она и правда ему понравилась и он влюбился в нее с первого взгляда. Но главное, что и она влюбилась в него с первого взгляда, несмотря на то, что он годился ей в отцы, притом не в очень молодые отцы, а может быть, как раз поэтому. И ей стало неинтересно водиться со своими ровесниками, с мальчишками, которые кадрились к ней, которые ничего не знали, кроме примитивных жаргонных словечек “балдеть”, “клевая” и т. д. и которые ничему не могли научить ее. Ей было интересно только с ним. Он говорил с нею о литературе, о Грибоедове, рассказывал такое, чего она не могла почерпнуть из программы средней школы, приобщал ее к книгам. А главное – он любил ее любовью взрослого, опытного мужчины и стал ее первым мужчиной и сделал ее женщиной и научил ее искусству любви, секса и эротики, к которому у нее была природная склонность, и более того – талант. Она и до своего доктора наук владела составной частью этого сложного искусства – искусством обольщения, хотя и была вроде бы “невинной” девочкой, “воплощением инфантильности”. Автор показывает, как она села перед ним за стол во время их первой встречи:

“Он предложил ей сесть перед столом в кресло, но Юля села на стул сбоку, чтобы Вадим Станиславович имел возможность видеть ее колени постоянно, пока она находится в кабинете”.

Почему, наверное, он и потянулся к ней, не только потому, что она была красивой, с “пшеничными” волосами. Мало ли на свете красивых девочек с пшеничными волосами. Впрочем, далеко не каждый мужчина и на голые колени прореагирует так, как он. Но здесь у него и у нее все совпало: ей хотелось “безумной

любви”, о которой она мечтала с двенадцати лет, а ему - тоже, они оба оказались открыты для любви.

Автор показывает все поэтапные нюансы их отношений - как герой, “сильно волнуясь, положил чуть дрогнувшую руку ей на колено”, как она “обвила руками” его “шею”, как он “погладил Юлю по голове”, по пшеничным волосам, как она погладила его по лысеющей голове, как он встал сзади нее и обнял ее, как она легла с ним в постель, как “ее груди коснулись его груди”... Автор со стенографической или магнитофонной точностью фиксирует все слова и фразы, которые он и она говорят друг другу в кафе, на улице и в постели:

- Ты меня любишь? - спросила она.

- Люблю! - страстно прошептал он.

- Как ты меня любишь?

- Безумно! - прошептал он.

А потом, когда он решил бросить свою жену, с которой его давно ничто не связало, и жениться на Юле, между ними происходит такой диалог:

- Ты моя! Понимаешь ли ты, что ты моя навсегда!

- Да, - прошептала она.

- Ты моя невеста?

- Да.

- Ты моя жена?

- Да.

...А потом:

- Я хочу тебя сейчас же, - сказала Юлия.

Вадим Станиславович - этакий русский Абеляр XX века, а Юлия - этакая русская Элоиза. Или он - русский вариант героя “Лолиты”, а она - русская Лолита, нимфетка Вадима Станиславовича, но уже совершеннолетняя, она уже может не только смотреть фильмы, которые детям до 16-ти лет смотреть запрещается, но и может делать то, что детям до 16-ти лет делать запрещается, но все же она девочка по своему возрасту и по своему развитию.

Кувалдин написал эту повесть, когда еще набоковская “Лолита” не продавалась в наших русских магазинах и не шла на сцене театра “Эрмитаж”. Это была новаторская повесть о любви, настоящий бестселлер. Она и сейчас воспринимается как бестселлер. И очень захватывающе, легко и неотрывно читается. И может служить художественным учебным пособием по искусству интимных отношений. До Кувалдина я думала, что только Астафьев из писателей советского времени умеет писать “про это” так свободно, подробно и круто, как тогда не положено было писать. Но Кувалдин превзошел в этом Астафьева.

Юле интересно с Вадимом Станиславовичем еще и потому, что с ним она может говорить о том, о чем больше ни с кем не может говорить, она может доверить ему свои сокровенные секреты и тайны, как если бы он был ее тетрадкой-дневником, куда она записывала бы свое самое такое. Например, она говорит ему, что ей в двенадцать лет “снился половой акт”, в котором она “принимала активное участие”. И она знает, что Вадим Станиславович не будет смеяться над ней, осуждать ее, читать ей мораль, а все поймет как надо.

У него после встречи с Юлей произошел “крутой перелом в жизни”, и у Юли после встречи с ним - тоже. У них у обоих произошел крутой перелом в жизни. И на-

чался счастливый романтический конфетно-букетный период со всеми физическими удовольствиями. Он и она счастливы друг с другом и строят прекрасные планы на будущее.

Юлия (кстати сказать, у нее такое льющееся имя) мечтает поехать со своим суженым на море. Море для нее - символ новой жизни, новых перспектив, одна увлекательнее другой. И вот они приехали на море, в Крым, в Евпаторию, в деревню Оленевку, и "море синее" в синих глазах Вадима Станиславовича. И он поплыл с нею вдаль, вдаль, вдаль... в прекрасную даль. И у него, прямо в море, разорвалось сердце, и он утонул. На том и закончилась вся эта счастливая история, в период кульминации счастливых отношений двух героев. Финал у нее неожиданно несчастливый и как бы нелепый, почти как в "Солнечном ударе" Бунина. Жизнь обоих героев как бы только-только началась и была полна прекрасных планов и обещала им что-то прекрасное... И что же?...

Ничего нельзя загадывать в жизни и нельзя строить никакие планы на будущее. Потому что все мы ходим под Богом и под Дамокловым мечом. Вот такая вот философия печали присутствует в повести "Не говори, что сердцу больно"...

Но, может быть, финал повести - как раз не несчастливый, а счастливый? В том смысле, что герои познали любовь с ее лучших - романтических, идеальных - сторон и никогда не узнают ее с альтернативных сторон и не узнают, чем она могла закончиться для них, если бы продолжалась? Мать Юлии, прожженная женщина, прошедшая огни и воды, представляла себе, - чем. Но не хотела им говорить. Она смотрела на них, как богиня Судьбы, и думала: "Зачем говорить в счастливые дни, что (у Юлии и у ее избранника) будут и страдания, что, возможно, Юлия разлюбит его или он разлюбит ее и будет ей изменять, а Юлия будет приходить в отчаяние и сама начнет изменять. Но настанет время, когда и все это станет воспоминанием, наступит старость, и Юлия-старушка будет холодно рассуждать о прожитом и считать это прожитое совершеннейшими пустяками".

...Тема любви, секса, эротики получит у Кувалдина свое развитие во многих других повестях и рассказах, а своего апогея, своего пика она достигнет - в его повести "Юбки".

Рассказ "Совет" - о поисках смысла жизни простой деревенской девушки Оксаны, которая учится в десятом классе и не хочет после школы стать, например, дояркой, выйти замуж, родить детей и жить себе семейной жизнью, как все, а хочет уехать из родного села и стать военным переводчиком. Она сидит со своим дедом-пастухом на лугу около оврага, смотрит на коров, которых пасет дед, на "охряно-зеленое от сурепки поле", на "прозрачных фосфоресцирующих стрекоз" и бабочек, играет с собакой и мечтает о своем будущем, которое кажется ей прекрасным. А настоящее для нее как бы не существует. Она вся - в этом своем будущем. Ей представляется, что она находится в каких-то то ли "лекционных аудиториях", "уходящих амфитеатром вверх", то ли "в старинных, дворцовых, с позолотой залах" и бойко и синхронно "переводит речи высоких английских гостей", что она ездит в командировки за границу и останавливается там в дорожных отелях или на загородных виллах и сидит покачивается в шезлонге, тянет через соломинку коктейль со льдом и слушает тяжелый рок. Она говорит деду:

- А я ведь могу попасть в Америку или в Англию!

- Она что! Ну-ну... - говорит дед.

И советует ей не порхать бабочкой, а подумать, в чем ее главное счастье и предназначение.

И говорит ей:

- Выбрось ты из головы этих военных переводчиков... Ни к чему они тебе. Твое счастье в тебе самой. ...Найди себе мужа хорошего, пусть даже военного переводчика, и в Америку, и в Англию съездишь, и главное дело свое сделаешь (главное свое предназначение выполнишь)...

Он советует ей поступить не в военные переводчики, а “в женщины”. И говорит, что главный смысл жизни ее - “в женственности” ее, во многих детях, которых она родит, в семье и в любви до гроба, в том, чтобы любить мужа своего и рожать ему “деточек”.

Оксане слова деда кажутся глупыми и даже пошлыми. И она берет с травы свой портативный магнитофон, врубает его на всю громкость и уходит на станцию.

А наряд на Оксане такой: белая короткая блузка, выбивающаяся из-за пояса и трепещущая на ветерке, синие кроссовки и брюки, похожие на армейские галифе.

Оксана - прообраз советской девушки, которая наслушалась иностранного рока, и у нее появилась нетрадиционная для деревенской советской девушки западная ориентация в жизни. Вряд ли Оксана станет военным переводчиком, она небось и языка-то иностранного путем не знает, но жизнь себе она может испортить, если не послушает мудрого для нее совета своего деда.

Написан в яркой художественной манере, с четкими деталями, среди которых запоминается, например, пушистый хвост собаки с налипшими на нем репьями, который, как и “прозрачные фосфоресцирующие стрекозы”, как и коровы на лугу, как и совет деда, которого она не послушала, может быть, потом будет вспоминаться Оксане в минуты печали, когда она поменяет горшки на глину, свою деревенскую жизнь на какую-то другую, к которой она не приспособлена и в которой она не сможет найти себя, свое призвание и свое счастье.

“Письмо” - рассказ о зубной боли, о хуе, которое не бывает без добра, о несчастье, без которого не было бы счастья. Главный и, собственно говоря, единственный герой рассказа Грищев сидит у себя дома и испытывает адскую зубную боль, которую невозможно терпеть. И пробует отвлечься от нее - читает инструкцию по охране труда, из которой следует, что в химический цех нельзя входить “с огнем”, иначе там может получиться возгорание и горение: “Горением называется химическая реакция... сопровождаемая выделением большого количества тепла и свечением. Внешним проявлением горения является огонь...” Инструкция не спасает Грищева от боли, - так сказать, не заговаривает ему зубы. И он в конце концов идет в поликлинику к дантисту - “не к специалисту по Данте... а к зубному врачу”, сообщает автор, поэтично и юмористично обыгрывая имя Данте и профессию дантиста, которые, может быть, происходят от одного корня, и совершая неожиданное филологическое открытие: “Стало быть, в имени Данте есть что-то зубное, а поэтому infernalное (адское)!”

Дантистом оказывается симпатичная девушка “с большими темными глазами, длинными и пушистыми ресницами” и “с ямочками на щеках”. Она избавила его от зубной боли. И велела ему приходить к ней через день - “поставить пломбу”. И герой влюбился в нее. И испытал в себе то самое горение, о котором говорилось в инструкции. И начал писать ей мысленное письмо, объясняя ей, что такое “горение души пациента” и от чего оно может получиться: “Источником возгорания может служить черноокая девушка с длинными пушистыми ресницами и ямочками на щеках, обладающая чувственным запасом энергии, достаточной для возбуждения горения души пациента”.

Автор использовал в своем рассказе нестандартный художественный прием с инструкцией, чтобы показать чувства героя нестандартным образом. И это ему отлично удалось.

Слава зубной боли! - восклицает автор! Слава худу, без которого нет добра, и несчастью, без которого не было бы счастья!

У Кувалдина не бывает вещей без философии. Он видит ее во всем. Зубная боль открывает Грищеву "смысл бытия" и вот такую вот философию печали: зубная боль - это сигнал бедствия большого, погибающего зуба. Это его сигнал СОС. Зуб хочет, чтобы каждый орган тела человека почувствовал, как ему плохо, и превращается в "мудрого повелителя, в тирана", который требует, чтобы его спасли. Все погибающее посылает свой сигнал бедствия и хочет спасти себя.

В этом рассказе Кувалдина, как и во всех его вещах, много художественных образов, которые хочется выписать в тетрадку и любоваться ими. Например, такое сравнение: строчки текста инструкции прыгают, мелькают и рябят в глазах у героя, как "помехи на телеэкране". Или вот такая смешная гипербола: у дворничихи, которая метет улицу, "щеки были видны сзади".

Рассказ "Виноватый" - о советском "маленьком оборвыше", о мальчике, который убежал от своего отца, от отца, который пьет и колотит его, бьет по голове. Мальчик едет в электричке во втором часу ночи, неизвестно куда, держит в руке увядающий красный тюльпан, который ему дал какой-то дяденька... Вся голова у мальчика в белых шрамах, в следах побоев. Взрослый герой рассказа Гусев приводит его к себе домой, в свою семью, чтобы покормить и искупать его, дать ему переночевать у себя дома. Но ни его жена, ни его сын не рады этому "гостю" с улицы. И утром они отвозят его на вокзал. И оставляют там, как брошенного щенка, которому некуда и не к кому идти и некуда и не к кому ехать.

Гусев чувствует себя виноватым, но что он может сделать в той ситуации?

Красный тюльпан в руках маленького оборвыша ассоциируется у меня с красным цветком Гаршина. Но тот был символом зла, с которым боролся сумасшедший герой, а этот - символ добра и красоты мира, правда, увядающий. Мальчику подарили красный цветок, мальчику подарили сочувствие и сострадание, но только на короткое время. Может быть, этот цветок и даст свои семена в его сердце, а может быть, и нет. Может быть, он превратится в цветок зла.

Виктор Кузнецов-Казанский

“...ЖИЗНЬ В БЕРЕЗАХ И ЗАБОРАХ”
(о повести “Аля”)

Пересказывать содержание повести Юрия Кувалдина “Аля” нет резона - каждый, кто примется ее читать, не сможет оторваться до последней строчки. И не станет заглядывать вперед... Дело отнюдь не в криминальной интриге и не в витиеватости сюжета (который, как мне представляется, прост и незатейлив), а в том, что писатель заинтересованно и с чувством искреннего сострадания рассказывает о самых обыкновенных людях - каких в великом множестве встречаем мы в любом уголке нашей родины.

По всему видно, что Ю. Кувалдин близко знаком с бытом и нравами российской глубинки - деревень, поселков, городков, где, как образно выражается один из героев повести, “...вся жизнь в березах и заборах”. Все в повести “Аля” образно и осязаемо, так как оттенено неожиданными, но очень точными штрихами.

Даже когда речь заходит о человеческих подлости и жестокости, автор и на миг не забывает, что все его герои (не только те, кто добр и доверчив, как Аля, т. е. учительница Алевтина Свечникова, но и те, кто беспредельно жаден, корыстолюбив, бессовестен или просто безволен!) тоже по-своему несчастны. Мы отчетливо осознаем, что не менее чем главная героиня, заслуживают сострадания и ее пьющий и гулящий муж - главный инженер совхоза, и завуч-формалистка Потемкина, супруга совхозного директора, и не выдержавший серьезного жизненного испытания Мансуров-старший... Словом - все, кто отравляет ее и нашу жизнь.

Окончательно оставленный Алей муж, привыкший, что “эта ущербная” всегда его примет и все-все обязательно простит, в завершающем эпизоде повести вымещает злобу на преданной ему коротколапой собаке... А сама Аля, ютящаяся теперь в крошечной мансардной комнатке, ждет долгожданного первенца, которому суждено расти и входить в жизнь без отца.

Здесь мне трудно удержаться и не высказать, что Юрий Кувалдин в моем представлении выглядит достойным продолжателем традиций, внесенных в русскую литературу такими великими авторами, как Ф. М. Достоевский, Ю. В. Трифонов и Ю. М. Нагибин. И еще, может, быть, В. П. Астафьев...

Кирилл Ковальджи

ДИТЯ СВОБОДЫ

Я знаю этого удивительного человека более четверти века (невольная рифма!). С первой встречи он поразил меня своим энтузиазмом, жадной жизни, любовью к слову - качествами, которые с годами не остыли, напротив - возросли. Юрий Кувалдин сначала писал стихи, но носился не со своими, а с понравившимися чужими. По-настоящему же влюбился в Мандельштама, написал о нем целую книгу. Я безуспешно пытался какие-то главы пробить в журнал "Юность", где тогда работал. Кстати, я попробовал там же в примечаниях к одной статье опубликовать мандельштамовское "Мы живем, под собою не чуя страны...". Не вышло, смог отстоять только первые семь строк, а Юрию Кувалдину удалось (пусть в многотиражке) впервые в нашей стране обнародовать это стихотворение целиком.

Вот необыкновенная его черта - ему удавалось и удается то, что другим не под силу, более того - кажется вообще невозможным. Помню, в ту пору, когда он основал свое личное, частное издательство, я оказался главным редактором "Московского рабочего", чей штат насчитывал более ста человек, Юрий Кувалдин же обходился одним штатным работником - самим собой. Был един во всех лицах - директором, редактором, верстальщиком, экспедитором... Все издательство "Книжный сад" умещалось на одном стуле (бывали, правда, и попутчики-помощники). Создал "Ахматовским культурный центр" в квартире Ардовых (на Большой Ордынке) и свою литературную программу на Всесоюзном (Всероссийском) радио "Вечера на улице Качалова"...

При этом он еще умудрялся писать прозу - повести, романы. И начал успешно печататься в "Новом мире", "Дружбе народов". И выступать (как критик и публицист) с резкими полемическими статьями в столичной прессе. Казалось, он обгонял самого себя.

Если вспомнить шутку про чучку, который "писатель, а не читатель", то писатель Юрий Кувалдин на редкость ненасытный читатель. Недаром он в повести "Ранние сумерки" устами своего героя Вадима справедливо (а сегодня - особенно злободневно!) говорит: "...книги столь же необходимы молодым, как и живое знание жизни. Умные книги придают живой жизни форму, как гений облекает в совершенную форму грубый кусок глины". (Как подумаешь, книга "Философия печали", где опубликована упомянутая повесть, вышла в 1990 году тиражом в сто тысяч экземпляров. Вот уж действительно повод для острого приступа ностальгии!)

Развивался Юрий Кувалдин интенсивно, экстенсивно и - рискну добавить - экспансивно. За короткое время выдал на-гора ряд произведений, где углублялся то в Достоевского, то в Ницше, то в Чехова, то вдруг вторгался в быт и секс, то "тревожил" имя Солженицына и воскрешал Федора Крюкова, при этом "весомо, грубо, зримо" завоевывая литпространство издаваемыми им книгами Нагибина, Блажеевского, Тимофеевского, Красновой, Рассадина, Искандера, Липкина, Разгона и собственным ежемесячным журналом.

Вот кто воспользовался свободой на всю катушку!

Не так, как “олигархи”. Исключительно своим трудом.

Свобода породила горстку толстосумов, каких свет не видывал и толпы неприка-
янных, растерянных, нищих. В среде литераторов объявилась уйма остолбенелых
“инженеров человеческих душ”, оказавшихся не у дел. На моих глазах рухнула в од-
ночасье советская иерархия литературных авторитетов. Остались жалобы и прокля-
тия. Литература забуксовала на распутье. Тиражи “толстых” журналов устремились к
нулю, и достигли бы его, когда б не спонсоры и какая-никакая поддержка государст-
ва. Свобода - тяжелое испытание...

Но не для Юрия Кувалдина, с восторгом встретившего Ее. Свободу слова, печати.
Он ее ждал, она была для него. Как распахнувшееся поле деятельности. Засучи рука-
ва, давай работай! “И никто нам не поможет. И не надо помогать” - как сказал Борис
Чичибабин (у Георгия Иванова эти же слова в другом смысле!).

Юрий Кувалдин, молодой, заряженный неумной энергией, талантливый, но в от-
личие от писателей-себялюбцев, искренне радующийся любым проявлениям талант-
ливости у собратьев, Юрий Кувалдин, первым взялся, повторяю, самолично выпуск-
ать книги. На самой заре нового нашего уклада это похоже было на донкихотство,
ибо он и не думал приспособиться к рынку, потрафлять ему - с самого начала этот из-
датель-рыцарь, решил осуществить свою мечту - выпускать то, что сердцу любо.

То, что самому хочется.

Легко ли ему было? Куда там! Приходилось не только лбом пробивать стену, но
и терпеть поражения. Отступать. Однако Юрий Кувалдин тут же возникал на другом
участке фронта, с меньшей дерзостью и верой брался за новое дело. Юрий Кувал-
дин - борец. Но вне групп и тусовок, его божество - слово, творчество. Один - в поле
воин? Да. Доказано им. Кто он? Кот, который гуляет сам по себе? Скорей - Дон-Ки-
хот. И в то же время Санча Панса - оснащенный здоровым здравым смыслом, дело-
вой сноровкой.

Он вступил в неравный бой с традиционными литературными журналами (с од-
ной стороны) и коммерческими (с другой). Он замыслил литературный журнал, про-
тивопоставленный и масскультуре, и элитарности, журнал, призванный заполнить
“демократическую” нишу в текущей словесности. Назвал свой журнал с вызовом -
“Наша улица”. Рискованно? Еще бы. Однако факт: журнал (его художественное
оформление обеспечивает талантливый юрин сын - Александр Трифонов) регулярно
выходит уже шестой год, число его подписчиков и просто читателей растет.

Здесь не место разбирать его удачи и неудачи (меня, например, смущает, когда
очередной номер выходит, представленный одним только жанром - прозой), я хочу
сказать внятное слово о подвижническом труде Юрия Кувалдина, о том, как сейчас в
литературе, и не только в ней - вообще в России нужны деятельные, самостоятель-
ные, целеустремленные личности, энтузиасты. Такие, как он. Надоели бонвиваны и
ворюги, кликуши и нытики. Надоели снобы, спекулянты и новые сановники - особен-
но в нашей, писательской среде.

Юрий Кувалдин тревожит, будоражит самим фактом своего существования, не
дает почить на лаврах сегодняшним любимцам премиально-тусовочной публики, пы-
тающейся игнорировать его журнал и его самого как писателя и критика. То, что де-
лает Юрий Кувалдин совсем не бесспорно, “экссклюзивный” темперамент нет-нет да
заносит его. Но - поверх зигзагов - неоспоримо главное: Юрий Кувалдин - исключи-

Кирилл Ковальджи

тельная, по-своему уникальная фигура в современной литературной жизни и его замолчать не удастся. За объективность этой продуманной фразы - ручаюсь. Хотя субъективно признаюсь в пристрастности - в давнишней дружеской привязанности к Юрию Кувалдину, в благодарности к нему - он не раз прикладывал руку к публикациям моих сочинений, порой завышенно оценивая их...

Сейчас Юрий Кувалдин вступил в самый зрелый, самый плодотворный свой возраст. Собранные вместе его сочинения, впечатляющие, весомые, никак не говорят об окончательных итогах. Он рвется вперед, он впереди себя. И я далеко не последний его болельщик!

БЕЛАЯ КЛАВИША НОВЕНЬКОГО ФОРТЕПЬЯНО
(Юрий Кувалдин. “Ранние сумерки” Повесть.)

Кувалдин - мастер или, точнее, маэстро детали.

Парефразируя Ренана, можно сказать, что истина сокрыта в деталях.

Мне кажется, что неискушенный читатель скользит беспокойным глазом по тексту, страшась потеряться в сюжетных извивах повести “Ранние сумерки”. Я же смакую каждое слово. Читаю неторопливо и сосредоточенно, медленно погружаясь в текст как в тяжелую воду отдельно взятой лагуны со стайками бесполок рыбешек и зубастых пираний, с красивыми, как тюлевые занавески, но ядовитыми медузами (одна из таких медуз обожгла невинное сердце Вадима - героя повествования), с ветвистыми рожками мертвых кораллов на дне.

Чудесное погружение в обыденность семидесятых начинается с первой же строчки. Истощенные вопли кота, насильно избавляемого от блох, густой хвойный запах предновогодья, исподпольные батники, шузня и дубленки, пошлый блеск полировки серванта с декоративным хрусталем и столь же декоративным Есениным, типичные соседи по коммуналке - тихий токарь Коля (“Рублевочкой не разживешь?”) и злобная старушенция (“И курят, и курят, дышать нечем!”).

И щедро рассыпанные по длинной дороге повести образы и детали: рыжий портвейн, тонкая жилка пробора, ласково поблескивающие маслины, губы, существующие отдельно от лица...

Одним словом, все случилось в те незапамятные времена, когда бутылка “Столичной” стоила три двенадцать. Значимость этой хронометрической отметины переоценить невозможно. Вернувшийся из армии Вадим быстро осознает верховенство бутылки в иерархии решительно отвергаемых им общественных ценностей. Уютно чувствующий себя в потустороннем мире литературы, по-настоящему живущий лишь на грани яви и сна с книгой в руках - “блажен кто забывается в книгах” - и потому магнитно влекомый к творческой деятельности, он с горечью видит, что и на островке телевидения, куда прибывает его на время волна судьбы, бутылка тоже в изрядном ходу как цель и как средство убогого существования.

После демобилизации, которую Вадим воспринимает как выход из мертвого дома и которую он покидает с вождленным десятитомником Достоевского (армии Достоевский не нужен), мир видится ему манящим, свежим и ярким. И Вадим неосмотрительно вдыхает полной грудью воздух “свободы” - воздух большой любви, проникновенного общения с друзьями, захватывающей и интересной работы - и тут же хватается за грудь в приступе астматического кашля. Воздух оказывается донельзя едким и горьким. Любовь к идеальной женщине, в два раза старше его, обычное дело, с кем не случилось, оборачивается гнусным предательством, хотя и это обычное дело, с кем не случилось. Друзья и сопутствующие герлы оказываются пустозвонами и жевунами. Щуп его тестового вопроса: “Вы не помните, кто написал о Печорине?” проваливается в пустоту, не достигает дна. Или хуже того, этот пароль, отчаянная попытка узреть впотьмах контуры родственной души, порождает враждебное к нему отношение со

стороны окружающих жевунов. Потому что их бездуховность бездонна. Лишь квялая и одновременно оголтелая кандидатка в невесты его лжеприятеля развивает вокруг образа Печорина турусы на чугунных колесах. Отчего одиночество Вадима выглядит еще более трагичным и безысходным. А вместо захватывающей и интересной работы он видит настоящую на крепкой водяре халтуру. В этот сложный момент ему протягивает руку дружбы и помощи талантливый оператор Игорь, который в свою очередь называет Вадиму пароль ("Констебль") и требует от Вадима отзыва. Вадим знает отзыв, но - чик-чик! - и бритвенно острые ножницы Системы вмиг отрезают, изолируют стропитивого Игоря от любимой работы.

Итак, вместо долгожданного духовного воспарения начинается повседневная маята мает. Непременным условием преодоления этой животной маяты есть ее глубинное осознание. Ранние сумерки, в которые с головой окунулся Вадим, помогают ему в этом деле. Для большинства молодость - это залитое солнечным светом утро, когда хочется бездумно бежать без оглядки, пока хватит сил и дыхания. Но для избранных уготованы ранние сумерки. Сумерки ранней мудрости, безбуферного столкновения с имманентным трагизмом жизни, осознания неизбежности одиночества, погранично-маргинального балансирования на грани яви и сна.

Вадим - белая ворона. Белый слон в паскудной лавке. Белая клавиша новенького фортепьяно. Незримая стена отделяет его от неисчислимого стада гомонящих, суетящихся особей. Вадиму страстно хочется, чтобы всем им вдруг стало стыдно. Но стыд - это прозрение. Тогда как незрячесть мещанского мира зрима и очевидна.

Автор все время чего-то не договаривает. Намеренно замолкает как бы на полуслове, оставляет паузы и смысловые лакуны. Мне кажется, что я понимаю, зачем он это делает. Дело читателя заполнить собственными мыслями эти лакуны, чтобы превратить монолог в диалог. Но такое под силу прежде всего вадимам. Иными словами, повесть "Ранние сумерки" адресована в первую очередь членам этого вымирающего племени. Как необходимое справочное пособие по осознанию того, что умственный труд есть главная форма существования и выживания Человека.

Опосредованная автобиографичность повести не застит глаза, не заставляет щуриться от стиснутого обручем приземленной документальности света, а проступает тончайшим вторым или третьим планом, розовой дымкой в преддверии ранних сумерек. Имя Вадим отсылает пытливого читателя к неоконченному лермонтовскому роману. И в этом я вновь нахожу скрытый намек на определенное сходство личности автора и героя произведения.

Ключевая метаморфоза начинающего телеоператора остается за горизонтом. Но мне она видится как превращение Вадима в оператора жизни, который впоследствии начнет выплескивать на бумагу все свои наблюдения, впечатления, мысли. К этому выводу меня подталкивает и открытый финал повести - экскаватор, жадно пожирающий остатки недавнего прошлого Вадима. Разумеется, я в этом не уверен. Зыбучий песок бытия без труда стремительно поглощает пограничные столбики категорических утверждений. Я просто так думаю.

В своем интервью в “Независимой газете” писатель Юрий Кувалдин дает определение роли писателя: “Литературу делают волю”. Он действительно пашет, подобно мощному волу: тянет собственный ежемесячный журнал “Наша улица”, работает над изданием книг в своем издательстве “Книжный сад” и много пишет. К своему 60-летию он подготовил этот могучий десяти томик прозы, куда вошли его романы, повести и рассказы. Из обширного материала, рожденного еще в “прошлой жизни”, то есть в постперестроечные годы, я бы выделил повесть “Свои”, где Кувалдин в реалистической манере раскрывает трагедийную ситуацию в жизни одной семьи. Фомичевы старше предстают перед читателем в наиболее удручающем виде: жена Нюра, больная диабетом, располнела так, что еле передвигается по дому. Сам Федор Павлович охарактеризован как человек рабочей закалки, всю жизнь проработавший маляром на стройке. В новой интерпретации человек труда становится чуть ли не изгоем в кругу творческой интеллигенции, в недавнем прошлом перекормленной всевозможными производственными романами. Появилось желание поиронизировать, поизголяться над ним. Хотя, как мне кажется, подобный карикатурный взгляд на рабочего человека неизвестно как может быть истолкован в читательской среде. Налицо проявление дегуманизации, царящей в нашем обществе. Понятное дело, белье свое Федор Павлович не меняет месяцами, спит и зимой и летом под ватным одеялом в непроветриваемой комнатенке, пропахшей нечистым бельем и портянками, ест... Но это особая статья. Тут на помощь может прийти только цитата из Кувалдина: “Федор Павлович почесал под рубахой живот, зевнул и побрел на кухню. Он прокипятил кастрюлю щей, налил себе полную эмалированную миску, отрезал три огромных ломтя черного хлеба, взял большую деревянную ложку, сел на самодельный табурет к столу и принялся хлебать, чавкать и втягивать в себя сопли. Да, именно так ел Федор Павлович, и вместе с ним вряд ли кто мог выдержать этот обед. Съев миску и тщательно облизав ложку, Федор Павлович рыгнул, посмотрел в окно на линию железной дороги, подумал и налил еще целую миску...”

Он годами вынужден ухаживать за больной женой, отчего он сделался злым и раздражительным. В довершение всего во время его поездки в деревню за салом, Федор Павлович завел себе любовницу Дусю, воспоминания о молодом теле которой “наполняли его рот сладкой слюной”. И вот семидесятилетний человек, прошедший войну, вдруг решается удушить свою жену подушкой, дабы привезти пожениться и прописать в своей московской квартире рязанскую молодуху Дусю, “огромные груди которой так понравилось целовать Федору Павловичу”.

Ситуация, описываемая в повести “Свои” достаточно характерна, и каждый в своей жизни так или иначе сталкивается с чем-то похожим, происходящим почти в любой семье. Болезнь пожилой женщины, редко навещаемой детьми, которые давно уже живут самостоятельной жизнью, становится основной причиной, которая приводит отца семейства к подобной кульминации: к убийству жены. Тем временем, стар-

ший сын Алексей Федорович, в годы перестройки потерявший работу по причине всеобщей ломки в стране, запил, сделался завсегдаем пьянчужных компашек, с утра кучкующихся около винного отдела при магазине, что “на горке”. И только благодаря новым налаживающимся производственным отношениям пробивной мужик Алексей Федорович находит себе применение в американско-советском предприятии. Старший сын оказался в теплой компании “новых русских”, портреты которых прописаны автором в более светлых тонах. Сразу видны симпатии и антипатии автора, и сделано это умышленно, чтобы не утруждать читателя глубоким анализом типичности-нетипичности тех или иных героев.

Вполне обыденно для того времени складываются судьбы и двух других детей семьи Фомичевых: дочь Зина замужня женщина, живет с человеком, с которым познакомилась, когда тот выступал на сцене заводского клуба самодеятельности. “И самой Зинаиде Федоровне захотелось быть самодеятельной артисткой - и голосок у нее был, правда, визгливый, но для народных песен в самый раз”.

После тридцати лет совместного проживания с мужем Николаем у Зинаиды Федоровны народилось двое сыновей. Но жизнь в семье к тому времени совсем разладилась: муж отгородился от нее, отчего жена даже подпалить решила его всегда запертую дверь в отдельной комнате. Мещанский быт с полированным шкафом и диваном поначалу были по душе юной жене, а потом все пришло к духовной пустоте и полному размежеванию. В отношениях этих людей не нашлось скрепляющего их судьбы какого-то общего дела или духовных связей, которые бы удерживали полет их душ на одной избранной ими околоземной, то есть околобытовой орбите. Помните, как впечатляюще прпят в облаках Амура и Психея под куполом ротонды дворца князя Юсупова в Архангельском?

Жизнь на уровне простого биосинтеза не стала для персонажей Кувалдина тем классическим пониманием счастья, в которое они всерьез верили, когда сходились на сцене заводского дома культуры. И то, что произошло в повести с тестем Николаем, посягнувшем на жизнь своей жены, то вполне может произойти и с самим Николаем, когда он “созреет” до подобного решения.

Третий отпрыск из семьи Фомичевых, самый младший - это Владимир Федорович, который сумел устроить свою личную жизнь, вполне сытую и счастливую. Вся семья живет в полном согласии и любви. Но все-таки (автор не говорит об этом) там тоже чего-то не хватает. Мучительно вчитываешься в эти строки, где семья обсуждает все возможные дела и планы на будущее, и осознаешь, что за всем этим мнимым покоем и благополучием не просматривается главное - цель жизни, ее вектор, без которого все сразу меркнет и исчезает. Если свет гасят в театре перед началом спектакля, то там душа полна ожидания какого-то завораживающего действия. А если он гаснет на кухне в доме Владимира Федоровича, то кроме храпа в соседней с ней спальней комнате там ничего не может происходить. Сразу всплывают в сознании образы героев Бальзака или Эмиля Золя и те суровые будни, в которых проистекают события, сочно и реалистично описываемые в их произведениях. Нынешний российский читатель и телезритель во многом погружен в подобную среду, в которой царят беспредел и чувство безысходности. Именно такую “культурную” ауру предсказал нам в своей повести писатель Юрий Кувалдин.

Если внимательно вчитаться в повесть “Свои”, то по своей глубине, по выразительному языку, по точно найденной интонации и огранке характеров героев, это

Сопереживание

произведение (равно как и множество других работ этого автора) можно сопоставить с лучшими произведениями отечественной и мировой классики. Всегда очень важно оказаться в нужное время и в нужном месте. И если смотреть с этой позиции, то, может, даже и лучше, что писатель Кувалдин не обрел широкого признания в советский период. Тогда бы на его книгах без всякого сомнения оставался налет социалистического реализма, что в наше время не очень-то приветствуется среди элитарной читающей публики.

Автор задуманной, но не до конца осуществленной “Человеческой комедии” Оноре де Бальзак тоже восклицал: “Человеческое поколение есть не что иное, как драма с четырьмя-пятью тысячами выдающихся персонажей”. Но при этом не лишенный честолюбия Бальзак признавал, что все писатели, его современники являются только лишь каменщиками, тогда как зодчий стоит надо всеми ими. Иногда автор повести “Свои” осознает себя (пусть не в данном произведении) не каменщиком, а зодчим. Вполне возможно, что Юрий Кувалдин видит дальше всех нас, своих современников, отсюда и произрастает полная уверенность в творческой непогрешимости и собственном величии. Оставим эти прорицания на суд читателей будущего.

Но надо отдать должное автору многих повестей и романов, рассказов и статей, написанных преимущественно в зрелом возрасте, что он умеет нащупать пульс нынешнего больного времени и точно поставить диагноз, а затем ярко и образно изложить его на страницах своих книг.

Сложно сопереживать судьбе обманутой девушки Веры в романе И.А. Гончарова “Обрыв” или герою повести Н.В. Гоголя “Нос”, тогда как чуть ли не ежедневно происходят события, уносящие не один десяток человеческих жизней. Но в том-то и заключается тайна искусства, что оно заставляет читателя, слушателя или зрителя перевоплощаться, трансформироваться в своем сознании в ту эпоху, в ту среду, в ту драму, про которую тоже задавался, казалось бы, риторическим вопросом герой Шекспира: “Что я Гекубе, что Гекуба мне?” От “Илиады” Гомера до шекспировских времен тоже пролегла длинная и тернистая дорога. Проявится ли желание у читателей повести “Свои” сопереживать той острой драме, которая развернута перед ними? Думаю, что проявится. Если не сейчас, то в будущем. Как говорил своим недоброжелателям и завистникам поэт Владимир Маяковский: “Зайдите через сто лет!”

Нина Краснова

О МАСТЕРСТВЕ ЮРИЯ КУВАЛДИНА НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ “ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ”

В 80-90-е годы XX века, а точнее в годы перестройки, когда открылся Железный занавес, который с 1917 года существовал между Россией и Западом, многие люди в России мечтали съездить или вообще уехать на Запад, который в советских средствах массовой информации назывался не иначе, как “загнивающим”, а на самом деле оказался процветающим, а “загнивающей” оказалась сам Советский Союз с его тоталитарным режимом и застоём, который к моменту перестройки дошел до ручки, до того, что хлеб народу стал выдаваться чуть ли не по карточкам, как во время войны. Я помню, какие длинные очереди стояли в Рязани в 1990 году за хлебом, и он еще не каждому доставался, а пшено и рис люди получали в месяц по 150-300 граммов на человека, как в блокадном Ленинграде, но и этого в магазинах нельзя было купить даже на деньги. Как будто кто-то куда-то все это специально попрятал. А про колбасы я и вообще молчу. Если какой-то один сорт колбасы - “докторской” за 2 руб. 20 коп. - выбрасывался на прилавок, люди лезли за ним по головам и затапывали друг друга, как Ходынском поле.

...Портрет Шпагина хорош сам по себе, без всяких идей: у него седые волосы, седая борода, то есть щетина, и рыжие усы, и ко всему этому еще (яркая - не от хорошей жизни советских людей - примета советского времени) “беззубый рот”, который делал Шпагина “стариком”, хотя ему было всего сорок два” года. Как Пушкин не любил русской речи “без грамматической ошибки”, так и Кувалдин не любит портретов без каких-нибудь физических и не только физических дефектов. Все герои у него с какими-нибудь дефектами и деформациями, и поэтому и получают не манекенными, не муляжными, а живыми, в которых читатели могут узнать самих себя или своих родственников или своих соседей по дому или своих коллег. У Шпагина нет денег даже на зубы, а он хочет создать какой-то кооператив, которому он уже и название придумал: “Китеж”. Потому Шпагин и хочет создать его, чтобы подняться на ноги и стать богатым. А когда он станет богатым, тогда уж и новые зубы себе поставит.

...Портрет Пашки-художника тоже бесподобен. Пашка - предстает перед Шпагиным и перед гостем из Нью-Йорка Рейнгольдом и перед читателями на пороге своей мастерской таким: “в белом фартуке, заляпанном красками, надетом на голое тело”, “в длинных полосатых трусах”. “Сухие ноги” Пашки “тоже были заляпаны в некоторых местах краской. В правой руке Пашка держал палитру - фанерку от посылочного ящика, на которой пестрыми островками поблескивали масляные краски, как крем на торте, а в левой, между пальцами, торчало несколько кистей.

- Не обращайтесь на меня внимания, - сказал Пашка, пятясь от двери в глубь мастерской”.

Да как же не обращать внимания на такую колоритную фактуру, которую ни один художник не отказался бы нарисовать прямо с натуры?

“ - Великий художник земли русской Павел Натапов!” - церемонно представил его Шпагин.

Великий художник здесь не столько Павел Натапов, сколько Кувалдин, который нарисовал и его, и самого Шпагина, и других участников своей повести. Ну прямо Певров, да и только, и Федотов, и Тропинин, и Кипренский, и Крамской в одном лице!

...Портреты юных девиц - Марины и Лины - Кувалдин передает, через их модные плащи, у Марины "черный длиннополый плащ с погончиками", а у Лины - "плечистый, серебристый", и через ароматы духов, которыми (ароматами этих духов) они залили машину, и через их волосы, Марина - брюнетка, а Лина - блондинка, о которых Рейнгольд сказал:

" - Все блондинки очаровательны... зато брюнетки таинственны... "

А еще - через их глаза, которые сверкали "от живописной роскоши мастерской, от свечей, от живого американца и оттого, что они впервые сюда попали". А еще - через их красивые женские ноги, которые для мужчин бывают важнее красивых женских лиц.

"Лина забросила ногу за ногу и одернула юбку, обнажившую значительную часть красивых ног выше колена. И все мужчины машинально опустили глаза к краю ее юбки.

Маринка это быстро уловила, встала, подошла к какой-то картинке, затем вернулась и поставила одну ногу на невысокий табурет, на котором до этого сидел Пашка, отошедший к шкафчику за тарелками. Шпагин украдкой взглянул на нее: юбка у нее, как и у Лины, задралась, а стройные ноги в прозрачных черных чулках выглядят еще привлекательнее, чем у Лины.

Молодец, Маринка, подумал Шпагин, и от удовольствия погладил усы..."

...Портрет жены Шпагина Кувалдин рисует не через ее внешность, а через ее психологию, через ее слова, интонации и жесты, через ее манеру разговаривать и вести себя с ним, через психологические детали.

"Он сядет в кресло перед телевизором... она войдет в комнату и закричит, как на вокзале: "Ну что ты сидишь, как пень?!" Он встанет, пройдет по комнате, затем зайдет на кухню... а жена скажет: "Что ты все ходишь тут?!" Он пойдет в маленькую комнату, ляжет на диван с книгой, а жена ворвется (к нему) через минуту и бросит: "Что ты разлегся, как барин?!" И то ей не так, и то ей не этак. И уж не знает муж, как себя вести, что делать, чтобы она не орала на него, чтобы она заткнулась.

Когда он приходит домой "под сильной мухой", жена кричит на него и грозит ему развестись с ним. Но когда ей нужны от него деньги, она заглядывает ему в глаза "с таким видом, словно у нее никогда не было более сильного желания, чем его увидеть.

- Что это у тебя за настроение сегодня? - спросил Шпагин (который привык к тому, что она все время кричит на него).

- Ленку (дочку. - Н. К.) удалось втиснуть в очередь на однокомнатную квартиру! - выпалила жена. - Так что жду твоих денежек!

- Будут, будут тебе деньги, - как-то лениво сказал Шпагин. - Дай раскрутиться..."

Жена Шпагина - это типичная жена, каких много, такая же, "как сто тысяч других в России" и во всем мире. Все типичные жены ругают своих мужей, когда те приходят домой под мухой, и все типичные жены требуют от мужей денег, денег, денег. А все другие жены - не типичные, они из области фантастики, а не из области жизни. Такие попадают раз в тысячу лет одному из тысяч миллионов.

Показывает Кувалдин портрет жены и через "магазинные котлеты", которые она все время жарит на кухне и которые являются обязательной деталью к ее портрету,

как если бы какая-нибудь брошка на кофте, или бусы на шее, без которых она была бы не она: “Жена стояла на кухне у плиты и жарила магазинные котлеты”.

Без этих - магазинных, а не каких-нибудь - котлет Шпагин и представить ее себе не может. И даже когда он в своих фантазиях улетает в Нью-Йорк, и пытается представить себе свою новую жизнь с женой не в Москве, а в Нью-Йорке, эту такую семейную идиллию в совершенно новых условиях, и даже в новом городе (Нью-Йорк это - буквально - и есть новый город) и в новой стране, он видит, как жена стоит на кухне в Нью-Йорке у плиты и жарит магазинные котлеты. Выше этого он не может подняться даже в своих фантазиях. И стоит ли ему улетать из Москвы в Нью-Йорк, чтобы прилететь к тому же, что было у него в Москве? а не дай бог - чтобы еще и потерять все это?

Через фантазии своего героя Кувалдин как бы говорит о том, что самое лучшее, что есть у человека, это не то, чего он не имеет, а то, что у него есть, и что человек настолько привыкает к тому, даже и плохому, что у него есть, что дай ему что-то другое, даже во много раз лучшее, он не захочет этого лучшего, а захочет вернуть себе то самое, что у него было.

... Андрей Вознесенский когда-то (в 70-е годы, в пору моего студенчества) написал поэму “Дама Треф”, в которой высказал одну мысль в образах и метафорах - мысль о том, что в каждой женщине есть Мона Лиза и Мадонна (не певица Мадонна, которой тогда еще не было ни в шоу-бизнесе, ни на экране телевизора, а Женщина с Большой буквы, символ Красоты, которая спасет мир), в одной женщине - больше, в другой меньше, но в каждой она есть и проявляется время от времени, в какие-то мгновения. Мона Лиза и Мадонна проявляется время от времени и в жене Шпагина. Например, в одной ночном эпизоде.

Шпагин смотрит на себя в зеркало и думает: надо бы мне заняться своими зубами, вытащить оттуда корни и “сделать протезы”, “ведь нет ничего хуже, когда человек без зубов... Когда он с кем-нибудь разговаривает, то ему кажется, что все смотрят ему в рот, а там нет зубов. Надо бы заняться ртом, а денег (на это у него) нет.

- Что ты тут делаешь? - спросила сонным голосом жена... - Пошли спать!..

Ее лицо было сердито, но в глазах ее было много самой нежной любви к Шпагину”.

И эта любовь, которая проявилась в жене Шпагина к нему, и притом в самый неожиданный для читателей момент и которую увидели читатели, потому что Кувалдин показал ее, тут же преобразила весь образ жены, которая до этого только кричала на мужа и никак не ассоциировалась с образом его “прекрасной половины” и казалась ужасно неприятной, такой, что читатели (под которыми я имею в виду саму себя) не понимали, как мужчина может жить с такой женщиной и терпеть ее около себя, и почему он женился на ней, и почему он не развелся с ней в первые же месяцы после свадьбы, когда понял, что она далека от его идеала женщины, что она совсем не та женщина, о которой он мечтал и с которой хотел бы идти всю жизнь рядом, рука об руку, до гробовой доски?

“Жена стояла в прозрачной ночной сорочке, и сквозь нее были видны небольшие груди. Шпагин как бы впервые в жизни смотрел на эту женщину, как на свою собственность, и тут он заметил, что у нее прелестные золотистые брови”.

Да куда до нее Моне Лизе, Мадонне Литте и Сикстинской Мадонне - до этой прекрасной половины Шпагина, которую нарисовал Кувалдин и для которой неважно, есть у ее мужа зубы или нет (а может быть, у нее и у самой их нет? и это тоже, оказы-

вается, неважно для настоящей любви! как для "старосветских помещиков" Гоголя и для "пастуха и пастушки" Астафьева)?

"Мысль, что он сейчас может привлечь к себе эту женщину (и обнять ее), обрадовала" Шпагина. И читатели мужского пола в этот момент, я думаю, могли бы позавидовать ему, а читательницы женского пола в этот момент, я думаю, могли бы позавидовать ей...

Кувалдин виртуозно владеет приемом контрапункта и контраста, который он применяет в своей прозе, когда изображает своих героев и какие-то предметы и какие-то ситуации, как в ночной сцене любви между Шпагиным и его женой. Я другого такого писателя не знаю, который бы так виртуозно владел этим приемом и мог вызывать у читателей такие сильные амплитуды колебания от одного впечатления о герое, предмете или ситуации до другого, резко противоположного, которые и делают общее впечатление от прозы Кувалдина невероятно сильным.

У Кувалдина во всех его произведениях, в том числе и в повести "Осень в Нью-Йорке", есть и свой вкус, и свой цвет, и свой запах, и свой звук. И если его произведения, в том числе и "Осень в Нью-Йорке, рассматривать с этих сторон, тогда только ты и начинаешь понимать, чем художественная проза отличается от не художественной и псевдохудожественной: тем самым и отличается, - тем, что в художественной прозе все это есть, а в не художественной (научной, например) и псевдохудожественной (в полсово, например) этого нет, самое большее, что там есть, это - голый сюжет, с пересказом каких-то событий: герой пошел туда-то, потом пошел туда-то, потом сделал то-то и вот то-то... взял пистолет, выстрелил в того-то - пиф-паф, ой-ой-ой... умирает зайчик мой... но кроме сюжета, который в художественной прозе сам по себе мало что значит, ничего и нет, есть имена и фамилии героев, а самих героев тоже нет, потому что нет показа этих героев, их внешности, их характеров, как нет и показа (а не пересказа) событий, показа предметов, показа атмосферы произведения, нет художественного искусства...

Кому интересен в литературном произведении только сюжет, тому проза Кувалдина может показаться неинтересной, как кому-то может показаться неинтересной, например, проза Юрия Казакова или Михаила Пришвина или "Антоновские яблоки" и "Деревня" Бунина или "Степь" Чехова или его пьеса "Дядя Ваня", где вроде бы ничего особенного не происходит и сюжета почти что и нет... Но кому интересен в литературном произведении не сюжет, а его художественная ткань и художественные картины, тому будет интересна и проза Кувалдина, даже и та, где нет сюжета или где сюжет играет не самую главную роль, и тот сможет оценить прозу Кувалдина:

1). Во-первых, на в к у с, как, например, во фразах: Шпагин "стрельнул" рубль у коллеги, "сбегал в соседнюю с НИИ булочную, купил кулебяку и... жадно съел ее, запивая чаем, который постоянно готовили себе сотрудницы" (вкус кулебяки с чаем чувствуется здесь особенно остро оттого, что Шпагин - голодный и что он съедает ее жадно, так же жадно запивая чаем). Или: "Шпагину все время хочется есть. Когда в тарелке супа или щей попадается черный перец, Шпагин его ест - и ему нравится, как перец дерет язык (здесь читателем ощущается и вкус супа и щей, и вкус перца, который дерет язык не только Шпагину, но и читателю, который читает про него). Или: "В воздухе витал пряный, дразнящий привкус праздника" (и этот привкус, который со страниц книги перешел прямо в реальность, к читателю в его комнату, где он сидит и читает "Осень в Нью-Йорке", тоже ощущается читателем).

2). Во-вторых, на ц в е т, как, например, во фразе: “На зеленом газоне играли дети, на скамейках сидели люди с газетами. Дорожка, усыпанная кирпичной крошкой, вывела Шпагина к клумбе...”. Или: “Желтые листья в солнечном свете напоминали кусочки сусального золота, особенно тогда, когда трепетали от легкого ветерка”. Или: “На голове (у Рейнгольда) красовалась жокейская шапочка темно-синего цвета...”. Или: “Пашка положил розовую индейку на стол, упер руки в боки и устался... на нее”. Или: в комнате отца Рейнгольда Семена Исааковича “справа стоял белый рояль, слева - стена книжных полок. Стулья были в белых чехлах, на овальном большом столе - белоснежная, отливающая синевой крахмальная скатерть”. Или: Рейнгольд принес Пашке свой паспорт, “то была синяя книжечка с золотым тиснением формата советского паспорта”. Или: “ - Я понимаю, Пашенька, - сказала жена и поднесла к губам чашку кофе, оттопырив при этом беленький мизинчик” (и стала похожа на куклу с самоваром из группы “Бубнового вала”)... Все цвета здесь играют и создают фон, тон, атмосферу, настроение, конкретику и живописность картин и образов автора.

3). В-третьих, на з п а х, как, например, во фразе: “И Шпагин почувствовал, что и пахнет Рейнгольд по-американски”.

4). В-четвертых, на з в у к, как, например, во фразе: “Семен Исаакович нажал клавишу системы (“Сони”), женский, несколько вульгарный голос запел: “На Брайтоне мы встретимся с тобою...”. Или: “Звучание голоса Рейнгольда напоминало шум дождя, Шпагин сначала вбирал слухом только это звучание, потом уже до него дошли слова”. Или: “Сказал Рейнгольд весело”, “Сказал Шпагин взволнованно”, “Последние слова Шпагина прозвучали торжественно-скорбно”. Или: “Шпагин беззвучно хохотал”. Или: “Послышалось мяуканье, и из кровати дочери выпрыгнула кошка”. Или: “Пашка даже хмыкнул”. Или: “Жена бросила трубку, и (в трубке Шпагина) запищали короткие гудки”.

5). И, в-пятых, читатель сможет оценить прозу Кувалдина на о щ у п ь, на о с з а н и е, как, например, во фразе: “Наташка мигом шлепнулась щекою на подушку” (подушка ощущается здесь читателем как мягкая, на твердую не будешь шлепаться со всего маха, ушибешься об такую). Или: “Шпагин... показал Марине, где находится ванная и туалет. Показывая ванную, он привлек Маринку к себе...” (автор не говорит, что тело у Марины было приятное на ощупь, но это ощущается читателем, а было бы оно у нее неприятное, Шпагину не захотелось бы привлечь ее к себе, к тому же Маринка отвечала ему “покорностью и страстью”, и уже одним этим была ему приятна).

Книги Кувалдина (любую из них, в том числе и повесть “Осень в Нью-Йорке”) хорошо использовать как наглядное пособие по художественной литературе, чтобы лучше понимать, что такое художественная литература. И тогда ты будешь легко ориентироваться в книжной продукции, которая заполняет собой прилавки престижных и малопрестижных книжных магазинов и легко определять, какая литература является художественной, а какая только называется таковой, а по сути вообще не является литературой, а является литературозаменителем, как бывают галантерейные кожезаменители и шелкозаменители.

...Шпагин, кандидат экономических наук, работает в НИИ по материально-техническому снабжению, заведует сектором, “которому принадлежало две узкие комнаты, заставленные столами, за которыми сидели исключительно женщины - единственным мужчиной был сам Шпагин”.

Работа в НИИ у Шпагина - не бей лежачего. Он сидит в кабинете среди женщин-сотрудниц, как в цветнике, как в оранжерее, и целый день разговаривает по телефону с разными лицами. Дает всем стандартные указания и стандартные обещания: "Вы этот вопрос держите в поле вашего внимания", "Я думаю, что на следующей неделе решу ваш вопрос... Ваш вопрос я держу в поле зрения"... Телефон у него на столе не смолкает. То ему звонит сотрудница, которая месяц как уволилась, а он все еще не решил ее дела. То ему звонит некий Гиви из Госплана Грузии, то кооператоры... Он отсиживает на своем месте от звонка до звонка и "ни фига" не делает. И даже годовой отчет о работе своего сектора подготовить не может, поручает сделать его своим подчиненным сотрудницам, используя старый годовой отчет, поменять старые цифры на новые, и все. Сотрудницы его тоже "ни фига не делают", как и он. Сидят, лениво протирают стулья задками, потом гуськом идут на обед, потом идут на продовольственными заказами: за китайской ветчиной и сухой колбасой...

Шпагин получает оклад 300 рублей в месяц и считает (не столько он, сколько его жена), что это копейки, "мизерная зарплата", на которую "существовать невозможно", хотя в советское время это были большие деньги. Все их он отдает жене, а сам ходит без рубля в кармане или с одним рублем. А жена у него получает 120 рублей в месяц. Она очень приземленная женщина и упрекает мужа за то, что он любит думать о высоких материях, о вечности, витать в облаках и сидеть на "мизерной" зарплате, а она чтобы "каждый день "таскала (домой) полные сумки" продуктов.

Шпагин мечтает открыть свой кооператив, чтобы получать много денег, и уже придумал ему название - "Китеж". Но это как Манилов мечтал построить хрустальный мост с беседками у себя в усадьбе.

...Рейнгольд - товарищ Шпагина, с которым они когда-то служили в армии, в одной части, где читали Драйзера, Голсуорси, Шеллинга и Фихте, выписывали журнал "Театр", вели философские беседы и считались в кругу солдат "интеллигентами", а потом они оба учились в одном вузе, а потом Рейнгольд уехал в Америку, в Нью-Йорк и вот теперь через много лет приехал в Москву и позвонил Шпагину... И они встретились в мастерской Пашки-художника, у которого Рейнгольд решил купить картины...

У Рейнгольда много денег, не в рублях, а в долларах. Он дарит Шпагину и Пашке и Марине с Линой заграничные шмотки, колготки, косметические наборы гон-конгского производства, аппараты "Сони". И Шпагин с Пашкой думают, что он стал в Америке большим человеком. И хотят узнать, чем Рейнгольд занимается в Америке. Но тот уклончиво, таинственно и интригуяще отвечает: делом, делом я занимаюсь. Шпагин думает, что Рейнгольд - босс, что у него в Нью-Йорке своя фирма. И вот уже Шпагин мечтает махнуть с Маринкой в Нью-Йорк и пристроить ее журналисткой в какой-нибудь "Ньюсуик"... и открыть в Нью-Йорке свой кооператив "Шпагин-Рейнгольд и Ко"... и разбогатеть и стать большим человеком, как Рейнгольд. А потом родители Рейнгольда проговариваются Шпагину о том, что их сын стал в Нью-Йорке шофером такси и занимается извозом... Что ж, "все работы хороши", как сказал бы Маяковский. Для Шпагина и Пашки Рейнгольд все равно остается Рейнгольдом, и для них в принципе все равно, кто он - шофер или глава какой-то фирмы. А для посторонних людей, которые не знают, кто он такой есть, он - важная персона, все-таки гражданин США.

Кувалдин с огромным юмором показывает, как воспринимают Рейнгольда швейцар в гостинице "Украина", а потом кассирша валютного магазина:

“Уже смеркалось, когда они (Шпагин, Пашка и Рейнгольд) вышли на улицу и поймали машину, чтобы ехать к Пашке. По пути заскочили в “Украину”. Швейцар, старый пузан с оплывшим красным лицом, преградил им дорогу с возгласом:

- Нельзя!

Рейнгольд небрежно извлек из кармана паспорт гражданина США, и швейцар mismo переменялся: побледнел, вытянулся по струнке, приложил руку к фуражке и проговорил:

- Прошу вас!

- Так-то! - бросил Рейнгольд и быстрым шагом устремился к лестнице”.

Они прошли в валютный магазин. Взяли водки и хорошей закуски к ней и “огромную упаковку датского баночного пива”.

“Рейнгольд стоял перед кассиршей и с довольным видом отсчитывал доллары, а та смотрела на него с таким видом, как будто перед нею был властелин вселенной”.

Одна эта картинка стоит целого романа. И говорит о том, что ее писал мастер своего дела.

...Очень хороши речевые характеристики героев Кувалдина, которые вызывают у читателей улыбку.

Например, маленькая дочка Шпагина называет телефон не телефоном. А “тифоном”. А Пашка-художник называет американца не американцем, а (по-простонародному) “мириканцем” и время от времени произносит с восклицательным знаком буквосочетание “ёкалэмэнэ”, которое являлось в 60-е годы культурным заменителем матерного словосочетания. А Рейнгольд и Шпагин называют друг друга словом “старик”, хотя они далеко не старики. Это слово-обращение было очень ходовым у молодых людей в 60-е годы XX века и является некоей приметой своего времени, как и почти забытое сейчас “ёкалэмэнэ”.

А какие живые и неожиданные у Кувалдина сравнения: выражение лица у Наташи было “живое и резвое, как у мальчишек, которые играют в футбол”. Сто лет будет думать и не придумаешь такого сравнения.

А какие оригинальные комические детали попадают в прозу Кувалдина на каждом шагу:

“Зверев... оригинальный был человек! Чистюля!.. (Говорит Рейнгольд) Помню... он принес бутылку минеральной воды, сел к столу, открыл пробку, а горлышко стал протирать мятым, сопливым носовым платком...”.

А какие моменты радости сверкают в прозе Кувалдина на лицах его героинь, как яркие блистки: когда Шпагин стал выкладывать своей жене подарки Рейнгольда, колготки, пластмассовые коробочки с косметикой и т. д., она “в каком-то экстазе веселья” обняла Рейнгольда “(не забыли ее! не забыли! - так и читалось по ее глазам) и затараторила что-то о его щедрости”. Она вызывает чувство жалости своей непосредственностью. Потому что такие же подарки Шпагин подарил и Маринке, часть жене, часть Маринке, никого из своих женщин не “обидел”: “Маринка, как совершенный ребенок, вцепилась в подарки (как в игрушки. - Н. К.). Да и была она еще ребенком: в сентябре ей исполнилось семнадцать”.

А какие аппетитные, праздничные у Кувалдина натюрморты, с дефицитными для советского времени продуктами. Их хочется проглотить вместе с холстом и подрамником:

“Появилась Валентина Ивановна (мать Рейнгольда) с подносом в руках. На стол встала бутылка в виде глыбы льда - с водкой “Смирнофф” и хрустальные рюмочки.

Затем Валентина Ивановна принесла балык, зеленые огурцы, горячую отварную картошку, посыпанную укропом, и шипящие котлеты “по-киевски”. Или вот еще один такой натюрморт:

Пашка “накрыл журнальный столик широкой салфеткой и принялся сервировать его. В холодильнике у него оказалась баночка черной икры, вяленое армянское мясо в оболочке специй, хорошая колбаса и банка рыночной квашеной капусты”. Все это он вытащил для своих гостей на столик.

Это тебе - не бедный “Завтрак аристократа” Федотова и не скромный “Завтрак московского комсомольца” Трифонова, хотя и такие, подобные этим, натюрморты есть у Кувалдина, и они тоже превосходны, но по-другому. Есть у него даже просто бутылка без всяких закусок и блюд, которую герои пьют в грязном дворе с пустыми ящиками прямо из горла.

А какие тонкие у Кувалдина наблюдения, касающиеся неумелого обращения хозяйки с кухонными предметами:

“Ну что это за хозяйка, которая чайник ставит носиком к себе! Паром же (сама себя) обожжет!” (Как будто Кувалдин работал шеф-поваром и знает, как надо ставить чайник.)

А какие остроумные у Кувалдина эпитеты, например, эпитет для русского кота Васьки, бандита, который живет в Нью-Йорке и лупит всех американских котов:

“Шерсть (у него) грязная - мой не мой, белая с черными пятнами. Порода - московский помоечный!”

А какие мудрые, отточенные афоризмы рассыпаны в прозе Кувалдина? Это же настоящие перлы:

“...для того, чтобы понять смысл жизни, надо долго прожить”.

...Я всегда восхищаюсь тем, как Кувалдин знает географию и топонимику Москвы, и все названия “площадей и улиц столицы”, и как он вплетает все это разноцветными нитками в ткань своих произведений и как он, создавая образы своих героев, создает и образ Москвы, изумительный фон, на котором действуют его герои. Вот и в повести “Осень в Нью-Йорке” он, создавая образы Шпагина, и Рейнгольда, и Пашки-художника и т. д., создает этот образ Москвы, Третьего Рима...

Повесть (а если говорить проще - сюжет повести) начинается с площади Пушкина и вместе со Шпагиным движется мимо “Елисеевского” магазина по Тверскому бульвару, до памятника Тимирязеву, потом поворачивает на улицу Воровского:

“На площади Пушкина Шпагин вышел из троллейбуса и заглянул в “Елисеевский”, где купил кило рису. Затем прошелся по Тверскому. У памятника Тимирязеву посидел на скамейке, настроение (у него) было плохое, и домой (нашему герою) идти не хотелось... Посидев у памятника, Шпагин пошел по улице Воровского, заглядывая в окна больших особняков. Жили в них когда-то состоятельные люди... Все они лежат на кладбищах, в их домах живут совсем иные люди или помещаются какие-то конторы. Многое могли бы рассказать стены, но они немые. Шпагин подумал, что проходит все, и все суета сует. По аналогии ему теперь было понятно, как в бездну небытия проваливаются целые эпохи”...

Москва входит в повесть Кувалдина “Осень в Нью-Йорке” не только со всеми своими площадями и улицами и их названиями (и дореволюционными, и советскими, и постсоветскими), а со всей своей архитектурой, культурой, историей, со всей своей ретроспективой, со всеми своими исчезнувшими эпохами, от которых сохранились

какие-то приметы (сколы) в виде старинных особняков, которые наводят глубокого человека на глубокие размышления... И образ Москвы получается не плоским, не конфетно-оберточным, а панорамным, объемным, величавым, величественным и праздничным даже и в будние дни... Как в "Рассвете на Москве-реке" и в "Богатырских воротах" Мусоргского и как в песнях о Москве: "Москва, Москва моя, Москва моя красавица..." (этой песней когда-то открывалась первая программа центрального телевидения, служила музыкальной заставкой) или "Дорогая моя столица, золотая моя Москва..."...

Сюжет повести движется по Садовому кольцу, проходит по углу улицы Чехова, идет через станцию метро "Динамо", по Петровскому парку... по Масловке... А с сюжетом движутся по Москве и его герои, и читатели, как будто совершают экскурсию по Москве... И автор показывает Москву не только глазами Шпагина и Пашки-художника, москвичей, которые всю жизнь живут в ней и привыкли к ней, но и как бы глазами гостя из Нью-Йорка, гражданина США, Рейнгольда, который давно уехал из Москвы, и живет в Нью-Йорке, но вот через много лет опять приехал в Москву, и смотрит на нее и узнает и не узнает ее... И инстинктивно, не давая себе отчета в этом, жалеет, что он променял такой город, "центр культуры", на какой-то Нью-Йорк, провинцию России, где он путем так и не прижился и не нашел своего счастья, хотя уже и прирос к Нью-Йорку и ему трудно бросить его и начать свою жизнь заново.

...Бедный, бедный богатый Рейнгольд! - как бы говорит в подтексте повести Кувалдин. Шило на мыло променял, а горшки на глину. И за Кувалдиным мне тоже хочется сказать: бедный, бедный богатый Рейнгольд! у которого карманы набиты долларами... но который во многом беднее Шпагина, у которого в кармане всего один рубль.

...То, что Юрий Кувалдин знает Москву, в которой он родился и живет, и знает ее, как пять своих пальцев, как никто из писателей, это может и не удивлять тех читателей, которые читали его книги и по ним знают, как он ее знает, хотя это все равно не может не удивлять и не восхищать. И лично меня не перестает удивлять и восхищать от книги к книге (потому что далеко не все аборигены знают свои города так, как он - свою Москву, которая по своей территории равна некоторым европейским странам).

Но то, что Юрий Кувалдин почти так же хорошо знает и Нью-Йорк, где он никогда не бывал, это меня потрясло еще больше, когда я прочитала его повесть "Осень в Нью-Йорке".

Автор показывает этот город через сны, мечты и мысли о нем своего героя Шпагина.

"Этой ночью Шпагину снился Нью-Йорк: Шпагин едет по Бродвею (а где же еще?) на дорогой черной машине, а впереди машины, как на экране, с микрофоном в руках корреспондент советского телевидения Владимир Дунаев говорит:

- Осень в Нью-Йорке идет под аккомпанемент забастовок, листовок, демонстраций, провокаций, инсинуаций...

Затем Шпагин видит себя на тридцать девятом этаже небоскреба на Третьей Аvenues. Этот этаж отвел ему Рейнгольд под нью-йоркскую квартиру совместного предприятия. Здесь же... квартиры сотрудников. На светлой кухне стоит жена и жарит нью-йоркские магазинные котлеты. Шпагин снимает трубку телефона и слышит грохот завода, работающего в рамках совместного предприятия "Шпагин-Рейнгольд и К^О".

Через несколько страниц Шпагину опять снится Нью-Йорк. Шпагин сидит в своей конторе в Москве, звонит телефон. Шпагин снимает трубку:

- Вас вызывает Филадельфия, сэр, - говорит секретарша голосом Маринки.

- Хорошо, - говорит Шпагин. - А кто говорит?

- Рейнгольд. Он предлагает предложить открыть в Филадельфии филиал СП.

- Я не возражаю, - сказал Шпагин. - Зарегистрируйте в Филадельфии филиал под названием "Китеж"...

В своих снах, мечтах и мыслях Шпагин гуляет по Нью-Йорку так же, как по Москве. По Мэдисон-авеню, по Тридцать Третьей улице, "выходит к Пенсильванскому вокзалу, а к вечеру оказывается в узких проездах Сороковых улиц, в районе театров... Он гуляет по Нью-Йорку, как по Москве, и видит сам себя, как он гуляет по Нью-Йорку. А то Шпагин видит там Ренгольда, как тот гуляет по Пятой Авеню... И Шпагин старается представить себе, где он там живет, что он там делает и как живет? А то Шпагин видит сам себя, как он сидит в своем офисе в Нью-Йорке:

"Шпагин прикрыл глаза и увидел себя в светлом кабинете на верхнем этаже здания, где расположился филиал его совместного предприятия. Он сидел за массивным столом и смотрел в окно поверх зданий Манхэттена вдаль, в пролив Лонг-Айленд".

- Местечко в Северной Америке у залива Лонг-Айленд - самое обжитое пространство во всем западном полушарии, поясняет Шпагин Пашке-художнику, как будто не Ренгольд, а сам Шпагин приехал в Москву из Нью-Йорка и может рассказать Пашке о нем так же подробно, как Рейнгольд, и даже еще подробнее.

Откуда Кувалдин, а благодаря ему и его герой Шпагин так хорошо знает Нью-Йорк? Из книг, конечно. Откуда же еще? Совсем не обязательно жить в Нью-Йорке, чтобы знать названия его улиц и т. д. Как совсем не обязательно ходить в лес, чтобы знать названия трав, ягод, грибов, деревьев (эти названия там на ветках не висят, как в городах висят таблички с названиями улиц)... Нужно просто уметь читать книги и знать, какие из них читать, чтобы узнать все это. Кувалдин умеет читать книги и знает, какие из них нужно читать, где какую информацию искать... И поэтому в "Дне писателя" он поражает читателей тем, как он знает природу (и белую цаплю с черными ногами и желто-зеленым клювом, и выпь с серовато-желтой окраской перьев, желтыми глазами и грязно-желтым клювом, и маленькую птичку зимородок с большой головой и большим клювом, и болотную птичку курочку-льсуху, и какую-нибудь выдру, землеройку, и какие-нибудь растения...), а в "Осени в Нью-Йорке" он поражает читателей тем, как он знает Нью-Йорк. Иной автор будет путешествовать по всем странам, а так ничего и не узнает о них и написать о них ничего не сможет. А иной будет сидеть в Ясной Поляне, как Лев Толстой, или в селе Михайловском, как Пушкин, или в Москве, в четырех стенах, как Кувалдин, а напишет о каких-нибудь странах и землях так, будто он весь мир изездил и своими ногами обошел и узнал его весь эмпирическим способом.

Но даже в самых лучших снах и мечтах Шпагина Нью-Йорк все же проигрывает Москве, той, которая не в снах, не в мечтах и не в мыслях, а в реальности, даже со всеми ее грязными дворами и грязными подъездами, где на цементном полу валяется битое стекло. И когда Ренгольд оказывается в мастерской Пашки-художника, он говорит: "Эх, Пашка, тут у тебя лучше, чем в Нью-Йорке... Да что там говорить..." А Пашка с гордостью за Москву говорит: Москва - "это тебе не Нью-Йорк, едрена вошь! Это тебе Москва-матушка". И что такое перед ней Нью-Йорк?

...Кстати сказать, юмор разлит у Кувалдина тайно и явно в снах, мечтах и мыслях Шпагина о Нью-Йорке и в картинах Нью-Йорка, которые видит Шпагин. Как, например, в таком эпизоде сна, когда Рейнгольд спрашивает у Шпагина “небрежным тоном”:

- Старичок, тебе пять тысяч долларов в неделю на первый случай хватит зарплат-ты?

- Разумеется, старик, - соглашается Шпагин и, подумав, добавляет: - Как-нибудь первое время перебьюсь”.

Никто никому в Нью-Йорке, как и в Москве, не даст ни пять тысяч долларов, ни сто долларов просто так. За них там тоже пахать нужно.

И даже в эгегически-поэтических мыслях Шпагина о деревьях, которые растут в Москве, есть свой юмор: “А интересно, растут ли березы в Нью-Йорке? (Думает он.) Сейчас конец октября, в Москве с берез сыплются желтые листья на асфальт, в лужи, и в Нью-Йорке, по-видимому, с таких же берез слетают желтые листья... Правда, говорят, у них там теплее. Нью-Йорк расположен, кажется, на полосе Кавказа-Крыма. Нужно посмотреть на карте”.

И дальше: “В окно Шпагин видел желтый тополь с опадающей листвой, и подле него березу с такой же желтой листвой. Погода стояла хорошая, солнечная и сухая. Шпагин думал, что такой же тополь и такая же береза могут расти в Нью-Йорке...”

И читатели голосом Пашки-художника могут спросить у Шпагина: “А на хрена тебе Нью-Йорк? Чего ты там не видел? Берез и тополей? Так они есть в Москве. Вот и смотри на них и любуйся ими”. И свои небоскребы в Москве есть. Зачем тебе ехать смотреть на них в Нью-Йорк? А ехать туда за красивой жизнью... опять же на хрена? Рейнгольд съездил. Ну и что? Чем его жизнь лучше твоей? Ты хоть по своей специальности в Москве работаешь, в НИИ, хотя и мало денег за это получаешь (но ведь ты ничего и не делаешь в этом НИИ, груши палкой околачиваешь). А он? Работает шофером, правда, за большие деньги, но ты и за большие деньги работать шофером не согласишься. Вот и получается, что хрен редьки не слаще, а Нью-Йорк Москвы не лучше, а для москвича, наоборот, - Москва всегда лучше Нью-Йорка.

...Ни один из героев Кувалдина, ни сам Кувалдин нигде в повести “Осень в Нью-Йорке” ни разу не говорит: я люблю Москву. Но то, что Кувалдин и его герои любят Москву, это чувствуется и без этого, в каждой странице текста.

Я даже думаю, что никто из всех московских и не московских писателей и никто из всех литературных героев, существующих в русской прозе (а в иностранной и по-давно), не любит Москву так, как Кувалдин и его герои.

Кувалдин - самый московский из всех московских писателей. И самый большой патриот Москвы из всех патриотов Москвы, хотя он и не бьет себя в грудь и не кричит: я люблю Москву, я патриот Москвы! И наоборот - как бы стесняется говорить об этом, да еще от первого лица.

Кувалдин так любит Москву, что у него рука сама собой на каждой странице в каждой повести, в каждом рассказе и в каждом романе и в каждой статье, а не только в повести “Осень в Нью-Йорке”, выводит пером названия московских улиц и площадей, и название Москвы, как если бы имя любимой девушки, любимой женщины, без которой он жить не может, и имя которой так и лежит у него на сердце и так и вертится на языке...

...Повесть "Осень в Нью-Йорке", как и многие вещи Юрия Кувалдина, написана в гиперреалистической манере, но в то же время и в гиперсюрреалистической... Сюрреалистические сны, мечты и мысли Шпагина все время наплывают, накладываются на реалистическую действительность, а эта реалистическая действительность все время входит в его сюрреалистические сны, как жена с магазинными котлетами или Маринка со своими ногами в черных чулках... И все, что дорого ему в жизни, в реалистической действительности, все это вдруг оказывается и в его снах и мечтах о Нью-Йорке: и жена, и Маринка, без которых он не представляет своей жизни и своего личного счастья ни в Москве, ни в Нью-Йорке... И сны и мечты становятся для него как бы калькой собственной жизни, перенесенной в Нью-Йорк, в другую страну, только более усовершенствованной. И многое из того, что есть в его мечтах и снах о Нью-Йорке, есть у него и в его жизни в Москве. И зачем ему ехать с женой в Нью-Йорк, чтобы она жарила там магазинные котлеты, когда их можно жарить и здесь? И зачем ему ехать с Маринкой в Нью-Йорк, когда с ней можно встречаться и здесь, в мастерской Пашки-художника? А кооператива ему все равно не построить в Нью-Йорке, как не построить его и в Москве.

...Заканчивается повесть около гостиницы "Украина", где герои во главе с Рейнгольдом купили в валютном магазине водку в "оригинальной бутылке с ручкой", баночное пиво, закуски и собираются ехать пировать к Пашке-художнику...

"Прежде чем садиться в машину, немного постояли у гостиницы. Покурили. Над высотным зданием в синем осеннем небе горели яркие звезды. Шпагин грустно вздохнул (распроцался в своих мыслях и мечтах с Нью-Йорком? - Н. К.), затем вдруг улыбнулся, положил руку на плечо Рейнгольду и пропел строчки известной песни Вилли Токарева:

Небоскребы, небоскребы,
А я маленький такой..."

Как был Рейнгольд маленьким человеком, так и остался. Он-то уехал в Нью-Йорк, чтобы стать там не шофером, а большим человеком, но стал шофром, а большим человеком, за которого было приняты его Шпагин с Пашкой, когда он приехал в Москву и тряс тут своими долларами, и за которого его приняли швейцар в гостинице и кассирша в валютном магазине, не стал.

Как сказал когда-то Наум Коржавин про людей, которым не повезло в России и в Советском Союзе и которые уехали на Запад, думая, что там им повезет больше?

Кому у нас не повезло,
Тому нигде не повезет.

И лучше уж сидеть дома и никуда не ездить.

Повесть "Осень в Нью-Йорке" ассоциируется у меня почему-то именно с этим сочинением Хандошкина, именно оно слышится мне то в кадре, то за кадром этой повести, как некий эмоциональный фон. И накладывает свой отпечаток на все, что делают и говорят, чувствуют и думают герои повести... И Рейнгольд, и Шпагин, и Пашка-художник... И все они кажутся мне несчастными. Потому что все они что-то потеряли в жизни, что-то такое очень дорогое для себя, а того, чего искали, не нашли... И

вот осень в Нью-Йорке и осень в Москве плачет над ними, лия слезы дождей или дожди слез.

...Но, например, Шагин со своим рублем в кармане, не добившийся в жизни того, чего хотел, кажется мне по-своему счастливее, чем его его сокурсник Рейнгольд со своими тысячами долларов, тоже не добившийся в жизни того, чего хотел. Шагин все же живет в своей стране, у себя дома, среди своих, а не чужих людей, а Рейнгольд живет в чужой стране среди чужих людей, для которых он никогда не станет своим и которым нет до него никакого дела, что он есть, что его нет, и который и в своей родной стране стал для всех чужим и мог бы сказать о себе стихами Есенина: "В своей стране я - словно иностранец". Или только здесь он пока еще свой и родной для кого-то.

Уж если быть несчастным, ничего не добившимся в жизни, то это, наверное, все же лучше в своей стране, чем в чужой. Тогда ты все же менее несчастен, потому что здесь ты все же среди своих, таких же несчастных, ничего не добившихся в жизни, среди своих товарищей по несчастью, которые поймут тебя лучше, чем кто-то там, за границей, которым ты вообще до лампочки. А деньги сами по себе не делают человека счастливее, потому что он привыкает к ним так же, как кто-то к их отсутствию.

...Шагин в повести Кувалдина читает не только журнал "Театр", и не только Библию, благодаря которым он, по утешительным прогнозам Сергея Овчинникова, может стать "настоящим человеком", не Мересьевым, повесть о котором написал когда-то Полевой, но тоже "настоящим", с которого школьники нового постсоветского времени смогут брать пример. Он читает еще и книгу профессора Жоли "Психология великих людей". Кувалдин цитирует оттуда изречение Ларошфуко о том, чем великие души отличаются от обыкновенных: "Великие души отличаются от обыкновенных не тем, что у них меньше страстей и больше добродетелей, а только тем, что они носят в себе великие замыслы".

Каждый, даже и маленький, человек хочет причислить себя к великим. Вот и Шагин тоже. Он читает книгу Жоли и думает о себе, что вот "и у него, Шагина, великие замыслы, великие идеи: найти хороших спонсоров" и создать свой кооператив... и пока что ходит с рублем в кармане, который дает ему на обед его жена, и на которые он даже не может позволить себе купить с приятелями бутылку на троих. А художник Пашка мечтает нарисовать великие картины и получить за них немалые деньги... и продает Рейнгольду свои картины, свои шедевры за гроши... причем боится продешевить и, подстраховывая сам себя, отказывается от двух тысяч долларов, которые Рейнгольд хотел было заплатить ему и которых Пашка никогда в руках не держал, и вместо двух тысяч долларов берет у него две тысячи рублей, русскими советскими деньгами (о святая простота!). А Рейнгольд, выпускник МГУ, мечтал сделать себе большую карьеру в Нью-Йорке... и в результате стал там шофером такси... Великие замыслы могут осуществлять только великие люди, вот что видится мне в подтексте книги Кувалдина. А у жены Шагина и у Марины и Лины даже и замыслов великих нет, все замыслы у них сводятся к утилитарным потребностям: получить квартиру, купить то и купить сё, что-то из вещей, избежать беременности и заплатить за аборт.

Сам Кувалдин, без сомнения, принадлежит к категории великих людей своего времени, которые не только умеют носить в себе великие замыслы, но и "приводить их в исполнение", осуществлять их. Захотел он создать свое издательство и создал

его, причем имел при этом в кармане всего один рубль, как Шпагин. Захотел создать свой журнал и создал его. Захотел издать собрание своих сочинений в 10-ти томах и издал (а до этого написал их!).

Кувалдин понимает психологию и великих людей, и невеликих людей. И поэтому он в своих книгах умеет показать психологию всех своих героев, и тех, и других, и третьих, и великих, и невеликих, и совсем маленьких, и частично великих, которые не сумели использовать свои потенциальные возможности и стать хотя бы большими людьми, если не великими...

Чем художник отличается от нехудожника? Тем, что художник показывает своих героев, такими, какие они есть, и позволяет им действовать свободно на страницах своей книги и никому из них не читает мораль, или нотацию, и никого из них не поучает, как кому себя вести и как кому поступать в той или иной ситуации, и никого ни к чему не призывает... и никогда не старается навязать ни им, ни читателям свои идеи, лозунги, нравственные кодексы и ориентиры... и ничего не проповедует. Художник показывает своих героев и смотрит на них сверху, с облака, как Господь Бог на свои творения, которые дороги ему, как отцу дороги все его дети, и хорошие, и плохие, и великие, и невеликие, и любитесь ими, как режиссер любитесь своими артистами, которые выступают каждый в своем амплуа, кто - в положительной роли, а кто - в отрицательной, а кто - не поймешь в какой. И читатели смотрят на этих героев и реагируют на каждого каждый по-своему, и понимают и воспринимают все каждый по-своему, в меру своей душевной чувствительности, культурной образованности, интеллектуальной развитости, и "в меру своей испорченности" (и неиспорченности), как говорится... а еще - в меру своего таланта читателя, без которого, без этого таланта, нельзя читать книги и правильно судить о них.

Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время

- Лев Аннинский. "Серебро и чернь". Поэты Серебряного века.
Михаил Арцыбашев. "Ужас".
Антон Антонов-Овсеенко. "Сталин без маски".
Сергей Антонов. "Рельеф Кандинского". Рассказы.
"Азь". Альманах. Два выпуска.
Владлен Бахнов. "Опасные связи". Повести и рассказы.
Евгений Бачурин. "Я ваша тень". Стихи и песни.
Андрей Белый. "Начало века".
Евгений Блажеевский. "Лицом к погоне". Стихи.
Владимир Буйначев. "Новое прочтение "Слова о полку Игореве"".
Михаил Бутов. "Изваяние пана". Рассказы и повесть.
Андрей Бычков. "Черная талантливая музыка для глухонемых".
"Веги". Сборник статей о русской интеллигенции.
Мария Головановская. "Двадцать писем Господу Богу". Роман.
Дон-Аминадо. "Парадоксы жизни". Стихи и проза.
Фазиль Искандер. "Детство Чика". Рассказы.
Фазиль Искандер. "Сандро из Чегема". Первая полная редакция.
Геннадий Калашников. "С железной дорогой в окне". Стихи.
Анатолий Капустин. "Куровское-Лобня". Рассказы.
Н. М. Карамзин. "История Государства Российского". В 6-ти книгах.
Эдуард Клыгуль. "Столичная". Повести и рассказы.
Кирилл Ковальджи. "Лирика".
Кирилл Ковальджи. "Невидимый порог".
Кирилл Ковальджи. "Обратный отсчет". Проза и стихи.
Лев Копелев. "Хранить вечно".
Сергей Костырко. "Шлягеры прошлого лета". Повести и рассказы.
"Краеведы Москвы". Выпуск 1.
"Краеведы Москвы". Выпуск 2.
Нина Краснова. "Цветы запоздалые". Проза и стихи.
Юрий Крохин. "Профили на серебре". Поэт Леонид Губанов. и СМОГ.
Юрий Кувалдин. "Так говорил Заратустра". Роман.
Юрий Кувалдин. "Кувалдин-критик". Выступления в периодике.
Юрий Кувалдин. "Родина". Повести и роман.
Юрий Кувалдин. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 10 томах.
Л. Лазарев. "Шестой этаж". Мемуары.
Семен Липкин. "Квадрига". Повесть, мемуары.
Юрий Малецкий. "Убежище". Роман, повести и рассказы.
Всеволод Мальцев. "Парализованная кукла". Повести и рассказы
Мандельштамовский сборник "Сохрани мою речь". Два выпуска.
Игорь Меламед. "В черном раю". Стихотворения, переводы, статьи.
Сергей Михайлин-Плавский. "Гармошка". Рассказы и повести.
А. Н. Михайлов. "Культурология в текстах и комментариях".
Юрий Нагибин. "Дневник".
"Наша улица". Ежемесячный журнал современной русской литературы
(Основан Юрием Кувалдиным в 1999 году. К ноябрю 2006 года -
60-летию Юрия Кувалдина - выпущено 84 номера)

Ольга Новикова. "Женский роман".
Вл. Новиков. "Заскок". Пародии, эссе, размышления критика.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 1. 2003 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 2. 2004 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 3. 2005 год.

Сергей Овчинников. "Танюша". Повести и рассказы.
Дмитрий Панин. "Лубянка-Экибастуз: Лагерные записки".
Дмитрий Панин. "В человеках благоволение".
Вадим Перельмутер. "Стихо-Творения".
Вадим Перельмутер. "Звезда разрозненной плеяды". О Вяземском.
Петроний Арбитр. "Сатирикон".
Валерий Поздеев. "Наполеон Федя Пряшкин". Повести и рассказы.
Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".
Лев Разгон. "Плен в своем отечестве".
Станислав Рассадин. "Очень простой Мандельштам".
Станислав Рассадин. "Русские, или из дворян в интеллигенты".
Эрнест Ренан. "Жизнь Иисуса".
Ирина Роднянская. "Литературное семилетие". Статьи.
Русские сказки.
Алексей Саладин. "Прогулки по кладбищам Москвы".
Андрей Сахаров. "Конституционные идеи".
Джонатан Свифт. "Путешествия Лемюэля Гулливера".
Павел Сиркес. "Горечь померанца".
Словарь американского сленга.
А. и Б. Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу". Полная редакция.
Ирина Сурат. "Жизнь и лира". О Пушкине.
Игорь Тарасевич. "Сквозь стекло". Повести и рассказы.
Александр Тимофеевский. "Песня скорбных душ".
М. Н. Тихомиров. "Средневековая Москва".

Александр Трифонов. "Художник Александр Трифонов"
(Альбом. Новый русский авангард. Фигуративный экспрессионизм)

Александр Трофимов. "Записки сумасшедшего". Рассказы и повести.
Михаил Холмогоров. "Авелева печать". Роман, повести.
А. В. Храповицкий. "Памятные записки".
В. М. Фридкин. "Чемодан Клода Дантеса". Рассказы.
Л. А. Чарская. "Княжна Джаваха".
Лидия Чуковская. "Процесс исключения".
"Эквинокс" (Равноденствие). Литературно-философский сборник.

ТОМ 2

СОДЕРЖАНИЕ

ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. <i>Повесть</i>	3
СВОИ. <i>Повесть</i>	47
НЕ ГОВОРИ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО. <i>Повесть</i>	95
АЛЯ. <i>Повесть</i>	136
РАННИЕ СУМЕРКИ. <i>Повесть</i>	166
ФИЛОСОФИЯ ПЕЧАЛИ. <i>Роман</i>	232
1. Доцентская ставка	232
2. Отрицание отрицания	292
В ДОЖДЬ. <i>Рассказ</i>	348
ПОД НОВЫЙ ГОД. <i>Рассказ</i>	352
ТАНЕЧКА. <i>Рассказ</i>	357
ОКНО. <i>Рассказ</i>	363
МАТРОС МИША. <i>Рассказ</i>	368
ЖИВАЯ ЩЕКА. <i>Рассказ</i>	371
“ГОЖУСЬ ЛИ Я В АРТИСТЫ”. <i>Рассказ</i>	374
ПОСТУПОК. <i>Рассказ</i>	381
ОСТАВЬ СЕБЕ. <i>Рассказ</i>	384
ПРИМИ ЧУЖУЮ БОЛЬ. <i>Рассказ</i>	389
СЫН. <i>Рассказ</i>	397
ЛАСТОЧКА. <i>Рассказ</i>	408
СОВЕТ. <i>Рассказ</i>	412
ПИСЬМО. <i>Рассказ</i>	417
ВИНОВАТЫЙ. <i>Рассказ</i>	422
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. <i>Рассказ</i>	426
СТОЛ. <i>Рассказ</i>	430
ПОБРИЛСЯ. <i>Рассказ</i>	433
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА. <i>Рассказ</i>	439
РЯДОВОЙ. <i>Рассказ</i>	443
ВЫСОКАЯ МОДА. <i>Рассказ</i>	447
ОГОНЬ ЖЕЛАНЬЯ. <i>Рассказ</i>	459
БРЕД НИЧТОЖНОСТИ. <i>Рассказ</i>	466

Комментарии	472
Нина Краснова "Печальная красота"	472
Виктор Кузнецов-Казанский "...жизнь в березах и заборах"	485
Кирилл Ковальджи "Дитя свободы"	486
Александр Логинов "Белая клавиша новенького фортепьяно"	489
Сергей Каратов "Сопереживание"	491
Нина Краснова "О мастерстве Юрия Кувалдина на примере повести "Осень в Нью-Йорке".....	494
Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время	508

Юрий Александрович Кувалдин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Том 2

Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов

ЛР № 061544 от 08.09.99.
Сдано в набор 21.01.06. Подписано к печати 25.03.06. Формат 60х88 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура "Newton". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-отт. 32,0. Уч.-изд. л. (авторских листов) 28,34.
Тираж 2000 экз.

Издательство "Книжный сад", Москва, Складочная ул. 1, стр. 5.
Для писем: 125167, Москва, а/я 40.
Отпечатано на Фабрике Печатной Рекламы.